



М.А.Булгаков РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ

ShkolaPress

КРУГ ЧТЕНИЯ:
школьная программа

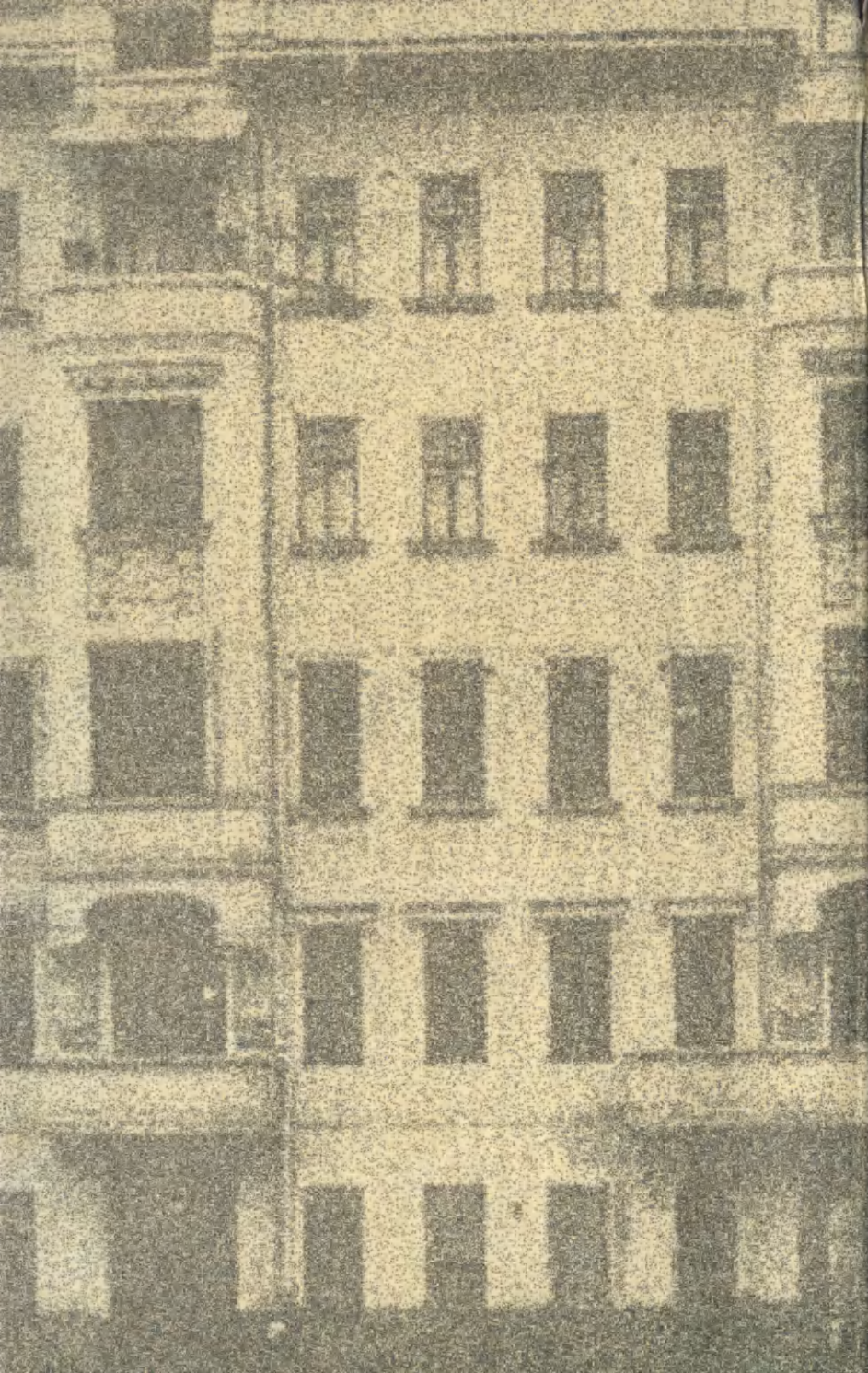


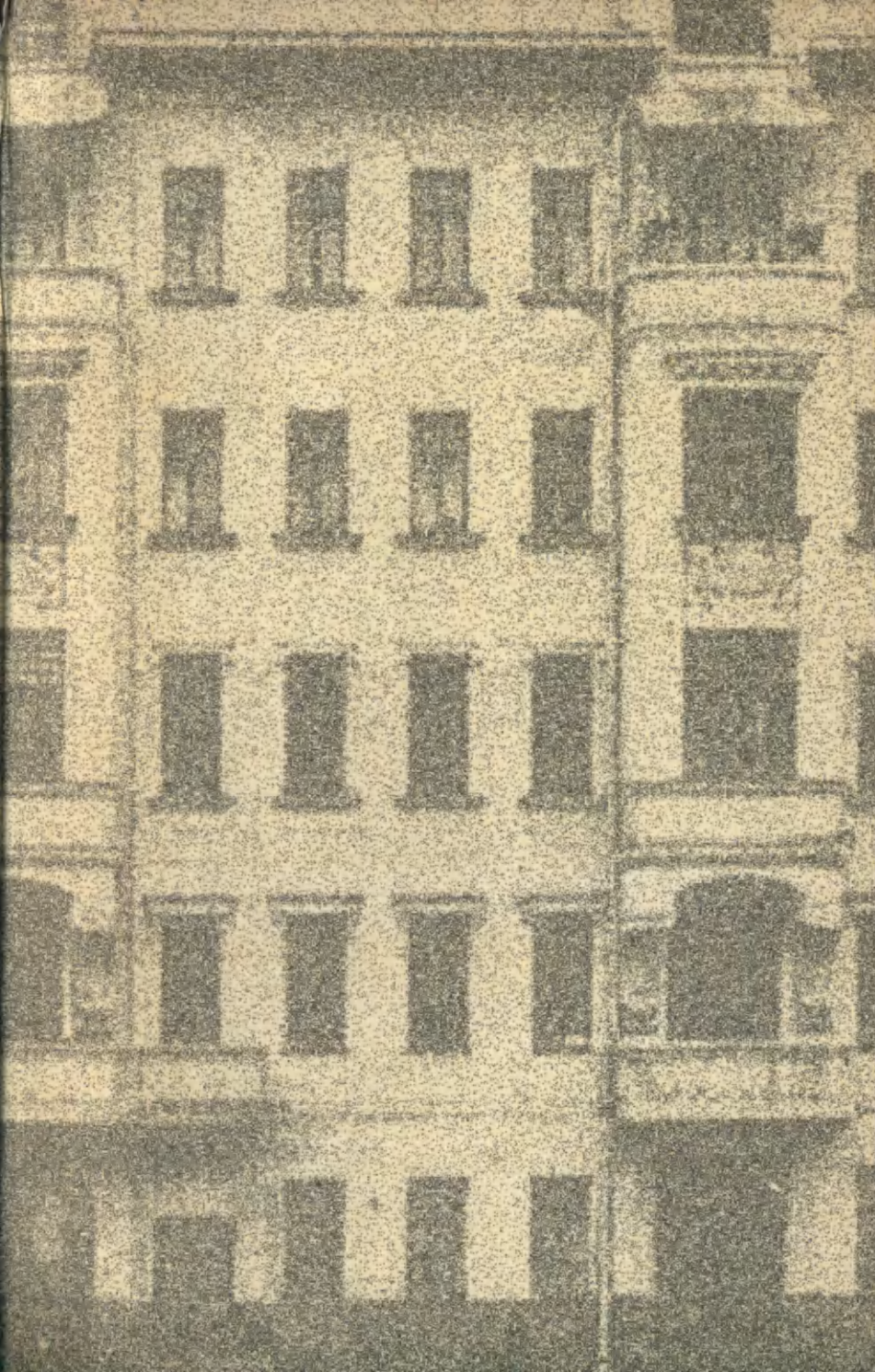
М.А.Булгаков
РУКОПИСИ
НЕ ГОРЯТ



М.А.Булгаков РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ

М.А.Булгаков
РУКОПИСИ
НЕ ГОРЯТ





КРУГ ЧТЕНИЯ:

школьная программа

*Серия рекомендована
Главным управлением развития общего среднего образования
Министерства образования РФ*

*Награждена Золотой медалью
Международной ярмарки-олимпиады детской книги
(Москва, 1995)*

Мастер и Маргарита

Фантастические
повести

Автобиографические
материалы



М.А.Булгаков

Рукописи не горят

Москва
"ШКОЛА-ПРЕСС"
1996

ББК 84 Р
Б 90

Булгаков М. А.

Б 90 **Рукописи не горят: Роман. Фантастические повести. Автобиографические материалы , Вступ. ст. М.С.Петровского; Сост., краткая хроника жизни, избр. библиография, коммент. Б.С.Мягкова. — М.: Школа-Пресс, 1996. — 672 с. — (серия «Круг чтения: школьная программа»).**

ISBN 5-88527-106-2

В сборник выдающегося мастера русской прозы М. А. Булгакова (1891 — 1940) включено его вершинное произведение — роман «Мастер и Маргарита» и близкие к нему тематически фантастические повести.

Издание дополнено автобиографическими материалами снабжено вступительной статьей, краткой хроникой жизни писателя, комментариями.

Для учащихся и учителей.

Б **4702010000 — 117**
 С79(03) — 96

ББК 84 Р

ISBN 5-88527-106-2

© Вступительная статья,
М. С. Петровский, 1996
© Составление, краткая хроника
жизни, избранная библиография,
комментарии. Б. С. Мягков, 1996
© Издательство «Школа-Пресс», 1996

МАСТЕР НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Без малого две тысячи лет назад в Иерусалим явился молодой пророк и стал учить, рассказывая притчи. Иерусалимские снобы были недовольны: «Да откуда он взялся? Ах, из Назарета! Ну, где же видано, чтобы из Назарета был пророк!» Этот пророк выведен в романе «Мастер и Маргарита» под именем Иешуа Га-Ноцри.

Семьдесят пять лет назад в Москву явился молодой писатель и стал сочинять повести, романы и пьесы. За ним закрепилась и долго тянулась вслед репутация «писателя из Киева». Московские снобы были раздражены: «Ну, где это видано, чтобы из Киева был писатель!» Параллельность этих эпизодов и реплик настолько в духе Михаила Булгакова, что ничуть не было бы странно, если бы оказалось: он-то сам и придумал себе кличку «писатель из Киева».

Одна из притч, рассказанных молодым пророком, который выведен в «Мастере и Маргарите» под именем Иешуа Га-Ноцри, гласит, что некий хозяин, надолго покидая свой дом, роздал рабам по равной мере серебра. Он приказал: делайте с этим серебром что хотите, но верните мне его в целости, когда я вернусь.

Один раб купил на это серебро товаров и пустился в торговлю, и торговля оказалась прибыльной, так что купец и хозяину сумел все вернуть сполна, и сам остался в барыше. Другой приобрел поле и семена, посеял хлеб и, собрав урожай, отдал хозяину долг, да и сам был не внакладе. Третий, дрожа за сохранность полученной суммы, закопал серебро в землю, а при возвращении хозяина вырыл и вернул нетронутым. Хозяин похвалил первого и второго, а третьего строго наказал, дабы никто не смел зарывать свой т а л а н т в землю, как раб ленивый и нелюбопытный.

Весовая мера серебра, розданного хозяином из старинной притчи, называлась в древности талантом. Впоследствии это слово утратило свой прямой вещественный смысл и приобрело смысл отвлеченный, нематериальный. Талант стал означать меру человеческой одаренности, меру «внутреннего богатства», высокую меру человеческой способности создавать вещественные, художественные, научные и духовные ценности. Но смысл старой притчи сохранился: горе тому, кто зарывает свой талант в землю, не дает ему прирасти ценностями. Более того, только наполнив слово «талант» духовным содержанием, старая притча стала великой общечеловеческой истиной.

Не дать своему таланту осуществиться — тяжкий грех по любому моральному кодексу. Но еще тяжелее грех, еще непростительнее злодейство — давить талант другого, гнать его, препятствовать его осуществлению. Зарывать его в землю заживо. Таланту же по его природе ничего другого и не надо, как только осуществиться, воплотиться, сбыться.

Вся жизнь Михаила Булгакова — настойчивая, изнурительная и трагическая борьба за воплощение. За реализацию своего загадочно прекрасного, ослепительного таланта. Нет, рабом ленивым и нелюбопытным он не был ни в коем случае. Но — краток путь и трудна судьба отечественного художника.

Мы как-то уже не отдаем себе отчета в том, что все немалое литературное и театральное наследие Михаила Булгакова — результат прискорбно непродолжительной творческой жизни. Если, следуя за волей писателя, отбросить детские опыты (киевские экспромты и дачную самодеятельность), если пренебречь несколькими скороспелыми пьесами, написанными во Владикавказе, и начать отсчет с московских дебютов, то окажется, что на всю литературную работу Булгакову было отпущено около восемнадцати лет.

Владимир Иванович Вернадский, выдающийся ученый, земляк Булгакова и, в отличие от него, долгожитель, имел обыкновение отказываться от самых соблазнительных научных предложений, если они уже прежде не входили в его планы. Он объяснял, что отказывается из-за страха смерти. Не в очевидном психологическом смысле, а потому, что боится не успеть в отпущенные жизненные сроки сделать то, что уже задумано. И хорошо бы, добавлял Вернадский, чтобы этот страх появлялся у творческой личности как можно раньше, лучше всего — до тридцати, но главное — сохранить его до конца, до самого смертного часа.

Автор «Мастера и Маргариты» считал трусость самым тяжким грехом, но здесь не о том речь. Благородный страх — не успеть, не уложиться, не осуществить — сопровождал Булгакова всю его литературную жизнь. Этот страх был одним из сильнейших стимулов его творчества. Булгаков спешил. Он очень — и небезосновательно — спешил. Мир, в котором он жил, был почти идеально устроен так, чтобы помешать воплощению художника, — и еще продолжал совершенствоваться в этом направлении, устраняя мелкие недостатки, которыми мог бы воспользоваться жаждущий воплощения талант, законопачивая мелкие щели, куда художник мог бы просочиться со своим неуслужающим словом. Единственной, хотя и слабой, надеждой на воплощение было — работать много и во все стороны. Если много и во все стороны, то, может, хоть где-то, хоть чем-то удастся прорваться на свет.

Современник, которому ныне доступны почти все произведения Булгакова, уже не помнит, не знает, как мало был известен писатель читателям и зрителям своего времени.

При жизни Булгакова вышли три маленькие книжки его прозаических произведений. Две совсем крохотные, по объему гораздо меньше тех, что выходят сейчас приложением к «Крокодилу», содержали фельетоны и рассказы. Третья, немного побольше, включала уже пять повестей и рассказов. С этого момента — с середины 1926 года — до самой своей смерти в 1940 году Булгаков не видел в отечественной печати ни одной своей книги. Пяток газетных и журнальных публикаций не давали представления о масштабах дарования и замыслах писателя.

Роман «Белая гвардия» начал было публиковаться в журнале, но журнал закрылся, и публикация не была доведена до конца. Об отдельном издании не могло быть и речи. При жизни Булгакова отечественный читатель так и не дождался «Белой гвардии» в полном виде. Написанная по договору с издательством (для серии «Жизнь замечательных людей»), биографическая повесть о Мольере была отвергнута. Содержащийся в эпиграфе повести намек — «Для его славы ничего не нужно, но для нашей славы нужен он» — не был услышан. Запрет на долгие годы закрыл дорогу повести «Собачье сердце». На родине писателя она впервые увидела свет через шестьдесят два года после создания, через сорок семь лет после смерти автора.

Булгаков написал более десятка пьес — лишь четыре из них добрались до сцены, да и то: «Дни Турбиных», разрешенные к

постановке на сцене МХАТа — одного-единственного театра на всю огромную страну, — то запрещались, то вновь допускались самым непредсказуемым образом, а мхатовский «Мольер» («Кабала святош») и «Багровый остров» в Камерном театре (постановка Л. Лукьянова и А. Таирова) были сняты и запрещены навсегда сразу после премьерных спектаклей.

Булгаков написал несколько сценариев для кино — ни по одному из них не был снят фильм, хотя были режиссеры, мечтавшие о постановке, равнявшиеся к постановке. Он написал четыре либретто для таких видных композиторов, как Б. Асафьев, Р. Глиэр, И. Дунаевский, но ни одна оперная постановка его либретто не была осуществлена — ни «Черное море», ни «Минин и Пожарский», ни «Петр Великий», ни «Рашель». Он был согласен на какую угодно литературную или театральную работу, только бы — любой ценой! — реализовать свой талант, осуществить свое предназначение. Едва прослышав о конкурсе на учебник истории для средней школы, он стал набрасывать план и главы: учебник так учебник! Он готов был переводить с иностранных языков: перевод так перевод! Он метался, как затравленный зверь, но, куда бы ни кинулся, там уже краснел флажок оцепления.

Роман «Записки покойника» (известный ныне как «Театральный роман») не был завершен — в числе других причин, по-видимому, из-за полной безнадежности его опубликования. Великий роман «Мастер и Маргарита» сочинялся «впрок», в виде некоего письма в неопределенное будущее: относительно возможности напечатать это произведение в ближайшее время у Булгакова не было ни малейших иллюзий, да и времени, чтобы ждать, жизненного времени у него уже не оставалось. У постели умирающего Елена Сергеевна — достойная жена Мастера — дала клятву сберечь роман и довести его до читателя. Надо понять, что первая часть этой клятвы — сохранить — ничуть не проще второй: сохранять надо было под неусыпным надзором литературоведов в форме и в штатском. Тем не менее Елене Сергеевне удалось опубликовать роман — через двадцать семь лет после смерти Булгакова.

И сразу после опубликования «Мастера и Маргариты» начался неслыханный, небывалый успех писателя, о котором прежде и знала-то небольшая кучка читателей — профессиональных знатоков литературы и театра. Булгаков властно и сладко покори́л ум и сердце читающей публики, оказался едва ли не самым живым и влиятельным писателем семидесятых-восемидесятых.

Гремевшие и трещащие в пору его безвестности имена литературных калифов на час канули в Лету, а светлое имя отечественного гения вышло из забвения и по праву заняло причитающееся ему место. «Прославились» и его гонители и претителі: они, несомненно, вошли в историю — как части его биографии. Можно, конечно, назвать это восстановлением справедливости, но уж больно горчит радость. Доколе, доколе же мы будем побивать своих пророков? Доколе мы будем узнавать о наших гениях десятилетия спустя после их ухода? И числить в гениях злобную бездарность? Радость возвращения Булгакова — горька, в ней — укор и урок.

И нельзя сказать, что радость эта досталась легко. Понадобились усилия сотен людей на протяжении десятков лет, чтобы рукописи, которые, как утверждал полный светлой веры в победу добра Булгаков, не горят, вышли из тесных ящиков стола и темноты архивов. Понадобилась долгая и непредсказуемая борьба, чтобы читатель получил свое законное право — читать Булгакова. Нет, Булгакова нам не подарили сильные мира сего от щедрот своих — мы его вонистину выстрадали.

Порой читатели — не только простодушные, но и весьма искусные — спрашивают: в чем секрет непреодолимого обаяния Булгакова? Почему его тянет читать и перечитывать, твердить наизусть, вести речь его словами? Почему все изображенное в его книгах запоминается не как прочитанное, но как воочию увиденное?

Действительно, невозможно отделаться от впечатления, будто это не запись булгаковских видений и фантазий, а личный опыт каждого читателя, который, говоря словами Воланда, сам лично при всем этом присутствовал. Можно, конечно, сослаться на загадочную силу таланта, но ведь это, в сущности, не ответ, а попытка объяснить одну загадку другой. Подлинный ответ, полагаю, в абсолютном, нерасчленном слиянии в булгаковском искусстве правды и красоты, красоты и правды. Красоты, которая и есть правда, правды, которая и есть красота. Перефразируя старый анекдот, можно сказать: иной писатель напишет «вошел человек» — не веришь; Булгаков напишет «вошел черт» — сразу веришь.

Но, позвольте, какая же может быть правда — в черте? Появление этого персонажа, мало свойственного литературе «социалистического реализма», надо признать, озадачило многих. И так, видите ли, пишет вещи решительно неподцензурные, да еще и черта туда всадил! И не в один лишь роман «Мастер и

Маргарита», но и в другие свои вещи. В «Театральном романе» появляется редактор Рудольфи, которого принимают за черта, но черт ли, не черт — не разберешь. И в «Белой гвардии» крутится некто Шполянский, вроде бы и не черт, но, если взглянуть в тень, им отбрасываемую, можно разглядеть и рожки, и копытца...

Введение в художественный текст «нездешнего» и страшно-го персонажа — дело ответственное. Но вот странность: по всем булгаковским вещам, где появляется эта будто бы страшная сила, хозяин ада, Князь Тьмы, прослеживается, что не так уж он страшен, как его малюют в других, не булгаковских, произведениях, что он далеко не всесилен, что и над ним есть закон, для него непреложный, и что может он всего-то ускорить, спровоцировать, катализировать события, которые и без него произойдут — по естественному ходу вещей. Булгаковский дьявол действует подобно проявителю при фотопластинке: что на ней запечатлено, то и проявится, разве что немного быстрее...

Как часто человек, поступив подло — по слабости ли характера, по дурным ли наклонностям или по стечению обстоятельств, ищет способ оправдать себя и находит такой, не самый трудный: черт попутал. Ах, вы утверждаете, будто это черт попутал? — ловит Булгаков лукавца на слове мнимого самооправдания. Так вот же взгляните, каков ваш черт. Он может проявить только то, что в вас есть и без него. Такой черт для самооправдания не годится. Неча на черта пенять...

С чертом в книге Булгакова входит важнейшая для писателя мысль о личной ответственности, которую нельзя ни на кого переложить — даже на черта. Личная ответственность неотменима и ни на кого не переложима. Никакие обстоятельства не освобождают от личной ответственности. Что ж обстоятельства? Обстоятельства у всех сходные, но не все же поступают подло. А если даже и все?..

О том или другом писателе часто говорят: он, дескать, всю жизнь писал одно произведение. Мысль не пуста: действительно, романы Тургенева или Достоевского складываются в непрерывные цепочки, звенья которых последовательно подвергают художественному исследованию одну развивающуюся идею — или череду идей. Эти романы можно рассматривать как части произведения, называемого «творчеством Тургенева» или «творчеством Достоевского».

В применении к Булгакову эта мысль должна быть заметно изменена: Булгаков всю жизнь писал в а р и а н т ы одного и

того же замысла, на разные лады поворачивая главную свою «тему жизни», она же — тема творчества. Эта тема — противостояние духовной и мирской власти, конфликт между носителем первой и держателем второй.

Духовность воплощают поэты, ученые, изобретатели, художники и пророки, одним словом — булгаковские мастера, наделенные талантом и профессионализмом. Профессор Персиков в «Роковых яйцах», безраздельно преданный своему делу и погруженный в свои исследования гениальный биолог. Профессор Преображенский в «Собачем сердце» — мирового класса ученый и хирург, вторгающийся своим виртуозным скальпелем в области, подвластные, кажется, одному Богу, способный — в соответствии со своей фамилией — совершать загадочные акты преображения. Талантливый писатель Максудов в «Театральном романе», другой писатель — безымянный мастер в романе «Мастер и Маргарита». «Бедный и окровавленный мастер» Мольер в пьесе «Кабала святош» и в биографической повести «Жизнь господина де Мольера». Великий поэт и национальный пророк Пушкин в пьесе «Последние дни» (чем не «бедный и окровавленный мастер»). Овладевшие природой времени изобретатели инженеры Рейн (в пьесе «Блаженство») и Тимофеев (в пьесе «Иван Васильевич»). Великий изобретатель и миротворец академик Ефросимов (за тридцать лет предсказавший явление академика А. Д. Сахарова) в пьесе «Адам и Ева».

Разные характеры, разные судьбы, разветвляющиеся в непохожие времена и в несовпадающих пространствах. Но у всех у них есть нечто общее и решительно важное для Булгакова: талантливость, профессионализм и причастность к творчеству. Этой причастностью (или причащением?) они уравниваются. Все они — мастера, то есть творческие личности, честные профессионалы, творцы. Это оно и есть — то «упорное изображение русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей стране», которое Булгаков с верой и отвагой декларировал в письме к диктатору, кровавому управдому империи.

Созидая и открывая новое, дотоле отсутствовавшее в мире или присутствовавшее в нем скрыто, неявно, булгаковские мастера прорицают будущее. Эта мысль получает у Булгакова, между прочим, и научно-фантастическое (впрочем, весьма прозаичное) преломление, когда его мастера берутся за создание «машин времени». Точка приложения таланта не слишком важна: мастер может сочинить стихотворение, роман или пьесу, открыть биологически активные лучи, изобрести хирургический

способ воздействия на природу живого существа или средства дезактивации любых химических средств убийства человека. Важно другое: чем бы творцы ни занимались, их работа всегда есть приближение к истине. Поэтому булгаковские мастера как бы держат в руках будущее всего человечества. Можно ли представить себе что-либо более ответственное? Мог ли Булгаков, изображая таких персонажей, пройти мимо проблемы личной ответственности? Профессиональное и нравственное неразделимы у булгаковских мастеров (как и у самого художника, их создавшего), и горе тем из них, кто разделяет.

Они, эти мастера, — обыкновенные люди, такие же, как все; со всеми человеческими слабостями, порой очень смешными или даже непростительными, и только талант, заставляющий их страстно стремиться к истине, отличает их от иных прочих, возвышает над окружением. Открытая ими истина превращает их в пророков — будет ли то истина о «лучах жизни», найденная профессором Персиковым, или же истина о событиях двухтысячелетней давности, открывшаяся мастеру, автору романа о Пилате: «О, как я угадал! О, как я всё угадал!» А пророческий дар уподобляет их деятельность и судьбу деятельности и судьбе того пророка, который выведен в «Мастере и Маргарите» под именем Иешуа Га-Ноцри. Уподобленные этому пророку, они, естественно, должны пройти через трагедию пророка, через крестную муку творческой личности.

Каждый из них восходит на свою Голгофу, но восходит — непременно. Невежественные чиновники отбирают у гениального Персикова его открытие, и оно, способное осчастливить людей в руках честного профессионала, становится жуткой угрозой для самого существования человечества, попав в руки безответственной бюрократии. Отобранное у искателя истины радителями «пользы» то, что было открыто как лучи жизни, оборачивается лучами смерти. Царь Мидас в древнегреческом мифе все, к чему прикасался, превращал в золото; бюрократический функционер в булгаковской повести «Роковые яйца» (и в соответствующей действительности) — это, так сказать, царь Мидас наоборот.

Образованнейший и талантливейший Преображенский вмешивается в такие дела, в которые, по-видимому, человек вмешиваться не должен. Под его скальпелем симпатичнейший пес Шарик превращается в нечто человекообразное и отвратительное — в Шарикова. Со своего мастера Булгаков вины за происшедшее не снимает, но не большая, не горшая ли вина

отягощает тех, кто натравливает на гениального ученого его лабораторное создание, ставя Преображенского на грань моральной и физической катастрофы? Эту неблагоприятную роль в повести «Собачье сердце» выполняет, опираясь на догмы господствующей идеологии, мало озабоченный моральными проблемами провокатор и демагог Швондер. Только чудо спасает Преображенского, но этим чудом он обязан своему же таланту и умению: совершив ошибку, нужно вернуться вспять, к доошибочному состоянию.

В пьесах «Адам и Ева» и «Блаженство» возникает все та же, уже знакомая нам булгаковская коллизия: на открытия замечательных ученых пытается наложить свою тяжелую лапу всемогущее, бесконтрольное государство. Неважно, что в одном случае изобретен умиротворяющий газ, а в другом — машина времени; неважно даже то, что в «Адаме и Еве» — несовершенное современное государство, а в «Блаженстве» — почти идеальное государство будущего. Результат один и тот же во всех булгаковских вещах: власть пытается помешать таланту и пророку совершить его деяние, приближающее к истине, присвоить плоды его труда, когда результат получен, погубить мастера — в любом случае. Творец, отчужденный от своего создания, должен стать безгласным и едва ли не лишним винтиком бюрократического аппарата, и Булгаков предупреждал, что это чревато бедой во все стороны. Честный профессионал и пророк, Булгаков заступался за честь и достоинство человека творящего, видя в них неотъемлемое условие творческой деятельности.

Травит и губит великого комедианта Мольера черная кабала святош при попустительстве, если не участии, «короля-Солнца» Выдает на расправу поэта и пророка Пушкина царь Николай, едва обнаруживает, что пророчества поэта задевают основы самодержавной власти. В сущности, к этому же сводится судьба пророка-историка, автора романа о Пилате, безымянного героя «Мастера и Маргариты». Он становится жертвой бездарных и беспринципных прислужников режима. Писателя Максудова («Театральный роман») буквально выживают из жизни — клеветой, завистью, непониманием, травлей. Сообщенная писателем истина оказывается никому не нужной, потому что всемогущая власть и ее бюрократический аппарат превратили театральное искусство из области поиска истины в некое подобие «сферы обслуживания», в часть общеталитарного дела.

Так и выстроены друг против друга, как белые и черные фигуры на шахматной доске, две серии булгаковских персонажей.

С одной стороны — талантливые мастера, стремящиеся к истине носители духовной власти, с другой — короли, цари, прокураторы, императоры, председатели и генеральные секретари (пьеса «Адам и Ева» так и кончается — изобретателю академику Ефросимову говорят: «Вас ждет генеральный секретарь»), одним словом — держатели мирской власти. Конфликт между ними безысходно трагичен, как и жизненная судьба создателя всех этих образов — Михаила Булгакова.

Конечно, это свою судьбу Булгаков непрерывно осмыслил в своем творчестве, которое, таким образом, глубоко лично. Но свое личное осмыслиется у Булгакова в столь универсальных художественных категориях, что было бы нелепо видеть в булгаковском творчестве непрерывный и «зацикленный» рассказ автора о себе. Нет, это рассказ о себе и о своих соотечественниках, о себе и своих современниках, о каждом читателе — состоявшемся или потенциальном. Нелепо думать, будто проблема интеллигенции — это интеллигентская проблема. Это одна из важнейших общенародных проблем, особенно во времена, когда у народа грубо и кроваво отбирается его интеллигенция, чтобы превратить народ в обескураженную, сбиту с панталыку, легко увлекаемую всевластным демагогом толпу. Поэтому посвятивший свое перо защите мастеров Булгаков — народный писатель, хотя ему самому, быть может, такая квалификация не совсем пришлась бы по вкусу. Поэтому же, будто бы опоздавший издать свои книги и поставить свои пьесы, Булгаков поспел как раз вовремя — к нашим сегодняшним заботам и спорам о роли таланта, о необходимости честного профессионализма, об уважении к человеку творящему, к человеческой личности вообще. Талантливый мастер, он соединил сегодняшнее с вечным, обеспечив себе место и там, и там.

Мирон Петровский

Мастер и Маргарита

Роман



...так кто ж ты, наконец?

*— Я — часть той силы, что вечно
хочет зла и вечно совершает благо.*

Гёте. «Фауст»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1

НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ

В час жаркого весеннего заката на Патриарших прудах появилось двое граждан. Первый из них — приблизительно сорокалетний, одетый в серенькую летнюю пару, — был маленького роста, темноволос, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а аккуратно выбритое лицо его украшали сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе. Второй — плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек в заломленной на затылок клетчатой кепке — был в ковбойке, жеваных белых брюках и черных тапочках.

Первый был не кто иной, как Михаил Александрович Берлиоз, редактор толстого художественного журнала и председатель правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращенно именуемой Массолит, а молодой спутник его — поэт Иван Николаевич Понырев, пишущий под псевдонимом Бездомный.

Попад в тень чуть зеленеющих лип, писатели первым долгом бросились к пестро раскрашенной будочке с надписью «Пиво и воды».

Да, следует отметить первую странность этого страшного майского вечера. Не только у будочки, но и во всей аллее, параллельной Малой Бронной улице, не оказалось ни одного человека. В тот час, когда уж, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо, — никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку, пуста была аллея.

- Дайте нарзану, — попросил Берлиоз.
- Нарзану нету, — ответила женщина в будочке и почему-то обиделась.
- Пиво есть? — сиплым голосом осведомился Бездомный.
- Пиво привезут к вечеру, — ответила женщина.
- А что есть? — спросил Берлиоз.
- Абрикосовая, только теплая, — сказала женщина.
- Ну, давайте, давайте, давайте!..

Абрикосовая давала обильную желтую пену, и в воздухе запахло парикмахерской. Напившись, литераторы немедленно начали икать, расплатились и уселись на скамейке лицом к пруду и спиной к Бронной.

Тут приключилась вторая странность, касающаяся одного Берлиоза. Он внезапно перестал икать, сердце его стукнуло и на мгновение куда-то провалилось, потом вернулось, но с тупой иглой, засевшей в нем. Кроме того, Берлиоза охватил необоснованный, но столь сильный страх, что ему захотелось тотчас же бежать с Патриарших без оглядки.

Берлиоз тоскливо оглянулся, не понимая, что его напугало. Он побледнел, вытер лоб платком, подумал: «Что это со мной? Этого никогда не было... сердце шалит... я переутомился... Пожалуй, пора бросить все к черту и в Кисловодск...»

И тут знойный воздух сгустился перед ним, и сооткался из этого воздуха прозрачный гражданин престранного вида. На маленькой головке жокейский картузик, клетчатый кургузый воздушный же пиджачок... Гражданин ростом в сажень, но в плечах узок, худ неизменно, и физиономия, прошу заметить, глумливая.

Жизнь Берлиоза складывалась так, что к необыкновенным явлениям он не привык. Еще более побледнев, он вытаращил глаза и в смятении подумал: «Этого не может быть!..»

Но это, увы, было, и длинный, сквозь которого видно, гражданин, не касаясь земли, качался перед ним и влево и вправо.

Тут ужас до того овладел Берлиозом, что он закрыл глаза. А когда он их открыл, увидел, что все кончилось, марево растворилось, клетчатый исчез, а заодно и тупая игла выскочила из сердца.

— Фу ты черт! — воскликнул редактор. — Ты зна-

ешь, Иван, у меня сейчас едва удар от жары не сделался! Даже что-то вроде галлюцинации было... — он попытался усмехнуться, но в глазах его еще прыгала тревога, и руки дрожали. Однако постепенно он успокоился, обмахнулся платком и, произнеся довольно бодро: «Ну-с, итак...» — повел речь, прерванную питьем абрикосовой.

Речь эта, как впоследствии узнали, шла об Иисусе Христе. Дело в том, что редактор заказал поэту для очередной книжки журнала большую антирелигиозную поэму. Эту поэму Иван Николаевич сочинил, и в очень короткий срок, но, к сожалению, ею редактора нисколько не удовлетворил. Очертил Бездомный главное действующее лицо своей поэмы, то есть Иисуса, очень черными красками, и тем не менее всю поэму приходилось, по мнению редактора, писать заново. И вот теперь редактор читал поэту нечто вроде лекции об Иисусе, с тем чтобы подчеркнуть основную ошибку поэта.

Трудно сказать, что именно подвело Ивана Николаевича — изобразительная ли сила его таланта или полное незнание с вопросом, по которому он писал, — но Иисус у него получился, ну, совершенно живой, некогда существовавший Иисус, только, правда, снабженный всеми отрицательными чертами Иисус.

Берлиоз же хотел доказать поэту, что главное не в том, каков был Иисус, плох ли, хорош ли, а в том, что Иисуса-то этого, как личности, вовсе не существовало на свете и что все рассказы о нем — простые выдумки, самый обыкновенный миф.

Надо заметить, что редактор был человеком начитанным и очень умело указывал в своей речи на древних историков, например на знаменитого Филона Александрийского, на блестяще образованного Иосифа Флавия, никогда ни словом не упоминавших о существовании Иисуса. Обнаруживая солидную эрудицию, Михаил Александрович сообщил поэту, между прочим, и о том, что то место в пятнадцатой книге, в главе 44-й знаменитых Тацитовых «Анналов», где говорится о казни Иисуса, есть не что иное, как позднейшая поддельная вставка.

Поэт, для которого все, сообщаемое редактором, являлось новостью, внимательно слушал Михаила Александровича, уставив на него свои бойкие зеленые глаза,

и лишь изредка икал, шепотом ругая абрикосовую воду.

— Нет ни одной восточной религии, — говорил Берлиоз, — в которой, как правило, непорочная дева не произвела бы на свет бога. И христиане, не выдумав ничего нового, точно так же создали своего Иисуса, которого на самом деле никогда не было в живых. Вот на это-то и нужно сделать главный упор...

Высокий тенор Берлиоза разносился в пустынной аллее, и по мере того, как Михаил Александрович забирался в дебри, в которые может забираться, не рискуя свернуть себе шею, лишь очень образованный человек, поэт узнавал все больше и больше интересного и полезного и про египетского Озириса, благостного бога и сына Неба и Земли, и про финикийского бога Фаммуза, и про Мардука, и даже про менее известного грозного бога Вицлипуцли, которого весьма почитали некогда ацтеки в Мексике.

И вот как раз в то время, когда Михаил Александрович рассказывал поэту о том, как ацтеки лепили из теста фигурку Вицлипуцли, в аллее показался первый человек.

Впоследствии, когда, откровенно говоря, было уже поздно, разные учреждения представили свои сводки с описанием этого человека. Сличение их не может не вызвать изумления. Так, в первой из них сказано, что человек этот был маленького роста, зубы имел золотые и хромал на правую ногу. Во второй — что человек был росту громадного, коронки имел платиновые, хромал на левую ногу. Третья лаконически сообщает, что особых примет у человека не было.

Приходится признать, что ни одна из этих сводок никуда не годится.

Раньше всего: ни на какую ногу описываемый не хромал, и росту был не маленького и не громадного, а просто высокого. Что касается зубов, то с левой стороны у него были платиновые коронки, а с правой — золотые. Он был в дорогом сером костюме, в заграничных, в цвет костюма, туфлях. Серый берет он лихо заломил на ухо, под мышкой нес трость с черным набалдашником в виде головы пуделя. По виду — лет сорока с лишним. Рот какой-то кривой. Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз черный, левый — почему-то зеленый. Брови черные, но одна выше другой. Словом — иностранец.

Пройдя мимо скамьи, на которой помещались редактор и поэт, иностранец покосился на них, остановился и вдруг уселся на соседней скамейке, в двух шагах от приятелей.

«Немец...» — подумал Берлиоз.

«Англичанин... — подумал Бездомный. — Ишь, и не жарко ему в перчатках».

А иностранец окинул взглядом высокие дома, квадратом окаймлявшие пруд, причем заметно стало, что видит это место он впервые и что оно его заинтересовало.

Он остановил взор на верхних этажах, ослепительно отражающих в стеклах изломанное и навсегда уходящее от Михаила Александровича солнце, затем перевел его вниз, где стекла начали предвечерне темнеть, чему-то снисходительно усмехнулся, прищурился, руки положил на набалдашник, а подбородок на руки.

— Ты, Иван, — говорил Берлиоз, — очень хорошо и сатирически изобразил, например, рождение Иисуса, сына Божия, но соль-то в том, что еще до Иисуса родился целый ряд сынов Божиих, как, скажем, финикийский Адонис, фригийский Аттис, персидский Митра. Коротко же говоря, ни один из них не родился и никого не было, в том числе и Иисуса, и необходимо, чтобы ты, вместо рождения или, предположим, прихода волхвов, изобразил бы нелепые слухи об этом приходе. А то выходит по твоему рассказу, что он действительно родился!..

Тут Бездомный сделал попытку прекратить замучившую его икоту, задержав дыхание, отчего икнул мучительнее и громче, и в этот же момент Берлиоз прервал свою речь, потому что иностранец вдруг поднялся и направился к писателям.

Те поглядели на него удивленно.

— Извините меня, пожалуйста, — заговорил подошедший с иностранным акцентом, но не коверкая слов, — что я, не будучи знаком, позволяю себе... но предмет вашей ученой беседы настолько интересен, что...

Тут он вежливо снял берет, и друзьям ничего не оставалось, как приподняться и раскланяться.

«Нет, скорее француз...» — подумал Берлиоз.

«Поляк?...» — подумал Бездомный. Необходимо добавить, что на поэта иностранец с первых же слов про-

извел отвратительное впечатление, а Берлиозу скорее понравился, то есть не то чтобы понравился, а... как бы выразиться... заинтересовал, что ли.

— Разрешите мне присесть? — вежливо попросил иностранец, и приятели как-то невольно раздвинулись; иностранец ловко уселся между ними и тотчас вступил в разговор:

— Если я не ослышался, вы изволили говорить, что Иисуса не было на свете? — спросил иностранец, обращая к Берлиозу свой левый зеленый глаз.

— Нет, вы не ослышались, — учтиво ответил Берлиоз, — именно это я и говорил.

— Ах, как интересно! — воскликнул иностранец.

«А какого черта ему надо?» — подумал Бездомный и нахмурился.

— А вы соглашались с вашим собеседником? — осведомился неизвестный, повернувшись вправо к Бездомному.

— На все сто! — подтвердил тот, любя выражаться вгнурно и фигурально.

— Изумительно! — воскликнул непрошенный собеседник и, почему-то воровски оглянувшись и приглушив свой низкий голос, сказал: — Простите мою навязчивость, но я так понял, что вы, помимо всего прочего, еще и не верите в Бога? — Он сделал испуганные глаза и прибавил: — Клянусь, я никому не скажу.

— Да, мы не верим в бога, — чуть улыбнувшись испугу интуриста, ответил Берлиоз, — но об этом можно говорить совершенно свободно.

Иностранец откинулся на спинку скамейки и спросил, даже привизгнув от любопытства:

— Вы — атеисты?!

— Да, мы — атеисты, — улыбаясь, ответил Берлиоз, а Бездомный подумал, рассердившись: «Вот прицепился, заграничный гусь!»

— Ох, какая прелесть! — вскричал удивительный иностранец и завертел головой, глядя то на одного, то на другого литератора.

— В нашей стране атеизм никого не удивляет, — дипломатически вежливо сказал Берлиоз, — большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о боге.

Тут иностранец отколол такую штуку: встал и пожал

изумленному редактору руку, произнеся при этом такие слова:

— Позвольте вас поблагодарить от всей души!

— За что это вы его благодарите? — заморгав, осведомился Бездомный.

— За очень важное сведение, которое мне, как путешественнику, чрезвычайно интересно, — многозначительно подняв палец, пояснил заграничный чудак.

Важное сведение, по-видимому, действительно произвело на путешественника сильное впечатление, потому что он испуганно обвел глазами дома, как бы опасаясь в каждом окне увидеть по атеисту.

«Нет, он не англичанин...» — подумал Берлиоз, а Бездомный подумал: «Где это он так наловчился говорить по-русски, вот что интересно!» — и опять нахмурился.

— Но, позвольте вас спросить, — после тревожного раздумья заговорил заграничный гость, — как же быть с доказательствами бытия Божия, коих, как известно, существует ровно пять?

— Увы! — с сожалением ответил Берлиоз. — Ни одно из этих доказательств ничего не стоит, и человечество давно сдало их в архив. Ведь согласитесь, что в области разума никакого доказательства существования бога быть не может.

— Браво! — вскричал иностранец. — Браво! Вы полностью повторили мысль беспокойного старика Иммануила по этому поводу. Но вот курьез: он начисто разрушил все пять доказательств, а затем, как бы в насмешку над самым собою, соорудил собственное шестое доказательство!

— Доказательство Канта, — тонко улыбнувшись, возразил образованный редактор, — также неубедительно. И недаром Шиллер говорил, что кантовские рассуждения по этому вопросу могут удовлетворить только рабов, а Штраус просто смеялся над этим доказательством.

Берлиоз говорил, а сам в это время думал: «Но, все-таки, кто же он такой? И почему он так хорошо говорит по-русски?»

— Взять бы этого Канта, да за такие доказательства года на три в Соловки! — совершенно неожиданно бухнул Иван Николаевич.

— Иван! — сконфузившись, шепнул Берлиоз.

Но предложение отправить Канта в Соловки не только не поразило иностранца, но даже привело в восторг.

— Именно, именно, — закричал он, и левый зеленый глаз его, обращенный к Берлиозу, засверкал, — ему там самое место! Ведь говорил я ему тогда за завтраком: «Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали! Оно, может, и умно, но больно непонятно. Над вами потешаться будут».

Берлиоз выпучил глаза. «За завтраком... Канту?.. Что это он плетет?» — подумал он.

— Но, — продолжал иноземец, не смущаясь изумлением Берлиоза и обращаясь к поэту, — отправить его в Соловки невозможно по той причине, что он уже слишком сто лет пребывает в местах значительно более отдаленных, чем Соловки, и извлечь его оттуда никоим образом нельзя, уверяю вас!

— А жаль! — отозвался задира-поэт.

— И мне жаль, — подтвердил неизвестный, сверкая глазами, и продолжал: — Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели Бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще порядком на земле?

— Сам человек и управляет, — поспешил сердито ответить Бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос.

— Виноват, — мягко отозвался неизвестный, — для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? И в самом деле, — тут неизвестный повернулся к Берлиозу, — вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас... кхе... кхе... саркома легкого... — тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие, — да, саркома, — жмурясь, как кот, повторил он звучное слово, — и вот ваше управление закончилось! Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует. Родные вам начинают лгать. Вы,

чуя неладное, бросаетесь к ученым врачам, затем к шарлатанам, а бывает, и к гадалкам. Как первое и второе, так и третье — совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. И все это кончается трагически: тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи. А бывает и еще хуже: только что человек соберется съездить в Кисловодск, — тут иностранец прищурился на Берлиоза, — пустяковое, казалось бы, дело, но и этого совершить не может, так как неизвестно почему вдруг возьмет поскользнется и попадет под трамвай! Неужели вы скажете, что это он сам собою управил так? Не правильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой? — и здесь незнакомец рассмеялся странным смешком.

Берлиоз с великим вниманием слушал неприятный рассказ про саркому и трамвай, и какие-то тревожные мысли начали мучить его. «Он не иностранец... он не иностранец... — думал он, — он престранный субъект... но позвольте, кто же он такой?..»

— Вы хотите курить, как я вижу? — неожиданно обратился к Бездомному неизвестный. — Вы какие предпочитаете?

— А у вас разные, что ли, есть? — мрачно спросил поэт, у которого папиросы кончились.

— Какие предпочитаете? — повторил неизвестный.

— Ну, «Нашу марку», — злобно ответил Бездомный.

Незнакомец немедленно вытащил из кармана портсигар и предложил его Бездомному:

— «Наша марка».

И редактора и поэта не столько поразило то, что нашлась в портсигаре именно «Наша марка», сколько сам портсигар. Он был громадных размеров, червонного золота, и на крышке его при открывании сверкнул синим и белым огнем бриллиантовый треугольник.

Тут литераторы подумали разное. Берлиоз: «Нет, иностранец!», а Бездомный: «Вот черт его возьми, а!..»

Поэт и владелец портсигара закурили, а некурящий Берлиоз отказался.

«Надо будет ему возразить так, — решил Берлиоз, — да, человек смертен, никто против этого и не спорит. Но дело в том, что...»

Однако он не успел выговорить этих слов, как заговорил иностранец:

— Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что́ он будет делать в сегодняшний вечер.

«Какая-то нелепая постановка вопроса...» — подумал Берлиоз и возразил:

— Ну, здесь уж есть преувеличение. Сегодняшний вечер мне известен более или менее точно. Само собою разумеется, что, если на Бронной мне свалится на голову кирпич...

— Кирпич ни с того ни с сего, — внушительно перебил неизвестный, — никому и никогда на голову не свалится. В частности же, уверяю вас, вам он ни в каком случае не угрожает. Вы умрете другою смертью.

— Может быть, вы знаете, какой именно? — с совершенно естественной иронией осведомился Берлиоз, вовлекаясь в какой-то действительно нелепый разговор. — И скажете мне?

— Охотно, — отозвался незнакомец. Он смерил Берлиоза взглядом, как будто собирался сшить ему костюм, сквозь зубы пробормотал что-то вроде: «Раз, два... Меркурий во втором доме... луна ушла... шесть — несчастье... вечер — семь...» — и громко и радостно объявил: — Вам отрежут голову!

Бездомный дико и злобно вытаращил глаза на развязного неизвестного, а Берлиоз спросил, криво усмехнувшись:

— А кто именно? Враги? Интервенты?

— Нет, — ответил собеседник, — русская женщина, комсомолка.

— Гм... — промылчал раздраженный шуточкой неизвестного Берлиоз, — ну, это, извините, маловероятно.

— Прошу и меня извинить, — ответил иностранец, — но это так. Да, мне хотелось бы спросить вас, что вы будете делать сегодня вечером, если это не секрет?

— Секрета нет. Сейчас я зайду к себе на Садовую, а потом в десять часов вечера в Массолите состоится заседание, и я буду на нем председательствовать.

— Нет, этого быть никак не может, — твердо возразил иностранец.

— Это почему?

— Потому, — ответил иностранец и прищуренными глазами поглядел в небо, где, предчувствуя вечернюю прохладу, бесшумно чертили черные птицы, — что Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила. Так что заседание не состоится.

Тут, как вполне понятно, под липами наступило молчание.

— Простите, — после паузы заговорил Берлиоз, поглядывая на мелющего чепуху иностранца, — при чем здесь подсолнечное масло... и какая Аннушка?

— Подсолнечное масло здесь вот при чем, — вдруг заговорил Бездомный, очевидно, решив объявить незваному собеседнику войну, — вам не приходилось, гражданин, бывать когда-нибудь в лечебнице для душевнобольных?

— Иван!.. — тихо воскликнул Михаил Александрович.

Но иностранец ничуть не обиделся и превесело рассмехался.

— Бывал, бывал, и не раз! — вскричал он, смеясь, но не сводя несмееющегося глаза с поэта. — Где я только не бывал! Жаль только, что я не удосужился спросить у профессора, что такое шизофрения. Так что вы уж сами узнайте это у него, Иван Николаевич!

— Откуда вы знаете, как меня зовут?

— Помилуйте, Иван Николаевич, кто же вас не знает? — Здесь иностранец вытащил из кармана вчерашний номер «Литературной газеты», и Иван Николаевич увидел на первой же странице свое изображение, а под ним свои собственные стихи. Но вчера еще радовавшее доказательство славы и популярности на этот раз ничуть не обрадовало поэта.

— Я извиняюсь, — сказал он, и лицо его потемнело, — вы не можете подождать минутку? Я хочу товарищу пару слов сказать.

— О, с удовольствием! — воскликнул неизвестный. — Здесь так хорошо под липами, а я, кстати, никуда и не спешу.

— Вот что, Миша, — зашептал поэт, оттащив Берлиоза в сторону, — он никакой не интурист, а шпион. Это русский эмигрант, перебравшийся к нам. Спрашивай у него документы, а то уйдет...

— Ты думаешь? — встревоженно шепнул Берлиоз, а сам подумал: «А ведь он прав...»

— Уж ты мне верь, — засипел ему в ухо поэт, — он дурачком прикидывается, чтобы выпросить кое-что. Ты слышишь, как он по-русски говорит, — поэт говорил и косился, следя, чтобы неизвестный не удрал, — идем, задержим его, а то уйдет...

И поэт за руку потянул Берлиоза к скамейке.

Незнакомец не сидел, а стоял возле нее, держа в руках какую-то книжечку в темно-сером переплете, плотный конверт хорошей бумаги и визитную карточку.

— Извините меня, что я в пылу нашего спора забыл представить себя вам. Вот моя карточка, паспорт и приглашение приехать в Москву для консультации, — веско проговорил неизвестный, проницательно глядя на обоих литераторов.

Те сконфузились. «Черт, слышал все...» — подумал Берлиоз и вежливым жестом показал, что в предъявлении документов нет надобности. Пока иностранец совал их редактору, поэт успел разглядеть на карточке напечатанное иностранными буквами слово «профессор» и начальную букву фамилии — двойное «В» — «W».

— Очень приятно, — тем временем смущенно бормотал редактор, и иностранец спрятал документы в карман.

Отношения таким образом были восстановлены, и все трое вновь сели на скамью.

— Вы в качестве консультанта приглашены к нам, профессор? — спросил Берлиоз.

— Да, консультантом.

— Вы — немец? — осведомился Бездомный.

— Я-то?.. — переспросил профессор и вдруг задумался. — Да, пожалуй, немец... — сказал он.

— Вы по-русски здорово говорите, — заметил Бездомный.

— О, я вообще полиглот и знаю очень большое количество языков, — ответил профессор.

— А у вас какая специальность? — осведомился Берлиоз.

— Я — специалист по черной магии.

«На́ тебе!..» — стукнуло в голове у Михаила Александровича.

— И... и вас по этой специальности пригласили к нам? — заикнувшись, спросил он.

— Да, по этой пригласили, — подтвердил профессор

и пояснил: — Тут в государственной библиотеке обнаружены подлинные рукописи чернокнижника Герберта Аврилакского, десятого века. Так вот требуется, чтобы я их разобрал. Я — единственный в мире специалист.

— А-а! Вы историк? — с большим облегчением и уважением спросил Берлиоз.

— Я — историк, — подтвердил ученый и добавил ни к селу ни к городу: — Сегодня вечером на Патриарших будет интересная история!

И опять крайне удивились и редактор и поэт, а профессор поманил обоих к себе и, когда они наклонились к нему, прошептал:

— Имейте в виду, что Иисус существовал.

— Видите ли, профессор, — принужденно улыбнувшись, отозвался Берлиоз, — мы уважаем ваши большие знания, но сами по этому вопросу придерживаемся другой точки зрения.

— А не надо никаких точек зрения, — ответил странный профессор, — просто он существовал, и больше ничего.

— Но требуется же какое-нибудь доказательство... — начал Берлиоз.

— И доказательств никаких не требуется, — ответил профессор и заговорил негромко, причем его акцент почему-то пропал — Все просто: в белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана...

Глава 2

ПОНТИЙ ПИЛАТ

В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат.

Более всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла, и все теперь предвещало нехороший день, так как запах этот начал преследовать прокуратора с рассвета. Прокуратору казалось, что розовый запах источают кипарисы и пальмы в саду, что к запаху кожного снаряжения и пота от конвоя примешивается проклятая розовая струя. От флигелей в тылу дворца,

где расположилась пришедшая с прокуратором в Ершалаим первая когорта Двенадцатого Молниеносного легиона, заносило дымком в колоннаду через верхнюю площадку сада, и к горьковатому дыму, свидетельствовавшему о том, что кашевары в кентуриях начали готовить обед, примешивался все тот же жирный розовый дух.

«О боги, боги, за что вы наказываете меня?.. Да, нет сомнений, это она, опять она, непобедимая, ужасная болезнь... гемикrania, при которой болит полголовы... от нее нет средств, нет никакого спасения... попробую не двигать головой...»

На мозаичном полу у фонтана уже было приготовлено кресло, и прокуратор, не глядя ни на кого, сел в него и протянул руку в сторону. Секретарь почтительно вложил в эту руку кусок пергамента. Не удержавшись от болезненной гримасы, прокуратор искоса, бегло проглядел написанное, вернул пергамент секретарю и с трудом проговорил:

— Подследственный из Галилеи? К тетрарху дело посылали?

— Да, прокуратор, — ответил секретарь.

— Что же он?

— Он отказался дать заключение по делу и смертный приговор Синедриона направил на ваше утверждение, — объяснил секретарь.

Прокуратор дернул щекой и сказал тихо:

— Приведите обвиняемого.

И сейчас же с площадки сада под колонны на балкон двое легионеров ввели и поставили перед креслом прокуратора человека лет двадцати семи. Этот человек был одет в старенький и разорванный голубой хитон. Голова его была прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба, а руки связаны за спиной. Под левым глазом у человека был большой синяк, в углу рта — ссадина с запекшейся кровью. Приведенный с тревожным любопытством глядел на прокуратора.

Тот помолчал, потом тихо спросил по-арамейски:

— Так это ты подговаривал народ разрушить ершалаимский храм?

Прокуратор при этом сидел как каменный, и только губы его шевелились чуть-чуть при произнесении слов. Прокуратор был как каменный, потому что боялся качнуть пылающей адской болью головой.

Человек со связанными руками несколько подался вперед и начал говорить:

— Добрый человек! Поверь мне...

Но прокуратор, по-прежнему не шевелясь и ничуть не повышая голоса, тут же перебил его:

— Это меня ты называешь добрым человеком? Ты ошибаешься. В Ершалаиме все шепчут про меня, что я свирепое чудовище, и это совершенно верно. — И так же монотонно прибавил: — Кентуриона Крысобоя ко мне.

Всем показалось, что на балконе потемнело, когда кентурион первой кентурии Марк, прозванный Крысобоем, предстал перед прокуратором. Крысобой был на голову выше самого высокого из солдат легиона и настолько широк в плечах, что совершенно заслонил еще невысокое солнце.

Прокуратор обратился к кентуриону по-латыни:

— Преступник называет меня «добрый человек». Выведите его отсюда на минуту, объясните ему, как надо разговаривать со мной. Но не калечить.

И все, кроме неподвижного прокуратора, проводили взглядом Марка Крысобоя, который махнул рукою арестованному, показывая, что тот должен следовать за ним.

Крысобоя вообще все провожали взглядами, где бы он ни появлялся, из-за его роста, а те, кто видел его впервые, из-за того еще, что лицо кентуриона было изуродовано: нос его некогда был разбит ударом германской палицы.

Простучали тяжелые сапоги Марка по мозаике, связанный пошел за ним бесшумно, полное молчание настало в колоннаде, и слышно было, как ворковали голуби на площадке сада у балкона, да еще вода пела замысловатую приятную песню в фонтане.

Прокуратору захотелось подняться, подставить висок под струю и так замереть. Но он знал, что и это ему не поможет.

Выведя арестованного из-под колонн в сад, Крысобой вынул из рук легионера, стоявшего у подножия бронзовой статуи, бич и, несильно размахнувшись, ударил арестованного по плечам. Движение кентуриона было небрежно и легко, но связанный мгновенно рухнул наземь, как будто ему подрубили ноги, захлебнулся воздухом, краска сбежала с его лица, и глаза обессмыслились.

Марк одною левой рукой, легко, как пустой мешок, вздернул на воздух упавшего, поставил его на ноги и заговорил гнусаво, плохо выговаривая арамейские слова:

— Римского прокуратора называть — игемон. Других слов не говорить. Смирно стоять. Ты понял меня, или ударить тебя?

Арестованный пошатнулся, но совладал с собою, краска вернулась, он перевел дыхание и ответил хрипло:

— Я понял тебя. Не бей меня.

Через минуту он вновь стоял перед прокуратором.

Прозвучал тусклый, больной голос:

— Имя?

— Мое? — торопливо отозвался арестованный, всем существом выражая готовность отвечать толково, не вызывать более гнева.

Прокуратор сказал негромко:

— Мое мне известно. Не притворяйся более глупым, чем ты есть. Твое.

— Иешуа, — поспешно ответил арестант.

— Прозвище есть?

— Га-Ноцри.

— Откуда ты родом?

— Из города Гамалы, — ответил арестант, головой показывая, что там, где-то далеко, направо от него, на севере, есть город Гамала.

— Кто ты по крови?

— Я точно не знаю, — живо ответил арестованный, — я не помню моих родителей. Мне говорили, что мой отец был сириец...

— Где ты живешь постоянно?

— У меня нет постоянного жилища, — застенчиво ответил арестант, — я путешествую из города в город.

— Это можно выразить короче, одним словом — бродяга, — сказал прокуратор и спросил: — Родные есть?

— Нет никого. Я один в мире.

— Знаешь ли грамоту?

— Да.

— Знаешь ли какой-либо язык, кроме арамейского?

— Знаю. Греческий.

Вспухшее веко приподнялось, подернутый дымкой страдания глаз уставился на арестованного. Другой глаз остался закрытым.

Пилат заговорил по-гречески:

— Так это ты собирался разрушить здание храма и призывал к этому народ?

Тут арестант опять оживился, глаза его перестали выражать испуг, и он заговорил по-гречески:

— Я, доб... — тут ужас мелькнул в глазах арестанта оттого, что он едва не оговорился, — я, игемон, никогда в жизни не собирался разрушать здание храма и никого не подговаривал на это бессмысленное действие.

Удивление выразилось на лице секретаря, сгорбившегося над низеньким столом и записывавшего показания. Он поднял голову, но тотчас же опять склонил ее к пергаменту.

— Множество разных людей стекается в этот город к празднику. Бывают среди них маги, астрологи, предсказатели и убийцы, — говорил монотонно прокуратор, — а попадают и лгуны. Ты, например, лгун. Записано ясно: подговаривал разрушить храм. Так свидетельствуют люди.

— Эти добрые люди, — заговорил арестант и, торопливо прибавив: — игемон, — продолжал: — ничему не учились и все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной.

Наступило молчание. Теперь уже оба больные глаза тяжело глядели на арестанта.

— Повторяю тебе, но в последний раз: перестань притворяться сумасшедшим, разбойник, — произнес Пилат мягко и монотонно, — за тобою записано немного, но записанного достаточно, чтобы тебя повесить.

— Нет, нет, игемон, — весь напрягаясь в желании убедить, говорил арестованный, — ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил. Я его умолял: сожги ты, Бога ради, свой пергамент! Но он вырвал его у меня из рук и убежал.

— Кто такой? — брезгливо спросил Пилат и тронул висок рукой.

— Левий Матвей, — охотно объяснил арестант, — он был сборщиком податей, и я с ним встретился

впервые на дороге в Виффагии, там, где углом выходит фиговый сад, и разговорился с ним. Первоначально он отнесся ко мне неприязненно и даже оскорблял меня, то есть думал, что оскорбляет, называя меня собакой, — тут арестант усмехнулся, — я лично не вижу ничего дурного в этом звере, чтобы обижаться на это слово...

Секретарь перестал записывать и исподтишка бросил удивленный взгляд, но не на арестованного, а на прокуратора.

— ...однако, послушав меня, он стал смягчаться, — продолжал Иешуа, — наконец бросил деньги на дорогу и сказал, что пойдет со мною путешествовать...

Пилат усмехнулся одною щекой, оскалив желтые зубы, и промолвил, повернувшись всем туловищем к секретарю:

— О, город Ершалаим! Чего только не услышишь в нем! Сборщик податей, вы слышите, бросил деньги на дорогу!

Не зная, как ответить на это, секретарь счел нужным повторить улыбку Пилата.

— А он сказал, что деньги ему отныне стали ненавистны, — объяснил Иешуа странные действия Левия Матвея и добавил: — И с тех пор он стал моим спутником.

Все еще скалясь, прокуратор поглядел на арестованного, затем на солнце, неуклонно поднимающееся вверх над конными статуями гипподрома, лежащего далеко внизу направо, и вдруг в какой-то тошной муке подумал о том, что проще всего было бы изгнать с балкона этого странного разбойника, произнеся только два слова: «Повесить его». Изгнать и конвой, уйти из колоннады внутрь дворца, велеть затемнить комнату, повалиться на ложе, потребовать холодной воды, жалобным голосом позвать собаку Банга, пожаловаться ей на гемикранию. И мысль об яде вдруг соблазнительно мелькнула в больной голове прокуратора.

Он смотрел мутными глазами на арестованного и некоторое время молчал, мучительно вспоминая, зачем на утреннем безжалостном ершалаимском солнцепеке стоит перед ним арестант с обезображенным побоями лицом и какие еще никому не нужные вопросы ему придется задавать.

— Левий Матвей? — хриплым голосом спросил больной и закрыл глаза.

— Да, Левий Матвей, — донесся до него высокий, мучающий его голос.

— А вот что ты все-таки говорил про храм толпе на базаре?

Голос отвечавшего, казалось, колот Пилату в висок, был невыразимо мучителен, и этот голос говорил:

— Я, игемон, говорил о том, что рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины. Сказал так, чтобы было понятнее.

— Зачем же ты, бродяга, на базаре смутил народ, рассказывая про истину, о которой ты не имеешь представления? Что такое истина?

И тут прокуратор подумал: «О боги мои! Я спрашиваю его о чем-то ненужном на суде... Мой ум не служит мне больше...» И опять померещилась ему чаша с темной жидкостью. «Яду мне, яду...»

И вновь он услышал голос:

— Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе трудно даже глядеть на меня. И сейчас я невольно являюсь твоим палачом, что меня огорчает. Ты не можешь даже и думать о чем-нибудь и мечтаешь только о том, чтобы пришла твоя собака, единственное, по-видимому, существо, к которому ты привязан. Но мучения твои сейчас кончатся, голова пройдет.

Секретарь вытаращил глаза на арестанта и не дописал слова.

Пилат поднял мученические глаза на арестанта и увидел, что солнце уже довольно высоко стоит над гипподромом, что луч пробрался в колоннаду и подползает к стоптанным сандалиям Иешуа, что тот сторонится от солнца.

Тут прокуратор поднялся с кресла, сжал голову руками, и на желтоватом бритом лице его выразился ужас. Но он тотчас же подавил его своею волей и вновь опустил в кресло.

Арестант же тем временем продолжал свою речь, но секретарь ничего более не записывал, а только, вытянув шею, как гусь, старался не проронить ни одного слова.

— Ну вот, все и кончилось, — говорил арестованный, благожелательно поглядывая на Пилата, — и я чрезвычайно этому рад. Я советовал бы тебе, игемон, оставить на время дворец и погулять пешком где-ни-

будь в окрестностях, ну хотя бы в садах на Елеонской горе. Гроза начнется... — арестант повернулся, прищурился на солнце, — ...позже, к вечеру. Прогулка принесла бы тебе большую пользу, а я с удовольствием сопровождал бы тебя. Мне пришли в голову кое-какие новые мысли, которые могли бы, полагаю, показаться тебе интересными, и я охотно поделился бы ими с тобой, тем более что ты производишь впечатление очень умного человека.

Секретарь смертельно побледнел и уронил свиток на пол.

— Беда в том, — продолжал никем не останавливаемый связанный, — что ты слишком замкнут и окончательно потерял веру в людей. Ведь нельзя же, согласись, поместить всю свою привязанность в собаку. Твоя жизнь скудна, игемон, — и тут говорящий позволил себе улыбнуться.

Секретарь думал теперь только об одном, верить ли ему ушам своим или не верить. Приходилось верить. Тогда он постарался представить себе, в какую именно причудливую форму выльется гнев вспыльчивого прокуратора при этой неслыханной дерзости арестованного. И этого секретарь представить себе не мог, хотя и хорошо знал прокуратора.

Тогда раздался сорванный, хриповатый голос прокуратора, по-латыни сказавшего:

— Развяжите ему руки.

Один из конвойных легионеров стукнул копьем, передал его другому, подошел и снял веревки с арестанта. Секретарь поднял свиток, решил пока что ничего не записывать и ничему не удивляться.

— Сознайся, — тихо по-гречески спросил Пилат, — ты великий врач?

— Нет, прокуратор, я не врач, — ответил арестант, с наслаждением потирая измятую и опухшую багровую кисть руки.

Круто исподлобья Пилат буравил глазами арестанта, и в этих глазах уже не было мути, в них появились всем знакомые искры.

— Я не спросил тебя, — сказал Пилат, — ты, может быть, знаешь и латинский язык?

— Да, знаю, — ответил арестант.

Краска выступила на желтоватых щеках Пилата, и он спросил по-латыни:

— Как ты узнал, что я хотел позвать собаку?

— Это очень просто, — ответил арестант по-латыни, — ты водил рукой по воздуху, — и арестант повторил жест Пилата, — как будто хотел погладить, и губы...

— Да, — сказал Пилат.

Помолчали. Потом Пилат задал вопрос по-гречески:

— Итак, ты врач?

— Нет, нет, — живо ответил арестант, — поверь мне, я не врач.

— Ну, хорошо. Если хочешь это держать в тайне, держи. К делу это прямого отношения не имеет. Так ты утверждаешь, что не призывал разрушить... или поджечь, или каким-либо иным способом уничтожить храм?

— Я, игемон, никого не призывал к подобным действиям, повторяю. Разве я похож на слабоумного?

— О да, ты не похож на слабоумного, — тихо ответил прокуратор и улыбнулся какой-то страшной улыбкой, — так поклянись, что этого не было.

— Чем хочешь ты, чтобы я поклялся? — спросил, очень оживившись, развязанный.

— Ну, хотя бы жизнью твоею, — ответил прокуратор, — ею клясться самое время, так как она висит на волоске, знай это.

— Не думаешь ли ты, что ты ее подвесил, игемон? — спросил арестант. — Если это так, ты очень ошибаешься.

Пилат вздрогнул и ответил сквозь зубы:

— Я могу перерезать этот волосок.

— И в этом ты ошибаешься, — светло улыбаясь и заслоняясь рукой от солнца, возразил арестант, — согласишься, что перерезать волосок уж наверно может лишь тот, кто подвесил?

— Так, так, — улынувшись, сказал Пилат, — теперь я не сомневаюсь в том, что праздные зеваки в Ершалаиме ходили за тобою по пятам. Не знаю, кто подвесил твой язык, но подвешен он хорошо. Кстати, скажи: верно ли, что ты явился в Ершалаим через Сузские ворота верхом на осле, сопровождаемый толпою черни, кричавшей тебе приветствия как бы некоему пророку? — тут прокуратор указал на свиток пергамента.

Арестант недоуменно поглядел на прокуратора.

— У меня и осла-то никакого нет, игемон, — сказал

он. — Пришел я в Ершалаим точно через Сузские ворота, но пешком, в сопровождении одного Левия Матвея, и никто мне ничего не кричал, так как никто меня тогда в Ершалаиме не знал.

— Не знаешь ли ты таких, — продолжал Пилат, не сводя глаз с арестанта, — некоего Дисмаса, другого — Гестаса и третьего — Вар-раввана?

— Этих добрых людей я не знаю, — ответил арестант.

— Правда?

— Правда.

— А теперь скажи мне, что это ты все время употребляешь слова «добрые люди»? Ты всех, что ли, так называешь?

— Всех, — ответил арестант, — злых людей нет на свете.

— Впервые слышу об этом, — сказал Пилат, усмехнувшись, — но, может быть, я мало знаю жизнь!.. Можете дальнейшее не записывать, — обратился он к секретарю, хотя тот и так ничего не записывал, и продолжал говорить арестанту: — В какой-нибудь из греческих книг ты прочел об этом?

— Нет, я своим умом дошел до этого.

— И ты проповедуешь это?

— Да.

— А вот, например, кентурион Марк, его прозвали Крысобоєм, — он — добрый?

— Да, — ответил арестант, — он, правда, несчастливый человек. С тех пор как добрые люди изуродовали его, он стал жесток и черств. Интересно бы знать, кто его искалечил?

— Охотно могу сообщить это, — отозвался Пилат, — ибо я был свидетелем этого. Добрые люди бросались на него, как собаки на медведя. Германцы вцепились ему в шею, в руки, в ноги. Пехотный манипул попал в мешок, и если бы не врубилась с фланга кавалерийская турма, а командовал ею я, — тебе, философ, не пришлось бы разговаривать с Крысобоєм. Это было в бою при Идиставизо, в Долине Дев.

— Если бы с ним поговорить, — вдруг мечтательно сказал арестант, — я уверен, что он резко изменился бы.

— Я полагаю, — отозвался Пилат, — что мало радости ты доставил бы легату легиона, если бы вздумал

разговаривать с кем-нибудь из его офицеров или солдат. Впрочем, этого и не случится, к общему счастью, и первый, кто об этом позаботится, буду я.

В это время в колоннаду стремительно влетела ласточка, сделала под золотым потолком круг, снизилась, чуть не задела острым крылом лица медной статуи в нише и скрылась за капителью колонны. Быть может, ей пришла мысль вить там гнездо.

В течение ее полета в светлой теперь и легкой голове прокуратора сложилась формула. Она была такова: игемон разобрал дело бродячего философа Иешуа, по кличке Га-Ноцри, и состава преступления в нем не нашел. В частности, не нашел ни малейшей связи между действиями Иешуа и беспорядками, происшедшими в Ершалаиме недавно. Бродячий философ оказался душевнобольным. Вследствие этого смертный приговор Га-Ноцри, вынесенный Малым Синедрионом, прокуратор не утверждает. Но ввиду того, что безумные утопические речи Га-Ноцри могут быть причиной волнений в Ершалаиме, прокуратор удаляет Иешуа из Ершалаима и подвергнет его заключению в Кесарии Стратоновой на Средиземном море, то есть именно там, где резиденция прокуратора.

Оставалось это продиктовать секретарю.

Крылья ласточки фыркнули над самой головой игемона, птица метнулась к чаше фонтана и вылетела на волю. Прокуратор поднял глаза на арестанта и увидел, что возле того столбом загорелась пыль.

— Всё о нем? — спросил Пилат у секретаря.

— Нет, к сожалению, — неожиданно ответил секретарь и подал Пилату другой кусок пергамента.

— Что еще там? — спросил Пилат и нахмурился.

Прочитав поданное, он еще более изменился в лице. Темная ли кровь прилила к шее и лицу, или случилось что-либо другое, но только кожа его утратила желтизну, побурела, а глаза как будто провалились.

Опять-таки виновата была, вероятно, кровь, прилившая к вискам и застучавшая в них, только у прокуратора что-то случилось со зрением. Так, померещилось ему, что голова арестанта уплыла куда-то, а вместо нее появилась другая. На этой плешивой голове сидел редкозубый золотой венец. На лбу была круглая язва, разъедающая кожу и смазанная мазью. Запавший беззубый рот с отвисшей нижней капризной губой. Пила-

ту показалось, что исчезли розовые колонны балкона и кровли Ершалаима вдали, внизу за садом, и все утонуло вокруг в густейшей зелени капрейских садов. И со слухом совершилось что-то странное — как будто вдали проиграли негромко и грозно трубы и очень явственно послышался носовой голос, надменно тянущий слова: «Закон об оскорблении величества...»

Мысли понеслись короткие, бессвязные и необыкновенные: «Погиб!...», потом: «Погибли!...» И какая-то совсем нелепая среди них о каком-то бессмертии, причем бессмертие почему-то вызвало нестерпимую тоску.

Пилат напрягся, изгнал видение, вернулся взором на балкон, и опять перед ним оказались глаза арестанта.

— Слушай, Га-Ноцри, — заговорил прокуратор, глядя на Иешуа как-то странно: лицо прокуратора было грозно, но глаза тревожны, — ты когда-либо говорил что-нибудь о великом кесаре? Отвечай! Говорил?.. Или... не... говорил? — Пилат протянул слово «не» несколько больше, чем это полагается на суде, и послал Иешуа в своем взгляде какую-то мысль, которую как бы хотел внушить арестанту.

— Правду говорить легко и приятно, — заметил арестант.

— Мне не нужно знать, — придушенным, злым голосом отозвался Пилат, — приятно или неприятно тебе говорить правду. Но тебе придется ее говорить. Но, говоря, взвешивай каждое слово, если не хочешь не только неизбежной, но и мучительной смерти.

Никто не знает, что случилось с прокуратором Иудей, но он позволил себе поднять руку, как бы заслоняясь от солнечного луча, и за этой рукой, как за щитом, послать арестанту какой-то намекающий взор.

— Итак, — говорил он, — отвечай, знаешь ли ты некоего Иуду из Кириафа, и что именно ты говорил ему, если говорил, о кесаре?

— Дело было так, — охотно начал рассказывать арестант, — позавчера вечером я познакомился возле храма с одним молодым человеком, который назвал себя Иудой из города Кириафа. Он пригласил меня к себе в дом в Нижнем Городе и угостил...

— Добрый человек? — спросил Пилат, и дьявольский огонь сверкнул в его глазах.

— Очень добрый и любознательный человек, — под-

твердил арестант, — он выказал величайший интерес к моим мыслям, принял меня весьма радушно...

— Светильники зажег... — сквозь зубы в тон арестанту проговорил Пилат, и глаза его при этом мерцали.

— Да, — немного удивившись осведомленности прокуратора, продолжал Иешуа, — попросил меня высказать свой взгляд на государственную власть. Его этот вопрос чрезвычайно интересовал.

— И что же ты сказал? — спросил Пилат. — Или ты ответишь, что ты забыл, что говорил? — но в тоне Пилата была уже безнадежность.

— В числе прочего я говорил, — рассказывал арестант, — что всякая власть является насилием над людьми и что настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть.

— Далее!

— Далее ничего не было, — сказал арестант, — тут вбежали люди, стали вязать меня и повели в тюрьму.

Секретарь, стараясь не проронить ни слова, быстро чертил на пергаменте слова.

— На свете не было, нет и не будет никогда более великой и прекрасной для людей власти, чем власть императора Тиверия! — сорванный и больной голос Пилата разорся.

Прокуратор с ненавистью почему-то глядел на секретаря и конвой.

— И не тебе, безумный преступник, рассуждать о ней! — тут Пилат вскричал: — Вывести конвой с балкона! — И, повернувшись к секретарю, добавил: — Оставьте меня с преступником наедине, здесь государственное дело.

Конвой поднял копы и, мерно стуча подкованными калигами, вышел с балкона в сад, а за конвоем вышел и секретарь.

Молчание на балконе некоторое время нарушала только песня воды в фонтане. Пилат видел, как вздувалась над трубочкой водяная тарелка, как отламывались ее края, как падали струйками.

Первым заговорил арестант:

— Я вижу, что совершилась какая-то беда из-за того, что я говорил с этим юношей из Кириафа. У меня,

игемон, есть предчувствие, что с ним случится несчастье, и мне его очень жаль.

— Я думаю, — странно усмехнувшись, ответил прокуратор, — что есть еще кое-кто на свете, кого тебе следовало бы пожалеть более, чем Иуду из Кириафа, и кому придется гораздо хуже, чем Иуде!.. Итак, Марк Крысобой, холодный и убежденный палач, люди, которые, как я вижу, — прокуратор указал на изуродованное лицо Иешуа, — тебя били за твои проповеди, разбойники Дисмас и Гестас, убившие со своими присными четырех солдат, и, наконец, грязный предатель Иуда — все они добрые люди?

— Да, — ответил арестант.

— И настанет царство истины?

— Настанет, игемон, — убежденно ответил Иешуа.

— Оно никогда не настанет! — вдруг закричал Пилат таким страшным голосом, что Иешуа отшатнулся. Так много лет тому назад в Долине Дев кричал Пилат своим всадникам слова: «Руби их! Руби их! Великан Крысобой попался!» Он еще повысил сорванный командами голос, выкликая слова так, чтобы их слышали в саду: — Преступник! Преступник! Преступник!

А затем, понизив голос, он спросил:

— Иешуа Га-Ноцри, веришь ли ты в каких-нибудь богов?

— Бог один, — ответил Иешуа, — в него я верю.

— Так помолись ему! Покрепче помолись! Впрочем... — тут голос Пилата сел, — это не поможет. Жены нет? — почему-то тоскливо спросил Пилат, не понимая, что с ним происходит.

— Нет, я один.

— Ненавистный город... — вдруг почему-то пробормотал прокуратор и передернул плечами, как будто озяб, а руки потер, как бы обмывая их, — если бы тебя зарезали перед твоим свиданием с Иудой из Кириафа, право, это было бы лучше.

— А ты бы меня отпустил, игемон, — неожиданно попросил арестант, и голос его стал тревожен, — я вижу, что меня хотят убить.

Лицо Пилата исказилось судорогой, он обратился к Иешуа воспаленные, в красных жилках белки глаз и сказал:

— Ты полагаешь, несчастный, что римский прокуратор отпустит человека, говорившего то, что говорил

ты? О боги, боги! Или ты думаешь, что я готов занять твое место? Я твоих мыслей не разделяю! И слушай меня: если с этой минуты ты произнесешь хотя бы слово, заговоришь с кем-нибудь, берегись меня! Повторяю тебе: берегись!

— Игемон...

— Молчать! — вскричал Пилат и бешеным взором проводил ласточку, опять впорхнувшую на балкон. — Ко мне! — крикнул Пилат.

И когда секретарь и конвой вернулись на свои места, Пилат объявил, что утверждает смертный приговор, вынесенный в собрании Малого Синедриона преступнику Иешуа Га-Ноцри, и секретарь записал сказанное Пилатом.

Через минуту перед прокуратором стоял Марк Крысобой. Ему прокуратор приказал сдать преступника начальнику тайной службы и при этом передать ему распоряжение прокуратора о том, чтобы Иешуа Га-Ноцри был отделен от других осужденных, а также о том, чтобы команде тайной службы было под страхом тяжелой кары запрещено о чем бы то ни было разговаривать с Иешуа или отвечать на какие-либо его вопросы.

По знаку Марка вокруг Иешуа сомкнулся конвой и вывел его с балкона.

Затем перед прокуратором предстал светлорылый красавец с орлиными перьями в гребне шлема, со сверкающими на груди золотыми львиными мордами, с золотыми же бляшками на портупее меча, в зашнурованной до колен обуви на тройной подошве и в наброшенном на левое плечо багряном плаще. Это был командующий легионом легат.

Его прокуратор спросил о том, где сейчас находится себасти́йская когорта. Легат сообщил, что себасти́йцы держат оцепление на площади перед гипподромом, где будет объявлен народу приговор над преступниками.

Тогда прокуратор распорядился, чтобы легат выделил из римской когорты две кентурии. Одна из них, под командою Крысобоя, должна будет конвоировать преступников, повозки с приспособлениями для казни и палачей при отправлении на Лысую Гору, а при прибытии на нее войти в верхнее оцепление. Другая же должна быть сейчас же отправлена на Лысую Гору и начинать оцепление немедленно. Для этой же цели, то есть для охраны Горы, прокуратор попросил легата от-

править вспомогательный кавалерийский полк — сирийскую алу.

Когда легат покинул балкон, прокуратор приказал секретарю пригласить во дворец президента Синедриона, двух членов его и начальника храмовой стражи Ершалаима, но при этом добавил, что просит устроить так, чтобы до совещания со всеми этими людьми он мог говорить с президентом раньше и наедине.

Приказание прокуратора было исполнено быстро и точно, и солнце, с какою-то необыкновенною яростью сжигавшее в эти дни Ершалаим, не успело еще приблизиться к своей наивысшей точке, когда на верхней террасе сада у двух мраморных белых львов, стороживших лестницу, встретились прокуратор и исполняющий обязанности президента Синедриона первосвященник иудейский Иосиф Каифа.

В саду было тихо. Но, выйдя из-под колоннады на заливаемую солнцем верхнюю площадь сада с пальмами на чудовищных слоновых ногах, площадь, с которой перед прокуратором развернулся весь ненавистный ему Ершалаим с висячими мостами, крепостями и, самое главное, с не поддающейся никакому описанию глыбой мрамора с золотою драконовой чешуею вместо крыши — храмом Ершалаимским, — острым слухом уловил прокуратор далеко и внизу, там, где каменная стена отделяла нижние террасы дворцового сада от городской площади, низкое ворчание, над которым взмывали по временам слабенькие, тонкие не то стоны, не то крики.

Прокуратор понял, что там на площади уже собралась несметная толпа взволнованных последними беспорядками жителей Ершалаима, что эта толпа в нетерпении ожидает вынесения приговора и что в ней кричат беспокойные продавцы воды.

Прокуратор начал с того, что пригласил первосвященника на балкон, с тем чтобы укрыться от безжалостного зноя, но Каифа вежливо извинился и объяснил, что сделать этого не может в канун праздника. Пилат накинул капюшон на свою чуть лысеющую голову и начал разговор. Разговор этот шел по-гречески.

Пилат сказал, что он разобрал дело Иешуа Га-Ноцри и утвердил смертный приговор.

Таким образом, к смертной казни, которая должна совершиться сегодня, приговорены трое разбойников:

Дисмас, Гестас, Вар-равван и, кроме того, этот Иешуа Га-Ноцри. Первые двое, вздумавшие подбивать народ на бунт против кесаря, взяты с боем римскою властью, числятся за прокуратором, и, следовательно, о них здесь речь идти не будет. Последние же, Вар-равван и Га-Ноцри, схвачены местной властью и осуждены Синедрионом. Согласно закону, согласно обычаю, одного из этих двух преступников нужно будет отпустить на свободу в честь наступающего сегодня великого праздника пасхи.

Итак, прокуратор желает знать, кого из двух преступников намерен освободить Синедрион: Вар-раввана или Га-Ноцри?

Каифа склонил голову в знак того, что вопрос ему ясен, и ответил:

— Синедрион просит отпустить Вар-раввана.

Прокуратор хорошо знал, что именно так ему ответит первосвященник, но задача его заключалась в том, чтобы показать, что такой ответ вызывает его изумление.

Пилат это и сделал с большим искусством. Брови на надменном лице поднялись, прокуратор прямо в глаза поглядел первосвященнику с удивлением.

— Признаюсь, этот ответ меня поразил, — мягко заговорил прокуратор, — боюсь, нет ли здесь недоразумения.

Пилат объяснился. Римская власть ничуть не покушается на права духовной местной власти, первосвященнику это хорошо известно, но в данном случае налицо явная ошибка. И в исправлении этой ошибки римская власть, конечно, заинтересована.

В самом деле: преступления Вар-раввана и Га-Ноцри совершенно не сравнимы по тяжести. Если второй, явно сумасшедший человек, повинен в произнесении нелепых речей, смущавших народ в Ершалаиме и других некоторых местах, то первый отягощен гораздо значительнее. Мало того, что он позволил себе прямые призывы к мятежу, но он еще убил стража при попытках брать его. Вар-равван несравненно опаснее, нежели Га-Ноцри.

В силу всего изложенного прокуратор просит первосвященника пересмотреть решение и оставить на свободе того из двух осужденных, кто менее вреден, а таким, без сомнения, является Га-Ноцри. Итак?..

Каифа сказал тихим, но твердым голосом, что Синедрион внимательно ознакомился с делом и вторично сообщает, что намерен освободить Вар-раввана.

— Как? Даже после моего ходатайства? Ходатайства того, в лице которого говорит римская власть? Первосвященник, повтори в третий раз.

— И в третий раз сообщаю, что мы освобождаем Вар-раввана, — тихо сказал Каифа.

Все было кончено, и говорить более было не о чем. Га-Ноцри уходил навсегда, и страшные, злые боли прокуратора некому излечить; от них нет средства, кроме смерти. Но не эта мысль поразила сейчас Пилата. Все та же непонятная тоска, что уже приходила на балконе, пронизала все его существо. Он тотчас постарался ее объяснить, и объяснение было странное: показалось смутно прокуратору, что он чего-то не договорил с осужденным, а может быть, чего-то не дослушал.

Пилат прогнал эту мысль, и она улетела в одно мгновение, как и прилетела. Она улетела, а тоска осталась необъясненной, ибо не могла же ее объяснить мелькнувшая как молния и тут же погасшая какая-то короткая другая мысль: «Бессмертие... пришло бессмертие...» Чье бессмертие пришло? Этого не понял прокуратор, но мысль об этом загадочном бессмертии заставила его похолодеть на солнцепеке.

— Хорошо, — сказал Пилат, — да будет так.

Тут он оглянулся, окинул взором видимый ему мир и удивился происшедшей перемене. Пропал отягощенный розами куст, пропали кипарисы, окаймляющие верхнюю террасу, и гранатовое дерево, и белая статуя в зелени, да и сама зелень. Поплыла вместо этого всего какая-то багровая гуща, в ней закачались водоросли и двинулись куда-то, а вместе с ними двинулся и сам Пилат. Теперь его уносил, удушая и обжигая, самый страшный гнев — гнев бессилия.

— Тесно мне, — вымолвил Пилат, — тесно мне!

Он холодной влажной рукой рванул пряжку с ворота плаща, и та упала на песок.

— Сегодня душно, где-то идет гроза, — отозвался Каифа, не сводя глаз с покрасневшего лица прокуратора и предвидя все муки, которые еще предстоят. «О, какой страшный месяц нисан в этом году!»

— Нет, — сказал Пилат, — это не оттого, что душно, а тесно мне стало с тобой, Каифа. — И, сузив глаза,

Пилат улыбнулся и добавил: — Побереги себя, первосвященник.

Темные глаза первосвященника блеснули, и не хуже, чем ранее прокуратор, он выразил на своем лице удивление.

— Что слышу я, прокуратор? — гордо и спокойно ответил Каифа. — Ты угрожаешь мне после вынесенного приговора, утвержденного тобою самим? Может ли это быть? Мы привыкли к тому, что римский прокуратор выбирает слова, прежде чем что-нибудь сказать. Не услышал бы нас кто-нибудь, игемон?

Пилат мертвыми глазами поглядел на первосвященника и, оскалившись, изобразил улыбку.

— Что ты, первосвященник! Кто же может услышать нас сейчас здесь? Разве я похож на юного бродячего юродивого, которого сегодня казнят? Мальчик ли я, Каифа? Знаю, что говорю и где говорю. Оцеплен сад, оцеплен дворец, так что мышь не проникнет ни в какую щель! Да не только мышь, не проникнет даже этот, как его... из города Кириафа. Кстати, ты знаешь такого, первосвященник? Да... если бы такой проник сюда, он горько пожалел бы себя, в этом ты мне, конечно, согласишься? Так знай же, что не будет тебе, первосвященник, отныне покоя! Ни тебе, ни народу моему, — и Пилат указал вдаль направо, туда, где в высоте пылал храм, — это я говорю тебе — Пилат Понтийский, всадник Золотое Копье!

— Знаю, знаю! — бесстрашно ответил чернобородый Каифа, и глаза его сверкнули. Он вознес руку к небу и продолжал: — Знает народ иудейский, что ты ненавидишь его лютою ненавистью и много мучений ты ему причинишь, но вовсе ты его не погубишь! Защитит его Бог! Услышит нас, услышит всемогущий кесарь, укроет нас от губителя Пилата!

— О нет! — воскликнул Пилат, и с каждым словом ему становилось легче и легче: не нужно было больше притворяться, не нужно было подбирать слова. — Слишком много ты жаловался кесарю на меня, и настал теперь мой час, Каифа! Теперь полетит весть от меня, да не наместнику в Антиохию и не в Рим, а прямо на Капрею, самому императору, весть о том, как вы заведомых мятежников в Ершалаиме прячете от смерти. И не водою из Соломонова пруда, как хотел я для вашей пользы, напою я тогда Ершалаим! Нет, не

водою! Вспомни, как мне пришлось из-за вас снимать щиты с вензелями императора со стен, перемещать войска, пришлось, видишь, самому приехать, глядеть, что у вас тут творится! Вспомни мое слово: увидишь ты здесь, первосвященник, не одну когорту в Ершалаиме, нет! Придет под стены города полностью легион Фульмината, подойдет арабская конница, тогда услышишь ты горький плач и стенания! Вспомнишь ты тогда спасенного Вар-раввана и пожалеешь, что послал на смерть философа с его мирною проповедью!

Лицо первосвященника покрылось пятнами, глаза горели. Он, подобно прокуратору, улыбнулся, скалясь, и ответил:

— Веришь ли ты, прокуратор, сам тому, что сейчас говоришь? Нет, не веришь! Не мир, не мир принес нам обольститель народа в Ершалаим, и ты, всадник, это прекрасно понимаешь. Ты хотел его выпустить затем, чтобы он смутил народ, над верою надругался и подвел народ под римские мечи! Но я, первосвященник иудейский, покуда жив, не дам на поругание веру и защиту народ! Ты слышишь, Пилат? — И тут Каифа грозно поднял руку: — Прислушайся, прокуратор!

Каифа смолк, и прокуратор услышал опять как бы шум моря, подкатывающего к самым стенам сада Ирода Великого. Этот шум поднимался снизу к ногам и в лицо прокуратору. А за спиною у него, там, за крыльями дворца, слышались тревожные трубные сигналы, тяжкий хруст сотен ног, железное бряцание, — тут прокуратор понял, что римская пехота уже выходит, согласно его приказу, стремясь на страшный для бунтовщиков и разбойников предсмертный парад.

— Ты слышишь, прокуратор? — тихо повторил первосвященник. — Неужели ты скажешь мне, что все это, — тут первосвященник поднял обе руки, и темный капюшон свалился с его головы, — вызвал жалкий разбойник Вар-равван?

Прокуратор тыльной стороной кисти руки вытер мокрый, холодный лоб, поглядел в землю, потом, прищурившись в небо, увидел, что раскаленный шар почти над самой его головой, а тень Каифы совсем съехала на львиного хвоста, и сказал тихо и равнодушно:

— Дело идет к полудню. Мы увлеклись беседою, а между тем надо продолжать.

В изысканных выражениях извинившись перед пер-

восвященником, он попросил его присесть на скамью в тени магнолии и обождать, пока он вызовет остальных лиц, нужных для последнего краткого совещания, и отдаст еще одно распоряжение, связанное с казнью.

Каифа вежливо поклонился, приложив руку к сердцу, и остался в саду, а Пилат вернулся на балкон. Там ожидавшему его секретарю он велел пригласить в сад легата легиона, трибуна когорты, а также двух членов Синедриона и начальника храмовой стражи, ожидавших вызова на нижней террасе сада в круглой беседке с фонтаном. К этому Пилат добавил, что он тотчас выйдет в сад и сам, и удалился внутрь дворца.

Пока секретарь собирал совещание, прокуратор в затененной от солнца темными шторами комнате имел свидание с каким-то человеком, лицо которого было наполовину прикрыто капюшоном, хотя в комнате лучи солнца и не могли его беспокоить. Свидание это было чрезвычайно кратко. Прокуратор тихо сказал человеку несколько слов, после чего тот удалился, а Пилат через колоннаду прошел в сад.

Там в присутствии всех, кого он желал видеть, прокуратор торжественно и сухо подтвердил, что он утверждает смертный приговор Иешуа Га-Ноцри, и официально осведомился у членов Синедриона о том, кого из преступников угодно оставить в живых. Получив ответ, что это — Вар-равван, прокуратор сказал:

— Очень хорошо, — и велел секретарю тут же занести это в протокол, сжал в руке поднятую секретарем с песка пряжку и торжественно сказал: — Пора!

Тут все присутствующие тронулись вниз по широкой мраморной лестнице меж стен роз, источавших одуряющий аромат, спускаясь все ниже и ниже к дворцовой стене, к воротам, выводящим на большую, гладко вымощенную площадь, в конце которой виднелись колонны и статуи ершалаимского ристалища.

Лишь только группа, выйдя из сада на площадь, поднялась на обширный царящий над площадью каменный помост, Пилат, оглядываясь сквозь прищуренные веки, разобрался в обстановке. То пространство, которое он только что прошел, то есть пространство от дворцовой стены до помоста, было пусто, но зато впереди себя Пилат площади уже не увидел — ее съела толпа. Она залила бы и самый помост, и то очищенное пространство, если бы тройной ряд себастийских сол-

дат по левую руку Пилата и солдат итурейской вспомогательной когорты по правую — не держал ее.

Итак, Пилат поднялся на помост, сжимая машинально в кулаке ненужную пряжку и шурясь. Щурился прокуратор не оттого, что солнце жгло ему глаза, нет! Он не хотел почему-то видеть группу осужденных, которых, как он это прекрасно знал, сейчас вслед за ним возводят на помост.

Лишь только белый плащ с багряной подбивкой возник в высоте на каменном утесе над краем человеческого моря, незрячему Пилату в уши ударила звуковая волна: «Га-а-а...» Она началась негромко, зародившись где-то вдали у гипподрома, потом стала громоподобной и, продержавшись несколько секунд, начала спадать. «Увидели меня», — подумал прокуратор. Волна не дошла до низшей точки и неожиданно стала опять вырастать и, качаясь, поднялась выше первой, и на второй волне, как на морском валу вскипает пена, вскипел свист и отдельные, сквозь гром различные, женские стоны. «Это их ввели на помост... — подумал Пилат, — а стоны оттого, что задавили нескольких женщин, когда толпа подалась вперед».

Он выждал некоторое время, зная, что никакою силой нельзя заставить умолкнуть толпу, пока она не выдохнет все, что накопилось у нее внутри, и не смолкнет сама.

И когда этот момент наступил, прокуратор выбросил вверх правую руку, и последний шум сдуло с толпы.

Тогда Пилат набрал, сколько мог, горячего воздуха в грудь и закричал, и сорванный его голос понесло над тысячами голов:

— Именем кесаря императора!..

Тут в уши ему ударил несколько раз железный рубленый крик — в когортах, взбросив вверх копыя и значки, страшно прокричали солдаты:

— Да здравствует кесарь!!

Пилат задрал голову и уткнул ее прямо в солнце. Под веками у него вспыхнул зеленый огонь, от него загорелся мозг, и над толпою полетели хриплые арамейские слова:

— Четверо преступников, арестованных в Ершалаиме за убийства, подстрекательства к мятежу и оскорбление законов и веры, приговорены к позорной каз-

ни — повешению на столбах! И эта казнь сейчас совершится на Лысой Горе! Имена преступников — Дисмас, Гестас, Вар-равван и Га-Ноцри. Вот они перед вами!

Пилат указал вправо рукой, не видя никаких преступников, но зная, что они там, на месте, где им нужно быть.

Толпа ответила длинным гулом как бы удивления или облегчения. Когда же он потух, Пилат продолжал:

— Но казнены из них будут только трое, ибо, согласно закону и обычаю, в честь праздника пасхи одному из осужденных, по выбору Малого Синедриона и по утверждению римской власти, великодушный кесарь-император возвращает его презренную жизнь!

Пилат выкрикивал слова и в то же время слушал, как на смену гулу идет великая тишина. Теперь ни вздоха, ни шороха не доносилось до его ушей, и даже настало мгновенье, когда Пилату показалось, что все кругом вообще исчезло. Ненавидимый им город умер, и только он один стоит, сжигаемый отвесными лучами, упершись лицом в небо. Пилат еще придержал тишину, а потом начал выкрикивать:

— Имя того, кого сейчас при вас отпустят на свободу...

Он сделал еще одну паузу, задерживая имя, проверяя, все ли сказал, потому что знал, что мертвый город воскреснет после произнесения имени счастливец и никакие дальнейшие слова слышны быть не могут.

«Все? — беззвучно шепнул себе Пилат. — Все. Имя!»

И, раскатив букву «р» над молчащим городом, он прокричал:

— Вар-равван!

Тут ему показалось, что солнце, зазвенев, лопнуло над ним и залило ему огнем уши. В этом огне бушевали рев, визги, стоны, хохот и свист.

Пилат повернулся и пошел по помосту назад к ступеням, не глядя ни на что, кроме разноцветных шашек настила под ногами, чтобы не оступиться. Он знал, что теперь у него за спиной на помост градом летят бронзовые монеты, финики, что в воющей толпе люди, давя друг друга, лезут на плечи, чтобы увидеть своими глазами чудо — как человек, который уже был в руках смерти, вырвался из этих рук! Как легионеры снимают с него веревки, невольно причиняя ему жгучую боль в

вывихнутых на допросе руках, как он, морщась и охая, все же улыбается бессмысленной сумасшедшей улыбкой.

Он знал, что в это же время конвой уже ведет к боковым ступеням трех со связанными руками, чтобы выводить их на дорогу, ведущую на запад, за город, к Лысой Горе. Лишь оказавшись за помостом, в тылу его, Пилат открыл глаза, зная, что он теперь в безопасности — осужденных он видеть уже не мог.

К стону начинавшей утихать толпы примешались и были различимы пронзительные выкрики глашатаев, повторявших одни на арамейском, другие на греческом языках все то, что прокричал с помоста прокуратор. Кроме того, до слуха его долетел дробный, стрекочущий и приближающийся конский топот и труба, что-то коротко и весело прокричавшая. Этим звукам ответил сверлящий свист мальчишек с кровель домов улицы, выводящей с базара на гипподромскую площадь, и крики «берегись!».

Солдат, одиноко стоявший в очищенном пространстве площади со значком в руке, тревожно взмахнул им, и тогда прокуратор, легат легиона, секретарь и конвой остановились.

Кавалерийская ала, забирая все шире рыси, вылетела на площадь, чтобы пересечь ее в сторонке, минуя скопище народа, и по переулку под каменной стеной, по которой стлался виноград, кратчайшей дорогой проскакать к Лысой Горе.

Летящий рысью маленький, как мальчик, темный, как мулат, командир алы — сириец, равняясь с Пилатом, что-то тонко крикнул и выхватил из ножен меч. Злая вороная взмокшая лошадь шарахнулась, поднялась на дыбы. Вбросив меч в ножны, командир ударил плетью лошадь по шее, выровнял ее и поскакал в переулок, переходя в галоп. За ним по три в ряд полетели всадники в туче пыли, запрыгали кончики легких бамбуковых пик, мимо прокуратора понеслись казавшиеся особенно смуглыми под белыми тюрбанами лица с весело оскаленными, сверкающими зубами.

Поднимая до неба пыль, ала ворвалась в переулок, и мимо Пилата последним проскакал солдат с пылающей на солнце трубой за спиной.

Закрываясь от пыли рукой и недовольно морща лицо, Пилат двинулся дальше, устремляясь к воротам

дворцового сада, а за ним двинулся легат, секретарь и конвой.

Было около десяти часов утра.

Глава 3

СЕДЬМОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

— Да, было около десяти часов утра, досточтимый Иван Николаевич, — сказал профессор.

Поэт провел рукою по лицу, как человек, только что очнувшийся, и увидел, что на Патриарших вечер.

Вода в пруде почернела, и легкая лодочка уже скользила по ней, и слышался плеск весла и смешки какой-то гражданки в лодочке. В аллеях на скамейках появилась публика, но опять-таки на всех трех сторонах квадрата, кроме той, где были наши собеседники.

Небо над Москвой как бы выцвело, и совершенно отчетливо была видна в высоте полная луна, но еще не золотая, а белая. Дышать стало гораздо легче, и голоса под липами теперь звучали мягче, по-вечернему.

«Как же это я не заметил, что он успел сплести целый рассказ?.. — подумал Бездомный в изумлении. — Ведь вот уже и вечер! А может быть, это и не он рассказывал, а просто я заснул и все это мне приснилось?»

Но надо полагать, что все-таки рассказывал профессор, иначе придется допустить, что то же самое приснилось и Берлиозу, потому что тот сказал, внимательно всматриваясь в лицо иностранца:

— Ваш рассказ чрезвычайно интересен, профессор, хотя он и совершенно не совпадает с евангельскими рассказами.

— Помилуйте, — снисходительно усмехнувшись, отозвался профессор, — уж кто-кто, а вы-то должны знать, что ровно ничего из того, что написано в Евангелиях, не происходило на самом деле никогда, и если мы начнем ссылаться на Евангелия как на исторический источник... — Он еще раз усмехнулся, и Берлиоз осекся, потому что буквально то же самое он говорил Бездомному, идя с тем по Бронной к Патриаршим прудам.

— Это так, — ответил Берлиоз, — но боюсь, что никто не может подтвердить, что и то, что вы нам рассказывали, происходило на самом деле.

— О нет! Это может кто подтвердить! — начиная говорить ломаным языком, чрезвычайно уверенно ото-звался профессор и неожиданно таинственно поманил обоих приятелей к себе поближе.

Те наклонились к нему с обеих сторон, и он сказал, но уже без всякого акцента, который у него, черт знает почему, то пропадал, то появлялся:

— Дело в том... — тут профессор пугливо оглянулся и заговорил шепотом, — что я лично присутствовал при всем этом. И на балконе был у Понтия Пилата, и в саду, когда он с Каифой разговаривал, и на помосте, но только тайно, инкогнито, так сказать, так что прошу вас — никому ни слова и полнейший секрет!.. Тсс!

Наступило молчание, и Берлиоз побледнел.

— Вы... вы сколько времени в Москве? — дрогнувшим голосом спросил он.

— А я только что сию минуту приехал в Москву, — растерянно ответил профессор, и тут только приятели догадались заглянуть ему как следует в глаза и убедились в том, что левый, зеленый, у него совершенно безумен, а правый — пуст, черен и мертв.

«Вот тебе все и объяснилось! — подумал Берлиоз в смятении. — Приехал сумасшедший немец или только что спятил на Патриарших. Вот так история!»

Да, действительно, объяснилось все: и страннейший завтрак у покойного философа Канта, и дурацкие речи про подсолнечное масло и Аннушку, и предсказание о том, что голова будет отрезана, и все прочее, — профессор был сумасшедший.

Берлиоз тотчас сообразил, что следует делать. Откинувшись на спинку скамьи, он за спиною профессора замигал Бездомному — не противоречь, мол, ему, — но растерявшийся поэт этих сигналов не понял.

— Да, да, да, — возбужденно говорил Берлиоз, — впрочем, все это возможно!.. Даже очень возможно, и Понтий Пилат, и балкон, и тому подобное... А вы одни приехали или с супругой?

— Один, один, я всегда один, — горько ответил профессор.

— А где же ваши вещи, профессор? — вкрадчиво спрашивал Берлиоз. — В «Метрополе»? Вы где остановились?

— Я? Нигде, — ответил полоумный немец, тоскливо и дико блуждая зеленым глазом по Патриаршим прудам.

— Как? А... где же вы будете жить?

— В вашей квартире, — вдруг развязно ответил сумасшедший и подмигнул.

— Я... я очень рад, — забормотал Берлиоз, — но, право, у меня вам будет неудобно... А в «Метрополе» чудесные номера, это первоклассная гостиница...

— А дьявола тоже нет? — вдруг весело осведомился больной у Ивана Николаевича.

— И дьявола...

— Не противоречь! — одними губами шепнул Берлиоз, обрушиваясь за спину профессора и гримасничая.

— Нету никакого дьявола! — растерявшись от всей этой муры, вскричал Иван Николаевич не то, что нужно. — Вот наказание! Перестаньте вы психовать!

Тут безумный расхохотался так, что из липы над головами сидящих выпорхнул воробей.

— Ну, уж это положительно интересно, — трясаясь от хохота, проговорил профессор, — что же это у вас, чего нихватишься, ничего нет! — Он перестал хохотать внезапно и, что вполне понятно при душевной болезни, после хохота впал в другую крайность — раздражился и крикнул сурово: — Так, стало быть, так-таки и нету?

— Успокойтесь, успокойтесь, успокойтесь, профессор, — бормотал Берлиоз, опасаясь волновать больного, — вы посидите минуточку здесь с товарищем Бездомным, а я только сбегаю на угол, звякну по телефону, а потом мы вас и проводим, куда вы хотите. Ведь вы не знаете города...

План Берлиоза следует признать правильным: нужно было добежать до ближайшего телефона-автомата и сообщить в бюро иностранцев о том, что вот, мол, приезжий из-за границы консультант сидит на Патриарших прудах в состоянии явно ненормальном. Так вот, необходимо принять меры, а то получается какая-то неприятная чепуха.

— Позвонить? Ну что же, позвоните, — печально согласился больной и вдруг страстно попросил: — Но умоляю вас на прощанье, поверьте хоть в то, что дьявол существует! О большем я уж вас и не прошу. Имейте в виду, что на это существует седьмое доказательство, и уж самое надежное! И вам оно сейчас будет предъявлено.

— Хорошо, хорошо, — фальшиво-ласково говорил

Берлиоз и, подмигнув расстроенному поэту, которому вовсе не улыбалась мысль караулить сумасшедшего немца, устремился к тому выходу с Патриарших, что находится на углу Бронной и Ермолаевского переулка.

А профессор тотчас же как будто выздоровел и посветлел.

— Михаил Александрович! — крикнул он вдогонку Берлиозу.

Тот вздрогнул, обернулся, но успокоил себя мыслью, что его имя и отчество известны профессору также из каких-нибудь газет. А профессор прокричал, сложив руки рупором:

— Не прикажете ли, я велю сейчас дать телеграмму вашему дяде в Киев?

И опять передернуло Берлиоза. Откуда же сумасшедший знает о существовании киевского дяди? Ведь об этом ни в каких газетах, уж наверно, ничего не сказано. Эге-ге, уж не прав ли Бездомный? А ну как документы эти липовые? Ах, до чего странный субъект... Звонить, звонить! Сейчас же звонить! Его быстро разъясят!

И, ничего не слушая более, Берлиоз побежал дальше.

Тут у самого выхода на Бронную со скамейки навстречу редактору поднялся в точности тот самый гражданин, что тогда при свете солнца вылепился из жирного зноя. Только сейчас он был уже не воздушный, а обыкновенный, плотский, и в начинающихся сумерках Берлиоз отчетливо разглядел, что усишки у него как куриные перья, глазки маленькие, иронические и полупьяные, а брючки клетчатые, подтянутые настолько, что видны грязные белые носки.

Михаил Александрович так и попятился, но утешил себя тем соображением, что это глупое совпадение и что вообще сейчас об этом некогда размышлять.

— Турникет ищите, гражданин? — треснувшим тенором осведомился клетчатый тип. — Сюда пожалуйста! Прямо и выйдете куда надо. С вас бы за указание на четверть литра... поправиться... бывшему регенту! — кривляясь, субъект наотмашь снял жокейский свой картузик.

Берлиоз не стал слушать попрошайку и ломаку регента, подбежал к турникету и взялся за него рукой. Повернув его, он уже собирался шагнуть на рельсы, как

в лицо ему брызнул красный и белый свет: загорелась в стеклянном ящике надпись «Берегись трамвая!».

Тотчас и подлетел этот трамвай, поворачивающий по новопроложенной линии с Ермолаевского на Бронную. Повернув и выйдя на прямую, он внезапно осветился изнутри электричеством, взвыл и нагнал.

Осторожный Берлиоз, хоть и стоял безопасно, решил вернуться за рогатку, переложил руку на вертушке, сделал шаг назад. И тотчас рука его скользнула и сорвалась, нога неудержимо, как по льду, поехала по булыжнику, откосом сходящему к рельсам, другую ногу подбросило, и Берлиоза выбросило на рельсы.

Стараясь за что-нибудь ухватиться, Берлиоз упал навзничь, несильно ударившись затылком о булыжник, и успел увидеть в высоте, но справа или слева — он уже не сообразил, — позлащенную луну. Он успел повернуться на бок, бешеным движением в тот же миг подтянув ноги к животу, и, повернувшись, разглядел несущееся на него с неудержимой силой совершенно белое от ужаса лицо женщины-вагоновожатой и ее алую повязку. Берлиоз не вскрикнул, но вокруг него отчаянными женскими голосами завизжала вся улица. Вожатая рванула электрический тормоз, вагон сел носом в землю, после этого мгновенно подпрыгнул, и с грохотом и звоном из окон полетели стекла. Тут в мозгу у Берлиоза кто-то отчаянно крикнул: «Неужели?...» Еще раз, и в последний раз, мелькнула луна, но уже разваливаясь на куски, и затем стало темно.

Трамвай накрыл Берлиоза, и под решетку Патриаршей аллеи выбросило на булыжный откос круглый темный предмет. Скатившись с этого откоса, он запрыгал по булыжникам Бронной.

Это была отрезанная голова Берлиоза.

Глава 4

ПОГОНЯ

Утихли истерические женские крики, отсверлили свистки милиции, две санитарные машины увезли: одна — обезглавленное тело и отрезанную голову в морг, другая — раненную осколками стекла красавицу вожатую, дворники в белых фартуках убрали осколки стекол и засыпали песком кровавые лужи, а Иван Николаевич

как упал на скамейку, не добежав до турникета, так и остался на ней.

Несколько раз он пытался подняться, но ноги его не слушались — с Бездомным приключилось что-то вроде паралича.

Поэт бросился бежать к турникету, как только услышал первый вопль, и видел, как голова подскакивала на мостовой. От этого он до того обезумел, что, упавши на скамью, укусил себя за руку до крови. Про сумасшедшего немца он, конечно, забыл и старался понять только одно, как это может быть, что вот только что он говорил с Берлиозом, а через минуту — голова...

Взволнованные люди пробежали мимо поэта по аллее, что-то восклицая, но Иван Николаевич их слов не воспринимал.

Однако неожиданно возле него столкнулись две женщины, и одна из них, востроносая и простоволосая, закричала над самым ухом поэта другой женщине так:

— Аннушка, наша Аннушка! С Садовой! Это ее работа! Взяла она в бакалее подсолнечного масла, да литровку-то о вертушку и разбей! Всю юбку изгадила... Уж она ругалась, ругалась! А он-то, бедный, стало быть, поскользнулся да и поехал на рельсы...

Из всего выкрикнутого женщиной в расстроенный мозг Ивана Николаевича вцепилось одно слово: «Аннушка»...

— Аннушка... Аннушка?.. — забормотал поэт, тревожно озираясь. — Позвольте, позвольте...

К слову «Аннушка» привязались слова «подсолнечное масло», а затем почему-то «Понтий Пилат». Пилата поэт отринул и стал вязать цепочку, начиная со слова «Аннушка». И цепочка эта связалась очень быстро и тотчас привела к сумасшедшему профессору.

Виноват! Да ведь он же сказал, что заседание не состоится, потому что Аннушка разлила масло. И, будьте любезны, оно не состоится! Этого мало: он прямо сказал, что Берлиозу отрежет голову женщина?! Да, да, да! Ведь вожатая-то была женщина! Что же это такое? А?

Не оставалось даже зерна сомнения в том, что таинственный консультант точно знал заранее всю картину ужасной смерти Берлиоза. Тут две мысли пронизали мозг поэта. Первая: «Он отнюдь не сумасшед-

ший! Все это глупости!» — и вторая: «Уж не подстроил ли он все это сам?!»

Но, позвольте спросить, каким образом?!

— Э, нет! Это мы узнаем!

Сделав над собой великое усилие, Иван Николаевич поднялся со скамьи и бросился назад, туда, где разговаривал с профессором. И оказалось, что тот, к счастью, еще не ушел.

На Бронной уже зажглись фонари, а над Патриаршими светила золотая луна, и в лунном, всегда обманчивом, свете Ивану Николаевичу показалось, что тот стоит, держа под мышкою не трость, а шпагу.

Отставной втируша-регент сидел на том самом месте, где сидел еще недавно сам Иван Николаевич. Теперь регент нацепил себе на нос явно не нужное пенсне, в котором одного стекла вовсе не было, а другое треснуло. От этого клетчатый гражданин стал еще гаже, чем был тогда, когда указывал Берлиозу путь на рельсы.

С холодеющим сердцем Иван приблизился к профессору и, заглянув ему в лицо, убедился в том, что никаких признаков сумасшествия в этом лице нет и не было.

— Сознаетесь, кто вы такой? — глухо спросил Иван.

Иностранец насупился, глянул так, как будто впервые видит поэта, и ответил неприязненно:

— Не понимай... русски говорить...

— Они не понимают! — ввязался со скамейки регент, хоть его никто и не просил объяснять слова иностранца.

— Не притворяйтесь! — грозно сказал Иван и почувствовал холод под ложечкой. — Вы только что прекрасно говорили по-русски. Вы не немец и не профессор! Вы — убийца и шпион! Документы! — яростно крикнул Иван.

Загадочный профессор брезгливо скривил и без того кривой рот и пожал плечами.

— Гражданин! — опять встрял мерзкий регент. — Вы что же это волнуете интуриста? За это с вас строжайше взыщется! — А подозрительный профессор сделал надменное лицо, повернулся и пошел от Ивана прочь.

Иван почувствовал, что теряется. Задыхаясь, он обратился к регенту:

— Эй, гражданин, помогите задержать преступника! Вы обязаны это сделать!

Регент чрезвычайно оживился, вскочил и заорал:

— Который преступник? Где он? Иностранный преступник? — глазки регента радостно заиграли. — Этот! Ежели он преступник, то первым долгом следует кричать: «Караул!» А то он уйдет. А ну, давайте вместе! Разом! — и тут регент разинул пасть.

Растерявшийся Иван послушался шутика-регента и крикнул «караул!», а регент его надул, ничего не крикнул.

Одинокий, хриплый крик Ивана хороших результатов не принес. Две каких-то девицы шарахнулись от него в сторону, и он услышал слово «пьяный!».

— А, так ты с ним заодно? — впадая в гнев, прокричал Иван. — Ты что же это, глумишься надо мной? Пусти!

Иван кинулся вправо, и регент — тоже вправо! Иван — влево, и тот мерзавец туда же.

— Ты нарочно под ногами путаешься? — зверея, закричал Иван. — Я тебя самого предам в руки милиции!

Иван сделал попытку ухватить негодяя за рукав, но промахнулся и ровно ничего не поймал. Регент как сквозь землю провалился.

Иван ахнул, глянул вдаль и увидел ненавистного неизвестного. Тот был уже у выхода в Патриарший переулок, и притом не один. Более чем сомнительный регент успел присоединиться к нему. Но это еще не все: третьим в этой компании оказался неизвестно откуда взявшийся кот, громадный, как боров, черный, как сажа или грач, и с отчаянными кавалерийскими усами. Тройка двинулась в Патриарший, причем кот тронулся на задних лапах.

Иван устремился за злодеями вслед и тотчас убедился, что догнать их будет очень трудно.

Тройка мигом проскочила по переулку и оказалась на Спиридоновке. Сколько Иван ни прибавлял шагу, расстояние между преследуемыми и им ничуть не сокращалось. И не успел поэт опомниться, как после тихой Спиридоновки очутился у Никитских ворот, где положение его ухудшилось. Тут уже была толчея, Иван налетел на кой-кого из прохожих, был обруган. Злодейская же шайка к тому же здесь решила применить из-

любленный бандитский прием — уходить врассыпную.

Регент с великою ловкостью на ходу ввинтился в автобус, летящий к Арбатской площади, и ускользнул. Потеряв одного из преследуемых, Иван сосредоточил свое внимание на коте и видел, как этот странный кот подошел к подножке моторного вагона «А», стоящего на остановке, нагло отсадил взвизгнувшую женщину, уцепился за поручень и даже сделал попытку всучить кондукторше гривенник через открытое по случаю духоты окно.

Поведение кота настолько поразило Ивана, что он в неподвижности застыл у бакалейного магазина на углу и тут вторично, но гораздо сильнее, был поражен поведением кондукторши. Та, лишь только увидела кота, лезущего в трамвай, со злобой, от которой даже тряслась, закричала:

— Котам нельзя! С котами нельзя! Брысь! Слезай, а то милицию позову!

Ни кондукторшу, ни пассажиров не поразила самая суть дела: не то, что кот лезет в трамвай, в чем было бы еще полбеды, а то, что он собирается платить!

Кот оказался не только платежеспособным, но и дисциплинированным зверем. При первом же окрике кондукторши он прекратил наступление, снялся с подножки и сел на остановке, потирая гривенником усы. Но лишь кондукторша рванула веревку и трамвай тронулся, кот поступил как всякий, кого изгоняют из трамвая, но которому все-таки ехать-то надо. Пропустив мимо себя все три вагона, кот вскочил на заднюю дугу последнего, лапой вцепился в какую-то кишку, выходящую из стенки, и укатил, сэкономя таким образом гривенник.

Занявшись паскудным котом, Иван едва не потерял самого главного из трех — профессора. Но, по счастью, тот не успел улизнуть. Иван увидел серый берет в гуще в начале Большой Никитской, или улицы Герцена. В мгновение ока Иван и сам оказался там. Однако удачи не было. Поэт и шагу прибавлял, и рысцей начинал бежать, толкая прохожих, и ни на сантиметр не приблизился к профессору.

Как ни был расстроен Иван, все же его поражала та сверхъестественная скорость, с которой происходила погоня. И двадцати секунд не прошло, как после Никитских ворот Иван Николаевич был уже ослеплен ог-

нями на Арбатской площади. Еще несколько секунд, и вот какой-то темный переулок с покосившимися тротуарами, где Иван Николаевич грохнулся и разбил колесо. Опять освещенная магистраль — улица Кропоткина, потом переулок, потом Остоженка и еще переулок, унылый, гадкий и скупо освещенный. И вот здесь-то Иван Николаевич окончательно потерял того, кто был ему так нужен. Профессор исчез.

Иван Николаевич смутился, но ненадолго, потому что вдруг сообразил, что профессор непременно должен оказаться в доме № 13 и обязательно в квартире 47.

Ворвавшись в подъезд, Иван Николаевич взлетел на второй этаж, немедленно нашел эту квартиру и позвонил нетерпеливо. Ждать пришлось недолго: открывла Ивану дверь какая-то девочка лет пяти и, ни о чем не справляясь у пришедшего, немедленно ушла куда-то.

В громадной, до крайности запущенной передней, слабо освещенной малюсенькой угольной лампочкой под высоким, черным от грязи потолком, на стене висел велосипед без шин, стоял громадный ларь, обитый железом, а на полке над вешалкой лежала зимняя шапка, и длинные ее уши свешивались вниз. За одной из дверей гулкий мужской голос в радиоаппарате сердито кричал что-то стихами.

Иван Николаевич ничуть не растерялся в незнакомой обстановке и прямо устремился в коридор, рассуждая так: «Он, конечно, спрятался в ванной». В коридоре было темно. Потыкавшись в стены, Иван увидел слабую полосу света внизу под дверью, нашарил ручку и несильно рванул ее. Крючок отскочил, и Иван оказался именно в ванной и подумал о том, что ему повезло.

Однако повезло не так уж, как бы нужно было! На Ивана пахло влажным теплом, и, при свете углей, тлеющих в колонке, он разглядел большие корыта, висящие на стене, и ванну, всю в черных страшных пятнах от сбитой эмали. Так вот, в этой ванне стояла голая гражданка, вся в мыле и с мочалкой в руках. Она близоруко прищурилась на ворвавшегося Ивана и, очевидно, обознавшись в адском освещении, сказала тихо и весело:

— Кирюшка! Бросьте трепаться! Что вы, с ума сошли?... Федор Иванович сейчас вернется. Вон отсюда сейчас же! — и махнула на Ивана мочалкой.

Недоразумение было налицо, и повинен в нем был, конечно, Иван Николаевич. Но признаться в этом он не пожелал и, воскликнув укоризненно: «Ах, развратница!..» — тут же зачем-то очутился в кухне. В ней никого не оказалось, и на плите в полумраке стояло безмолвно около десятка потухших примусов. Один лунный луч, просочившись сквозь пыльное, годами не вытираемое окно, скупо освещал тот угол, где в пыли и паутине висела забытая икона, из-за киота которой высовывались концы двух венчальных свечей. Под большой иконой висела прищипленная маленькая — бумажная.

Никому не известно, какая тут мысль овладела Иваном, но только, прежде чем выбежать на черный ход, он присвоил одну из этих свечей, а также и бумажную иконку. Вместе с этими предметами он покинул неизвестную квартиру, что-то бормоча, конфузясь при мысли о том, что он только что пережил в ванной, невольно стараясь угадать, кто бы был этот наглый Кирюшка и не ему ли принадлежит противная шапка с ушами.

В пустынном безотрадном переулке поэт оглянулся, ища беглеца, но того нигде не было. Тогда Иван твердо сказал самому себе:

— Ну конечно, он на Москве-реке! Вперед!

Следовало бы, пожалуй, спросить Ивана Николаевича, почему он полагает, что профессор именно на Москве-реке, а не где-нибудь в другом месте. Да горе в том, что спросить-то было некому. Омерзительный переулок был совершенно пуст.

Через самое короткое время можно было увидеть Ивана Николаевича на гранитных ступенях амфитеатра Москвы-реки.

Сняв с себя одежду, Иван поручил ее какому-то приятному бородачу, курящему самокрутку возле рваной белой толстовки и расшнурованных стоптанных ботинок. Помахав руками, чтобы остыть, Иван ласточкой кинулся в воду. Дух перехватило у него, до того была холодна вода, и мелькнула даже мысль, что не удастся, пожалуй, выскочить на поверхность. Однако выскочить удалось, и, отдуваясь и фыркая, с круглыми от ужаса глазами, Иван Николаевич начал плавать в пахнущей нефтью черной воде меж изломанных зигзагов береговых фонарей.

Когда мокрый Иван приплясал по ступеням к тому

месту, где осталось под охраной бородача его платье, выяснилось, что похищено не только второе, но и первый, то есть сам бородач. Точно на том месте, где была груда платья, остались полосатые кальсоны, рваная толстовка, свеча, иконка и коробка спичек. Погрозив в бессильной злобе кому-то вдаль кулаком, Иван облачился в то, что было оставлено.

Тут его стали беспокоить два соображения: первое, это то, что исчезло удостоверение Массолита, с которым он никогда не расставался, и, второе, удастся ли ему в таком виде беспрепятственно пройти по Москве? Все-таки в кальсонах... Правда, кому какое дело, а все же не случилось бы какой-нибудь придирки или задержки.

Иван оборвал пуговицы с кальсон там, где те застегивались у щиколотки, в расчете на то, что, может быть, в таком виде они сойдут за летние брюки, забрал иконку, свечу и спички и тронулся, сказав самому себе:

— К Грибоедову! Вне всяких сомнений, он там.

Город уже жил вечерней жизнью. В пыли пролетали, бряцая цепями, грузовики, и на платформах их, на мешках, раскинувшись животами кверху, лежали какие-то мужчины. Все окна были открыты. В каждом из этих окон горел огонь под оранжевым абажуром, и из всех окон, и из всех дверей, из всех подворотен, с крыш и чердаков, из подвалов и дворов вырывался хриплый рев полонеза из оперы «Евгений Онегин».

Опасения Ивана Николаевича полностью оправдались: прохожие обращали на него внимание и смеялись и оборачивались. Вследствие этого он принял решение покинуть большие улицы и пробираться переулочками, где не так назойливы люди, где меньше шансов, что пристанут к босому человеку, изводя его расспросами о кальсонах, которые упорно не желали стать похожими на брюки.

Иван так и сделал и углубился в таинственную сеть арбатских переулков и начал пробираться под стенками, пугливо косясь, ежеминутно оглядываясь, по временам прячась в подъездах и избегая перекрестков со светофорами, шикарных дверей посольских особняков.

И на всем его трудном пути невыразимо почему-то его мучил вездесущий оркестр, под аккомпанемент которого тяжелый бас пел о своей любви к Татьяне.

БЫЛО ДЕЛО В ГРИБОЕДОВЕ

Старинный двухэтажный дом кремового цвета помещался на бульварном кольце в глубине чахлого сада, отделенного от тротуара кольца резною чугунною решеткой. Небольшая площадка перед домом была заасфальтирована, и в зимнее время на ней возвышался сугроб с лопатой, а в летнее время она превращалась в великолепнейшее отделение летнего ресторана под парусиновым тентом.

Дом назывался «Домом Грибоедова» на том основании, что будто бы некогда им владела тетка писателя — Александра Сергеевича Грибоедова. Ну, владела или не владела — мы точно не знаем. Помнится даже, что, кажется, никакой такой тетки-домовладелицы у Грибоедова не было... Однако дом так называли. Более того, один московский врун рассказывал, что якобы вот во втором этаже, в круглом зале с колоннами, знаменитый писатель читал отрывки из «Горя от ума» этой самой тетке, раскинувшейся на софе. А впрочем, черт его знает, может быть, и читал, не важно это!

А важно то, что в настоящее время владел этим домом тот самый Массолит, во главе которого стоял несчастный Михаил Александрович Берлиоз до своего появления на Патриарших прудах.

С легкой руки членов Массолита никто не называл дом «Домом Грибоедова», а все говорили просто — «Грибоедов»: «Я вчера два часа протолкался у Грибоедова». — «Ну и как?» — «В Ялту на месяц добился». — «Молодец!» Или: «Пойди к Берлиозу, он сегодня от четырех до пяти принимает в Грибоедове...» и так далее.

Массолит разместился в Грибоедове так, что лучше и уютнее не придумать. Всякий, входящий в Грибоедова, прежде всего знакомился невольно с извещениями разных спортивных кружков и с групповыми, а также индивидуальными фотографиями членов Массолита, коими (фотографиями) были увешаны стены лестницы, ведущей во второй этаж.

На дверях первой же комнаты в этом верхнем этаже виднелась крупная надпись «Рыбно-дачная секция», и тут же был изображен карась, попавшийся на уду.

На дверях комнаты № 2 было написано что-то не

совсем понятное: «Однодневная творческая путевка. Обращаться к М. В. Подложной».

Следующая дверь несла на себе краткую, но уже вовсе непонятную надпись: «Перелыгино». Потом у случайного посетителя Грибоедова начинали разбегаться глаза от надписей, пестревших на ореховых теткинских дверях: «Запись в очередь на бумагу у Поклевкиной», «Касса. Личные расчеты скетчистов»...

Прорезав длиннейшую очередь, начинавшуюся уже внизу в швейцарской, можно было видеть надпись на двери, в которую ежесекундно ломился народ: «Квартирный вопрос».

За квартирным вопросом открывался роскошный плакат, на котором изображена была скала, а по гребню ее ехал всадник в бурке и с винтовкой за плечами. Пониже — пальмы и балкон, на балконе — сидящий молодой человек с хохолком, глядящий куда-то ввысь очень-очень бойкими глазами и держащий в руке самопишущее перо. Подпись: «Полнообъемные творческие отпуска от двух недель (рассказ-новелла) до одного года (роман, трилогия). Ялта, Суук-Су, Боровое, Цихидзири, Махинджаури, Ленинград (Зимний дворец)». У этой двери также была очередь, но не чрезмерная, человек в полтора года.

Далее следовали, повинаясь прихотливым изгибам, подъемам и спускам грибоедовского дома, — «Правление Массолита», «Кассы № 2, 3, 4 и 5», «Редакционная коллегия», «Председатель Массолита», «Бильярдная», различные подсобные учреждения и, наконец, тот самый зал с колоннадой, где тетка наслаждалась комедией гениального племянника.

Всякий посетитель, если он, конечно, был не вовсе тупицей, попав в Грибоедова, сразу же соображал, насколько хорошо живет счастливцам — членам Массолита, и черная зависть начинала немедленно терзать его. И немедленно же он обращал к небу горькие укоризны за то, что оно не наградило его при рождении литературным талантом, без чего, естественно, нечего было и мечтать овладеть членским массолитским билетом, коричневым, пахнущим дорогой кожей, с золотой широкой каймой, — известным всей Москве билетом.

Кто скажет что-нибудь в защиту зависти? Это чувство дрянной категории, но все же надо войти и в положение посетителя. Ведь то, что он видел в верхнем

этаже, было не все и далеко еще не все. Весь нижний этаж теткиного дома был занят рестораном, и каким рестораном! По справедливости он считался самым лучшим в Москве. И не только потому, что размещался он в двух больших залах со сводчатыми потолками, расписанными лиловыми лошадьми с ассирийскими гривами, не только потому, что на каждом столике помещалась лампа, накрытая шалью, не только потому, что туда не мог проникнуть первый попавшийся человек с улицы, а еще и потому, что качеством своей провизии Грибоедов бил любой ресторан в Москве, как хотел, и что эту провизию отпускали по самой сходной, отнюдь не обременительной цене.

Поэтому ничего нет удивительного в таком хотя бы разговоре, который однажды слышал автор этих правдивейших строк у чугунной решетки Грибоедова:

— Ты где сегодня ужинаешь, Амвросий?

— Что за вопрос, конечно, здесь, дорогой Фока! Арчибальд Арчибальдович шепнул мне сегодня, что будут порционные судачки а натюрель. Виртуозная штучка!

— Умеешь ты жить, Амвросий! — со вздохом отвечал тощий, запущенный, с карбункулом на шее Фока румяногубому гиганту, золотистоволосому, пышнощектому Амвросию-поэту.

— Никакого уменя особенного у меня нету, — возражал Амвросий, — а обыкновенное желание жить по-человечески. Ты хочешь сказать, Фока, что судачки можно встретить и в «Колизее». Но в «Колизее» порция судачков стоит тринадцать рублей пятнадцать копеек, а у нас — пять пятьдесят! Кроме того, в «Колизее» судачки третьедневочные, и, кроме того, еще у тебя нет гарантии, что ты не получишь в «Колизее» виноградной кистью по морде от первого попавшего молодого человека, ворвавшегося с Театрального проезда. Нет, я категорически против «Колизея»! — гремел на весь бульвар гастроном Амвросий. — Не уговаривай меня, Фока!

— Я не уговариваю тебя, Амвросий, — пищал Фока. — Дома можно поужинать.

— Слуга покорный, — трубил Амвросий, — представляю себе твою жену, пытающуюся соорудить в кастрюльке в общей кухне дома порционные судачки а натюрель! Ги-ги-ги!.. Оревуар, Фока! — И, напевая, Амвросий устремлялся к веранде под тентом.

Эх-хо-хо... Да, было, было!.. Помнят московские ста-

рожили знаменитого Грибоедова! Что отварные порционные судачки! Дешевка это, милый Амвросий! А стерлядь, стерлядь в серебристой кастрюльке, стерлядь кусками, переложенными раковыми шейками и свежей икрой? А яйца-кокотт с шампиньоновым пюре в чашечках? А филейчики из дроздов вам не нравились? С трюфелями? Перепела по-генуэзски? Девять с полтиной! Да джаз, да вежливая услуга! А в июле, когда вся семья на даче, а вас неотложные литературные дела держат в городе, — на веранде, в тени вьющегося винограда, в золотом пятне на чистой скатерти тарелочка супа-препаньер? Помните, Амвросий? Ну что же спрашивать! По губам вашим вижу, что помните. Что ваши сижки, судачки! А дупеля, гаршнепы, бекасы, вальдшнепы по сезону, перепела, кулики? Шипящий в горле нарзан?! Но довольно, ты отвлекаешься, читатель! За мной!..

В половину одиннадцатого часа того вечера, когда Берлиоз погиб на Патриарших, в Грибоедове наверху была освещена только одна комната, и в ней томились двенадцать литераторов, собравшихся на заседание и ожидавших Михаила Александровича.

Сидящие на стульях, и на столах, и даже на двух подоконниках в комнате правления Массолита серьезно страдали от духоты. Ни одна свежая струя не проникала в открытые окна. Москва отдавала накопленный за день в асфальте жар, и ясно было, что ночь не принесет облегчения. Пахло луком из подвала теткиного дома, где работала ресторанная кухня, и всем хотелось пить, все нервничали и сердились.

Беллетрист Бескудников — тихий, прилично одетый человек с внимательными и в то же время неуловимыми глазами — вынул часы. Стрелка ползла к одиннадцати. Бескудников стукнул пальцем по циферблату, показал его соседу, поэту Двубратскому, сидящему на столе и от тоски болтающему ногами, обутыми в желтые туфли на резиновом ходу.

— Однако, — проворчал Двубратский.

— Хлопец, наверно, на Клязьме застрял, — густым голосом отозвалась Настасья Лукинишна Непременова, московская купеческая сирота, ставшая писательницей и сочиняющая батальные морские рассказы под псевдонимом «Штурман Жорж».

— Позвольте! — смело заговорил автор популярных

скетчей Загринов. — Я и сам бы сейчас с удовольствием на балкончике чайку попил, вместо того чтобы здесь вариться. Ведь заседание-то назначено в десять?

— А сейчас хорошо на Клязьме, — подзудила присутствующих Штурман Жорж, зная, что дачный литературский поселок Перелыгино на Клязьме — общее большое место. — Теперь уж соловьи, наверно, поют. Мне всегда как-то лучше работается за городом, в особенности весной.

— Третий год вношу денежки, чтобы больную базедовой болезнью жену отправить в этот рай, да что-то ничего в волнах не видно, — ядовито и горько сказал новеллист Иероним Поприхин.

— Это уж как кому повезет, — прогудел с подоконника критик Абабков.

Радость загорелась в маленьких глазках Штурман Жоржа, и она сказала, смягчая свое контральто:

— Не надо, товарищи, завидовать. Дач всего двадцать две, и строится еще только семь, а нас в Массо-лите три тысячи.

— Три тысячи сто одиннадцать человек, — вставил кто-то из угла.

— Ну вот видите, — продолжала Штурман, — что же делать? Естественно, что дачи получили наиболее талантливые из нас...

— Генералы! — напрямик врезался в склоку Глухарев-сценарист.

Бескудников, искусственно зевнув, вышел из комнаты.

— Один в пяти комнатах в Перелыгине, — вслед ему сказал Глухарев.

— Лаврович один в шести, — вскричал Денискин, — и столовая дубом обшита!

— Э, сейчас не в этом дело, — прогудел Абабков, — а в том, что половина двенадцатого.

Начался шум, назревало что-то вроде бунта. Стали звонить в ненавистное Перелыгино, попали не в ту дачу, к Лавровичу, узнали, что Лаврович ушел на реку, и совершенно от этого расстроились. Наобум позвонили в комиссию изящной словесности по добавочному № 930 и, конечно, никого там не нашли.

— Он мог бы и позвонить! — кричали Денискин, Глухарев и Квант.

Ах, кричали они напрасно: не мог Михаил Александрович позвонить никуда. Далеко, далеко от Грибоедо-

ва, в громадном зале, освещенном тысячесвечовыми лампами, на трех цинковых столах лежало то, что еще недавно было Михаилом Александровичем.

На первом — обнаженное, в засохшей крови, тело с перебитой рукой и раздавленной грудной клеткой, на другом — голова с выбитыми передними зубами, с помутневшими открытыми глазами, которые не пугал резчайший свет, а на третьем — груды заскорузлых тряпок.

Возле обезглавленного стояли: профессор судебной медицины, патологоанатом и его прозектор, представители следствия и вызванный по телефону от больной жены заместитель Михаила Александровича Берлиоза по Массолиту — литератор Желдыбин.

Машина заехала за Желдыбиным и, первым делом, вместе со следствием, отвезла его (около полуночи это было) на квартиру убитого, где было произведено опечатание его бумаг, а затем уж все поехали в морг.

Вот теперь стоящие у останков покойного совещались, как лучше сделать: пришить ли отрезанную голову к шее или выставить тело в грибоедовском зале, просто закрыв погибшего наглухо до подбородка черным платком?

Да, Михаил Александрович никуда не мог позвонить, и совершенно напрасно возмущались и кричали Денискин, Глухарев и Квант с Бескудниковым. Ровно в полночь все двенадцать литераторов покинули верхний этаж и спустились в ресторан. Тут опять про себя недобрым словом помянули Михаила Александровича: все столики на веранде, натурально, оказались уже занятыми, и пришлось оставаться ужинать в этих красивых, но душных залах.

И ровно в полночь в первом из них что-то грохнуло, зазвенело, посыпалось, запрыгало. И тотчас тоненький мужской голос отчаянно закричал под музыку: «Аллилуйя!!» Это ударил знаменитый грибоедовский джаз. Покрытые испариной лица как будто засветились, показалось, что ожили на потолке нарисованные лошади, в лампах как будто прибавили свету, и вдруг, как бы сорвавшись с цепи, заплясали оба зала, а за ними заплясала и веранда.

Заплясал Глухарев с поэтессой Тамарой Полумесяц, заплясал Квант, заплясал Жукопов-романист с какой-то киноактрисой в желтом платье. Плясали: Драгунский, Чердакчи, маленький Денискин с гигантской Штур-

ман Жоржем, плясала красавица архитектор Семейкина-Галл, крепко схваченная неизвестным в белых рогожных брюках. Плясали свои и приглашенные гости, московские и приезжие, писатель Иоганн из Кронштадта, какой-то Витя Куфтик из Ростова, кажется, режиссер, с лиловым лишаем во всю щеку, плясали виднейшие представители поэтического подразделения Массолита, то есть Павианов, Богохульский, Сладкий, Шпичкин и Адельфина Буздяк, плясали неизвестной профессии молодые люди в стрижке боксом, с подбитыми ватой плечами, плясал какой-то очень пожилой с бородой, в которой застряло перышко зеленого лука, плясала с ним хилая, доедаемая малокровием девушка в оранжевом шелковом измятом платице.

Оплывая потом, официанты несли над головами запотевшие кружки с пивом, хрипло и с ненавистью кричали: «Виноват, гражданин!» Где-то в рупоре голос командовал: «Карский раз! Зубрик два! Фляки господарские!!» Тонкий голос уже не пел, а завывал: «Аллилуйя!» Грохот золотых тарелок в джазе иногда покрывал грохот посуды, которую судомойки по наклонной плоскости спускали в кухню. Словом, ад.

И было в полночь видение в аду. Вышел на веранду черноглазый красавец с кинжальной бородой, во фраке и царственным взором окинул свои владения. Говорили, говорили мистики, что было время, когда красавец не носил фрака, а был опоясан широким кожаным поясом, из-за которого торчали рукояти пистолетов, а его волосы воронова крыла были повязаны алым шелком, и плыл в Караибском море под его командой бриг под черным гробовым флагом с адамовой головой.

Но нет, нет! Лгут оболъстители-мистики, никаких Караибских морей нет на свете, и не плывут в них отчаянные флибустьеры, и не гонится за ними корвет, не стелется над волною пушечный дым. Нет ничего, и ничего и не было! Вон чахлая липа есть, есть чугунная решетка и за ней бульвар... И плавится лед в вазочке, и видны за соседним столиком налитые кровью чьи-то бычьи глаза, и страшно, страшно... О боги, боги мои, яду мне, яду!..

И вдруг за столиком вспорхнуло слово: «Берлиоз!!» Вдруг джаз развалился и затих, как будто кто-то хлопнул по нему кулаком. «Что, что, что, что?!» — «Берлиоз!!!» И пошли вскакивать, пошли вскрикивать...

Да, взметнулась волна горя при страшном известии о Михаиле Александровиче. Кто-то суетился, кричал, что необходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, составить какую-то коллективную телеграмму и немедленно послать ее.

Но какую телеграмму, спросим мы, и куда? И зачем ее посылать? В самом деле, куда? И на что нужна какая бы то ни было телеграмма тому, чей расплющенный затылок сдавлен сейчас в резиновых руках прозектора, чью шею сейчас колет кривыми иглами профессор? Погиб он, и не нужна ему никакая телеграмма. Все кончено, не будем больше загружать телеграф.

Да, погиб, погиб... Но мы-то ведь живы!

Да, взметнулась волна горя, но подержалась, подержалась и стала спадать, и кой-кто уже вернулся к своему столику и — сперва украдкой, а потом и в открытую — выпил водочки и закусил. В самом деле, не пропадать же куриным котлетам де-воляй? Чем мы поможем Михаилу Александровичу? Тем, что голодные останемся? Да ведь мы-то живы!

Натурально, рояль закрыли на ключ, джаз разошелся, несколько журналистов уехали в свои редакции писать некрологи. Стало известно, что приехал из морга Желдыбин. Он поместился в кабинете покойного наверху, и тут же прокатился слух, что он и будет замещать Берлиоза. Желдыбин вызвал к себе из ресторана всех двенадцать членов правления, и в срочно начавшемся в кабинете Берлиоза заседании приступили к обсуждению неотложных вопросов об убранстве колонного грибоедовского зала, о перевозе тела из морга в этот зал, об открытии доступа в него и о прочем, связанном с прискорбным событием.

А ресторан зажил своей обычной ночной жизнью и жил бы ею до закрытия, то есть до четырех часов утра, если бы не произошло нечто, уже совершенно из ряда вон выходящее и поразившее ресторанных гостей гораздо больше, чем известие о гибели Берлиоза.

Первыми заволновались лихачи, дежурившие у ворот грибоедовского дома. Слышно было, как один из них, приподнявшись на козлах, прокричал:

— Тю! Вы только поглядите!

Вслед за тем, откуда ни возьмись, у чугунной решетки вспыхнул огонечек и стал приближаться к ве-

ранде. Сидящие за столиками стали приподниматься и всматриваться и увидели, что вместе с огонечком шествует к ресторану белое привидение. Когда оно приблизилось к самому трельяжу, все как заостенели за столиками с кусками стерлядки на вилках и вытаращив глаза. Швейцар, вышедший в этот момент из дверей ресторанной вешалки во двор, чтобы покурить, затоптал папиросу и двинулся было к привидению с явной целью преградить ему доступ в ресторан, но почему-то не сделал этого и остановился, глуповато улыбаясь.

И привидение, пройдя в отверстие трельяжа, беспретственно вступило на веранду. Тут все увидели, что это — никакое не привидение, а Иван Николаевич Бездомный — известнейший поэт.

Он был бос, в разодранной беловатой толстовке, к коей на груди английской булавкой была приколота бумажная иконка со стершимся изображением неизвестного святого, и в полосатых белых кальсонах. В руке Иван Николаевич нес зажженную венчальную свечу. Правая щека Ивана Николаевича была свежо изодрана. Трудно даже измерить глубину молчания, воцарившегося на веранде. Видно было, как у одного из официантов пиво течет из покосившейся набок кружки на пол.

Поэт поднял свечу над головой и громко сказал:

— Здорово, други! — после чего заглянул под ближайший столик и воскликнул тоскливо: — Нет, его здесь нет!

Послышались два голоса. Бас сказал безжалостно:

— Готово дело. Белая горячка.

А второй, женский, испуганный, произнес слова:

— Как же милиция-то пропустила его по улицам в таком виде?

Это Иван Николаевич услышал и отозвался:

— Дважды хотели задержать, в Скатертном и здесь, на Бронной, да я махнул через забор и, видите, щеку изорвал! — Тут Иван Николаевич поднял свечу и вскричал: — Братья во литературе! (Осипший голос его окреп и стал горячее.) Слушайте меня все! Он появился! Ловите же его немедленно, иначе он натворит неописуемых бед!

— Что? Что? Что он сказал? Кто появился? — понеслись голоса со всех сторон.

— Консультант! — ответил Иван. — И этот консультант сейчас убил на Патриарших Мишу Берлиоза.

Здесь из внутреннего зала повалил на веранду народ, вокруг Иванова огня сдвинулась толпа.

— Виноват, виноват, скажите точнее, — слышался над ухом Ивана Николаевича тихий и вежливый голос, — скажите, как это убил? Кто убил?

— Иностраный консультант, профессор и шпион! — озираясь, отозвался Иван.

— А как его фамилия? — тихо спросили на ухо.

— То-то фамилия! — в тоске крикнул Иван. — Кабы я знал фамилию! Не разглядел я фамилию на визитной карточке... Помню только первую букву «Ве», на «Ве» фамилия! Какая же это фамилия на «Ве»? — схватившись рукою за лоб, сам у себя спросил Иван и вдруг забормотал: — Ве, ве, ве... Ва... Во... Вагнер? Вагнер? Вайнер? Вегнер? Винтер? — Волосы на голове Ивана стали ездить от напряжения.

— Вульф? — жалостно выкрикнула какая-то женщина.

Иван рассердился.

— Дура! — прокричал он, ища глазами женщину. — При чем тут Вульф? Вульф ни в чем не виноват! Во, во... Нет! Так не вспомню! Ну вот что, граждане: звоните сейчас же в милицию, чтобы выслали пять мотоциклов с пулеметами, профессора ловить. Да не забудьте сказать, что с ним еще двое: какой-то длинный, клетчатый... пенсне треснуло... и кот черный, жирный. А я пока что обыщу Грибоедова... Я чую, что он здесь!

Иван впал в беспокойство, растолкал окружающих, начал размахивать свечой, заливая себя воском, и заглядывать под столы. Тут слышалось слово: «Доктора!» — и чье-то ласковое мясистое лицо, бритое и упитанное, в роговых очках, появилось перед Иваном.

— Товарищ Бездомный, — заговорило это лицо юбилейным голосом, — успокойтесь! Вы расстроены смертью всеми нами любимого Михаила Александровича... нет, просто Миши Берлиоза. Мы все это прекрасно понимаем. Вам нужен покой. Сейчас товарищи проводят вас в постель, и вы забудетесь...

— Ты, — оскалившись, перебил Иван, — понимаешь ли, что надо поймать профессора? А ты лезешь ко мне со своими глупостями! Кретин!

— Товарищ Бездомный, помилуйте, — ответило лицо, краснея, пятась и уже раскаиваясь, что ввязалось в это дело.

— Нет, уж кого-кого, а тебя-то я не помилю, — с тихой ненавистью сказал Иван Николаевич.

Судорога исказила его лицо, он быстро переложил свечу из правой руки в левую, широко размахнулся и ударил участливое лицо по уху.

Тут догадались броситься на Ивана — и бросились. Свеча погасла, и очки, соскочившие с лица, были мгновенно растоптаны. Иван испустил страшный боевой вопль, слышный, к общему соблазну, даже на бульваре, и начал защищаться. Зазвенела падающая со столов посуда, закричали женщины.

Пока официанты вязали поэта полотенцами, в раздевалке шел разговор между командиром брига и швейцаром.

— Ты видел, что он в подштанниках? — холодно спрашивал пират.

— Да ведь, Арчибальд Арчибальдович, — труся, отвечал швейцар, — как же я могу их не допустить, если они — член Массолита?

— Ты видел, что он в подштанниках? — повторял пират.

— Помилуйте, Арчибальд Арчибальдович, — багровея, говорил швейцар, — что же я могу поделать? Я сам понимаю, на веранде дамы сидят...

— Дамы здесь ни при чем, дамам это все равно, — отвечал пират, буквально сжигая швейцара глазами, — а это милиции не все равно! Человек в белье может следовать по улицам Москвы только в одном случае, если он идет в сопровождении милиции, и только в одно место — в отделение милиции! А ты, если ты швейцар, должен знать, что, увидев такого человека, ты должен, не медля ни секунды, начинать свистеть. Ты слышишь? Слышишь, что происходит на веранде?

Тут ополоумевший швейцар услышал несущееся с веранды какое-то уханье, бой посуды и женские крики.

— Ну что с тобой сделать за это? — спросил флибустьер.

Кожа на лице швейцара приняла тифозный оттенок, а глаза помертвели. Ему померещилось, что черные волосы, теперь причесанные на пробор, покрылись огненным шелком. Исчезли пластрон и фрак, и за ремен-

ным поясом возникла ручка пистолета. Швейцар представил себя повешенным на фор-марса-рее. Своими глазами увидел он свой собственный высунутый язык и безжизненную голову, упавшую на плечо, и даже услышал плеск волны за бортом. Колени швейцара подогнулись. Но тут флибустьер сжалился над ним и погасил свой острый взор.

— Смотри, Николай! Это в последний раз. Нам таких швейцаров в ресторане даром не надо. Ты в церковь сторожем поступи. — Проговорив это, командир скомандовал точно, ясно, быстро: — Пантелея из буфетной. Милиционера. Протокол. Машину. В психиатрическую. — И добавил: — Свисти!

Через четверть часа чрезвычайно пораженная публика не только в ресторане, но и на самом бульваре и в окнах домов, выходящих в сад ресторана, видела, как из ворот Грибоедова Пантелей, швейцар, милиционер, официант и поэт Рюхин выносили спеленатого, как куклу, молодого человека, который, заливаясь слезами, плевался, норовя попасть именно в Рюхина, и кричал на весь бульвар:

— Сволочь!.. Сволочь!..

Шофер грузовой машины со злым лицом заводил мотор. Рядом лихач горячил лошадь, бил ее по крупу сиреневыми вожжами, кричал:

— А вот на беговой! Я возил в психическую!

Кругом гудела толпа, обсуждая невиданное происшествие. Словом, был гадкий, гнусный, соблазнительный, свинский скандал, который кончился лишь тогда, когда грузовик унес на себе от ворот Грибоедова несчастного Ивана Николаевича, милиционера, Пантелея и Рюхина.

Глава 6

ШИЗОФРЕНИЯ, КАК И БЫЛО СКАЗАНО

Когда в приемную знаменитой психиатрической клиники, недавно отстроенной под Москвой на берегу реки, вышел человек с острой бородкой и облаченный в белый халат, была половина второго ночи. Трое санитаров не спускали глаз с Ивана Николаевича, сидящего на диване. Тут же находился и крайне взволнованный поэт Рюхин. Полотенца, которыми был свя-

зан Иван Николаевич, лежали грудой на том же диване. Руки и ноги Ивана Николаевича были свободны.

Увидев вошедшего, Рюхин побледнел, кашлянул и робко сказал:

— Здравствуйте, доктор.

Доктор поклонился Рюхину, но, кланяясь, смотрел не на него, а на Ивана Николаевича. Тот сидел совершенно неподвижно, со злым лицом, сдвинув брови, и даже не шевельнулся при входе врача.

— Вот, доктор, — почему-то таинственным шепотом заговорил Рюхин, пугливо оглядываясь на Ивана Николаевича, — известный поэт Иван Бездомный... вот, видите ли... мы опасаемся, не белая ли горячка...

— Сильно пил? — сквозь зубы спросил доктор.

— Нет, выпивал, но не так, чтобы уж...

— Тараканов, крыс, чертиков или шмыгающих собак не ловил?

— Нет, — вздрогнув, ответил Рюхин, — я его вчера видел и сегодня утром. Он был совершенно здоров...

— А почему в кальсонах? С постели взяли?

— Он, доктор, в ресторан пришел в таком виде...

— Ага, ага, — очень удовлетворенно сказал доктор, — а почему ссадины? Дрался с кем-нибудь?

— Он с забора упал, а потом в ресторане ударил одного... и еще кое-кого...

— Так, так, так, — сказал доктор и, повернувшись к Ивану, добавил: — Здравствуйте!

— Здорово, вредитель! — злобно и громко ответил Иван.

Рюхин сконфузился до того, что не посмел поднять глаза на вежливого доктора. Но тот ничуть не обиделся, а привычным, ловким жестом снял очки, приподняв полу халата, спрятал их в задний карман брюк, а затем спросил у Ивана:

— Сколько вам лет?

— Подите вы все от меня к чертям, в самом деле! — грубо закричал Иван и отвернулся.

— Почему же вы сердитесь? Разве я сказал вам что-нибудь неприятное?

— Мне двадцать три года, — возбужденно заговорил Иван, — и я подам жалобу на вас всех. А на тебя в особенности, гнида! — отнесся он отдельно к Рюхину

— А на что же вы хотите пожаловаться?

— На то, что меня, здорового человека, схватили и

силой приволокли в сумасшедший дом! — в гневе ответил Иван.

Здесь Рюхин всмотрелся в Ивана и похолодел: решительно никакого безумия не было у того в глазах. Из мутных, как они были в Грибоедове, они превратились в прежние, ясные.

«Батюшки! — испуганно подумал Рюхин. — Да он и впрямь нормален? Вот чепуха какая! Зачем же мы, в самом деле, сюда-то его притащили? Нормален, нормален, только рожа расцарапана...»

— Выходитесь, — спокойно заговорил врач, присаживаясь на белый табурет на блестящей ноге, — не в сумасшедшем доме, а в клинике, где вас никто не станет задерживать, если в этом нет надобности.

Иван Николаевич покосился недоверчиво, но все же пробурчал:

— Слава те господи! Нашелся наконец один нормальный среди идиотов, из которых первый — балбес и бездарность Сашка!

— Кто этот Сашка-бездарность? — осведомился врач.

— А вот он, Рюхин! — ответил Иван и ткнул грязным пальцем в направлении Рюхина.

Тот вспыхнул от негодования.

«Это он мне вместо спасибо! — горько подумал он. — За то, что я принял в нем участие! Вот уж, действительно, дрянь!»

— Типичный кулачок по своей психологии, — заговорил Иван Николаевич, которому, очевидно, приспичило обличать Рюхина, — и притом кулачок, тщательно маскирующийся под пролетария. Посмотрите на его постную физиономию и сличите с теми звучными стихами, которые он сочинил к первому числу! Хе-хе-хе... «Взвейтесь!» да «развейтесь!»... а вы загляните к нему внутрь — что он там думает... вы ахнете! — И Иван Николаевич зловеще рассмеялся.

Рюхин тяжело дышал, был красен и думал только об одном, что он отогрел у себя на груди змею, что он принял участие в том, кто оказался на поверку злым врагом. И главное, и поделывать ничего нельзя было: не ругаться же с душевнобольным!

— А почему вас, собственно, доставили к нам? — спросил врач, внимательно выслушав обличения Бездомного.

— Да черт их возьми, олухов! Схватили, связали какими-то тряпками и поволокли в грузовике!

— Позвольте вас спросить, вы почему в ресторан пришли в одном белье?

— Ничего тут нету удивительного, — ответил Иван, — пошел я купаться на Москву-реку, ну и попятели мою одёжу, а эту дрянь оставили! Не голым же мне по Москве идти! Надел что было, потому что спешил в ресторан к Грибоедову.

Врач вопросительно поглядел на Рюхина, и тот хмуро пробормотал:

— Ресторан так называется.

— Ага, — сказал врач, — а почему так спешили? Какое-нибудь деловое свидание?

— Консультанта я ловлю, — ответил Иван Николаевич и тревожно оглянулся.

— Какого консультанта?

— Вы Берлиоза знаете? — спросил Иван многозначительно.

— Это... композитор?

Иван расстроился.

— Какой там композитор? Ах да... Да нет! Композитор — это однофамилец Миши Берлиоза.

Рюхину не хотелось ничего говорить, но пришлось объяснить:

— Секретаря Массолита Берлиоза сегодня вечером задавило трамваем на Патриарших.

— Не ври ты, чего не знаешь! — рассердился на Рюхина Иван. — Я, а не ты был при этом! Он его нарочно под трамвай пристроил!

— Толкнул?

— Да при чем здесь «толкнул»? — сердясь на общую бестолковость, воскликнул Иван. — Такому и толкать не надо! Он такие штуки может выделывать, что только держись! Он заранее знал, что Берлиоз попадет под трамвай!

— А кто-нибудь, кроме вас, видел этого консультанта?

— То-то и беда, что только я и Берлиоз.

— Так. Какие же меры вы приняли, чтобы поймать этого убийцу? — Тут врач повернулся и бросил взгляд женщине в белом халате, сидящей за столом в сторонке. Та вынула лист и стала заполнять пустые места в его графах.

— Меры вот какие. Взял я на кухне свечечку...

— Вот эту? — спросил врач, указывая на изломанную свечку, лежащую на столе рядом с иконкой перед женщиной.

— Эту самую, и...

— А иконка зачем?

— Ну да, иконка... — Иван покраснел, — иконка-то больше всего их и испугала, — он опять ткнул пальцем в сторону Рюхина, — но дело в том, что он, консультант, он... будем говорить прямо... с нечистой силой знается... и так просто его не поймаешь.

Санитары почему-то вытянули руки по швам и глаз не сводили с Ивана.

— Да, — продолжал Иван, — знается! Тут факт бесспорный. Он лично с Понтием Пилатом разговаривал. Да нечего на меня так смотреть! Верно говорю! Все видел — и балкон и пальмы. Был, словом, у Понтия Пилата, за это я ручаюсь.

— Ну-те, ну-те...

— Ну вот, стало быть, я иконку на грудь пришил и побежал...

Тут вдруг часы ударили два раза.

— Эге-ге! — воскликнул Иван и поднялся с дивана. — Два часа, а я с вами время теряю! Я извиняюсь, где телефон?

— Пропустите к телефону, — приказал врач санитарам.

Иван ухватился за трубку, а женщина в это время тихо спросила у Рюхина:

— Женат он?

— Холост, — испуганно ответил Рюхин.

— Член профсоюза?

— Да.

— Милиция? — закричал Иван в трубку. — Милиция? Товарищ дежурный, распорядитесь сейчас же, чтобы выслали пять мотоциклетов с пулеметами для поимки иностранного консультанта. Что? Заезжайте за мною, я сам с вами поеду... Говорит поэт Бездомный из сумасшедшего дома... Как ваш адрес? — шепотом спросил Бездомный у доктора, прикрывая трубку ладонью, а потом опять закричал в трубку: — Вы слушаете? Алло!.. Безобразие! — вдруг завопил Иван и швырнул трубку в стену.

Затем он повернулся к врачу, протянул ему руку, сухо сказал «до свидания» и собрался уходить.

— Помилуйте, куда же вы хотите идти? — заговорил врач, вглядываясь в глаза Ивана. — Глубокой ночью, в белье... Вы плохо чувствуете себя, оставайтесь у нас!

— Пропустите-ка, — сказал Иван санитарам, сомкнувшись у дверей. — Пустите вы или нет? — страшным голосом крикнул поэт.

Рюхин задрожал, а женщина нажала кнопку в столике, и на его стеклянную поверхность выскочила блестящая коробочка и запаянная ампула.

— Ах так?! — дико и затравленно озираясь, произнес Иван. — Ну ладно же! Прощайте!! — И головою вперед он бросился в штору окна.

Грохнуло довольно сильно, но стекло за шторой не дало ни трещины, и через мгновение Иван Николаевич забился в руках у санитаров. Он хрипел, пытался кусаться, кричал:

— Так вот вы какие стеклышки у себя завели!.. Пустите! Пустите!..

Шприц блеснул в руках у врача, женщина одним взмахом распорол ветхий рукав толстовки и вцепилась в руку с неженской силой. Запахло эфиром, Иван ослабел в руках четырех человек, и ловкий врач воспользовался этим моментом и вколол иглу в руку Ивану. Ивана подержали еще несколько секунд и потом опустили на диван.

— Бандиты! — прокричал Иван и вскочил с дивана, но был водворен на него опять. Лишь только его отпустили, он опять было вскочил, но обратно уже сел сам. Он помолчал, диковато озираясь, потом неожиданно зевнул, потом улыбнулся со злобой.

— Заточили все-таки, — сказал он, зевнул еще раз, неожиданно прилег, голову положил на подушку, кулак по-детски под щеку, забормотал уже сонным голосом, без злобы: — Ну и очень хорошо... сами же за всё и поплатитесь. Я предупредил, а там как хотите!.. Меня же сейчас более всего интересует Понтий Пилат... Пилат... — тут он закрыл глаза.

— Ванна, сто семнадцатую отдельную и пост к нему, — распорядился врач, надевая очки. Тут Рюхин опять вздрогнул: бесшумно открылись белые двери, за ними стал виден коридор, освещенный синими ночными лампами. Из коридора выехала на резиновых колесах кушетка, на нее переложили затихшего Ивана, и он уехал в коридор, и двери за ним замкнулись.

— Доктор, — шепотом спросил потрясенный Рюхин, — он, значит, действительно болен?

— О да, — ответил врач.

— А что же это такое с ним? — робко спросил Рюхин.

Усталый врач поглядел на Рюхина и вяло ответил:

— Двигательное и речевое возбуждение... бредовые интерпретации... случай, по-видимому, сложный... Шизофрения, надо полагать. А тут еще алкоголизм...

Рюхин ничего не понял из слов доктора, кроме того, что дела Ивана Николаевича, видно, плоховаты, вздохнул и спросил:

— А что это он все про какого-то консультанта говорит?

— Видел, наверно, кого-то, кто поразил его расстроенное воображение. А может быть, галлюцинировал...

Через несколько минут грузовик уносил Рюхина в Москву. Светало, и свет еще не погашенных на шоссе фонарей был уже не нужен и неприятен. Шофер злился на то, что пропала ночь, гнал машину что есть сил, и ее заносило на поворотах.

Вот и лес отвалился, остался где-то сзади, и река ушла куда-то в сторону, навстречу грузовику сыпалась разная разность: какие-то заборы с караульными будками и штабеля дров, высоченные столбы и какие-то мачты, а на мачтах нанизанные катушки, груды щебня, земля, исполосованная каналами, — словом, чувствовалось, что вот-вот она, Москва, тут же, вон за поворотом, и сейчас навалится и охватит.

Рюхина трясло и швыряло, какой-то обрубок, на котором он поместился, то и дело пытался выскользнуть из-под него. Ресторанные полотенца, подброшенные уехавшими ранее в троллейбусе милиционером и Пантелеем, ездили по всей платформе. Рюхин пытался было их собрать, но, прошипев почему-то со злобой: «Да ну их к черту! Что я, в самом деле, как дурак, верчусь?..» — отшвырнул их ногой и перестал на них глядеть.

Настроение духа у едущего было ужасно. Становилось ясным, что посещение дома скорби оставило в нем тяжелейший след. Рюхин старался понять, что его терзает. Коридор с синими лампами, прилипший к памяти? Мысль о том, что худшего несчастья, чем лишение разума, нет на свете? Да, да, конечно, и это. Но

это — так ведь, общая мысль. А вот есть что-то еще. Что же это? Обида, вот что. Да, да, обидные слова, брошенные Бездомным прямо в лицо. И горе не в том, что они обидные, а в том, что в них заключается правда.

Поэт не глядел уже по сторонам, а, уставившись в грязный трясущийся пол, стал что-то бормотать, нить, глодая самого себя.

Да, стихи... Ему — тридцать два года! В самом деле, что же дальше? — И дальше он будет сочинять по нескольку стихотворений в год. — До старости? — Да, до старости. — Что же принесут ему эти стихотворения? Славу? «Какой вздор! Не обманывай-то хоть сам себя. Никогда слава не придет к тому, кто сочиняет дурные стихи. Отчего они дурны? Правду, правду сказал! — безжалостно обращался к самому себе Рюхин. — Не верю я ни во что из того, что пишу!..»

Отравленный взрывом неврастении, поэт покачнувшись, пол под ним перестал трястись. Рюхин поднял голову и увидел, что он давно уже в Москве и, более того, что над Москвой рассвет, что облако подсвечено золотом, что грузовик его стоит, застрявши в колонне других машин у поворота на бульвар, и что близехонько от него стоит на постаменте металлический человек, чуть наклонив голову, и безразлично смотрит на бульвар.

Какие-то странные мысли хлынули в голову заболевшему поэту. «Вот пример настоящей удачливости... — Тут Рюхин встал во весь рост на платформе грузовика и руку поднял, нападая зачем-то на никого не трогающего чутунного человека. — Какой бы шаг он ни сделал в жизни, что бы ни случилось с ним, все шло ему на пользу, все обращалось к его славе! Но что он сделал? Я не постигаю... Что-нибудь особенное есть в этих словах: «Буря мглою...»? Не понимаю!.. Повезло, повезло! — вдруг ядовито заключил Рюхин и почувствовал, что грузовик под ним шевельнулся. — Стрелял, стрелял в него этот белогвардеец и раздробил бедро и обеспечил бессмертие...»

Колонна тронулась. Совершенно больной и даже постаревший поэт не более чем через две минуты входил на веранду Грибоедова. Она уже опустела. В углу допивала какая-то компания, и в центре ее суетился знакомый конференсье в тюбетейке и с бокалом Абрау в руке.

Рюхин, обремененный полотенцами, был встречен

Арчибальдом Арчибальдовичем приветливо и тотчас избавлен от проклятых тряпок. Не будь Рюхин так истерзан в клинике и на грузовике, он, наверно, получил бы удовольствие, рассказывая о том, как все было в лечебнице, и украшая этот рассказ выдуманными подробностями. Но сейчас ему было не до того, да и как ни мало был наблюдателем Рюхин, — теперь, после пытки в грузовике, он впервые остро взгляделся в пирата и понял, что тот хоть и задает вопросы о Бездомном и даже восклицает «ай-яй-яй!», но, по сути дела, совершенно равнодушен к судьбе Бездомного и ничуть его не жалеет. «И молодец! И правильно!» — с цинической, самоуничтожающей злобой подумал Рюхин и, оборвав рассказ о шизофрении, попросил:

— Арчибальд Арчибальдович, водочки бы мне...

Пират сделал сочувствующее лицо, шепнул:

— Понимаю... сию минуту... — и махнул официанту.

Через четверть часа Рюхин, в полном одиночестве, сидел, скорчившись над рыбцом, пил рюмку за рюмкой, понимая и признавая, что исправить в его жизни уже ничего нельзя, а можно только забыть.

Поэт истратил свою ночь, пока другие пировали, и теперь понимал, что вернуть ее нельзя. Стоило только поднять голову от лампы вверх к небу, чтобы понять, что ночь пропала безвозвратно. Официанты, торопясь, срывали скатерти со столов. У котов, шнырявших возле веранды, был утренняя вид. На поэта неудержимо наваливался день.

Г л а в а 7

НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА

Если бы в следующее утро Степе Лиходееву сказали бы так: «Степа! Тебя расстреляют, если ты сию минуту не встанешь!» — Степа ответил бы томным, чуть слышным голосом: «Расстреливайте, делайте со мною, что хотите, но я не встану».

Не то что встать, — ему казалось, что он не может открыть глаз, потому что, если только он это сделает, сверкнет молния и голову его тут же разнесет на куски. В этой голове гудел тяжелый колокол, между глазными яблоками и закрытыми веками проплывали коричневые пятна с огненно-зеленым ободком, и в довершение

всего тошнило, причем казалось, что тошнота эта связана со звуками какого-то назойливого патефона.

Степа старался что-то припомнить, но припоминалось только одно — что, кажется, вчера и неизвестно где он стоял с салфеткой в руке и пытался поцеловать какую-то даму, причем обещал ей, что на другой день, и ровно в полдень, придет к ней в гости. Дама от этого отказывалась, говоря: «Нет, нет, меня не будет дома!» — а Степа упорно настаивал на своем: «А я вот возьму да и приду!»

Ни какая это была дама, ни который сейчас час, ни какое число и какого месяца — Степа решительно не знал и, что хуже всего, не мог понять, где он находится. Он постарался выяснить хотя бы последнее и для этого разлепил слипшиеся веки левого глаза. В полутьме что-то тускло отсвечивало. Степа наконец узнал трюмо и понял, что он лежит навзничь у себя на кровати, то есть на бывшей ювелиршиной кровати, в спальне. Тут ему так ударило в голову, что он закрыл глаз и застонал.

Объяснимся: Степа Лиходеев, директор театра Варьете, очнулся утром у себя в той самой квартире, которую он занимал пополам с покойным Берлиозом, в большом шестиэтажном доме, покоем расположенном на Садовой улице.

Надо сказать, что квартира эта — № 50 — давно уже пользовалась если не плохой, то, во всяком случае, странной репутацией. Еще два года назад владелицей ее была вдова ювелира де Фужере. Анна Францевна де Фужере, пятидесятилетняя почтенная и очень деловая дама, три комнаты из пяти сдавала жильцам: одному, фамилия которого была, кажется, Беломут, и другому — с утраченной фамилией.

И вот два года тому назад начались в квартире необъяснимые происшествия: из этой квартиры люди начали бесследно исчезать.

Однажды в выходной день явился в квартиру милиционер, вызвал в переднюю второго жильца (фамилия которого утратилась) и сказал, что того просят на минутку зайти в отделение милиции в чем-то расписаться. Жилец приказал Анфисе, преданной и давней домработнице Анны Францевны, сказать, в случае если ему будут звонить, что он вернется через десять минут, и ушел вместе с корректным милиционером в белых пер-

чатках. Но не вернулся он не только через десять минут, а вообще никогда не вернулся. Удивительнее всего то, что, очевидно, с ним вместе исчез и милиционер.

Набожная, а откровеннее сказать — суеверная, Анфиса так напрямик и заявила очень расстроенной Анне Францевне, что это колдовство и что она прекрасно знает, кто утащил и жильца и милиционера, только к ночи не хочет говорить.

Ну, а колдовству, как известно, стоит только начаться, а там уж его ничем не остановишь. Второй жилец исчез, помнится, в понедельник, а в среду как сквозь землю провалился Беломут, но, правда, при других обстоятельствах. Утром за ним заехала, как обычно, машина, чтобы отвезти его на службу, и отвезла, но назад никого не привезла и сама больше не вернулась.

Горе и ужас мадам Беломут не поддаются описанию. Но, увы, и то и другое было непродолжительно. В ту же ночь, вернувшись с Анфисой с дачи, на которую Анна Францевна почему-то спешно поехала, она не застала уже гражданки Беломут в квартире. Но этого мало: двери обеих комнат, которые занимали супруги Беломут, оказались запечатанными!

Два дня прошли кое-как. На третий же день страдавшая все это время бессонницей Анна Францевна опять-таки спешно уехала на дачу... Нужно ли говорить, что она не вернулась!

Оставшаяся одна Анфиса, наплакавшись вволю, легла спать во втором часу ночи. Что с ней было дальше, неизвестно, но рассказывали жильцы других квартир, что будто бы в № 50-м всю ночь слышались какие-то стуки и будто бы до утра в окнах горел электрический свет. Утром выяснилось, что и Анфисы нет!

Об исчезнувших и о проклятой квартире долго в доме рассказывали всякие легенды, вроде того, например, что эта сухонькая и набожная Анфиса будто бы носила на своей иссохшей груди в замшевом мешочке двадцать пять крупных бриллиантов, принадлежащих Анне Францевне. Что будто бы в дровяном сарае на той самой даче, куда спешно ездила Анна Францевна, обнаружили сами собой какие-то несметные сокровища в виде тех же бриллиантов, а также золотых денег царской чеканки... И прочее в этом же роде. Ну, чего не знаем, за то не ручаемся.

Как бы то ни было, квартира простояла пустой и

запечатанной только неделю, а затем в нее вселились — покойный Берлиоз с супругой и этот самый Степа тоже с супругой. Совершенно естественно, что, как только они попали в окаянную квартиру, и у них началось черт знает что. Именно, в течение одного месяца пропали обе супруги. Но эти не бесследно. Про супругу Берлиоза рассказывали, что будто бы ее видели в Харькове с каким-то балетмейстером, а супруга Степы якобы обнаружилась на Божedomке, где, как болтали, директор Варьете, используя свои бесчисленные знакомства, ухитрился добыть ей комнату, но с одним условием, чтобы духу ее не было на Садовой улице...

Итак, Степа застал. Он хотел позвать домработницу Груню и потребовать у нее пирамидону, но все-таки сумел сообразить, что это глупости, что никакого пирамидону у Груни, конечно, нет. Попытался позвать на помощь Берлиоза, дважды простонал: «Миша... Миша...», но, как сами понимаете, ответа не получил. В квартире стояла полнейшая тишина.

Пошевелив пальцами ног, Степа догадался, что лежит в носках, трясущейся рукою провел по бедру, чтобы определить, в брюках он или нет, и не определил. Наконец, видя, что он брошен и одинок, что некому ему помочь, решил подняться, каких бы нечеловеческих усилий это ни стоило.

Степа разлепил склеенные веки и увидел, что отражается в трюмо в виде человека с торчащими в разные стороны волосами, с опухшей, покрытой черной щетиною физиономией, с заплывшими глазами, в грязной сорочке с воротником и галстуком, в кальсонах и в носках.

Таким он увидел себя в трюмо, а рядом с зеркалом увидел неизвестного человека, одетого в черное и в черном берете.

Степа сел на кровать и сколько мог вытаращил налитые кровью глаза на неизвестного.

Молчание нарушил этот неизвестный, произнеся низким, тяжелым голосом и с иностранным акцентом следующие слова:

— Добрый день, симпатичнейший Степан Богданович!

Произошла пауза, после которой, сделав над собой страшнейшее усилие, Степа выговорил:

— Что вам угодно? — и сам поразился, не узнав

своего голоса. Слово «что» он произнес дискантом, «вам» — басом, а «удочно» у него совсем не вышло.

Незнакомец дружелюбно усмехнулся, вынул большие золотые часы с алмазным треугольником на крышке, прозвонил одиннадцать раз и сказал:

— Одиннадцать! И ровно час, как я дожидаюсь вашего пробуждения, ибо вы назначили мне быть у вас в десять. Вот и я!

Степа нащупал на стуле рядом с кроватью брюки, шепнул:

— Извините... — надел их и хрипло спросил: — Скажите, пожалуйста, вашу фамилию?

Говорить ему было трудно. При каждом слове кто-то втыкал ему иглку в мозг, причиняя адскую боль.

— Как? Вы и фамилию мою забыли? — тут неизвестный улыбнулся.

— Простите... — прохрипел Степа, чувствуя, что похмелье дарит его новым симптомом: ему показалось, что пол возле кровати ушел куда-то и что сию минуту он головой вниз полетит к чертовой матери в преисподнюю.

— Дорогой Степан Богданович, — заговорил посетитель, проникательно улыбаясь, — никакой пирамидон вам не поможет. Следуйте старому мудрому правилу — лечить подобное подобным. Единственно, что вернет вас к жизни, это две стопки водки с острой и горячей закуской.

Степа был хитрым человеком и, как ни был болен, сообразил, что раз уж его застали в таком виде, нужно признаваться во всем.

— Откровенно сказать, — начал он, еле ворочая языком, — вчера я немножко...

— Ни слова больше! — ответил визитер и отъехал с креслом в сторону.

Степа, тараща глаза, увидел, что на маленьком столике сервирован поднос, на коем имеется нарезанный белый хлеб, паюсная икра в вазочке, белые маринованные грибы на тарелочке, что-то в кастрюльке и, наконец, водка в объемистом ювелиршином графинчике. Особенно поразило Степу то, что графин запотел от холода. Впрочем, это было понятно — он помещался в полоскательнице, набитой льдом. Накрыто, словом, было чисто, умело.

Незнакомец не дал Степину изумлению развить-

ся до степени болезненной и ловко налил ему полстопки водки.

— А вы? — пискнул Степа.

— С удовольствием!

Прыгающей рукой поднес Степа стопку к устам, а незнакомец одним духом проглотил содержимое своей стопки. Прожевывая кусок икры, Степа выдавил из себя слова:

— А вы что же... закусить?

— Благодарствуйте, я не закусываю никогда, — ответил незнакомец и налил по второй. Открыли кастрюльку — в ней оказались сосиски в томате.

И вот проклятая зелень перед глазами растаяла, стали выговариваться слова, и, главное, Степа кое-что припомнил. Именно, что дело вчера было на Сходне, на даче у автора скетчей Хустова, куда этот Хустов и возил Степу в таксомоторе. Припомнилось даже, как нанимали этот таксомотор у «Метрополя», был еще при этом какой-то актер не актер... с патефоном в чемоданчике. Да, да, да, это было на даче! Еще, помнится, были собаки от этого патефона. Вот только дама, которую Степа хотел поцеловать, осталась неразъясненной... черт ее знает, кто она... кажется, в радио служит, а может быть, и нет.

Вчерашний день, таким образом, помаленьку высветлялся, но Степу сейчас гораздо более интересовал день сегодняшний и, в частности, появление в спальне неизвестного, да еще с закуской и водкой. Вот что недурно было бы разъяснить!

— Ну, что же, теперь, я надеюсь, вы вспомнили мою фамилию?

Но Степа только стыдливо улыбнулся и развел руками.

— Однако! Я чувствую, что после водки вы пили портвейн! Помилуйте, да разве это можно делать!

— Я хочу вас попросить, чтобы это осталось между нами, — заискивающе сказал Степа.

— О, конечно, конечно! Но за Хустова я, само собой разумеется, не ручаюсь.

— А вы разве знаете Хустова?

— Вчера в кабинете у вас я видел мельком этого индивидуума, но достаточно одного беглого взгляда на его лицо, чтобы понять, что он — сволочь, склочник, приспособленец и подхалим.

«Совершенно верно!» — подумал Степа, пораженный таким верным, точным и кратким определением Хустова.

Да, вчерашний день лепился из кусочков, но все-таки тревога не покидала директора Варьете. Дело в том, что в этом вчерашнем дне зияла преогромная черная дыра. Вот этого самого незнакомца в берете, воля ваша, Степа в своем кабинете вчера никак не видал.

— Профессор черной магии Воланд, — веско сказал визитер, видя Степины затруднения, и рассказал все по порядку.

Вчера днем он приехал из-за границы в Москву, немедленно явился к Степе и предложил свои гастроли в Варьете. Степа позвонил в Московскую областную зрелищную комиссию и вопрос этот согласовал (Степа побледнел и заморгал глазами), подписал с профессором Воландом контракт на семь выступлений (Степа открыл рот), условился, что Воланд придет к нему для уточнения деталей в десять часов утра сегодня... Вот Воланд и пришел. Придя, был встречен домработницей Груней, которая объяснила, что сама она только что пришла, что она приходящая, что Берлиоза дома нет, а что если визитер желает видеть Степана Богдановича, то пусть идет к нему в спальню сам. Степан Богданович так крепко спит, что разбудить его она не берется. Увидев, в каком состоянии Степан Богданович, артист послал Груню в ближайший гастроном за водкой и закуской, в аптеку за льдом и...

— Позвольте с вами рассчитаться, — проскулил убитый Степа и стал искать бумажник.

— О, какой вздор! — воскликнул гастролер и слушать ничего больше не захотел.

Итак, водка и закуска стали понятны, и все же на Степу было жалко взглянуть: он решительно не помнил ничего о контракте и, хоть убейте, не видел вчера этого Воланда. Да, Хустов был, а Воланда не было.

— Разрешите взглянуть на контракт, — тихо попросил Степа.

— Пожалуйста, пожалуйста...

Степа глянул в бумагу и закоченел. Все было на месте. Во-первых, собственноручная Степина залихватская подпись! Косая надпись сбоку рукою финдиректора Римского с разрешением выдать артисту Воланду в счет следуемых ему за семь выступлений тридцати пяти тысяч рублей десять тысяч рублей. Более того: тут

же расписка Воланда в том, что он эти десять тысяч уже получил!

«Что же это такое?!» — подумал несчастный Степа, и голова у него закружилась. Начинаются зловещие провалы в памяти?! Но, само собою, после того, как контракт был предъявлен, дальнейшие выражения удивления были бы просто неприличны. Степа попросил у гостя разрешения на минуту отлучиться и, как был в носках, побежал в переднюю к телефону. По дороге он крикнул в направлении кухни:

— Груня!

Но никто не отозвался. Тут он взглянул на дверь в кабинет Берлиоза, бывшую рядом с передней, и тут, как говорится, остолбенел. На ручке двери он разглядел огромнейшую сургучную печать на веревке. «Здравствуйте! — рявкнул кто-то в голове у Степы. — Этого еще не доставало!» И тут Степины мысли побежали уже по двойному рельсовому пути, но, как всегда бывает во время катастрофы, в одну сторону и вообще черт знает куда. Головную Степину кашу трудно даже передать. Тут и чертовщина с черным беретом, холодной водкой и невероятным контрактом, — а тут еще ко всему этому, не угодно ли, и печать на двери! То есть кому хотите сказать, что Берлиоз что-то натворил, — не поверит, ей-ей, не поверит! Однако печать, вот она! Да-с...

И тут закопошились в мозгу у Степы какие-то неприятнейшие мыслишки о статье, которую, как назло, недавно он всучил Михаилу Александровичу для напечатания в журнале. И статья, между нами говоря, дурацкая! И никчемная, и деньги-то маленькие...

Немедленно вслед за воспоминанием о статье прилетело воспоминание о каком-то сомнительном разговоре, происходившем, как помнится, двадцать четвертого апреля вечером тут же, в столовой, когда Степа ужинал с Михаилом Александровичем. То есть, конечно, в полном смысле слова разговор этот сомнительным назвать нельзя (не пошел бы Степа на такой разговор), но это был разговор на какую-то ненужную тему. Совершенно свободно можно было бы, граждане, его и не затевать. До печати, нет сомнений, разговор этот мог бы считаться совершеннейшим пустяком, но вот после печати...

«Ах, Берлиоз, Берлиоз! — вскипало в голове у Степы — Ведь это в голову не лезет!»

Но горевать долго не приходилось, и Степа набрал номер в кабинете финдиректора Варьете Римского. Положение Степы было щекотливое: во-первых, иностранец мог обидеться на то, что Степа проверяет его после того, как был показан контракт, да и с финдиректором говорить было чрезвычайно трудно. В самом деле, ведь не спросишь же его так: «Скажите, заключал ли я вчера с профессором черной магии контракт на тридцать пять тысяч рублей?» Так спрашивать не годится!

— Да! — слышался в трубке резкий, неприятный голос Римского.

— Здравствуйте, Григорий Данилович, — тихо заговорил Степа, — это Лиходеев. Вот какое дело... гм... гм... у меня сидит этот... э... артист Воланд... Так вот... я хотел спросить, как насчет сегодняшнего вечера?..

— Ах, черный маг? — отозвался в трубке Римский. — Афиши сейчас будут.

— Ага, — слабым голосом сказал Степа, — ну, пока...

— А вы скоро придете? — спросил Римский.

— Через полчаса, — ответил Степа и, повесив трубку, сжал горячую голову руками. Ах, какая выходила скверная штука! Что же это с памятью, граждане? А?

Однако дольше задерживаться в передней было неудобно, и Степа тут же составил план: всеми мерами скрыть свою невероятную забывчивость, а сейчас первым делом хитро выспросить у иностранца, что он, собственно, намерен сегодня показывать во вверенном Степе Варьете?

Тут Степа повернулся от аппарата и в зеркале, помещавшемся в передней и давно не вытираемом ленивой Груней, отчетливо увидел какого-то странного субъекта — длинного, как жердь, и в пенсне (ах, если бы здесь был Иван Николаевич! Он узнал бы этого субъекта сразу!). А тот отразился и тотчас пропал. Степа в тревоге поглубже заглянул в переднюю, и вторично его качнуло, ибо в зеркале прошел здоровеннейший черный кот и также пропал.

У Степы оборвалось сердце, он пошатнулся.

«Что же это такое? — подумал он. — Уж не схожу ли я с ума? Откуда эти отражения!» Он заглянул в переднюю и испуганно закричал:

— Груня! Какой тут кот у нас шляется? Откуда он? И кто-то еще?!

— Не беспокойтесь, Степан Богданович, — отозвался

голос, но не Грунин, а гостя из спальни. — Кот этот мой. Не нервничайте. А Груни нет, я усладил ее в Воронеж. Она жаловалась, что вы у нее отпуск зажилили.

Слова эти были настолько неожиданны и нелепы, что Степа решил, что ослышался. В полном смятении он рысцой побежал в спальню и застыл на пороге. Волосы его шевельнулись, и на лбу появилась россыпь мелкого пота.

Гость пребывал в спальне уже не один, а в компании. Во втором кресле сидел тот самый тип, что помещался в передней. Теперь он был ясно виден: усы-перышки, стеклышко пенсне поблескивает, а другого стеклышка нет. Но оказались в спальне вещи и похуже: на ювелиршином пуфе в развязной позе развалился некто третий, именно — жутких размеров черный кот со стопкой водки в одной лапе и вилкой, на которую он успел поддеть маринованный гриб, в другой.

Свет, и так слабый в спальне, и вовсе начал меркнуть в глазах Степы. «Вот как, оказывается, сходят с ума!» — подумал он и ухватился за притолоку.

— Я вижу, вы немного удивлены, дражайший Степан Богданович? — осведомился Воланд у лязгающего зубами Степы. — А между тем удивляться нечему. Это моя свита.

Тут кот выпил водку, и Степина рука поползла по притолоке вниз.

— И свита эта требует места, — продолжал Воланд, — так что кое-кто из нас здесь лишний в квартире. И мне кажется, что этот лишний — именно вы!

— Они, они! — козлиным голосом запел длинный клетчатый, во множественном числе говоря о Степе. — Вообще они в последнее время жутко свинячат. Пьянствуют, вступают в связи с женщинами, используя свое положение, ни черта не делают, да и делать ничего не могут, потому что ничего не смыслят в том, что им поручено. Начальству втирают очки!

— Машину зря гоняет казенную! — наябедничал кот, жуя гриб.

И тут случилось четвертое, и последнее, явление в квартире, когда Степа, совсем уже сползший на пол, ослабевшей рукой царапал притолоку.

Прямо из зеркала трюмо вышел маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове и с

торчащим изо рта клыком, безобразящим и без того невиданно мерзкую физиономию. И при этом еще огненно-рыжий.

— Я, — вступил в разговор этот новый, — вообще не понимаю, как он попал в директора, — рыжий гну-савил все больше и больше, — он такой же директор, как я архиерей!

— Ты не похож на архиерея, Азазелло, — заметил кот, накладывая себе сосисок на тарелку.

— Я это и говорю, — прогнусил рыжий и, повернувшись к Воланду, добавил почтительно: — Разрешите, мессир, его выкинуть ко всем чертям из Москвы?

— Брысь!! — вдруг рявкнул кот, вздыбив шерсть.

И тогда спальня завертелась вокруг Степы, и он ударился о притолоку головой и, теряя сознание, подумал: «Я умираю...»

Но он не умер. Приоткрыв слегка глаза, он увидел себя сидящим на чем-то каменном. Вокруг него что-то шумело. Когда он раскрыл глаза как следует, он понял, что шумит море и что, даже больше того, — волна покачивается у самых его ног, что, короче говоря, он сидит на самом конце мола, что над ним голубое сверкающее небо, а сзади — белый город на горах.

Не зная, как поступают в таких случаях, Степа поднялся на трясущиеся ноги и пошел по молу к берегу.

На молу стоял какой-то человек, курил, плевал в море. На Степу он поглядел дикими глазами и перестал плевать.

Тогда Степа отколол такую штуку: стал на колени перед неизвестным курильщиком и произнес:

— Умоляю, скажите, какой это город?

— Однако! — сказал бездушный курильщик.

— Я не пьян, — хрипло ответил Степа, — со мной что-то случилось... я болен... Где я? Какой это город?

— Ну, Ялта...

Степа тихо вздохнул, повалился на бок, голову стукнул о нагретый камень мола. Сознание покинуло его.

ПОЕДИНОК МЕЖДУ ПРОФЕССОРОМ И ПОЭТОМ

Как раз в то время, когда сознание покинуло Степу в Ялте, то есть около половины двенадцатого дня, оно вернулось к Ивану Николаевичу Бездомному, проснувшемуся после глубокого и продолжительного сна. Некоторое время он соображал, каким это образом он попал в неизвестную комнату с белыми стенами, с удивительным ночным столиком из какого-то светлого металла и с белой шторой, за которой чувствовалось солнце.

Иван тряхнул головой, убедился в том, что она не болит, и вспомнил, что он находится в лечебнице. Эта мысль потянула за собою воспоминание о гибели Берлиоза, но сегодня оно не вызвало у Ивана сильного потрясения. Выспавшись, Иван Николаевич стал спокойнее и соображать начал яснее. Полежав некоторое время неподвижно в чистой, мягкой и удобной пружинной кровати, Иван увидел кнопку звонка рядом с собою. По привычке трогать предметы без надобности, Иван нажал ее. Он ожидал какого-то звона или явления вслед за нажатием кнопки, но произошло совсем другое.

В ногах Ивановой кровати загорелся матовый цилиндр, на котором было написано: «Пить». Постояв некоторое время, цилиндр начал вращаться до тех пор, пока не выскочила надпись: «Няня». Само собою разумеется, что хитроумный цилиндр поразил Ивана. Надпись «Няня» сменилась надписью «Вызовите доктора».

— Гм... — молвил Иван, не зная, что делать с этим цилиндром дальше. Но тут повезло случайно: Иван нажал кнопку второй раз на слове «Фельдшерица». Цилиндр тихо прозвенел в ответ, остановился, потух, и в комнату вошла полная симпатичная женщина в белом чистом халате и сказала Ивану:

— Доброе утро!

Иван не ответил, так как счел это приветствие в данных условиях неуместным. В самом деле, засадили здорового человека в лечебницу, да еще делают вид, что это так и нужно!

Женщина же тем временем, не теряя благодушного выражения лица, при помощи одного нажима кнопки, увела штору вверх, и в комнату через широкопетли-

стую и легкую решетку, доходящую до самого пола, хлынуло солнце. За решеткой открылся балкон, за ним берег извивающейся реки и на другом ее берегу — веселый сосновый бор.

— Пожалуйте ванну братъ, — пригласила женщина, и под руками ее раздвинулась внутренняя стена, за которой оказалось ванное отделение и прекрасно оборудованная уборная.

Иван, хоть и решил с женщиной не разговаривать, не удержался и, видя, как вода хлещет в ванну широкой струей из сияющего крана, сказал с иронией:

— Ишь ты! Как в «Метрополе»!

— О нет, — с гордостью ответила женщина, — гораздо лучше. Такого оборудования нет нигде и за границей. Ученые и врачи специально приезжают осматривать нашу клинику. У нас каждый день интуристы бывают.

При слове «интурист» Ивану тотчас же вспомнился вчерашний консультант. Иван затуманился, поглядел исподлобья и сказал:

— Интуристы... До чего вы все интуристов обожаете! А среди них, между прочим, разные попадают. Я, например, вчера с таким познакомился, что любо-дорого!

И чуть было не начал рассказывать про Понтия Пилата, но сдержался, понимая, что женщине эти рассказы ни к чему, что все равно помочь ему она не может.

Вымытому Ивану Николаевичу тут же было выдано решительно все, что необходимо мужчине после ванны: выглаженная рубашка, кальсоны, носки. Но этого мало: отворив дверь шкафчика, женщина указала внутрь его и спросила:

— Что желаете надеть — халатик или пижамку?

Прикрепленный к новому жилищу насильственно, Иван едва руками не всплеснул от развязности женщины и молча ткнул пальцем в пижаму из пунцовой байки.

После этого Ивана Николаевича повели по пустому и беззвучному коридору и привели в громаднейших размеров кабинет. Иван, решив относиться ко всему, что есть в этом на диво оборудованном здании, с иронией, тут же мысленно окрестил кабинет «фабрикой-кухней».

И было за что. Здесь стояли шкафы и стеклянные

шкафики с блестящими никелированными инструментами. Были кресла необыкновенно сложного устройства, какие-то пузатые лампы с сияющими колпаками, множество склянок, и газовые горелки, и электрические провода, и совершенно никому не известные приборы.

В кабинете за Ивана принялись трое — две женщины и один мужчина, все в белом. Первым долгом Ивана отвели в уголок, за столик, с явной целью кое-что у него повыспросить.

Иван стал обдумывать положение. Перед ним было три пути. Чрезвычайно соблазнял первый: кинуться на эти лампы и замысловатые вещицы и всех их к чертовой бабушке перебить, и таким образом выразить свой протест за то, что он задержан зря. Но сегодняшний Иван значительно уже отличался от Ивана вчерашнего, и первый путь показался ему сомнительным: чего доброго, они укоренятся в мысли, что он буйный сумасшедший. Поэтому первый путь Иван отринул. Был второй: немедленно начать повествование о консультанте и Понтии Пилате. Однако вчерашний опыт показывал, что этому рассказу не верят или понимают его как-то извращенно. Поэтому Иван и от этого пути отказался, решив избрать третий: замкнуться в гордом молчании.

Полностью этого осуществить не удалось и, волею-неволей, пришлось отвечать, хоть и скупо и хмуро, на целый ряд вопросов. И у Ивана выспросили решительно всё насчет его прошлой жизни, вплоть до того, когда и как он болел скарлатиной, лет пятнадцать тому назад. Исписав за Иваном целую страницу, перевернули ее, и женщина в белом перешла к вопросам о родственниках Ивана. Началась какая-то канитель: кто умер, когда, да отчего, не пил ли, не болел ли венерическими болезнями, и все в таком же роде. В заключение попросили рассказать о вчерашнем происшествии на Патриарших прудах, но очень не приставали, сообщению о Понтии Пилате не удивлялись.

Тут женщина уступила Ивана мужчине, и тот взялся за него по-иному и ни о чем уже не расспрашивал. Он измерил температуру Иванова тела, посчитал пульс, посмотрел Ивану в глаза, светя в них какою-то лампой. Затем на помощь мужчине пришла другая женщина, и Ивана кололи, но не больно, чем-то в спину, рисовали

у него ручкой молоточка какие-то знаки на коже груди, стучали молоточками по коленям, отчего ноги Ивана подпрыгивали, кололи палец и брали из него кровь, кололи в локтевом сгибе, надевали на руки какие-то резиновые браслеты...

Иван только горько усмехался про себя и размышлял о том, как все это глупо и странно получилось. Подумать только! Хотел предупредить всех об опасности, грозящей от неизвестного консультанта, собирался его изловить, а добился только того, что попал в какой-то таинственный кабинет затем, чтобы рассказывать всякую чушь про дядю Федора, пившего в Вологде запоем. Нестерпимо глупо!

Наконец Ивана отпустили. Он был препровожден обратно в свою комнату, где получил чашку кофе, два яйца всмятку и белый хлеб с маслом.

Съев и выпив все предложенное, Иван решил дожидаться кого-то главного в этом учреждении и уж у этого главного добиться и внимания к себе, и справедливости.

И он дождался его, и очень скоро, после своего завтрака. Неожиданно открылась дверь в комнату Ивана, и в нее вошло множество народа в белых халатах. Впереди всех шел тщательно, по-актерски обритый человек лет сорока пяти, с приятными, но очень пронзительными глазами и вежливыми манерами. Вся свита оказывала ему знаки внимания и уважения, и вход его получился поэтому очень торжественным. «Как Понтий Пилат!» — подумалось Ивану.

Да, это был, несомненно, главный. Он сел на табурет, а все остались стоять.

— Доктор Стравинский, — представился усевшийся Ивану и поглядел на него дружелюбно.

— Вот, Александр Николаевич, — негромко сказал кто-то в опрятной бородке и подал главному кругом исписанный Иванов лист.

«Целое дело сшили!» — подумал Иван. А главный привычными глазами пробежал лист, пробормотал: «Угу, угу...» — и обменялся с окружающими несколькими фразами на малоизвестном языке.

«И по-латыни, как Пилат, говорит...» — печально подумал Иван. Тут одно слово заставило его вздрогнуть, и это было слово «шизофрения» — увы, уже вчера произнесенное проклятым иностранцем на Патриарших

прудах, а сегодня повторенное здесь профессором Стравинским.

«И ведь это знал!» — тревожно подумал Иван.

Главный, по-видимому, поставил себе за правило соглашаться со всем и радоваться всему, что бы ни говорили ему окружающие, и выражать это словами «славно, славно...».

— Славно! — сказал Стравинский, возвращая кому-то лист, и обратился к Ивану: — Вы — поэт?

— Поэт, — мрачно ответил Иван и впервые вдруг почувствовал какое-то необъяснимое отвращение к поэзии, и вспомнившиеся ему тут же собственные его стихи показались почему-то неприятными.

Морща лицо, он, в свою очередь, спросил у Стравинского:

— Вы — профессор?

На это Стравинский предупредительно-вежливо наклонил голову.

— И вы — здесь главный? — продолжал Иван.

Стравинский и на это поклонился.

— Мне с вами нужно говорить, — многозначительно сказал Иван Николаевич.

— Я для этого и пришел, — отозвался Стравинский.

— Дело вот в чем, — начал Иван, чувствуя, что настал его час, — меня в сумасшедшие вырядили, никто не желает меня слушать!..

— О нет, мы выслушаем вас очень внимательно, — серьезно и успокоительно сказал Стравинский, — и в сумасшедшие вас рядить ни в коем случае не позволим.

— Так слушайте же: вчера вечером я на Патриарших прудах встретился с таинственной личностью, иностранцем не иностранцем, который заранее знал о смерти Берлиоза и лично видел Понтия Пилата.

Свита безмолвно и не шевелясь слушала поэта.

— Пилата? Пилат, это — который жил при Иисусе Христе? — щурясь на Ивана, спросил Стравинский.

— Тот самый.

— Ага, — сказал Стравинский, — а этот Берлиоз погиб под трамваем?

— Вот же именно его вчера при мне и зарезало трамваем на Патриарших, причем этот самый загадочный гражданин...

— Знакомый Понтия Пилата? — спросил Стравин-

ский, очевидно, отличавшийся большой понятливостью.

— Именно он, — подтвердил Иван, изучая Стравинского, — так вот он сказал заранее, что Аннушка разлила подсолнечное масло... А он и поскользнулся как раз на этом месте! Как вам это понравится? — многозначительно осведомился Иван, надеясь произвести большой эффект своими словами.

Но этого эффекта не последовало, и Стравинский очень просто задал следующий вопрос:

— А кто же эта Аннушка?

Этот вопрос немного расстроил Ивана, лицо его передернуло.

— Аннушка здесь совершенно не важна, — проговорил он, нервничая, — черт ее знает, кто она такая. Просто дура какая-то с Садовой. А важно то, что он заранее, понимаете ли, заранее знал о подсолнечном масле! Вы меня понимаете?

— Отлично понимаю, — серьезно ответил Стравинский и, коснувшись колена поэта, добавил: — Не волнуйтесь и продолжайте.

— Продолжаю, — сказал Иван, стараясь попасть в тон Стравинскому и зная уже по горькому опыту, что лишь спокойствие поможет ему, — так вот, этот страшный тип, а он врет, что он консультант, обладает какою-то необыкновенной силой... Например, за ним погонишься, а догнать его нет возможности. А с ним еще парочка, и тоже хороша, но в своем роде: какой-то длинный в битых стеклах и, кроме того, невероятных размеров кот, самостоятельно едущий в трамвае. Кроме того, — никем не перебиваемый, Иван говорил все с большим жаром и убедительностью, — он лично был на балконе у Понтия Пилата, в чем нет никакого сомнения. Ведь это что же такое? А? Его надо немедленно арестовать, иначе он натворит неопишуемых бед.

— Так вот вы и добиваетесь, чтобы его арестовали? Правильно я вас понял? — спросил Стравинский.

«Он умен, — подумал Иван, — надо признаться, что среди интеллигентов тоже попадаются на редкость умные. Этого отрицать нельзя», — и ответил:

— Совершенно правильно! И как же не добиваться, вы подумайте сами! А между тем меня силою задержали здесь, тычут в глаза лампой, в ванне купают, про дядю Федю чего-то расспрашивают!.. А его уж давно на

свете нет! Я требую, чтобы меня немедленно выпустили.

— Ну что же, славно, славно! — отозвался Стравинский. — Вот все и выяснилось. Действительно, какой же смысл задерживать в лечебнице человека здорового? Хорошо-с. Я вас сейчас же выпишу отсюда, если вы мне скажете, что вы нормальны. Не докажете, а только скажете. Итак, вы нормальны?

Тут наступила полная тишина, и толстая женщина, утром ухаживавшая за Иваном, благоговейно поглядела на профессора, а Иван еще раз подумал: «Положительно умен».

Предложение профессора ему очень понравилось, однако, прежде чем ответить, он очень и очень подумал, морща лоб, и, наконец, сказал твердо:

— Я — нормален.

— Ну вот и славно! — облегченно воскликнул Стравинский. — А если так, то давайте рассуждать логически. Возьмем ваш вчерашний день, — тут он повернулся, и ему немедленно подали Иванов лист. — В поисках неизвестного человека, который отрекомендовался вам как знакомый Понтия Пилата, вы вчера произвели следующие действия, — тут Стравинский стал загибать длинные пальцы, поглядывая то в лист, то на Ивана, — повесили на грудь иконку. Было?

— Было, — хмуро согласился Иван.

— Сорвались с забора, повредили лицо. Так? Явились в ресторан с зажженной свечой в руке, в одном белье и в ресторане пубили кого-то. Привезли вас сюда связанным. Попав сюда, вы звонили в милицию и просили прислать пулеметы. Затем сделали попытку выброситься из окна. Так? Спрашивается: возможно ли, действуя таким образом, кого-либо поймать или арестовать? И если вы человек нормальный, то вы сами ответите: никоим образом. Вы желаете уйти отсюда? Извольте-с. Но позвольте вас спросить, куда вы направитесь?

— Конечно, в милицию, — ответил Иван уже не так твердо и немного теряясь под взглядом профессора.

— Непосредственно отсюда?

— Угу.

— А на квартиру к себе не заедете? — быстро спросил Стравинский.

— Да некогда тут заезжать! Пока я по квартирам буду разъезжать, он улизнет!

— Так. А что же вы скажете в милиции в первую очередь?

— Про Понтия Пилата, — ответил Иван Николаевич, и глаза его подернулись сумрачной дымкой.

— Ну, вот и славно! — воскликнул покоренный Стравинский и, обратившись к тому, что был с бородкой, приказал: — Федор Васильевич, выпишите, пожалуйста, гражданина Бездомного в город. Но эту комнату не занимать, постельное белье можно не менять. Через два часа гражданин Бездомный опять будет здесь. Ну что же, — обратился он к поэту, — успеха я вам желать не буду, потому что в успех этот ни на йоту не верю. До скорого свидания! — И он встал, а свита его шевельнулась.

— На каком основании я опять буду здесь? — тревожно спросил Иван.

Стравинский как будто ждал этого вопроса, немедленно уселся и заговорил:

— На том основании, что, как только вы явитесь в кальсонах в милицию и скажете, что виделись с человеком, лично знавшим Понтия Пилата, — вас моментально привезут сюда, и вы снова окажетесь в этой же самой комнате.

— При чем тут кальсоны? — растерянно оглядываясь, спросил Иван.

— Главным образом Понтий Пилат. Но и кальсоны также. Ведь казенное же белье мы с вас снимем и выдадим вам ваше одеяние. А доставлены вы были к нам в кальсонах. А между тем на квартиру к себе вы заехать отнюдь не собирались, хоть я и намекнул вам на это. Далее следует Пилат... и дело готово!

Тут что-то странное случилось с Иваном Николаевичем. Его воля как будто раскололась, и он почувствовал, что слаб, что нуждается в совете.

— Так что же делать? — спросил он на этот раз уже робко.

— Ну вот и славно! — отозвался Стравинский. — Это резоннейший вопрос. Теперь я скажу вам, что, собственно, с вами произошло. Вчера кто-то вас сильно напугал и расстроил рассказом про Понтия Пилата и прочими вещами. И вот вы, изнервничавшийся, издерганный человек, пошли по городу, рассказывая про Понтия Пилата. Совершенно естественно, что вас принимают за сумасшедшего. Ваше спасение сейчас только

в одном — в полном покое. И вам непременно нужно остаться здесь.

— Но его необходимо поймать! — уже моляще воскликнул Иван.

— Хорошо-с, но самому-то зачем же бегать? Изложите на бумаге все ваши подозрения и обвинения против этого человека. Ничего нет проще, как переслать ваше заявление куда следует, и если, как вы полагаете, мы имеем дело с преступником, все это выяснится очень скоро. Но только одно условие: не напрягайте головы и старайтесь поменьше думать о Понтии Пилате. Мало ли чего можно рассказать! Не всему же надо верить.

— Понял! — решительно заявил Иван. — Прошу выдать мне бумагу и перо.

— Выдайте бумагу и коротенький карандаш, — приказал Стравинский толстой женщине, а Ивану сказал так: — Но сегодня советую не писать.

— Нет, нет, сегодня же, непременно сегодня! — встревоженно вскричал Иван.

— Ну хорошо. Только не напрягайте мозг. Не выйдет сегодня, выйдет завтра.

— Он уйдет!

— О нет, — уверенно возразил Стравинский, — он никуда не уйдет, ручаюсь вам. И помните, что здесь у нас вам всемерно помогут, а без этого у вас ничего не выйдет. Вы меня слышите? — вдруг многозначительно спросил Стравинский и завладел обеими руками Ивана Николаевича. Взяв их в свои, он долго, в упор глядя в глаза Ивану, повторял: — Вам здесь помогут... вы слышите меня?... Вам здесь помогут... Вы получите облегчение. Здесь тихо, все спокойно... Вам здесь помогут...

Иван Николаевич неожиданно зевнул, выражение лица его смягчилось.

— Да, да, — тихо сказал он.

— Ну вот и славно! — по своему обыкновению заключил беседу Стравинский и поднялся. — До свидания! — он пожал руку Ивану и, уже выходя, повернулся к тому, что был с бородкой, и сказал: — Да, а кислород попробуйте... и ванны.

Через несколько мгновений перед Иваном не было ни Стравинского, ни свиты. За сеткой в окне, в полуденном солнце, красовался радостный и весенний бор на другом берегу, а поближе сверкала река.

Никанор Иванович Босой, председатель жилищного товарищества дома № 302-бис по Садовой улице в Москве, где проживал покойный Берлиоз, находился в страшнейших хлопотах, начиная с предыдущей ночи со среды на четверг.

В полночь, как мы уже знаем, приехала в дом комиссия, в которой участвовал Желдыбин, вызвала Никанора Ивановича, сообщила ему о гибели Берлиоза и вместе с ним отправилась в квартиру № 50.

Там было произведено опечатание рукописей и вещей покойного. Ни Груни, приходящей домработницы, ни легкомысленного Степана Богдановича в это время в квартире не было. Комиссия объявила Никанору Ивановичу, что рукописи покойного ею будут взяты для разборки, что жилплощадь его, то есть три комнаты (бывшие ювелиршины кабинет, гостиная и столовая), переходит в распоряжение жилтоварищества, а вещи подлежат хранению на указанной площади, впредь до объявления наследников.

Весть о гибели Берлиоза распространилась по всему дому с какою-то сверхъестественной быстротою, и с семи часов утра четверга к Босому начали звонить по телефону, а затем и лично являться с заявлениями, в которых содержались претензии на жилплощадь покойного. И в течение двух часов Никанор Иванович принял таких заявлений тридцать две штуки.

В них заключались мольбы, угрозы, кляузы, доносы, обещания произвести ремонт на свой счет, указания на несносную тесноту и невозможность жить в одной квартире с бандитами. В числе прочего было потрясающее по своей художественной силе описание похищения пельменей, уложенных непосредственно в карман пиджака, в квартире № 31, два обещания покончить жизнь самоубийством и одно признание в тайной беременности.

Никанора Ивановича вызывали в переднюю его квартиры, брали за рукав, что-то шептали, подмигивали и обещали не остаться в долгу.

Мука эта продолжалась до начала первого часа дня, когда Никанор Иванович просто сбежал из своей квартиры в помещение управления у ворот, но когда увидел

он, что и там его подкарауливают, убежал и оттуда. Кое-как отбившись от тех, что следовали за ним по пятам через асфальтовый двор, Никанор Иванович скрылся в шестом подъезде и поднялся в пятый этаж, где и находилась эта поганая квартира № 50.

Отдышавшись на площадке, тучный Никанор Иванович позвонил, но ему никто не открыл. Он позвонил еще раз и еще раз и начал ворчать и тихонько ругаться. Но и тогда не открыли. Терпение Никанора Ивановича лопнуло, и он, достав из кармана связку дубликатов ключей, принадлежащих домоуправлению, властной рукою открыл дверь и вошел.

— Эй, домработница! — прокричал Никанор Иванович в полутемной передней. — Как тебя? Груня, что ли? Тебя нету?

Никто не отозвался.

Тогда Никанор Иванович вынул из портфеля складной метр, затем освободил дверь кабинета от печати и шагнул в кабинет. Шагнуть-то он шагнул, но остановился в изумлении в дверях и даже вздрогнул.

За столом покойного сидел неизвестный, тощий и длинный гражданин в клетчатом пиджачке, в жокейской шапочке и в пенсне... ну, словом, тот самый.

— Вы кто такой будете, гражданин? — испуганно спросил Никанор Иванович.

— Ба! Никанор Иванович! — заорал дребезжащим тенором неожиданный гражданин и, вскочив, приветствовал председателя насильственным и внезапным рукопожатием. Приветствие это ничуть не обрадовало Никанора Ивановича.

— Я извиняюсь, — заговорил он подозрительно, — вы кто такой будете? Вы — лицо официальное?

— Эх, Никанор Иванович! — задумчиво воскликнул неизвестный. — Что такое официальное лицо или неофициальное? Все это зависит от того, с какой точки зрения смотреть на предмет. Все это, Никанор Иванович, зыбко и условно. Сегодня я неофициальное лицо, а завтра, глядишь, официальное! А бывает и наоборот, и еще как бывает!

Рассуждение это ни в какой степени не удовлетворило председателя домоуправления. Будучи по природе вообще подозрительным человеком, он заключил, что разглагольствующий перед ним гражданин — лицо именно неофициальное, а пожалуй, и праздное.

— Да вы кто такой будете? Как ваша фамилия? — все суровее спрашивал председатель и даже стал наступать на неизвестного.

— Фамилия моя, — ничуть не смущаясь суровостью, отозвался гражданин, — ну, скажем, Коровьев. Да не хотите ли закусить, Никанор Иванович? Без церемоний! А?

— Я извиняюсь, — уже негодуя, заговорил Никанор Иванович, — какие тут закуски! (Нужно признаться, хоть это и неприятно, что Никанор Иванович был по натуре несколько грубоват.) На половине покойника сидеть не разрешается! Вы что здесь делаете?

— Да вы присаживайтесь, Никанор Иванович, — насколько не теряясь, орал гражданин и начал юлить, предлагая председателю кресло.

Совершенно освирепев, Никанор Иванович отверг кресло и завопил:

— Да кто вы такой?

— Я, изволите ли видеть, состою переводчиком при особе иностранца, имеющего резиденцию в этой квартире, — отрекомендовался назвавший себя Коровьевым и щелкнул каблуком рыжего нечищенного ботинка.

Никанор Иванович открыл рот. Наличность какого-то иностранца, да еще с переводчиком, в этой квартире явилась для него совершеннейшим сюрпризом, и он потребовал объяснений.

Переводчик охотно объяснился. Иностранный артист господин Воланд был любезно приглашен директором Варьете Степаном Богдановичем Лиходеевым провести время своих гастролей, примерно недельку, у него в квартире, о чем он еще вчера написал Никанору Ивановичу, с просьбой прописать иностранца временно, покуда сам Лиходеев съездит в Ялту.

— Ничего он мне не писал, — в изумлении сказал председатель.

— А вы порыйтесь у себя в портфеле, Никанор Иванович, — сладко предложил Коровьев.

Никанор Иванович, пожимая плечами, открыл портфель и обнаружил в нем письмо Лиходеева.

— Как же это я про него забыл? — тупо глядя на вскрытый конверт, пробормотал Никанор Иванович.

— То ли бывает, то ли бывает, Никанор Иванович! — затрепал Коровьев. — Рассеянность, рассеянность, и переутомление, и повышенное кровяное дав-

ление, дорогой наш друг Никанор Иванович! Я сам рассеян до ужаса. Как-нибудь за рюмкой я вам расскажу несколько фактов из моей биографии, вы обхохочетесь!

— Когда же Лиходеев едет в Ялту?!

— Да он уж уехал, уехал! — закричал переводчик. — Он, знаете ли, уж катит! Уж он черт знает где! — и тут переводчик замахал руками, как мельничными крыльями.

Никанор Иванович заявил, что ему необходимо лично повидать иностранца, но в этом получил от переводчика отказ: никак невозможно. Занят. Дрессирует кота.

— Кота, ежели угодно, могу показать, — предложил Коровьев.

От этого, в свою очередь, отказался Никанор Иванович, а переводчик тут же сделал председателю неожиданное, но весьма интересное предложение.

Ввиду того, что господин Воланд нипочем не желает жить в гостинице, а жить он привык просторно, то вот не сдаст ли жилтоварищество на недельку, пока будут продолжаться гастроли Воланда в Москве, ему всю квартиру, то есть и комнаты покойного?

— Ведь ему безразлично, покойнику, — шепотом шепел Коровьев, — ему теперь, сами согласитесь, Никанор Иванович, квартира эта ни к чему?

Никанор Иванович в некотором недоумении возразил, что, мол, иностранцам полагается жить в «Метрополе», а вовсе не на частных квартирах...

— Говорю вам, капризен, как черт знает что! — зашептал Коровьев. — Ну не желает! Не любит он гостиниц! Вот они где у меня сидят, эти интуристы! — интимно пожаловался Коровьев, тыча пальцем в свою жилистую шею. — Верите ли, всю душу вымотали! Приедет... и или нашьпионит, как последний сукин сын, или же капризами замучает: и то ему не так, и это не так!.. А вашему товариществу, Никанор Иванович, полнейшая выгода и очевидный профит. А за деньгами он не постоит. — Коровьев оглянулся, а затем шепнул на ухо председателю: — Миллионер!

В предложении переводчика заключался ясный практический смысл, предложение было очень солидное, но что-то удивительно несолидное было и в манере переводчика говорить, и в его одежде, и в этом

омерзительном, никуда не годном пенсне. Вследствие этого что-то неясное томило душу председателя, и все-таки он решил принять предложение. Дело в том, что в жилтовариществе был, увы, преизрядный дефицит. К осени надо было закупать нефть для парового отопления, а на какие шиши — неизвестно. А с интуристовыми деньгами, пожалуй, можно было и вывернуться. Но деловой и осторожный Никанор Иванович заявил, что ему прежде всего придется увязать этот вопрос с интуристским бюро.

— Я понимаю! — вскричал Коровьев. — Как же без увязки! Обязательно! Вот вам телефон, Никанор Иванович, и немедленно увязывайте! А насчет денег не стесняйтесь, — шепотом добавил он, увлекая председателя в переднюю к телефону, — с кого же и взять, как не с него! Если б вы видели, какая у него вилла в Ницце! Да будущим летом, как поедете за границу, нарочно заезжайте посмотреть — ахнете!

Дело с интуристским бюро уладилось по телефону с необыкновенной, поразившей председателя, быстротой. Оказалось, что там уже знают о намерении господина Воланда жить в частной квартире Лиходеева и против этого ничуть не возражают.

— Ну и чудно! — орал Коровьев.

Несколько ошеломленный его трескотней, председатель заявил, что жилтоварищество согласно сдать на неделю квартиру № 50 артисту Воланду с платой по... — Никанор Иванович замаялся немножко и сказал:

— По пятьсот рублей в день.

Тут Коровьев окончательно поразил председателя. Воровски подмигнув в сторону спальни, откуда слышались мягкие прыжки тяжелого кота, он просипел:

— За неделю это, стало быть, выходит три с половиной тысячи?

Никанор Иванович подумал, что он прибавит к этому: «Ну и аппетитик же у вас, Никанор Иванович!» — но Коровьев сказал совсем другое:

— Да разве это сумма! Просите пять, он даст.

Растерянно ухмыльнувшись, Никанор Иванович и сам не заметил, как оказался у письменного стола покойника, где Коровьев с величайшей быстротой и ловкостью начертил в двух экземплярах контракт. После этого он слетал с ним в спальню и вернулся, причем оба экземпляра оказались уже размашисто подписан-

ными иностранцем. Подписал контракт и председатель. Тут Коровьев попросил расписочку на пять...

— Прописью, прописью, Никанор Иванович!.. тысяч рублей... — И со словами, как-то не идущими к серьезному делу: — Эй, цвей, дрей! — выложил председателю пять новеньких банковских пачек.

Произошло подсчитывание, пересыпаемое шуточками и прибаутками Коровьева, вроде «денежка счет любит», «свой глазок — смотрок» и прочего в том же роде.

Пересчитав деньги, председатель получил от Коровьева паспорт иностранца для временной прописки, уложил его, и контракт, и деньги в портфель и, как-то не удержавшись, стыдливо попросил контрамарочку...

— Об чем разговор! — взревел Коровьев. — Сколько вам билетиков, Никанор Иванович, двенадцать, пятнадцать?

Ошеломленный председатель пояснил, что контрамарок ему нужна только парочка, ему и Пелагее Антоновне, его супруге.

Коровьев тут же выхватил блокнот и лихо выписал Никанору Ивановичу контрамарочку на две персоны в первом ряду. И эту контрамарочку переводчик левой рукой ловко всучил Никанору Ивановичу, а правой вложил в другую руку председателя толстую хрустнувшую пачку. Метнув на нее взгляд, Никанор Иванович густо покраснел и стал ее отпихивать от себя.

— Этого не полагается... — бормотал он.

— И слушать не стану, — зашептал в самое ухо его Коровьев, — у нас не полагается, а у иностранцев полагается. Вы его обидите, Никанор Иванович, а это неудобно. Вы трудились...

— Строго преследуется, — тихо-претихо прошептал председатель и оглянулся.

— А где же свидетели? — шепнул в другое ухо Коровьев. — Я вас спрашиваю, где они? Что вы?

И тут случилось, как утверждал впоследствии председатель, чудо: пачка сама вползла к нему в портфель. А затем председатель, какой-то расслабленный и даже разбитый, оказался на лестнице. Вихрь мыслей бушевал у него в голове. Тут вертелась и эта вилла в Ницце, и дрессированный кот, и мысль о том, что свидетелей действительно не было, и что Пелагея Антоновна обрадуется контрамарке. Это были бессвязные мысли, но в общем приятные. И тем не менее где-то какая-то иго-

лочка в самой глубине души покалывала председателя. Это была иголочка беспокойства. Кроме того, тут же на лестнице председателя, как удар,хватила мысль: «А как же попал в кабинет переводчик, если на дверях была печать?! И как он, Никанор Иванович, об этом не спросил?» Некоторое время председатель, как баран, смотрел на ступеньки лестницы, но потом решил плюнуть на это и не мучить себя замысловатым вопросом...

Лишь только председатель покинул квартиру, из спальни донесся низкий голос:

— Мне этот Никанор Иванович не понравился. Он выжига и плут. Нельзя ли сделать так, чтобы он больше не приходил?

— Мессир, вам стоит это приказать!.. — отозвался откуда-то Коровьев, но не дребезжащим, а очень чистым и звучным голосом.

И сейчас же проклятый переводчик оказался в передней, навертел там номер и начал почему-то очень плаксиво говорить в трубку:

— Алло! Считаю долгом сообщить, что наш председатель жилтоварищества дома номер триста два-бис по Садовой, Никанор Иванович Босой, спекулирует валютой. В данный момент в его квартире номер тридцать пять в вентиляции, в уборной, в газетной бумаге — четыреста долларов. Говорит жилец означенного дома из квартиры номер одиннадцать Тимофей Квасцов. Но заклинаю держать в тайне мое имя. Опасаюсь мести вышеизложенного председателя.

И повесил трубку, подлец!

Что дальше происходило в квартире №50, неизвестно, но известно, что происходило у Никанора Ивановича. Запершись у себя в уборной на крючок, он вытащил из портфеля пачку, навязанную переводчиком, и убедился в том, что в ней четыреста рублей. Эту пачку Никанор Иванович завернул в обрывок газеты и засунул в вентиляционный ход.

Через пять минут председатель сидел за столом в своей маленькой столовой. Супруга его принесла из кухни аккуратно нарезанную селедочку, густо посыпанную зеленым луком. Никанор Иванович налил лафитничек водки, выпил, налил второй, выпил, подхватил на вилку три куса селедки... и в это время позвонили. А Пелагея Антоновна внесла дымящуюся кастрюлю, при одном взгляде на которую сразу можно было до-

гадаться, что в ней, в гуще огненного борща, находится то, чего вкуснее нет в мире, — мозговая кость.

Проглотив слюну, Никанор Иванович заворчал, как пес:

— А чтоб вам провалиться! Поесть не дадут. Не пускай никого, меня нету, нету. Насчет квартиры скажи, чтобы перестали трепаться. Через неделю будет заседание...

Супруга побежала в переднюю, а Никанор Иванович разливательной ложкой поволок из огнедышащего озера — ее, кость, треснувшую вдоль. И в эту минуту в столовую вошли двое граждан, а с ними почему-то очень бледная Пелагея Антоновна. При взгляде на граждан побелел и Никанор Иванович и поднялся.

— Где сортир? — озабоченно спросил первый, который был в белой косоворотке.

На обеденном столе что-то стукнуло (это Никанор Иванович уронил ложку на клеенку).

— Здесь, здесь, — скороговоркой ответила Пелагея Антоновна.

И пришедшие немедленно устремились в коридор.

— А в чем дело? — тихо спросил Никанор Иванович, следуя за пришедшими. — У нас ничего такого в квартире не может быть... А у вас документики... я извиняюсь...

Первый на ходу показал Никанору Ивановичу документик, а второй в эту же минуту оказался стоящим на табуретке в уборной, с рукою, засунутой в вентиляционный ход. В глазах у Никанора Ивановича потемнело. Газету сняли, но в пачке оказались не рубли, а неизвестные деньги, не то синие, не то зеленые, и с изображениями какого-то старика. Впрочем, все это Никанор Иванович разглядел неясно, перед глазами у него плавали какие-то пятна.

— Доллары в вентиляции, — задумчиво сказал первый и спросил Никанора Ивановича мягко и вежливо: — Ваш пакетик?

— Нет! — ответил Никанор Иванович страшным голосом. — Подбросили враги!

— Это бывает, — согласился тот, первый, и опять-таки мягко добавил: — Ну что же, надо остальные сдавать.

— Нету у меня! Нету, богом клянусь, никогда в руках не держал! — отчаянно вскричал председатель.

Он кинулся к комоду, с грохотом вытащил ящик, а из него портфель, бессвязно при этом вскрикивая:

— Вот контракт... переводчик-гад подбросил... Коровьев... в пенсне!

Он открыл портфель, глянул в него, сунул в него руку, посинел лицом и уронил портфель в борщ. В портфеле ничего не было: ни Степиного письма, ни контракта, ни иностранцева паспорта, ни денег, ни контрамарки. Словом, ничего, кроме складного метра.

— Товарищи! — неистово закричал председатель. — Держите их! У нас в доме нечистая сила!

И тут уж неизвестно что померещилось Пелагее Антоновне, но только она, всплеснув руками, вскричала:

— Покайся, Иваныч! Тебе скидка выйдет!

С глазами, налитыми кровью, Никанор Иванович занес кулаки над головой жены, хрипя:

— У, дура проклятая!

Тут он ослабел и опустился на стул, очевидно, решив покориться неизбежному.

В это время Тимофей Кондратьевич Квасцов на площадке лестницы припадал к замочной скважине в дверях квартиры председателя то ухом, то глазом, изнывая от любопытства.

Через пять минут жильцы дома, находившиеся во дворе, видели, как председатель в сопровождении еще двух лиц проследовал прямо к воротам дома. Рассказывали, что на Никаноре Ивановиче лица не было, что он пошатывался, проходя, как пьяный, и что-то бормотал.

А еще через час неизвестный гражданин явился в квартиру № 11, как раз в то время, когда Тимофей Кондратьевич рассказывал другим жильцам, захлебываясь от удовольствия, о том, как замели председателя, пальцем выманил из кухни Тимофея Кондратьевича в переднюю, что-то ему сказал и вместе с ним пропал.

Г л а в а 10

ВЕСТИ ИЗ ЯЛТЫ

В то время как случилось несчастье с Никанором Ивановичем, недалеко от дома № 302-бис, на той же Садовой, в кабинете финансового директора Варьете

Римского находились двое: сам Римский и администратор Варьете Варенуха.

Большой кабинет во втором этаже театра двумя окнами выходил на Садовую, а одним, как раз за спиной финдиректора, сидевшего за письменным столом, в летний сад Варьете, где помещались прохладительные буфеты, тир и открытая эстрада. Убранство кабинета, помимо письменного стола, заключалось в пачке старых афиш, висевших на стене, маленьком столике с графином воды, в четырех креслах и в подставке в углу, на которой стоял запыленный давний макет какого-то обозрения. Ну, само собой разумеется, что, кроме того, была в кабинете небольших размеров потасканная, облупленная несгораемая касса, по левую руку Римского, рядом с письменным столом.

Сидящий за столом Римский с самого утра находился в дурном расположении духа, а Варенуха, в противоположность ему, был очень оживлен и как-то особенно беспокойно деятелен. Между тем выхода его энергии не было.

Варенуха прятался сейчас в кабинете у финдиректора от контрамарочников, которые отравляли ему жизнь, в особенности в дни перемены программы. А сегодня как раз и был такой день.

Лишь только начинал звенеть телефон, Варенуха брал трубку и лгал в нее:

— Кого? Варенуху? Его нету. Вышел из театра.

— Позвони ты, пожалуйста, Лиходееву еще раз, — раздраженно сказал Римский.

— Да нету его дома. Я уж Карпова посылал. Никого нету в квартире.

— Черт знает что такое, — шипел Римский, щелкая на счетной машинке.

Дверь открылась, и капельдинер втащил толстую пачку только что напечатанных дополнительных афиш. На зеленых листах крупными красными буквами было напечатано:

СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО
В ТЕАТРЕ ВАРЬЕТЕ СВЕРХ ПРОГРАММЫ:

ПРОФЕССОР ВОЛАНД

СЕАНСЫ ЧЕРНОЙ МАГИИ С ПОЛНЫМ ЕЕ РАЗОБЛАЧЕНИЕМ

Варенуха, отойдя от афиши, брошенной им на макет, полюбовался на нее и приказал капельдинеру немедленно пустить все экземпляры в расклейку.

— Хорошо, броско, — заметил Варенуха по уходе капельдинера.

— А мне до крайности не нравится эта затея, — злобно поглядывая на афишу сквозь роговые очки, ворчал Римский, — и вообще я удивляюсь, как ему разрешили это поставить!

— Нет, Григорий Данилович, не скажи, это очень тонкий шаг. Тут вся соль в разоблачении.

— Не знаю, не знаю, никакой тут соли нет, и всегда он придумает что-нибудь такое! Хоть бы показал этого мага. Ты-то его видел? Откуда он его выкопал, черт его знает!

Выяснилось, что Варенуха, так же как и Римский, не видел мага. Вчера Степа («как сумасшедший», по выражению Римского) прибежал к финдиректору с написанным уже черновиком договора, тут же велел его переписать и выдать деньги. И маг этот смылся, и никто его не видел, кроме самого Степы.

Римский вынул часы, увидел, что они показывают пять минут третьего, и совершенно остервенился. В самом деле! Лиходеев звонил примерно в одиннадцать часов, сказал, что придет через полчаса, и не только не пришел, но и из квартиры исчез!

— У меня же дело стоит! — уже рычал Римский, тыча пальцем в грудку неподписанных бумаг.

— Уж не попал ли он, как Берлиоз, под трамвай? — говорил Варенуха, держа у уха трубку, в которой слышались густые, продолжительные и совершенно безнадежные сигналы.

— А хорошо бы было... — чуть слышно сквозь зубы сказал Римский.

В этот самый момент вошла в кабинет женщина в форменной куртке, в фуражке, в черной юбке и в тапочках. Из маленькой сумки на поясе женщина вынула беленький квадратик и тетрадь и спросила:

— Где тут Варьете? Сверхмолния вам. Распишитесь.

Варенуха черкнул какую-то закорючку в тетради у женщины и, лишь только дверь за той захлопнулась, вскрыл квадратик.

Прочитав телеграмму, он поморгал глазами и передал квадратик Римскому.

В телеграмме было напечатано следующее: «Ялты Москву Варьете Сегодня половину двенадцатого угрозыск явился шатен ночной сорочке брюках без сапог психический назвался Лиходеевым директором Варьете Молнируйте ялтинский розыск где директор Лиходеев».

— Здравствуйте, я ваша тетя! — воскликнул Римский и добавил: — Еще сюрприз!

— Лжедимитрий, — сказал Варенуха и заговорил в трубку телефона: — Телеграф? Счет Варьете. Примите сверхмолнию... Вы слушаете?.. «Ялта угрозыск... Директор Лиходеев Москве Финдиректор Римский»...

Независимо от сообщения об ялтинском самозванце, Варенуха опять принялся по телефону разыскивать Степу где попало и, натурально, нигде его не нашел.

Как раз тогда, когда Варенуха, держа в руках трубку, раздумывал о том, куда бы ему еще позвонить, вошла та самая женщина, что принесла и первую молнию, и вручила Варенухе новый конвертик. Торопливо вскрыв его, Варенуха прочитал напечатанное и свистнул.

— Что еще? — нервно дернувшись, спросил Римский.

Варенуха молча подал ему телеграмму, и финдиректор увидел в ней слова: «Умоляю верить брошен Ялту гипнозом Воланда молнируйте угрозыску подтверждение личности Лиходеев».

Римский и Варенуха, касаясь друг друга головами, перечитывали телеграмму, а перечитав, молча устали друг на друга.

— Граждане! — вдруг рассердилась женщина. — Расписывайтесь, а потом уж будете молчать сколько угодно! Я ведь молнии разношу.

Варенуха, не спуская глаз с телеграммы, криво расчеркнулся в тетради, и женщина исчезла.

— Ты же с ним в начале двенадцатого разговаривал по телефону? — в полном недоумении заговорил администратор.

— Да смешно говорить! — пронзительно закричал Римский. — Разговаривал или не разговаривал, а не может он быть сейчас в Ялте! Это смешно!

— Он пьян... — сказал Варенуха.

— Кто пьян? — спросил Римский, и опять оба устали друг на друга.

Что телеграфировал из Ялты какой-то самозванец или сумасшедший, в этом сомнений не было. Но вот

что было странно: откуда же ялтинский мистификатор знает Воланда, только вчера приехавшего в Москву? Откуда он знает о связи между Лиходеевым и Воландом?

— «Гипнозом...» — повторял Варенуха слово из телеграммы. — Откуда ж ему известно о Воланде? — Он поморгал глазами и вдруг вскричал решительно: — Да нет, чепуха, чепуха, чепуха!

— Где он остановился, этот Воланд, черт его возьми? — спросил Римский.

Варенуха немедленно соединился с интуристским бюро и, к полному удивлению Римского, сообщил, что Воланд остановился в квартире Лиходеева. Набрав после этого номер лиходеевской квартиры, Варенуха долго слушал, как густо гудит в трубке. Среди этих гудков откуда-то издали послышался тяжкий, мрачный голос, пропевший: «...скалы, мой приют...» — и Варенуха решил, что в телефонную сеть откуда-то прорвался голос из радиотеатра.

— Не отвечает квартира, — сказал Варенуха, кладя трубку на рычаг, — попробовать разве позвонить еще...

Он не договорил. В дверях появилась все та же женщина, и оба, и Римский и Варенуха, поднялись ей навстречу, а она вынула из сумки уже не белый, а какой-то темный листок.

— Это уже становится интересно, — процедил сквозь зубы Варенуха, провожая взглядом поспешно уходящую женщину. Первый листком овладел Римский.

На темном фоне фотографической бумаги отчетливо выделялись черные писанные строки:

«Доказательство мой почерк моя подпись Молни-
руйте подтверждение установите секретное наблюдение
Воландом Лиходеев».

За двадцать лет своей деятельности в театрах Варенуха видал всякие виды, но тут он почувствовал, что ум его застилается как бы пеленою, и он ничего не сумел произнести, кроме житейской и притом совершенно нелепой фразы:

— Этого не может быть!

Римский же поступил не так. Он поднялся, открыл дверь, рывкнул в нее курьерше, сидящей на табуретке:

— Никого, кроме почтальонов, не впускать! — и запер дверь на ключ.

Затем он достал из письменного стола кипу бумаг

и начал тщательно сличать жирные, с наклоном влево, буквы в фотограмме с буквами в Степиных резолюциях и в его же подписях, снабженных винтовой закрючкой. Варенуха, навалившись на стол, жарко дышал в щеку Римского.

— Это его почерк, — наконец твердо сказал финдиректор, а Варенуха отозвался, как эхо:

— Его.

Вглядевшись в лицо Римского, администратор подивился перемене, происшедшей в этом лице. И без того худой финдиректор как будто еще более похудел и даже постарел, а глаза его в роговой оправе утратили свою обычную колючесть, и появилась в них не только тревога, но даже и печаль.

Варенуха проделал все, что полагается человеку в минуты великого изумления. Он и по кабинету пробежался, и дважды вздымал руки, как распятый, и выпил целый стакан желтоватой воды из графина, и восклицал:

— Не понимаю! Не понимаю! Не по-ни-маю!

Римский же смотрел в окно и напряженно о чем-то думал. Положение финдиректора было очень затруднительно. Требовалось тут же, не сходя с места, изобрести обыкновенные объяснения явлений необыкновенных.

Прищурившись, финдиректор представил себе Степу в ночной сорочке и без сапог влезавшим сегодня около половины двенадцатого в какой-то невиданный сверхбыстроходный самолет, а затем его же, Степу, и тоже в половине двенадцатого, стоящим в носках на аэродроме в Ялте... Черт знает что такое!

Может быть, не Степа сегодня говорил с ним по телефону из собственной своей квартиры? Нет, это говорил Степа! Ему ли не знать Степиного голоса! Да если бы сегодня и не Степа говорил, то ведь не далее чем вчера, под вечер, Степа из своего кабинета явился в этот самый кабинет с этим дурацким договором и раздражал финдиректора своим легкомыслием. Как это он мог уехать или улететь, ничего не сказав в театре? Да если бы и улетел вчера вечером, к полудню сегодняшнего дня не долетел бы. Или долетел бы?

— Сколько километров до Ялты? — спросил Римский.

Варенуха прекратил свою беготню и заорал:

— Думал! Уже думал! До Севастополя по железной

дороге около полутора тысяч километров. Да до Ялты еще накинь восемьдесят километров. Ну, по воздуху, конечно, меньше.

Гм... Да... Ни о каких поездах не может быть и разговора. Но что же тогда? Истребитель? Кто и в какой истребитель пустит Степу без сапог? Зачем? Может быть, он снял сапоги, прилетев в Ялту? То же самое: зачем? Да и в сапогах в истребитель его не пустят! Да и истребитель тут ни при чем. Ведь писано же, что явился в угрозыск в половине двенадцатого дня, а разговаривал он по телефону в Москве... позвольте-ка... тут перед глазами Римского возник циферблат его часов... Он припоминал, где были стрелки. Ужас! Это было в двадцать минут двенадцатого. Так что же это выходит? Если предположить, что мгновенно после разговора Степа кинулся на аэродром и достиг его через пять, скажем, минут, что, между прочим, тоже немыслимо, то выходит, что самолет, снявшись тут же, в пять минут покрыл более тысячи километров? Следовательно, в час он покрывает более двенадцати тысяч километров!! Этого не может быть, а значит, его нет в Ялте.

Что же остается? Гипноз? Никакого такого гипноза, чтобы швырнуть человека за тысячу километров, на свете нет! Стало быть, ему мерещится, что он в Ялте? Ему-то, может быть, и мерещится, а ялтинскому угрозыску тоже мерещится?! Ну, нет, извините, этого не бывает!.. Но ведь телеграфируют они оттуда?

Лицо финдиректора было буквально страшно. Ручку двери снаружи в это время крутили и дергали, и слышно было, как курьерша за дверями отчаянно кричала:

— Нельзя! Не пушу! Хоть зарежьте! Заседание!

Римский, сколько мог, овладел собою, взял телефонную трубку и сказал в нее:

— Дайте сверхсрочный разговор с Ялтой.

«Умно!» — мысленно воскликнул Варенуха.

Но разговор с Ялтой не состоялся. Римский положил трубку и сказал:

— Как назло, линия испортилась.

Видно было, что порча линии его почему-то особенно сильно расстроила и даже заставила задуматься. Подумав немного, он опять взялся за трубку одною рукой, а другой стал записывать то, что говорил в трубку:

— Примите сверхмолнию. Варьете. Да. Ялта. Угрозыск. Да. «Сегодня около половины двенадцатого Лихо-

деев говорил мною телефону Москве, точка. После этого на службу не явился и разыскать его телефонам не можем, точка. Почерк подтверждаю, точка. Меры наблюдения указанным артистом принимаю. Финдиректор Римский».

«Очень умно!» — подумал Варенуха, но не успел подумать как следует, как в голове у него пронеслись слова: «Глупо! Не может он быть в Ялте!»

Римский же тем временем сделал следующее: аккуратно сложил все полученные телеграммы и копию со своей в пачку, пачку вложил в конверт, заклеил его, надписал на нем несколько слов и вручил его Варенухе, говоря:

— Сейчас же, Иван Савельевич, лично отвези. Пусть там разбирают.

«А вот это действительно умно!» — подумал Варенуха и спрятал конверт в свой портфель. Затем он еще раз на всякий случай навертел на телефоне номер Степиной квартиры, прислушался и радостно и таинственно замигал и заgrimасничал. Римский вытянул шею.

— Артиста Воланда можно попросить? — сладко спросил Варенуха.

— Они заняты, — ответила трубка дребезжащим голосом, — а кто спрашивает?

— Администратор Варьете Варенуха.

— Иван Савельевич? — радостно вскричала трубка. — Страшно рад слышать ваш голос! Как ваше здоровье?

— Мерси, — изумленно ответил Варенуха, — а с кем я говорю?

— Помощник, помощник его и переводчик Коровьев, — трещала трубка, — весь к вашим услугам, милейший Иван Савельевич! Распоряжайтесь мною как вам будет угодно. Итак?

— Простите, что, Степана Богдановича Лиходеева сейчас нету дома?

— Увы, нету! Нету! — кричала трубка. — Уехал.

— А куда?

— За город кататься на машине.

— К... как? Ка... кататься?.. А когда же он вернется?

— А сказал, подышу свежим воздухом и вернусь!

— Так... — растерянно сказал Варенуха, — мерси. Будьте добры передать мосье Воланду, что выступление его сегодня в третьем отделении.

— Слушаю. Как же. Непременно. Срочно. Всеобязательно. Передам, — отрывисто стучала трубка.

— Всего доброго, — удивляясь, сказал Варенуха.

— Прошу принять, — говорила трубка, — мои наилучшие, наигорячейшие приветы и пожелания! Успехов! Удач! Полного счастья! Всего!

— Ну, конечно! Я же говорил! — возбужденно кричал администратор. — Никакая не Ялта, а он уехал за город!

— Ну, если это так, — бледнея от злобы, заговорил финдиректор, — то уж это действительно свинство, которому нет названия!

Тут администратор подпрыгнул и закричал так, что Римский вздрогнул:

— Вспомнил! Вспомнил! В Пушкине открылась чебуречная «Ялта»! Все понятно! Поехал туда, напился и теперь оттуда телеграфирует!

— Ну, уж это чересчур, — дергаясь щекой, ответил Римский, и в глазах его горела настоящая тяжелая злоба, — ну что ж, дорого ему эта прогулка обойдется!.. — Он вдруг споткнулся и нерешительно добавил: — Но как же, ведь угрозыск...

— Это вздор! Его собственные шуточки, — перебил экспансивный администратор и спросил: — А пакет-то везти?

— Обязательно, — ответил Римский.

И опять открылась дверь, и вошла та самая... «Она!» — почему-то с тоской подумал Римский. И оба встали навстречу почтальонше.

На этот раз в телеграмме были слова:

«Спасибо подтверждение срочно пятьсот угрозыск мне завтра вылетаю Москву Лиходеев».

— Он с ума сошел... — слабо сказал Варенуха.

Римский же позвенел ключом, вынул из ящика негосраемой кассы деньги, отсчитал пятьсот рублей, позвонил, вручил курьеру деньги и послал его на телеграф.

— Помилуй, Григорий Данилович, — не веря своим глазам, проговорил Варенуха, — по-моему, ты зря деньги посылаешь.

— Они придут обратно, — отозвался Римский тихо, — а вот он сильно ответит за этот пикничок. — И добавил, указывая на портфель Варенухи: — Поезжай, Иван Савельевич, не медли.

И Варенуха с портфелем выбежал из кабинета.

Он спустился в нижний этаж, увидел длиннейшую очередь возле кассы, узнал от кассирши, что та через час ждет аншлага, потому что публика прямо валом пошла, лишь только увидела дополнительную афишу, велел кассирше загнуть и не продавать тридцать лучших мест в ложах и в партере, выскочив из кассы, тут же на ходу отбил от назойливых контрамарочников и нырнул в свой кабинетик, чтобы захватить кепку. В эту минуту затрещал телефон.

— Да! — крикнул Варенуха.

— Иван Савельевич? — осведомилась трубка противным гнусавым голосом.

— Его нету в театре! — крикнул было Варенуха, но трубка тотчас его перебила:

— Не валяйте дурака, Иван Савельевич, а слушайте. Телеграммы эти никуда не носите и никому не показывайте.

— Кто это говорит? — взревел Варенуха. — Прекратите, гражданин, эти штуки! Вас сейчас же обнаружат! Ваш номер?

— Варенуха, — отозвался все тот же гадкий голос, — ты русский язык понимаешь? Не носи никуда телеграммы.

— А, так вы не унимаетесь? — закричал администратор в ярости. — Ну смотрите же! Поплатитесь вы за это! — Он еще прокричал какую-то угрозу, но замолчал, потому что почувствовал, что в трубке его никто уже не слушает.

Тут в кабинетике как-то быстро стало темнеть. Варенуха выбежал, захлопнул за собою дверь и через боковой ход устремился в летний сад.

Администратор был возбужден и полон энергии. После наглого звонка он не сомневался в том, что хулиганская шайка проделывает скверные шуточки и что эти шуточки связаны с исчезновением Лиходеева. Желание изобличить злодеев душило администратора, и, как это ни странно, в нем зародилось предвкушение чего-то приятного. Так бывает, когда человек стремится стать центром внимания, принести куда-нибудь сенсационное сообщение.

В саду ветер дунул в лицо администратору и засыпал ему глаза песком, как бы преграждая путь, как бы предостерегая. Хлопнула во втором этаже рама так, что

чуть не вылетели стекла, в вершинах кленов и лип тревожно прошумело. Потемнело и посвежело. Администратор протер глаза и увидел, что над Москвой низко ползет желтобрюхая грозовая туча. Вдали густо заворчал.

Как ни торопился Варенуха, неодолимое желание потянуло его забежать на секунду в летнюю уборную, чтобы на ходу проверить, одел ли монтер в сетку лампу.

Пробежав мимо тира, Варенуха попал в густую заросль сирени, в которой стояло голубоватое здание уборной. Монтер оказался аккуратным человеком, лампа под крышей в мужском отделении была уже обтянута металлической сеткой, но огорчило администратора то, что даже в предгрозовом потемнении можно было разобрать, что стены уже исписаны углем и карандашом.

— Ну что же это за!.. — начал было администратор и вдруг услышал за собою голос, мурлыкнувший:

— Это вы, Иван Савельевич?

Варенуха вздрогнул, обернулся и увидел перед собою какого-то небольшого толстяка, как показалось, с кошачьей физиономией.

— Ну я, — неприязненно ответил Варенуха.

— Очень, очень приятно, — пискливым голосом отозвался котообразный толстяк и вдруг, развернувшись, ударил Варенуху по уху так, что кепка слетела с головы администратора и бесследно исчезла в отверстии сиденья.

От удара толстяка вся уборная осветилась на мгновение трепетным светом, и в небе отозвался громовой удар. Потом еще раз сверкнуло, и перед администратором возник второй — маленький, но с атлетическими плечами, рыжий, как огонь, один глаз с бельмом, рот с клыком. Этот второй, будучи, очевидно, левшой, съездил администратора по другому уху. В ответ опять-таки грохнуло в небе, и на деревянную крышу уборной обрушился ливень.

— Что вы, товари... — прошептал ополоумевший администратор, сообразил тут же, что слово «товарищи» никак не подходит к бандитам, напавшим на человека в общественной уборной, прохрипел: — Гражда... — смекнул, что и этого названия они не заслуживают, и получил третий страшный удар неизвестно от кого из двух, так что кровь из носа хлынула на толстовку.

— Что у тебя в портфеле, паразит? — пронзительно прокричал похожий на кота. — Телеграммы? А тебя предупредили по телефону, чтобы ты их никуда не носил? Предупреждали, я тебя спрашиваю?

— Предупреждали... дали... дили... —задыхаясь, ответил администратор.

— А ты все-таки побегал? Дай сюда портфель, гад! — тем самым гнусавым голосом, что был слышен в телефоне, крикнул второй и выдрал портфель из трясущихся рук Варенухи.

И оба подхватили администратора под руки, выволокли его из сада и понеслись с ним по Садовой. Гроза бушевала с полной силой, вода с грохотом и воем низвергалась в канализационные отверстия, всюду пузырилось, вздувались волны, с крыш хлестало мимо труб, из подворотней бежали пенные потоки. Все живое смылось с Садовой, и спасти Ивана Савельевича было некому. Прыгая в мутных реках и освещаясь молниями, бандиты в одну секунду доволокли полуживого администратора до дома № 302-бис, влетели с ним в подворотню, где к стенке жались две босоногие женщины, свои туфли и чулки державшие в руках. Затем кинулись в шестой подъезд, и близкий к безумию Варенуха был вознесен в пятый этаж и брошен на пол в хорошо знакомой ему полутемной передней квартиры Степы Лиходеева

Тут оба разбойника сгинули, а вместо них появилась в передней совершенно нагая девица — рыжая, с горящими фосфорическими глазами.

Варенуха понял, что это-то и есть самое страшное из всего, что приключилось с ним, и, застонав, отпрянул к стене. А девица подошла вплотную к администратору и положила ладони рук ему на плечи. Волосы Варенухи поднялись дыбом, потому что даже сквозь холодную, пропитанную водой ткань толстовки он почувствовал, что ладони эти еще холоднее, что они холодны ледяным холодом.

— Дай-ка я тебя поцелую, — нежно сказала девица, и у самых его глаз оказались сияющие глаза Тогда Варенуха лишился чувств и поцелуя не ощутил

Бор на противоположном берегу реки, еще час назад освещенный майским солнцем, помутнел, размазался и растворился.

Вода сплошной пеленой валила за окном. В небе то и дело вспыхивали нити, небо лопалось, комнату больного заливало трепетным пугающим светом.

Иван тихо плакал, сидя на кровати и глядя на мутную, кипящую в пузырях реку. При каждом ударе грома он жалобно вскрикивал и закрывал лицо руками. Исписанные Иваном листки валялись на полу. Их сдуло ветром, влетевшим в комнату перед началом грозы.

Попытки поэта сочинить заявление насчет страшного консультанта не привели ни к чему. Лишь только он получил от толстой фельдшерицы, которую звали Прасковьей Федоровной, огрызок карандаша и бумагу, он деловито потер руки и торопливо пристроился к столу. Начало он вывел довольно бойко:

«В милицию. Члена Массолита Ивана Николаевича Бездомного. Заявление. Вчера вечером я пришел с покойным М. А. Берлиозом на Патриаршие пруды...»

И сразу поэт запутался, главным образом из-за слова «покойным». С места выходила какая-то безлепица: как это так — пришел с покойным? Не ходят покойники! Действительно, чего доброго, за сумасшедшего примут!

Подумав так, Иван Николаевич начал исправлять написанное. Вышло следующее: «...с М. А. Берлиозом, впоследствии покойным...» И это не удовлетворило автора. Пришлось применить третью редакцию, а та оказалась еще хуже первых двух: «...Берлиозом, который попал под трамвай...» — а здесь еще прицепился этот никому не известный композитор-однофамилец, и пришлось вписывать: «...не композитором...»

Намучившись с этими двумя Берлиозами, Иван все зачеркнул и решил начать сразу с чего-то очень сильного, чтобы немедленно привлечь внимание читающего, и написал, что кот садился в трамвай, а потом вернулся к эпизоду с отрезанной головой. Голова и предсказание консультанта привели его к мысли о Понтии Пилате, и для вящей убедительности Иван решил весь рассказ о прокураторе изложить полностью с

того самого момента, как тот в белом плаще с кровавым подбоем вышел в колоннаду Иродова дворца.

Иван работал усердно, и перечеркивал написанное, и вставлял новые слова, и даже попытался нарисовать Понтия Пилата, а затем кога на задних лапах. Но и рисунки не помогли, и чем дальше — тем путаннее и непонятнее становилось заявление поэта.

К тому времени, как появилась издалека пугающая туча с дымящимися краями и накрыла бор и дунул ветер, Иван почувствовал, что обессилел, что с заявлением ему не совладать, не стал поднимать разлетевшихся листов и тихо и горько заплакал.

Добродушная фельдшерница Прасковья Федоровна навестила поэта во время грозы, встревожилась, видя, что он плачет, закрыла штору, чтобы молнии не пугали больного, листки подняла с полу и с ними побежала за врачом.

Тот явился, сделал укол в руку Ивана и уверил его, что он больше плакать не будет, что теперь все пройдет, все изменится и все забудется.

Врач оказался прав. Вскоре заречный бор стал прежним. Он вырисовался до последнего дерева под небом, расчистившимся до прежней полной голубизны, а река успокоилась. Тоска начала покидать Ивана тотчас после укола, и теперь поэт лежал спокойно и глядел на радугу, раскинувшуюся по небу.

Так продолжалось до вечера, и он даже не заметил, как радуга растаяла и как загрустило и полиняло небо, как почернел бор.

Напившись горячего молока, Иван опять прилег и сам подивился тому, как изменились его мысли. Как-то смягчился в памяти проклятый бесовский кот, не путала более отрезанная голова, и, покинув мысль о ней, стал размышлять Иван о том, что, по сути дела, в клинике очень неплохо, что Стравинский умница и знаменитость и что иметь с ним дело чрезвычайно приятно. Вечерний воздух к тому же и сладостен и свеж после грозы.

Дом скорби засыпал. В тихих коридорах потухли матовые белые лампы, и вместо них согласно распорядку зажглись слабые голубые ночники, и все реже за дверями слышались осторожные шажки фельдшерниц на резиновых половиках коридора.

Теперь Иван лежал в сладкой истоме и поглядывал

то на лампочку под абажуром, льющую с потолка смягченный свет, то на луну, выходящую из-за черного бо-ра, и беседовал сам с собою.

— Почему, собственно, я так взволновался из-за то-го, что Берлиоз попал под трамвай? — рассуждал по-эт. — В конечном счете, ну его в болото! Кто я, в самом деле, кум ему или сват? Если как следует про-вентилировать этот вопрос, то выходит, что я, в сущ-ности, даже и не знал-то по-настоящему покойника. Действительно, что мне о нем было известно? Да ни-чего, кроме того, что он был лыс и красноречив до ужаса. И далее, граждане, — продолжал свою речь Иван, обращаясь к кому-то, — разберемся вот в чем: чего это я, объясните, взбесился на этого загадочного консуль-танта, мага и профессора с пустым и черным глазом? К чему вся нелепая погоня за ним в подштанниках и со свечечкой в руках, а затем и дикая петрушка в ре-сторане?

— Но-но-но, — вдруг сурово сказал где-то, не то внутри, не то над ухом, прежний Иван Ивану ново-му, — про то, что голову Берлиозу-то отрежет, ведь он все-таки знал заранее? Как же не взволноваться?

— О чем, товарищи, разговор! — возражал новый Иван ветхому, прежнему Ивану. — Что здесь дело не-чисто, это понятно даже ребенку. Он личность неза-урядная и таинственная на все сто. Но ведь в этом-то самое интересное и есть! Человек лично был знаком с Понтием Пилатом, чего же вам еще интереснее надоб-но? И вместо того, чтобы поднимать глупейшую бузу на Патриарших, не умнее ли было бы вежливо рас-спросить о том, что было далее с Пилатом и этим арестованным Га-Ноцри? А я черт знает чем занялся! Важное, в самом деле, происшествие — редактора жур-нала задавило! Да что от этого, журнал, что ли, закро-ется? Ну, что ж поделаешь? Человек смертен, и, как справедливо сказано было, внезапно смертен. Ну, цар-ство небесное ему! Ну, будет другой редактор, и даже, может быть, еще красноречивее прежнего.

Подремав немного, Иван новый ехидно спросил у старого Ивана:

— Так кто же я такой выхожу в этом случае?

— Дурак! — отчетливо сказал где-то бас, не принад-лежащий ни одному из Иванов и чрезвычайно похо-жий на бас консультанта.

Иван, почему-то не обидевшись на слово «дурак», но даже приятно изумившись ему, усмехнулся и в полусне затих. Сон крался к Ивану, и уже померещилась ему и пальма на слоновой ноге, и кот прошел мимо — не страшный, а веселый, и, словом, вот-вот накроет сон Ивана, как вдруг решетка беззвучно поехала в сторону, и на балконе возникла таинственная фигура, прячущаяся от лунного света, и погрозила Ивану пальцем.

Иван без всякого испуга приподнялся на кровати и увидел, что на балконе находится мужчина. И этот мужчина, прижимая палец к губам, прошептал:

— Тссс!

Г л а в а 12

ЧЕРНАЯ МАГИЯ И ЕЕ РАЗОБЛАЧЕНИЕ

Маленький человек в дырявом желтом котелке и с грушевидным малиновым носом, в клетчатых брюках и лакированных ботинках выехал на сцену Варьете на обыкновенном двухколесном велосипеде. Под звуки фокстрота он сделал круг, а затем испустил победный вопль, от чего велосипед поднялся на дыбы. Проехавшись на одном заднем колесе, человечек перевернулся вверх ногами, ухитрился на ходу отвинтить переднее колесо и пустить его за кулисы, а затем продолжал путь на одном колесе, вертя педали руками.

На высокой металлической мачте с седлом наверху и с одним колесом выехала полная блондинка в трико и юбочке, усеянной серебряными звездами, и стала ездить по кругу. Встречаясь с ней, человечек издавал приветственные крики и ногой снимал с головы котелок.

Наконец, прикатил малютка лет восьми со старческим лицом и зашнырял между взрослыми на крошечной двухколеске, к которой был приделан громадный автомобильный гудок.

Сделав несколько петель, вся компания под тревожную дробь барабана из оркестра подкатилась к самому краю сцены, и зрители первых рядов ахнули и откинулись, потому что публике показалось, что вся тройка со своими машинами грохнется в оркестр.

Но велосипеды остановились как раз в тот момент, когда передние колеса уже грозили соскользнуть в бездну на головы музыкантам. Велосипедисты с громким

криком «Ап!» соскочили с машин и раскланялись, причем блондинка посылала публике воздушные поцелуи, а малютка протрубил смешной сигнал на своем гудке.

Рукоплескания потрясли здание, голубой занавес пошел с двух сторон и закрыл велосипедистов, зеленые огни с надписью «Выход» у дверей погасли, и в паутине трапещий под куполом, как солнце, зажглись белые шары. Наступил антракт перед последним отделением.

Единственным человеком, которого ни в коей мере не интересовали чудеса велосипедной техники семьи Джулли, был Григорий Данилович Римский. В полном одиночестве он сидел в своем кабинете, кусая тонкие губы, и по лицу его то и дело проходила судорога. К необыкновенному исчезновению Лиходеева присоединилось совершенно непредвиденное исчезновение администратора Варенухи.

Римскому было известно, куда он ушел, но он ушел и... не пришел обратно! Римский пожимал плечами и шептал сам себе:

— Но за что?!

И, странное дело: такому деловому человеку, как финдиректор, проще всего, конечно, было позвонить туда, куда отправился Варенуха, и узнать, что с тем стряслось, а между тем он до десяти часов вечера не мог принудить себя сделать это.

В десять же, совершив над собою форменное насилие, Римский снял трубку с аппарата и тут убедился в том, что телефон его мертв. Курьер доложил, что и остальные аппараты в здании испортились. Это, конечно, неприятное, но не сверхъестественное событие почему-то окончательно потрясло финдиректора, но в то же время и обрадовало: отвалилась необходимость звонить.

В то время как над головой финдиректора вспыхнула и замигала красная лампочка, возвещавшая начало антракта, вошел курьер и сообщил, что приехал иностранный артист. Финдиректора почему-то передернуло, и, став уж совсем мрачнее тучи, он отправился за кулисы, чтобы принимать гастролера, так как более принимать было некому.

В большую уборную из коридора, где уже трещали сигнальные звонки, под разными предлогами заглядывали любопытные. Тут были фокусники в ярких халатах и в чалмах, конькобежец в белой вязаной куртке, бледный от пудры рассказчик и гример.

Прибывшая знаменитость поразила всех своим невиданным по длине фраком дивного покроя и тем, что явилась в черной полумаске. Но удивительнее всего были двое спутников черного мага: длинный клетчатый в треснувшем пенсне и черный жирный кот, который, войдя в уборную на задних лапах, совершенно непринужденно сел на диван, щурясь на оголенные гримировальные лампы.

Римский постарался изобразить на лице улыбку, от чего оно сделалось кислым и злым, и раскланялся с безмолвным магом, сидящим рядом с котом на диване. Рукопожатия не было. Зато развязный клетчатый сам отрекомендовался финдиректору, назвав себя «ихний помощник». Это обстоятельство удивило финдиректора, и опять-таки неприятно: в контракте решительно ничего не упоминалось ни о каком помощнике.

Весьма принужденно и сухо Григорий Данилович осведомился у свалившегося ему на голову клетчатого о том, где аппаратура артиста.

— Алмаз вы наш небесный, драгоценнейший господин директор, — дребезжащим голосом ответил помощник мага, — наша аппаратура всегда при нас. Вот она! Эй, цвей, дрей! — И, повертев перед глазами Римского узловатыми пальцами, внезапно вытащил из-за уха у кота собственные Римского золотые часы с цепочкой, которые до этого были у финдиректора в жилетном кармане под застегнутым пиджаком и с проредой в петлю цепочкой.

Римский невольно ухватился за живот, присутствующие ахнули, а гример, заглядывающий в дверь, одобритительно крикнул.

— Ваши часики? Прошу получить, — развязно улыбаясь, сказал клетчатый и на грязной ладони подал растерянному Римскому его собственность.

— С таким в трамвай не садись, — тихо и весело шепнул рассказчик гримеру.

Но кот отмочил штуку почище номера с чужими часами. Неожиданно поднявшись с дивана, он на задних лапах подошел к подзеркальному столику, передней лапой вытащил пробку из графина, налил воды в стакан, выпил ее, водрузил пробку на место и гримировальной тряпкой вытер усы.

Тут никто даже и не ахнул, только рты раскрыли, а гример восхищенно шепнул:

— Ай, класс!

В это время в третий раз тревожно загремели звонки, и все, возбужденные и предвкушающие интересный номер, повалили из уборной вон.

Через минуту в зрительном зале догасли шары, вспыхнула и дала красноватый отблеск на низ занавеса рампа, и в освещенной щели занавеса предстал перед публикой полный, веселый как дитя человек с бритым лицом, в помятом фраке и несвежем белье. Это был хорошо знакомый всей Москве конферансье Жорж Бенгальский.

— Итак, граждане, — заговорил Бенгальский, улыбаясь младенческой улыбкой, — сейчас перед вами выступит... — Тут Бенгальский прервал сам себя и заговорил с другими интонациями: — Я вижу, что количество публики к третьему отделению еще увеличилось. У нас сегодня половина города! Как-то на днях встречаю я приятеля и говорю ему: «Отчего не заходишь к нам? Вчера у нас была половина города». А он мне отвечает: «А я живу в другой половине!» — Бенгальский сделал паузу, ожидая, что произойдет взрыв смеха, но так как никто не засмеялся, то он продолжал: —...Итак, выступит знаменитый иностранный артист мосье Воланд с сеансом черной магии! Ну, мы-то с вами понимаем, — тут Бенгальский улыбнулся мудрой улыбкой, — что ее вовсе не существует на свете и что она не что иное, как суеверие, а просто маэстро Воланд в высокой степени владеет техникой фокуса, что и будет видно из самой интересной части, то есть разоблачения этой техники, а так как мы все как один и за технику, и за ее разоблачение, то попросим господина Воланда!

Произнеся всю эту ахинею, Бенгальский сцепил обе руки ладонь к ладони и приветственно замахал ими в прорез занавеса, отчего тот, тихо шумя, и разошелся в стороны.

Выход мага с его длинным помощником и котом, вступившим на сцену на задних лапах, очень понравился публике.

— Кресло мне, — негромко приказал Воланд, и в ту же секунду, неизвестно как и откуда, на сцене появилось кресло, в которое и сел маг. — Скажи мне, любезный Фагот, — осведомился Воланд у клетчатого гаера, носившего, по-видимому, и другое наименова-

ние, кроме «Коровьев», — как по-твоему, ведь московское народонаселение значительно изменилось?

Маг поглядел на затихшую, пораженную появлением кресла из воздуха публику.

— Точно так, мессир, — негромко ответил Фагот-Коровьев.

— Ты прав. Горожане сильно изменились... внешне, я говорю, как и сам город, впрочем. О костюмах нечего уж и говорить, но появились эти... как их... трамваи, автомобили...

— Автобусы, — почтительно подсказал Фагот.

Публика внимательно слушала этот разговор, полагая, что он является прелюдией к магическим фокусам. Кулисы были забиты артистами и рабочими сцены, и между их лицами виднелось напряженное, бледное лицо Римского.

Физиономия Бенгальского, приютившегося сбоку сцены, начала выражать недоумение. Он чуть-чуть приподнял бровь и, воспользовавшись паузой, заговорил:

— Иностранный артист выражает свое восхищение Москвой, выросшей в техническом отношении, а также и москвичами, — тут Бенгальский дважды улыбнулся, сперва партеру, а потом галерее.

Воланд, Фагот и кот повернули головы в сторону конференсье.

— Разве я выразил восхищение? — спросил маг у Фагота.

— Никак нет, мессир, вы никакого восхищения не выражали, — ответил тот.

— Так что же говорит этот человек?

— А он попросту соврал! — звучно, на весь театр сообщил клетчатый помощник и, обратясь к Бенгальскому, прибавил: — Поздравляю вас, гражданин, соврами!

С галереи плеснуло смешком, а Бенгальский вздрогнул и выпучил глаза.

— Но меня, конечно, не столько интересуют автобусы, телефоны и прочая...

— Аппаратура! — подсказал клетчатый.

— Совершенно верно, благодарю, — медленно говорил маг тяжелым басом, — сколько гораздо более важный вопрос: изменились ли эти горожане внутренне?

— Да, это важнейший вопрос, сударь.

В кулисах стали переглядываться и пожимать пле-

чами, Бенгальский стоял красный, а Римский был бледен. Но тут, как бы отгадав начинающуюся тревогу, маг сказал:

— Однако мы заговорились, дорогой Фагот, а публика начинает скучать. Покажи нам для начала что-нибудь простенькое.

Зал облегченно шевельнулся. Фагот и кот разошлись в разные стороны по рампе. Фагот щелкнул пальцами, залихватски крикнул:

— Три, четыре! — поймал из воздуха колоду карт, стасовал ее и лентой пустил коту. Кот ленту перехватил и пустил ее обратно. Атласная змея фыркнула, Фагот раскрыл рот, как птенец, и всю ее, карту за картой, заглотал.

После этого кот раскланялся, шаркнув правой задней лапой, и вызвал неимоверный аплодисмент.

— Класс! Класс! — восхищенно кричали за кулисами.

А Фагот тыкнул пальцем в партер и объявил:

— Колода эта таперича, уважаемые граждане, находится в седьмом ряду у гражданина Парчевского, как раз между трехрублевкой и повесткой о вызове в суд по делу об уплате алиментов гражданке Зельковой.

В партере зашевелились, начали привставать, и, наконец, какой-то гражданин, которого, точно, звали Парчевским, весь пунцовый от изумления, извлек из бумажника колоду и стал тыкать ею в воздух, не зная, что с нею делать.

— Пусть она останется у вас на память! — прокричал Фагот. — Недаром же вы говорили вчера за ужином, что кабы не покер, то жизнь ваша в Москве была бы совершенно несносна.

— Стара штука, — слышалось с галерки, — этот в партере из той же компании.

— Вы полагаете? — заорал Фагот, прищуриваясь на галерею. — В таком случае и вы в одной шайке с нами, потому что колода у вас в кармане!

На галерке произошло движение, и слышался радостный голос:

— Верно! У него! Тут, тут... Стой! Да это червонцы!

Сидящие в партере повернули головы. На галерее какой-то смятенный гражданин обнаружил у себя в кармане пачку, перевязанную банковским способом и с надписью на обложке: «Одна тысяча рублей».

Соседи наваливались на него, а он в изумлении ковырял ногтем обложку, стараясь дознаться, настоящие ли это червонцы или какие-нибудь волшебные.

— Ей-богу, настоящие! Червонцы! — кричали с галерки радостно.

— Сыграйте и со мной в такую колоду, — весело попросил какой-то толстяк в середине партера.

— Аvek плезиp! — отозвался Фагот. — Но почему же с вами одним? Все примут горячее участие! — Искомандовал: — Прошу глядеть вверх!.. Раз! — в руке у него оказался пистолет, он крикнул: — Два! — пистолет вздернулся кверху. Он крикнул: — Три! — сверкнуло, бухнуло, и тотчас же из-под купола, ныряя между трапециями, начали падать в зал белые бумажки.

Они вертелись, их разносило в стороны, забивало на галерею, откидывало в оркестр и на сцену. Через несколько секунд денежный дождь, все густея, достиг кресел, и зрители стали бумажки ловить.

Поднимались сотни рук, зрители сквозь бумажки глядели на освещенную сцену и видели самые верные и праведные водяные знаки. Запах также не оставлял никаких сомнений: это был ни с чем по прелести не сравнимый запах только что отпечатанных денег. Сперва веселье, а потом изумление охватило весь театр. Всюду гудело слово «червонцы, червонцы», слышались вскрикивания «ах, ах!» и веселый смех. Кое-кто уже ползал в проходе, шаря под креслами. Многие стояли на сиденьях, ловя вертлявые, капризные бумажки.

На лицах милиции помаленьку стало выражаться недоумение, а артисты без церемонии начали высовываться из кулис.

В бельэтаже послышался голос: «Ты чего хватаешь? Это моя! Ко мне летела!» — и другой голос: «Да ты не толкайся, я тебя сам так толкану!» И вдруг послышалась плюха. Тотчас в бельэтаже появился шлем милиционера, из бельэтажа кого-то повели.

Вообще возбуждение возрастало, и неизвестно, во что бы все это вылилось, если бы Фагот не прекратил денежный дождь, внезапно дунув в воздух.

Двое молодых людей, обменявшись многозначительным и веселым взглядом, снялись с мест и прямохонько направились в буфет. В театре стоял гул, у всех зрителей возбужденно блестели глаза. Да, да, неизвестно, во что бы все это вылилось, если бы Бен-

гальский не нашел в себе силы и не шевельнулся бы. Стараясь покрепче овладеть собой, он по привычке потер руки и голосом наибольшей звучности заговорил так:

— Вот, граждане, мы с вами видели сейчас случай так называемого массового гипноза. Чисто научный опыт, как нельзя лучше доказывающий, что никаких чудес и магии не существует. Попросим же маэстро Воланда разоблачить нам этот опыт. Сейчас, граждане, вы увидите, как эти, якобы денежные, бумажки исчезнут так же внезапно, как и появились.

Тут он зааплодировал, но в совершенном одиночестве, и на лице при этом у него играла уверенная улыбка, но в глазах этой уверенности отнюдь не было, и скорее в них выражалась мольба.

Публике речь Бенгальского не понравилась. Наступило полное молчание, которое было прервано клетчатым Фаготом.

— Это опять-таки случай так называемого вранья, — объявил он громким козлиным тенором, — бумажки, граждане, настоящие!

— Браво! — отрывисто рявкнул бас где-то в высоте.

— Между прочим, этот, — тут Фагот указал на Бенгальского, — мне надоел. Суется все время, куда его не спрашивают, ложными замечаниями портит сеанс! Что бы нам такое с ним сделать?

— Голову ему оторвать! — сказал кто-то сурово на галерке.

— Как вы говорите? Ась? — тотчас отозвался на это безобразное предложение Фагот. — Голову оторвать? Это идея! Бегемот! — закричал он коту. — Делай! Эй, цвей, дрей!!

И произошла невиданная вещь. Шерсть на черном коте встала дыбом, и он раздирающе мякнул. Затем сжался в комок и, как пантера, махнул прямо на грудь Бенгальскому, а оттуда перескочил на голову. Урча, пухлыми лапами кот вцепился в жидкую шевелюру конференсье и, дико взыв, в два поворота сорвал эту голову с полной шеи.

Две с половиной тысячи человек в театре вскрикнули как один. Кровь фонтанами из разорванных артерий на шею ударила вверх и залила и манишку и фрак. Безглавое тело как-то нелепо загребло ногами и село на пол. В зале послышались истерические крики жен-

щин. Кот передал голову Фаготу, тот за волосы поднял ее и показал публике, и голова эта отчаянно крикнула на весь театр:

— Доктора!

— Ты будешь в дальнейшем молоть всякую чушь? — грозно спросил Фагот у плачущей головы.

— Не буду больше! — прохрипела голова.

— Ради бога, не мучьте его! — вдруг, покрывая гам, прозвучал из ложи женский голос, и маг повернул в сторону этого голоса лицо.

— Так что же, граждане, простить его, что ли? — спросил Фагот, обращаясь к залу.

— Простить! Простить! — раздались вначале отдельные и преимущественно женские голоса, а затем они слились в один хор с мужскими.

— Как прикажете, мессир? — спросил Фагот у замаскированного.

— Ну что же, — задумчиво отозвался тот, — они — люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны... ну, что ж... и милосердие иногда стучится в их сердца... обыкновенные люди... В общем, напоминают прежних... квартирный вопрос только испортил их... — И громко приказал: — Наденьте голову.

Кот, прицелившись поаккуратнее, нахлобучил голову на шею, и она точно села на свое место, как будто никуда и не отлучалась. И главное, даже шрама на шее никакого не осталось. Кот лапами обмахнул фрак Бенгальского и пластрон, и с них исчезли следы крови. Фагот поднял сидящего Бенгальского на ноги, сунул ему в карман фрака пачку червонцев и выпроводил со сцены со словами:

— Катитесь отсюда! Без вас веселей.

Бессмысленно оглядываясь и шатаясь, конференсье добрел только до пожарного поста, и там с ним сделалось худо. Он жалобно вскрикнул:

— Голова моя, голова!

В числе прочих к нему бросился Римский. Конференсье плакал, ловил в воздухе что-то руками, бормотал:

— Отдайте мою голову! Голову отдайте! Квартиру возьмите, картины возьмите, только голову отдайте!

Курьер побежал за врачом. Бенгальского пробовали уложить на диван в уборной, но он стал отбиваться, сделался буен. Пришлось вызывать карету. Когда несчастного конферансье увезли, Римский побежал обратно на сцену и увидел, что на ней происходят новые чудеса. Да, кстати, в это ли время или немножко раньше, но только маг, вместе со своим полинялым креслом, исчез со сцены, причем надо сказать, что публика совершенно этого не заметила, увлеченная теми чрезвычайными вещами, которые развернул на сцене Фагот.

А Фагот, спровадив пострадавшего конферансье, объявил публике так:

— Таперича, когда этого надоедалу сплывили, давайте откроем дамский магазин!

И тотчас пол сцены покрылся персидскими коврами, возникли громадные зеркала, с боков освещенные зеленоватыми трубками, а меж зеркал — витрины, и в них зрители в веселом ошеломлении увидели разных цветов и фасонов парижские женские платья. Это в одних витринах. А в других появились сотни дамских шляп, и с перышками, и без перышек, и с пряжками, и без них, сотни же туфель — черных, белых, желтых, кожаных, атласных, замшевых, и с ремешками, и с камушками. Между туфель появились футляры духов, горы сумочек из антилоповой кожи, из замши, из шелка, а между ними — целые груды чеканных золотых продолговатых футлярчиков, в которых бывает губная помада.

Черт знает откуда взявшаяся рыжая девица в вечернем черном туалете, всем хорошая девица, кабы не портил ее причудливый шрам на шее, заулыбалась у витрин хозяйской улыбкой.

Фагот, сладко ухмыляясь, объявил, что фирма совершенно бесплатно производит обмен старых дамских платьев и обуви на парижские модели и парижскую же обувь. То же самое он добавил относительно сумочек и прочего.

Кот начал шаркать задней лапой, передней и в то же время выделывая какие-то жесты, свойственные швейцарам, открывающим дверь.

Девица хоть и с хрипотцой, но сладко запела, картавая, что-то малопонятное, но, судя по женским лицам в партере, очень соблазнительное:

— Герлэн, Шанель номер пять, Мицуко, Нарсис Ну-ар, вечерние платья, платья коктейль...

Фагот извивался, кот кланялся, девица открывала стеклянные витрины.

— Прошу! — орал Фагот. — Без всякого стеснения и церемоний!

Публика волновалась, но идти на сцену пока никто не решался. Наконец какая-то брюнетка вышла из десятого ряда партера и, улыбаясь так, что ей, мол, решительно все равно и в общем наплевать, прошла и по боковому трапу поднялась на сцену.

— Браво! — вскричал Фагот. — Приветствую первую посетительницу! Бегемот, кресло! Начнем с обуви, мадам!

Брюнетка села в кресло, и Фагот тотчас вывалил на ковер перед нею целую грудю туфель. Брюнетка сняла свою правую туфлю, примерила сиреневую, потопала в ковер, осмотрела каблук.

— А они не будут жать? — задумчиво спросила она. На это Фагот обиженно воскликнул:

— Что вы, что вы! — и кот от обиды мяукнул.

— Я беру эту пару, мосье, — сказала брюнетка с достоинством, надевая и вторую туфлю.

Старые туфли брюнетки были выброшены за занавеску, и туда же проследовала и сама она в сопровождении рыжей девицы и Фагота, несшего на плечиках несколько модельных платьев. Кот суетился, помогал и для пущей важности повесил себе на шею сантиметр.

Через минуту из-за занавески вышла брюнетка в таком платье, что по всему партеру прокатился вздох. Храбрая женщина, до удивительности похорошевшая, остановилась у зеркала, повела обнаженными плечами, потрогала волосы на затылке и изогнулась, стараясь заглянуть себе за спину.

— Фирма просит вас принять это на память, — сказал Фагот и подал брюнетке открытый футляр с флаконом.

— Мерси, — надменно ответила брюнетка и пошла по трапу в партер. Пока она шла, зрители вскакивали, прикасались к футляру.

И вот тут прорвало начисто, и со всех сторон на сцену пошли женщины. В общем возбужденном говоре, смешках и вздохах слышался мужской голос: «Я не позволяю тебе!» — и женский: «Деспот и мещанин! Не

ломайте мне руку!» Женщины исчезали за занавеской, оставляли там свои платья и выходили в новых. На табуретках с золочеными ножками сидел целый ряд дам, энергично топая в ковер заново обутыми ногами. Фагот становился на колени, орудовал металлическим рожком, кот, изнемогая под гирями сумочек и туфель, таскался от витрины к табуреткам и обратно, девица с изуродованной шеей то появлялась, то исчезала и дошла до того, что уж полностью стала тарыхтеть по-французски, и удивительно было то, что ее с полуслова понимали все женщины, даже те из них, что не знали ни одного французского слова.

Общее изумление вызвал мужчина, затесавшийся на сцену. Он объявил, что у супруги его грипп и что поэтому он просит передать ей что-нибудь через него. В доказательство же того, что он действительно женат, гражданин готов был предъявить паспорт. Заявление заботливого мужа было встречено хохотом, Фагот проорал, что верит, как самому себе, и без паспорта, и вручил гражданину две пары шелковых чулок, кот от себя добавил футлярчик с помадой.

Опоздавшие женщины рвались на сцену, со сцены текли счастливицы в бальных платьях, в пижамах с драконами, в строгих визитных костюмах, в шляпочках, надвинутых на одну бровь.

Тогда Фагот объявил, что за поздним временем магазин закрывается до завтрашнего вечера ровно через одну минуту, и неимоверная суeta поднялась на сцене. Женщины наскоро, без всякой примерки, хватили туфли. Одна, как буря, ворвалась за занавеску, сбросила там свой костюм и овладела первым, что подвернулось, — шелковым, в громадных букетах, халатом и, кроме того, успела подцепить два футляра духов.

Ровно через минуту грянул пистолетный выстрел, зеркала исчезли, провалились витрины и табуретки, ковер растаял в воздухе так же, как и занавеска. Последней исчезла высоченная гора старых платьев и обуви, и стала сцена опять строга, пуста и гола.

И вот здесь в дело вмешалось новое действующее лицо.

Приятный, звучный и очень настойчивый баритон послышался из ложи № 2:

— Все-таки желательно, гражданин артист, чтобы вы незамедлительно разоблачили бы перед зрителями тех-

нику ваших фокусов, в особенности фокус с денежными бумажками. Желательно также и возвращение конферансье на сцену. Судьба его волнует зрителей.

Баритон принадлежал не кому иному, как почетному гостю сегодняшнего вечера Аркадию Аполлоновичу Семплеярову, председателю Акустической комиссии московских театров.

Аркадий Аполлонович помещался в ложе с двумя дамами: пожилой, дорого и модно одетой, и другой — молоденькой и хорошенькой, одетой попроще. Первая из них, как вскоре выяснилось при составлении протокола, была супругой Аркадия Аполлоновича, а вторая — дальней родственницей его, начинающей и подающей надежды актрисой, приехавшей из Саратова и проживающей в квартире Аркадия Аполлоновича и его супруги.

— Пардон! — отозвался Фагот. — Я извиняюсь, здесь разоблачать нечего, все ясно.

— Нет, виноват! Разоблачение совершенно необходимо. Без этого ваши блестящие номера оставят тягостное впечатление. Зрительская масса требует объяснения.

— Зрительная масса, — перебил Семплеярова наглый гаер, — как будто ничего не заявляла? Но, принимая во внимание ваше глубокоуважаемое желание, Аркадий Аполлонович, я, так и быть, произведу разоблачение. Но для этого разрешите еще один крохотный номерок?

— Отчего же, — покровительственно ответил Аркадий Аполлонович, — но непременно с разоблачением!

— Слушаюсь, слушаюсь. Итак, позвольте вас спросить, где вы были вчера вечером, Аркадий Аполлонович?

При этом неуместном и даже, пожалуй, хамском вопросе лицо Аркадия Аполлоновича изменилось, и весьма сильно изменилось.

— Аркадий Аполлонович вчера вечером был на заседании Акустической комиссии, — очень надменно заявила супруга Аркадия Аполлоновича, — но я не понимаю, какое отношение это имеет к магии.

— Уй, мадам! — подтвердил Фагот. — Натурально, вы не понимаете. Насчет же заседания вы в полном заблуждении. Выехав на упомянутое заседание, каковое, к слову говоря, и назначено-то вчера не было, Аркадий

Аполлонович отпустил своего шофера у здания Акустической комиссии на Чистых прудах (весь театр затих), а сам в автобусе поехал на Елоховскую улицу в гости к артистке разъездного районного театра Милице Андреевне Покобатько и провел у нее в гостях около четырех часов.

— Ой! — страдальчески воскликнул кто-то в полной тишине.

Молодая же родственница Аркадия Аполлоновича вдруг расхохоталась низким и страшным смехом.

— Все понятно! — воскликнула она. — И я давно уже подозревала это. Теперь мне ясно, почему эта бездарность получила роль Луизы!

И, внезапно размахнувшись, коротким и толстым лиловым зонтиком она ударила Аркадия Аполлоновича по голове.

Подлый же Фагот, и он же Коровьев, прокричал:

— Вот, почтенные граждане, один из случаев разоблачения, которого так назойливо добивался Аркадий Аполлонович!

— Как смела ты, негодяйка, коснуться Аркадия Аполлоновича? — грозно спросила супруга Аркадия Аполлоновича, поднимаясь в ложе во весь свой гигантский рост.

Второй короткий прилив сатанинского смеха овладел молодой родственницей.

— Уж кто-кто, — ответила она, хохоча, — а уж я-то смею коснуться! — и второй раз раздался сухой треск зонтика, отскочившего от головы Аркадия Аполлоновича.

— Милиция! Взять ее! — таким страшным голосом прокричала супруга Семплеярова, что у многих похолодели сердца.

А тут еще кот выскочил к рампе и вдруг рывкнул на весь театр человеческим голосом:

— Сеанс окончен! Маэстро! Урежьте марш!!

Ополоумевший дирижер, не отдавая себе отчета в том, что делает, взмахнул палочкой, и оркестр не заиграл, и даже не грянул, и даже не хватил, а именно, по омерзительному выражению кота, урезал какой-то невероятный, ни на что не похожий по развязности своей марш.

На мгновенье почудилось, что будто слышаны были некогда, под южными звездами, в кафешантане, какие-

то мало понятные, полуслепые, но разудалые слова этого марша:

Его превосходительство
Любил домашних птиц
И брал под покровительство
Хорошеньких девиц!!!

А может быть, не было никаких этих слов, а были другие на эту же музыку, какие-то неприличные крайне. Важно не это, а важно то, что в Варьете после всего этого началось что-то вроде столпотворения вавилонского. К семплеяровской ложе бежала милиция, на барьер лезли любопытные, слышались адские взрывы хохота, бешеные крики, заглушаемые золотым звоном тарелок из оркестра.

И видно было, что сцена внезапно опустела и что надувало Фагот, равно как и наглый котяра Бегемот, растаяли в воздухе, исчезли, как раньше исчез маг в кресле с полинявшей обивкой.

Г л а в а 13

ЯВЛЕНИЕ ГЕРОЯ

Итак, неизвестный погрозил Ивану пальцем и прошептал: «Тссс!»

Иван спустил ноги с постели и всмотрелся. С балкона осторожно заглядывал в комнату бритый, темно-волосый, с острым носом, встревоженными глазами и со свешивающимся на лоб клоком волос человек примерно лет тридцати восьми.

Убедившись в том, что Иван один, и прислушавшись, таинственный посетитель осмелел и вошел в комнату. Тут увидел Иван, что пришедший одет в больничное. На нем было белье, туфли на босу ногу на плечи наброшен бурый халат.

Пришедший подмигнул Ивану, спрятал в карман связку ключей, шепотом осведомился: «Можно присесть?» — и, получив утвердительный кивок, поместился в кресле.

— Как же вы сюда попали? — повинуюсь сухому грозящему пальцу, шепотом спросил Иван. — Ведь балконные-то решетки на замках?

— Решетки-то на замках, — подтвердил гость, — но

Прасковья Федоровна — милейший, но, увы, рассеянный человек. Я стащил у нее месяц тому назад связку ключей и, таким образом, получил возможность выходить на общий балкон, а он тянется вокруг всего этажа, и, таким образом, иногда навестить соседа.

— Раз вы можете выходить на балкон, то вы можете удрать. Или высоко? — заинтересовался Иван.

— Нет, — твердо ответил гость, — я не могу удрать отсюда не потому, что высоко, а потому, что мне удирать некуда. — И после паузы он добавил: — Итак, сидим?

— Сидим, — ответил Иван, вглядываясь в карие и очень беспокойные глаза пришельца.

— Да... — тут гость вдруг встревожился, — но вы, надеюсь, не буйный? А то я, знаете ли, не выношу шума, возни, насилий и всяких вещей в этом роде. В особенности ненавистен мне людской крик, будь то крик страдания, ярости или какой-нибудь иной крик. Успокойте меня, скажите, вы не буйный?

— Вчѐра в ресторане я одному типу по морде засветил, — мужественно признался преображенный поэт.

— Основание? — строго спросил гость.

— Да, признаться, без основания, — сконфузившись, ответил Иван.

— Безобразие, — осудил гость Ивана и добавил: — А кроме того, что это вы так выражаетесь: по морде засветил? Ведь неизвестно, что именно имеется у человека, морда или лицо. И, пожалуй, ведь все-таки лицо. Так что, знаете ли, кулаками... Нет, уж это вы оставьте, и навсегда.

Отчитав таким образом Ивана, гость осведомился:

— Профессия?

— Поэт, — почему-то неохотно признался Иван.

Пришедший огорчился.

— Ох, как мне не везет! — воскликнул он, но тут же спохватился, извинился и спросил: — А как ваша фамилия?

— Бездомный.

— Эх, эх... — сказал гость, морщась.

— А вам что же, мои стихи не нравятся? — с любопытством спросил Иван.

— Ужасно не нравятся.

— А вы какие читали?

— Никаких я ваших стихов не читал! — нервно воскликнул посетитель.

— А как же вы говорите?

— Ну, что ж тут такого, — ответил гость, — как будто я других не читал? Впрочем... разве что чудо? Хорошо, я готов принять на веру. Хороши ваши стихи, скажите сами?

— Чудовищны! — вдруг смело и откровенно произнес Иван.

— Не пишите больше! — попросил пришедший умоляюще.

— Обещаю и клянусь! — торжественно произнес Иван.

Клятву скрепили рукопожатием, и тут из коридора донеслись мягкие шаги и голоса.

— Тсс, — шепнул гость и, выскочив на балкон, закрыл за собою решетку.

Заглянула Прасковья Федоровна, спросила, как Иван себя чувствует и желает ли он спать в темноте или со светом. Иван попросил свет оставить, и Прасковья Федоровна удалилась, пожелав больному спокойной ночи. И когда все стихло, вновь вернулся гость.

Он шепотом сообщил Ивану, что в 119-ю комнату привезли новенького, какого-то толстяка с багровой физиономией, все время бормочущего про какую-то валюту в вентиляции и клянущегося, что у них на Садовой поселилась нечистая сила.

— Пушкина ругает на чем свет стоит и все время кричит: «Куролесов, бис, бис!» — говорил гость, тревожно дергаясь. Успокоившись, он сел, сказал: — А впрочем, бог с ним, — и продолжал беседу с Иваном: Так из-за чего же вы попали сюда?

— Из-за Понтия Пилата, — хмуро глянув в пол, ответил Иван.

— Как?! — забыв осторожность, крикнул гость и сам себе зажал рот рукой. — Потрясающее совпадение! Умоляю, умоляю, расскажите!

Почему-то испытывая доверие к неизвестному Иван, первоначально запинаясь и робея, а потом осмелев, начал рассказывать вчерашнюю историю на Патриарших прудах. Да, благодарного слушателя получил Иван Николаевич в лице таинственного похитителя ключей! Гость не рядил Ивана в сумасшедшие, проявил величайший интерес к рассказываемому и по мере развития этого рассказа, наконец, пришел в восторг. Он то и дело прерывал Ивана восклицаниями:

— Ну, ну, дальше, дальше, умоляю вас! Но только, ради всего святого, не пропускайте ничего!

Иван ничего и не пропускал, ему самому было так легче рассказывать, и постепенно добрался до того момента, как Понтий Пилат в белой мантии с кровавым подбоем вышел на балкон.

Тогда гость молитвенно сложил руки и прошептал:

— О, как я угадал! О, как я все угадал!

Описание ужасной смерти Берлиоза слушающий сопровождал загадочным замечанием, причем глаза его вспыхнули злобой:

— Об одном жалею, что на месте этого Берлиоза не было критика Латунского или литератора Мстислава Лавровича. — И исступленно, но беззвучно вскричал: — Дальше!

Кот, плативший кондукторше, чрезвычайно развеселил гостя, и он давился от тихого смеха, глядя, как взволнованный успехом своего повествования Иван тихо прыгал на корточках, изображая кота с гривенником возле усов.

— И вот, — рассказав про происшествие в Грибоедове, загрузив и затуманившись, Иван закончил: — я и оказался здесь.

Гость сочувственно положил руку на плечо бедного поэта и сказал так:

— Несчастный поэт! Но вы сами, голубчик, во всем виноваты. Нельзя было держать себя с ним столь развязно и даже нагло. Вот вы и поплатились. И надо еще сказать спасибо, что все это обошлось вам сравнительно дешево.

— Да кто же он, наконец, такой? — в возбуждении потрясая кулаками, спросил Иван.

Гость взгляделся в Ивана и ответил вопросом:

— А вы не впадете в беспокойство? Мы все здесь люди ненадежные... Вызова врача, уколов и прочей возни не будет?

— Нет, нет! — воскликнул Иван. — Скажите, кто он такой?

— Ну хорошо, — ответил гость и веско и раздельно сказал: — Вчера на Патриарших прудах вы встретились с сатаной.

Иван не впал в беспокойство, как и обещал, но был все-таки сильнейшим образом ошарашен.

— Не может этого быть! Его не существует!

— Помилюйте! Уж кому-кому, но не вам это говорить. Вы были одним, по-видимому, из первых, кто от него пострадал. Сидите, как сами понимаете, в психиатрической лечебнице, а все толкуете о том, что его нет. Право, это странно!

Сбитый с толку Иван замолчал.

— Лишь только вы начали его описывать, — продолжал гость, — я уже стал догадываться, с кем вы вчера имели удовольствие беседовать, И, право, я удивляюсь Берлиозу! Ну вы, конечно, человек девственный, — тут гость опять извинился, — но тот, сколько я о нем слышал, все-таки хоть что-то читал! Первые же речи этого профессора рассеяли всякие мои сомнения. Его нельзя не узнать, мой друг! Впрочем, вы... вы меня опять-таки извините, ведь я не ошибаюсь, вы человек невежественный?

— Бесспорно, — согласился неузнаваемый Иван.

— Ну вот... ведь даже лицо, которое вы описывали... разные глаза, брови! Простите, может быть, впрочем, вы даже оперы «Фауст» не слыхали?

Иван почему-то страшнейшим образом сконфузился и с пылающим лицом что-то начал бормотать про какую-то поездку в санаторию в Ялту...

— Ну вот, ну вот... неудивительно! А Берлиоз, повторяю, меня поражает... Он человек не только начитанный, но и очень хитрый. Хотя в защиту его я должен сказать, что, конечно, Воланд может запорошить глаза и человеку похитрее.

— Как?! — в свою очередь крикнул Иван.

— Тише!

Иван с размаху шлепнул себя ладонью по лбу и засипел:

— Понимаю, понимаю. У него буква «В» была на визитной карточке. Ай-яй-яй, вот так штука! — Он помолчал некоторое время в смятении, всматриваясь в луну, плывущую за решеткой, и заговорил: — Так он, стало быть, действительно мог быть у Понтия Пилата? Ведь он уже тогда родился? А меня сумасшедшим называют! — прибавил Иван, в возмущении указывая на дверь.

Горькая складка обозначилась у губ гостя.

— Будем глядеть правде в глаза, — и гость повернул свое лицо в сторону бегущего сквозь облако ночного светила. — И вы и я — сумасшедшие, что отпираться!

Видите ли, он вас потряс — и вы свихнулись, так как у вас, очевидно, подходящая для этого почва. Но то, что вы рассказываете, бесспорно было в действительности. Но это так необыкновенно, что даже Стравинский, гениальный психиатр, вам, конечно, не поверил. Он смотрел вас? (Иван кивнул.) Ваш собеседник был и у Пилата, и на завтраке у Канта, а теперь он навестил Москву.

— Да ведь он тут черт знает чего натворит! Как-нибудь его надо изловить? — не совсем уверенно, но все же поднял голову в новом Иване прежний, еще не окончательно добытый Иван.

— Вы уже попробовали, и будет с вас, — иронически отозвался гость, — другим тоже пробовать не советую. А что натворит, это уж будьте благонадежны. Ах, ах! Но до чего мне досадно, что встретились с ним вы, а не я! Хотя все и перегорело и угли затянулись пеплом, все же клянусь, что за эту встречу я отдал бы связку ключей Прасковьи Федоровны, ибо мне больше нечего отдавать. Я — нищий!

— А зачем он вам понадобился?

Гость долго грустил и дергался, но наконец заговорил:

— Видите ли, какая странная история, я сижу здесь из-за того же, что и вы, именно из-за Понтия Пилата. — Тут гость пугливо оглянулся и сказал: — Дело в том, что год тому назад я написал о Пилате роман.

— Вы — писатель? — с интересом спросил поэт.

Гость потемнел лицом и погрозил Ивану кулаком, потом сказал:

— Я — мастер, — он сделался суров и вынул из кармана халата совершенно засаленную черную шапочку с вышитой на ней желтым шелком буквой «М». Он надел эту шапочку и показался Ивану и в профиль и в фас, чтобы доказать, что он — мастер. — Она своими руками сшила ее мне, — таинственно добавил он.

— А как ваша фамилия?

— У меня нет больше фамилии, — с мрачным презрением ответил странный гость, — я отказался от нее, как и вообще от всего в жизни. Забудем о ней.

— Так вы хоть про роман-то скажите, — деликатно попросил Иван.

— Извольте-с. Жизнь моя, надо сказать, сложилась не совсем обыкновенно, — начал гость.

...Историк по образованию, он еще два года тому назад работал в одном из московских музеев, а кроме того, занимался переводами...

— С какого языка? — с интересом спросил Иван.

— Я знаю пять языков, кроме родного, — ответил гость, — английский, французский, немецкий, латинский и греческий. Ну, немножко еще читаю по-итальянски.

— Ишь ты! — завистливо шепнул Иван.

Жил историк одиноко, не имея нигде родных и почти не имея знакомых в Москве. И, представьте, однажды выиграл сто тысяч рублей.

— Вообразите мое изумление, — шептал гость в черной шапочке, — когда я сунул руку в корзину с грязным бельем и смотрю: на ней тот же номер, что и в газете! Облигацию, — пояснил он, — мне в музей дали.

Выиграв сто тысяч, загадочный гость Ивана поступил так: купил книг, бросил свою комнату на Мясницкой...

— Уу, проклятая дыра! — прорычал он.

...И нанял у застройщика, в переулке близ Арбата, две комнаты в подвале маленького домика в садике. Службу в музее бросил и начал сочинять роман о Понтии Пилате.

— Ах, это был золотой век! — блестя глазами, шептал рассказчик. — Совершенно отдельная квартирка, и еще передняя, и в ней раковина с водой, — почему-то особенно горделиво подчеркнул он, — маленькие оконца над самым тротуарчиком, ведущим от калитки. Напротив, в четырех шагах, под забором, сирень, липа и клен. Ах, ах, ах! Зимой я очень редко видел в оконце чьи-нибудь черные ноги и слышал хруст снега под ними. И в печке у меня вечно пылал огонь! Но внезапно наступила весна, и сквозь мутные стекла увидел я сперва голые, а затем одевающиеся в зелень кусты сирени. И вот тогда-то, прошлой весной, случилось нечто гораздо более восхитительное, чем получение ста тысяч рублей. А это, согласитесь, громадная сумма денег!

— Это верно, — признал внимательно слушающий Иван.

— Я открыл оконца и сидел во второй, совсем малюсенькой комнате, — гость стал отмеривать руками, — так вот — диван, а напротив другой диван, а между

ними столик, и на нем прекрасная ночная лампа, а к окошку ближе книги, тут маленький письменный столик, а в первой комнате — громадная комната, четырнадцать метров, — книги, книги и печка. Ах, какая у меня была обстановка! Необыкновенно пахнет сирень! И голова моя становилась легкой от утомления, и Пилат летел к концу...

— Белая мантия, красный подбой! Понимаю! — восклицал Иван.

— Именно так! Пилат летел к концу, к концу, и я уже знал, что последними словами романа будут: «...Пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат». Ну, натурально, я выходил гулять. Сто тысяч — громадная сумма, и у меня был прекрасный костюм. Или отправлялся обедать в какой-нибудь дешевый ресторан. На Арбате был чудесный ресторан, не знаю, существует ли он теперь.

Тут глаза гостя широко открылись, и он продолжал шептать, глядя на луну:

— Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые цветы. Черт их знает, как их зовут, но они первые почему-то появляются в Москве. И эти цветы очень отчетливо выделялись на черном ее весеннем пальто. Она несла желтые цветы! Нехороший цвет. Она повернула с Тверской в переулочек и тут обернулась. Ну, Тверскую вы знаете? По Тверской шли тысячи людей, но я вам ручаюсь, что увидела она меня одного и поглядела не то что тревожно, а даже как будто болезненно. И меня поразила не столько ее красота, сколько необыкновенное, никем не виданное одиночество в глазах!

Повинуясь этому желтому знаку, я тоже свернул в переулочек и пошел по ее следам. Мы шли по кривому, скучному переулочку безмолвно, я по одной стороне, а она по другой. И не было, вообразите, в переулочке ни души. Я мучился, потому что мне показалось, что с нею необходимо говорить, и тревожился, что я не вымолвлю ни одного слова, а она уйдет, и я никогда ее более не увижу.

И, вообразите, внезапно заговорила она:

— Нравятся ли вам мои цветы?

Я отчетливо помню, как прозвучал ее голос, низкий довольно-таки, но со срывами, и, как это ни глупо, показалось, что эхо ударило в переулочке и отразилось от

желтой грязной стены. Я быстро перешел на ее сторону и, подходя к ней, ответил:

— Нет.

Она поглядела на меня удивленно, а я вдруг, и совершенно неожиданно, понял, что я всю жизнь любил именно эту женщину! Вот так штука, а? Вы, конечно, скажете, сумасшедший?

— Ничего я не говорю! — воскликнул Иван и добавил: — Умоляю, дальше!

И гость продолжал:

— Да, она поглядела на меня удивленно, а затем, поглядев, спросила так:

— Вы вообще не любите цветов?

В голосе ее была, как мне показалось, враждебность. Я шел с нею рядом, стараясь идти в ногу, и, к удивлению моему, совершенно не чувствовал себя стесненным.

— Нет, я люблю цветы, только не такие, — сказал я.

— А какие?

— Я розы люблю.

Тут я пожалел о том, что это сказал, потому что она виновато улыбнулась и бросила свои цветы в канаву. Растерявшись немного, я все-таки поднял их и подал ей, но она, усмехнувшись, оттолкнула цветы, и я понес их в руках.

Так шли молча некоторое время, пока она не вынула у меня из рук цветы и бросила их на мостовую, затем продела свою руку в черной перчатке с растрюбом в мою, и мы пошли рядом.

— Дальше, — сказал Иван, — и не пропускайте, пожалуйста, ничего!

— Дальше? — переспросил гость. — Что же, дальше вы могли бы и сами угадать. — Он вдруг вытер неожиданную слезу правым рукавом и продолжал: — Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож! Она-то, впрочем, утверждала впоследствии, что это не так, что любили мы, конечно, друг друга давным-давно, не зная друг друга, никогда не видя, и что она жила с другим человеком... и я там, тогда... с этой, как ее...

— С кем? — спросил Бездомный.

— С этой... ну... с этой... ну... — ответил гость и зашелкал пальцами.

— Вы были женаты?

Ну да, вот же я и щелкаю... На этой... Вареньке... Манечке... нет, Вареньке... еще платье полосатое, музей... Впрочем, я не помню.

Так вот, она говорила, что с желтыми цветами в руках она вышла в тот день, чтобы я наконец ее нашел, и что, если бы этого не произошло, она отравилась бы, потому что жизнь ее пуста.

Да, любовь поразила нас мгновенно. Я это знал в тот же день уже через час, когда мы оказались, не замечая города, у Кремлевской стены на набережной.

Мы разговаривали так, как будто расстались вчера, как будто знали друг друга много лет. На другой день мы сговорились встретиться там же, на Москве-реке, и встретились. Майское солнце светило нам. И скоро, скоро стала эта женщина моею тайною женой.

Она приходила ко мне каждый день, а ждать ее я начинал с утра. Ожидание это выражалось в том, что я переставлял на столе предметы. За десять минут я садился к оконцу и начинал прислушиваться, не стукнет ли ветхая калитка. И как курьезно: до встречи моей с нею в наш дворик мало кто приходил, просто сказать, никто не приходил, а теперь мне казалось, что весь город устремился в него. Стукнет калитка, стукнет сердце, и, вообразите, на уровне моего лица за оконцем обязательно чьи-нибудь грязные сапоги. Точильщик. Ну, кому нужен точильщик в нашем доме? Что точить? Какие ножи?

Она входила в калитку один раз, а биений сердца до этого я испытывал не менее десяти, я не лгу. А потом, когда приходил ее час и стрелка показывала полдень, оно даже и не переставало стучать до тех пор, пока без стука, почти совсем бесшумно, не равнялись с окном туфли с черными замшевыми накладками-бантами, стянутыми стальными пряжками.

Иногда она шалила и, задержавшись у второго оконца, постукивала носком в стекло. Я в ту же секунду оказывался у этого окна, но исчезала туфля, черный шелк, заслонявший свет, исчезал, — я шел ей открывать.

Никто не знал о нашей связи, за это я вам ручаюсь, хотя так никогда и не бывает. Не знал ее муж, не знали знакомые. В стареньком особнячке, где мне принадлежал этот подвал, знали, конечно, видели, что приходит ко мне какая-то женщина, но имени ее не знали.

— А кто она такая? — спросил Иван, в высшей степени заинтересованный любовной историей.

Гость сделал жест, означавший, что он никогда и никому этого не скажет, и продолжал свой рассказ.

Ивану стало известным, что мастер и незнакомка полюбили друг друга так крепко, что стали совершенно неразлучны. Иван представлял себе ясно уже и две комнаты в подвале особнячка, в которых были всегда сумерки из-за сирени и забора. Красную потертую мебель, бюро, на нем часы, звеневшие каждые полчаса, и книги, книги от крашеного пола до закопченного потолка, и печку.

Иван узнал, что гость его и тайная жена уже в первые дни своей связи пришли к заключению, что столкнула их на углу Тверской и переулка сама судьба и что созданы они друг для друга навек.

Иван узнал из рассказа гостя, как проводили день возлюбленные. Она приходила, и первым долгом надевала фартук, и в узкой передней, где находилась та самая раковина, которой гордился почему-то бедный больной, на деревянном столе зажигала керосинку, и готовила завтрак, и накрывала его в первой комнате на овальном столе. Когда шли майские грозы и мимо подслеповатых окон шумно катилась в подворотню вода, угрожая залить последний приют, влюбленные растапливали печку и пекли в ней картофель. От картофеля валил пар, черная картофельная шелуха пачкала пальцы. В подвальчике слышался смех, деревья в саду сбрасывали с себя после дождя обломанные веточки, белые кисти.

Когда кончились грозы и пришло душное лето, в вазе появились долгожданные и обоими любимые розы. Тот, кто называл себя мастером, работал лихорадочно над своим романом, и этот роман поглотил и незнакомку.

— Право, временами я начинал ревновать ее к нему, — шептал пришедший с лунного балкона ночной гость Ивану.

Запустив в волосы тонкие с остро отточенными ногтями пальцы, она без конца перечитывала написанное, а перечитав, шила вот эту самую шапочку. Иногда она сидела на корточках у нижних полок или стояла на стуле у верхних и тряпкой вытирала сотни пыльных корешков. Она сулила славу, она подгоняла его и вот

тут-то стала называть мастером. Она нетерпеливо дожидалась обещанных уже последних слов о пятом прокураторе Иудеи, нараспев и громко повторяла отдельные фразы, которые ей нравились, и говорила, что в этом романе — ее жизнь.

Он был дописан в августе месяце, был отдан какой-то безвестной машинистке, и та перепечатала его в пяти экземплярах. И, наконец, настал час, когда пришлось покинуть тайный приют и выйти в жизнь.

— И я вышел в жизнь, держа его в руках, и тогда моя жизнь кончилась, — прошептал мастер и поник головой, и долго качалась печальная черная шапочка с желтой буквой «М». Он повел дальше свой рассказ, но тот стал несколько бессвязен. Можно было понять только одно, что тогда с гостем Ивана случилась какая-то катастрофа.

— Я впервые попал в мир литературы, но теперь, когда все уже кончилось и гибель моя налицо, вспоминаю о нем с ужасом! — торжественно прошептал мастер и поднял руку. — Да, он чрезвычайно поразил меня, ах, как поразил!

— Кто? — чуть слышно шепнул Иван, опасаясь перебивать взволнованного рассказчика.

— Да редактор, я же говорю, редактор. Да, так он прочитал. Он смотрел на меня так, как будто у меня щека была раздута флюсом, как-то косился на угол и даже сконфуженно хихикал. Он без нужды мял манускрипт и кричал. Вопросы, которые он мне задавал, показались мне сумасшедшими. Не говоря ничего по существу романа, он спрашивал меня о том, кто я таков и откуда я взялся, давно ли пишу и почему обо мне ничего не было слышно раньше, и даже задал, с моей точки зрения, совсем идиотский вопрос: кто это меня надоумил сочинить роман на такую странную тему?

Наконец он мне надоел, и я спросил его напрямик, будет ли он печатать роман или не будет.

Тут он засуетился, начал что-то мямлить и заявил, что самолично решить этот вопрос он не может, что с моим произведением должны ознакомиться другие члены редакционной коллегии, именно критики Латунский и Ариман и литератор Мстислав Лаврович. Он просил меня прийти через две недели.

Я пришел через две недели и был принят какой-то

девицей со скошенными к носу от постоянного вранья глазами.

— Это Лапшённикова, секретарь редакции, — усмехнувшись, сказал Иван, хорошо знающий тот мир, который так гневно описывал его гость.

— Может быть, — отрезал тот, — так вот, от нее я получил свой роман, уже порядочно засаленный и потрепанный. Стараясь не попадать своими глазами в мои, Лапшённикова сообщила мне, что редакция обеспечена материалом на два года вперед и что поэтому вопрос о напечатании моего романа, как она выразилась, «отпадает».

— Что я помню после этого? — бормотал мастер, потирая висок. — Да, осыпавшиеся красные лепестки на титульном листе и еще глаза моей подруги. Да, эти глаза я помню.

Рассказ Иванова гостя становился все путаннее, все более наполнялся какими-то недомолвками. Он говорил что-то про косой дождь и отчаяние в подвальном приюте, о том, что ходил куда-то еще. Шепотом вскрикивал, что он ее, которая толкала его на борьбу, ничуть не винит, о нет, не винит!

Далее, как услышал Иван, произошло нечто внезапное и странное. Однажды герой развернул газету и увидел в ней статью критика Аримана, которая называлась «Вылазка врага» и где Ариман предупреждал всех и каждого, что он, то есть наш герой, сделал попытку протащить в печать апологию Иисуса Христа.

— А, помню, помню! — вскричал Иван. — Но я забыл, как ваша фамилия!

— Оставим, повторяю, мою фамилию, ее нет больше, — ответил гость. — Дело не в ней. Через день в другой газете за подписью Мстислава Лавровича обнаружилась другая статья, где автор ее предлагал ударить, и крепко ударить, по пилатчине и тому богомазу, который вздумал протащить (опять это проклятое слово!) ее в печать.

Остолбев от этого неслыханного слова «пилатчина», я развернул третью газету. Здесь было две статьи: одна — Латунского, а другая — подписанная буквами «М. З.». Уверяю вас, что произведения Аримана и Лавровича могли считаться шуткою по сравнению с написанным Латунским. Достаточно вам сказать, что называлась статья Латунского «Воинствующий старообра-

дец». Я так увлекся чтением статей о себе, что не заметил, как она (дверь я забыл закрыть) предстала предо мною с мокрым зонтиком в руках и с мокрыми же газетами. Глаза ее источали огонь, руки дрожали и были холодны. Сперва она бросилась меня целовать, затем, хриплым голосом и стуча рукою по столу, сказала, что она отравит Латунского.

Иван как-то сконфуженно покряхтел, но ничего не сказал.

— Настали безрадостные осенние дни, — продолжал гость, — чудовищная неудача с этим романом как бы вынула у меня часть души. По существу говоря, мне больше нечего было делать, и жил я от свидания к свиданию. И вот в это время случилось что-то со мною. Черт знает что, в чем Стравинский, наверно, давно уже разобрался. Именно, нашла на меня тоска и появились какие-то предчувствия. Статьи, заметьте, не прекращались. Над первыми из них я смеялся. Но чем больше их появлялось, тем более менялось мое отношение к ним. Второй стадией была стадия удивления. Что-то на редкость фальшивое и неуверенное чувствовалось буквально в каждой строчке этих статей, несмотря на их грозный и уверенный тон. Мне все казалось, — и я не мог от этого отделаться, — что авторы этих статей говорят не то, что они хотят сказать, и что их ярость вызывается именно этим. А затем, представьте себе, наступила третья стадия — страха. Нет, не страха этих статей, поймите, а страха перед другими, совершенно не относящимися к ним или к роману вещами. Так, например, я стал бояться темноты. Словом, наступила стадия психического заболевания. Мне казалось, в особенности когда я засыпал, что какой-то очень гибкий и холодный спрут своими щупальцами подбирается непосредственно и прямо к моему сердцу. И спать мне пришлось с огнем.

Моя возлюбленная очень изменилась (про спрута я ей, конечно, не говорил, но она видела, что со мной творится что-то неладное), похудела и побледнела, перестала смеяться и все просила меня простить ее за то, что она советовала мне напечатать отрывок. Она говорила, чтобы я, бросив все, уехал на юг к Черному морю, истратив на эту поездку все оставшиеся от ста тысяч деньги.

Она была очень настойчива, а я, чтобы не спорить

(что-то подсказывало мне, что не придется уехать к Черному морю), обещал ей это сделать на днях. Но она сказала, что она сама возьмет мне билет. Тогда я вынул все свои деньги, то есть около десяти тысяч рублей, и отдал ей.

— Зачем так много? — удивилась она.

Я сказал что-то вроде того, что боюсь воров и прошу ее побереечь деньги до моего отъезда. Она взяла их, уложила в сумочку, стала целовать меня и говорить, что ей легче было бы умереть, чем покидать меня в таком состоянии одного, но что ее ждут, что она покоряется необходимости, что придет завтра. Она умоляла меня не бояться ничего.

Это было в сумерки, в половине октября. И она ушла. Я лег на диван и заснул, не зажигая лампы. Проснулся я от ощущения, что спрут здесь. Шаря в темноте, я еле сумел зажечь лампу. Карманные часы показывали два часа ночи. Я лег заболевающим, а проснулся больным. Мне вдруг показалось, что осенняя тьма выдавит стекла, вольется в комнату и я захлебнусь в ней, как в чернилах. Я встал человеком, который уже не владеет собой. Я вскрикнул, и у меня явилась мысль бежать к кому-то, хотя бы к моему застройщику наверх. Я боролся с собой как безумный. У меня хватило сил добраться до печки и разжечь в ней дрова. Когда они затрещали и дверца застучала, мне как будто стало немного легче. Я кинулся в переднюю и там зажег свет, нашел бутылку белого вина, откупорил ее и стал пить вино из горлышка. От этого страх притупился несколько — настолько, по крайней мере, что я не побежал к застройщику и вернулся к печке. Я открыл дверцу, так что жар начал обжигать мне лицо и руки, и шептал:

— Догадайся, что со мною случилась беда... Приди, приди, приди!..

Но никто не шел. В печке ревел огонь, в окна хлестал дождь. Тогда случилось последнее. Я вынул из ящика стола тяжелые списки романа и черновые тетради и начал их жечь. Это страшно трудно делать, потому что исписанная бумага горит неохотно. Ломая ногти, я раздирал тетради, стоймя вкладывал их между поленьями и кочергой трепал листы. Пепел по временам одолевал меня, душил пламя, но я боролся с ним, и роман, упорно сопротивляясь, все же погибал. Зна-

комые слова мелькали передо мной, желтизна неудержимо поднималась снизу вверх по страницам, но слова все-таки проступали и на ней. Они пропадали лишь тогда, когда бумага чернела и я кочергой яростно добывал их.

В это время в окно кто-то стал царапаться тихо. Сердце мое прыгнуло, и я, погрузив последнюю тетрадь в огонь, бросился отворять. Кирпичные ступеньки вели из подвала к двери на двор. Спотыкаясь, я подбежал к ней и тихо спросил:

— Кто там?

И голос, ее голос, ответил мне:

— Это я...

Не помня как, я совладал с цепью и ключом. Лишь только она шагнула внутрь, она припала ко мне, вся мокрая, с мокрыми щеками и развившимися волосами, дрожащая. Я мог произнести только слово:

— Ты... ты?... — и голос мой прервался, и мы побежали вниз. Она освободилась в передней от пальто, и мы быстро вошли в первую комнату. Тихо вскрикнув, она голыми руками выбросила из печки на пол последнее, что там оставалось, пачку, которая занялась снизу. Дым наполнил комнату сейчас же. Я ногами затоптал огонь, а она повалилась на диван и заплакала неудержимо и судорожно.

Когда она утихла, я сказал:

— Я возненавидел этот роман, и я боюсь. Я болен. Мне страшно.

Она поднялась и заговорила:

— Боже, как ты болен. За что это, за что? Но я тебя спасу, я тебя спасу. Что же это такое?

Я видел ее вспухшие от дыму и плача глаза, чувствовал, как холодные руки гладят мне лоб.

— Я тебя вылечу, вылечу, — бормотала она, впиваясь мне в плечи, — ты восстановишь его. Зачем, зачем я не оставила у себя один экземпляр!

Она оскалилась от ярости, что-то еще говорила невнятное. Затем, сжав губы, она принялась собирать и расправлять обгоревшие листы. Это была какая-то глава из середины романа, не помню какая. Она аккуратно сложила листки, завернула их в бумагу, перевязала лентой. Все ее действия показывали, что она полна решимости и что она овладела собой. Она потребовала вина и, выпив, заговорила спокойнее.

— Вот как приходится платить за ложь, — говорила она, — и больше я не хочу лгать. Я осталась бы у тебя и сейчас, но мне не хочется это делать таким образом. Я не хочу, чтобы у него навсегда осталось в памяти, что я убежала от него ночью. Он не сделал мне никогда никакого зла... Его вызвали внезапно, у них на заводе пожар. Но он вернется скоро. Я объяснюсь с ним завтра утром, скажу, что я люблю другого, и навсегда вернусь к тебе. Ответь мне, ты, может быть, не хочешь этого?

— Бедная моя, бедная, — сказал я ей, — я не допущу, чтобы ты это сделала. Со мною будет нехорошо, и я не хочу, чтобы ты погибала вместе со мной.

— Только эта причина? — спросила она и приблизила свои глаза к моим.

— Только эта.

Она страшно оживилась, припала ко мне, обвивая мою шею, и сказала:

— Я погибаю вместе с тобою. Утром я буду у тебя

И вот, последнее, что я помню в моей жизни, это — полоску света из моей передней и в этой полосе света развившуюся прядь, ее берет и ее полные решимости глаза. Еще помню черный силуэт на пороге наружной двери и белый сверток.

— Я проводил бы тебя, но я уже не в силах идти один обратно, я боюсь.

— Не бойся. Потерпи несколько часов. Завтра утром я буду у тебя.

— Это и были ее последние слова в моей жизни... Тссс! — вдруг сам себя прервал больной и поднял палец. — Беспокойная сегодня лунная ночь.

Он скрылся на балконе. Иван слышал, как проехали колесики по коридору, кто-то всхлипнул или вскрикнул слабо.

Когда все затихло, гость вернулся и сообщил, что и 120-я комната получила жильца. Привезли кого-то, и он все просит вернуть ему голову. Оба собеседника помолчали в тревоге, но, успокоившись, вернулись к прерванному рассказу. Гость раскрыл было рот, но ночка, точно, была беспокойная. Голоса еще слышались в коридоре, и гость начал говорить Ивану на ухо так тихо, что то, что он рассказал, стало известно одному поэту только, за исключением первой фразы:

— Через четверть часа после того, как она покинула меня, ко мне в окно постучали...

То, о чем шептал больной на ухо Ивану, по-видимому, очень волновало его. Судороги то и дело проходили по его лицу. В глазах его плавал и метался страх и ярость. Рассказчик указывал рукою куда-то в сторону луны, которая давно уже ушла с балкона. Лишь тогда, когда перестали доноситься всякие звуки извне, гость отодвинулся от Ивана и заговорил погромче:

— Да, так вот, в половине января, ночью, в том же самом пальто, но с оборванными пуговицами, я жался от холода в моем двореке. Сзади меня были сугробы, скрывшие кусты сирени, а впереди меня и внизу — слабенько освещенные, закрытые шторами мои окна. Я припал к первому из них и прислушался — в комнатах моих играл патефон. Это все, что я расслышал, но разглядеть ничего не мог. Постояв немного, я вышел за калитку в переулок. В нем играла метель. Метнувшаяся мне под ноги собака испугала меня, и я перебежал от нее на другую сторону. Холод и страх, ставший моим постоянным спутником, доводили меня до иступления. Идти мне было некуда, и проще всего, конечно, было бы броситься под трамвай на той улице, в которую выходил мой переулок. Издали я видел эти наполненные светом, обледеневшие ящики и слышал их омерзительный скрежет на морозе. Но, дорогой мой сосед, вся штука заключалась в том, что страх владел каждой клеточкой моего тела. И так же точно, как собаки, я боялся и трамвая. Да, хуже моей болезни в этом здании нет, уверяю вас.

— Но вы же могли дать знать ей, — сказал Иван, сочувствуя бедному больному, — кроме того, ведь у нее же ваши деньги? Ведь она их, конечно, сохранила?

— Не сомневайтесь в этом, конечно, сохранила. Но вы, очевидно, не понимаете меня. Или, вернее, я утратил бывшую у меня некогда способность описывать что-нибудь. Мне, впрочем, ее не очень жаль, так как она мне не пригодится больше. Перед нею, — гость благоговейно посмотрел в тьму ночи, — легло бы письмо из сумасшедшего дома. Разве можно посылать письма, имея такой адрес? Душевнобольной? Вы шутите, мой друг! Сделать ее несчастной? Нет, на это я не способен.

Иван не сумел возразить на это, но молчаливый Иван сочувствовал гостю, сострадал ему. А тот кивал от муки своих воспоминаний головою в черной шапочке и говорил так:

— Бедная женщина... Впрочем, у меня есть надежда, что она забыла меня...

— Но вы можете выздороветь... — робко сказал Иван.

— Я неизлечим, — спокойно ответил гость, — когда Стравинский говорит, что вернет меня к жизни, я ему не верю. Он гуманен и просто хочет утешить меня. Не отрицаю, впрочем, что мне теперь гораздо лучше. Да, так на чем, бишь, я остановился? Мороз, эти летящие трамваи... Я знал, что эта клиника уже открылась, и через весь город пешком пошел в нее. Безумие! За городом я, наверно, замерз бы, но меня спасла случайность. Что-то сломалось в грузовике, я подошел к шоферу, это было километрах в четырех за заставой, и, к моему удивлению, он сжалился надо мной. Машина шла сюда. И он повез меня. Я отделался тем, что отморозил пальцы на левой ноге. Но это вылечили. И вот четвертый месяц я здесь. И, знаете ли, нахожу, что здесь очень и очень неплохо. Не надо задаваться большими планами, дорогой сосед, право! Я вот, например, хотел объехать весь земной шар. Ну, что же, оказывается, это не суждено. Я вижу только незначительный кусок этого шара. Думаю, что это не самое лучшее, что есть на нем, но, повторяю, это не так уж худо. Вот лето идет к нам, на балконе завьется плющ, как обещает Прасковья Федоровна. Ключи расширили мои возможности. По ночам будет луна. Ах, она ушла! Свежеет. Ночь валится за полночь. Мне пора.

— Скажите мне, а что было дальше с Иешуа и Пилатом, — попросил Иван, — умоляю, я хочу знать.

— Ах нет, нет, — болезненно дернувшись, ответил гость, — я вспомнить не могу без дрожи мой роман. А ваш знакомый с Патриарших сделал бы это лучше меня. Спасибо за беседу. До свидания.

И раньше чем Иван опомнился, закрылась решетка с тихим звоном, и гость скрылся.

Г л а в а 14

СЛАВА ПЕТУХУ!

Не выдержали нервы, как говорится, и Римский не дождался окончания составления протокола и бежал в свой кабинет. Он сидел за столом и воспаленными гла-

зами глядел на лежащие перед ним магические червонцы. У финдиректора ум заходил за разум. Снаружи несся ровный гул. Публика потоками выливалась из здания Варьете на улицу. До чрезвычайно обострившегося слуха финдиректора вдруг донеслась отчетливая милицмейская трель. Сама по себе она уж никогда не сулит ничего приятного. А когда она повторилась и к ней на помощь вступила другая, более властная и продолжительная, а затем присоединился и явственно слышный гогот, и даже какое-то улюлюканье, финдиректор сразу понял, что на улице совершилось еще что-то скандальное и пакостное. И что это, как бы ни хотелось отмахнуться от него, находится в теснейшей связи с отвратительным сеансом, произведенным черным магом и его помощниками. Чуткий финдиректор насколько не ошибся.

Лишь только он глянул в окно, выходящее на Садовую, лицо его перекопилось, и он не прошептал, а прошипел:

— Я так и знал!

В ярком свете сильнейших уличных фонарей он увидел на тротуаре внизу под собой даму в одной сорочке и панталонах фиолетового цвета. На голове у дамы, правда, была шляпка, а в руках зонтик.

Вокруг этой дамы, находившейся в состоянии полного смятения, то приседающей, то порывающейся бежать куда-то, волновалась толпа, издавая тот самый хохот, от которого у финдиректора проходил по спине мороз. Возле дамы метался какой-то гражданин, сдирающий с себя летнее пальто и от волнения никак не справляющийся с рукавом, в котором застряла рука.

Крики и ревуший хохот донесли и из другого места — именно от левого подъезда, и, повернув туда голову, Григорий Данилович увидел вторую даму, в розовом белье. Та прыгнула с мостовой на тротуар, стремясь скрыться в подъезде, но вытекавшая публика преграждала ей путь, и бедная жертва своего легкомыслия и страсти к нарядам, обманутая фирмой поганого Фагота, мечтала только об одном — провалиться сквозь землю. Милиционер устремлялся к несчастной, буравя воздух свистом, а за милиционером поспешали какие-то развеселые молодые люди в кепках. Они-то и испускали этот самый хохот и улюлюканье.

Усатый худой лихач подлетел к первой раздетой и

с размаху осадил костлявую разбитую лошадь. Лицо усача радостно ухмылялось.

Римский стукнул себя кулаком по голове, плюнул и отскочил от окна.

Он посидел некоторое время у стола, прислушиваясь к улице. Свист в разных точках достиг высшей силы, а потом стал спадать. Скандал, к удивлению Римского, ликвидировался как-то неожиданно быстро.

Наставала пора действовать, приходилось пить горькую чашу ответственности. Аппараты были исправлены во время третьего отделения, надо было звонить, сообщать о происшедшем, просить помощи, отвираться, валить все на Лиходеева, выгораживать самого себя и так далее. Тьфу ты, дьявол!

Два раза расстроенный директор клал руку на трубку и дважды ее снимал. И вдруг в мертвой тишине кабинета сам аппарат разразился звоном прямо в лицо финдиректора, и тот вздрогнул и похолодел. «Однако у меня здорово расстроились нервы», — подумал он и поднял трубку. Тотчас он отшатнулся от нее и стал белее бумаги. Тихий, в то же время вкрадчивый и развратный женский голос шепнул в трубку:

— Не звони, Римский, никуда, худо будет...

Трубка тут же опустела. Чувствуя мурашки в спине, финдиректор положил трубку и оглянулся почему-то на окно за своей спиной. Сквозь редкие и еще слабо покрытые зеленью ветви клена он увидел луну, бегущую в прозрачном облачке. Почему-то приковавшись к ветвям, Римский смотрел на них, и чем больше смотрел, тем сильнее и сильнее его охватывал страх.

Сделав над собою усилие, финдиректор отвернулся наконец от лунного окна и поднялся. Никакого разговора о том, чтобы звонить, больше и быть не могло, и теперь финдиректор думал только об одном — как бы ему поскорее уйти из театра.

Он прислушался: здание театра молчало. Римский понял, что он давно один во всем втором этаже, и детский неодолимый страх овладел им при этой мысли. Он без содрогания не мог подумать о том, что ему придется сейчас идти одному по пустым коридорам и спускаться по лестницам. Он лихорадочно схватил со стола гипнотизерские червонцы, спрятал их в портфель и кашлянул, чтобы хоть чуточку подбодрить себя. Кашель вышел хрипатым, слабым.

И здесь ему показалось, что из-под двери кабинета потянуло вдруг гниловатой сыростью. Дрожь прошла по спине финдиректора. А тут еще ударили неожиданно часы и стали бить полночь. И даже бой вызвал дрожь в финдиректоре. Но окончательно его сердце упало, когда он услышал, что в замке двери тихонько поворачивается английский ключ. Вцепившись в портфель влажными, холодными руками, финдиректор чувствовал, что, если еще немного продлится этот шорох в скважине, он не выдержит и пронзительно закричит.

Наконец дверь уступила чьим-то усилиям, раскрылась, и в кабинет бесшумно вошел Варенуха. Римский как стоял, так и сел в кресло, потому что ноги его подогнулись. Набрав воздуха в грудь, он улыбнулся как бы заискивающей улыбкой и тихо молвил:

— Боже, как ты меня испугал...

Да, это внезапное появление могло испугать кого угодно, и тем не менее в то же время оно являлось большою радостью: высунулся хоть один кончик в этом запутанном деле.

— Ну, говори же скорей! Ну! Ну! — прохрипел Римский, цепляясь за этот кончик. — Что все это значит?!

— Прости, пожалуйста, — глухим голосом отозвался вошедший, закрывая дверь, — я думал, что ты уже ушел.

И Варенуха, не снимая кепки, прошел к креслу и сел по другую сторону стола.

Надо сказать, что в ответе Варенухи обозначилась легонькая странность, которая сразу кольнула финдиректора, в чувствительности своей могущего поспорить с сейсмографом любой из лучших станций мира. Как же так? Зачем же Варенуха шел в кабинет финдиректора, ежели полагал, что его там нету? Ведь у него есть свой кабинет. Это — раз. А второе: из какого бы входа Варенуха ни вошел в здание, он неизбежно должен был встретить одного из ночных дежурных, а тем всем было объявлено, что Григорий Данилович на некоторое время задержится в своем кабинете.

Но долго по поводу этой странности финдиректор не стал размышлять. Не до того было.

— Почему же ты не позвонил? Что означает вся эта петрушка с Ялтой?

— Ну, то, что я и говорил, — причмокнув, как будто его беспокоил больной зуб, ответил администратор, — нашли его в трактире в Пушкине.

— Как в Пушкине?! Это под Москвой? А телеграммы из Ялты?!

— Какая там, к черту, Ялта! Напоил пушкинского телеграфиста, и начали оба безобразничать, в том числе посылать телеграммы с пометкой «Ялта».

— Ага... Ага... Ну ладно, ладно... — не проговорил, а как бы пропел Римский. Глаза его засветились желтеньким светом. В голове сложилась праздничная картина позорного снятия Степы с работы. Освобождение! Долгожданное освобождение финдиректора от этого бедствия в лице Лиходеева! А может, Степан Богданович добьется чего-нибудь и похуже снятия... — Подробности! — сказал Римский, стукнув пресс-папье по столу.

И Варенуха начал рассказывать подробности. Лишь только он явился туда, куда был отправлен финдиректором, его немедленно приняли и выслушали внимательнейшим образом. Никто, конечно, и мысли не допустил о том, что Степа может быть в Ялте. Все сейчас же согласилось с предположением Варенухи, что Лиходеев, конечно, в пушкинской «Ялте».

— Где же он сейчас? — перебил администратора взволнованный финдиректор.

— Ну, где же ему быть, — ответил, криво ухмыльнувшись, администратор, — натурально, в выпрезвителе.

— Ну, ну! Ай, спасибо!

А Варенуха продолжал свое повествование. И чем больше он повествовал, тем ярче перед финдиректором разворачивалась длиннейшая цепь лиходеевских хамств и безобразий, и всякое последующее звено в этой цепи было хуже предыдущего. Чего стоила хотя бы пьяная пляска в обнимку с телеграфистом на лужайке перед пушкинским телеграфом под звуки какой-то празднующейся гармоники! Гонка за какими-то гражданами, визжащими от ужаса! Попытка подраться с буфетчиком в самой «Ялте»! Разбрасывание зеленого лука по полу той же «Ялты». Разбитие восьми бутылок белого сухого «Ай-Даниля». Поломка счетчика у шофера такси, не пожелавшего подать Степе машину. Угроза арестовать граждан, пытавшихся прекратить Степины паскудства... Словом, темный ужас!

Степа был хорошо известен в театральных кругах Москвы, и все знали, что человек этот — не подарок. Но все-таки то, что рассказывал администратор про не-

го, даже и для Степы было чересчур. Да, чересчур. Даже очень чересчур...

Колючие глаза Римского через стол врезались в лицо администратора, и чем дальше тот говорил, тем мрачнее становились эти глаза. Чем жизненное и красочнее становились те гнусные подробности, которыми уснащал свою повесть администратор, тем менее верил рассказчику финдиректор. Когда же Варенуха сообщил, что Степа распоясался до того, что пытался оказать сопротивление тем, кто приехал за ним, чтобы вернуть его в Москву, финдиректор уже твердо знал, что все, что рассказывает ему вернувшийся в полночь администратор, все — ложь! Ложь от первого до последнего слова.

Варенуха не ездил в Пушкино, и самого Степы в Пушкине тоже не было. Не было пьяного телеграфиста, не было разбитого стекла в трактире, Степу не вязали веревками... — ничего этого не было.

Лишь только финдиректор утвердился в мысли, что администратор ему лжет, страх пополз по его телу, начиная с ног, и дважды опять-таки почудилось финдиректору, что потянуло по полу гнилой малярной сыростью. Ни на мгновение не сводя глаз с администратора, как-то странно корчившегося в кресле, все время стремящегося не выходить из-под голубой тени настольной лампы, как-то удивительно прикрывавшегося якобы от мешающего ему света лампочки газетой, — финдиректор думал только об одном, что же значит все это? Зачем так нагло лжет ему в пустынном и молчащем здании слишком поздно вернувшийся к нему администратор? И сознание опасности, неизвестной, но грозной опасности, начало томить душу финдиректора. Делая вид, что не замечает уверток администратора и фокусов его с газетой, финдиректор рассматривал его лицо, почти уже не слушая того, что плел Варенуха. Было кое-что, что представлялось еще более необъяснимым, чем неизвестно зачем выдуманный клеветнический рассказ о похождениях в Пушкине, и это что-то было изменением во внешности и в манерах администратора.

Как тот ни натягивал утиный козырек кепки на глаза, чтобы бросить тень на лицо, как ни вертел газетным листом, — финдиректору удалось рассмотреть громадный синяк с правой стороны лица у самого но-

са. Кроме того, полнокровный обычно администратор был теперь бледен меловой нездоровой бледностью, а на шее у него в душную ночь зачем-то было наверхено старенькое полосатое кашне. Если же к этому прибавить появившуюся у администратора за время его отсутствия отвратительную манеру присасывать и причмокивать, резкое изменение голоса, ставшего глухим и грубым, вороватость и трусливость в глазах, — можно было смело сказать, что Иван Савельевич Варенуха стал неузнаваем.

Что-то еще жгуче беспокоило финдиректора, но что именно, он не мог понять, как ни напрягал воспаленный мозг, сколько ни всматривался в Варенуху. Одно он мог утверждать, что было что-то невиданное, неестественное в этом соединении администратора с хорошо знакомым креслом.

— Ну, одолели наконец, погрузили в машину, — гудел Варенуха, выглядывая из-за листа и ладонью прикрывая синяк.

Римский вдруг протянул руку и как бы машинально ладонью, в то же время поигрывая пальцами по столу, нажал пуговку электрического звонка и обмер. В пустом здании непременно был бы слышен резкий сигнал. Но этого сигнала не последовало, и пуговка безжизненно погрузилась в доску стола. Пуговка была мертва, звонок испорчен.

Хитрость финдиректора не ускользнула от Варенухи, который спросил, передернувшись, причем в глазах его мелькнул явный злобный огонь:

— Ты чего звонишь?

— Машинально, — глухо ответил финдиректор, отдернул руку и, в свою очередь, нетвердым голосом спросил: — Что это у тебя на лице?

— Машину занесло, ударился об ручку двери, — ответил Варенуха, отводя глаза.

«Лжет!» — воскликнул мысленно финдиректор. И тут вдруг его глаза округлились и стали совершенно безумными, и он уставился в спинку кресла.

Сзади кресла, на полу, лежали две перекрещенные тени, одна погуще и почернее, другая слабая и серая. Отчетливо была видна на полу теневая спинка кресла и его заостренные ножки, но над спинкою на полу не было теневой головы Варенухи, равно как под ножками не было ног администратора.

«Он не отбрасывает тени!» — отчаянно мысленно вскричал Римский. Его ударила дрожь.

Варенуха воровато оглянулся, следуя безумному взору Римского, за спинку кресла и понял, что он открыт.

Он поднялся с кресла (то же сделал и финдиректор) и отступил от стола на шаг, сжимая в руках портфель.

— Догадался, проклятый! Всегда был смышлен, — злобно ухмыльнувшись совершенно в лицо финдиректору, проговорил Варенуха, неожиданно отпрыгнул от кресла к двери и быстро двинул вниз пуговку английского замка. Финдиректор отчаянно оглянулся, отступая к окну, ведущему в сад, и в этом окне, заливаемом луною, увидел прильнувшее к стеклу лицо голой девицы и ее голую руку, просунувшуюся в форточку и старающуюся открыть нижнюю задвижку. Верхняя уже была открыта.

Римскому показалось, что свет в настольной лампе гаснет и что письменный стол наклоняется. Римского окатило ледяной волной, но, к счастью для себя, он превозмог себя и не упал. Остатка его сил хватило на то, чтобы шепнуть, но не крикнуть:

— Помогите...

Варенуха, карауля дверь, подпрыгивал возле нее, подолгу застревая в воздухе и качаясь в нем. Скрюченными пальцами он махал в сторону Римского, шипел и чмокал, подмигивал девице в окне.

Та заспешила, всунула рыжую голову в форточку, вытянула сколько могла руку, ногтями начала царапать нижний шпингалет и потрясать раму. Рука ее стала удлиняться, как резиновая, и покрылась трупной зеленью. Наконец зеленые пальцы мертвой обхватили головку шпингалета, повернули ее, и рама стала открываться. Римский слабо вскрикнул, прислонился к стене и портфель выставил вперед, как щит. Он понимал, что пришла его гибель.

Рама широко распахнулась, но вместо ночной свежести и аромата лип в комнату ворвался запах погреба. Покойница вступила на подоконник. Римский отчетливо видел пятна тления на ее груди.

И в это время радостный неожиданный крик петуха долетел из сада, из того низкого зданий за тиром, где содержались птицы, участвовавшие в программах. Горластый дрессированный петух трубил, возвещая, что к Москве с востока катится рассвет.

Дикая ярость исказила лицо девицы, она испустила хриплое ругательство, а Варенуха у дверей взвизгнул и обрушился из воздуха на пол.

Крик петуха повторился, девица щелкнула зубами, и рыжие ее волосы поднялись дыбом. С третьим криком петуха она повернулась и вылетела вон. И вслед за нею, подпрыгнув и вытянувшись горизонтально в воздухе, напоминая летящего купидона, выплыл медленно в окно через письменный стол Варенуха.

Седой как снег, без единого черного волоса старик, который недавно еще был Римским, подбежал к двери, отстегнул пуговку, открыл дверь и кинулся бежать по темному коридору. У поворота на лестницу он, стеля от страха, нащупал выключатель, и лестница осветилась. На лестнице трясущийся, дрожащий старик упал, потому что ему показалось, что на него сверху мягко обрушился Варенуха.

Сбежав вниз, Римский увидел дежурного, заснувшего на стуле у кассы в вестибюле. Римский прокрался мимо него на цыпочках и выскользнул в главную дверь. На улице ему стало несколько легче. Он настолько пришел в себя, что, хватаясь за голову, сумел сообразить, что шляпа его осталась в кабинете.

Само собой разумеется, что за нею он не вернулся, а, задыхаясь, побегал через широкую улицу на противоположный угол у кинотеатра, возле которого маячил красноватый тусклый огонек. Через минуту он был уже возле него. Никто не успел перехватить машину.

— К курьерскому ленинградскому, дам на чай, — тяжело дыша и держа за сердце, проговорил старик.

— В гараж еду, — с ненавистью ответил шофер и отвернулся.

Тогда Римский расстегнул портфель, вытащил оттуда пятьдесят рублей и протянул их сквозь открытое переднее окно шоферу.

Через несколько мгновений дребезжащая машина, как вихрь, летела по кольцу Садовой. Седока трепало на сиденье, и в осколке зеркала, повешенного перед шофером, Римский видел то радостные шоферские глаза, то безумные свои.

Выскочив из машины перед зданием вокзала, Римский крикнул первому попавшемуся человеку в белом фартуке и с бляхой:

— Первую категорию, один, тридцать дам, — ком-

кая, он вынимал из портфеля червонцы, — нет первой — вторую, если нету — бери жесткий.

Человек с бляхой, оглядываясь на светящиеся часы, рвал из рук у Римского червонцы.

Через пять минут из-под стеклянного купола вокзала исчез курьерский и начисто пропал в темноте. С ним вместе пропал и Римский.

Г л а в а 15

СОН НИКАНОРА ИВАНОВИЧА

Нетрудно догадаться, что толстяк с багровой физиономией, которого поместили в клинику в комнате № 119, был Никанор Иванович Босой.

Попал он, однако, к профессору Стравинскому не сразу, а предварительно побывав в другом месте.

От другого этого места у Никанора Ивановича осталось в воспоминании мало чего. Помнился только письменный стол, шкаф и диван.

Там с Никанором Ивановичем, у которого перед глазами как-то мутилось от приливов крови и душевного возбуждения, вступили в разговор, но разговор вышел какой-то странный, путаный, а вернее сказать, совсем не вышел.

Первый же вопрос, который был задан Никанору Ивановичу, был таков:

— Вы Никанор Иванович Босой, председатель домкома номер триста два-бис по Садовой?

На это Никанор Иванович, рассмеявшись страшным смехом, ответил буквально так:

— Я Никанор, конечно, Никанор! Но какой же я к шуту председатель!

— То есть как? — спросили у Никанора Ивановича, прищуриваясь.

— А так, — ответил он, — что ежели я председатель, то я сразу должен был установить, что он нечистая сила! А то что же это? Пенсне треснуло... весь в рванине... Какой же он может быть переводчик у иностранца!

— Про кого говорите? — спросили у Никанора Ивановича.

— Коровьев! — вскричал Никанор Иванович. — В пятидесятой квартире у нас засел! Пишите: Коровьев.

Его немедленно надо изловить! Пишите: шестое парадное, там он.

— Откуда валюту взял? — задумчиво спросили у Никанора Ивановича.

— Бог истинный, бог всемогущий, — заговорил Никанор Иванович, — все видит, а мне туда и дорога. В руках никогда не держал и не подозревал, какая такая валюта! Господь меня наказует за скверну мою, — с чувством продолжал Никанор Иванович, то застегивая рубашку, то расстегивая, то крестясь, — брал! Брал, но брал нашими, советскими! Прописывал за деньги, не спорю, бывало. Хорош и наш секретарь Пролежнев, тоже хорош! Прямо скажем, все воры в домоуправлении. Но валюты я не брал!

На просьбу не валять дурака, а рассказать, как попали доллары в вентиляцию, Никанор Иванович стал на колени и качнулся, раскрывая рот, как бы желая проглотить паркетную шашку.

— Желаете, — промычал он, — землю буду есть, что не брал? А Коровьев — он черт!

Всякому терпению положён предел, и за столом уже повысили голос, намекнули Никанору Ивановичу, что ему пора заговорить на человеческом языке.

Тут комнату с этим самым диваном огласил дикий рев Никанора Ивановича, вскочившего с колен:

— Вон он! Вон он за шкафом! Вот ухмыляется! И пенсне его... Держите его! Окропить помещение!

Кровь отлила от лица Никанора Ивановича, он, дрожа, крестил воздух, метался к двери и обратно, запел какую-то молитву и, наконец, понес полную околесину.

Стало совершенно ясно, что Никанор Иванович ни к каким разговорам не пригоден. Его вывели, поместили в отдельной комнате, где он несколько поутих и только молился и всхлипывал.

На Садовую, конечно, съездили и в квартире № 50 побывали. Но никакого Коровьева там не нашли, и никакого Коровьева никто в доме не знал и не видел. Квартира, занимаемая покойным Берлиозом и уехавшим в Ялту Лиходеевым, была пуста, и в кабинете мирно висели никем не поврежденные сургучные печати на шкафах. С тем и уехали с Садовой, причем с уехавшими отбыл растерянный и подавленный секретарь домоуправления Пролежнев.

Вечером Никанор Иванович был доставлен в клини-

ку Стравинского. Там он повел себя настолько беспойно, что ему пришлось сделать впрыскивание по рецепту Стравинского, и лишь после полуночи Никанор Иванович уснул в 119-й комнате, изредка издавая тяжелое страдальческое мычание.

Но чем далее, тем легче становился его сон. Он перестал ворочаться и стонать, задышал легко и ровно, и его оставили одного.

Тогда Никанора Ивановича посетило сновидение, в основе которого, несомненно, были его сегодняшние переживания. Началось с того, что Никанору Ивановичу привиделось, будто бы какие-то люди с золотыми трубами в руках подводят его, и очень торжественно, к большому лакированным дверям. У этих дверей спутники сыграли будто бы туш Никанору Ивановичу, а затем гулкий бас с небес весело сказал:

— Добро пожаловать, Никанор Иванович! Сдавайте валюту!

Удивившись крайне, Никанор Иванович увидел над собою черный громкоговоритель.

Затем он почему-то очутился в театральном зале, где под золоченым потолком сияли хрустальные люстры, а на стенах кенкеты. Все было как следует, как в небольшом по размерам, но очень богатом театре. Имелась сцена, задернутая бархатным занавесом, по темно-вишневому фону усеянным, как звездочками, изображениями золотых увеличенных десятков, суфлерская будка и даже публика.

Удивило Никанора Ивановича то, что вся эта публика была одного пола — мужского, и вся почему-то с бородами. Кроме того, поражало, что в театральном зале не было стульев и вся эта публика сидела на полу, великолепно натертом и скользком.

Конфузаясь в новом и большом обществе, Никанор Иванович, помявшись некоторое время, последовал общему примеру и уселся на паркете по-турецки, примостившись между каким-то рыжим здоровяком-бородачом и другим, бледным и сильно заросшим гражданином. Никто из сидящих не обратил внимания на новоприбывшего зрителя.

Тут послышался мягкий звон колокольчика, свет в зале потух, занавес разошелся, и обнаружилась освещенная сцена с креслом, столиком, на котором был золотой колокольчик, и с глухим черным бархатным задником.

Из кулис тут вышел артист в смокинге, гладко выбритый и причесанный на пробор, молодой и с очень приятными чертами лица. Публика в зале оживилась, и все повернулись к сцене. Артист подошел к будке и потер руки.

— Сидите? — спросил он мягким баритоном и улыбнулся залу.

— Сидим, сидим, — хором ответили ему из зала тенора и басы.

— Гм... — заговорил задумчиво артист, — и как вам не надоест, я не понимаю? Все люди как люди, ходят сейчас по улицам, наслаждаются весенним солнцем и теплом, а вы здесь на полу торчите в душном зале! Неужто программа такая интересная? Впрочем, что кому нравится, — философски закончил артист.

Затем он переменял и тембр голоса, и интонации и весело и звучно объявил:

— Итак, следующим номером нашей программы — Никанор Иванович Босой, председатель домового комитета и заведующий диетической столовой. Попросим Никанора Ивановича!

Дружный аплодисмент был ответом артисту. Удивленный Никанор Иванович вытаращил глаза, а конфетансье, закрывшись рукою от света рамп, нашел его взором среди сидящих и ласково поманил его пальцем на сцену. И Никанор Иванович, не помня как, оказался на сцене. В глаза ему снизу и спереди ударил свет цветных ламп, отчего сразу провалился в темноту зал с публикой.

— Ну-с, Никанор Иванович, покажите нам пример, — душевно заговорил молодой артист, — и сдавайте валюту.

Наступила тишина. Никанор Иванович перевел дух и тихо заговорил:

— Богом клянусь, что...

Но не успел он произнести эти слова, как весь зал разразился криками негодования. Никанор Иванович растерялся и умолк.

— Насколько я понял вас, — заговорил ведущий программу, — вы хотели поклясться богом, что у вас нет валюты? — И он участливо поглядел на Никанора Ивановича.

— Так точно, нету, — ответил Никанор Иванович.

— Так, — отозвался артист, — а простите за не-

скромность: откуда же взялись четыреста долларов, обнаруженные в уборной той квартиры, единственным обитателем коей являетесь вы с вашей супругой?

— Волшебные! — явно иронически сказал кто-то в темном зале.

— Так точно, волшебные, — робко ответил Никанор Иванович по неопределенному адресу, не то артисту, не то в темный зал, и пояснил: — Нечистая сила, клетчатый переводчик подбросил.

И опять негодуя взревел зал. Когда же настала тишина, артист сказал:

— Вот какие басни Лафонтена приходится мне выслушивать! Подбросили четыреста долларов! Вот вы все здесь — валютчики, обращаюсь к вам как к специалистам: мыслимое ли это дело?

— Мы не валютчики, — раздалась отдельные обиженные голоса в театре, — но дело это немыслимое.

— Целиком присоединяюсь, — твердо сказал артист, — и спрошу вас: что могут подбросить?

— Ребенка! — крикнул кто-то из зала.

— Абсолютно верно, — подтвердил ведущий программу, — ребенка, анонимное письмо, прокламацию, адскую машину, мало ли что еще, но четыреста долларов никто не станет подбрасывать, ибо такого идиота в природе не имеется. — И, обратившись к Никанору Ивановичу, артист добавил укоризненно и печально: — Огорчили вы меня, Никанор Иванович! А я-то на вас надеялся. Итак, номер наш не удался.

В зале раздался свист по адресу Никанора Ивановича.

— Валютчик он! — выкрикивали в зале. — Из-за таких-то и мы невинно терпим!

— Не ругайте его, — мягко сказал конферансье, — он раскается. — И, обратив к Никанору Ивановичу полные слез голубые глаза, добавил: — Ну, идите, Никанор Иванович, на место.

После этого артист позвонил в колокольчик и громко объявил:

— Антракт, негодяи!

Потрясенный Никанор Иванович, неожиданно для себя ставший участником какой-то театральной программы, опять оказался на своем месте на полу. Тут ему приснилось, что зал погрузился в полную тьму и что на стенах выскочили красные горящие слова: «Сда-

вайте валюту!» Потом опять раскрылся занавес и конференсье пригласил:

— Попрошу на сцену Сергея Герардовича Дунчиль.

Дунчиль оказался благообразным, но сильно запущенным мужчиной лет пятидесяти.

— Сергей Герардович, — обратился к нему конференсье, — вот уже полтора месяца вы сидите здесь, упорно отказываясь сдать оставшуюся у вас валюту, в то время как страна нуждается в ней, а вам она совершенно ни к чему, а вы все-таки упорствуете. Вы — человек интеллигентный, прекрасно все это понимаете и все же не хотите пойти мне навстречу.

— К сожалению, ничего сделать не могу, так как валюты у меня больше нет, — спокойно ответил Дунчиль.

— Так нет ли, по крайней мере, бриллиантов? — спросил артист.

— И бриллиантов нет.

Артист повесил голову и задумался, а потом хлопнул в ладоши. Из кулисы вышла на сцену средних лет дама, одетая по моде, то есть в пальто без воротника и в крошечной шляпке. Дама имела встревоженный вид, а Дунчиль поглядел на нее, не шевельнув бровью.

— Кто эта дама? — спросил ведущий программу у Дунчиля.

— Это моя жена, — с достоинством ответил Дунчиль и посмотрел на длинную шею дамы с некоторым отращиванием.

— Мы потревожили вас, мадам Дунчиль, — отнесся к даме конференсье, — вот по какому поводу: мы хотели вас спросить, есть ли еще у вашего супруга валюта?

— Он тогда все сдал, — волнуясь, ответила мадам Дунчиль.

— Так, — сказал артист, — ну, что же, раз так, то так. Если все сдал, то нам надлежит немедленно расстаться с Сергеем Герардовичем, что же поделаешь! Если угодно, вы можете покинуть театр, Сергей Герардович, — и артист сделал царственный жест.

Дунчиль спокойно и с достоинством повернулся и пошел к кулисе.

— Одну минуточку! — остановил его конференсье. — Позвольте мне на прощанье показать вам еще один номер из нашей программы, — и опять хлопнул в ладоши.

Черный задний занавес раздвинулся, и на сцену вышла юная красавица в бальном платье, держащая в руках золотой подносик, на котором лежала толстая пачка, перевязанная конфетной лентой, и бриллиантовое кольцо, от которого во все стороны отскакивали сияние, желтые и красные огни.

Дунчилю отступил на шаг, и лицо его покрылось бледностью. Зал замер.

— Восемнадцать тысяч долларов и кольцо в сорок тысяч золотом, — торжественно объявил артист, — хранил Сергей Герардович в городе Харькове в квартире своей любовницы Иды Геркулановны Ворс, которую мы имеем удовольствие видеть перед собою и которая любезно помогла обнаружить эти бесценные, но бесцельные в руках частного лица сокровища. Большое спасибо, Ида Геркулановна.

Красавица, улыбнувшись, сверкнула зубами, и мохнатые ее ресницы дрогнули.

— А под вашею полной достоинства личиной, — отнесся артист к Дунчилю, — скрывается жадный паук и поразительный охмурыло и врун. Вы извели всех за полтора месяца своим тупым упрямством. Ступайте же теперь домой, и пусть тот ад, который устроит вам ваша супруга, будет вам наказанием.

Дунчилю качнулся и, кажется, хотел повалиться, но чьи-то участливые руки подхватили его. Тут рухнул передний занавес и скрыл всех бывших на сцене.

Бешеные рукоплескания потрясли зал до того, что Никанору Ивановичу показалось, будто в люстрах запрыгали огни. А когда передний занавес ушел вверх, на сцене уже никого не было, кроме одинокого артиста. Он сорвал второй залп рукоплесканий, раскланялся и заговорил:

— В лице этого Дунчиля перед вами выступил в нашей программе типичный осел. Ведь я же имел удовольствие говорить вчера, что тайное хранение валюты является бессмыслицей. Использовать ее никто не может ни при каких обстоятельствах, уверяю вас. Возьмем хотя бы этого Дунчиля. Он получает великолепное жалованье и ни в чем не нуждается. У него прекрасная квартира, жена и красавица любовница. Так нет же! Вместо того чтобы жить тихо и мирно, без всяких неприятностей, сдав валюту и камни, этот корыстный болван добился все-таки того, что был разоблачен при

всех и на закуску нажил крупнейшую семейную неприязнь. Итак, кто сдает? Нет желающих? В таком случае следующим номером нашей программы — известный драматический талант, артист Куролесов Савва Потапович, специально приглашенный, исполнит отрывки из «Скупого рыцаря» поэта Пушкина.

Обещанный Куролесов не замедлил появиться на сцене и оказался рослым и мясистым бритым мужчиной во фраке и белом галстуке.

Без всяких предисловий он скроил мрачное лицо, сдвинул брови и заговорил ненатуральным голосом, косясь на золотой колокольчик:

— Как молодой повеса ждет свиданья с какой-нибудь развратницей лукавой...

И Куролесов рассказал о себе много нехорошего. Никанор Иванович слышал, как Куролесов признавался в том, что какая-то несчастная вдова, воя, стояла перед ним на коленях под дождем, но не тронула черствого сердца артиста.

Никанор Иванович до своего сна совершенно не знал произведений поэта Пушкина, но самого его знал прекрасно и ежедневно по несколько раз произносил фразы вроде: «А за квартиру Пушкин платить будет?» или «Лампочку на лестнице, стало быть, Пушкин вывинтил?», «Нефть, стало быть, Пушкин покупать будет?».

Теперь, познакомившись с одним из его произведений, Никанор Иванович загрустил, представил себе женщину на коленях, с сиротами, под дождем, и невольно подумал: «А тип все-таки этот Куролесов!»

А тот, все повышая голос, продолжал каяться и окончательно запутал Никанора Ивановича, потому что вдруг стал обращаться к кому-то, кого на сцене не было, и за этого отсутствующего сам же себе и отвечал, причем называл себя то «государем», то «бароном», то «отцом», то «сыном», то на «вы», а то на «ты».

Никанор Иванович понял только одно, что помер артист злою смертью, прокричав: «Ключи! Ключи мои!» — повалившись после этого на пол, хрипя и осторожно срывая с себя галстук.

Умерев, Куролесов поднялся, отряхнул пыль с фракных брюк, поклонился, улыбнувшись фальшивой улыбкой, и удалился при жидких аплодисментах. А конферансье заговорил так:

— Мы прослушали с вами в замечательном исполнении Саввы Потаповича «Скупого рыцаря». Этот рыцарь надеялся, что резвые нимфы сбегутся к нему и произойдет еще многое приятное в том же духе. Но, как видите, ничего этого не случилось, никакие нимфы не сбежались к нему, и музы ему дань не принесли, и чертогов он никаких не воздвиг, а, наоборот, кончил очень скверно, помер к чертовой матери от удара на своем сундуке с валютой и камнями. Предупреждаю вас, что и с вами случится что-нибудь в этом роде, если только не хуже, ежели вы не сдадите валюту!

Поэзия ли Пушкина произвела такое впечатление или прозаическая речь конференсье, но только вдруг из зала раздался застенчивый голос:

— Я сдаю валюту.

— Милости прошу на сцену, — вежливо пригласил конференсье, всматриваясь в темный зал.

И на сцене оказался маленького роста белокурый гражданин, судя по лицу, не брившийся около трех недель.

— Виноват, как ваша фамилия? — осведомился конференсье.

— Канавкин Николай, — застенчиво отозвался появившийся.

— А! Очень приятно, гражданин Канавкин. Итак?

— Сдаю, — тихо сказал Канавкин.

— Сколько?

— Тысячу долларов и двадцать золотых десятков.

— Bravo! Все, что есть?

Ведущий программу уставился прямо в глаза Канавкину, и Никанору Ивановичу даже показалось, что из этих глаз брызнули лучи, пронизывающие Канавкина насквозь, как бы рентгеновские лучи. В зале перестали дышать.

— Верю! — наконец воскликнул артист и погасил свой взор. — Верю! Эти глаза не лгут. Ведь сколько же раз я говорил вам, что основная ваша ошибка заключается в том, что вы недооцениваете значения человеческих глаз. Поймите, что язык может скрыть истину, а глаза — никогда! Вам задают внезапный вопрос, вы даже не вздрагиваете, в одну секунду вы овладеваете собой и знаете, что нужно сказать, чтобы укрыть истину, и весьма убедительно говорите, и ни одна складка на вашем лице не шевельнется, но, увы, встревоженная

вопросом истина со дна души на мгновение прыгает в глаза, и все кончено. Она замечена, а вы пойманы!

Произнеся, и с большим жаром, эту очень убедительную речь, артист ласково осведомился у Канавкина:

— Где же спрятаны?

— У тетки моей, Пороховниковой, на Пречистенке...

— А! Это... постойте... это у Клавдии Ильиничны, что ли?

— Да.

— Ах да, да, да, да! Маленький особнячок? Напротив еще палисадничек? Как же, знаю, знаю! А куда же вы их там засунули?

— В погребе, в коробке из-под Эйнема...

Артист всплеснул руками.

— Видали вы что-нибудь подобное? — вскричал он огорченно. — Да ведь они же там заплесневеют, отсыреют! Ну мыслимо ли таким людям доверить валюту? А? Чисто как дети, ей-богу!

Канавкин и сам понял, что нагробил и проштрафился, и повесил свою хохлатую голову.

— Деньги, — продолжал артист, — должны храниться в госбанке, в специальных сухих и хорошо охраняемых помещениях, а отнюдь не в теткинском погребе, где их могут, в частности, попортить крысы! Право, стыдно, Канавкин! Ведь вы же взрослый человек.

Канавкин уж не знал, куда и деваться, и только колупал пальцем борт своего пиджачка.

— Ну ладно, — смягчился артист, — кто старое помянет... — И вдруг добавил неожиданно: — Да, кстати... за одним разом чтобы... чтоб машину зря не гонять... у тетки этой самой ведь тоже есть, а?

Канавкин, никак не ожидавший такого оборота дела, дрогнул, и в театре наступило молчание.

— Э, Канавкин, — укоризненно-ласково сказал конференсье, — а я-то еще похвалил его! На-те, взял да и засбоил ни с того ни с сего! Нелепо это, Канавкин! Ведь я только что говорил про глаза. Ведь видно, что у тетки есть. Ну, чего вы нас зря терзаете?

— Есть! — залихватски крикнул Канавкин.

— Браво! — крикнул конференсье.

— Браво! — страшно взревел зал.

Когда утихло, конференсье поздравил Канавкина, пожал ему руку, предложил отвезти в город в машине домой, и в этой же машине приказал кому-то в кули-

сах заехать за теткой и просить ее пожаловать в женский театр на программу.

— Да, я хотел спросить, тетка не говорила, где свои прячет? — осведомился конферансье, любезно предлагая Канавкину папиросу и зажженную спичку. Тот, закуривая, усмехнулся как-то тоскливо.

— Верю, верю, — вздохнув, отозвался артист, — эта старая сквалыга не то что племяннику — черту не скажет этого. Ну, что же, попробуем пробудить в ней человеческие чувства. Быть может, еще не все струны сгнили в ее ростовщицкой душонке. Всего доброго, Канавкин!

И счастливый Канавкин уехал. Артист осведомился, нет ли еще желающих сдать валюту, но получил в ответ молчание.

— Чудаки, ей-богу! — пожав плечами, проговорил артист, и занавес скрыл его.

Лампы погасли, некоторое время была тьма, и издалека в ней слышался нервный тенор, который пел:

«Там груды золота лежат, и мне они принадлежат!»

Потом откуда-то глухо дважды донесся аплодисмент.

— В женском театре дамочка какая-то сдает, — неожиданно заговорил рыжий бородатый сосед Никанора Ивановича и, вздохнув, прибавил: — Эх, кабы не гуси мои!.. У меня, милый человек, бойцовые гуси в Лианозове... Подохнут они, боюсь, без меня. Птица боевая, нежная, ухода требует... Эх, кабы не гуси! Пушкиным-то меня не удивишь, — и он опять завздохал.

Тут зал осветился ярко, и Никанору Ивановичу стало сниться, что из всех дверей в зал посыпались повара в белых колпаках и с разливными ложками в руках. Поварята втащили в зал чан с супом и лоток с нарезанным черным хлебом. Зрители оживились. Веселые повара шныряли между театрами, разливали суп в миски и раздавали хлеб.

— Обедайте, ребята, — кричали повара, — и сдавайте валюту! Чего вам зря здесь сидеть? Охота была эту баланду хлебать! Поехал домой, выпил как следует, закусил, хорошо!

— Ну, чего ты, например, засел здесь, отец? — обратился непосредственно к Никанору Ивановичу толстый с малиновой шеей повар, протягивая ему миску, в которой в жидкости одиноко плавал капустный лист.

— Нету! Нету! Нету у меня! — страшным голосом прокричал Никанор Иванович. — Понимаешь, нету!

— Нету? — грозным басом взревел повар. — Нету? — женским ласковым голосом спросил он. — Нету, нету, — успокоительно забормотал он, превращаясь в фельдшерицу Прасковью Федоровну.

Та ласково трясла стонущего во сне Никанора Ивановича за плечо. Тогда растаяли повара и развалился театр с занавесом. Никанор Иванович сквозь слезы разглядел свою комнату в лечебнице и двух в белых халатах, но отнюдь не развязных поваров, сующихся к людям со своими советами, а доктора и все ту же Прасковью Федоровну, держащую в руках не миску, а тарелочку, накрытую марлей, с лежащим на ней шприцем.

— Ведь это что же, — горько говорил Никанор Иванович, пока ему делали укол, — нету у меня и нету! Пусть Пушкин им сдает валюту. Нету!

— Нету, нету, — успокаивала добросердечная Прасковья Федоровна, — а на нет и суда нет.

Никанору Ивановичу полегчало после впрыскивания, и он заснул без всяких сновидений.

Но благодаря его выкрикам тревога передалась в 120-ю комнату, где больной проснулся и стал искать свою голову, и в 118-ю, где забеспокоился неизвестный мастер и в тоске заломил руки, глядя на луну, вспоминая горькую, последнюю в жизни осеннюю ночь, полоску света из-под двери в подвале и развившиеся волосы.

Из 118-й комнаты тревога по балкону перелетела к Ивану, и он проснулся и заплакал.

Но врач быстро успокоил всех встревоженных, скорбных главою, и они стали засыпать. Позднее всех забылся Иван, когда над рекой уже светало. После лекарства, напоившего все его тело, успокоение пришло к нему, как волна, накрывшая его. Тело его облегчилось, а голову обдувала теплым ветерком дрема. Он заснул и последнее, что он слышал наяву, было предрассветное щебетание птиц в лесу. Но они вскоре умолкли, и ему стало сниться, что солнце уже снижалось над Лысой Горой, и была эта гора оцеплена двойным оцеплением...

Солнце уже снижалось над Лысой Горой, и была эта гора оцеплена двойным оцеплением.

Та кавалерийская ала, что перерезала путь прокуратору около полудня, рысью вышла к Хевронским воротам города. Путь для нее уже был приготовлен. Пехотинцы каппадокийской когорты отдавили в стороны скопища людей, мулов и верблюдов, и ала, рыся и подымая до неба белые столбы пыли, вышла на перекресток, где сходились две дороги: южная, ведущая в Вифлеем, и северо-западная — в Яффу. Ала понеслась по северо-западной дороге. Те же каппадокийцы были рассыпаны по краям дороги, и заблаговременно они согнали с нее в стороны все караваны, спешившие на праздник в Ершалаим. Толпы богомольцев стояли за каппадокийцами, покинув свои временные полосатые шатры, раскинутые прямо на траве. Пройдя около километра, ала обогнала вторую когорту Молниеносного легиона и первая подошла, покрыв еще один километр, к подножию Лысой Горы. Здесь она спешила. Командир рассыпал алу на взводы, и они оцепили все подножие невысокого холма, оставив свободным только один подъем на него с Яффской дороги.

Через некоторое время за алой к холму пришла вторая когорта, поднялась на один ярус выше и венцом опоясала гору.

Наконец подошла кентурия под командой Марка Крысобоя. Она шла, растянутая двумя цепями по краям дороги, а между этими цепями, под конвоем тайной стражи, ехали в повозке трое осужденных с белыми досками на шее, на каждой из которых было написано «Разбойник и мятежник» на двух языках — арамейском и греческом.

За повозкой осужденных двигались другие, нагруженные свежесрубленными столбами с перекладинами, веревками, лопатами, ведрами и топорами. На этих повозках ехали шесть палачей. За ними верхом ехали кентурион Марк, начальник храмовой стражи Ершалаима и тот самый человек в капюшоне, с которым Пилат имел мимолетное совещание в затемненной комнате во дворце.

Замыкалась процессия солдатскою цепью, а за нею

уже шло около двух тысяч любопытных, не испугавшихся адской жары и желавших присутствовать при интересном зрелище.

К этим любопытным из города присоединились теперь любопытные богомольцы, которых беспрепятственно пропускали в хвост процессии. Под тонкие выкрики глашатаев, сопровождавших колонну и кричавших то, что около полудня прокричал Пилат, она втянулась на Лысую Гору.

Ала пропустила всех во второй ярус, а вторая кентурия наверх пропустила только тех, кто имел отношение к казни, а затем, быстро маневрируя, рассеяла толпу вокруг всего холма, так что та оказалась между пехотным оцеплением вверху и кавалерийским внизу. Теперь она могла видеть казнь сквозь неплотную цепь пехотинцев.

Итак, прошло со времени подъема процессии на гору более трех часов, и солнце уже снижалось над Лысой Горой, но жар еще был невыносим, и солдаты в обоих оцеплениях страдали от него, томились от скуки и в душе проклинали трех разбойников, искренне желая им скорейшей смерти.

Маленький командир алы со взмокшим лбом и в темной от пота на спине белой рубаше, находившийся внизу холма у открытого подъема, то и дело подходил к кожаному ведру в первом взводе, черпал из него пригоршнями воду, пил и мочил свой тюрбан. Получив от этого некоторое облегчение, он отходил и вновь начинал мерить взад и вперед пыльную дорогу, ведущую на вершину. Длинный меч его стучал по кожаному шнурованному сапогу. Командир желал показать своим кавалеристам пример выносливости, но, жалея солдат, разрешил им из пик, воткнутых в землю, устроить пирамиды и набросить на них белые плащи. Под этими шалашами и скрывались от безжалостного солнца сирийцы. Ведра пустели быстро, и кавалеристы из разных взводов по очереди отправлялись за водой в балку под горой, где в жидкой тени тощих тутовых деревьев доживал свои дни на этой дьявольской жаре мутноватый ручей. Тут же стояли, ловя нестойкую тень, и скучали коноводы, державшие присмиривших лошадей.

Томление солдат и брань их по адресу разбойников были понятны. Опасения прокуратора насчет беспорядков, которые могли произойти во время казни в нена-

видимом им городе Ершалаиме, по счастью, не оправдались. И когда побегал четвертый час казни, между двумя цепями, верхней пехотной и кавалерией у подножия, не осталось, вопреки всем ожиданиям, ни одного человека. Солнце сожгло толпу и погнало ее обратно в Ершалаим. За цепью двух римских кентурий оказались только две неизвестно кому принадлежащие и зачем-то попавшие на холм собаки. Но и их сморила жара, и они легли, высунув языки, тяжело дыша и не обращая никакого внимания на зеленоспинных ящериц, единственных существ, не боящихся солнца и шныряющих меж раскаленными камнями и какими-то вьющимися по земле растениями с большими колючками.

Никто не сделал попытки отбивать осужденных ни в самом Ершалаиме, наводненном войсками, ни здесь, на оцепленном холме, и толпа вернулась в город, ибо, действительно, ровно ничего интересного не было в этой казни, а там, в городе, уже шли приготовления к наступающему вечером великому празднику Пасхи.

Римская пехота во втором ярусе страдала еще больше кавалеристов. Кентурион Крысобой единственно что разрешил солдатам — это снять шлемы и накрыться белыми повязками, смоченными водой, но держал солдат стоя и с копьями в руках. Сам он в такой же повязке, но не смоченной, а сухой, расхаживал недалеко от группы палачей, не сняв даже со своей рубахи накладных серебряных львиных морд, не сняв поножей, меча и ножа. Солнце било прямо в кентуриона, не причиняя ему никакого вреда, и на львиные морды нельзя было взглянуть, глаза выедал ослепительный блеск как бы вскипавшего на солнце серебра.

На изуродованном лице Крысобоя не выражалось ни утомления, ни неудовольствия, и казалось, что великан кентурион в силах ходить так весь день, всю ночь и еще день, — словом, столько, сколько будет надо. Все так же ходить, наложив руки на тяжелый с медными бляхами пояс, все так же сурово поглядывая то на столбы с казнимыми, то на солдат в цепи, все так же равнодушно отбрасывая носком мохнатого сапога попадающие ему под ноги выбеленные временем человеческие кости или мелкие кремни.

Тот человек в капюшоне поместился недалеко от столбов на трехногом табурете и сидел в благодушной

неподвижности, изредка, впрочем, от скуки прутиком расковыривая песок.

То, что было сказано о том, что за цепью легионеров не было ни одного человека, не совсем верно. Один-то человек был, но просто не всем он был виден. Он поместился не на той стороне, где был открыт подъем на гору и с которой было удобнее всего видеть казнь, а в стороне северной, там, где холм был не отлог и доступен, а неровен, где были и провалы и щели, там, где, уцепившись в расщелине за проклятую небом безводную землю, пыталось жить больное фиговое дерево.

Именно под ним, вовсе не дающим никакой тени, и утвердился этот единственный зритель, а не участник казни, и сидел на камне с самого начала, то есть вот уже четвертый час. Да, для того чтобы видеть казнь, он выбрал не лучшую, а худшую позицию. Но все-таки и с нее столбы были видны, видны были за цепью и два сверкающие пятна на груди кентуриона, а этого, по-видимому, для человека, явно желавшего остаться мало замеченным и никем не тревожимым, было совершенно достаточно.

Но часа четыре тому назад, при начале казни, этот человек вел себя совершенно не так и очень мог быть замечен, отчего, вероятно, он и переменял теперь свое поведение и уединился.

Тогда, лишь только процессия вошла на самый верх за цепь, он и появился впервые и притом как человек явно опоздавший. Он тяжело дышал и не шел, а бежал на холм, толкался и, увидев, что перед ним, как и перед всеми другими, сомкнулась цепь, сделал наивную попытку, притворившись, что не понимает раздраженных окриков, прорваться между солдатами к самому месту казни, где уже снимали осужденных с повозки. За это он получил тяжкий удар тупым концом копья в грудь и отскочил от солдат, вскрикнув, но не от боли, а от отчаяния. Ударившего легионера он окинул мутным и совершенно равнодушным ко всему взором, как человек, не чувствительный к физической боли.

Кашляя и задыхаясь, держась за грудь, он обежал кругом холма, стремясь на северной стороне найти какую-нибудь щель в цепи, где можно было бы проскользнуть. Но было уже поздно. Кольцо сомкнулось. И человек с искаженным от горя лицом вынужден был от-

казаться от своих попыток прорваться к повозкам, с которых уже сняли столбы. Эти попытки ни к чему не привели бы, кроме того, что он был бы схвачен, а быть задержанным в этот день никоим образом не входило в его планы.

И вот он ушел в сторону к расщелине, где было спокойнее и никто ему не мешал.

Теперь, сидя на камне, этот чернобородый, с гноящимися от солнца и бессонницы глазами человек тосковал. Он то вздыхал, открывая свой истасканный в скитаниях, из голубого превратившийся в грязно-серый таллиф, и обнажал ушибленную копьем грудь, по которой стекал грязный пот, то в невыносимой муке поднимал глаза в небо, следя за тремя стервятниками, давно уже плававшими в вышине большими кругами в предчувствии скорого пира, то вперял безнадежный взор в желтую землю и видел на ней полуразрушенный собачий череп и бегающих вокруг него ящериц.

Мучения человека были настолько велики, что по временам он заговаривал сам с собой.

— О, я глупец! — бормотал он, раскачиваясь на камне в душевной боли и ногтями царапая смуглую грудь. — Глупец, неразумная женщина, трус! Падай я, а не человек!

Он умолкал, поникал головой, потом, напившись из деревянной фляги теплой воды, оживал вновь и хватался то за нож, спрятанный под таллифом на груди, то за кусок пергамента, лежащий перед ним на камне рядом с палочкой и пузырьком с тушью.

На этом пергаменте уже были набросаны записи:

«Бегут минуты, и я, Левий Матвей, нахожусь на Лысой Горе, а смерти все нет!»

Далее:

«Солнце склоняется, а смерти нет».

Теперь Левий Матвей безнадежно записал острой палочкой так:

«Бог! За что гневаешься на него? Пошли ему смерть».

Записав это, он бесслезно всхлипнул и опять ногтями изранил свою грудь.

Причина отчаяния Левия заключалась в той страшной неудаче, что постигла Иешуа и его, и, кроме того, в той тяжелой ошибке, которую он, Левий, по его мнению, совершил. Позавчера днем Иешуа и Левий нахо-

дились в Вифании под Ершалаимом, где гостили у одного огородника, которому чрезвычайно понравились проповеди Иешуа. Все утро оба гостя проработали на огороде, помогая хозяину, а к вечеру собирались идти по холодку в Ершалаим. Но Иешуа почему-то заспешил, сказал, что у него в городе неотложное дело, и ушел около полудня один. Вот в этом-то и заключалась первая ошибка Левия Матвея. Зачем, зачем он отпустил его одного!

Вечером Матвею идти в Ершалаим не пришлось. Какая-то неожиданная и ужасная хворь поразила его. Его затрясло, тело его наполнилось огнем, он стал стучать зубами и поминутно просить пить. Никуда идти он не мог. Он повалился на попону в сарае огородника и провалился на ней до рассвета пятницы, когда болезнь так же неожиданно отпустила Левия, как и напала на него. Хотя он был еще слаб и ноги его дрожали, он, томимый каким-то предчувствием беды, распротился с хозяином и отправился в Ершалаим. Там он узнал, что предчувствие его не обмануло. Беда случилась. Левий был в толпе и слышал, как прокуратор объявлял приговор.

Когда осужденных повезли на гору, Левий Матвей бежал рядом с цепью в толпе любопытных, стараясь каким-нибудь образом незаметно дать знать Иешуа хотя бы уж то, что он, Левий, здесь, с ним, что он не бросил его на последнем пути и что он молится о том, чтобы смерть Иешуа постигла как можно скорее. Но Иешуа, смотрящий вдаль, туда, куда его увозили, конечно, Левия не видел.

И вот, когда процессия прошла около полуверсты по дороге, Матвея, которого толкали в толпе у самой цепи, осенила простая и гениальная мысль, и тогчас же, по своей горячности, он осыпал себя проклятиями за то, что она не пришла ему раньше. Солдаты шли не тесною цепью. Между ними были промежутки. При большой ловкости и очень точном расчете можно было, согнувшись, проскочить между двумя легионерами, дорваться до повозки и вскочить на нее. Тогда Иешуа спасен от мучений.

Одного мгновения достаточно, чтобы ударить Иешуа ножом в спину, крикнув ему: «Иешуа! Я спасаю тебя и ухожу вместе с тобою! Я, Матвей, твой верный и единственный ученик!»

А если бы Бог благословил еще одним свободным мгновением, можно было бы успеть заколоться и самому, избежав смерти на столбе. Впрочем, последнее мало интересовало Левия, бывшего сборщика податей. Ему было безразлично, как погибать. Он хотел одного, чтобы Иешуа, не сделавший никому в жизни ни малейшего зла, избежал бы истязаний.

План был очень хорош, но дело заключалось в том, что у Левия ножа с собою не было. Не было у него и ни одной монеты денег.

В бешенстве на себя, Левий выбрался из толпы и побежал обратно в город. В горящей его голове прыгала только одна горячая мысль о том, как сейчас же, каким угодно способом, достать в городе нож и успеть догнать процессию.

Он добежал до городских ворот, лавируя в толчее всасывавшихся в город караванов, и увидел по левую руку от себя раскрытую дверь лавчонки, где продавали хлеб. Тяжело дыша после бега по раскаленной дороге, Левий овладел собой, очень степенно вошел в лавчонку, приветствовал хозяйку, стоявшую за прилавком, попросил ее снять с полки верхний каравай, который почему-то ему понравился больше других, и, когда та повернулась, молча и быстро взял с прилавка то, чего лучше и быть не может, — отточенный, как бритва, длинный хлебный нож, и тотчас кинулся из лавки вон.

Через несколько минут он вновь был на Яффской дороге. Но процессии уже не было видно. Он побежал. По временам ему приходилось валиться прямо в пыль и лежать неподвижно, чтобы отдышаться. И так он лежал, поражая проезжающих на мулах и шедших пешком в Ершалаим людей. Он лежал, слушая, как колотится его сердце не только в груди, но и в голове и в ушах. Отдышавшись немного, он вскакивал и продолжал бежать, но все медленнее и медленнее. Когда он наконец увидел пылящую вдали длинную процессию, она была уже у подножия холма.

— О Бог... — простонал Левий, понимая, что он опаздывает. И он опоздал.

Когда истек четвертый час казни, мучения Левия достигли наивысшей степени, и он впал в ярость. Поднявшись с камня, он швырнул на землю бесполезно, как он теперь думал, украденный нож, раздавил флягу ногою, лишив себя воды, сбросил с головы кефи, вце-

пился в свои жидкие волосы и стал проклинать себя.

Он проклинал себя, выкликая бессмысленные слова, рычал и плевался, поносил своего отца и мать, породавших на свет глупца.

Видя, что клятвы и брань не действуют и ничего от этого на солнцепеке не меняется, он сжал сухие кулаки, зажмурившись, вознес их к небу, к солнцу, которое сползало все ниже, удлиняя тени и уходя, чтобы упасть в Средиземное море, и потребовал у Бога немедленного чуда. Он требовал, чтобы Бог тотчас же послал Иешуа смерть.

Открыв глаза, он убедился в том, что на холме все без изменений, за исключением того, что пылавшие на груди кентуриона пятна потухли. Солнце посылало лучи в спины казнимых, обращенных лицами к Ершалаиму. Тогда Левий закричал:

— Проклинаю тебя, Бог!

Осипшим голосом он кричал о том, что убедился в несправедливости Бога и верить ему более не намерен.

— Ты глух! — рычал Левий. — Если б ты не был глухим, ты услышал бы меня и убил его тут же!

Зажмуриваясь, Левий ждал огня, который упадет на него с неба и поразит его самого. Этого не случилось, и, не разжимая век, Левий продолжал выкрикивать язвительные и обидные речи небу. Он кричал о полном своем разочаровании и о том, что существуют другие боги и религии. Да, другой бог не допустил бы того, никогда не допустил бы, чтобы человек, подобный Иешуа, был сжигаем солнцем на столбе.

— Я ошибался! — кричал совсем охрипший Левий. — Ты бог зла! Или твои глаза совсем закрыл дым из куильниц храма, а уши твои перестали что-либо слышать, кроме трубных звуков священников? Ты не всемогущий Бог. Ты черный бог. Проклинаю тебя, бог разбойников, их покровитель и душа!

Тут что-то дунуло в лицо бывшему сборщику и что-то зашелестело у него под ногами. Дунуло еще раз, и тогда, открыв глаза, Левий увидел, что всё в мире, под влиянием ли его проклятий или в силу каких-либо других причин, изменилось. Солнце исчезло, не дойдя до моря, в котором тонуло ежевечерне. Поглотив его, по небу с запада поднималась грозно и неуклонно грозовая туча. Края ее уже вскипали белой пеной, черное дымное брюхо отсвечивало желтым. Туча ворчала, и из

нее время от времени вываливались огненные нити. По Яффской дороге, по скудной Гионской долине, над шатрами богомольцев, гонимые внезапно поднявшимся ветром, летели пыльные столбы.

Левий умолк, стараясь сообразить, принесет ли гроза, которая сейчас накроет Ершалаим, какое-либо изменение в судьбе несчастного Иешуа. И тут же, глядя на нити огня, раскраивающие тучу, стал просить, чтобы молния ударила в столб Иешуа. В раскаянии глядя в чистое небо, которое еще не пожрала туча и где стервятники ложились на крыло, чтобы уходить от грозы, Левий подумал, что безумно поспешил со своими проклятиями: теперь Бог не послушает его.

Обратив свой взор к подножию холма, Левий приковался к тому месту, где стоял, рассыпавшись, кавалерийский полк, и увидел, что там произошли значительные изменения. С высоты Левию удалось хорошо рассмотреть, как солдаты суетились, выдергивая пики из земли, как набрасывали на себя плащи, как коноводы бежали к дороге рысцой, ведя в поводу вороных лошадей. Полк снимался, это было ясно. Левий, защищаясь от бьющей в лицо пыли рукой, отплеываясь, старался сообразить, что бы это значило, что кавалерия собирается уходить? Он перевел взгляд повыше и разглядел фигурку в багряной военной хламиде, поднимающуюся к площадке казни. И тут от предчувствия радостного конца похолодело сердце бывшего сборщика.

Подымавшийся на гору в пятом часу страданий разбойников был командир когорты, прискакавший из Ершалаима в сопровождении ординарца. Цепь солдат по мановению Крысобоя разомкнулась, и кентурион отдал честь трибуну. Тот, отведя Крысобоя в сторону, что-то прошептал ему. Кентурион вторично отдал честь и двинулся к группе палачей, сидящих на камнях у подножий столбов. Трибун же направил свои шаги к тому, кто сидел на трехногом табурете, и сидящий вежливо поднялся навстречу трибуну. И ему что-то негромко сказал трибун, и оба они пошли к столбам. К ним присоединился и начальник храмовой стражи.

Крысобой, брезгливо покосившись на грязные тряпки, лежащие на земле у столбов, тряпки, бывшие недавно одеждой преступников, от которой отказались палачи, отозвал двух из них и приказал:

— За мною!

С ближайшего столба доносилась хриплая бессмысленная песенка. Повешенный на нем Гестас к концу третьего часа казни сошел с ума от мух и солнца и теперь тихо пел что-то про виноград, но голову, покрытой чалмой, изредка все-таки покачивал, и тогда мухи вяло поднимались с его лица и возвращались на него опять.

Дисмас на втором столбе страдал более двух других, потому что его не одолевало забытие, и он качал головой часто и мерно, то вправо, то влево, чтобы ухом ударять по плечу.

Счастливее двух других был Иешуа. В первый же час его стали поражать обмороки, а затем он впал в забытие, повесив голову в размотавшейся чалме. Мухи и слепни поэтому совершенно облепили его, так что лицо его исчезло под черной шевелящейся маской. В паху, и на животе, и под мышками сидели жирные слепни и сосали желтое обнаженное тело.

Повинуясь жестам человека в капюшоне, один из палачей взял копьё, а другой принес к столбу ведро и губку. Первый из палачей поднял копьё и постучал им сперва по одной, потом по другой руке Иешуа, вытянутым и привязанным веревками к поперечной перекладине столба. Тело с выпятившимися ребрами вздрогнуло. Палач провел концом копья по животу. Тогда Иешуа поднял голову, и мухи с гуденьем снялись, и открылось лицо повешенного, распухшее от укусов, с заплывшими глазами, неузнаваемое лицо.

Разлепив веки, Га-Ноцри глянул вниз. Глаза его, обычно ясные, теперь были мутноваты.

— Га-Ноцри! — сказал палач.

Га-Ноцри шевельнул вспухшими губами и отозвался хриплым разбойничьим голосом:

— Что тебе надо? Зачем подошел ко мне?

— Пей! — сказал палач, и пропитанная водою губка на конце копья поднялась к губам Иешуа. Радость сверкнула у того в глазах, он прильнул к губке и с жадностью начал впитывать влагу. С соседнего столба донесся голос Дисмаса:

— Несправедливость! Я такой же разбойник, как и он!

Дисмас напрягся, но шевельнуться не смог, руки его в трех местах на перекладине держали веревочные кольца. Он втянул живот, ногтями вцепился в концы

перекладин, голову держал повернутой к столбу Иешуа, злоба пылала в глазах Дисмаса.

Пыльная туча накрыла площадку, сильно потемнело. Когда пыль унеслась, кентурион крикнул:

— Молчать на втором столбе!

Дисмас умолк. Иешуа оторвался от губки и, стараясь, чтобы голос его звучал ласково и убедительно, и не добившись этого, хрипло попросил палача:

— Дай попить ему.

Становилось все темнее. Туча залила уже полнеба, стремясь к Ершалаиму, белые кипящие облака неслись впереди напоенной черной влагой и огнем тучи. Сверкнуло и ударило над самым холмом. Палач снял губку с копья.

— Славь великодушного игемона! — торжественно шепнул он и тихонько кольнул Иешуа в сердце. Тот дрогнул, шепнул:

— Игемон...

Кровь побежала по его животу, нижняя челюсть судорожно дрогнула, и голова его повисла.

При втором громовом ударе палач уже поил Дисмаса и с теми же словами:

— Славь игемона! — убил и его.

Гестас, лишенный рассудка, испуганно вскрикнул, лишь только палач оказался возле него, но, когда губка коснулась его губ, прорычал что-то и вцепился в нее зубами. Через несколько секунд обвисло и его тело, сколько позволяли веревки.

Человек в капюшоне шел по следам палача и кентуриона, а за ним начальник храмовой стражи. Остановившись у первого столба, человек в капюшоне внимательно оглядел окровавленного Иешуа, тронул белой рукой ступню и сказал спутникам:

— Мертв.

То же повторилось и у двух других столбов.

После этого трибун сделал знак кентуриону и, повернувшись, начал уходить с вершины вместе с начальником храмовой стражи и человеком в капюшоне. Настала полутьма, и молнии бороздили черное небо. Из него вдруг брызнуло огнем, и крик кентуриона: «Снимай цепь!» — утонул в грохоте. Счастливые солдаты кинулись бежать с холма, надевая шлемы.

Тьма закрыла Ершалаим.

Ливень хлынул внезапно и застал кентурии на пол-

дороге на холме. Вода обрушилась так страшно, что, когда солдаты бежали книзу, им вдогонку уже летели бушующие потоки. Солдаты скользили и падали на размокшей глине, спеша на ровную дорогу, по которой — уже чуть видная в пелене воды — уходила в Ершалаим до нитки мокрая конница. Через несколько минут в дымном вареве грозы, воды и огня на холме остался только один человек.

Потрясая недаром украденным ножом, срываясь со скользких уступов, цепляясь за что попало, иногда ползя на коленях, он стремился к столбам. Он то пропадал в полной мгле, то вдруг освещался трепещущим светом.

Дорвавшись до столбов, уже по щиколотку в воде, он содрал с себя отяжелевший, пропитанный водою таллиф, остался в одной рубаше и припал к ногам Иешуа. Он перерезал веревки на голених, поднялся на нижнюю перекладину, обнял Иешуа и освободил руки от верхних связей. Голое влажное тело Иешуа обрушилось на Левия и повалило его наземь. Левий тут же хотел взвалить его на плечи, но какая-то мысль остановила его. Он оставил на земле в воде тело с запрокинутой головой и разметанными руками и побежал на разъезжающихся в глиняной жиже ногах к другим столбам. Он перерезал веревки и на них, и два тела обрушились на землю.

Прошло несколько минут, и на вершине холма остались только эти два тела и три пустых столба. Вода била и поворачивала эти тела.

Ни Левия, ни тела Иешуа на верху холма в это время уже не было.

Г л а в а 17

БЕСПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ

Утром в пятницу, то есть на другой день после проклятого сеанса, весь наличный состав служащих Варьете — бухгалтер Василий Степанович Ласточкин, два счетовода, три машинистки, обе кассирши, курьеры, капельдинеры и уборщицы, — словом, все, кто был в наличности, не находились при деле на своих местах, а все сидели на подоконниках окон, выходящих на Садовую, и смотрели на то, что делается под стеною

Варьете. Под этой стеной в два ряда лепилась многотысячная очередь, хвост которой находился на Кудринской площади. В голове этой очереди стояло примерно два десятка хорошо известных в театральной Москве барышников.

Очередь держала себя очень взволнованно, привлекала внимание струившихся мимо граждан и занималась обсуждением зажигательных рассказов о вчерашнем невиданном сеансе черной магии. Эти же рассказы привели в величайшее смущение бухгалтера Василия Степановича, который накануне на спектакле не был. Капельдинеры рассказывали бог знает что, в том числе как после окончания знаменитого сеанса некоторые гражданки в неприличном виде бегали по улице, и прочее в том же роде. Скромный и тихий Василий Степанович только моргал глазами, слушая рассказы обо всех этих чудесах, и решительно не знал, что ему предпринять, а между тем предпринимать нужно было что-то, и именно ему, так как он теперь оказался старшим во всей команде Варьете.

К десяти часам утра очередь жаждущих билетов до того взбухла, что о ней достигли слухи до милиции, и с удивительной быстротой были присланы как пешие, так и конные наряды, которые эту очередь и привели в некоторый порядок. Однако и стоящая в порядке змея длиною в километр сама по себе уже представляла великий соблазн и приводила граждан на Садовой в полное изумление.

Это было снаружи, а внутри Варьете тоже было очень неладно. С самого раннего утра начали звонить и звонили непрерывно телефоны в кабинете Лиходеева, в кабинете Римского, в бухгалтерии, в кассе и в кабинете Варенухи. Василий Степанович сперва отвечал что-то, отвечала и кассирша, бормотали что-то в телефон капельдинеры, а потом и вовсе перестали отвечать, потому что на вопросы, где Лиходеев, Варенуха, Римский, отвечать было решительно нечего. Сперва пробовали отделаться словами «Лиходеев на квартире», а из города отвечали, что звонили на квартиру и что квартира говорит, что Лиходеев в Варьете.

Позвонила взволнованная дама, стала требовать Римского, ей посоветовали позвонить к жене его, на что трубка, зарыдав, ответила, что она и есть жена и что Римского нигде нет. Начиналась какая-то чепуха.

Уборщица уже всем рассказала, что, явившись в кабинет финдиректора убирать, увидела, что дверь настежь, лампы горят, окно в сад разбито, кресло валяется на полу и никого нету.

В одиннадцатом часу ворвалась в Варьете мадам Римская. Она рыдала и заламывала руки. Василий Степанович совершенно растерялся и не знал, что ей посоветовать. А в половине одиннадцатого явилась милиция. Первый же и совершенно резонный ее вопрос был:

— Что у вас тут происходит, граждане? В чем дело?

Команда отступила, выставив вперед бледного и взволнованного Василия Степановича. Пришлось называть вещи своими именами и признаться в том, что администрация Варьете, в лице директора, финдиректора и администратора, пропала и находится неизвестно где, что конференсье после вчерашнего сеанса был отвезен в психиатрическую лечебницу и что, коротко говоря, этот вчерашний сеанс был прямо скандальным сеансом.

Рыдающую мадам Римскую, сколько можно успокоив, отправили домой и более всего заинтересовались рассказом уборщицы о том, в каком виде был найден кабинет финдиректора. Служащих попросили отправиться к своим местам и заняться делом, и через короткое время в здании Варьете появилось следствие в сопровождении остроухой, мускулистой, цвета папиросного пепла собаки с чрезвычайно умными глазами. Среди служащих Варьете тотчас разнеслось шушуканье о том, что пес — не кто другой, как знаменитый Тузбубен. И точно, это был он. Поведение его изумило всех. Лишь только Тузбубен вбежал в кабинет финдиректора, он зарычал, оскалив чудовищные желтоватые клыки, затем лег на брюхо и с каким-то выражением тоски и в то же время ярости в глазах пополз к разбитому окну. Пресодолев свой страх, он вдруг вскочил на подоконник и, задрав острую морду вверх, дико и злобно завыл. Он не хотел уходить с окна, рычал и вздрагивал и порывался прыгнуть вниз.

Пса вывели из кабинета и пустили его в вестибюль, оттуда он вышел через парадный ход на улицу и привел следовавших за ним к таксомоторной стоянке. Возле нее он след, по которому шел, потерял. После этого Тузабубен увезли.

Следствие расположилось в кабинете Варенухи, куда и стало по очереди вызывать тех служащих Варьете, которые были свидетелями вчерашних происшествий во время сеанса. Нужно сказать, что следствию на каждом шагу приходилось преодолевать непредвиденные трудности. Ниточка то и дело рвалась в руках.

Афиши-то были? Были. Но за ночь их заклеили новыми, и теперь ни одной нет, хоть убей! Откуда взялся этот маг-то самый? А кто ж его знает. Стало быть, с ним заключали договор?

— Надо полагать, — отвечал взволнованный Василий Степанович.

— А ежели заключали, так он должен был пройти через бухгалтерию?

— Всенепременно, — отвечал, волнуясь, Василий Степанович.

— Так где же он?

— Нету, — отвечал бухгалтер, все более бледнея и разводя руками. И действительно, ни в папках бухгалтерии, ни у финдиректора, ни у Лиходеева, ни у Варенухи никаких следов договора нет.

Как фамилия-то этого мага? Василий Степанович не знает, он не был вчера на сеансе. Капельдинеры не знают, билетная кассирша морщила лоб, морщила, думала, думала, наконец сказала:

— Во... Кажись, Воланд.

А может быть, и не Воланд? Может быть, и не Воланд. Может быть, Фаланд.

Выяснилось, что в бюро иностранцев ни о каком Воланде, а равно также и Фаланде, маге, ровно ничего не слыхали.

Курьер Карпов сообщил, что будто бы этот самый маг остановился на квартире у Лиходеева. На квартире, конечно, тотчас побывали. Никакого мага там не оказалось. Самого Лиходеева тоже нет. Домработницы Груни нету, и куда она девалась, никто не знает. Председателя правления Никанора Ивановича нету, Прележнева нету!

Выходило что-то совершенно несусветимое: пропала вся головка администрации, вчера был странный скандальный сеанс, а кто его производил и по чьему наущению — неизвестно.

А дело тем временем шло к полудню, когда должна была открыться касса. Но об этом, конечно, не могло

быть и разговора! На дверях Варьете тут же был вывешен громадный кусок картона с надписью: «Сегодняшний спектакль отменяется». В очереди началось волнение, начиная с головы ее, но, поволновавшись, она все-таки стала разрушаться, и через час примерно от нее на Садовой не осталось и следа. Следствие отбыло для того, чтобы продолжать свою работу в другом месте, служащих отпустили, оставив только дежурных, и двери Варьете заперли.

Бухгалтеру Василию Степановичу срочно предстояло выполнить две задачи. Во-первых, съездить в Комиссию зрелищ и увеселений облегченного типа с докладом о вчерашних происшествиях, а во-вторых, побывать в финзрелищном секторе для того, чтобы сдать вчерашнюю кассу — 21 711 рублей.

Аккуратный и исполнительный Василий Степанович упаковал деньги в газетную бумагу, бечевкой перекрестил пакет, уложил его в портфель и, прекрасно зная инструкцию, направился, конечно, не к автобусу или трамваю, а к таксомоторной стоянке.

Лишь только шоферы трех машин увидели пассажира, спешащего на стоянку с туго набитым портфелем, как все трое из-под носа у него уехали пустыми, почему-то при этом злобно оглядываясь.

Пораженный этим обстоятельством бухгалтер долгое время стоял столбом, соображая, что бы это значило.

Минуты через три подкатила пустая машина, и лицо шофера сразу перекосилось, лишь только он увидел пассажира.

— Свободна машина? — изумленно кашлянув, спросил Василий Степанович.

— Деньги покажите, — со злобой ответил шофер, не глядя на пассажира.

Все более поражаясь, бухгалтер, зажав драгоценный портфель под мышкой, вытащил из бумажника червонец и показал его шоферу.

— Не поеду! — кратко сказал тот.

— Я извиняюсь... — начал было бухгалтер, но шофер его перебил:

— Трешки есть?

Совершенно сбитый с толку бухгалтер вынул из бумажника две трешки и показал шоферу.

— Садитесь, — крикнул тот и хлопнул по флажку

счетчика так, что чуть не сломал его. Поехали.

— Сдачи, что ли, нету? — робко спросил бухгалтер.

— Полный карман сдачи! — заорал шофер, и в зеркальце отразились его наливающиеся кровью глаза. — Третий случай со мною сегодня. Да и с другими то же было. Дает какой-то сукин сын червонец, я ему сдачи — четыре пятьдесят... Вылез, сволочь! Минут через пять смотрю: вместо червонца бумажка с нарзанной бутылки! — Тут шофер произнес несколько непечатных слов. — Другой — за Зубовской. Червонец. Даю сдачи три рубля. Ушел! Я полез в кошелек, а оттуда пчела — тяп за палец! Ах ты!.. — шофер опять вклеил непечатные слова. — А червонца нету. Вчера в этом Варьете (непечатные слова) какая-то гадюка-фокусник сеанс с червонцами сделал (непечатные слова)...

Бухгалтер обомлел, съезжился и сделал такой вид, как будто и самое слово «Варьете» он слышит впервые, а сам подумал: «Ну и ну!..»

Приехав куда нужно, расплатившись благополучно, бухгалтер вошел в здание и устремился по коридору туда, где находился кабинет заведующего, и уже по дороге понял, что попал не вовремя. Какая-то суматоха царила в канцелярии Зрелищной комиссии. Мимо бухгалтера пробежала курьерша со сбившимися на затылок платочком и с вытаращенными глазами.

— Нету, нету, нету, милые мои! — кричала она, обращаясь неизвестно к кому. — Пиджак и штаны тут, а в пиджаке ничего нету!

Она скрылась в какой-то двери, и тут же за ней послышались звуки битья посуды. Из секретарской комнаты выбежал знакомый бухгалтеру заведующий первым сектором комиссии, но был в таком состоянии, что бухгалтера не узнал, и скрылся бесследно.

Потрясенный всем этим бухгалтер дошел до секретарской комнаты, являвшейся преддверием кабинета председателя комиссии, и здесь окончательно поразился.

Из-за закрытой двери кабинета доносился грозный голос, несомненно принадлежащий Прохору Петровичу, председателю комиссии. «Распекает, что ли, кого?» — подумал смятенный бухгалтер и, оглянувшись, увидел другое: в кожаном кресле, закинув голову на спинку, безудержно рыдая, с мокрым платком в руке, лежала, вытянув ноги почти до середины секретарской,

личный секретарь Прохора Петровича, красавица Анна Ричардовна.

Весь подбородок Анны Ричардовны был вымазан губной помадой, а по персиковым щекам ползли с ресниц черные потоки раскисшей краски.

Увидев, что кто-то вошел, Анна Ричардовна вскочила, кинулась к бухгалтеру, вцепилась в лацканы его пиджака, стала трясти бухгалтера и кричать:

— Слава богу! Нашелся хоть один храбрый! Все разбежались, все предали! Идемте, идемте к нему, я не знаю, что делать! — И, продолжая рыдать, она потащила бухгалтера в кабинет.

Попав в кабинет, бухгалтер первым делом уронил портфель, и все мысли в его голове перевернулись кверху ногами. И надо сказать, было от чего.

За огромным письменным столом с массивной чернильницей сидел пустой костюм и не обмакнутым в чернила сухим пером водил по бумаге. Костюм был при галстухе, из кармашка костюма торчало самопишущее перо, но над воротником не было ни шеи, ни головы, равно как из манжет не выглядывали кисти рук. Костюм был погружен в работу и совершенно не замечал той кутерьмы, что царила кругом. Услыхав, что кто-то вошел, костюм откинулся в кресле, и над воротником прозвучал хорошо знакомый бухгалтеру голос Прохора Петровича:

— В чем дело? Ведь на дверях же написано, что я не принимаю.

Красавица секретарь взвизгнула и, ломая руки вскричала:

— Вы видите? Видите?! Нету его! Нету! Верните его, верните!

Тут в дверь кабинета кто-то сунулся, охнул и вылетел вон. Бухгалтер почувствовал, что ноги его задрожали, и сел на краешек стула, но не забыл поднять портфель. Анна Ричардовна прыгала вокруг бухгалтера, терзая его пиджак, и вскрикивала:

— Я всегда, всегда останавливала его, когда он чертыхался! Вот и дочертыхался! — Тут красавица подбежала к письменному столу и музыкальным нежным голосом, немного гнусавым после плача, воскликнула: — Проша! Где вы?

— Кто вам тут «Проша»? — осведомился надменно костюм, еще глубже заваливаясь в кресле.

— Не узнаёт! Меня не узнаёт! Вы понимаете? — взрыдала секретарь.

— Попрошу не рыдать в кабинете! — уже злясь, сказал вспыльчивый костюм в полоску и рукавом подтянул к себе свежую пачку бумаг с явной целью поставить на них резолюции.

— Нет, не могу видеть этого, нет, не могу! — закричала Анна Ричардовна и выбежала в секретарскую, а за нею как пуля вылетел и бухгалтер.

— Вообразите, сию, — рассказывала, трясясь от волнения, Анна Ричардовна, снова вцепившись в рукав бухгалтера, — и входит кот. Черный, здоровый, как бегемот. Я, конечно, кричу ему «брысь!». Он — вон, а вместо него входит толстяк, тоже с какой-то кошачьей мордой, и говорит: «Это что же вы, гражданка, посетителям «брысь» кричите?» И прямо шаст к Прохору Петровичу. Я, конечно, за ним, кричу: «Вы с ума сошли?» А он, наглец, прямо к Прохору Петровичу и садится против него в кресло! Ну, тот... он — добрейшей души человек, но нервный. Вспылил! Не спорю. Нервозный человек, работает как вол, — вспылил. «Вы чего, говорит, без доклада влезаете?» А тот нахал, вообразите, развалился в кресле и говорит, улыбаясь. «А я, говорит, с вами по дельцу пришел потолковать». Прохор Петрович вспылил опять-таки: «Я занят!» А тот, подумайте только, отвечает: «Ничем вы не заняты...» А? Ну, тут уж, конечно, терпение Прохора Петровича лопнуло, и он вскричал: «Да что же это такое? Вывести его вон, черти б меня взяли!» А тот, вообразите, улыбнулся и говорит: «Черти чтоб взяли? А что ж, это можно!» И, трах, я не успела вскрикнуть, смотрю: нету этого с кошачьей мордой и си... сидит... костюм... Геее!.. — распылив совершенно потерявший всякие очертания рот, завывла Анна Ричардовна.

Подавившись рыданием, она перевела дух, но понесла что-то уж совсем несообразное:

— И пишет, пишет, пишет! С ума сойти! По телефону говорит! Костюм! Все разбежались, как зайцы!

Бухгалтер только стоял и тряся. Но тут судьба его выручила. В секретарскую спокойной деловой походкой входила милиция в числе двух человек. Увидев их, красавица зарыдала еще пуще, тыча рукою в дверь кабинета.

— Давайте не будем рыдать, гражданка, — спокойно

сказал первый, а бухгалтер, чувствуя, что он здесь совершенно лишний, выскочил из секретарской и через минуту уже был на свежем воздухе. В голове у него был какой-то сквозняк, гудело, как в трубе, и в этом гудении слышались клочки капельдинерских рассказов о вчерашнем коте, который принимал участие в сеансе. «Э-ге-ге! Да уж не наш ли это котик?»

Не добившись толку в комиссии, добросовестный Василий Степанович решил побывать в филиале ее, помещавшемся в Ваганьковском переулке. И, чтобы успокоить себя немного, проделал путь до филиала пешком.

Городской зрелищный филиал помещался в облупленном от времени особняке в глубине двора и знаменит был своими порфировыми колоннами в вестибюле.

Но не колонны поражали в этот день посетителей филиала, а то, что происходило под ними.

Несколько посетителей стояли в оцепенении и глядели на плачущую барышню, сидевшую за столиком, на котором лежала специальная зрелищная литература, продаваемая барышней. В данный момент барышня никому ничего не предлагала из этой литературы и на участливые вопросы только отмахивалась, а в это время и сверху, и снизу, и с боков, из всех отделов филиала сыпался телефонный звон, по крайней мере, двадцати надрывававшихся аппаратов.

Поплавав, барышня вдруг вздрогнула, истерически крикнула:

— Вот опять! — и неожиданно запела дрожащим сопрано:

Славное море, священный Байкал...

Курьер, показавшийся на лестнице, погрозил кому-то кулаком и запел вместе с барышней незвучным, тусклым баритоном:

Славен корабль, омулевая бочка!..

К голосу курьера присоединились дальние голоса, хор начал разрастаться, и, наконец, песня загремела во всех углах филиала. В ближайшей комнате № 6, где помещался счетно-проверочный отдел, особенно выделялась чья-то мощная с хрипотцой октава. Аккомпанировал хору усиливавшийся треск телефонных аппаратов.

Гей, баргузин... пошевеливай вал!.. —

орал курьер на лестнице.

Слезы текли по лицу девицы, она пыталась стиснуть зубы, но рот ее раскрывался сам собою, и она пела на октаву выше курьера:

Молодцу быть недалечко!

Поражало безмолвных посетителей филиала то, что хористы, рассеянные в разных местах, пели очень складно, как будто весь хор стоял, не спуская глаз с невидимого дирижера.

Прохожие в Ваганьковском останавливались у решетки двора, удивляясь веселью, царящему в филиале.

Как только первый куплет пришел к концу, пение стихло внезапно, опять-таки как бы по жезлу дирижера. Курьер тихо выругался и скрылся.

Тут открылись парадные двери, и в них появился гражданин в летнем пальто, из-под которого торчали полы белого халата, а с ним милиционер.

— Примите меры, доктор, умоляю! — истерически крикнула девица.

На лестницу выбежал секретарь филиала и, видимо, сгорая от стыда и смущения, заговорил, заикаясь:

— Видите ли, доктор, у нас случай массового какого-то гипноза... Так вот, необходимо... — он не докончил фразы, стал давиться словами и вдруг запел тенором:

Шилка и Нерчинск...

— Дурак! — успела выкрикнуть девица, но не объяснила, кого ругает, а вместо этого вывела насильственную руладу и сама запела про Шилку и Нерчинск.

— Держите себя в руках! Перестаньте петь! — обратился доктор к секретарю.

По всему было видно, что секретарь и сам бы отдал что угодно, чтобы перестать петь, да перестать-то он не мог и вместе с хором донес до слуха прохожих в переулке весть о том, что в дебрях его не тронул прожорливый зверь и пуля стрелков не догнала!

Лишь только куплет кончился, девица первая получила порцию валерьянки от врача, а затем он побежал за секретарем к другим — поить и их.

— Простите, гражданочка, — вдруг обратился Васи-

лий Степанович к девице, — кот к вам черный не заходил?..

— Какой там кот? — в злобе закричала девица. — Осел у нас в филиале сидит, осел! — И, прибавив к этому: — Пусть слышит! Я все расскажу, — действительно рассказала о том, что случилось.

Оказалось, что заведующий городским филиалом, «вконец разваливший облегченные развлечения» (по словам девицы), страдал манией организации всякого рода кружков.

— Очки втирал начальству! — орала девица.

В течение года заведующий успел организовать кружок по изучению Лермонтова, шахматно-шашечный, пинг-понга и кружок верховой езды. К лету угрожал организацией кружка гребли на пресных водах и кружка альпинистов.

И вот сегодня, в обеденный перерыв, входит он, заведующий...

— И ведет под руку какого-то сукина сына, — рассказывала девица, — неизвестно откуда взявшегося, в клетчатых брючонках, в треснутом пенсне и... рожа совершенно невозможная!

И тут же, по рассказу девицы, отрекомендовал его всем обедающим в столовой филиала как видного специалиста по организации хоровых кружков.

Лица будущих альпинистов помрачнели, но заведующий тут же призвал всех к бодрости, а специалист и пошутил, и поострил, и клятвенно заверил, что времени пение берет самую малость, а пользы от этого пения, между прочим, целый вагон.

Ну, конечно, как сообщила девица, первыми выскочили Фанов и Косарчук, известнейшие филиальские подхалимы, и объявили, что записываются. Тут остальные служащие убедились, что пения не миновать, пришлось записываться и им в кружок. Петь решили в обеденном перерыве, так как все остальное время было занято Лермонтовым и шашками. Заведующий, чтобы подать пример, объявил, что у него тенор, и далее все пошло, как в скверном сне. Клетчатый специалист-хормейстер проорал:

— До-ми-соль-до! — вытащил наиболее застенчивых из-за шкафов, где они пытались спастись от пения, Косарчуку сказал, что у того абсолютный слух, заныл, заскулил, просил уважить старого регента-певу-

на, стучал камертоном по пальцам, умоляя грянуть «Славное море».

Грянули. И славно грянули. Клетчатый действительно понимал свое дело. Допели первый куплет. Тут регент извинился, сказал: «Я на минутку!» — и... исчез. Думали, что он действительно вернется через минуту. Но прошло и десять минут, а его нету. Радость охватила филиальцев — сбежал.

И вдруг как-то сами собой запели второй куплет. Всех повел за собою Косарчук, у которого, может быть, и не было абсолютного слуха, но был довольно приятный высокий тенор. Спели. Регента нету! Двинулись по своим местам, но не успели сесть, как, против своего желания, запели. Остановиться — не тут-то было. Помолчат минуты три и опять грянут. Помолчат — грянут! Тут сообразили, что беда. Заведующий заперся у себя в кабинете от сраму.

Тут девицын рассказ прервался. Ничего валерьянка не помогла.

Через четверть часа к решетке в Ваганьковском подъехали три грузовика, и на них погрузился весь состав филиала во главе с заведующим.

Лишь только первый грузовик, качнувшись в воротах, выехал в переулок, служащие, стоящие на платформе и держащие друг друга за плечи, раскрыли рты, и весь переулок огласился популярной песней. Второй грузовик подхватил, а за ним и третий. Так и поехали. Прохожие, бегущие по своим делам, бросали на грузовики лишь беглый взгляд, ничуть не удивляясь и полагая, что это экскурсия едет за город. Ехали, действительно, за город, но только не на экскурсию, а в клинику профессора Стравинского.

Через полчаса совсем потерявший голову бухгалтер добрался до финзрелищного сектора, надеясь наконец избавиться от казенных денег. Уже ученый опытом, он прежде всего осторожно заглянул в продолговатый зал, где за матовыми стеклами с золотыми надписями сидели служащие. Никаких признаков тревоги или безобразия бухгалтер здесь не обнаружил. Было тихо, как и полагается в приличном учреждении.

Василий Степанович всунул голову в то окошечко, над которым было написано: «Прием сумм», — поздоровался с каким-то незнакомым ему служащим и вежливо попросил приходный ордер.

— А вам зачем? — спросил служащий в окошечке. Бухгалтер изумился.

— Хочу сдать сумму. Я из Варьете.

— Одну минутку, — ответил служащий и мгновенно закрыл сеткой дыру в стекле.

«Странно!» — подумал бухгалтер. Изумление его было совершенно естественно. Впервые в жизни он встретился с таким обстоятельством. Всем известно, как трудно получить деньги; к этому всегда могут найтись препятствия. Но в тридцатилетней практике бухгалтера не было случая, чтобы кто-нибудь, будь то юридическое или частное лицо, затруднялся бы принять деньги.

Но наконец сеточка отодвинулась, и бухгалтер опять прильнул к окошечку.

— А у вас много ли? — спросил служащий.

— Двадцать одна тысяча семьсот одиннадцать рублей.

— Ого! — почему-то иронически ответил служащий и протянул бухгалтеру зеленый листок.

Хорошо зная форму, бухгалтер мигом заполнил его и начал развязывать веревочку на пакете. Когда он распаковал свой груз, в глазах у него зарябило, он что-то промышчал болезненно.

Перед глазами его замелькали иностранные деньги. Тут были пачки канадских долларов, английских фунтов, голландских гульденов, латвийских лат, эстонских крон...

— Вот он, один из этих шукарей из Варьете, — послышался грозный голос над онемевшим бухгалтером. И тут же Василия Степановича арестовали.

Г л а в а 18

НЕУДАЧЛИВЫЕ ВИЗИТЕРЫ

В то самое время, как старательный бухгалтер несся в таксомоторе, чтобы нарваться на самопишущий костюм, из плацкартного мягкого вагона № 9 киевского поезда, пришедшего в Москву, в числе других вышел приличный пассажир с маленьким фибровым чемоданчиком в руке. Пассажир этот был не кто иной, как дядя покойного Берлиоза, Максимилиан Андреевич Поплавский, экономист-плановик, проживающий в Киеве на бывшей Институтской улице. Причиной приезда Мак-

симилиана Андреевича в Москву была полученная им позавчера поздним вечером телеграмма следующего содержания:

«Меня только что зарезало трамваем на Патриарших.
Похороны пятницу, три часа дня. Приезжай. Берлиоз».

Максимилиан Андреевич считался, и заслуженно, одним из умнейших людей в Киеве. Но и самого умного человека подобная телеграмма может поставить в тупик. Раз человек телеграфирует, что его зарезало, то ясно, что его зарезало не насмерть. Но при чем же тогда похороны? Или он очень плох и предвидит, что умрет? Это возможно, но в высшей степени странна эта точность — откуда ж он так-таки и знает, что хоронить его будут в пятницу в три часа дня? Удивительная телеграмма!

Однако умные люди на то и умны, чтобы разбираться в запутанных вещах. Очень просто. Произошла ошибка, и депешу передали исковерканной. Слово «меня», без сомнения, попало сюда из другой телеграммы, вместо слова «Берлиоза», которое приняло вид «Берлиоз» и попало в конец телеграммы. С такой поправкой смысл телеграммы становился ясен, но, конечно, трагичен.

Когда утих взрыв горя, поразивший супругу Максимилиана Андреевича, тот немедленно стал собираться в Москву.

Надлежит открыть одну тайну Максимилиана Андреевича. Нет спору, ему было жаль племянника жены, погибшего в расцвете лет. Но, конечно, как человек деловой, он понимал, что никакой особенной надобности в его присутствии на похоронах нету. И тем не менее Максимилиан Андреевич очень спешил в Москву. В чем же было дело? В одном — в квартире. Квартира в Москве! Это серьезно. Неизвестно почему, но Киев не нравился Максимилиану Андреевичу, и мысль о переезде в Москву настолько точила его в последнее время, что он стал даже худо спать.

Его не радовали весенние разливы Днепра, когда, затопля острова на низком берегу, вода сливалась с горизонтом. Его не радовал тот потрясающий по красоте вид, что открывался от подножия памятника князю Владимиру. Его не веселили солнечные пятна, играющие весною на кирпичных дорожках Владимир-

ской горки. Ничего этого он не хотел, он хотел одного — переехать в Москву.

Объявления в газетах об обмене квартиры на Институтской улице в Киеве на меньшую площадь в Москве не давали никакого результата. Желающих не находилось, а если изредка они и отыскивались, то их предложения были недобросовестны.

Телеграмма потрясла Максимилиана Андреевича. Это был момент, который упустить было бы грешно. Деловые люди знают, что такие моменты не повторяются.

Словом, невзирая ни на какие трудности, нужно было суметь унаследовать квартиру племянника на Садовой. Да, это было сложно, очень сложно, но сложности эти нужно было во что бы то ни стало преодолеть. Опытный Максимилиан Андреевич знал, что для этого первым и неперменным шагом должен быть следующий шаг: нужно было, хотя бы временно, прописаться в трех комнатах покойного племянника.

В пятницу днем Максимилиан Андреевич вошел в дверь комнаты, в которой помещалось домоуправление дома № 302-бис по Садовой улице в Москве.

В узенькой комнате, где на стене висел старый плакат, изображавший в нескольких картинках способы оживления утонувших в реке, за деревянным столом в полном одиночестве сидел средних лет небритый человек с встревоженными глазами.

— Могу ли я видеть председателя правления? — вежливо осведомился экономист-плановик, снимая шляпу и ставя свой чемоданчик на порожний стул.

Этот, казалось бы, простенький вопрос почему-то расстроил сидящего, так что он даже изменился в лице. Кося в тревоге глазами, он пробормотал невнятно, что председателя нету.

— Он на квартире у себя? — спросил Поплавский. — У меня срочнейшее дело.

Сидящий ответил опять-таки очень несвязно. Но все-таки можно было догадаться, что председателя на квартире нету.

— А когда он будет?

Сидящий ничего не ответил на это и с какой-то тоской поглядел в окно.

«Ага!» — сказал сам себе умный Поплавский и осведомился о секретаре.

Странный человек за столом даже побагровел от напряжения и сказал невнятно опять-таки, что секретаря тоже нету... когда он придет, неизвестно и... что секретарь болен...

«Ага!..» — сказал себе Поплавский. — Но кто-нибудь же есть в правлении?

— Я, — слабым голосом отозвался человек.

— Видите ли, — внушительно заговорил Поплавский, — я являюсь единственным наследником покойного Берлиоза, моего племянника, погибшего, как вам известно, на Патриарших, и я обязан, согласно закону, принять наследство, заключающееся в нашей квартире номер пятьдесят...

— Не в курсе я, товарищ... — тоскливо перебил человек.

— Но, позвольте, — звучным голосом сказал Поплавский, — вы член правления и обязаны...

И тут в комнату вошел какой-то гражданин. При виде вошедшего сидящий за столом побледнел.

— Член правления Пятнажко? — спросил у сидящего вошедший.

— Я, — чуть слышно ответил тот.

Вошедший что-то пошептал сидящему, и тот, совершенно расстроенный, поднялся со стула, и через несколько секунд Поплавский остался один в пустой комнате правления.

«Эх, какое осложнение! И нужно ж было, чтоб их всех сразу...» — с досадой думал Поплавский, пересекая асфальтовый двор и спеша в квартиру № 50.

Лишь только экономист-плановик позвонил, дверь открыли, и Максимилиан Андреевич вошел в полутемную переднюю. Удивило его несколько то обстоятельство, что непонятно было, кто ему открыл: в передней никого не было, кроме громадного черного кота, сидящего на стуле.

Максимилиан Андреевич покашлял, потопал ногами, и тогда дверь кабинета открылась и в переднюю вышел Коровьев. Максимилиан Андреевич поклонился ему вежливо, но с достоинством, и сказал:

— Моя фамилия Поплавский. Я являюсь дядей...

Но не успел он договорить, как Коровьев выхватил из кармана грязный платок, уткнулся в него носом и заплакал.

— ...покойного Берлиоза...

— Как же, как же, — перебил Коровьев, отнимая платок от лица. — Я как только глянул на вас, догадался, что это вы! — Тут он затрясся от слез и начал вскрикивать: — Горе-то, а? Ведь это что же такое делается? А?

— Трамваем задавило? — шепотом спросил Поплавский.

— Начисто! — крикнул Коровьев, и слезы побежали у него из-под пенсне потоками. — Начисто! Я был свидетелем. Верите — раз! Голова — прочь! Правая нога — хрусть, пополам! Левая — хрусть, пополам! Вот до чего эти трамваи доводят! — И, будучи, видимо, не в силах сдержаться себя, Коровьев клюнул носом в стену рядом с зеркалом и стал содрогаться в рыданиях.

Дядя Берлиоза был искренне поражен поведением неизвестного. «Вот, говорят, не бывает в наш век сердечных людей!» — подумал он, чувствуя, что у него самого начинают чесаться глаза. Однако в то же время неприятное облачко набежало на его душу, и тут же мелькнула змейкой мысль о том, что не прописался ли этот сердечный человек уже в квартире покойного, ибо и такие примеры в жизни бывали.

— Простите, вы были другом моего покойного Миши? — спросил он, утирая рукавом левый сухой глаз, а правым изучая потрясаемого печалью Коровьева. Но тот до того разрыдался, что ничего нельзя было понять, кроме повторяющихся слов «хрусть — и пополам!». Нарыдавшись вдоволь, Коровьев отлепился наконец от стенки и вымолвил:

— Нет, не могу больше! Пойду приму триста капель эфирной валерьянки!.. — И, повернув к Поплавскому совершенно заплаканное лицо, добавил: — Вот они, трамвай-то!

— Я извиняюсь, вы мне дали телеграмму? — спросил Максимилиан Андреевич, мучительно думая о том, кто бы мог быть этот удивительный плакса.

— Он! — ответил Коровьев и указал пальцем на кота.

Поплавский вытаращил глаза, полагая, что услышался.

— Нет, не в силах, нет мочи, — шмыгая носом, продолжал Коровьев, — как вспомню: колесо по ноге... одно колесо пудов десять весит... Хрусть!.. Пойду лягу в постель, забудусь сном, — и тут он исчез из передней.

Кот же шевельнулся, прыгнул со стула, стал на задние лапы, подбоченился, раскрыл пасть и сказал:

— Ну, я дал телеграмму. Дальше что?

У Максимилиана Андреевича сразу закружилась голова, руки и ноги отнялись, он уронил чемодан и сел на стул напротив кота.

— Я, кажется, русским языком спрашиваю, — сурово сказал кот, — дальше что?

Но Поплавский не дал никакого ответа.

— Паспорт! — твякнул кот и протянул пухлую лапу

Ничего не соображая и ничего не видя, кроме двух искр, горящих в кошачьих глазах, Поплавский выхватил из кармана паспорт, как кинжал. Кот снял с подзеркального стола очки в толстой черной оправе, надел их на морду, от чего сделался еще внушительнее, и вынул из прыгающей руки Поплавского паспорт.

«Вот интересно: упаду я в обморок или нет?» — подумал Поплавский. Издалека доносились всхлипывания Коровьева, вся передняя наполнилась запахом эфира, валерьянки и еще какой-то тошной мерзости.

— Каким отделением выдан документ? — спросил кот, всматриваясь в страницу. Ответа не последовало.

— Четыреста двенадцатым, — сам себе сказал кот, водя лапой по паспорту, который он держал кверху ногами, — ну да, конечно! Мне это отделение известно! Там кому попало выдают паспорта! А я б, например, не выдал такому, как вы! Нипочем не выдал бы! Глянул бы только раз в лицо и моментально отказал бы! — кот до того рассердился, что швырнул паспорт на пол. — Ваше присутствие на похоронах отменяется, — продолжал кот официальным голосом, — потрудитесь уехать к месту жительства. — И рвякнул в дверь: — Азazelло!

На его зов в переднюю выбежал маленький, прихрамывающий, обтянутый черным трико, с ножом, засунутым за кожаный пояс, рыжий, с желтым клыком, с бельмом на левом глазу.

Поплавский почувствовал, что ему не хватает воздуха, поднялся со стула и попятился, держась за сердце.

— Азazelло, проводи! — приказал кот и вышел из передней.

— Поплавский, — тихо прогнусил вошедший, — надеюсь, уже все понятно?

Поплавский кивнул головой.

— Возвращайся немедленно в Киев, — продолжал Азazelло, — сиди там тише воды, ниже травы и ни о каких квартирах в Москве не мечтай, ясно?

Этот маленький, доводящий до смертного страха Поплавского своим клыком, ножом и кривым глазом, доходил экономисту только до плеча, но действовал энергично, складно и организованно.

Прежде всего он поднял паспорт и подал его Максимилиану Андреевичу, и тот принял книжечку мертвой рукой. Затем именуемый Азazelло одной рукой поднял чемодан, другой распахнул дверь и, взяв под руку дядю Берлиоза, вывел его на площадку лестницы. Поплавский прислонился к стене. Без всякого ключа Азazelло открыл чемодан, вынул из него громадную жареную курицу без одной ноги, завернутую в промаслившуюся газету, и положил ее на площадке. Затем вытащил две пары белья, бритвенный ремень, какую-то книжку и футляр и все это спихнул ногой в пролет лестницы, кроме курицы. Туда же полетел и опустевший чемодан. Слышно было, как он грохнулся вниз, и, судя по звуку, от него отлетела крышка.

Затем рыжий разбойник ухватил за ногу курицу и всей этой курицей плашмя, крепко и страшно так ударил по шее Поплавского, что туловище курицы отскочило, а нога осталась в руках Азazelло. Все смешалось в доме Облонских, как справедливо выразился знаменитый писатель Лев Толстой. Именно так и сказал бы он в данном случае. Да! Все смешалось в глазах у Поплавского. Длинная искра пронеслась у него перед глазами, затем сменилась какой-то траурной змеей, погасившей на мгновение майский день, — и Поплавский полетел вниз по лестнице, держа в руке паспорт. Долежав до поворота, он выбил на следующей площадке ногою стекло в окне и сел на ступеньке. Мимо него пропрыгала безногая курица и свалилась в пролет. Оставшийся наверху Азazelло вмиг обглодал куриную ногу и кость засунул в боковой карманчик трико, вернулся в квартиру и с грохотом закрылся.

В это время снизу начали слышаться осторожные шаги поднимающегося человека.

Пробежав еще один пролет, Поплавский сел на деревянный диванчик на площадке и перевел дух.

Какой-то малюсенький пожилой человек с необыкновенно печальным лицом, в чесучовом старинном ко-

стюме и твердой соломенной шляпе с зеленой лентой, подымаясь вверх по лестнице, остановился возле Поплавского.

— Позвольте вас спросить, гражданин, — с грустью осведомился человек в чесуче, — где квартира номер пятьдесят?

— Выше! — отрывисто ответил Поплавский.

— Покорнейше вас благодарю, гражданин, — так же грустно сказал человек и пошел вверх, а Поплавский поднялся и побежал вниз.

Возникает вопрос: уж не в милицию ли спешил Максимилиан Андреевич жаловаться на разбойников, учинивших над ним дикое насилие среди бела дня? Нет, ни в коем случае, это можно сказать уверенно. Войти в милицию и сказать, что вот, мол, сейчас кот в очках читал мой паспорт, а потом человек в трико, с ножом... нет, граждане, Максимилиан Андреевич был действительно умным человеком!

Он был уже внизу и увидел у самой выходной двери дверь, ведущую в какую-то каморку. Стекло в этой двери было выбито. Поплавский спрятал паспорт в карман, оглянулся, надеясь увидеть выброшенные вещи. Но их не было и следа. Поплавский и сам подивился, насколько мало это его огорчило. Его занимала другая интересная и соблазнительная мысль — проверить на этом человечке еще раз проклятую квартиру. В самом деле: раз он справлялся о том, где она находится, значит, шел в нее впервые. Стало быть, он сейчас направлялся непосредственно в лапы к той компании, что засела в квартире № 50. Что-то подсказывало Поплавскому, что человек этот очень скоро выйдет из этой квартиры. Ни на какие похороны никакого племянника Максимилиан Андреевич, конечно, уже не собирался, а до поезда в Киев времени было достаточно. Экономист оглянулся и нырнул в каморку.

В это время далеко наверху стукнула дверь. «Это он вошел...» — с замиранием сердца подумал Поплавский. В каморке было прохладно, пахло мышами и сапогами. Максимилиан Андреевич уселся на каком-то деревянном обручке и решил ждать. Позиция была удобная, из каморки прямо была видна выходная дверь шестого парадного.

Однако ждать пришлось дольше, чем полагал киевлянин. Лестница все время была почему-то пустынна.

Слышно было хорошо, и наконец в пятом этаже стукнула дверь. Поплавский замер. Да, его шажки. «Идет вниз». Открылась дверь этажом пониже. Шажки стихли. Женский голос. Голос грустного человечка... да, это его голос... Произнес что-то вроде «оставь, Христа ради...». Ухо Поплавского торчало в разбитом стекле. Это ухо уловило женский смех. Быстрые и бойкие шаги вниз; и вот мелькнула спина женщины. Эта женщина с клеенчатой зеленой сумкой в руках вышла из подъезда во двор. А шажки того человечка возобновились. «Странно! Он назад возвращается в квартиру! Уж не из этой ли шайки он сам? Да, возвращается. Вон опять наверху открыли дверь. Ну что ж, подождем еще».

На этот раз пришлось ждать недолго. Звуки двери. Шажки. Шажки стихли. Отчаянный крик. Мяуканье кошки. Шажки быстрые, дробные, вниз, вниз, вниз!

Поплавский дождался. Крестьясь и что-то бормоча, пролетел печальный человечек, без шляпы, с совершенно безумным лицом, исцарапанной лысиной и в совершенно мокрых штанах. Он начал рвать за ручку выходную дверь, в страхе не соображая, куда она открывается — наружу или внутрь, — наконец совладал с нею и вылетел на солнце во двор.

Проверка квартиры была произведена. Не думая больше ни о покойном племяннике, ни о квартире, содрогаясь при мысли о той опасности, которой он подвергался, Максимилиан Андреевич, шепча только два слова: «Все понятно! Все понятно!» — выбежал во двор. Через несколько минут троллейбус уносил экономиста-плановика по направлению к Киевскому вокзалу.

С маленьким же человечком, пока экономист сидел в каморке внизу, приключилась неприятнейшая история. Человечек был буфетчиком в Варьете и назывался Андрей Фокич Соков. Пока шло следствие в Варьете, Андрей Фокич держался в сторонке от всего происходящего, и замечено было только одно, что он стал еще грустнее, чем был всегда вообще, и, кроме того, что он справлялся у курьера Карпова о том, где остановился приезжий маг.

Итак, расставшись на площадке с экономистом, буфетчик добрался до пятого этажа и позвонил в квартиру № 50.

Ему открыли немедленно, но буфетчик вздрогнул, попятился и вошел не сразу. Это было понятно. Откры-

ла дверь девица, на которой ничего не было, кроме кокетливого кружевного фартучка и белой наколки на голове. На ногах, впрочем, были золотые туфельки. Сложением девица отличалась безукоризненным, и единственным дефектом в ее внешности можно было считать багровый шрам на шее.

— Ну что ж, входите, раз звонили! — сказала девица, уставив на буфетчика зеленые распутные глаза.

Андрей Фокич охнул, заморгал глазами и шагнул в переднюю, снимая шляпу. В это время как раз в передней зазвенел телефон. Бесстыжая горничная, поставив одну ногу на стул, сняла трубку с рычажка и сказала в нее:

— Алло!

Буфетчик не знал, куда девать глаза, переминался с ноги на ногу и думал: «Ай да горничная у иностранца! Тыфу ты, пакость какая!» И, чтобы спастись от пакости, стал коситься по сторонам.

Вся большая и полутемная передняя была загромождена необычными предметами и одеянием. Так, на спинку стула наброшен был траурный плащ, подбитый огненной материей, на подзеркальном столике лежала длинная шпага с поблескивающей золотой рукоятью. Три шпаги с рукоятями серебряными стояли в углу так же просто, как какие-нибудь зонтики или трости. А на оленьих рогах висели береты с орлиными перьями.

— Да, — говорила горничная в телефон, — как? Барон Майгель? Слушаю. Да! Господин артист сегодня дома. Да, будет рад вас видеть. Да, гости... Фрак или черный пиджак. Что? К двенадцати ночи. — Закончив разговор, горничная положила трубку и обратилась к буфетчику: — Вам что угодно?

— Мне необходимо видеть гражданина артиста.

— Как? Так-таки его самого?

— Его, — ответил буфетчик печально.

— Спрошу, — сказала, видимо колеблясь, горничная и, приоткрыв дверь в кабинет покойного Берлиоза, положила: — Рыцарь, тут явился маленький человек, который говорит, что ему нужен мессир.

— А пусть войдет, — раздался из кабинета разбитый голос Коровьева.

— Пройдите в гостиную, — сказала девица так просто, как будто была одета по-человечески, приоткрыла дверь в гостиную, а сама покинула переднюю.

Войдя туда, куда его пригласили, буфетчик даже про дело свое позабыл, до того его поразило убранство комнаты. Сквозь цветные стекла больших окон (фантазия бесследно пропавшей ювелирши) лился необыкновенный, похожий на церковный, свет. В старинном громадном камине, несмотря на жаркий весенний день, пылали дрова. А жарко между тем несколько не было в комнате, и даже наоборот, входящего охватывала какая-то погребная сырость. Перед камином на тигровой шкуре сидел, благодушно жмурясь на огонь, черный котик. Был стол, при взгляде на который богобоязненный буфетчик вздрогнул: стол был покрыт церковной парчой. На парчовой скатерти стояло множество бутылок — пузатых, заплесневевших и пыльных. Между бутылками поблескивало блюдо, и сразу было видно, что это блюдо из чистого золота. У камина маленький рыжий, с ножом за поясом, на длинной стальной шпате жарил куски мяса, и сок капал в огонь, и в дымоход уходил дым. Пахло не только жареным, но еще какими-то крепчайшими духами и ладаном, отчего у буфетчика, уже знавшего из газет о гибели Берлиоза и о месте его проживания, мелькнула мысль о том, что уж не служили ли, чего доброго, по Берлиозу церковную панихиду, каковую мысль, впрочем, он тут же отогнал от себя как заведомо нелепую.

Ошеломленный буфетчик неожиданно услышал тяжелый бас:

— Ну-с, чем я вам могу быть полезен?

Тут буфетчик и обнаружил в тени того, кто был ему нужен.

Черный маг раскинулся на каком-то необъятном диване, низком, с разбросанными на нем подушками. Как показалось буфетчику, на артисте было только черное белье и черные же остроносые туфли.

— Я, — горько заговорил буфетчик, — являюсь заведующим буфетом театра Варьете...

Артист вытянул вперед руку, на пальцах которой сверкали камни, как бы заграждая уста буфетчику, и заговорил с большим жаром:

— Нет, нет, нет! Ни слова больше! Ни в каком случае и никогда! В рот ничего не возьму в вашем буфете! Я, почтеннейший, проходил вчера мимо вашей стойки и до сих пор не могу забыть ни осетрины, ни брынзы. Драгоценный мой! Брынза не бывает зеленого цвета,

это вас кто-то обманул. Ей полагается быть блшой. Да, а чай? Ведь это же помои! Я своими глазами видел, как какая-то неопрятная девушка подливала из ведра в ваш громадный самовар сырую воду, а чай между тем продолжали разливать. Нет, милейший, так невозможно!

— Я извиняюсь, — заговорил ошеломленный этим внезапным нападением Андрей Фокич, — я не по этому делу, и осетрина здесь ни при чем.

— То есть как это ни при чем, если она испорчена!

— Осетрину прислали второй свежести, — сообщил буфетчик.

— Голубчик, это вздор!

— Чего вздор?

— Вторая свежесть — вот что вздор! Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!

— Я извиняюсь... — начал было опять буфетчик, не зная, как отделаться от придирающегося к нему артиста.

— Извинить не могу, — твердо сказал тот.

— Я не по этому делу пришел, — совсем расстраиваясь, проговорил буфетчик.

— Не по этому? — удивился иностранный маг. — А какое же еще дело могло вас привести ко мне? Если память не изменяет мне, из лиц, близких вам по профессии, я знался только с одною маркитанткой, но и то давно, когда вас еще не было на свете. Впрочем, я рад. Азazelло! Табурет господину заведующему буфетом!

Тот, что жарил мясо, повернулся, причем ужаснул буфетчика своими клыками, и ловко подал ему один из темных дубовых низеньких табуретов. Других сидений в комнате не было.

Буфетчик вымолвил:

— Покорнейше благодарю, — и опустился на скамеечку. Задняя ее ножка тотчас с треском подломилась, и буфетчик, охнув, пребольно ударился задом об пол. Падая, он поддел ногой другую скамеечку, стоявшую перед ним, и с нее опрокинул себе на брюки полную чашу красного вина.

Артист воскликнул:

— Ай! Не ушиблись ли вы?

Азazelло помог буфетчику подняться, подал другое сиденье. Полным горя голосом буфетчик отказался от предложения хозяина снять штаны и просушить их перед огнем и, чувствуя себя невыносимо неудобно в мокром белье и платье, сел на другую скамеечку с опаской.

— Я люблю сидеть низко, — заговорил артист, — с низкого не так опасно падать. Да, итак, мы остановились на осетрине? Голубчик мой! Свежесть, свежесть и свежесть, вот что должно быть девизом всякого буфетчика. Да вот, не угодно ли отведать...

Тут в багровом свете от камина блеснула перед буфетчиком шпага, и Азazelло выложил на золотую тарелку шипящий кусок мяса, полил его лимонным соком и подал буфетчику золотую двузубую вилку.

— Покорнейше... я...

— Нет, нет, попробуйте!

Буфетчик из вежливости положил кусочек в рот и сразу понял, что жует что-то действительно очень свежее и, главное, необыкновенно вкусное. Но, прожевывая душистое, сочное мясо, буфетчик едва не подавился и не упал вторично. Из соседней комнаты влетела большая темная птица и тихонько задела крылом лысину буфетчика. Сев на каминную полку рядом с часами, птица оказалась совой. «Господи боже мой!» — подумал нервный, как все буфетчики, Андрей Фокич. — Вот квартирка!»

— Чашу вина. Белое, красное? Вино какой страны вы предпочитаете в это время дня?

— Покорнейше... я не пью...

— Напрасно! Так не прикажете ли партию в кости? Или вы любите другие какие-нибудь игры? Домино, карты?

— Не играю, — уже утомленный, отозвался буфетчик.

— Совсем худо, — заключил хозяин, — что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих. Правда, возможны исключения. Среди лиц, сядившихся со мною за пиршественный стол, попадались иногда удивительные подлецы! Итак, я слушаю ваше дело.

— Вчера вы изволили фокусы делать...

— Я?! — воскликнул в изумлении маг. — Помило-
срдствуйте. Мне это даже как-то не к лицу!

— Виноват, — сказал опешивший буфетчик, — да
ведь... сеанс черной магии...

— Ах, ну да, ну да! Дорогой мой! Я открою вам
тайну: я вовсе не артист, а просто мне хотелось пови-
дать москвичей в массе, а удобнее всего это было сде-
лать в театре. Ну вот моя свита, — он кивнул в сторону
кота, — и устроила этот сеанс, я же лишь сидел и
смотрел на москвичей. Но не меняйтесь в лице, а ска-
жите: что же в связи с этим сеансом привело вас ко
мне?

— Изволите ли видеть, в числе прочего бумажки
слетели с потолка... — буфетчик понизил голос и кон-
фузливо оглянулся, — ну, их все и похватали. И вот
заходит ко мне в буфет молодой человек, дает черво-
нец, я сдачи ему восемь с полтиной... Потом другой...

— Тоже молодой человек?

— Нет, пожилой. Третий, четвертый... Я всё даю сда-
чи. А сегодня стал проверять кассу, глядь, а вместо
денег — резаная бумага. На сто девять рублей наказали
буфет.

— Ай-яй-яй! — воскликнул артист. — Да неужели
же они думали, что это настоящие бумажки? Я не до-
пускаю мысли, чтобы они это сделали сознательно.

Буфетчик как-то криво и тоскливо оглянулся, но
ничего не сказал.

— Неужели мошенники? — тревожно спросил у го-
стя маг. — Неужели среди москвичей есть мошенники?

В ответ буфетчик так горько улыбнулся, что отпали
всякие сомнения: да, среди москвичей есть мошенники.

— Это низко! — возмутился Воланд. — Вы человек
бедный... Ведь вы — человек бедный?

Буфетчик втянул голову в плечи, так что стало вид-
но, что он человек бедный.

— У вас сколько имеется сбережений?

Вопрос был задан участливым тоном, но все-таки
такой вопрос нельзя не признать неделикатным. Буфет-
чик замялся.

— Двести сорок девять тысяч рублей в пяти сбер-
кассах, — отозвался из соседней комнаты треснувший
голос, — и дома под полом двести золотых десятков.

Буфетчик как будто прикипел к своему табурету.

— Ну, конечно, это не сумма, — снисходительно

сказал Воланд своему гостю, — хотя, впрочем, и она, собственно, вам не нужна. Вы когда умрете?

Тут уж буфетчик возмутился.

— Это никому не известно и никого не касается, — ответил он.

— Ну да, неизвестно, — послышался все тот же дрянной голос из кабинета, — подумаешь, бином Ньютона! Умрет он через девять месяцев, в феврале будущего года, от рака печени в клинике Первого МГУ, в четвертой палате.

Буфетчик стал желт лицом.

— Девять месяцев, — задумчиво считал Воланд, — двести сорок девять тысяч... Это выходит круглым счетом двадцать семь тысяч в месяц? Маловато, но при скромной жизни хватит... Да еще эти десятки...

— Десятки реализовать не удастся, — ввязался все тот же голос, леденя сердце буфетчика, — по смерти Андрея Фокича дом немедленно сломают, и десятки будут отправлены в Госбанк.

— Да я и не советовал бы вам ложиться в клинику, — продолжал артист, — какой смысл умирать в палате под стоны и хрипы безнадежных больных. Не лучше ли устроить пир на эти двадцать семь тысяч и, приняв яд, переселиться под звуки струн, окруженным хмельными красавицами и лихими друзьями?

Буфетчик сидел неподвижно и очень постарел. Темные кольца окружили его глаза, щеки обвисли, и нижняя челюсть отвалилась.

— Впрочем, мы замечались! — воскликнул хозяин. — К делу. Покажите вашу резаную бумагу.

Буфетчик, волнуясь, вытащил из кармана пачку, развернул ее и остолбенел. В обрывке газеты лежали червонцы.

— Дорогой мой, вы действительно нездоровы, — сказал Воланд, пожимая плечами.

Буфетчик, дико улыбаясь, поднялся с табурета.

— А, — заикаясь, проговорил он, — а если они опять того...

— Гм... — задумался артист, — ну, тогда приходите к нам опять. Милости просим! Рад нашему знакомству.

Тут же выскочил из кабинета Коровьев, вцепился в руку буфетчику, стал ее трясти и упрашивать Андрея Фокича всем, всем передать поклоны. Плохо что-либо соображая, буфетчик тронулся в переднюю.

— Гелла, проводи! — кричал Коровьев.

Опять-таки эта рыжая нагая в передней! Буфетчик протиснулся в дверь, пискнул «до свидания» и пошел как пьяный. Пройдя немного вниз, он остановился, сел на ступеньки, вынул пакет, проверил — червонцы были на месте. Тут из квартиры, выходящей на эту площадку, вышла женщина с зеленой сумкой. Увидев человека, сидящего на ступеньке и тупо глядящего на червонцы, улыбнулась и сказала задумчиво:

— Что за дом у нас такой... И этот с утра пьяный. Стекло выбили опять на лестнице! — Всмотревшись повнимательнее в буфетчика, она добавила: — Э, да у вас, гражданин, червонцев-то куры не клюют! Ты бы со мной поделился, а?

— Оставь ты меня, Христа ради, — испугался буфетчик и проворно спрятал деньги. Женщина рассмеялась:

— Да ну тебя к лешему, скаред! Я пошутила... — и пошла вниз.

Буфетчик медленно поднялся, поднял руку, чтобы поправить шляпу, и убедился, что ее на голове нету. Ужасно ему не хотелось возвращаться, но шляпы было жалко. Немного поколебавшись, он все-таки вернулся и позвонил.

— Что вам еще? — спросила его проклятая Гелла.

— Я шляпочку забыл, — шепнул буфетчик, тыча себе в лысину.

Гелла повернулась, буфетчик мысленно плюнул и закрыл глаза. Когда он их открыл, Гелла подавала ему его шляпу и шпагу с темной рукоятью.

— Не мое, — шепнул буфетчик, отпихивая шпагу и быстро надевая шляпу.

— Разве вы без шпаги пришли? — удивилась Гелла.

Буфетчик что-то буркнул и быстро пошел вниз. Голове его было почему-то неудобно и слишком тепло в шляпе; он снял ее и, подпрыгнув от страха, тихо вскрикнул. В руках у него был бархатный берет с пестрым потрепанным пером. Буфетчик перекрестился. В то же мгновение берет мякнул, превратился в черного котенка и, вскочив обратно на голову Андрею Фокичу, всеми когтями впился в его лысину. Испустив крик отчаяния, буфетчик кинулся бежать вниз, а котенок свалился с головы и брызнул вверх по лестнице.

Вырвавшись на воздух, буфетчик рысью пробежал к воротам и навсегда покинул чертов дом № 302-бис.

Превосходно известно, что с ним было дальше. Вырвавшись из подворотни, буфетчик диковато оглянулся, как будто что-то ища. Через минуту он был на другой стороне улицы в аптеке. Лишь только он произнес слова: «Скажите, пожалуйста...» — как женщина за прилавком воскликнула:

— Гражданин! У вас же вся голова изрезана!..

Минут через пять буфетчик был перевязан марлей, узнал, что лучшими специалистами по болезни печени считаются профессора Бернадский и Кузьмин, спросил, кто ближе, загорелся от радости, когда узнал, что Кузьмин живет буквально через двор в маленьком беленьком особнячке, и минуты через две был в этом особнячке.

Помещенице было старинное, но очень, очень уютное. Запомнилось буфетчику, что первая попалась ему навстречу старенькая нянька, которая хотела взять у него шляпу, но так как шляпы у него не оказалось, то нянька, жуя пустым ртом, куда-то ушла.

Вместо нее оказалась у зеркала и, кажется, под какой-то аркой женщина средних лет и тут же сказала, что можно записаться только на девятнадцатое, не раньше. Буфетчик сразу смекнул, в чем спасение. Заглянув утасоющим глазом за арку, где в какой-то явной передней ждали три человека, он шепнул:

— Смертельно больной...

Женщина недоуменно поглядела на забинтованную голову буфетчика, поколебалась, сказала:

— Ну что ж... — и пропустила буфетчика за арку.

В то же мгновение противоположная дверь открылась, в ней блеснуло золотое пенсне, женщина в халате сказала:

— Граждане, этот больной пойдет вне очереди.

И не успел буфетчик оглянуться, как он оказался в кабинете профессора Кузьмина. Ничего страшного, торжественного и медицинского не было в этой продолговатой комнате.

— Что с вами? — спросил приятным голосом профессор Кузьмин и несколько тревожно поглядел на забинтованную голову.

— Сейчас из достоверных рук узнал, — ответил буфетчик, одичало поглядывая на какую-то фотографическую группу за стеклом, — что в феврале будущего года умру от рака печени. Умоляю остановить.

Профессор Кузьмин как сидел, так и откинулся на высокую кожаную готическую спинку кресла.

— Простите, не понимаю вас... вы что, были у врача? Почему у вас голова забинтована?

— Какого там врача?.. Видали бы вы этого врача!.. — ответил буфетчик и вдруг застучал зубами. — А на голову не обращайтесь внимания, не имеет отношения. На голову плюньте, она здесь ни при чем. Рак печени, прошу остановить.

— Да позвольте, кто вам сказал?

— Верьте ему! — пламенно попросил буфетчик. — Уж он знает!

— Ничего не понимаю, — пожимая плечами и отъезжая с креслом от стола, говорил профессор. — Как же он может знать, когда вы померете? Тем более, что он не врач!

— В четвертой палате, — ответил буфетчик.

Тут профессор посмотрел на своего пациента, на его голову, на сырые брюки и подумал: «Вот еще не хватало! Сумасшедший!» Спросил:

— Вы пьете водку?

— Никогда не прикасался, — ответил буфетчик.

Через минуту он был раздет, лежал на холодной клеенчатой кушетке, и профессор мнял его живот. Тут, надо сказать, буфетчик значительно повеселел. Профессор категорически утверждал, что сейчас, по крайней мере в данный момент, никаких признаков рака у буфетчика нет. Но что раз так... раз он боится и какой-то шарлатан его напугал, то нужно сделать все анализы...

Профессор строчил на листках бумаги, объясняя, куда пойти, что отнести. Кроме того, дал записку к профессору-невропатологу Буре, объясняя буфетчику, что нервы у него в полном беспорядке.

— Сколько вам платить, профессор? — нежным и дрожащим голосом спросил буфетчик, вытаскивая толстый бумажник.

— Сколько хотите, — отрывисто и сухо ответил профессор.

Буфетчик вынул тридцать рублей и выложил их на стол, а затем неожиданно мягко, как будто кошачьей лапкой оперируя, положил сверх червонцев звякнувший столбик в газетной бумажке.

— А это что такое? — спросил Кузьмин и подкрутил ус.

— Не брезгуйте, гражданин профессор, — прошептал буфетчик, — умоляю — остановите рак.

— Уберите сейчас же ваше золото, — сказал профессор, гордясь собой. — Вы бы лучше за нервами смотрели. Завтра же дайте мочу на анализ, не пейте много чаю и ешьте без соли совершенно.

— Даже суп не солить? — спросил буфетчик.

— Ничего не солить, — приказал Кузьмин.

— Эхх!.. — тоскливо воскликнул буфетчик, умиленно глядя на профессора, забирая десятки и задом пятясь к двери.

Больных в тот вечер у профессора было немного, и с приближением сумерек ушел последний. Снимая халат, профессор глянул на то место, где буфетчик оставил червонцы, и увидел, что никаких червонцев там нет, а лежат три этикетки с бутылок «Абрау-Дюрсо».

— Черт знает что такое! — пробормотал Кузьмин, волоча полу халата по полу и ощупывая бумажки. — Он, оказывается, не только шизофреник, но и жулик! Но я не могу понять, что ему понадобилось от меня? Неужели записка на анализ мочи? О! Он украл пальто! — И профессор кинулся в переднюю, опять-таки в халате на один рукав. — Ксения Никитишна! — пронзительно закричал он в дверях передней. — Посмотрите, пальто целы?

Выяснилось, что все пальто целы. Но зато, когда профессор вернулся к столу, содрав наконец с себя халат, он как бы врос возле стола в паркет, приковавшись взглядом к своему столу. На том месте, где лежали этикетки, сидел черный котенок-сирота с несчастливой мордочкой и мяукал над блюдечком с молоком.

— Эт-то что же такое, позвольте?! Это уже... — Кузьмин почувствовал, как у него похолодел затылок.

На тихий и жалобный крик профессора прибежала Ксения Никитишна и совершенно его успокоила, сразу сказав, что это, конечно, кто-нибудь из пациентов подбросил котенка, что это нередко бывает у профессоров.

— Живут, наверно, бедно, — объясняла Ксения Никитишна, — ну, а у нас, конечно...

Стали думать и гадать, кто бы мог подбросить. Подозрение пало на старушку с язвой желудка.

— Она, конечно, — говорила Ксения Никитишна, — она думает так: мне все равно помирать, а котеночка жалко.

— Но позвольте! — закричал Кузьмин. — А что же молоко?! Она тоже принесла? Блюдечко-то, а?

— Она в пузыречке принесла, здесь вылила в блюдечко, — пояснила Ксения Никитишна.

— Во всяком случае, уберите и котенка и блюдечко, — сказал Кузьмин и сам сопровождал Ксению Никитишну до двери. Когда он вернулся, обстановка изменилась.

Вешая халат на гвоздик, профессор услышал во дворе хохот, выглянул, натурально, оторопел. Через двор пробегала в противоположный флигелек дама в одной рубашке. Профессор даже знал, как ее зовут, — Марья Александровна. Хохотал мальчишка.

— Что такое? — презрительно сказал Кузьмин.

Тут за стенкой, в комнате дочери профессора, заиграл патефон фокстрот «Аллилуйя», и в то же мгновение послышалось воробьиное чириканье за спиной у профессора. Он обернулся и увидел на столе у себя крупного прыгающего воробья.

«Гм... спокойно... — подумал профессор, — он влетел, когда я отходил от окна. Все в порядке!» — приказал себе профессор, чувствуя, что все в полном беспорядке и, конечно, главным образом из-за этого воробья. Присмотревшись к нему, профессор сразу убедился, что этот воробей — не совсем простой воробей. Паскудный воробушек припадал на левую лапку, явно кривлялся, волоча ее, работал синкопами, — одним словом, приплясывал фокстрот под звуки патефона, как пьяный у стойки. Хамил, как умел, поглядывая на профессора нагло.

Рука Кузьмина легла на телефон, и он собрался позвонить своему однокурснику Буре, чтобы спросить, что означают такого рода воробушки в шестьдесят лет, да еще когда вдруг кружится голова?

Воробушек же тем временем сел на подаренную чернильницу, нагадил в нее (я не шучу!), затем взлетел вверх, повис в воздухе, потом с размаху будто стальным клювом клюнул в стекло фотографии, изображающей полный университетский выпуск 94-го года, разбил стекло вдребезги и затем уже улетел в окно.

Профессор переключил номер на телефоне и вместо того, чтобы позвонить Буре, позвонил в бюро пивов, сказал, что говорит профессор Кузьмин и что он просит сейчас же прислать ему пивов на дом.

Положив трубку на рычажок, опять-таки профессор повернулся к столу и тут же испустил вопль. За столом этим сидела в косынке сестры милосердия женщина с сумочкой, с надписью на ней: «Пиявки». Вопил профессор, взглядевшись в ее рот. Он был мужской, кривой, до ушей, с одним клыком. Глаза у сестры были мертвые.

— Денежки я приберу, — мужским басом сказала сестра, — нечего им тут валяться. — Сгребла птичьей лапой этикетки и стала таять в воздухе.

Прошло часа два. Профессор Кузьмин сидел в спальне на кровати, причем пиявки висели у него на висках, за ушами и на шее. В ногах у Кузьмина, на шелковом стеганом одеяле, сидел седоусый профессор Буре, соболезнующе глядел на Кузьмина и утешал его, что все это вздор. В окне уже была ночь.

Что дальше происходило диковинного в Москве в эту ночь, мы не знаем и доискиваться, конечно, не станем, — тем более что настает пора переходить нам ко второй части этого правдивого повествования. За мной, читатель!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Г л а в а 19

МАРГАРИТА

За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык!

За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь!

Нет! Мастер ошибался, когда с горечью говорил Иванушке в больнице в тот час, когда ночь переваливалась через полночь, что она позабыла его. Этого быть не могло. Она его, конечно, не забыла.

Прежде всего откроем тайну, которой мастер не пожелал открыть Иванушке. Возлюбленную его звали Маргаритой Николаевной. Все, что мастер говорил о ней бедному поэту, было сущей правдой. Он описал свою возлюбленную верно. Она была красива и умна.

К этому надо добавить еще одно: с уверенностью можно сказать, что многие женщины все что угодно отдали бы за то, чтобы променять свою жизнь на жизнь Маргариты Николаевны. Бездетная тридцатилетняя Маргарита была женою очень крупного специалиста, к тому же сделавшего важнейшее открытие государственного значения. Муж ее был молод, красив, добр, честен и обожал свою жену. Маргарита Николаевна со своим мужем вдвоем занимали весь верх прекрасного особняка в саду в одном из переулков близ Арбата. Очаровательное место! Всякий может в этом убедиться, если пожелает направиться в этот сад. Пусть обратится ко мне, я скажу ему адрес, укажу дорогу — особняк цел еще до сих пор.

Маргарита Николаевна не нуждалась в деньгах. Маргарита Николаевна могла купить все, что ей понравится. Среди знакомых ее мужа попадались интересные люди. Маргарита Николаевна никогда не прикасалась к примусу. Маргарита Николаевна не знала ужасов житья в совместной квартире. Словом... она была счастлива? Ни одной минуты! С тех пор, как девятнадцатилетней она вышла замуж и попала в особняк, она не знала счастья. Боги, боги мои! Что же нужно было этой женщине?! Что нужно было этой женщине, в глазах которой всегда горел какой-то непонятный огонечек? Что нужно было этой чуть косящей на один глаз ведьме, украсившей себя тогда весною мимозами? Не знаю. Мне неизвестно. Очевидно, она говорила правду, ей нужен был он, мастер, а вовсе не готический особняк, и не отдельный сад, и не деньги. Она любила его, она говорила правду.

Даже у меня, правдивого повествователя, но постороннего человека, сжимается сердце при мысли о том, что испытала Маргарита, когда пришла на другой день в домик мастера, по счастью, не успев переговорить с мужем, который не вернулся в назначенный срок, и узнала, что мастера уже нет. Она сделала все, чтобы разузнать что-нибудь о нем, и, конечно, не разузнала ровно ничего. Тогда она вернулась в особняк и зажила на прежнем месте.

Но лишь только исчез грязный снег с тротуаров и мостовых, лишь только потянуло в форточки гниловатым беспокойным ветром весны, Маргарита Николаевна затосковала пуще, чем зимой. Она плакала часто

втайне долгим и горьким плачем. Она не знала, кого она любит: живого или мертвого? И чем дальше шли отчаянные дни, тем чаще, и в особенности в сумерки, ей приходила мысль о том, что она связана с мертвым.

Нужно было или забыть его, или самой умереть. Ведь нельзя же влачить такую жизнь. Нельзя! Забыть его, чего бы ни стоило — забыть! Но он не забывается, вот горе в чем.

— Да, да, да, такая же самая ошибка! — говорила Маргарита, сидя у печки и глядя в огонь, зажженный в память того огня, что горел тогда, когда он писал Понтия Пилата. — Зачем я тогда ночью ушла от него? Зачем? Ведь это же безумие! Я вернулась на другой день, честно, как обещала, но было уже поздно. Да, я вернулась, как несчастный Левий Матвей, слишком поздно!

Все эти слова были, конечно, нелепы, потому что, в самом деле, что изменилось бы, если бы она в ту ночь осталась у мастера? Разве она спасла бы его? Смешно! — воскликнули бы мы, но мы этого не сделаем перед доведенной до отчаяния женщиной.

В тот самый день, когда происходила всякая нелепая кутерьма, вызванная появлением черного мага в Москве, в пятницу, когда был изгнан обратно в Киев дядя Берлиоза, когда арестовали бухгалтера и произошло еще множество других глупейших и непонятных вещей, Маргарита проснулась около полудня в своей спальне, выходящей фонарем в башню особняка.

Проснувшись, Маргарита не заплакала, как это бывало часто, потому что проснулась с предчувствием, что сегодня наконец что-то произойдет. Ощувив это предчувствие, она стала его подогревать и растить в своей душе, опасаясь, чтобы оно ее не покинуло.

— Я верую! — шептала Маргарита торжественно. — Я верую! Что-то произойдет! Не может не произойти, потому что за что же, в самом деле, мне послана пожизненная мука? Сознаюсь в том, что я лгала и обманывала и жила тайною жизнью, скрытой от людей, но все же нельзя за это наказывать так жестоко. Что-то случится непременно, потому что не бывает так, чтобы что-нибудь тянулось вечно. А кроме того, мой сон был вещий, за это я ручаюсь.

Так шептала Маргарита Николаевна, глядя на пунцовые шторы, наливающиеся солнцем, беспокойно оде-

ваясь, расчесывая перед тройным зеркалом короткие завитые волосы.

Сон, который приснился в эту ночь Маргарите, был действительно необычен. Дело в том, что во время своих зимних мучений она никогда не видела во сне мастера. Ночью он оставлял ее, и мучилась она только в дневные часы. А тут приснился.

Приснилась неизвестная Маргарите местность — безнадежная, унылая, под пасмурным небом ранней весны. Приснилось это клочковатое бегущее серенькое небо, а под ним беззвучная стая грачей. Какой-то корявый мостик, под ним мутная весенняя речонка. Безрадостные, нищенские полуголые деревья. Одинокая осина, а далее, меж деревьев, за каким-то огородом, бревенчатое зданье, не то оно — отдельная кухня, не то баня, не то черт его знает что. Неживое все кругом какое-то и до того унылое, что так и тянет повеситься на этой осине у мостика. Ни дуновения ветерка, ни шевеления облака и ни живой души. Вот адское место для живого человека!

И вот, вообразите, распахивается дверь этого бревенчатого здания, и появляется он. Довольно далеко, но отчетливо виден. Оборван он, не разберешь, во что он одет. Волосы всклокочены, небрит. Глаза больные, встревоженные. Манит ее рукой, зовет. Захлебываясь в неживом воздухе, Маргарита по кочкам побежала к нему и в это время проснулась.

«Сон этот может означать только одно из двух, — рассуждала сама с собой Маргарита Николаевна, — если он мертв и поманил меня, то это значит, что он приходил за мною, и я скоро умру. Это очень хорошо, потому что мучениям тогда настает конец. Или он жив, тогда сон может означать только одно, что он напоминает мне о себе! Он хочет сказать, что мы еще увидимся. Да, мы увидимся очень скоро!»

Находясь все в том же возбужденном состоянии, Маргарита оделась и стала внушать себе, что, в сущности, складывается очень удачно, а такие удачные моменты надо уметь ловить и пользоваться ими. Муж уехал в командировку на целых три дня. В течение трех суток она предоставлена самой себе, никто не мешает ей думать о чем угодно, мечтать о том, что ей нравится. Все пять комнат в верхнем этаже особняка, вся эта квартира, которой в Москве позавидовали

бы десятки тысяч людей, в ее полном распоряжении.

Однако, получив свободу на целых три дня, из всей этой роскошной квартиры Маргарита выбрала далеко не самое лучшее место. Напившись чаю, она ушла в темную, без окон, комнату, где хранились чемоданы и разное старье в двух больших шкафах. Присев на корточки, она открыла нижний ящик первого из них и из-под груды шелковых обрезков достала то единственно ценное, что имела в жизни. В руках у Маргариты оказался старый альбом коричневой кожи, в котором была фотографическая карточка мастера, книжка сберегательной кассы со вкладом в десять тысяч на его имя, распластанные между листками папиросной бумаги лепестки засохшей розы и часть тетради в целый лист, исписанной на машинке и с обгоревшим нижним краем.

Вернувшись с этим богатством к себе в спальню, Маргарита Николаевна установила на трехстворчатом зеркале фотографию и просидела около часу, держа на коленях испорченную огнем тетрадь, перелистывая ее и перечитывая то, в чем после сожжения не было ни начала, ни конца: «...Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, Хасмонеийский дворец с бойницами, базары, караван-сарай, переулки, пруды... Пропал Ершалаим — великий город, как будто не существовал на свете...»

Маргарите хотелось читать дальше, но дальше ничего не было, кроме неровной угольной бахромы.

Утирая слезы, Маргарита Николаевна оставила тетрадь, локти положила на подзеркальный столик и, отражаясь в зеркале, долго сидела, не спуская глаз с фотографии. Потом слезы высохли. Маргарита аккуратно сложила свое имущество, и через несколько минут оно было опять погребено под шелковыми тряпками, и со звоном в темной комнате закрылся замок.

Маргарита Николаевна надевала в передней пальто, чтобы идти гулять. Красавица Наташа, ее домработница, осведомилась о том, что сделать на второе, и, получив ответ, что это безразлично, чтобы развлечь самое себя, вступила со своей хозяйкой в разговор и стала рассказывать бог знает что, вроде того, что вчера в те-

атре фокусник такие фокусы показывал, что все ахнули, всем раздавал по два флакона заграничных духов и чулки бесплатно, а потом, как сеанс кончился, публика вышла на улицу, и — хватать — все оказались голые! Маргарита Николаевна повалилась на стул под зеркалом в передней и захохотала.

— Наташа! Ну как вам не стыдно, — говорила Маргарита Николаевна, — вы грамотная, умная девушка; в очередях врут черт знает что, а вы повторяете!

Наташа залилась румянцем и с большим жаром возразила, что ничего не врут и что она сегодня сама лично в гастрономе на Арбате видела одну гражданку, которая пришла в гастроном в туфлях, а как стала у кассы платить, туфли у нее с ног исчезли и она осталась в одних чулках. Глаза выгнутые, на пятке дыра! А туфли эти волшебные, с того самого сеанса.

— Так и пошла?

— Так и пошла! — вскрикивала Наташа, все больше краснея оттого, что ей не верят. — Да вчера, Маргарита Николаевна, милиция человек сто ночью забрала. Гражданки с этого сеанса в одних панталонах бежали по Тверской.

— Ну, конечно, это Дарья рассказывала, — говорила Маргарита Николаевна, — я давно уже за ней замечала, что она страшная врунья.

Смешной разговор закончился приятным сюрпризом для Наташи. Маргарита Николаевна пошла в спальню и вышла оттуда, держа в руках пару чулок и флакон одеколона. Сказав Наташе, что она тоже хочет показать фокус, Маргарита Николаевна подарила ей и чулки и склянку и сказала, что просит ее только об одном — не бегать в одних чулках по Тверской и не слушать Дарью. Расцеловавшись, хозяйка и домработница расстались.

Откинувшись на удобную, мягкую спинку кресла в троллейбусе, Маргарита Николаевна ехала по Арбату и то думала о своем, то прислушивалась к тому, о чем шепчутся двое граждан, сидящие впереди нее.

А те, изредка оборачиваясь с опаской, не слышит ли кто, перешептывались о какой-то ерунде. Здоровенный, мясистый, с бойкими свиными глазками, сидящий у окна, тихо говорил маленькому своему соседу о том, что пришлось закрыть гроб черным покрывалом...

— Да не может быть! — поражаясь, шептал малень-

кий. — Это что-то неслыханное... А что же Желдыбин предпринял?

Среди ровного гудения троллейбуса слышались слова от окошка:

— Уголовный розыск... скандал... ну, прямо мистика!

Из этих отрывочных кусочков Маргарита Николаевна кое-как составила что-то связное. Граждане шептались о том, что у какого-то покойника, а какого — они не называли, сегодня утром из гроба украли голову! Вот из-за этого Желдыбин этот самый так и волнуется теперь. А двое, что шепчутся в троллейбусе, тоже имеют какое-то отношение к обокраденному покойнику.

— Поспеем ли за цветами заехать? — беспокоился маленький. — Кремация, ты говоришь, в два?

Наконец Маргарите Николаевне надоело слушать эту таинственную трепотню про украденную из гроба голову, и она обрадовалась, что ей пора выходить.

Через несколько минут Маргарита Николаевна уже сидела под Кремлевской стеной на одной из скамеек, поместившись так, что ей был виден манеж.

Маргарита щурилась на яркое солнце, вспоминала свой сегодняшний сон, вспоминала, как ровно год, день в день и час в час, на этой же самой скамье она сидела рядом с ним. И точно так же, как и тогда, черная сумочка лежала рядом с нею на скамейке. Его не было рядом в этот день, но разговаривала мысленно Маргарита Николаевна все же с ним: «Если ты сослан, то почему же ты не даешь знать о себе? Ведь дают же люди знать. Ты разлюбил меня? Нет, я почему-то этому не верю. Значит, ты был сослан и умер... Тогда, прошу тебя,пусти меня, дай мне наконец свободу жить, дышать воздухом!» Маргарита Николаевна сама отвечала себе за него: «Ты свободна... Разве я держу тебя?» Потом возражала ему: «Нет, что же это за ответ? Нет, ты уйди из моей памяти, тогда я стану свободна».

Люди проходили мимо Маргариты Николаевны. Какой-то мужчина покосился на хорошо одетую женщину, привлеченный ее красотой и одиночеством. Он кашлянул и присел на кончик той же скамьи, на которой сидела Маргарита Николаевна. Набравшись духу, он заговорил:

— Определенно хорошая погода сегодня...

Но Маргарита так мрачно поглядела на него, что он поднялся и ушел.

«Вот и пример, — мысленно говорила Маргарита тому, кто владел ею, — почему, собственно, я прогнала этого мужчину? Мне скучно, а в этом ловеласе нет ничего дурного, разве только что глупое слово «определенно»? Почему я сижу, как сова, под стеной одна? Почему я исключена из жизни?»

Она совсем запечалилась и понурилась. Но тут вдруг та самая утренняя волна ожидания и возбуждения толкнула ее в грудь. «Да, случится!» Волна толкнула ее вторично, и тут она поняла, что это волна звуковая. Сквозь шум города все отчетливее слышались приближающиеся удары барабана и звуки немного фальшивящих труб.

Первым показался шагом едущий мимо решетки сада конный милиционер, а за ним три пеших. Затем медленно едущий грузовик с музыкантами. Далее — медленнодвигающаяся похоронная новенькая открытая машина, на ней гроб весь в венках, а по углам площадки — четыре стоящих человека: трое мужчин, одна женщина.

Даже на расстоянии Маргарита разглядела, что лица стоящих в похоронной машине людей, сопровождающих покойника в последний путь, какие-то странно растерянные. В особенности это было заметно в отношении гражданки, стоявшей в левом заднем углу автодрога. Толстые щеки этой гражданки как будто изнутри распирало еще больше какою-то пикантной тайной, в заплавленных глазках играли двусмысленные огоньки. Казалось, что вот-вот, еще немного, и гражданка, не вытерпев, подмигнет на покойника и скажет: «Видали вы что-либо подобное? Прямо мистика!» Столь же растерянные лица были и у пеших провожающих, которые, в количестве человек трехсот примерно, медленно шли за похоронной машиной.

Маргарита провожала глазами шествие, прислушиваясь к тому, как затихает вдали унылый турецкий барабан, выделяющий одно и то же «бумс, бумс, бумс», и думала: «Какие странные похороны... И какая тоска от этого «бумса»! Ах, право, дьяволу бы я заложила душу, чтобы только узнать, жив он или нет?.. Интересно знать, кого это хоронят с такими удивительными лицами?»

— Берлиоза Михаила Александровича, — слышался рядом несколько носовой мужской голос, — председателя Массолита.

Удивленная Маргарита Николаевна повернулась и увидела на своей скамейке гражданина, который, очевидно, бесшумно подсел в то время, когда Маргарита загляделась на процессию и, надо полагать, в рассеянности вслух задала свой последний вопрос.

Процессия тем временем стала приостанавливаться, вероятно, задерживаемая впереди светофорами.

— Да, — продолжал неизвестный гражданин, — удивительное у них настроение. Везут покойника, а думают только о том, куда девалась его голова!

— Какая голова? — спросила Маргарита, вглядываясь в неожиданного соседа. Сосед этот оказался маленького роста, пламенно-рыжий, с клыком, в крахмальном белье, в полосатом добротном костюме, в лакированных туфлях и с котелком на голове. Галстук был яркий. Удивительно было то, что из кармашка, где обычно мужчины носят платочек или самопишущее перо, у этого гражданина торчала обглоданная куриная кость.

— Да, извольте ли видеть, — объяснил рыжий, — сегодня утром в грибоедовском зале голову у покойника стащили из гроба.

— Как же это может быть? — невольно спросила Маргарита, в то же время вспомнив шепот в троллейбусе.

— Черт его знает как! — развязно ответил рыжий. — Я, впрочем, полагаю, что об этом Бегемота не худо бы спросить. До ужаса ловко сперли. Такой скандалище! И, главное, непонятно, кому и на что она нужна, эта голова!

Как ни была занята своим Маргарита Николаевна, ее все же поразили странные слова неизвестного гражданина.

— Позвольте! — вдруг воскликнула она. — Какого Берлиоза? Это, что в газетах сегодня...

— Как же, как же...

— Так это, стало быть, литераторы за гробом идут? — спросила Маргарита и вдруг оскалилась.

— Ну, натурально, они!

— А вы их знаете в лицо?

— Всех до единого, — ответил рыжий.

— Скажите, — заговорила Маргарита, и голос ее стал глух, — среди них нету критика Латунского?

— Как же его может не быть? — ответил рыжий. — Вон он с краю в четвертом ряду.

— Это блондин-то? — щурясь, спросила Маргарита.
— Пепельного цвета... Видите, он глаза вознес к небу.

— На патера похож?

— Во-во!

Больше Маргарита ничего не спросила, всматриваясь в Латунского.

— А вы, как я вижу, — улыбаясь, заговорил рыжий, — ненавидите этого Латунского.

— Я еще кой-кого ненавижу, — сквозь зубы ответила Маргарита, — но об этом неинтересно говорить.

Процессия в это время двинулась дальше, за пешими потянулись большей частью пустые автомобили.

— Да уж, конечно, чего тут интересного, Маргарита Николаевна!

Маргарита удивилась:

— Вы меня знаете?

Вместо ответа рыжий снял котелок и взял его на отлет.

«Совершенно разбойничья рожа!» — подумала Маргарита, вглядываясь в своего уличного собеседника.

— А я вас не знаю, — сухо сказала Маргарита.

— Откуда ж вам меня знать? А между тем я к вам послан по дельцу.

Маргарита побледнела и отшатнулась.

— С этого прямо и нужно было начинать, — заговорила она, — а не молоть черт знает что про отрезанную голову! Вы меня хотите арестовать?

— Ничего подобного! — воскликнул рыжий. — Что это такое: раз заговорил, так уж непременно арестовать! Просто есть к вам дело.

— Ничего не понимаю, какое дело?

Рыжий оглянулся и сказал таинственно:

— Меня прислали, чтобы вас сегодня вечером пригласить в гости.

— Что вы бредите, какие гости?

— К одному очень знатному иностранцу, — значительно сказал рыжий, прищурив глаз.

Маргарита очень разгневалась.

— Новая порода появилась: уличный сводник! — поднимаясь, чтобы уходить, сказала она.

— Вот спасибо за такие поручения! — обиравшись, воскликнул рыжий и проворчал в спину уходящей Маргарите: — Дура!

— Мерзавец! — отозвалась та, оборачиваясь, и тут же услышала за собой голос рыжего:

— Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней... Пропал Ершалаим, великий город, как будто не существовал на свете... Так пропадите же вы пропадом с вашей обгоревшей тетрадкой и сушеной розой! Сидите здесь на скамейке одна и умоляйте его, чтобы он отпустил вас на свободу, дал дышать воздухом, ушел бы из памяти!

Побелев лицом, Маргарита вернулась к скамейке. Рыжий глядел на нее, прищурившись.

— Я ничего не понимаю, — тихо заговорила Маргарита Николаевна, — про листки еще можно узнать... проникнуть, подсмотреть... Наташа подкуплена, да? Но как вы могли узнать мои мысли? — Она страдальчески сморщилась и добавила: — Скажите мне, кто вы такой? Из какого вы учреждения?

— Вот скука-то, — проворчал рыжий и заговорил громче: — Простите, ведь я сказал вам, что ни из какого я не из учреждения! Сядьте, пожалуйста.

Маргарита беспрекословно повиновалась, но все-таки, садясь, спросила еще раз:

— Кто вы такой?

— Ну хорошо, зовут меня Азazelло, но ведь все равно вам это ничего не говорит.

— А вы мне не скажете, откуда вы узнали про листки и про мои мысли?

— Не скажу, — сухо ответил Азazelло.

— Но вы что-нибудь знаете о нем? — моляще шепнула Маргарита.

— Ну, скажем, знаю.

— Молю, скажите только одно: он жив? Не мучьте!

— Ну, жив, жив, — неохотно отозвался Азazelло.

— Боже!

— Пожалуйста, без волнений и вскрикиваний, — нахмурясь, сказал Азazelло.

— Простите, простите, — бормотала покорная теперь Маргарита, — я, конечно, рассердилась на вас. Но, согласитесь, когда на улице приглашают женщину куда-то в гости... У меня нет предрассудков, я вас уверяю, — Маргарита невесело усмехнулась, — но я никогда не вижу никаких иностранцев, общаться с ни-

ми у меня нет никакой охоты... и кроме того, мой муж... Моя драма в том, что я живу с тем, кого я не люблю, но портить ему жизнь считаю делом недостойным. Я от него ничего не видела, кроме добра...

Азazelло с видимой скукой выслушал эту бессвязную речь и сказал сурово:

— Попрошу вас минутку помолчать.

Маргарита покорно замолчала.

— Я приглашаю вас к иностранцу совершенно безопасному. И ни одна душа не будет знать об этом посещении. Вот уж за это я вам ручаюсь.

— А зачем я ему понадобилась? — вкрадчиво спросила Маргарита.

— Вы об этом узнаете позже.

— Понимаю... Я должна ему отжаться, — сказала Маргарита задумчиво.

На это Азazelло как-то надменно хмыкнул и ответил так:

— Любая женщина в мире, могу вас уверить, мечтала бы об этом, — рожу Азazelло перекосило смешком, — но я разочарую вас, этого не будет.

— Что за иностранец такой?! — в смятении воскликнула Маргарита так громко, что на нее обернулись проходившие мимо скамейки. — И какой мне интерес идти к нему?

Азazelло наклонился к ней и шепнул многозначительно:

— Ну, интерес-то очень большой... Вы воспользуетесь случаем...

— Что?! — воскликнула Маргарита, и глаза ее округлились. — Если я вас правильно понимаю, вы намекаете на то, что я там могу узнать о нем?

Азazelло молча кивнул головой.

— Еду! — с силой воскликнула Маргарита и ухватила Азazelло за руку. — Еду куда угодно!

Азazelло, облегченно отдуваясь, откинулся на спинку скамейки, закрыв спиной крупно вырезанное на ней слово «Нюра», и заговорил иронически:

— Трудный народ, эти женщины! — он засунул руки в карманы и далеко вперед вытянул ноги. — Зачем, например, меня послали по этому делу? Пусть бы ездил Бегемот, он обаятельный...

Маргарита заговорила, криво и горько улыбаясь:

— Перестаньте вы меня мистифицировать и мучить

вашими загадками... Я ведь человек несчастный, и вы пользуетесь этим. Лезу я в какую-то странную историю, но, клянусь, только из-за того, что вы поманили меня словами о нем! У меня кружится голова от всех этих непонятностей...

— Без драм, без драм, — гримасничая, отозвался Азазелло, — в мое положение тоже нужно входить. Надавать администратору по морде, или выставить дядю из дому, или подстрелить кого-нибудь, или какой-нибудь еще пустяк в этом роде, это моя прямая специальность, но разговаривать с влюбленными женщинами — слуга покорный! Ведь я вас полчаса уже уламываю. Так едете?

— Еду, — просто ответила Маргарита Николаевна.

— Тогда потрудитесь получить, — сказал Азазелло и, вынув из кармана круглую золотую коробочку, протянул ее Маргарите со словами: — Да прячьте же, а то прохожие смотрят. Она вам пригодится, Маргарита Николаевна, вы порядочно постарели от горя за последние полгода. — Маргарита вспыхнула, но ничего не ответила, а Азазелло продолжал: — Сегодня вечером, ровно в половину десятого, потрудитесь, раздевшись донага, натереть этой мазью лицо и все тело. Дальше делайте что хотите, но не отходите от телефона. В десять я вам позвоню и все, что нужно, скажу. Вам ни о чем не придется заботиться, вас доставят куда нужно, и вам не причинят никакого беспокойства. Понятно?

Маргарита помолчала, потом ответила:

— Понятно. Эта вещь из чистого золота, видно по тяжести. Ну что же, я прекрасно понимаю, что меня подкупают и тянут в какую-то темную историю, за которую я очень поплачусь.

— Это что же такое, — почти зашипел Азазелло, — вы опять?..

— Нет, погодите!

— Отдайте обратно крем!

Маргарита крепче зажала в руке коробку и продолжала:

— Нет, погодите... Я знаю, на что иду. Но иду на все из-за него, потому что ни на что в мире больше надежды у меня нет. Но я хочу вам сказать, что, если вы меня погубите, вам будет стыдно! Да, стыдно! Я погибаю из-за любви! — и, стукнув себя в грудь, Маргарита глянула на солнце.

— Отдайте обратно, — в злобе закричал Азazelло, — отдайте обратно, и к черту все это! Пусть посылают Бегемота!

— О нет! — воскликнула Маргарита, поражая проходящих. — Согласна на все, согласна проделать эту комедию с натираанием мазью, согласна идти к черту на кулички! Не отдам!

— Ба! — вдруг заорал Азazelло и, вытупив глаза на решетку сада, стал указывать куда-то пальцем.

Маргарита повернулась туда, куда указывал Азazelло, но ничего особенного там не обнаружила. Тогда она обернулась к Азazelло, желая получить объяснение этому нелепому «Ба!», но давать это объяснение было некому: таинственный собеседник Маргариты Николаевны исчез.

Маргарита быстро сунула руку в сумочку, куда перед этим криком спрятала коробочку, и убедилась, что она там. Тогда, ни о чем не размышляя, Маргарита торопливо побежала из Александровского сада вон.

Глава 20

КРЕМ АЗАЗЕЛЛО

Луна в вечернем чистом небе висела полная, видная сквозь ветви клена. Липы и акации разрисовали землю в саду сложным узором пятен. Трехстворчатое окно в фонаре, открытое, но задернутое шторой, светилося бешеным электрическим светом. В спальне Маргариты Николаевны горели все огни и освещали полный беспорядок в комнате.

На кровати на одеяле лежали сорочки, чулки и белье, скомканное же белье валялось просто на полу рядом с раздавленной в волнении коробкой папирос. Туфли стояли на ночном столике рядом с недопитой чашкой кофе и пепельницей, в которой дымил окуроч. На спинке стула висело черное вечернее платье. В комнате пахло духами. Кроме того, в нее доносился откуда-то запах раскаленного утюга.

Маргарита Николаевна сидела перед трюмо в одном купальном халате, наброшенном на голое тело, и в замшевых черных туфлях. Золотой браслет с часиками лежал перед Маргаритой Николаевной рядом с коробочкой, полученной от Азazelло, и Маргарита не

сводила глаз с циферблата. Временами ей начинало казаться, что часы сломались и стрелки не движутся. Но они двигались, хотя и очень медленно, как будто прилипая, и наконец длинная стрелка упала на двадцать девятую минуту десятого. Сердце Маргариты страшно стукнуло, так что она не смогла даже сразу взяться за коробочку. Справившись с собою, Маргарита открыла ее и увидела в коробочке жирный желтоватый крем. Ей показалось, что он пахнет болотной тиной. Кончиком пальца Маргарита выложила небольшой мазочек крема на ладонь, причем сильнее запахло болотными травами и лесом, и затем ладонью начала втирать крем в лоб и щеки.

Крем легко мазался и, как показалось Маргарите, тут же испарялся. Сделав несколько втираний, Маргарита глянула в зеркало и уронила коробочку прямо на стекло часов, от чего оно покрылось трещинами. Маргарита закрыла глаза, потом глянула еще раз и буйно расхохоталась.

Ощипанные по краям в ниточку пинцетом брови сгустились и черными ровными дугами легли над зазеленевшими глазами. Тонкая вертикальная морщинка, перерезавшая переносицу, появившаяся тогда, в октябре, когда пропал мастер, бесследно исчезла. Исчезли и желтенькие тени у висков, и две чуть заметные сеточки у наружных углов глаз. Кожа щек налилась ровным розовым цветом, лоб стал бел и чист, а парикмахерская завивка волос развилась.

На тридцатилетнюю Маргариту из зеркала глядела от природы кудрявая черноволосая женщина лет двадцати, безудержно хохочущая, скалящая зубы.

Нахохотавшись, Маргарита выскочила из халата одним прыжком и широко зачерпнула легкий жирный крем и сильными мазками начала втирать его в кожу тела. Оно сейчас же порозовело и загорелось. Затем мгновенно, как будто из мозга выхватили иголку, утих висок, нывший весь вечер после свидания в Александровском саду, мускулы рук и ног окрепли, а затем тело Маргариты потеряло вес.

Она подпрыгнула и повисла в воздухе невысоко над ковром, потом ее медленно потянуло вниз, и она опустилась.

— Ай да крем! Ай да крем! — закричала Маргарита, бросаясь в кресло.

Втирания изменили ее не только внешне. Теперь в ней во всей, в каждой частице тела, вскипала радость, которую она ощутила, как пузырьки, колющие все ее тело. Маргарита ощутила себя свободной, свободной от всего. Кроме того, она поняла со всей ясностью, что именно случилось то, о чем еще утром говорило предчувствие, и что она покидает особняк и прежнюю свою жизнь навсегда. Но от этой прежней жизни все же откололась одна мысль о том, что нужно исполнить только один последний долг перед началом чего-то нового, необыкновенного, тянущего ее наверх, в воздух. И она, как была нагая, из спальни, то и дело взлетая на воздух, перебежала в кабинет мужа и, осветив его, кинулась к письменному столу. На вырванном из блокнота листе она без помарок быстро и крупно карандашом написала записку:

«Прости меня и как можно скорее забудь. Я тебя покидаю навек. Не ищи меня, это бесполезно. Я стала ведьмой от горя и бедствий, поразивших меня. Мне пора. Прощай.

Маргарита»

С совершенно облегченной душой Маргарита прилетела в спальню, и следом за нею туда же вбежала Наташа, нагруженная вещами. И тотчас все эти вещи, деревянные плечики с платьем, кружевные платки, синие шелковые туфли на распялках и поясок — все это посыпалось на пол, и Наташа всплеснула освободившимися руками.

— Что, хороша? — громко крикнула охрипшим голосом Маргарита Николаевна.

— Как же это? — шептала Наташа, пятясь. — Как вы это делаете, Маргарита Николаевна?

— Это крем! Крем, крем! — ответила Маргарита, указывая на сверкающую золотую коробку и поворачиваясь перед зеркалом.

Наташа, забыв про валяющееся на полу мягкое платье, подбежала к трюмо и жадными, загоревшимися глазами уставилась на остаток мази. Губы ее что-то шептали. Она опять повернулась к Маргарите и проговорила с каким-то благоговением:

— Кожа-то, а? Кожа-то! Маргарита Николаевна, ведь ваша кожа светится! — Но тут она опомнилась, подбежала к платью, подняла и стала отряхивать его.

— Бросьте! Бросьте! — кричала ей Маргарита. — К черту его, все бросьте! Впрочем, нет, берите его себе на память. Говорю, берите на память. Все забирайте, что есть в комнате!

Как будто ополоумев, неподвижная Наташа некоторое время смотрела на Маргариту, потом повисла у нее на шее, целуя и крича:

— Атласная! Светится! Атласная! А брови-то, брови!

— Берите все тряпки, берите духи и волоките к себе в сундук, прячьте, — кричала Маргарита, — но драгоценностей не берите, а то вас в краже обвинят!

Наташа сгребла в узел, что ей попало под руку, платья, туфли, чулки и белье, и побежала вон из спальни.

В это время откуда-то с другой стороны переулка, из открытого окна, вырвался и полетел громовой виртуозный вальс и послышалось пыхтение подъехавшей к воротам машины.

— Сейчас позвонит Азазелло! — воскликнула Маргарита, слушая сыплющийся в переулке вальс. — Он позвонит! А иностранец безопасен. Да, теперь я понимаю, что он безопасен!

Машина зашумела, удаляясь от ворот. Стукнула ка-литка, и на плитках дорожки слышались шаги.

«Это Николай Иванович, по шагам узнаю, — подумала Маргарита, — надо будет сделать на прощание что-то очень смешное и интересное».

Маргарита рванула штору в сторону и села на подоконник боком, охватив колено руками. Лунный свет лизнул ее с правого бока. Маргарита подняла голову к луне и сделала задумчивое и поэтическое лицо. Шаги стукнули еще раза два и затем внезапно стихли. Еще полюбовавшись на луну, вздохнув для приличия, Маргарита повернула голову в сад и действительно увидела Николая Ивановича, проживающего в нижнем этаже этого самого особняка. Луна ярко заливала Николая Ивановича. Он сидел на скамейке, и по всему было видно, что он опустил на нее внезапно. Пенсне на его лице как-то перекосилось, а свой портфель он сжимал в руках.

— А, здравствуйте, Николай Иванович, — грустным голосом сказала Маргарита, — добрый вечер! Вы из заседания?

Николай Иванович ничего не ответил на это.

— А я, — продолжала Маргарита, побольше высо-

вываясь в сад, — сижу одна, как видите, скучаю, гляжу на луну и слушаю вальс.

Левою рукою Маргарита провела по виску, поправляя прядь волос, потом сказала сердито:

— Это невежливо, Николай Иванович! Все-таки я дама, в конце концов! Ведь это хамство не отвечать, когда с вами разговаривают!

Николай Иванович, видный в луне до последней пуговицы на серой жилетке, до последнего волоска в светлой бородке клинышком, вдруг усмехнулся дикой усмешкой, поднялся со скамейки и, очевидно, не помня себя от смущения, вместо того чтобы снять шляпу, махнул портфелем в сторону и ноги согнул, как будто собирался пуститься вприсядку.

— Ах, какой вы скучный тип, Николай Иванович! — продолжала Маргарита. — Вообще вы все мне так надоели, что я выразить вам этого не могу, и так я счастлива, что с вами расстаюсь. Ну вас к чертовой матери!

В это время за спиной Маргариты в спальне грянул телефон. Маргарита сорвалась с подоконника и, забыв про Николая Ивановича, схватила трубку.

— Говорит Азazelло, — сказали в трубке.

— Милый, милый Азazelло! — вскричала Маргарита.

— Пора! Вылетайте, — заговорил Азazelло в трубке, и по тону его было слышно, что ему приятен искренний, радостный порыв Маргариты, — когда будете пролетать над воротами, крикните: «Невидима!» Потом полетайте над городом, чтобы попривыкнуть, а затем на юг, вон из города, и прямо на реку. Вас ждут!

Маргарита повесила трубку, и тут в соседней комнате что-то деревянно заковыляло и стало биться в дверь. Маргарита распахнула ее, и половая щетка, щетиной вверх, танцуя, влетела в спальню. Концом своим она выбивала дробь на полу, лягалась и рвалась в окно. Маргарита взвизгнула от восторга и вскочила на щетку верхом. Тут только у наездницы мелькнула мысль о том, что она в этой суматохе забыла одеться. Она га-лопом подскочила к кровати и схватила первое попавшееся, какую-то голубую сорочку. Взмахнув ею, как штандартом, она вылетела в окно. И вальс над садом ударил сильнее.

С окошка Маргарита скользнула вниз и увидела Николая Ивановича на скамейке. Тот как бы застыл на

ней и в полном ошеломлении прислушивался к крикам и грохоту, доносящимся из освещенной спальни верхних жильцов.

— Прощайте, Николай Иванович! — закричала Маргарита, приплясывая перед Николаем Ивановичем.

Тот охнул и пополз по скамейке, перебирая по ней руками и сбив наземь свой портфель.

— Прощайте навсегда! Я улетаю! — кричала Маргарита, заглушая вальс. Тут она сообразила, что рубашка ей ни к чему не нужна, и, зловеще захохотав, накрыла ею голову Николая Ивановича. Ослепленный Николай Иванович грохнулся со скамейки на кирпичи дорожки.

Маргарита обернулась, чтобы в последний раз глянуть на особняк, где так долго она мучилась, и увидела в пылающем окне искаженное от изумления лицо Наташи.

— Прощай, Наташа! — прокричала Маргарита и вздернула щетку. — Невидима! Невидима! — еще громче крикнула она и между ветвями клена, хлестнувшими ее по лицу, перелетев ворота, вылетела в переулок. И вслед ей полетел совершенно обезумевший вальс.

Г л а в а 21

ПОЛЕТ

Невидима и свободна! Невидима и свободна! Пролетев по своему переулку, Маргарита попала в другой, пересекавший первый под прямым углом. Этот заплатанный, заштопанный, кривой и длинный переулок с покосившейся дверью нефтелавки, где кружками продают керосин и жидкость от паразитов во флаконах, она перерезала в одно мгновение и тут усвоила, что, даже будучи совершенно свободной и невидимой, все же и в наслаждении нужно быть хоть немного благоразумной. Только каким-то чудом затормозившись, она не разбилась насмерть о старый покосившийся фонарь на углу. Увернувшись от него, Маргарита крепче сжала щетку и полетела медленнее, вглядываясь в электрические провода и вывески, висящие поперек тротуара.

Третий переулок вел прямо к Арбату. Здесь Маргарита совершенно освоилась с управлением щеткой, поняла, что та слушается малейшего прикосновения рук

или ног и что, летя над городом, нужно быть очень внимательной и не очень буйствовать. Кроме того, совершенно ясно стало уже в переулке, что прохожие летунью не видят. Никто не задирает головы, не кричал «гляди, гляди!», не шарахался в сторону, не визжал и не падал в обморок, диким смехом не хохотал.

Маргарита летела беззвучно, очень медленно и невысоко, примерно на уровне второго этажа. Но и при медленном лете, у самого выхода на ослепительно освещенный Арбат, она немного промахнулась и плечом ударилась о какой-то освещенный диск, на котором была нарисована стрела. Это рассердило Маргариту. Она осадилась послушную щетку, отлетела в сторону, а потом, бросившись на диск внезапно, концом щетки разбила его вдребезги. Посыпались с грохотом осколки, прохожие шарахнулись, где-то засвистели, а Маргарита, совершив этот ненужный поступок, расхохоталась. «На Арбате надо быть еще поосторожнее, — подумала Маргарита, — тут столько напутано всего, что и не разберешься». Она принялась нырять между проводами. Под Маргаритой плыли крыши троллейбусов, автобусов и легковых машин, а по тротуарам, как казалось сверху Маргарите, плыли реки кепок. От этих рек отделялись ручейки и вливались в огненные пасти ночных магазинов.

«Э, какое месиво! — сердито подумала Маргарита. — Тут повернуться нельзя». Она пересекла Арбат, поднялась повыше, к четвертым этажам, и мимо ослепительно сияющих трубок на угловом здании театра проплыла в узкий переулок с высокими домами. Все окна в них были открыты, и всюду слышалась в окнах радиомызыка. Из любопытства Маргарита заглянула в одно из них. Увидела кухню. Два примуса ревели на плите, возле них стояли две женщины с ложками в руках и переругивались.

— Свет надо тушить за собой в уборной, вот что я вам скажу, Пелагея Петровна, — говорила та женщина, перед которой была кастрюля с какой-то едой, от которой валил пар, — а то мы на выселение на вас подадим!

— Сами вы хороши, — отвечала другая.

— Обе вы хороши, — звучно сказала Маргарита, переваливаясь через подоконник в кухню. Обе ссорящиеся повернулись на голос и замерли с грязными

ложками в руках. Маргарита осторожно протянула руку между ними, повернула краны в обоих примусах и потушила их. Женщины охнули и открыли рты. Но Маргарита уже соскучилась в кухне и вылетела в переулок.

В конце его ее внимание привлекла роскошная громада восьмизэтажного, видимо, только что построенного дома. Маргарита пошла вниз и, приземлившись, увидела, что фасад дома выложен черным мрамором, что двери широкие, что за стеклом их виднеется фуражка с золотым галуном и пуговицы швейцара и что над дверьми золотом выведена надпись: «Дом Драмлита».

Маргарита щурилась на надпись, соображая, что бы могло означать слово «Драмлит». Взяв щетку под мышку, Маргарита вошла в подъезд, толкнув дверью удивленного швейцара, и увидела рядом с лифтом на стене черную громадную доску, а на ней выписанные белыми буквами номера квартир и фамилии жильцов. Венчающая список надпись «Дом Драматурга и Литератора» заставила Маргариту испустить хищный задушенный вопль. Поднявшись в воздухе повыше, она жадно начала читать фамилии: Хустов, Двубратский, Квант, Бескудников, Латунский...

— Латунский! — завизжала Маргарита. — Латунский! Да ведь это же он... Это он погубил мастера!

Швейцар у дверей, выкатив глаза и даже подпрыгивая от удивления, глядел на черную доску, стараясь понять такое чудо: почему это завизжал внезапно список жильцов.

А Маргарита в это время уже поднималась стремительно вверх по лестнице, повторяя в каком-то упоении:

— Латунский — восемьдесят четыре... Латунский — восемьдесят четыре...

Вот налево — 82, направо — 83, еще выше, налево — 84. Здесь! Вот и карточка — «О. Латунский».

Маргарита соскочила со щетки, и разгоряченные ее подошвы приятно охладила каменная площадка. Маргарита позвонила раз, другой. Но никто не открывал. Маргарита стала посильнее жать кнопку и сама слышала трезвон, который поднялся в квартире Латунского. Да, по гроб жизни должен быть благодарен покойному Берлиозу обитатель квартиры № 84 в восьмом этаже за то, что председатель Массолита попал под трамвай, и за то, что траурное заседание назначили

как раз на этот вечер. Под счастливой звездой родился критик Латунский. Она спасла его от встречи с Маргаритой, ставшей ведьмой в эту пятницу.

Никто не открывал. Тогда во весь мах Маргарита понеслась вниз, отсчитывая этажи, долетела донизу, вырвалась на улицу и, глядя вверх, отсчитала и проверила этажи снаружи, соображая, какие именно окна квартиры Латунского. Несомненно, что это были пять темных окон на углу здания, в восьмом этаже. Уверившись в этом, Маргарита поднялась в воздухе и через несколько секунд сквозь открытое окно входила в неосвещенную комнату, в которой серебрилась только узенькая дорожка от луны. По ней пробежала Маргарита, нащарила выключатель. Через минуту вся квартира была освещена. Щетка стояла в углу. Удостоверившись, что дома никого нету, Маргарита открыла дверь на лестницу и проверила, тут ли карточка. Карточка была на месте, Маргарита попала туда, куда нужно было.

Да, говорят, что и до сих пор критик Латунский бледнеет, вспоминая этот страшный вечер, и до сих пор с благоговением произносит имя Берлиоза. Совершенно неизвестно, какую темной и гнусной уголовщиной ознаменовался бы этот вечер, — по возвращении из кухни Маргариты в руках у нее оказался тяжелый молоток.

Нагая и невидимая летунья сдерживала и уговаривала себя, руки ее тряслись от нетерпения. Внимательно прицелившись, Маргарита ударила по клавишам рояля, и по всей квартире пронесся первый жалобный вой. Исступленно кричал ни в чем не повинный беккеровский кабинетный инструмент. Клавиши в нем проваливались, костяные накладки летели во все стороны. Инструмент гудел, выл, хрипел, звенел. Со звуком револьверного выстрела лопнула под ударом молотка верхняя полированная дека. Тяжело дыша, Маргарита рвала и мяла молотком струны. Наконец, уставши, отвалилась, бухнулась в кресло, чтобы отдышаться.

В ванной страшно гудела вода и в кухне также. «Кажется, уже полилось на пол...» — подумала Маргарита и добавила вслух:

— Однако расслаживаться нечего.

Из кухни в коридор уже бежал поток. Шлепая босями ногами в воде, Маргарита ведрами носила из кухни воду в кабинет критика и выливала ее в ящики

письменного стола. Потом, разломав молотком двери шкафа в этом же кабинете, бросилась в спальню. Разбив зеркальный шкаф, она вытащила из него костюм критика и утопила его в ванне. Полную чернильницу чернил, захваченную в кабинете, она вылила в пышно взбитую двухспальную кровать в спальне. Разрушение, которое она производила, доставляло ей жгучее наслаждение, но при этом ей все время казалось, что результаты получаются какие-то мизерные. Поэтому она стала делать что попало. Она била вазоны с фикусами в той комнате, где был рояль. Не dokonчив этого, возвращалась в спальню и кухонным ножом резала простыни, била застекленные фотографии. Усталости она не чувствовала, и только пот тек по ней ручьями.

В это время в квартире № 82, под квартирой Латунского, домработница драматурга Кванта пила чай в кухне, недоумевая по поводу того, что сверху доносится какой-то грохот, беготня и звон. Подняв голову к потолку, она вдруг увидела, что он на глазах у нее меняет свой белый цвет на какой-то мертвенно-синеватый. Пятно расширялось на глазах, и вдруг на нем взбухли капли. Минуты две сидела домработница, дивясь такому явлению, пока, наконец, из потолка не пошел настоящий дождь и не застучал по полу. Тут она вскочила, подставила под струи таз, что нисколько не помогло, так как дождь расширился и стал заливать и газовую плиту и стол с посудой. Тогда, вскрикнув, домработница Кванта выбежала из квартиры на лестницу, и тотчас же в квартире Латунского начались звонки.

-- Ну, зазвонили... Пора собираться, — сказала Маргарита. Она села на щетку, прислушиваясь к тому, как женский голос кричит в скважину двери:

— Откройте, откройте! Дуся, открой! У вас, что ль, вода течет? Нас залило.

Маргарита поднялась на метр вверх и ударила по люстре. Две лампочки разорвало, и во все стороны полетели подвески. Крики в скважине прекратились, на лестнице послышался топот. Маргарита выплыла в окно, оказалась снаружи окна, размахнулась несильно и молотком ударила в стекло. Оно всхлипнуло, и по облицованной мрамором стене каскадом побежали вниз осколки. Маргарита поехала к следующему окну. Далеко внизу забегали люди по тротуару, из двух стоявших у подъезда машин одна загудела и отъехала.

Покончив с окнами Латунского, Маргарита поплыла к соседней квартире. Удары стали чаще, переулочек наполнился звоном и грохотом. Из первого подъезда выбежал швейцар, поглядел вверх, немного поколебался, очевидно, не сообразив сразу, что ему предпринять, всунул в рот свисток и бешено засвистел. С особенным азартом под этот свист рассадив последнее стекло в восьмом этаже, Маргарита спустилась к седьмому и начала крушить стекла в нем.

Измученный долгим бездельем за зеркальными дверями подъезда, швейцар вкладывал в свист всю душу, причем точно следовал за Маргаритой, как бы аккомпанируя ей. В паузах, когда она перелетала от окна к окну, он набирал духу, а при каждом ударе Маргариты, надув щеки, заливался, бурявая ночной воздух до самого неба.

Его усилия, в соединении с усилиями разъяренной Маргариты, дали большие результаты. В доме шла паника. Целые еще стекла распахивались, в них появлялись головы людей и тотчас же прятались, открытые же окна, наоборот, закрывались. В противоположных домах в окнах на освещенном фоне возникали темные силуэты людей, старавшихся понять, почему без всякой причины лопаются стекла в новом здании Драмлита.

В переулке народ бежал к дому Драмлита, а внутри его по всем лестницам топотали мечущиеся без всякого толка и смысла люди. Домработница Кванта кричала бегущим по лестнице, что их залило, а к ней вскоре присоединилась домработница Хустова из квартиры № 80, помещавшейся под квартирой Кванта. У Хустовых хлынуло с потолка и в кухне, и в уборной. Наконец, у Квантов в кухне обрушился громадный пласт штукатурки с потолка, разбив всю грязную посуду, после чего пошел уж настоящий ливень: из клеток обвисшей мокрой драпи хлынуло как из ведра. Тогда на лестнице первого подъезда начались крики. Пролетая мимо предпоследнего окна четвертого этажа, Маргарита заглянула в него и увидела человека, в панике напавшего на себя противогаз. Ударив молотком в его стекло, Маргарита испугнула его, и он исчез из комнаты.

И неожиданно дикий разгром прекратился. Скользя к третьему этажу, Маргарита заглянула в крайнее окно, завешенное легонькой темной шторкой. В комна-

те горела слабенькая лампочка под колпачком. В маленькой кровати с сеточными боками сидел мальчик лет четырех и испуганно прислушивался. Взрослых никого не было в комнате. Очевидно, все выбежали из квартиры.

— Стекла бьют, — проговорил мальчик и позвал: — Мама!

Никто не отозвался, и тогда он сказал:

— Мама, я боюсь.

Маргарита откинула шторку и влетела в окно.

— Я боюсь, — повторил мальчик и задрожал.

— Не бойся, не бойся, маленький, — сказала Маргарита, стараясь смягчить свой осипший на ветру преступный голос, — это мальчишки стекла били.

— Из рогатки? — спросил мальчик, переставая дрожать.

— Из рогатки, из рогатки, — подтвердила Маргарита, — а ты спи!

— Это Ситник, — сказал мальчик, — у него есть рогатка.

— Ну, конечно, он!

Мальчик поглядел лукаво куда-то в сторону и спросил:

— А ты где, тетя?

— А меня нету, — ответила Маргарита, — я тебе снуюсь.

— Я так и думал, — сказал мальчик.

— Ты ложись, — приказала Маргарита, — подложи руку под щеку, а я тебе буду сниться.

— Ну, снись, снись, — согласился мальчик и тотчас улегся и руку подложил под щеку.

— Я тебе сказку расскажу, — заговорила Маргарита и положила разгоряченную руку на стриженую голову. — Была на свете одна тетя. И у нее не было детей, и счастья вообще тоже не было. И вот она сперва долго плакала, а потом стала злая... — Маргарита умолкла, сняла руку — мальчик спал.

Маргарита тихонько положила молоток на подоконник и вылетела из окна. Возле дома была кутерьма. По асфальтированному тротуару, усеянному битым стеклом, бегали и что-то выкрикивали люди. Между ними уже мелькали милиционеры. Внезапно ударил колокол, и с Арбата в переулок вкатила красная пожарная машина с лестницей...

Но дальнейшее уже не интересовало Маргариту. Прицелившись, чтоб не задеть за какой-нибудь провод, она покрепче сжала щетку и во мгновение оказалась выше злополучного дома. Переулок под нею покосился набок и провалился вниз. Вместо него одного под ногами у Маргариты возникло скопище крыш, под углами перерезанное сверкающими дорожками. Все оно неожиданно поехало в сторону, и цепочки огней смазались и слились.

Маргарита сделала еще один рывок, и тогда все скопище крыш провалилось сквозь землю, а вместо него появилось внизу озеро дрожащих электрических огней, и это озеро внезапно поднялось вертикально, а затем появилось над головой у Маргариты, а под ногами блеснула луна. Поняв, что она перекувыркнулась, Маргарита приняла нормальное положение и, обернувшись, увидела, что и озера уже нет, а что там, сзади за нею, осталось только розовое зарево на горизонте. И оно исчезло через секунду, и Маргарита увидела, что она наедине с летящей над нею и слева луною. Волосы Маргариты давно уже стояли копной, а лунный свет со свистом омывал ее тело. По тому, как внизу два ряда редких огней слились в две непрерывные огненные черты, по тому, как быстро они пропали сзади, Маргарита догадалась, что она летит с чудовищной скоростью, и поразилась тому, что она не задыхается.

По прошествии нескольких секунд далеко внизу, в земной черноте, вспыхнуло новое озеро электрического света и подвалилось под ноги летящей, но оно тут же завертелось винтом и провалилось в землю. Еще несколько секунд — такое же точно явление.

— Города! Города! — прокричала Маргарита.

После этого раза два или три она видела под собою тускло отсвечивающие какие-то сабли, лежащие в открытых черных футлярах, и сообразила, что это реки.

Поворачивая голову вверх и влево, летящая любовалась тем, что луна несется над нею, как сумасшедшая, обратно в Москву и в то же время странным образом стоит на месте, так что отчетливо виден на ней какой-то загадочный, темный — не то дракон, не то конек-горбун, острой мордой обращенный к покинутому городу.

Тут Маргаритой овладела мысль, что, по сути дела, она зря столь иступленно гонит щетку. Что она ли-

шает себя возможности что-либо как следует рассмотреть, как следует упиться полетом. Ей что-то подсказывало, что там, куда она летит, ее подождут и что незачем ей скучать от такой безумной быстроты и высоты.

Маргарита наклонила щетку щетиной вперед, так что хвост ее поднялся кверху, и, очень замедлив ход, пошла к самой земле. И это скольжение, как на воздушных салазках, вниз принесло ей наибольшее наслаждение. Земля поднялась к ней, и в бесформенной до этого черной гуще ее обозначились ее тайны и прелесть во время лунной ночи. Земля шла к ней, и Маргариту уже обдавало запахом зеленеющих лесов. Маргарита летела над самыми туманами росистого луга, потом над прудом. Под Маргаритой хором пели лягушки, а где-то вдали, почему-то очень волнуя сердце, шумел поезд. Маргарита вскоре увидела его. Он полз медленно, как гусеница, сыпая в воздух искры. Обогнав его, Маргарита прошла еще над одним водным зеркалом, в котором проплыла под ногами вторая луна, еще более снизилась и пошла, чуть-чуть не задевая ногами верхушки громадных сосен.

Тяжкий шум вспарываемого воздуха послышался сзади и стал настигать Маргариту. Постепенно к этому шуму чего-то летящего, как снаряд, присоединился слышный на много верст женский хохот. Маргарита оглянулась и увидела, что ее догоняет какой-то сложный темный предмет. Настигая Маргариту, он все более обозначался, стало видно, что кто-то летит верхом. А наконец он и совсем обозначился: замедляя ход, Маргариту догнала Наташа.

Она, совершенно нагая, с летящими по воздуху растрепанными волосами, летела верхом на толстом борове, зажимавшем в передних копытцах портфель, а задними ожесточенно молотящем воздух. Изредка поблескивающее в луне, а потом потухающее пенсне, свалившееся с носа, летело рядом с боровом на шнуре, а шляпа то и дело наезжала борову на глаза. Хорошенько всмотревшись, Маргарита узнала в борове Николая Ивановича, и тогда хохот ее загремел над лесом, смешавшись с хохотом Наташи.

— Наташка! — пронзительно закричала Маргарита. — Ты намазалась кремом?

— Душенька! — будя своими воплями заснувший

сосновый лес, отвечала Наташа. — Королева моя французская, ведь я и ему намазала лысину, и ему!

— Принцесса! — плаксиво проорал боров, галопом неся всадницу.

— Душенька! Маргарита Николаевна! — кричала Наташа, скача рядом с Маргаритой. — Сознаюсь, взяла крем! Ведь и мы хотим жить и летать! Простите меня, повелительница, а я не вернусь, нипочем не вернусь! Ах, хорошо, Маргарита Николаевна!.. Предложение мне делал, — Наташа стала тыкать пальцем в шею сконфуженно пыхтающего борова, — предложение! Ты как меня называл, а? — кричала она, наклоняясь к уху борова.

— Богиня! — завывал тот. — Не могу я так быстро лететь! Я бумаги могу важные растерять. Наталья Прокофьевна, я протестую.

— Да ну тебя к черту с твоими бумагами! — дерзко хохоча, кричала Наташа.

— Что вы, Наталья Прокофьевна! Нас услышит кто-нибудь! — моляще орал боров.

Летя галопом рядом с Маргаритой, Наташа с хохотом рассказывала ей о том, что произошло в особняке после того, как Маргарита Николаевна улетела через ворота.

Наташа сообразила в том, что, не прикоснувшись более ни к каким подаренным вещам, она сбросила с себя одежду и кинулась к крему и немедленно им намазалась. И с нею произошло то же, что с ее хозяйкой. В то время, как Наташа, хохоча от радости, упивалась перед зеркалом своей волшебною красой, дверь открылась, и перед Наташей явился Николай Иванович. Он был взволнован, в руках он держал сорочку Маргариты Николаевны и собственную свою шляпу и портфель. Увидев Наташу, Николай Иванович обомлел. Несколько справившись с собою, весь красный как рак, он объявил, что счел долгом поднять рубашечку, лично принести ее...

— Что говорил, негодяй! — визжала и хохотала Наташа. — Что говорил, на что сманивал! Какие деньги сулил! Говорил, что Клавдия Петровна ничего не узнает. Что, скажешь, вру? — кричала Наташа борову, и тот только сконфуженно отворачивал морду.

Распалившись в спальне, Наташа мазнула кремом Николая Ивановича и сама оторопела от удивления. Лицо почтенного нижнего жильца свело в пятячок, а

руки и ноги оказались с копытцами. Глянув на себя в зеркало, Николай Иванович отчаянно и дико завыл, но было уже поздно. Через несколько секунд он, оседланный, летел куда-то к черту из Москвы, рыдая от горя.

— Требую возвращения моего нормального облика! — вдруг не то исступленно, не то моляще прохрипел и захрюкал боров. — Я не намерен лететь на незаконное сборище! Маргарита Николаевна, вы обязаны унять вашу домработницу!

— Ах, так я тебе теперь домработница? Домработница? — вскрикивала Наташа, нащипывая ухо борова. — А была богиня? Ты меня как называл?

— Венера! — плаксиво отвечал боров, пролетая над ручьем, шумящим меж камней, и копытцами задевая шорохом за кусты орешника.

— Венера! Венера! — победно прокричала Наташа, подбоченившись одной рукой, а другую простирая к луне. — Маргарита! Королева! Упросите за меня, чтоб меня ведьмой оставили! Вам все сделают, вам власть дана!

И Маргарита отозвалась:

— Хорошо, я обещаю.

— Спасибо! — прокричала Наташа и вдруг закричала резко и как-то тоскливо: — Гей! Гей! Скорей! Скорей! А ну-ка, надбавь! — Она сжала пятками похулевшие в безумной скачке бока борова, и тот рванул так, что опять распорол воздух, и через мгновение Наташа уже была видна впереди как черная точка, а потом и совсем пропала, и шум ее полета растаял.

Маргарита летела по-прежнему медленно в пустынной и неизвестной местности, над холмами, усеянными редкими валунами, лежащими меж отдельных громадных сосен. Маргарита летела и думала о том, что она, вероятно, где-то очень далеко от Москвы. Щетка летела не над верхушками сосен, а уже между их стволами, с одного бока посеребренными луной. Легкая тень летящей скользила по земле впереди — теперь луна светила в спину Маргарите.

Маргарита чувствовала близость воды и догадывалась, что цель близка. Сосны разошлись, и Маргарита тихо подъехала по воздуху к меловому обрыву. За этим обрывом внизу, в тени, лежала река. Туман висел и цеплялся за кусты внизу вертикального обрыва, а противоположный берег был плоский, низменный. На нем,

под одинокой группой каких-то раскидистых деревьев, метался огонечек от костра и виднелись какие-то движущиеся фигурки. Маргарите показалось, что оттуда доносится какая-то зудящая веселенькая музыка. Далее, сколько хватало глаз, на посеребренной равнине не виделось никаких признаков ни жилья, ни людей.

Маргарита прыгнула с обрыва вниз и быстро спустилась к воде. Вода манила ее после воздушной гонки. Отбросив от себя щетку, она разбежалась и кинулась в воду вниз головой. Легкое ее тело, как стрела, вонзилось в воду, и столб воды выбросило почти до самой луны. Вода оказалась теплой, как в бане, и, вынырнув из бездны, Маргарита вдоволь наплавалась в полном одиночестве ночью в этой реке.

Рядом с Маргаритой никого не было, но немного подальше за кустами слышались всплески и фыркание, там тоже кто-то купался.

Маргарита выбежала на берег. Тело ее пылало после купанья. Усталости никакой она не ощущала и радостно приплясывала на влажной траве. Вдруг она перестала танцевать и насторожилась. Фыркание стало приближаться, и из-за ракитовых кустов вылез какой-то голый толстяк в черном шелковом цилиндре, заломленном на затылок. Ступни его ног были в илистой грязи, так что казалось, будто купальщик в черных ботинках. Судя по тому, как он отдувался и икал, был он порядочно выпивши, что, впрочем, подтверждалось и тем, что река вдруг стала издавать запах коньяка.

Увидев Маргариту, толстяк стал вглядываться, а потом радостно заорал:

— Что такое? Ее ли я вижу? Клодина, да ведь это ты, неунывающая вдова! И ты здесь? — тут он полез здороваться.

Маргарита отступила и с достоинством ответила:

— Пошел ты к чертовой матери. Какая я тебе Клодина? Ты смотри, с кем разговариваешь, — и, подумав мгновение, она прибавила к своей речи длинное непечатное ругательство. Все это произвело на легкомысленного толстяка отрезвляющее действие.

— Ой! — тихо воскликнул он и вздрогнул. — Простите великодушно, светлая королева Марго! Я обознался. А виноват коньяк, будь он проклят! — Толстяк опустился на одно колено, цилиндр отнес в сторону, сделал поклон и залопотал, мешая русские фразы с

французскими, какой-то вздор про кровавую свадьбу своего друга в Париже Гессара, и про коньяк, и про то, что он подавлен грустной ошибкой.

— Ты бы брюки надел, сукин сын, — сказала, смягчаясь, Маргарита.

Толстяк радостно осклабился, видя, что Маргарита не сердится, и восторженно сообщил, что оказался без брюк в данный момент лишь потому, что по рассеянности оставил их на реке Енисее, где купался перед тем, но что он сейчас же летит туда, благо это рукой подать, и затем, поручив себя расположению и покровительству, начал отступать задом и отступал до тех пор, пока не поскользнулся и навзничь не упал в воду. Но и падая, сохранил на окаймленном небольшими бакенбардами лице улыбку восторга и преданности.

Маргарита же пронзительно свистнула и, оседлав подлетевшую щетку, перенеслась над рекой на противоположный берег. Тень меловой горы сюда не достигала, и весь берег заливала луна.

Лишь только Маргарита коснулась влажной травы, музыка под вербами ударила сильнее и веселее взлетел сноп искр из костра. Под ветвями верб, усеянными нежными, пушистыми сережками, видными в луне, сидели в два ряда толстомордые лягушки и, раздуваясь как резиновые, играли на деревянных дудочках бравурный марш. Светящиеся гнилушки висели на ивовых прутиках перед музыкантами, освещали ноты, на лягушачьих мордах играл мятущийся свет от костра.

Марш игрался в честь Маргариты. Прием ей оказан был самый торжественный. Прозрачные русалки остановили свой хоровод над рекою и замахали Маргарите водорослями, и над пустынным зеленоватым берегом простонали далеко слышные их приветствия. Нагие ведьмы, выскочив из-за верб, выстроились в ряд и стали приседать и кланяться придворными поклонами. Кто-то козлоногий подлетел и припал к руке, раскинул на траве шелк, осведомился о том, хорошо ли купалась королева, предложил прилечь и отдохнуть.

Маргарита так и сделала. Козлоногий поднес ей бокал с шампанским, она выпила его, и сердце ее сразу согрелось. Осведомившись о том, где Наташа, она получила ответ, что Наташа уже выкупалась и полетела на своем борове вперед, в Москву, чтобы предупредить о том, что Маргарита скоро будет, и помочь пригото-

вить для нее наряд.

Короткое пребывание Маргариты под вербами ознаменовалось одним эпизодом. В воздухе раздался свист, и черное тело, явно промахнувшись, обрушилось в воду. Через несколько мгновений перед Маргаритой предстал тот самый толстяк-бакенбардист, что так неудачно представился на том берегу. Он успел, по-видимому, смотаться на Енисей, ибо был во фрачном наряде, но мокр с головы до ног. Коньяк подвел его вторично: высаживаясь, он все-таки угодил в воду. Но улыбки своей он не утратил и в этом печальном случае и был смеющеюся Маргаритой допущен к руке.

Затем все стали собираться. Русалки доплясали свой танец в лунном свете и растаяли в нем. Козлоногий почтительно осведомился у Маргариты, на чем она прибыла на реку. Узнав, что она явилась верхом на щетке, сказал:

— О, зачем же, это неудобно, — мигом соорудил из двух сучков какой-то подозрительный телефон и потребовал у кого-то сию же минуту прислать машину, что и исполнилось, действительно, в одну минуту. На остров обрушилась буланая открытая машина, только на шоферском месте сидел не обычного вида шофер, а черный длинноносый грач в клеенчатой фуражке и в перчатках с раструбами. Островок пустел. В лунном пылании растворились улетевшие ведьмы. Костер догорал, и угли затягивало седую золой.

Бакенбардист и козлоногий подсадили Маргариту, и она опустилась на широкое заднее сиденье. Машина взвыла, прыгнула и поднялась почти к самой луне, остров пропал, пропала река, Маргарита понеслась в Москву.

Г л а в а 22

ПРИ СВЕЧАХ

Ровное гудение машины, летящей высоко над землей, убаюкивало Маргариту, а лунный свет ее приятно согревал. Закрыв глаза, она отдала лицо ветру и думала с какой-то грустью о покинутом ею неизвестном берегу реки, которую, как она чувствовала, она никогда более не увидит. После всех волшебств и чудес сегодняшнего вечера она уже догадывалась, к кому именно в гости ее

везут, но это не пугало ее. Надежда на то, что там ей удастся добиться возвращения своего счастья, сделала ее бесстрашной. Впрочем, долго мечтать в машине об этом счастье ей не пришлось. Грач ли хорошо знал свое дело, машина ли была хороша, но только вскоре Маргарита, открыв глаза, увидела под собою не лесную тьму, а дрожащее озеро московских огней. Черная птица-шофер на лету отвинтил правое переднее колесо, а затем посадил машину на каком-то совершенно безлюдном кладбище в районе Дорогомилова.

Высадив ни о чем не спрашивающую Маргариту возле одного из надгробий вместе с ее щеткой, грач запустил машину, направив ее прямо в овраг за кладбищем. В него она с грохотом обрушилась и в нем погибла. Грач почтительно козырнул, сел на колесо верхом и улетел.

Тотчас из-за одного из памятников показался черный плащ. Клык сверкнул при луне, и Маргарита узнала Азazelло. Тот жестом пригласил Маргариту сесть на щетку, сам вскочил на длинную рапиру, оба взвились и, никем не замеченные, через несколько секунд высадились около дома № 302-бис на Садовой улице.

Когда, неся под мышкой щетку и рапиру, спутники проходили подворотню, Маргарита заметила томящегося в ней человека в кепке и высоких сапогах, кого-то, вероятно, поджидавшего. Как ни были легки шаги Азazelло и Маргариты, одинокий человек их услышал и беспокойно дернулся, не понимая, кто их производит.

Второго, до удивительности похожего на первого, человека встретили у шестого подъезда. И опять повторилась та же история. Шаги... Человек беспокойно обернулся и нахмурился. Когда же дверь открылась и закрылась, кинулся вслед за невидимыми входящими, заглянул в подъезд, но ничего, конечно, не увидел.

Третий, точная копия второго, а стало быть, и первого, дежурил на площадке третьего этажа. Он курил крепкие папиросы, и Маргарита раскашлялась, проходя мимо него. Курящий, как будто его кольнули, вскочил со скамейки, на которой сидел, начал беспокойно оглядываться, подошел к перилам, глянул вниз. Маргарита со своим провожатым в это время уже была у дверей квартиры № 50. Звонить не стали, Азazelло бесшумно открыл дверь своим ключом.

Первое, что поразило Маргариту, это та тьма, в ко-

торую она попала. Было темно, как в подземелье, так что она невольно уцепилась за плащ Азазелло, опасаясь споткнуться. Но тут вдалеке и вверху замигал огонек какой-то лампадки и начал приближаться. Азазелло на ходу вынул у Маргариты из-под мышки щетку, и та исчезла без всякого звука в темноте. Тут стали подниматься по каким-то широким ступеням, и Маргарите начало казаться, что конца им не будет. Ее поражало, как в передней обыкновенной московской квартиры может поместиться эта необыкновенная невидимая, но хорошо ощущаемая бесконечная лестница. Но подъем кончился, и Маргарита поняла, что она стоит на площадке. Огонек приблизился вплотную, и Маргарита увидела освещенное лицо мужчины, длинного и черного, держащего в руке эту самую лампадку. Те, кто имел уже несчастье в эти дни попасться на его дороге, даже при этом слабом свете язычка в лампадке, конечно, тотчас же узнали бы его. Это был Коровьев, он же Фатгот.

Правда, внешность Коровьева весьма изменилась. Мигающий огонек отражался не в треснувшем пенсне, которое давно пора было бы выбросить на помойку, а в монокле, правда, тоже треснувшем. Усишки на наглом лице были подвиты и напوماжены, а чернота Коровьева объяснялась очень просто — он был во фрачном наряде. Белела только его грудь.

Маг, регент, чародей, переводчик или черт его знает кто на самом деле — словом, Коровьев — раскланялся и, широко поведя лампадой по воздуху, пригласил Маргариту следовать за ним. Азазелло исчез.

«Удивительно странный вечер, — думала Маргарита, — я всего ожидала, но только не этого! Электричество, что ли, у них потухло? Но самое поразительное — размеры этого помещения. Каким образом все это может втиснуться в московскую квартиру? Просто-напросто никак не может!

Как ни мало давала свету коровьевская лампадка, Маргарита поняла, что она находится в совершенно необъятном зале, да еще с колоннадой, темной и по первому впечатлению бесконечной. Возле какого-то диванчика Коровьев остановился, поставил свою лампадку на какую-то тумбу, жестом предложил Маргарите сесть, а сам поместился подле в живописной позе — облокотившись на тумбу.

— Разрешите мне представиться вам, — заскрипел Коровьев, — Коровьев. Вас удивляет, что нет света? Экономия, как вы, конечно, подумали? Ни-ни-ни! Пусть первый попавшийся палач, хотя бы один из тех, которые сегодня, немного позже, будут иметь честь приложиться к вашему колену, на этой же тумбе оттяпает мне голову, если это так! Просто мессир не любит электрического света, и мы дадим его в самый последний момент. И тогда, поверьте, недостатка в нем не будет. Даже, пожалуй, хорошо было бы, если б его было поменьше.

Коровьев понравился Маргарите, и трескучая его болтовня подействовала на нее успокоительно.

— Нет, — ответила Маргарита, — более всего меня поражает, где все это помещается. — Она повела рукой, подчеркивая этим необъятность зала.

Коровьев сладко ухмыльнулся, отчего тени шевельнулись в складках у его носа.

— Самое несложное из всего! — ответил он. — Тем, кто хорошо знаком с пятым измерением, ничего не стоит раздвинуть помещение до желательных пределов. Скажу вам более, уважаемая госпожа, до черт знает каких пределов! Я, впрочем, — продолжал болтать Коровьев, — знал людей, не имевших никакого представления не только о пятом измерении, но вообще ни о чем не имевших никакого представления и тем не менее проделывавших совершеннейшие чудеса в смысле расширения своего помещения. Так, например, один горожанин, как мне рассказывали, получив трехкомнатную квартиру на Земляном валу, без всякого пятого измерения и прочих вещей, от которых ум заходит за разум, мгновенно превратил ее в четырехкомнатную, разделив одну из комнат пополам перегородкой.

Засим эту он обменял на две отдельных квартиры в разных районах Москвы — одну в три и другую в две комнаты. Согласитесь, что их стало пять. Трехкомнатную он обменял на две отдельных по две комнаты и стал обладателем, как вы сами видите, шести комнат, правда, рассеянных в полном беспорядке по всей Москве. Он уже собирался произвести последний и самый блистательный вольт, поместив в газете объявление, что меняет шесть комнат в разных районах Москвы на одну пятикомнатную квартиру на Земляном валу, как

его деятельность, по не зависящим от него причинам, прекратилась. Возможно, что он сейчас и имеет какую-нибудь комнату, но только, смею вас уверить, что не в Москве. Вот-с, каков проныра, а вы изволите толковать про пятое измерение!

Маргарита, хоть и не толковала вовсе про пятое измерение, а толковал о нем сам Коровьев, весело рассмеялась, прослушав рассказ о похождениях квартирного проныры. Коровьев же продолжал:

— Но к делу, к делу, Маргарита Николаевна. Вы женщина весьма умная и, конечно, уже догадались о том, кто наш хозяин.

Сердце Маргариты стукнуло, и она кивнула головой.

— Ну, вот-с, вот-с, — говорил Коровьев, — мы враги всяких недомолвок и таинственностей. Ежегодно мессир дает один бал. Он называется весенним балом полнолуния, или балом ста королей. Народу!.. — Тут Коровьев ухватился за щеку, как будто у него заболел зуб. — Впрочем, я надеюсь, вы сами в этом убедитесь. Так вот-с: мессир холост, как вы, конечно, сами понимаете. Но нужна хозяйка, — Коровьев развел руками, — согласитесь сами, без хозяйки...

Маргарита слушала Коровьева, стараясь не проронить ни слова, под сердцем у нее было холодно, надежда на счастье кружила ее голову.

— Установилась традиция, — говорил далее Коровьев, — хозяйка бала должна непременно носить имя Маргариты, во-первых, а во-вторых, она должна быть местной уроженкой. А мы, как изволите видеть, путешествуем и в данное время находимся в Москве. Сто двадцать одну Маргариту обнаружили мы в Москве, и, верите ли, — тут Коровьев с отчаянием хлопнул себя по ляжке, — ни одна не подходит! И, наконец, счастливая судьба...

Коровьев выразительно ухмыльнулся, наклоняя стан, и опять похолодело сердце Маргариты.

— Короче! — вскричал Коровьев. — Совсем коротко: вы не откажетесь принять на себя эту обязанность?

— Не откажусь, — твердо ответила Маргарита.

— Конечно! — сказал Коровьев и, подняв лампаду, добавил: — Прошу за мной.

Они пошли между колоннами и наконец выбрались в какой-то другой зал, в котором почему-то сильно пахло лимонами, где слышались какие-то шорохи и

где что-то задело Маргариту по голове. Она вздрогнула.

— Не пугайтесь, — сладко успокоил Коровьев, беря Маргариту под руку, — бальные ухищрения Бегемота, ничего более. И вообще я позволю себе смелость посоветовать вам, Маргарита Николаевна, никогда и ничего не бояться. Это неразумно. Бал будет пышный, не стану скрывать от вас этого. Мы увидим лиц, объем власти которых в свое время был чрезвычайно велик. Но, право, как подумаешь о том, насколько микроскопически малы их возможности по сравнению с возможностями того, в чьей свите я имею честь состоять, становится смешно и даже, я бы сказал, грустно... Да и притом вы сами — королевской крови.

— Почему королевской крови? — испуганно шепнула Маргарита, прижимаясь к Коровьеву.

— Ах, королева, — игриво трещал Коровьев, — вопросы крови — самые сложные вопросы в мире! И если бы расспросить некоторых прабабушек и в особенности тех из них, что пользовались репутацией смиренниц, удивительнейшие тайны открылись бы, уважаемая Маргарита Николаевна. Я ничуть не погрешу, если, говоря об этом, упомяну о причудливо тасуемой колоде карт. Есть вещи, в которых совершенно недействительны ни сословные перегородки, ни даже границы между государствами. Намекну: одна из французских королев, жившая в шестнадцатом веке, надо полагать, очень изумилась бы, если бы кто-нибудь сказал ей, что ее прелестную прапраправнучку я по прошествии многих лет буду вести под руку в Москве по бальным залам. Но мы пришли!

Тут Коровьев задул свою лампаду, и она пропала у него из рук, и Маргарита увидела лежащую на полу перед нею полосу света под какою-то темною дверью. И в эту дверь Коровьев тихо стукнул. Тут Маргарита взволновалась настолько, что у нее застучали зубы и по спине прошел озноб.

Дверь раскрылась. Комната оказалась очень небольшой. Маргарита увидела широкую дубовую кровать со смятыми и скомканными грязными простынями и подушками. Перед кроватью стоял дубовый на резных ножках стол, на котором помещался канделябр с гнездами в виде когтистых птичьих лап. В этих семи золотых лапах горели толстые восковые свечи. Кроме этого, на столике была большая шахматная доска с фи-

гурками, необыкновенно искусно сделанными. На маленьком вытертом коврике стояла низенькая скамеечка. Был еще один стол с какой-то золотой чашей и другим канделябром, ветви которого были сделаны в виде змей. В комнате пахло серой и смолой. Тени от светильников перекрещивались на полу.

Среди присутствующих Маргарита сразу узнала Азazelло, теперь уже одетого во фрак и стоящего у спинки кровати. Принарядившийся Азazelло уже не походил на того разбойника, в виде которого являлся Маргарите в Александровском саду, и поклонился он Маргарите чрезвычайно галантно.

Нагая ведьма, та самая Гелла, что так смущала почтенного буфетчика Варьете, и, увы, та самая, которую, к великому счастью, вспугнул петух в ночь знаменитого сеанса, сидела на коврике на полу у кровати, помещивая в кастрюле что-то, от чего валил серный пар.

Кроме этих, был еще в комнате сидящий на высоком табурете перед шахматным столиком громаднейший черный котище, держащий в правой лапе шахматного коня.

Гелла приподнялась и поклонилась Маргарите. То же сделал и кот, соскочивши с табурета. Шаркая правой задней лапой, он уронил коня и полез за ним под кровать.

Все это замирающая от страха Маргарита разглядела в коварных тенях от свечей кое-как. Взор ее притягивала постель, на которой сидел тот, кого еще совсем недавно бедный Иван на Патриарших убеждал в том, что дьявола не существует. Этот несуществующий и сидел на кровати.

Два глаза уперлись Маргарите в лицо. Правый с золотую искрой на дне, сверлящий любого до дна души, и левый — пустой и черный, вроде как узкое игольное ухо, как вход в бездонный колодец всякой тьмы и теней. Лицо Воланда было скошено на сторону, правый угол рта оттянут книзу, на высоком облысевшем лбу были прорезаны глубокие параллельные острым бровям морщины. Кожу на лице Воланда как будто бы навеки сжег загар.

Воланд широко раскинулся на постели, был одет в одну ночную длинную рубашку, грязную и заплатанную на левом плече. Одну голую ногу он поджал под себя, другую вытянул на скамеечку. Колено этой тем-

ной ноги и натирала какою-то дымящейся мазью Гелла.

Еще разглядела Маргарита на раскрытой безволосой груди Воланда искусно из темного камня вырезанного жука на золотой цепочке и с какими-то письменами на спинке. Рядом с Воландом на постели, на тяжелом постаменте, стоял странный, как будто живой и освещенный с одного бока солнцем глобус.

Несколько секунд длилось молчание. «Он изучает меня», — подумала Маргарита и усилием воли постаралась сдержать дрожь в ногах.

Наконец Воланд заговорил, улыбнувшись, отчего его искристый глаз как бы вспыхнул:

— Приветствую вас, королева, и прошу меня извинить за мой домашний наряд.

Голос Воланда был так низок, что на некоторых словах давал оттяжку в хрип.

Воланд взял с постели длинную шпагу, наклонившись, пошевелил ею под кроватью и сказал:

— Вылезай! Партия отменяется. Прибыла гостя.

— Ни в каком случае, — тревожно свистнул по-суфлерски над ухом Маргариты Коровьев.

— Ни в каком случае... — начала Маргарита.

— Мессир... —дохнул Коровьев в ухо.

— Ни в каком случае, мессир, — справившись с собой, тихо, но ясно ответила Маргарита и, улыбнувшись, добавила: — Я умоляю вас не прерывать партии. Я полагаю, что шахматные журналы заплатили бы недурные деньги, если б имели возможность ее напечатать.

Азazelло тихо и одобрительно крикнул, а Воланд, внимательно поглядев на Маргариту, заметил как бы про себя:

— Да, прав Коровьев. Как причудливо тасуется колода! Кровь!

Он протянул руку и поманил к себе Маргариту. Та подошла, не чувствуя пола под босыми ногами. Воланд положил свою тяжелую, как будто каменную, и в то же время горячую, как огонь, руку на плечо Маргариты, дернул ее к себе и посадил на кровать рядом с собою.

— Ну, уж если вы так очаровательно любезны, — проговорил он, — а я другого ничего и не ожидал, так будем без церемоний. — Он опять наклонился к краю кровати и крикнул: — Долго будет продолжаться этот балаган под кроватью? Вылезай, окаянный Ганс!

— Коня не могу найти, — задумчивым и фальшивым голосом отозвался из-под кровати кот, — ускакал куда-то, а вместо него какая-то лягушка попадает.

— Не воображаешь ли ты, что находишься на ярмарочной площади? — притворяясь рассерженным, спрашивал Воланд. — Никакой лягушки не было под кроватью! Оставь эти дешевые фокусы для Варьете. Если ты сейчас же не появишься, мы будем считать, что ты сдался, проклятый дезертир.

— Ни за что, мессир! — заорал кот и в ту же секунду вылез из-под кровати, держа в лапе коня.

— Рекомендую вам... — начал было Воланд и сам себя перебил: — Нет, я видеть не могу этого шута горохового. Посмотрите, во что он себя превратил под кроватью!

Стоящий на задних лапах и выпачканный пылью кот тем временем раскланивался перед Маргаритой. Теперь на шее у кота оказался белый фрачный галстук бантиком, а на груди перламутровый дамский бинокль на ремешке. Кроме того, усы кота были вызолочены.

— Ну что же это такое! — воскликнул Воланд. — Зачем ты позолотил усы? И на какой черт тебе нужен галстук, если на тебе нет штанов?

— Штаны коту не полагаются, мессир, — с большим достоинством отвечал кот. — Уж не прикажете ли вы мне надеть и сапоги? Кот в сапогах бывает только в сказках, мессир. Но видели ли вы когда-либо кого-нибудь на балу без галстука? Я не намерен оказаться в комическом положении и рисковать тем, что меня вытолкают в шею! Каждый украшает себя чем может. Считайте, что сказанное относится и к биноклю, мессир!

— Но усы?..

— Не понимаю, — сухо возражал кот, — почему, бреясь сегодня, Азazelло и Коровьев могли посыпать себя белой пудрой и чем она лучше золотой? Я напудрил усы, вот и все! Другой разговор был бы, если б я побрился! Бритый кот — это действительно уж безобразие, тысячу раз согласен признать это. Но вообще, — тут голос кота обидчиво дрогнул, — я вижу, что ко мне применяют кое-какие придирки, и вижу, что передо мною стоит серьезная проблема — быть ли мне вообще на балу? Что скажете вы мне на это, мессир?

И кот от обиды так раздулся, что казалось, еще секунда, и он лопнет.

— Ах, мошенник, мошенник, — качая головой, говорил Воланд, — каждый раз, как партия его в безнадежном положении, он начинает заговаривать зубы, подобно самому последнему шарлатану на мосту. Садись немедленно и прекрати эту словесную пачкотню.

— Я сяду, — ответил кот, садясь, — но возражу относительно последнего. Речи мои представляют отнюдь не пачкотню, как вы изволите выражаться в присутствии дамы, а вереницу прочно упакованных силлогизмов, которые оценили бы по достоинству такие знатоки, как Секст Эмпирик, Марциан Капелла, а то, чего доброго, и сам Аристотель.

— Шах королю, — сказал Воланд.

— Пожалуйста, пожалуйста, — отозвался кот и стал в бинокль смотреть на доску.

— Итак, — обратился к Маргарите Воланд, — рекомендую вам, донна, мою свиту. Этот валяющий дурака — кот Бегемот. С Азazelло и Коровьевым вы уже познакомились, служанку мою Геллу рекомендую. Расторопна, понятлива, и нет такой услуги, которую она не сумела бы оказать.

Красавица Гелла улыбалась, обратив к Маргарите свои с зеленью глаза, не переставая зачерпывать пригоршней мазь и накладывать ее на колено.

— Ну, вот и все, — закончил Воланд и поморщился, когда Гелла особенно сильно сжала его колено, — общество, как вы видите, небольшое, смешанное и бесхитростное. — Он умолк и стал поворачивать перед собою свой глобус, сделанный столь искусно, что синие океаны на нем шевелились, а шапка на полюсе лежала, как настоящая, ледяная и снежная.

На доске тем временем происходило смятение. Совершенно расстроенный король в белой мантии топтался на клетке, в отчаянии вздымая руки. Три белых пешки-ландскнехты с алебардами растерянно глядели на офицера, размахивающего шпагой и указывающего вперед, где в смежных клетках, белой и черной, виднелись черные всадники Воланда на двух горячих, роющих копытами клетки, конях.

Маргариту чрезвычайно заинтересовало и поразило то, что шахматные фигурки были живые.

Кот, отставив от глаз бинокль, тихонько подпихнул своего короля в спину. Тот в отчаянии закрыл лицо руками.

— Плоховато дельце, дорогой Бегемот, — тихо сказал Коровьев ядовитым голосом.

— Положение серьезное, но отнюдь не безнадежное, — отозвался Бегемот, — больше того: я вполне уверен в конечной победе. Стоит хорошенько проанализировать положение.

Этот анализ он начал производить довольно странным способом, именно стал кроить какие-то рожи и подмигивать своему королю.

— Ничего не помогает, — заметил Коровьев.

— Ай! — вскричал Бегемот. — Попугаи разлетелись, что я и предсказывал!

Действительно, где-то вдали послышался шум многочисленных крыльев. Коровьев и Азazelло бросились вон.

— А, черт вас возьми с вашими бальными затеями! — буркнул Воланд, не отрываясь от своего глобуса.

Лишь только Коровьев и Азazelло скрылись, мигание Бегемота приняло усиленные размеры. Белый король наконец догадался, чего от него хотят. Он вдруг стащил с себя мантию, бросил ее на клетку и убежал с доски. Офицер брошенное королевское одеяние накинул на себя и занял место короля.

Коровьев и Азazelло вернулись.

— Враки, как и всегда, — ворчал Азazelло, косясь на Бегемота.

— Мне послышалось, — ответил кот.

— Ну, что же, долго это будет продолжаться? — спросил Воланд. — Шах королю.

— Я, вероятно, ослышался, мой мэтр, — ответил кот, — шаха королю нет и быть не может.

— Повторяю, шах королю.

— Мессир, — тревожно-фальшивым голосом отозвался кот, — вы переутомились: нет шаха королю!

— Король на клетке г-два, — не глядя на доску, сказал Воланд.

— Мессир, я в ужасе! — завыл кот, изображая ужас на своей морде. — На этой клетке нет короля!

— Что такое? — в недоумении спросил Воланд и стал глядеть на доску, где стоявший на королевской клетке офицер отворачивался и закрывался рукой.

— Ах ты подлец, — задумчиво сказал Воланд.

— Мессир! Я вновь обращаюсь к логике, — заговорил кот, прижимая лапы к груди. — Если игрок объ-

являет шах королю, а короля между тем уже и в поmine нет на доске, шах признается недействительным.

— Ты сдаешься или нет? — прокричал страшным голосом Воланд.

— Разрешите подумать, — смиренно ответил кот, положил локти на стол, уткнул уши в лапы и стал думать. Думал он долго и наконец сказал: — Сдаюсь.

— Убить упрямую тварь, — шепнул Азazelло.

— Да, сдаюсь, — сказал кот, — но сдаюсь исключительно потому, что не могу играть в атмосфере травли со стороны завистников! — Он поднялся, и шахматные фигурки полезли в ящик.

— Гелла, пора, — сказал Воланд, и Гелла исчезла из комнаты. — Нога разболелась, а тут этот бал... — продолжал Воланд.

— Позвольте мне, — тихо попросила Маргарита.

Воланд пристально поглядел на нее и пододвинул к ней колено.

Горячая, как лава, жижa обжигала руки, но Маргарита, не морщась, стараясь не причинять боли, втирала ее в колено.

— Приближенные утверждают, что это ревматизм, — говорил Воланд, не спуская глаз с Маргариты, — но я сильно подозреваю, что эта боль в колене оставлена мне на память одной очаровательной ведьмой, с которой я близко познакомился в тысяча пятьсот семьдесят первом году в Брокенских горах, на Чертовой Кафедре.

— Ах, может ли это быть! — сказала Маргарита.

— Вздor! Лет через триста это пройдет. Мне советовали множество лекарств, но я по старинке придерживаюсь бабушкиных средств. Поразительные травы оставила в наследство поганая старушка, моя бабушка! Кстати, скажите, а вы не страдаете ли чем-нибудь? Быть может, у вас есть какая-нибудь печаль, отравляющая душу тоска?

— Нет, мессир, ничего этого нет, — ответила умница Маргарита, — а теперь, когда я у вас, я чувствую себя совсем хорошо.

— Кровь — великое дело, — неизвестно к чему весело сказал Воланд и прибавил: — Я вижу, что вас интересует мой глобус.

— О да, я никогда не видела такой вещицы.

— Хорошая вещица. Я, откровенно говоря, не люблю последних новостей по радио. Сообщают о них всегда какие-то девушки, невнятно произносящие названия мест. Кроме того, каждая третья из них немного косноязычна, как будто таких нарочно подбирают. Мой глобус гораздо удобнее, тем более что события мне нужно знать точно. Вот, например, видите этот кусок земли, бок которого моет океан? Смотрите, вот он наливается огнем. Там началась война. Если вы приблизите глаза, вы увидите и детали.

Маргарита наклонилась к глобусу и увидела, что квадратик земли расширился, многокрасочно расписался и превратился как бы в рельефную карту. А затем она увидела и ленточку реки, и какое-то селение возле нее. Домик, который был размером в горошину, разросся и стал как спичечная коробка. Внезапно и беззвучно крыша этого дома взлетела вверх вместе с клубом черного дыма, а стенки рухнули, так что от двухэтажной коробочки ничего не осталось, кроме кучечки, от которой валил черный дым. Еще приблизив свой глаз, Маргарита разглядела маленькую женскую фигурку, лежащую на земле, а возле нее в луже крови разметавшего руки маленького ребенка.

— Вот и всё, — улыбаясь, сказал Воланд, — он не успел нагрешить. Работа Абадонны безукоризненна.

— Я не хотела бы быть на той стороне, против которой этот Абадонна, — сказала Маргарита, — на чьей он стороне?

— Чем дальше говорю с вами, — любезно отозвался Воланд, — тем больше убеждаюсь в том, что вы очень умны. Я успокою вас. Он на редкость беспристрастен и равно сочувствует обоим сражающимся сторонам. Вследствие этого и результаты для обеих сторон бывают всегда одинаковы. Абадонна! — негромко позвал Воланд, и тут из стены появилась фигура какого-то худого человека в темных очках. Эти очки произвели на Маргариту такое сильное впечатление, что она, тихонько вскрикнув, уткнулась лицом в ногу Воланда. — Да перестаньте! — крикнул Воланд. — До чего нервные современные люди! — Он с размаху шлепнул Маргариту по спине, так что по ее телу прошел звон. — Ведь видите же, что он в очках. Кроме того, никогда не было случая, да и не будет, чтобы Абадонна появилась перед кем-нибудь преждевременно. Да и, наконец, я

здесь. Вы у меня в гостях! Я просто хотел вам его показать.

Абадонна стоял неподвижно.

— А можно, чтобы он снял очки на секунду? — спросила Маргарита, прижимаясь к Воланду и вздрагивая, но уже от любопытства.

— А вот этого нельзя, — серьезно ответил Воланд и махнул рукой Абадонне, и того не стало. — Что ты хочешь сказать, Азazelло?

— Мессир, — ответил Азazelло, — разрешите мне сказать. У нас двое посторонних: красавица, которая хнычет и умоляет, чтобы ее оставили при госпоже, и кроме того, с ней, прошу прощения, ее боров.

— Странно ведут себя красавицы, — заметил Воланд.

— Это Наташа, Наташа! — воскликнула Маргарита.

— Ну, оставить при госпоже. А борова — к поварам.

— Зарезать? — испуганно вскрикнула Маргарита. — Помилуйте, мессир, это Николай Иванович, нижний жилец. Тут недоразумение, она, видите ли, мазнула его кремом...

— Да позвольте, — сказал Воланд, — на кой черт и кто станет его резать? Пусть посидит вместе с поварами, вот и все! Не могу же, согласитесь, я его пустить в бальный зал!

— Да уж... — добавил Азazelло и доложил: — Полночь приближается, мессир.

— А, хорошо. — Воланд обратился к Маргарите: — Итак, прошу вас... Заранее благодарю вас. Не теряйтесь и ничего не бойтесь. Ничего не пейте, кроме воды, а то вы разомлеете и вам будет трудно. Пора!

Маргарита поднялась с коврика, и тогда в дверях возник Коровьев.

Г л а в а 23

ВЕЛИКИЙ БАЛ У САТАНЫ

Полночь приближалась, пришлось спешить. Маргарита смутно видела окружающее. Запомнились свечи и самоцветный какой-то бассейн. Когда Маргарита стала на дно этого бассейна, Гелла и помогающая ей Наташа окатили Маргариту какой-то горячей, густой и красной жидкостью. Маргарита ощутила соленый вкус на губах

и поняла, что ее моют кровью. Кровавая мантия сменилась другою — густой, прозрачной, розоватой, и у Маргариты закружилась голова от розового масла. Потом Маргариту бросили на хрустальное ложе и до блеска стали растирать какими-то большими зелеными листьями. Тут ворвался кот и стал помогать. Он уселся на корточки у ног Маргариты и стал натирать ей ступни с таким видом, как будто чистил сапоги на улице.

Маргарита не помнит, кто сшил ей из лепестков бледной розы туфли и как эти туфли сами собой застегнулись золотыми пряжками. Какая-то сила вздернула Маргариту и поставила перед зеркалом, и в волосах у нее блеснул королевский алмазный венец. Откуда-то явился Коровьев и повесил на грудь Маргариты тяжелое в овальной раме изображение черного пуделя на тяжелой цепи. Это украшение чрезвычайно обременило королеву. Цепь сейчас же стала натирать шею, изображение тянуло ее согнуться. Но кое-что вознаградило Маргариту за те неудобства, которые ей причиняла цепь с черным пуделем. Это — та почтительность, с которою стали относиться к ней Коровьев и Бегемот.

— Ничего, ничего, ничего! — бормотал Коровьев у дверей комнаты с бассейном. — Ничего не поделаешь, надо, надо, надо... Разрешите, королева, вам дать последний совет. Среди гостей будут различные, ох, очень различные, но никому, королева Марго, никакого преимущества! Если кто-нибудь и не понравится... я понимаю, что вы, конечно, не выразите этого на своем лице... Нет, нет, нельзя подумать об этом! Заметит, заметит в то же мгновение! Нужно полюбить его, полюбить, королева! Сторицей будет вознаграждена за это хозяйка бала. И еще: не пропустить никого! Хоть улыбочку, если не будет времени бросить слово, хоть малюсенький поворот головы. Все, что угодно, но только не невнимание. От этого они захиреют...

Тут Маргарита в сопровождении Коровьева и Бегемота шагнула из бассейной в полную темноту.

— Я, я, — шептал кот, — я дам сигнал!

— Давай! — ответил в темноте Коровьев.

— Бал! — пронзительно визгнул кот, и тотчас Маргарита вскрикнула и на несколько секунд закрыла глаза. Бал упал на нее сразу в виде света, вместе с ним — звука и запаха. Уносимая под руку Коровьевым, Мар-

гарита увидела себя в тропическом лесу. Красногрудые зеленохвостые попугаи цеплялись за лианы, перескакивали по ним и оглушительно кричали: «Я восхищен!» Но лес быстро кончился, и его банная духота тотчас сменилась прохладой бального зала с колоннами из какого-то желтоватого искрящегося камня. Этот зал, так же как и лес, был совершенно пуст, и лишь у колонн неподвижно стояли обнаженные негры в серебряных повязках на головах. Лица их стали грязно-бурыми от волнения, когда в зал влетела Маргарита со своею свитой, в которой откуда-то взялся Азazelло. Тут Коровьев выпустил руку Маргариты и шепнул:

— Прямо на тюльпаны!

Невысокая стена белых тюльпанов выросла перед Маргаритой, а за нею она увидела бесчисленные огни в колпачках и перед ними белые груди и черные плечи фрачников. Тогда Маргарита поняла, откуда шел балльный звук. На нее обрушился рев труб, а вырвавшийся из-под него взрыв скрипок окатил ее тело, как кровью. Оркестр человек в полтора года играл полонез.

Возвышавшийся перед оркестром человек во фраке, увидев Маргариту, побледнел, заулыбался и вдруг взмахом рук поднял весь оркестр. Ни на мгновение не прерывая музыки, оркестр, стоя, окатывал Маргариту звуками. Человек над оркестром отвернулся от него и поклонился низко, широко разбросив руки, и Маргарита, улыбаясь, помахала ему рукой.

— Нет, мало, мало, — зашептал Коровьев, — он не будет спать всю ночь. Крикните ему: «Приветствую вас, король вальсов!»

Маргарита крикнула это и подивилась тому, что ее голос, полный как колокол, покрыл вой оркестра. Человек от счастья вздрогнул и левую руку приложил к груди, правой продолжая махать оркестру белым жезлом.

— Мало, мало, — шептал Коровьев, — глядите налево, на первые скрипки, и кивните так, чтобы каждый думал, что вы его узнали в отдельности. Здесь только мировые знаменитости. Вот этому, за первым пультом, — это Вьетан. Так, очень хорошо. Теперь — дальше!

— Кто дирижер? — отлетая, спросила Маргарита.

— Иоганн Штраус! — закричал кот. — И пусть меня повесят в тропическом лесу на лиане, если на каком-

нибудь балу когда-либо играл такой оркестр! Я приглашал его! И, заметьте, ни один не заболел и ни один не отказался.

В следующем зале не было колонн, вместо них стояли стены красных, розовых, молочно-белых роз с одной стороны, а с другой — стена японских махровых камелий. Между этими стенами уже били, шипя, фонтаны, и шампанское вскипало пузырями в трех бассейнах, из которых был первый — прозрачно-фиолетовый, второй — рубиновый, третий — хрустальный. Возле них метались негры в алых повязках, серебряными черпаками наполняя из бассейнов плоские чаши. В розовой стене оказался пролом, и в нем на эстраде кипятился человек в красном с ласточкиным хвостом фраке. Перед ним гремел нестерпимо громко джаз. Лишь только дирижер увидел Маргариту, он согнулся перед нею так, что руками коснулся пола, потом выпрямился и пронзительно вскричал:

— Аллилуйя!

Он хлопнул себя по коленке раз, потом накрест по другой — два, вырвал из рук у крайнего музыканта тарелку, ударил ею по колонне.

Улетая Маргарита видела только, что виртуоз-джазбандист, борясь с полонезом, который дул Маргарите в спину, бьет по головам джазбандистов своей тарелкой и те приседают в комическом ужасе.

Наконец вылетели на площадку, где, как поняла Маргарита, ее во тьме встречал Коровьев с лампадкой. Теперь на этой площадке глаза слепли от света, льющегося из хрустальных виноградных гроздьев. Маргариту установили на место, и под левой рукой у нее оказалась низкая аметистовая колонка.

— Руку можно будет положить на нее, если станет очень трудно, — шептал Коровьев.

Какой-то чернокожий подкинул под ноги Маргарите подушку с вышитым на ней золотым пуделем, и на нее она, повинаясь чьим-то рукам, поставила, согнув в колене, свою правую ногу.

Маргарита попробовала оглядеться. Коровьев и Азazelло стояли возле нее в парадных позах. Рядом с Азazelло — еще трое молодых людей, смутно чем-то напомнивших Маргарите Абадону. В спину веяло холодом. Оглянувшись, Маргарита увидела, что из мраморной стены сзади нее бьет шипящее вино и стекает

в ледяной бассейн. У левой ноги она чувствовала что-то теплое и мохнатое. Это был Бегемот.

Маргарита была в высоте, и из-под ног ее вниз уходила грандиозная лестница, крытая ковром. Внизу, так далеко, как будто бы Маргарита смотрела обратным способом в бинокль, она видела громаднейшую швейцарскую с совершенно необъятным камином, в холодную и черную пасть которого мог свободно въехать пятитонный грузовик. Швейцарская и лестница, до боли в глазах залитая светом, были пусты. Трубы теперь доносились до Маргариты издалека. Так простояли неподвижно около минуты.

— Где же гости? — спросила Маргарита у Коровьева.

— Будут, королева, будут, сейчас будут. В них недостатка не будет. И, право, я предпочел бы рубить дрова, вместо того чтобы принимать их здесь на площадке.

— Что рубить дрова, — подхватил словоохотливый кот, — я хотел бы служить кондуктором в трамвае, а уж хуже этой работы нет ничего на свете!

— Все должно быть готово заранее, королева, — объяснял Коровьев, поблескивая глазом сквозь испорченный монокль. — Ничего не может быть гаже, чем когда приехавший первым гость мыкается, не зная, что ему предпринять, а его законная мегера шепотом пилит его за то, что они приехали раньше всех. Такие балы надо выбрасывать на помойку, королева.

— Определенно на помойку, — подтвердил кот.

— До полночи не более десяти секунд, — добавил Коровьев, — сейчас начнется.

Эти десять секунд показались Маргарите чрезвычайно длинными. По-видимому, они истекли уже, и ровно ничего не произошло. Но тут вдруг что-то грохнуло внизу в громадном камине, и из него выскочила виселица с болтающимся на ней полурассыпавшимся прахом. Этот прах сорвался с веревки, ударился об пол, и из него выскочил черноволосый красавец во фраке и в лакированных туфлях. Из камина выбежал полуистлевший небольшой гроб, крышка его отскочила, и из него вывалился другой прах. Красавец галантно подскочил к нему и подал руку калачиком, второй прах сложился в нагую вертлявую женщину в черных туфельках и с черными перьями на голове, и тогда оба, и мужчина и женщина, заспешили вверх по лестнице.

— Первые! — воскликнул Коровьев. — Господин

Жак с супругой. Рекомендую вам, королева, один из интереснейших мужчин. Убеденный фальшивомонетчик, государственный изменник, но очень недурной алхимик. Прославился тем, — шепнул на ухо Маргарите Коровьев, — что отравил королевскую любовницу. А ведь это не с каждым случается! Посмотрите, как красив!

Побледневшая Маргарита, раскрыв рот, глядела вниз и видела, как исчезают в каком-то боковом ходу швейцарской и виселица и гроб.

— Я в восхищении! — заорал прямо в лицо поднимающемуся по лестнице господину Жаку кот.

В это время внизу из камина появился безголовый, с оторванной рукою скелет, ударился оземь и превратился в мужчину во фраке.

Супруга господина Жака уже становилась перед Маргаритой на одно колено и, бледная от волнения, целовала колено Маргариты.

— Королева... — бормотала супруга господина Жака.

— Королева в восхищении! — кричал Коровьев.

— Королева... — тихо сказал красавец, господин Жак.

— Мы в восхищении, — завывал кот.

Молодые люди, спутники Азazelло, улыбаясь безжизненными, но приветливыми улыбками, уже теснили господина Жака с супругой в сторону, к чашам с шампанским, которые негры держали в руках. По лестнице поднимался вверх бегом одинокий фрачник.

— Граф Роберт, — шепнул Маргарите Коровьев, — по-прежнему интересен. Обратите внимание, как смешно, королева, — обратный случай: этот был любовником королевы и отравил свою жену.

— Мы рады, граф! — вскричал Бегемот.

Из камина подряд один за другим вывалились, лопаясь и распадаясь, три гроба, затем кто-то в черной мантии, которого следующий выбежавший из черной пасти ударил в спину ножом. Внизу послышался сдавленный крик. Из камина выбежал совсем почти разложившийся труп. Маргарита зажмурилась, и чья-то рука поднесла к ее носу флакон с белой солью. Маргарите показалось, что это рука Наташи. Лестница стала заполняться. Теперь уже на каждой ступеньке оказались, издали казавшиеся совершенно одинаковыми, фрачники и нагие женщины с ними, отличавшиеся друг от друга только цветом перьев на головах и туфель.

К Маргарите приближалась, ковыляя, в странном деревянном сапоге на левой ноге, дама с монашески опущенными глазами, худенькая, скромная и почему-то с широкой зеленой повязкой на шее.

— Какая зеленая? — машинально спросила Маргарита.

— Очаровательнейшая и солиднейшая дама, — шептал Коровьев, — рекомендую вам: госпожа Тофана. Была чрезвычайно популярна среди молодых очаровательных неаполитанок, а также жительниц Палермо, и в особенности тех, которым надоело их мужа. Ведь бывает же так, королева, чтобы надоел муж...

— Да, — глухо ответила Маргарита, в то же время улыбаясь двум фразчикам, которые один за другим склонились перед нею, целуя колено и руку.

— Ну вот, — ухитрялся шептать Коровьев Маргарите и в то же время кричать кому-то: — Герцог! Бокал шампанского! Я восхищен!.. Да, так вот-с, госпожа Тофана входила в положение этих бедных женщин и продавала им какую-то воду в пузырьках. Жена вливала эту воду в суп супругу, тот его съедал, благодарил за ласку и чувствовал себя превосходно. Правда, через несколько часов ему начинало очень сильно хотеться пить, затем он ложился в постель, и через день прекрасная неаполитанка, накормившая своего мужа супом, была свободна, как весенний ветер.

— А что это у нее на ноге? — спрашивала Маргарита, не уставая подавать руку гостям, обогнавшим ковыляющую госпожу Тофану. — И зачем эта зелень на шее? Блеклая шея?

— Я в восхищении, князь! — кричал Коровьев и в это же время шептал Маргарите: — Прекрасная шея, но с ней неприятность случилась в тюрьме. На ноге у нее, королева, испанский сапожок, а лента вот отчего: когда тюремщики узнали, что около пятисот неудачно выбранных мужей покинули Неаполь и Палермо навсегда, они сгоряча удавили госпожу Тофану в тюрьме.

— Как я счастлива, черная королева, что мне выпала высокая честь, — монашески шептала Тофана, пытаясь опуститься на колено. Испанский сапог мешал ей. Коровьев и Бегемот помогли Тофане подняться.

— Я рада, — ответила ей Маргарита, в то же время подавая руку другим.

Теперь по лестнице снизу вверх подымался поток.

Маргарита перестала видеть то, что делается в швейцарской. Она механически поднимала и опускала руку и, однообразно скалясь, улыбалась гостям. В воздухе на площадке уже стоял гул, из покинутых Маргаритой балльных зал, как море, слышалась музыка.

— А вот это — скучная женщина, — уже не шептал, а громко говорил Коровьев, зная, что в гуле голосов его уже не расслышат, — обожает балы, все мечтает пожаловаться на свой платок.

Маргарита поймала взглядом среди подымавшихся ту, на которую указывал Коровьев. Это была молодая женщина лет двадцати, необыкновенного по красоте сложения, но с какими-то беспокойными и назойливыми глазами.

— Какой платок? — спросила Маргарита.

— К ней камеристка приставлена, — пояснял Коровьев, — и тридцать лет кладет ей на ночь на столик носовой платок. Как она проснется, так платок уже тут. Она уж и сжигала его в печи и топила его в реке, но ничего не помогает.

— Какой платок? — шептала Маргарита, подымая и опуская руку.

— С синей каемочкой платок. Дело в том, что, когда она служила в кафе, хозяин как-то ее зазвал в кладовую, а через девять месяцев она родила мальчика, унесла его в лес и засунула ему в рот платок, а потом закопала мальчика в земле. На суде она говорила, что ей нечем кормить ребенка.

— А где же хозяин этого кафе? — спросила Маргарита.

— Королева, — вдруг заскрипел снизу кот, — разрешите мне спросить вас: при чем же здесь хозяин? Ведь он не душил младенца в лесу!

Маргарита, не переставая улыбаться и качать правой рукой, острые ногти левой запустила в Бегемотово ухо и зашептала ему:

— Если ты, сволочь, еще раз позволишь себе впутаться в разговор...

Бегемот как-то не по-бальному вспискнул и захрипел:

— Королева... ухо вспухнет... Зачем же портить бал вспухшим ухом?.. Я говорил юридически... с юридической точки... Молчу, молчу... Считайте, что я не кот, а рыба, только оставьте ухо.

Маргарита выпустила ухо, и назойливые, мрачные глаза оказались перед ней.

— Я счастлива, королева-хозяйка, быть приглашенной на великий бал полнолуния.

— А я, — ответила ей Маргарита, — рада вас видеть. Очень рада. Любите ли вы шампанское?

— Что вы изволите делать, королева?! — отчаянно, но беззвучно вскричал на ухо Маргарите Коровьев. — Получится затор!

— Я люблю, — моляще говорила женщина и вдруг механически стала повторять: — Фрида, Фрида, Фрида! Меня зовут Фрида, о королева!

— Так вы напейтесь сегодня пьяной, Фрида, и ни о чем не думайте, — сказала Маргарита.

Фрида протянула обе руки Маргарите, но Коровьев и Бегемот очень ловко подхватили ее под руки, и ее затерло в толпе.

Теперь снизу уже стеною шел народ, как бы штурмующая площадку, на которой стояла Маргарита. Голые женские тела подымались между фрачными мужчинами. На Маргариту наплывали их смутные, и белые, и цвета кофейного зерна, и вовсе черные тела. В волосах рыжих, черных, каштановых, светлых, как лен, в ливне света играли и плясали, рассыпали искры драгоценные камни. И как будто кто-то окропил штурмующую колонну мужчин каплями света, — с грудей брызгали светом бриллиантовые запонки. Теперь Маргарита ежесекундно ощущала прикосновение губ к колену, ежесекундно вытягивала вперед руку для поцелуя, лицо ее стоянуло в неподвижную маску приветя.

— Я в восхищении, — монотонно пел Коровьев, мы в восхищении... Королева в восхищении...

— Королева в восхищении... — гнусил за спиною Азazelло.

— Я восхищен, — вскрикивал кот.

— Маркиза... — бормотал Коровьев, — отравила отца, двух братьев и двух сестер из-за наследства... Королева в восхищении!. Госпожа Минкина... Ах, как хороша! Немного нервозна. Зачем же было жечь горничной лицо щипцами для завивки? Конечно, при этих условиях зарежут... Королева в восхищении!.. Королева, секунду внимания! Император Рудольф, чародей и алхимик... Еще алхимик, — повешен... Ах, вот и она! Ах, какой чудесный публичный дом был у нее в

Страсбург!.. Мы в восхищении!.. Московская портниха, мы все ее любим за неистощимую фантазию... держала ателье и придумала страшно смешную штуку: провертела две круглые дырочки в стене...

— А дамы не знали? — спросила Маргарита.

— Все до одной знали, королева, — отвечал Коровьев. — Я в восхищении!.. Этот двадцатилетний мальчуган с детства отличался странными фантазиями, мечтатель и чудака. Его полюбила одна девушка, а он взял и продал ее в публичный дом...

Снизу текла река. Конца этой реке не было видно. Источник ее, громадный камин, продолжал ее питать. Так прошел час и пошел второй час. Тут Маргарита стала замечать, что цепь ее сделалась тяжелее, чем была. Что-то странное произошло и с рукой. Теперь перед тем, как поднять ее, Маргарите приходилось морщиться. Интересные замечания Коровьева перестали занимать Маргариту. И раскосые монгольские лица, и лица белые и черные сделались безразличными, по временам сливались, а воздух между ними почему-то начинал дрожать и струиться. Острая боль, как от иглы, вдруг пронизала правую руку Маргариты, и, стиснув зубы, она положила локоть на тумбу. Какой-то шорох, как бы крыльев по стенам, доносился теперь сзади из залы, и было понятно, что там танцуют неслыханные полчища гостей, и Маргарите казалось, что даже массивные мраморные, мозаичные и хрустальные полы в этом диковинном зале ритмично пульсируют.

Ни Гай Кесарь Калигула, ни Мессалина уже не заинтересовали Маргариту, как не заинтересовал ни один из королей, герцогов, кавалеров, самоубийц, отравительниц, висельников и сводниц, тюремщиков и шулеров, палачей, доносчиков, изменников, безумцев, сыщиков, растлителей. Все их имена спутались в голове, лица слиплись в одну громадную лепешку, и только одно мучительно сидело в памяти лицо, окаймленное действительно огненной бородой, лицо Малюты Скуратова. Ноги Маргариты подгибались, каждую минуту она боялась заплакать. Наихудшие страдания ей причиняло правое колено, которое целовали. Оно распухло, кожа на нем посинела, несмотря на то, что несколько раз рука Наташи появлялась возле этого колена с губкой и чем-то душистым обтирала его. В конце третьего часа Маргарита глянула вниз совершенно безна-

дежными глазами и радостно дрогнула: поток гостей редел.

— Законы бального съезда одинаковы, королева, — шептал Коровьев, — сейчас волна начнет спадать. Клянусь, что мы терпим последние минуты. Вон группа брокенских гуляк. Они всегда приезжают последними. Ну да, это они. Два пьяных вампира... все? Ах нет, вот еще один. Нет, двое!

По лестнице подымались двое последних гостей.

— Да это кто-то новенький, — говорил Коровьев, щурясь сквозь стеклышко. — Ах да, да. Как-то раз Азazelло навестил его и за коньяком нашептал ему совет, как избавиться от одного человека, разоблачений которого он чрезвычайно опасался. И вот он велел своему знакомому, находившемуся от него в зависимости, обрызгать стены кабинета ядом.

— Как его зовут? — спросила Маргарита.

— А, право, я сам еще не знаю, — ответил Коровьев, — надо спросить у Азazelло.

— А кто с ним?

— А вот этот самый исполнительный его подчиненный. Я восхищен! — прокричал Коровьев последним двум.

Лестница опустела. Из осторожности подождали еще немного. Но из камина более никто не выходил.

Через секунду, не понимая, как это случилось, Маргарита оказалась в той же комнате с бассейном и там, сразу заплавав от боли в руке и ноге, повалилась прямо на пол. Но Гелла и Наташа, утешая ее, опять повлекли ее под кровавый душ, опять размяли ее тело, и Маргарита вновь ожила.

— Еще, еще, королева Марго, — шептал появившийся рядом Коровьев, — надо облететь залы, чтобы почтенные гости не чувствовали себя брошенными.

И Маргарита вновь вылетела из комнаты с бассейном.

На эстраде за тюльпанами, где играл оркестр короля вальсов, теперь бесновался обезьяний джаз. Громадная, в лохматых бакенбардах горилла с трубой в руке, тяжело приплясывая, дирижировала. В один ряд сидели орангутанги, дули в блестящие трубы. На плечах у них верхом поместились веселые шимпанзе с гармониями. Два гамадрила в гривах, похожих на львиные, играли на роялях, и этих роялей не было слышно в громе и

писке и буханьях саксофонов, скрипок и барабанов в лапах гиббонов, мандрилов и мартышек. На зеркальном полу несчитанное количество пар, словно слившись, поражая ловкостью и чистотой движений, вертятся в одном направлении, стеною шло, угрожая все смести на своем пути. Живые атласные бабочки ныряли над танцующими полчищами, с потолков сыпались цветы. В капителях колонн, когда погасало электричество, загорались мириады светляков, а в воздухе плыли болотные огни.

Потом Маргарита оказалась в чудовищном по размерам бассейне, окаймленном колоннадой. Гигантский черный Нептун выбрасывал из пасти широкую розовую струю. Одурачивающий запах шампанского подымался из бассейна. Здесь господствовало непринужденное веселье. Дамы, смеясь, сбрасывали туфли, отдавали сумочки своим кавалерам или неграм, бегающим с простынями в руках, и с криком ласточкой бросались в бассейн. Пенные столбы взбрасывало вверх. Хрустальное дно бассейна горело нижним светом, пробивавшим толщу вина, и в нем видны были серебристые плавающие тела. Выскакивали из бассейна совершенно пьяными. Хохот звенел под колоннами и гремел, как в бане.

Во всей этой кутерьме запомнилось одно совершенно пьяное женское лицо с бессмысленными, но и в бессмысленности умоляющими глазами, и вспомнилось одно слово — «Фрида»!

Голова Маргариты начала кружиться от запаха вина, и она уже хотела уходить, как кот устроил в бассейне номер, задержавший Маргариту. Бегемот наколдовал чего-то у пасти Нептуна, и тотчас с шипением и грохотом волнующаяся масса шампанского ушла из бассейна, а Нептун стал извергать не играющую, не пенящуюся волну темно-желтого цвета. Дамы с визгом и воплем:

— Коньяк! — кинулись от краев бассейна за колонны. Через несколько секунд бассейн был полон, и кот, трижды перевернувшись в воздухе, обрушился в колышающийся коньяк. Вылез он, отфыркиваясь, с раскисшим галстухом, потеряв позолоту с усов и свой бинокль. Примеру Бегемота решила последовать только одна, та самая затейница-портниха, и ее кавалер, неизвестный молодой мулат. Оба они бросились в коньяк,

но тут Коровьев подхватил Маргариту под руку, и они покинули купальщиков.

Маргарите показалось, что она пролетела где-то, где видела в громадных каменных прудах горы устриц. Потом она летела над стеклянным полом с горящими под ним адскими топками и мечущимися между ними дьявольскими белыми поварами. Потом где-то она, уже переставая что-либо соображать, видела темные подвалы, где горели какие-то светильники, где девушки подавали шипящее на раскаленных углях мясо, где пили из больших кружек за ее здоровье. Потом она видела белых медведей, игравших на гармониках и пляшущих камаринского на эстраде. Фокусника-саламандру, не сгоравшего в камине... И во второй раз силы ее стали иссякать.

— Последний выход, — прошептал ей озабоченно Коровьев, — и мы свободны.

Она в сопровождении Коровьева опять оказалась в бальном зале, но теперь в нем не танцевали, и гости несметной толпой теснились между колоннами, оставив свободной середину зала. Маргарита не помнила, кто помог ей подняться на возвышение, появившееся посередине этого свободного пространства зала. Когда она взошла на него, она, к удивлению своему, услышала, как где-то бьет полночь, которая давным-давно, по ее счету, истекла. С последним ударом неизвестно откуда слышавшихся часов молчание упало на толпы гостей.

Тогда Маргарита опять увидела Воланда. Он шел в окружении Абадонны, Азazelло и еще нескольких похожих на Абадонну, черных и молодых. Маргарита теперь увидела, что напротив ее возвышения было приготовлено другое возвышение для Воланда. Но он им не воспользовался. Поразило Маргариту то, что Воланд вышел в этот последний великий выход на балу как раз в том самом виде, в каком был в спальне. Все та же грязная заплатанная сорочка висела на его плечах, ноги были в стоптанных ночных туфлях. Воланд был со шпагой, но этой обнаженной шпагой он пользовался как тростью, опираясь на нее.

Прихрамывая, Воланд остановился возле своего возвышения, и сейчас же Азazelло оказался перед ним с блюдом в руках, и на этом блюде Маргарита увидела отрезанную голову человека с выбитыми передними зу-

бами. Продолжала стоять полнейшая тишина, и ее прервал только один раз далеко послышавшийся, непонятный в этих условиях звонок, как бывает с парадного хода.

— Михаил Александрович, — негромко обратился Воланд к голове, и тогда веки убитого приподнялись, и на мертвом лице Маргарита, содрогнувшись, увидела живые, полные мысли и страдания глаза. — Все сбылось, не правда ли? — продолжал Воланд, глядя в глаза головы. — Голова отрезана женщиной, заседание не состоялось, и живу я в вашей квартире. Это — факт. А факт — самая упрямая в мире вещь. Но теперь нас интересует дальнейшее, а не этот уже совершившийся факт. Вы всегда были горячим проповедником той теории, что по отрезании головы жизнь в человеке прекращается, он превращается в золу и уходит в небытие. Мне приятно сообщить вам, в присутствии моих гостей, хотя они и служат доказательством совсем другой теории, о том, что ваша теория и солидна и остроумна. Впрочем, все теории стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере. Да сбудется же это! Вы уходите в небытие, а мне радостно будет из чаши, в которую вы превращаетесь, выпить за бытие!

Воланд поднял шпагу. Тут же покровы головы потемнели и съежились, потом отвалились кусками, глаза исчезли, и вскоре Маргарита увидела на блюде желтоватый, с изумрудными глазами и жемчужными зубами, на золотой ноге, череп. Крышка черепа откинулась на шарнире.

— Сию секунду, мессир, — сказал Коровьев, заметив вопросительный взгляд Воланда, — он предстанет перед вами. Я слышу в этой гробовой тишине, как скрипят его лакированные туфли и как звенит бокал, который он поставил на стол, последний раз в этой жизни выпив шампанское. Да вот и он.

Направляясь к Воланду, вступал в зал новый одинокий гость. Внешне он ничем не отличался от многочисленных остальных гостей-мужчин, кроме одного: гостя буквально шатало от волнения, что было видно даже издали. На его щеках горели пятна, и глаза бегали в полной тревоге. Гость был ошарашен, и это было вполне естественно: его поразило все, и главным образом, конечно, наряд Воланда.

Однако встречен был гость отменно ласково.

— А, милейший барон Майгель, — приветливо улыбаясь, обратился Воланд к гостю, у которого глаза вылезали на лоб, — я счастлив рекомендовать вам, — обратился Воланд к гостям, — почтеннейшего барона Майгеля, служащего Зрелищной комиссии в должности ознакомителя иностранцев с достопримечательностями столицы.

Тут Маргарита замерла, потому что узнала в друг этого Майгеля. Он несколько раз попадался ей в театрах Москвы и в ресторанах. «Позвольте... — подумала Маргарита, — он, стало быть, что ли, тоже умер?» Но дело тут же разъяснилось.

— Милый барон, — продолжал Воланд, радостно улыбаясь, — был так очарователен, что, узнав о моем приезде в Москву, тотчас позвонил ко мне, предлагая свои услуги по своей специальности, то есть по ознакомлению с достопримечательностями. Само собою разумеется, что я был счастлив пригласить его к себе.

В это время Маргарита видела, как Азazelло передал блюдо с черепом Коровьеву.

— Да, кстати, барон, — вдруг интимно понизив голос, проговорил Воланд, — разнеслись слухи о чрезвычайной вашей любознательности. Говорят, что она, в соединении с вашей не менее развитой разговорчивостью, стала привлекать общее внимание. Более того, злые языки уже уронили слово — наушник и шпион. И еще более того, есть предположение, что это приведет вас к печальному концу не далее, чем через месяц. Так вот, чтобы избавить вас от этого томительного ожидания, мы решили прийти к вам на помощь, воспользовавшись тем обстоятельством, что вы напросились ко мне в гости именно с целью подсмотреть и подслушать все, что можно.

Барон стал бледнее, чем Абадонна, который был исключительно бледен по своей природе, а затем произошло что-то странное. Абадонна оказался перед бароном и на секунду снял свои очки. В тот же момент что-то сверкнуло огнем в руках Азazelло, что-то негромко хлопнуло как в ладоши, барон стал падать навзничь, алая кровь брызнула у него из груди и залила крахмальную рубашку и жилет. Коровьев подставил чашу под бьющуюся струю и передал наполнившуюся чашу Воланду. Безжизненное тело барона в это время

уже было на полу.

— Я пью ваше здоровье, господа, — негромко сказал Воланд и, подняв чашу, прикоснулся к ней губами.

Тогда произошла метаморфоза. Исчезла заплатанная рубаша и стоптанные туфли. Воланд оказался в какой-то черной хламиде со стальной шпагой на бедре. Он быстро приблизился к Маргарите, поднес ей чашу и повелительно сказал:

— Пей!

У Маргариты закружилась голова, ее шатнуло, но чаша оказалась уже у ее губ, и чьи-то голоса, а чьи — она не разобрала, шепнули в оба уха:

— Не бойтесь, королева... Не бойтесь, королева, кровь давно ушла в землю. И там, где она пролилась, уже растут виноградные гроздья.

Маргарита, не раскрывая глаз, сделала глоток, и сладкий ток пробежал по ее жилам, в ушах начался звон. Ей показалось, что кричат оглушительные петухи, что где-то играют марш. Толпы гостей стали терять свой облик. И фразички и женщины распались в прах. Тление на глазах Маргариты охватило зал, над ним потек запах склепа. Колонны распались, угасли огни, все съежилось, и не стало никаких фонтанов, тюльпанов и камелий. А просто было, что было — скромная гостиная ювелирши, и из приоткрытой в нее двери выпадала полоска света. И в эту приоткрытую дверь и вошла Маргарита.

Г л а в а 24

ИЗВЛЕЧЕНИЕ МАСТЕРА

В спальне Воланда все оказалось, как было до бала. Воланд в сорочке сидел на постели, и только Гелла не растирала ему ногу, а на столе, там, где раньше играли в шахматы, накрывала ужин. Коровьев и Азazelло, сняв фраки, сидели у стола, и рядом с ними, конечно, помещался кот, не пожелавший расстаться со своим галстуком, хоть он и превратился в совершеннейшую грязную тряпку. Маргарита, шатаясь, подошла к столу и оперлась на него. Тогда Воланд поманил ее, как и тогда, к себе и показал, чтобы она села рядом.

— Ну что, вас очень измучили? — спросил Воланд.

— О нет, мессир, — ответила Маргарита, но чуть слышно.

— Ноблесс облич, — заметил кот и налил Маргарите какой-то прозрачной жидкости в лафитный стакан.

— Это водка? — слабо спросила Маргарита.

Кот подпрыгнул на стуле от обиды.

— Помилуйте, королева, — прохрипел он, — разве я позволил бы себе налить даме водки? Это — чистый спирт!

Маргарита улыбнулась и сделала попытку отодвинуть от себя стакан.

— Смело пейте, — сказал Воланд, и Маргарита тотчас взяла стакан в руки. — Гелла, садись, — приказал Воланд и объяснил Маргарите: — Ночь полнолуния — праздничная ночь, и я ужинаю в тесной компании приближенных и слуг. Итак, как чувствуете вы себя? Как прошел этот утомительный бал?

— Потрясающе! — затрещал Коровьев. — Все очарованы, влюблены, раздавлены! Сколько такта, сколько умения, обаяния и шарма!

Воланд молча поднял стакан и чокнулся с Маргаритой. Маргарита покорно выпила, думая, что тут же ей и будет конец от спирта. Но ничего плохого не произошло. Живое тепло потекло по ее животу, что-то мягко стукнуло в затылок, вернулись силы, как будто она встала после долгого освежающего сна, кроме того, почувствовался волчий голод. И при воспоминании о том, что она не ела ничего со вчерашнего утра, он еще более разгорелся. Она стала жадно глотать икру.

Бегемот отрезал кусок ананаса, посолил его, поперчил, съел и после этого так залихватски тяпнул вторую стопку спирта, что все заплодировали.

После второй стопки, выпитой Маргаритой, свечи в канделябрах разгорелись поярче, и в камине прибавилось пламени. Никакого опьянения Маргарита не чувствовала. Кусая белыми зубами мясо, Маргарита упивалась текущим из него соком и в то же время смотрела, как Бегемот намазывает горчицей устрицу.

— Ты еще винограду сверху положи, — тихо сказала Гелла, пихнув в бок кота.

— Попрошу меня не учить, — ответил Бегемот, — сиживал за столом, не беспокойтесь, сиживал!

— Ах, как приятно ужинать вот этак, при камельке, запросто, — дребезжал Коровьев, — в тесном кругу...

— Нет, Фагот, — возражал кот, — бал имеет свою прелесть и размах.

— Никакой прелести в нем нет и размаха также, а эти дурацкие медведи, а также и тигры в баре своим ревом едва не довели меня до мигрени, — сказал Воланд.

— Слушаю, мессир, — сказал кот, — если вы находите, что нет размаха, и я немедленно начну держаться того же мнения.

— Ты смотри! — ответил на это Воланд.

— Я пошутил, — со смирением сказал кот, — а что касается тигров, то я их велю зажарить.

— Тигров нельзя есть, — сказала Гелла.

— Вы полагаете? Тогда прошу послушать, — отозвался кот и, жмурясь от удовольствия, рассказал о том, как однажды он скитался в течение девятнадцати дней в пустыне и единственно, чем питался, это мясом убитого им тигра. Все с интересом прослушали это занимательное повествование, а когда Бегемот кончил его, все хором воскликнули:

— Вранье!

— И интереснее всего в этом вранье то, — сказал Воланд, — что оно — вранье от первого до последнего слова.

— Ах так? Вранье? — воскликнул кот, и все подумали, что он начнет протестовать, но он только тихо сказал: — История рассудит нас.

— А скажите, — обратилась Марго, оживившаяся после водки, к Азazelло, — вы его застрелили, этого бывшего барона?

— Натурально, — ответил Азazelло, — как же его не застрелить? Его обязательно надо застрелить.

— Я так взволновалась! — воскликнула Маргарита. — Это случилось так неожиданно.

— Ничего в этом нет неожиданного, — возразил Азazelло, а Коровьев завыл и заныл:

— Как же не взволноваться? У меня у самого поджилки затряслись! Бух! Раз! Барон на бок!

— Со мной едва истерика не сделалась, — добавил кот, облизывая ложку с икрой.

— Вот что мне непонятно, — говорила Маргарита, и золотые искры от хрусталя прыгали у нее в глазах, — неужели снаружи не было слышно музыки и вообще грохота этого бала?

— Конечно, не было слышно, королева, — объяснял Коровьев, — это надо делать так, чтобы не было слышно. Это поаккуратнее надо делать.

— Ну да, ну да... А то ведь дело в том, что этот человек на лестнице... Вот когда мы проходили с Азazelло... И другой у подъезда... Я думаю, что он наблюдал за вашей квартирой...

— Верно, верно! — кричал Коровьев. — Верно, дорогая Маргарита Николаевна! Вы подтверждаете мои подозрения! Да, он наблюдал за квартирой! Я сам было принял его за рассеянного приват-доцента или влюбленного, томящегося на лестнице. Но нет, нет! Что-то сосало мое сердце! Ах, он наблюдал за квартирой! И другой у подъезда тоже! И тот, что был в подворотне, то же самое!

— А вот интересно, если вас придут арестовывать? — спросила Маргарита.

— Непременно придут, очаровательная королева, непременно! — отвечал Коровьев. — Чует сердце, что придут. Не сейчас, конечно, но в свое время обязательно придут. Но полагаю, что ничего интересного не будет

— Ах, как я взволновалась, когда этот барон упал, — говорила Маргарита, по-видимому, до сих пор переживая убийство, которое она видела впервые в жизни. — Вы, наверное, хорошо стреляете?

— Подходяще, — ответил Азazelло.

— А на сколько шагов? — задала Маргарита Азazelло не совсем ясный вопрос.

— Во что, смотря по тому, — резонно ответил Азazelло, — одно дело попасть молотком в стекло критику Латунскому и совсем другое дело — ему же в сердце.

— В сердце! — восклицала Маргарита, почему-то берясь за свое сердце. — В сердце! — повторила она глухим голосом.

— Что это за критик Латунский? — спросил Воланд, прищурившись на Маргариту.

Азazelло, Коровьев и Бегемот как-то стыдливо потупились, а Маргарита ответила, краснея:

— Есть такой один критик. Я сегодня вечером разнесла всю его квартиру.

— Вот тебе раз! А зачем же?

— Он, мессир, — объяснила Маргарита, — погубил одного мастера.

— А зачем же было самой-то трудиться? — спросил Воланд.

— Разрешите мне, мессир! — вскричал радостно кот, вскакивая.

— Да сиди ты, — буркнул Азазелло, вставая, — я сам сейчас съезжу...

— Нет! — воскликнула Маргарита. — Нет, умоляю вас, мессир, не надо этого!

— Как угодно, как угодно, — ответил Воланд, а Азазелло сел на свое место.

— Так на чем мы остановились, драгоценная королева Марго? — говорил Коровьев. — Ах да, сердце. В сердце он попадает, — Коровьев вытянул свой длинный палец по направлению Азазелло, — по выбору, в любое предсердие сердца или в любой из желудочков.

Маргарита не сразу поняла, а поняв, воскликнула с удивлением:

— Да ведь они же закрыты!

— Дорогая, — дребезжал Коровьев, — в том-то и штука, что закрыты! В этом-то вся и соль! А в открытый предмет может попасть каждый!

Коровьев вынул из ящика стола семерку пик, предложил ее Маргарите, попросив наметить ногтем одно из очков. Маргарита наметила угловое верхнее правое. Гелла спрятала карту под подушку, крикнув:

— Готово!

Азазелло, который сидел отвернувшись от подушки, вынул из кармана фрачных брюк черный автоматический пистолет, положил дуло его на плечо и, не поворачиваясь к кровати, выстрелил, вызвав веселый испуг в Маргарите. Из-под простреленной подушки вытащили семерку. Намеченное Маргаритой очко было пробито.

— Не желала бы я встретиться с вами, когда у вас в руках револьвер, — кокетливо поглядывая на Азазелло, сказала Маргарита. У нее была страсть ко всем людям, которые делают что-либо первоклассно.

— Драгоценная королева, — пищал Коровьев, — я никому не рекомендую встретиться с ним, даже если у него и не будет никакого револьвера в руках! Даю слово чести бывшего регента и запевалы, что никто не поздравил бы этого встретившегося.

Кот сидел насупившись во время опыта со стрельбой и вдруг объявил:

— Берусь перекрыть рекорд с семеркой.

Азазелло в ответ на это что-то прорычал. Но кот был упорен и потребовал не один, а два револьвера. Азазелло вынул второй револьвер из второго заднего

кармана брюк и вместе с первым, презрительно кривя рот, протянул хвостуну. Наметили два очка на семерке. Кот долго приготавливался, отвернувшись от подушки. Маргарита сидела, заткнув пальцами уши, и глядела на сову, дремавшую на каминной полке. Кот выстрелил из обоих револьверов, после чего сейчас же взвизгнула Гелла, убитая сова упала с камина, и разбитые часы остановились. Гелла, у которой одна рука была окровавлена, с воем вцепилась в шерсть коту, а он ей в ответ в волосы, и они, свившись в клубок, покатались по полу. Один из бокалов упал со стола и разбился.

— Оттащите от меня взбесившуюся чертовку! — завывал кот, отбиваясь от Геллы, сидевшей на нем верхом. Дерущихся разняли, Коровьев подул на простреленный палец Геллы, и тот зажил.

— Я не могу стрелять, когда под руку говорят! — кричал Бегемот и старался приладить на место выдранный у него из спины громадный клочок шерсти.

— Держу пари, — сказал Воланд, улыбаясь Маргарите, — что проделал он эту штуку нарочно. Он стреляет порядочно.

Гелла с котом помирились, и в знак этого примирения они поцеловались. Достали из-под подушки карту, проверили. Ни одно очко, кроме того, что было прострелено Азazelло, не было затронуто.

— Этого не может быть, — утверждал кот, глядя сквозь карту на свет канделябра.

Веселый ужин продолжался. Свечи оплывали в канделябрах, по комнате волнами распространялось сухое, душистое тепло от камина. Наевшуюся Маргариту охватывало чувство блаженства. Она глядела, как сизые кольца от сигары Азazelло уплывают в камин и как кот ловит их на конец шпаги. Ей никуда не хотелось уходить, хотя и было, по ее расчетам, уже поздно. Судя по всему, время подходило к шести утра. Воспользовавшись паузой, Маргарита обратилась к Воланду и робко сказала:

— Пожалуй, мне пора... Поздно...

— Куда же вы спешите? — спросил Воланд вежливо, но сухо. Остальные промолчали, делая вид, что увлечены сигарными дымными кольцами.

— Да, пора, — совсем смутившись от этого, повторила Маргарита и обернулась, как будто ища накидку или плащ. Ее нагота вдруг стала стеснять ее. Она под-

нялась из-за стола. Воланд молча снял с кровати свой вытертый и засаленный халат, а Коровьев набросил его Маргарите на плечи.

— Благодарю вас, мессир, — чуть слышно сказала Маргарита и вопросительно поглядела на Воланда. Тот в ответ улыбнулся ей вежливо и равнодушно. Черная тоска как-то сразу подкатила к сердцу Маргариты. Она почувствовала себя обманутой. Никакой награды за все ее услуги на балу никто, по-видимому, ей не собирався предлагать, как никто ее и не удерживал. А между тем ей совершенно ясно было, что идти ей отсюда больше некуда. Мимолетная мысль о том, что придется вернуться в особняк, вызвала в ней внутренний взрыв отчаяния. Попросить, что ли, самой, как искушающе советовал Азazelло в Александровском саду? «Нет, ни за что!» — сказала она себе.

— Всего хорошего, мессир, — произнесла она вслух, а сама подумала: «Только бы выбраться отсюда, а там уж я дойду до реки и утоплюсь».

— Сядьте-ка, — вдруг повелительно сказал Воланд. Маргарита изменилась в лице и села.

— Может быть, что-нибудь хотите сказать на прощанье?

— Нет, ничего, мессир, — с гордостью ответила Маргарита, — кроме того, что если я еще нужна вам, то я готова охотно исполнить все, что вам будет угодно. Я ничуть не устала и очень веселилась на балу. Так что, если бы он и продолжался еще, я охотно бы предоставила мое колено для того, чтобы к нему прикладывались тысячи висельников и убийц. — Маргарита глядела на Воланда, как сквозь пелену, глаза ее наполнялись слезами.

— Верно! Вы совершенно правы! — гулко и страшно прокричал Воланд. — Так и надо!

— Так и надо! — как эхо, повторила свита Воланда.

— Мы вас испытывали, — сказал Воланд, — никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут. Садитесь, гордая женщина. — Воланд сорвал тяжелый халат с Маргариты, и опять она оказалась сидящей рядом с ним на постели. — Итак, Марго, — продолжал Воланд, смягчая свой голос, — чего вы хотите за то, что сегодня были у меня хозяйкой? Чего желаете за то, что провели этот бал нагой? Во что це-

ните ваше колено? Каковы убытки от моих гостей, которых вы сейчас наименовали висельниками? Говорите! И теперь уж говорите без стеснения, ибо предложил я.

Сердце Маргариты застучало, она тяжело вздохнула, стала соображать что-то.

— Ну, что же, смелее! — поощрял Воланд. — Будите свою фантазию, прищипоривайте ее! Уж одно присутствие при сцене убийства этого отпетого негодяя-барона стоит того, чтобы человека наградили, в особенности если этот человек — женщина. Ну-с?

Дух перехватило у Маргариты, и она уже хотела выговорить заветные и приготовленные в душе слова, как вдруг побледнела, раскрыла рот и вытаращила глаза. «Фрида! Фрида! Фрида! — прокричал ей в уши чей-то назойливый, молящий голос. — Меня зовут Фрида!» И Маргарита, спотыкаясь на словах, заговорила:

— Так я, стало быть... могу попросить... об одной вещи?

— Потребовать, потребовать, моя донна, — отвечал Воланд, понимающе улыбаясь, — потребовать одной вещи.

Ах, как ловко и отчетливо Воланд подчеркнул, повторяя слова самой Маргариты — «одной вещи»!

Маргарита вздохнула еще раз и сказала:

— Я хочу, чтобы Фриде перестали подавать тот платок, которым она удушила своего ребенка.

Кот возвел глаза к небу и шумно вздохнул, но ничего не сказал, очевидно, помня накрученное на балу ухо.

— Ввиду того, — заговорил Воланд, усмехнувшись, — что возможность получения вами взятки от этой дуры Фриды совершенно, конечно, исключена — ведь это было бы несовместимо с вашим королевским достоинством, — я уж не знаю, что и делать. Остается, пожалуй, одно — обзавестись тряпками и заткнуть ими все щели моей спальни!

— Вы о чем говорите, мессир? — изумилась Маргарита, выслушав эти действительно непонятные слова.

— Совершенно с вами согласен, мессир, — вмешался в разговор кот, — именно тряпками! — и в раздражении кот стукнул лапой по столу.

— Я о милосердии говорю, — объяснил свои слова Воланд, не спуская с Маргариты огненного глаза. — Иногда совершенно неожиданно и коварно оно проле-

зает в самые узенькие щелки. Вот я и говорю о тряпках.

— И я об этом же говорю! — воскликнул кот и на всякий случай отклонился от Маргариты, прикрыв вымазанными в розовом креме лапами свои острые уши.

— Пошел вон, — сказал ему Воланд.

— Я еще кофе не пил, — ответил кот, — как же это я уйду? Неужели, мессир, в праздничную ночь гостей за столом разделяют на два сорта? Одни — первой, а другие, как выражался этот грустный скупердяй-буфетчик, второй свежести?

— Молчи, — приказал ему Воланд и, обратившись к Маргарите, спросил: — Вы, судя по всему, человек исключительной доброты? Высокоморальный человек?

— Нет, — с силой ответила Маргарита, — я знаю, что с вами можно разговаривать только откровенно, и откровенно вам скажу: я легкомысленный человек. Я попросила вас за Фриду только потому, что имела неосторожность подать ей твердую надежду. Она ждет, мессир, она верит в мою мощь. И если она останется обманутой, я попаду в ужасное положение. Я не буду иметь покоя всю жизнь. Ничего не поделаешь! Так уж вышло.

— А, — сказал Воланд, — это понятно.

— Так вы сделаете это? — тихо спросила Маргарита.

— Ни в коем случае, — ответил Воланд, — дело в том, дорогая королева, что тут произошла маленькая путаница. Каждое ведомство должно заниматься своими делами. Не спорю, наши возможности довольно велики, они гораздо больше, чем полагают некоторые, не очень зоркие люди...

— Да, уж гораздо больше, — не утерпел и вставил кот, видимо гордящийся этими возможностями.

— Молчи, черт тебя возьми! — сказал ему Воланд и продолжал, обращаясь к Маргарите: — Но просто, какой смысл в том, чтобы сделать то, что полагается делать другому, как я выразился, ведомству? Итак, я этого делать не буду, а вы сделаете сами.

— А разве по-моему исполнится?

Азazelло иронически скосил кривой глаз на Маргариту и незаметно покрутил рыжей головой и фыркнул.

— Да делайте же, вот мучение, — пробормотал Воланд и, повернув глобус, стал всматриваться в какую-то деталь на нем, по-видимому, занимаясь и другим делом во время разговора с Маргаритой.

— Ну, Фрида... — подсказал Коровьев.

— Фрида! — пронзительно крикнула Маргарита.

Дверь распахнулась, и растрепанная, нагая, но уже без всяких признаков хмеля женщина с испуганными глазами вбежала в комнату и простерла руки к Маргарите, а та сказала величественно:

— Тебя прощают. Не будут больше подавать платок.

Послышался вопль Фриды, она упала на пол ничком и простерлась крестом перед Маргаритой. Воланд махнул рукой, и Фрида пропала из глаз.

— Благодарю вас, прощайте, — сказала Маргарита и поднялась.

— Ну что ж, Бегемот, — заговорил Воланд, — не будем наживать на поступке непрактичного человека в праздничную ночь, — он повернулся к Маргарите, — итак, это не в счет, я ведь ничего не делал. Что вы хотите для себя?

Наступило молчание, и прервал его Коровьев, который зашептал в ухо Маргарите:

— Алмазная донна, на сей раз советую вам быть поблагоразумнее! А то ведь фортуна может и ускользнуть.

— Я хочу, чтобы мне сейчас же, сию секунду, вернули моего любовника, мастера, — сказала Маргарита, и лицо ее исказилось судорогой.

Тут в комнату ворвался ветер, так что пламя свечей в канделябрах легло, тяжелая занавеска на окне отодвинулась, распахнулось окно, и в далекой высоте открылась полная, но не утренняя, а полночная луна. От подоконника на пол лег зеленоватый платок ночного света, и в нем появился ночной Иванушкин гость, называющий себя мастером. Он был в своем больничном одеянии — в халате, туфлях и черной шапочке, с которой не расставался. Небритое лицо его дергалось гримасой, он сумасшедше-пугливо косился на огни свечей, а лунный поток кипел вокруг него.

Маргарита сразу узнала его, простонала, всплеснула руками и подбежала к нему. Она целовала его в лоб, в губы, прижималась к колючей щеке, и долго сдерживаемые слезы теперь бежали ручьями по ее лицу. Она произносила только одно слово, бессмысленно повторяя его:

— Ты... ты... ты...

Мастер отстранил ее от себя и глухо сказал:

— Не плачь, Марго, не терзай меня. Я тяжело болен. — Он ухватился за подоконник рукою, как бы собираясь вскочить на него и бежать, оскалил зубы, всматриваясь в сидящих, и закричал: — Мне страшно, Марго! У меня опять начались галлюцинации...

Рыдания душили Маргариту, она шептала, давась словами:

— Нет, нет, нет... не бойся ничего... я с тобою... я с тобою...

Коровьев ловко и незаметно подпихнул к мастеру стул, и тот опустился на него, а Маргарита бросилась на колени, прижалась к боку больного и так затихла. В своем волнении она не заметила, что нагота ее как-то внезапно кончилась, на ней теперь был шелковый черный плащ. Больной опустил голову и стал смотреть в землю угрюмыми, больными глазами.

— Да, — заговорил после молчания Воланд, — его хорошо отделали. — Он приказал Коровьеву: — Дай-ка, рыцарь, этому человеку чего-нибудь выпить.

Маргарита упрашивала мастера дрожащим голосом:

— Выпей, выпей! Ты боишься? Нет, нет, верь мне, что тебе помогут!

Больной взял стакан и выпил то, что было в нем, но рука его дрогнула, и опустевший стакан разбился у его ног.

— К счастью! К счастью! — зашептал Коровьев Маргарите. — Смотрите, он уже приходит в себя.

Действительно, взор больного стал уже не так дик и беспокоен.

— Но это ты, Марго? — спросил лунный гость.

— Не сомневайся, это я, — ответила Маргарита.

— Еще! — приказал Воланд.

После того как мастер осушил второй стакан, его глаза стали живыми и осмысленными.

— Ну вот, это другое дело, — сказал Воланд, прищуриваясь, — теперь поговорим. Кто вы такой?

— Я теперь никто, — ответил мастер, и улыбка искривила его рот.

— Откуда вы сейчас?

— Из дома скорби. Я — душевнобольной, — ответил пришелец.

Этих слов Маргарита не вынесла и заплакала вновь. Потом, вытерев глаза, она вскричала:

— Ужасные слова! Ужасные слова! Он мастер, мес-

сир, я вас предупреждаю об этом! Вылечите его, он стоит этого!

— Вы знаете, с кем вы сейчас говорите, — спросил у пришедшего Воланд, — у кого вы находитесь?

— Знаю, — ответил мастер, — моим соседом в сумасшедшем доме был этот мальчик, Иван Бездомный. Он рассказал мне о вас.

— Как же, как же, — отозвался Воланд, — я имел удовольствие встретиться с этим молодым человеком на Патриарших прудах. Он едва самого меня не свел с ума, доказывая мне, что меня нету! Но вы-то верите, что это действительно я?

— Приходится верить, — сказал пришелец, — но, конечно, гораздо спокойнее было бы считать вас плодом галлюцинации. Извините меня, — спохватившись, прибавил мастер.

— Ну, что же, если спокойнее, то и считайте, — вежливо ответил Воланд.

— Нет, нет! — испуганно говорила Маргарита и трясла мастера за плечо. — Опомнись! Перед тобою действительно он!

Кот ввязался и тут:

— А я действительно похож на галлюцинацию. Обратите внимание на мой профиль в лунном свете. — Кот полез в лунный столб и хотел что-то еще говорить, но его попросили замолчать, и он, ответив: — Хорошо, хорошо, готов молчать. Я буду молчаливой галлюцинацией, — замолчал.

— А скажите, почему Маргарита вас называет мастером? — спросил Воланд.

Тот усмехнулся и сказал:

— Это простительная слабость. Она слишком высокого мнения о том романе, который я написал.

— О чем роман?

— Роман о Понтии Пилате.

Тут опять закачались и запрыгали язычки свечей, задребезжала посуда на столе, Воланд рассмеялся громовым образом, но никого не испугал и смехом этим не удивил. Бегемот почему-то заплодировал.

— О чем, о чем? О ком? — заговорил Воланд, перестав смеяться. — Вот теперь? Это потрясающе! И вы не могли найти другой темы? Дайте-ка посмотреть, — Воланд протянул руку ладонью вверх.

— Я, к сожалению, не могу этого сделать, — ответил

мастер, — потому что я сжег его в печке.

— Простите, не поверю, — ответил Воланд, — этого быть не может. Рукописи не горят. — Он повернулся к Бегемоту и сказал: — Ну-ка, Бегемот, дай сюда роман.

Кот моментально вскочил со стула, и все увидели, что он сидел на толстой пачке рукописей. Верхний экземпляр кот с поклоном подал Воланду. Маргарита задржала и закричала, волнуясь вновь до слез:

— Вот она, рукопись! Вот она!

Она кинулась к Воланду и восхищенно добавила:

— Всесилен! Всесилен!

Воланд взял в руки поданный ему экземпляр, повернул его, отложил в сторону и молча, без улыбки уставился на мастера. Но тот неизвестно отчего впал в тоску и беспокойство, поднялся со стула, заломил руки и, обращаясь к далекой луне, вздрагивая, начал бормотать:

— И ночью при луне мне нет покоя... Зачем потревожили меня? О боги, боги...

Маргарита вцепилась в больничный халат, прижалась к нему и сама начала бормотать в тоске и в слезах:

— Боже, почему же тебе не помогает лекарство?

— Ничего, ничего, ничего, — шептал Коровьев, извиваясь возле мастера, — ничего, ничего... Еще стаканчик, и я с вами за компанию...

И стаканчик подмигнул, блеснул в лунном свете, и помог этот стаканчик. Мастера усадили на место, и лицо больного приняло спокойное выражение.

— Ну, теперь все ясно, — сказал Воланд и постучал длинным пальцем по рукописи.

— Совершенно ясно, — подтвердил кот, забыв свое обещание стать молчаливой галлюцинацией, — теперь главная линия этого опуса ясна мне насквозь. Что ты говоришь, Азazelло? — обратился он к молчащему Азazelло.

— Я говорю, — прогнусил тот, — что тебя хорошо было бы утопить.

— Будь милосерден, Азazelло, — ответил ему кот, — и не наводи моего повелителя на эту мысль. Поверь мне, что всякую ночь я являлся бы тебе в таком же лунном одеянии, как и бедный мастер, и кивал бы тебе, и манил бы тебя за собою. Каково бы тебе было, о Азazelло?

— Ну, Маргарита, — опять вступил в разговор Воланд, — говорите же все, что вам нужно.

Глаза Маргариты вспыхнули, и она умоляюще обратилась к Воланду:

— Позвольте мне с ним пошептаться?

Воланд кивнул головой, и Маргарита, припав к уху мастера, что-то пошептала ему. Слышно было, как тот ответил ей:

— Нет, поздно. Ничего больше не хочу в жизни. Кроме того, чтобы видеть тебя. Но тебе опять советую — оставь меня. Ты пропадешь со мной.

— Нет, не оставляю, — ответила Маргарита и обратилась к Воланду: — Прошу опять вернуть нас в подвал в переулке на Арбате, и чтобы лампа загорелась, и чтобы все стало, как было.

Тут мастер засмеялся и, обхватив давно развившуюся кудрявую голову Маргариты, сказал:

— Ах, не слушайте бедную женщину, мессир. В этом подвале уже давно живет другой человек, и вообще не бывает так, чтобы все стало, как было. — Он приложил щеку к голове своей подруги, обнял Маргариту и стал бормотать: — Бедная, бедная...

— Не бывает, вы говорите? — сказал Воланд. — Это верно. Но мы попробуем. — И он сказал: — Азazelло!

Тотчас с потолка обрушился на пол растерянный и близкий к умоисступлению гражданин в одном белье, но почему-то с чемоданом в руках и в кепке. От страха этот человек трясся и приседал.

— Могарыч? — спросил Азazelло у свалившегося с неба.

— Алоизий Могарыч, — ответил тот, дрожа.

— Это вы, прочитав статью Латунского о романе этого человека, написали на него жалобу с сообщением о том, что он хранит у себя нелегальную литературу? спросил Азazelло.

Новоявившийся гражданин посинел и залился слезами раскаяния.

— Вы хотели переехать в его комнаты? — как можно задушевнее прогнусил Азazelло.

Шипение разъяренной кошки послышалось в комнате, и Маргарита, завывая:

— Знай ведьму, знай! — вцепилась в лицо Алоизия Могарыча ногтями.

Произошло смятение.

— Что ты делаешь? — страдальчески прокричал мастер. — Марго, не позорь себя!

— Протестую, это не позор! — орал кот.

Маргариту оттащил Коровьев.

— Я ванну пристроил... — стуча зубами, кричал окровавленный Могарыч и в ужасе понес какую-то околесину, — одна побелка... купорос...

— Ну, вот и хорошо, что ванну пристроил, — одобчительно сказал Азazelло, — ему надо брать ванны. — И крикнул: — Вон!

Тогда Могарыча перевернуло кверху ногами и вынесло из спальни Воланда через открытое окно.

Мастер вытаращил глаза, шепча:

— Однако это будет, пожалуй, почище того, что рассказывал Иван! — Совершенно потрясенный, он оглядывался и наконец сказал коту: — А простите... это ты... это вы... — он сбился, не зная, как обращаться к коту, — вы — тот самый кот, что садились в трамвай?

— Я, — подтвердил польщенный кот и добавил: — Приятно слышать, что вы так вежливо обращаетесь с котом. Котам обычно почему-то говорят «ты», хотя ни один кот никогда ни с кем не пил брудершафта.

— Мне кажется почему-то, что вы не очень-то кот... — нерешительно ответил мастер. — Меня все равно в больнице хватятся, — робко добавил он Воланду.

— Ну, чего они будут хвататься! — успокоил Коровьев, и какие-то бумаги и книги оказались у него в руках. — История болезни вашей?

— Да.

Коровьев швырнул историю болезни в камин.

— Нет документа, нет и человека, — удовлетворенно говорил Коровьев. — А это — домовая книга вашего застройщика?

— Да-а...

— Кто прописан в ней? Алоизий Могарыч? — Коровьев дунул в страницу домовой книги. — Раз, и нету его, и, прошу заметить, — не было. А если застройщик удивится, скажите, что ему Алоизий снился. Могарыч? Какой такой Могарыч? Никакого Могарыча не было. — Тут прошнурованная книга испарилась из рук Коровьева. — И вот она уже в столе у застройщика.

— Вы правильно сказали, — говорил мастер, пора-

женный чистотою работы Коровьева, — что раз нет документа, нету и человека. Вот именно меня-то и нет, у меня нет документа.

— Я извиняюсь, — вскричал Коровьев, — это именно галлюцинация, вот он, ваш документ, — и Коровьев подал мастеру документ. Потом он завел глаза и сладко прошептал Маргарите: — А вот и ваше имущество, Маргарита Николаевна, — и он вручил Маргарите тетрадь с обгоревшими краями, засохшую розу, фотографию и, с особенной бережностью, сберегательную книжку, — десять тысяч, как вы изволили внести, Маргарита Николаевна. Нам чужого не надо.

— У меня скорее лапы отсохнут, чем я прикоснусь к чужому! — напыжившись, воскликнул кот, танцующая на чемодане, чтобы умять в него все экземпляры злополучного романа.

— И ваш документик также, — продолжал Коровьев, подавая Маргарите документ, и затем, обратившись к Воланду, почтительно доложил: — Все, мессир!

— Нет, не все, — ответил Воланд, отрываясь от глобуса. — Куда прикажете, моя дорогая донна, девать вашу свиту? Мне она лично не нужна.

Тут в открытую дверь вбежала Наташа, как была нагая, всплеснула руками и закричала Маргарите:

— Будьте счастливы, Маргарита Николаевна! — Она закивала головой мастеру и опять обратилась к Маргарите: — Я ведь все знала, куда вы ходите.

— Домработницы все знают, — заметил кот, многозначительно поднимая лапу, — это ошибка думать, что они слепые.

— Что ты хочешь, Наташа? — спросила Маргарита. — Возвращайся в особняк.

— Душенька, Маргарита Николаевна, — умоляюще заговорила Наташа и стала на колени, — упростите их, — она покосилась на Воланда, — чтоб меня ведьмой оставили. Не хочу я больше в особняк! Ни за инженера, ни за техника не пойду! Мне господин Жак вчера на балу сделали предложение. — Наташа разжала кулак и показала какие-то золотые монеты.

Маргарита обратила вопросительный взор к Воланду. Тот кивнул головой. Тогда Наташа кинулась на шею Маргарите, звонко ее расцеловала и, победно вскрикнув, улетела в окно.

На месте Наташи оказался Николай Иванович.

Он приобрел свой прежний человеческий облик, но был чрезвычайно мрачен и даже, пожалуй, раздражен.

— Вот кого с особенным удовольствием отпущу, — сказал Воланд, с отвращением глядя на Николая Ивановича, — с исключительным удовольствием, настолько он здесь лишний.

— Я очень прошу выдать мне удостоверение, — заговорил, дико оглядываясь, Николай Иванович, но с большим упорством, — о том, где я провел предыдущую ночь.

— На какой предмет? — сурово спросил кот.

— На предмет представления милиции и супруге, — твердо сказал Николай Иванович.

— Удостоверений мы обычно не даем, — ответил кот, насупившись, — но для вас, так и быть, сделаем исключение.

И не успел Николай Иванович опомниться, как голая Гелла уже сидела за машинкой, а кот диктовал ей:

— Сим удостоверяю, что предъявитель сего Николай Иванович провел упомянутую ночь на балу у сатаны, будучи привлечен туда в качестве перевозочного средства... поставь, Гелла, скобку! В скобке пиши «боров». Подпись — Бегемот.

— А число? — пискнул Николай Иванович.

— Чисел не ставим, с числом бумага станет недействительной, — отозвался кот, подмахнул бумагу, откуда-то добыл печать, по всем правилам подышал на нее, оттиснул на бумаге слово «уплочено» и вручил бумагу Николаю Ивановичу. После этого Николай Иванович бесследно исчез, а на месте его появился новый неожиданный человек.

— Это еще кто? — брезгливо спросил Воланд, рукой заслоняясь от света свечей.

Варенуха повесил голову, вздохнул и тихо сказал:

— Отпустите обратно. Не могу быть вампиром. Ведь я тогда Римского едва насмерть с Геллой не уходил! А я не кровожадный. Отпустите.

— Это что еще за бред? — спросил, морща лицо, Воланд. — Какой такой Римский? Что это еще за чепуха?

— Не извольте беспокоиться, мессир, — отозвался Азazelло и обратился к Варенухе: — Хамить не надо по телефону. Лгать не надо по телефону. Понятно? Не будете больше этим заниматься?

От радости все помутилось в голове у Варенухи, лицо его засияло, и он, не помня, что говорит, забормотал:

— Истинным... то есть я хочу сказать, ваше ве... сейчас же после обеда... — Варенуха прижимал руки к груди, с мольбой глядел на Азazelло.

— Ладно, домой, — ответил тот, и Варенуха растаял.

— Теперь все оставьте меня одного с ними, — приказал Воланд, указывая на мастера и на Маргариту.

Приказание Воланда было исполнено мгновенно. После некоторого молчания Воланд обратился к мастеру:

— Так, стало быть, в арбатский подвал? А кто же будет писать? А мечтания, вдохновение?

— У меня больше нет никаких мечтаний и вдохновения тоже нет, — ответил мастер, — ничто меня вокруг не интересует, кроме нее, — он опять положил руку на голову Маргариты, — меня сломали, мне скучно, и я хочу в подвал.

— А ваш роман? Пилат?

— Он мне ненавистен, этот роман, — ответил мастер, — я слишком много испытал из-за него.

— Я умоляю тебя, — жалобно попросила Маргарита, — не говори так. За что же ты меня терзаешь? Ведь ты знаешь, что я всю жизнь вложила в эту твою работу. — Маргарита добавила еще, обратившись к Воланду: — Не слушайте его, мессир, он слишком замучен.

— Но ведь надо же что-нибудь описывать? — говорил Воланд. — Если вы исчерпали этого прокуратора, ну, начните изображать хотя бы этого Алоизия.

Мастер улыбнулся.

— Этого Лапшённикова не напечатает, да, кроме того, это и неинтересно.

— А чем же вы будете жить? Ведь придется нищенствовать.

— Охотно, охотно, — ответил мастер, притянул к себе Маргариту, обнял ее за плечи и прибавил: — Она образумится, уйдет от меня...

— Не думаю, — сквозь зубы сказал Воланд и продолжал: — Итак, человек, сочинивший историю Понтия Пилата, уходит в подвал в намерении расположиться там у лампы и нищенствовать?

Маргарита отделилась от мастера и заговорила очень горячо:

— Я сделала все, что могла, и я нашептала ему

самое соблазнительное. А он отказался от этого.

— То, что вы ему нашептали, я знаю, — возразил Воланд, — но это не самое соблазнительное. А вам скажу, — улыбнувшись, обратился он к мастеру, — что ваш роман вам принесет еще сюрпризы.

— Это очень грустно, — ответил мастер.

— Нет, нет, это не грустно, — сказал Воланд, — ничего страшного уже не будет. Ну-с, Маргарита Николаевна, все сделано. Имеете ли вы ко мне какую-нибудь претензию?

— Что вы, о, что вы, мессир!

— Так возьмите же это от меня на память, — сказал Воланд и вынул из-под подушки небольшую золотую подкову, усыпанную алмазами.

— Нет, нет, нет, с какой же стати!

— Вы хотите со мной поспорить? — улыбнувшись, спросил Воланд.

Маргарита, так как в плаще у нее не было кармана, уложила подкову в салфетку и затянула ее узлом. Тут что-то ее изумило. Она оглянулась на окно, в котором сияла луна, и сказала:

— А вот чего я не понимаю... Что же это — все полночь да полночь, а ведь давно уже должно быть утро?

— Праздничную полночь приятно немного и задержать, — ответил Воланд. — Ну, желаю вам счастья!

Маргарита молитвенно протянула обе руки к Воланду, но не посмела приблизиться к нему и тихо воскликнула:

— Прощайте! Прощайте!

— До свидания, — сказал Воланд.

И Маргарита в черном плаще, мастер в больничном халате вышли в коридор ювелиршиной квартиры, в котором горела свеча и где их дожидалась свита Воланда. Когда пошли из коридора, Гелла несла чемодан, в котором был роман и небольшое имущество Маргариты Николаевны, а кот помогал Гелле. У дверей квартиры Коровьев раскланялся и исчез, а остальные пошли провожать по лестнице. Она была пуста. Когда проходили площадку третьего этажа, что-то мягко стукнуло, но на это никто не обратил внимания. У самых выходных дверей шестого парадного Азazelло дунул вверх, и только что вышли во двор, в который не заходила луна, увидели спящего на крыльце, и, по-видимому, спящего

мертвым сном, человека в сапогах и в кепке, а также стоящую у подъезда большую черную машину с потушенными фарами. В переднем стекле смутно виднелся силуэт грача.

Уже собирались садиться, как Маргарита в отчаянии негромко воскликнула:

— Боже, я потеряла подкову!

— Садитесь в машину, — сказал Азazelло, — и подождите меня. Я сейчас вернусь, только разберу, в чем тут дело. — И он ушел в парадное.

Дело же было вот в чем: за некоторое время до выхода Маргариты и мастера с их провожатыми из квартиры № 48, помещавшейся под ювелиршиной, вышла на лестницу сухонькая женщина с бидоном и с сумкой в руках. Это была та самая Аннушка, что в среду разлила, на горе Берлиоза, подсолнечное масло у вертушки.

Никто не знал, да, наверное, и никогда не узнает, чем занималась в Москве эта женщина и на какие средства она существовала. Известно о ней было лишь то, что видеть ее можно было ежедневно то с бидоном, то с сумкой, а то и с сумкой и с бидоном вместе — или в нефтелавке, или на рынке, или под воротами дома, или на лестнице, а чаще всего в кухне квартиры № 48, где и проживала эта Аннушка. Кроме того и более всего было известно, что где бы ни находилась или ни появлялась она — тотчас же в этом месте начинался скандал, и кроме того, что она носила прозвище Чума.

Чума-Аннушка вставала почему-то чрезвычайно рано, а сегодня что-то подняло ее совсем ни свет ни заря, в начале первого. Повернулся ключ в двери, Аннушкин нос высунулся в нее, а затем высунулась она и вся целиком, захлопнула за собою дверь и уже собиралась тронуться куда-то, как на верхней площадке грохнула дверь, кто-то покатился вниз по лестнице и, налетев на Аннушку, отбросил ее в сторону так, что она ударилась затылком об стену.

— Куда ж тебя черт несет в одних подштанниках? — провизжала Аннушка, ухватившись за затылок. Человек в одном белье, с чемоданом в руках и в кепке, с закрытыми глазами ответил Аннушке диким сонным голосом:

— Колонка! Купорос! Одна побелка чего стоила. —

И, заплакав, рывкнул: — Вон!

Тут он бросился, но не дальше, вниз по лестнице, а обратно — вверх, туда, где было выбитое ногой экономиста стекло в окне, и через это окно кверху ногами вылетел во двор. Аннушка даже про затылок забыла, охнула и сама устремила к окну. Она легла животом на площадку и высунула голову во двор, ожидая увидеть на асфальте, освещенном дворовым фонарем, на смерть разбившегося человека с чемоданом. Но ровно ничего на асфальте во дворе не было.

Оставалось предположить, что сонная и странная личность улетела из дому, как птица, не оставив по себе никакого следа. Аннушка перекрестилась и подумала: «Да, уж действительно квартирка номер пятьдесят! Недаром люди говорят!.. Ай да квартирка!..»

Не успела она этого додумать, как дверь наверху опять хлопнула, и второй кто-то побежал сверху. Аннушка прижалась к стене и видела, как какой-то довольно почтенный гражданин с бородкой, но с чуть-чуть поросячьим, как показалось Аннушке, лицом шмыгнул мимо нее и, подобно первому, покинул дом через окно, тоже опять-таки и не думая разбиваться на асфальте. Аннушка забыла уже про цель своего похода и осталась на лестнице, крестясь, охая и сама с собою разговаривая.

Третий, без бородки, с круглым бритым лицом, в толстовке, выбежал сверху через короткое время и точно так же упорхнул в окно.

К чести Аннушки надо сказать, что она была любопытна и решила еще подождать, не будет ли каких новых чудес. Дверь наверху вновь открыли, и теперь сверху стала спускаться целая компания, но не бегом, а обыкновенно, как все люди ходят. Аннушка отбежала от окна, спустилась вниз к своей двери, быстрехонько открыла ее, спряталась за нею, и в оставленной ею щелке замерцал ее исступленный от любопытства глаз.

Какой-то не то больной, не то не больной, а странный, бледный, обросший бородой, в черной шапочке и в каком-то халате спускался вниз нетвердыми шагами. Его бережно вела под руку какая-то дамочка в черной рясе, как показалось Аннушке в полутьме. Дамочка не то босая, не то в каких-то прозрачных, видно, заграничных, в клочья изодранных туфлях. Тьфу ты! Что в туфлях! Да ведь дамочка-то голая! Ну да, ряса накинута

та прямо на голое тело! «Ай да квартирка!» В душе у Аннушки все пело от предвкушения того, что она будет рассказывать завтра соседям.

За странно одетой дамочкой следовала совершенно голая дамочка с чемоданчиком в руке, а возле чемоданчика мыкался черный громадный кот. Аннушка едва вслух что-то не пискнула, протирая глаза.

Замыкал шествие маленького роста прихрамывающий иностранец с кривым глазом, без пиджака, в белом фракном жилете и при галстухе. Вся эта компания мимо Аннушки проследовала вниз. Тут что-то стукнуло на площадке.

Услышав, что шаги стихают, Аннушка, как змея, выскользнула из-за двери, бидон поставила к стенке, пала животом на площадку и стала шарить. В руках у нее оказалась салфеточка с чем-то тяжелым. Глаза у Аннушки полезли на лоб, когда она развернула сверточек. Аннушка к самым глазам подносила драгоценность, и глаза эти горели совершенно волчьим огнем. В голове у Аннушки образовалась вьюга:

«Знать ничего не знаю, ведать ничего не ведаю!.. К племяннику? Или распилить ее на куски?.. Камушки-то можно выковырять... И по одному камушку: один на Петровку, другой на Смоленский... И — знать ничего не знаю и ведать ничего не ведаю!»

Аннушка спрятала находку за пазуху, ухватила бидон и уже собиралась скользнуть обратно в квартиру, отложив свое путешествие в город, как перед нею вырос, дьявол его знает откуда взявшийся, тот самый с белой грудью без пиджака и тихо шепнул:

— Давай подковку и салфеточку.

— Какую такую салфеточку-подковку? — спросила Аннушка, притворяясь весьма искусно. — Никакой я салфеточки не знаю. Что вы, гражданин, пьяный, что ли?

Белогрудый твердыми, как поручни автобуса, и столь же холодными пальцами, ничего более не говоря, сжал Аннушкино горло так, что совершенно прекратил всякий доступ воздуха в ее грудь. Бидон вывалился из рук Аннушки на пол. Подержав некоторое время Аннушку без воздуха, беспиджачный иностранец снял пальцы с ее шеи. Хлебнув воздуха, Аннушка улыбнулась.

— Ах, подковочку? — заговорила она. — Сию мину-

ту! Так это ваша подковочка? А я смотрю, лежит в салфеточке... Я нарочно прибрала, чтобы кто не поднял, а то потом поминай как звали!

Получив подковочку и салфеточку, иностранец начал расшаркиваться перед Аннушкой, крепко пожимать ей руку и горячо благодарить в таких выражениях, с сильнейшим заграничным акцентом:

— Я вам глубочайше признателен, мадам. Мне эта подковочка дорога как память. И позвольте вам за то, что вы ее сохранили, вручить двести рублей. — И он тотчас вынул из жилетного кармана деньги и вручил их Аннушке.

Та, отчаянно улыбаясь, только вскрикивала:

— Ах, покорнейше вас благодарю! Мерси! Мерси!

Щедрый иностранец в один мах проскользнул через целый марш лестницы вниз, но, прежде чем смыться окончательно, крикнул снизу, но без акцента:

— Ты, старая ведьма, если когда-нибудь еще поднимешь чужую вещь, в милицию ее сдавай, а за пазуху не прячь!

Чувствуя в голове звон и суматоху от всех этих происшествий на лестнице, Аннушка еще долго по инерции продолжала кричать:

— Мерси! Мерси! Мерси! — а иностранца уже давно не было.

Не было и машины во дворе. Вернув Маргарите подарок Воланда, Азazelло распрощался с нею, спросил, удобно ли ей сидеть, а Гелла сочно расцеловалась с Маргаритой, кот приложился к ее руке, провожатые помахали руками безжизненно и неподвижно завалившемуся в угол сиденья мастеру, махнули грачу и тотчас растаяли в воздухе, не считая нужным утруждать себя подъемом по лестнице. Грач зажег фары и выкатил в ворота мимо мертво спящего человека в подворотне. И огни большой черной машины пропали среди других огней на бессонной и шумной Садовой.

Через час в подвале маленького домика в одном из арбатских переулков, в первой комнате, где было все так же, как было до страшной осенней ночи прошлого года, за столом, накрытым бархатной скатертью, под лампой с абажуром, возле которой стояла вазочка с ландышами, сидела Маргарита и тихо плакала от пережитого потрясения и счастья. Тетрадь, исковерканная огнем, лежала перед нею, а рядом возвышалась стопка

нетронутых тетрадей. Домик молчал. В соседней маленькой комнате на диване, укрытый больничным халатом, лежал в глубоком сне мастер. Его ровное дыхание было беззвучно.

Наплакавшись, Маргарита взялась за нетронутые тетради и нашла то место, что перечитывала перед свиданием с Азазелло под Кремлевской стеной. Маргарите не хотелось спать. Она гладила рукопись ласково, как глядят любимую кошку, и поворачивала ее в руках, оглядывая со всех сторон, то останавливаясь на титульном листе, то открывая конец. На нее накатила вдруг ужасная мысль, что это все колдовство, что сейчас тетради исчезнут из глаз, что она окажется в своей спальне в особняке и что, проснувшись, ей придется идти топиться. Но это была последняя страшная мысль, отзвук долгих переживаемых ею страданий. Ничто не исчезало, всесильный Воланд был действительно всесилен, и сколько угодно, хотя бы до самого рассвета, могла Маргарита шелестеть листами тетрадей, разглядывать их и целовать и перечитывать слова:

— Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город... Да, тьма...

Г л а в а 25

КАК ПРОКУРАТОР ПЫТАЛСЯ СПАСТИ ИУДУ ИЗ КИРИАФА

Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли всякие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, Хасмонецкий дворец с бойницами, базары, караван-сарай, переулки, пруды... Пропал Ершалаим — великий город, как будто не существовал на свете. Все пожрала тьма, напугавшая все живое в Ершалаиме и его окрестностях. Странную тучу принесло со стороны моря к концу дня, четырнадцатого дня весеннего месяца нисана.

Она уже навалилась своим брюхом на Лысый Череп, где палачи поспешно кололи казнимых, она навалилась на храм в Ершалаиме, сползла дымными потоками с холма его и залила Нижний Город. Она вливалась в окошки и гнала с кривых улиц людей в дома. Она не спешила отдавать свою влагу и отдавала

только свет. Лишь только дымное черное варево распарывал огонь, из крошечной тьмы взлетала вверх великая глыба храма со сверкающим чешуйчатым покровом. Но он угасал во мгновение, и храм погружался в темную бездну. Несколько раз он вырастал из нее и опять проваливался, и каждый раз этот провал сопровождался грохотом катастрофы.

Другие трепетные мерцания вызывали из бездны противостоящий храму на западном холме дворец Ирода Великого, и страшные безглазые золотые статуи взлетали к черному небу, простирая к нему руки. Но опять прятался небесный огонь, и тяжелые удары грома загоняли золотых идолов во тьму.

Ливень хлынул неожиданно, и тогда гроза перешла в ураган. В том самом месте, где около полудня, близ мраморной скамьи в саду, беседовали прокуратор и первосвященник, с ударом, похожим на пушечный, как трость переломило кипарис. Вместе с водяною пылью и градом на балкон под колонны несло сорванные розы, листья магнолий, маленькие сучья и песок. Ураган терзал сад.

В это время под колоннами находился только один человек, и этот человек был прокуратор.

Теперь он не сидел в кресле, а лежал на ложе у низкого небольшого стола, уставленного яствами и вином в кувшинах. Другое ложе, пустое, находилось с другой стороны стола. У ног прокуратора простиралась неубранная красная, как бы кровавая, лужа и валялись осколки разбитого кувшина. Слуга, перед грозой накрывавший для прокуратора стол, почему-то растерялся под его взглядом, взволновался оттого, что чем-то не угодил, и прокуратор, рассердившись на него, разбил кувшин о мозаичный пол, проговорив:

— Почему в лицо не смотришь, когда подаешь? Разве ты что-нибудь украл?

Черное лицо африканца посерело, в глазах его появился смертельный ужас, он задрожал и едва не разбил и второй кувшин, но гнев прокуратора почему-то улетел так же быстро, как и прилетел. Африканец кинулся было подбирать осколки и затирать лужу, но прокуратор махнул ему рукою, и раб убежал. А лужа осталась.

Теперь африканец во время урагана прятался возле ниши, где помещалась статуя белой нагой женщины со

склоненной головой, боясь показаться не вовремя на глаза и в то же время опасаясь и пропустить момент, когда его может позвать прокуратор.

Лежащий на ложе в грозовом полумраке прокуратор сам наливал себе вино в чашу, пил долгими глотками, по временам притрагивался к хлебу, крошил его, глотал маленькими кусочками, время от времени высасывал устрицы, жевал лимон и пил опять.

Если бы не рев воды, если бы не удары грома, которые, казалось, грозили расплющить крышу дворца, если бы не стук града, молотившего по ступеням балкона, можно было бы расслышать, что прокуратор что-то бормочет, разговаривая сам с собой. И если бы нестойкое трепетание небесного огня превратилось бы в постоянный свет, наблюдатель мог бы видеть, что лицо прокуратора с воспаленными последними бессонницами и вином глазами выражает нетерпение, что прокуратор не только глядит на две белые розы, утонувшие в красной луже, но постоянно поворачивает лицо к саду навстречу водяной пыли и песку, что он кого-то ждет, нетерпеливо ждет.

Прошло некоторое время, и пелена воды перед глазами прокуратора стала редеть. Как ни был яростен ураган, он ослабевал. Сучья больше не трещали и не падали. Удары грома и блистания становились реже. Над Ершалаимом плыло уже не фиолетовое с белой опушкой покрывало, а обыкновенная серая арьергардная туча. Грозу сносило к Мертвому морю.

Теперь уже можно было расслышать в отдельности и шум дождя, и шум воды, низвергающейся по желобам и прямо по ступеням той лестницы, по которой днем прокуратор шел для объявления приговора на площади. А наконец зазвучал и заглушенный доселе фонтан. Светлело. В серой пелене, убежавшей на восток, появились синие окна.

Тут издали, прорываясь сквозь стук уже совсем слабенького дождика, донеслись до слуха прокуратора слабые звуки труб и стрекотание нескольких сот копыт. Услышав это, прокуратор шевельнулся, и лицо его оживилось. Ала возвращалась с Лысой Горы. Судя по звуку, она проходила через ту самую площадь, где был объявлен приговор.

Наконец услышал прокуратор и долгожданные шаги, и шлепанье на лестнице, ведущей к верхней пло-

щадке сада перед самым балконом. Прокуратор вытянул шею, и глаза его заблестали, выражая радость.

Между двух мраморных львов показалась сперва голова в капюшоне, а затем и совершенно мокрый человек в облепившем тело плаще. Это был тот самый человек, что перед приговором шептался с прокуратором в затемненной комнате дворца и который во время казни сидел на трехногом табурете, играя прутиком.

Не разбирая луж, человек в капюшоне пересек площадку сада, вступил на мозаичный пол балкона и, подняв руку, сказал высоким приятным голосом:

— Прокуратору здравствовать и радоваться! — Пришедший говорил по-латыни.

— Боги! — воскликнул Пилат. — Да ведь на вас нет сухой нитки! Каков ураган? А? Прошу вас немедленно пройти ко мне. Переоденьтесь, сделайте мне одолжение.

Пришедший откинул капюшон, обнаружив совершенно мокрую, с прилипшими ко лбу волосами, голову, и, выразив на своем бритом лице вежливую улыбку, стал отказываться переодеться, уверяя, что дождик не может ему ничем повредить.

— Не хочу слушать, — ответил Пилат и хлопнул в ладоши. Этим он вызвал прячущихся от него слуг и велел им позаботиться о пришедшем, а затем немедленно подавать горячее блюдо. Для того чтобы высушить волосы, переодеться, переобуться и вообще привести себя в порядок, пришедшему к прокуратору понадобилось очень мало времени, и вскорости он появился на балконе в сухих сандалиях, в сухом багряном военном плаще и с приглаженными волосами.

В это время солнце вернулось в Ершалаим и, прежде чем уйти и утонуть в Средиземном море, посылало прощальные лучи ненавидимому прокуратором городу и золотило ступени балкона. Фонтан совсем ожил и распелся во всю мочь, голуби выбрались на песок, гулькали, перепрыгивали через сломанные сучья, клевали что-то в мокром песке. Красная лужа была затерта, убраны черепки, на столе дымилось мясо.

— Я слушаю приказания прокуратора, — сказал пришедший, подходя к столу.

— Но ничего не услышите, пока не сядете и не выпьете вина, — любезно ответил Пилат и указал на другое ложе.

Пришедший прилег, слуга налил в его чашу густое

красное вино. Другой слуга, осторожно наклоняясь над плечом Пилата, наполнил чашу прокуратора. После этого тот жестом удалил обоих слуг.

Пока пришедший пил и ел, Пилат, прихлебывая вино, поглядывал прищуренными глазами на своего гостя. Явившийся к Пилату человек был средних лет, с очень приятным округлым и опрятным лицом, с мясистым носом. Волосы его были какого-то неопределенного цвета. Сейчас, высыхая, они светлели. Национальность пришельца было бы трудно установить. Основное, что определяло его лицо, это было, пожалуй, выражение добродушия, которое нарушали, впрочем, глаза, или, вернее, не глаза, а манера пришедшего глядеть на собеседника. Обычно маленькие глаза свои пришелец держал под прикрытыми, немного странноватыми, как будто припухшими, веками. Тогда в щелочках этих глаз светилось незлобное лукавство. Надо полагать, что гость прокуратора был склонен к юмору. Но по временам, совершенно изгоняя поблескивающий этот юмор из щелочек, теперешний гость прокуратора широко открывал веки и взглядывал на своего собеседника внезапно и в упор, как будто с целью быстро разглядеть какое-то незаметное пятнышко на носу у собеседника. Это продолжалось одно мгновение, после чего веки опять опускались, суживались щелочки, и в них начинало светиться добродушие и лукавый ум.

Пришедший не отказался и от второй чаши вина, с видимым наслаждением проглотил несколько устриц, отведал вареных овощей, съел кусок мяса.

Насытившись, он похвалил вино:

— Превосходная лоза, прокуратор, но это — не «Фалерно»?

— «Цекуба», тридцатилетнее, — любезно отозвался прокуратор.

Гость приложил руку к сердцу, отказался что-либо еще есть, объявил, что сыт. Тогда Пилат наполнил свою чашу, гость поступил так же. Оба обедающие отлили немного вина из своих чаш в блюдо с мясом, и прокуратор произнес громко, поднимая чашу:

— За нас, за тебя, кесарь, отец римлян, самый дорогой и лучший из людей!

После этого допили вино, и африканцы убрали со стола яства, оставив на нем фрукты и кувшины. Опять-

таки жестом прокуратор удалил слуг и остался со своим гостем один под колоннадой.

— Итак, — заговорил негромко Пилат, — что можете вы сказать мне о настроении в этом городе?

Он невольно обратил свой взор туда, где за террасами сада, внизу, догорали и колоннады, и плоские кровли, позлащаемые последними лучами.

— Я полагаю, прокуратор, — ответил гость, — что настроение в Ершалаиме теперь удовлетворительное.

— Так что можно ручаться, что беспорядки более не угрожают?

— Ручаться можно, — ласково поглядывая на прокуратора, ответил гость, — лишь за одно в мире — за мощь великого кесаря.

— Да пошлют ему боги долгую жизнь, — тотчас же подхватил Пилат, — и всеобщий мир. — Он помолчал и продолжал: — Так что вы полагаете, что войска теперь можно увести?

— Я полагаю, что когорта Молниеносного может уйти, — ответил гость и прибавил: — Хорошо бы было, если бы на прощанье она продефилировала по городу.

— Очень хорошая мысль, — одобрил прокуратор, — послезавтра я ее отпущу и сам уеду, и — клянусь вам пиром двенадцати богов, ларами клянусь — я отдал бы многое, чтобы сделать это сегодня!

— Прокуратор не любит Ершалаима? — добродушно спросил гость.

— Помилосердствуйте! — улыбаясь, воскликнул прокуратор. — Нет более безнадежного места на земле. Я не говорю уже о природе! Я бываю болен всякий раз, как мне приходится сюда приезжать. Но это бы еще полгоря. Но эти праздники — маги, чародеи, волшебники, эти стаи богомольцев... Фанатики, фанатики! Чего стоил один этот мессия, которого они вдруг стали ожидать в этом году! Каждую минуту только и ждешь, что придется быть свидетелем неприятнейшего кровопролития. Все время тасовать войска, читать доносы и ябеды, из которых к тому же половина написана на тебя самого! Согласитесь, что это скучно. О, если бы не императорская служба!..

— Да, праздники здесь трудные, — согласился гость.

— От всей души желаю, чтобы они скорее кончились, — энергично добавил Пилат. — Я получу возможность наконец вернуться в Кесарию. Верите ли, это

бредовое сооружение Ирода, — прокуратор махнул рукою вдоль колоннады, так что стало ясно, что он говорит о дворце, — положительно сводит меня с ума. Я не могу ночевать в нем. Мир не знал более странной архитектуры!.. Да, но вернемся к делам. Прежде всего, этот проклятый Вар-равван вас не тревожит?

Тут гость и послал свой особенный взгляд в щеку прокуратора. Но тот скучающими глазами глядел вдаль, безглаголиво сморщившись и созерцая часть города, лежащую у его ног и угасающую в предвечерье. Угас и взгляд гостя, и веки его опустились.

— Надо думать, что Вар стал теперь безопасен, как ягненок, — заговорил гость, и морщинки появились на круглом лице. — Ему неудобно бунтовать теперь.

— Слишком знаменит? — спросил Пилат, усмехнувшись.

— Прокуратор, как всегда, тонко понимает вопрос!

— Но, во всяком случае, — озабоченно заметил прокуратор, и тонкий, длинный палец с черным камнем перстня поднялся вверх, — надо будет...

— О, прокуратор может быть уверен в том, что, пока я в Иудее, Вар не сделает ни шагу без того, чтобы за ним не шли по пятам.

— Теперь я спокоен, как, впрочем, и всегда спокоен, когда вы здесь.

— Прокуратор слишком добр!

— А теперь прошу сообщить мне о казни, — сказал прокуратор.

— Что именно интересует прокуратора?

— Не было ли со стороны толпы попыток выражения возмущения? Это главное, конечно.

— Никаких, — ответил гость.

— Очень хорошо. Вы сами установили, что смерть пришла?

— Прокуратор может быть уверен в этом.

— А скажите... напиток им давали перед повешением на столбы?

— Да. Но он, — тут гость закрыл глаза, — отказался его выпить.

— Кто именно? — спросил Пилат.

— Простите, игемон! — воскликнул гость. — Я не назвал? Га-Ноцри.

— Безумец! — сказал Пилат, почему-то гримасничая. Под левым глазом у него задержалась жилка. —

Умирать от ожогов солнца. Зачем же отказываться от того, что предлагается по закону? В каких выражениях он отказался?

— Он сказал, — опять закрывая глаза, ответил гость, — что благодарит и не винит за то, что у него отняли жизнь.

— Кого? — глухо спросил Пилат.

— Этого он, игемон, не сказал.

— Не пытался ли он проповедовать что-либо в присутствии солдат?

— Нет, игемон, он не был многословен на этот раз. Единственное, что он сказал, это, что в числе человеческих пороков одним из самых главных он считает трусость.

— К чему это было сказано? — услышал гость внезапно треснувший голос.

— Этого нельзя было понять. Он вообще вел себя странно, как, впрочем, и всегда.

— В чем странность?

— Он все время пытался заглянуть в глаза то одному, то другому из окружающих и все время улыбался какой-то растерянной улыбкой.

— Больше ничего? — спросил хриплый голос.

— Больше ничего.

Прокуратор стукнул чашей, наливая себе вина. Осушив ее до самого дна, он заговорил:

— Дело заключается в следующем: хотя мы и не можем обнаружить — в данное время, по крайней мере, — каких-либо его поклонников или последователей, тем не менее ручаться, что их совсем нет, нельзя.

Гость внимательно слушал, наклонив голову.

— И вот, во избежание каких-нибудь сюрпризов, — продолжал прокуратор, — я прошу вас немедленно и без всякого шума убрать с лица земли тела всех трех казненных и похоронить их в тайне и в тишине, так, чтобы о них больше не было ни слуху ни духу.

— Слушаю, игемон, — сказал гость и встал, говоря: — Ввиду сложности и ответственности дела разрешите мне ехать немедленно.

— Нет, присядьте еще, — сказал Пилат, жестом останавливая своего гостя, — есть еще два вопроса. Первый — ваши громадные заслуги на труднейшей работе в должности начальника тайной службы при прокураторе Иудеи дают мне приятную возможность доложить

об этом в Риме.

Тут лицо гостя порозовело, он встал и поклонился прокуратору, говоря:

— Я лишь исполняю свой долг на императорской службе!

— Но я хотел бы просить вас, — продолжал игемон, — если вам предложат перевод отсюда с повышением, отказаться от него и остаться здесь. Мне ни за что не хотелось бы расстаться с вами. Пусть вас наградят каким-нибудь иным способом.

— Я счастлив служить под вашим начальством, игемон.

— Мне это очень приятно. Итак, второй вопрос. Какается он этого, как его... Иуды из Кириафа.

Тут гость и послал прокуратору свой взгляд и тотчас, как полагается, угасил его.

— Говорят, что он, — понижая голос, продолжал прокуратор, — деньги будто бы получил за то, что так радушно принял у себя этого безумного философа.

— Получит, — тихонько поправил Пилата начальник тайной службы.

— А велика ли сумма?

— Этого никто не может знать, игемон.

— Даже вы? — своим изумлением выражая похвалу, сказал игемон.

— Увы, даже я, — спокойно ответил гость. — Но что он получит эти деньги сегодня вечером, это я знаю. Его сегодня вызывают во дворец Каифы.

— Ах, жадный старик из Кириафа, — улыбаясь, заметил прокуратор. — Ведь он старик?

— Прокуратор никогда не ошибается, но на сей раз ошибся, — любезно ответил гость, — человек из Кириафа — молодой человек.

— Скажите! Характеристику его вы можете мне дать? Фанатик?

— О нет, прокуратор.

— Так. А еще что-нибудь?

— Очень красив.

— А еще? Имеет, может быть, какую-нибудь страсть?

— Трудно знать так уж точно всех в этом громадном городе, прокуратор...

— О нет, нет, Афраний! Не преуменьшайте своих заслуг.

— У него есть одна страсть, прокуратор. — Гость сделал крохотную паузу. — Страсть к деньгам.

— А он чем занимается?

Афраний поднял глаза кверху, подумал и ответил:

— Он работает в меняльной лавке у одного из своих родственников.

— Ах так, так, так, так. — Тут прокуратор умолк, оглянувшись, нет ли кого на балконе, и потом сказал тихо: — Так вот в чем дело — я получил сегодня сведения о том, что его зарежут этой ночью.

Здесь гость не только метнул свой взгляд на прокуратора, но даже немного задержал его, а после этого ответил:

— Вы, прокуратор, слишком лестно отзывались обо мне. По-моему, я не заслуживаю вашего доклада. У меня этих сведений нет.

— Вы достойны наивысшей награды, — ответил прокуратор, — но сведения такие имеются.

— Осмелюсь спросить, от кого же эти сведения?

— Позвольте мне пока этого не говорить, тем более что они случайны, темны и недостоверны. Но я обязан предвидеть все. Такова моя должность, а пуще всего я обязан верить своему предчувствию, ибо никогда еще оно меня не обманывало. Сведения же заключаются в том, что кто-то из тайных друзей Га-Ноцри, возмущенный чудовищным предательством этого менялы, сговаривается со своими сообщниками убить его сегодня ночью, а деньги, полученные за предательство, подбросить первосвященнику с запиской: «Возвращаю проклятые деньги».

Больше своих неожиданных взглядов начальник тайной службы на игемона не бросал и продолжал слушать его, прищурившись, а Пилат продолжал:

— Вообразите, приятно ли будет первосвященнику в праздничную ночь получить подобный подарок?

— Не только не приятно, — улыбнувшись, ответил гость, — но я полагаю, прокуратор, что это вызовет очень большой скандал.

— И я сам того же мнения. Вот поэтому я прошу вас заняться этим делом, то есть принять все меры к охране Иуды из Кириафа.

— Приказание игемона будет исполнено, — заговорил Афраний, — но я должен успокоить игемона: замысел злодеев чрезвычайно трудно выполним. Ведь

подумать только, — гость, говоря, обернулся и продолжал: — выследить человека, зарезать, да еще узнать, сколько получил, да ухитриться вернуть деньги Каифе, и все это в одну ночь? Сегодня?

— И тем не менее его зарежут сегодня, — упрямо повторил Пилат, — у меня предчувствие, говорю я вам! Не было случая, чтобы оно меня обмануло, — тут судорога прошла по лицу прокуратора, и он коротко потер руки.

— Слушаю, — покорно отозвался гость, поднялся, выпрямился и вдруг спросил сурово: — Так зарежут, игемон?

— Да, — ответил Пилат, — и вся надежда только на вашу изумляющую всех исполнительность.

Гость поправил тяжелый пояс под плащом и сказал:

— Имею честь, желаю здравствовать и радоваться.

— Ах да, — негромко вскричал Пилат, — я ведь совсем и забыл! Ведь я вам должен!..

Гость изумился.

— Право, прокуратор, вы мне ничего не должны.

— Ну как же нет! При въезде моем в Ершалаим, помните, толпа нищих... я еще хотел швырнуть им деньги, а у меня не было, и я взял у вас.

— О прокуратор, это какая-нибудь безделица!

— И о безделице надлежит помнить.

Тут Пилат обернулся, поднял плащ, лежащий на кресле сзади него, вынул из-под него кожаный мешок и протянул его гостю. Тот поклонился, принимая его, и спрятал под плащ.

— Я жду, — заговорил Пилат, — доклада о погребении, а также и по этому делу Иуды из Кириафа сегодня же ночью, слышите, Афраний, сегодня. Конвою будет дан приказ будить меня, лишь только вы появитесь. Я жду вас.

— Имею честь, — сказал начальник тайной службы и, повернувшись, пошел с балкона. Слышно было, как он хрустел, проходя по мокрому песку площадки, потом послышался стук его сапог по мрамору меж львов, потом срезало его ноги, туловище, и наконец, пропал и капюшон. Тут только прокуратор увидел, что солнца уже нет и пришли сумерки.

ПОГРЕБЕНИЕ

Может быть, эти сумерки и были причиной того, что внешность прокуратора резко изменилась. Он как будто на глазах постарел, сторбился и, кроме того, стал тревожен. Один раз он оглянулся и почему-то вздрогнул, бросив взгляд на пустое кресло, на спинке которого лежал плащ. Приближалась праздничная ночь, вечерние тени играли свою игру, и, вероятно, усталому прокуратору померещилось, что кто-то сидит в пустом кресле. Допустив малодушие — пошевелив плащ, прокуратор оставил его и забегал по балкону, то потирая руки, то подбегая к столу и хватаясь за чашу, то останавливаясь и начиная бессмысленно глядеть в мозаику пола, как будто пытаясь прочесть в ней какие-то письма.

За сегодняшний день уже второй раз на него пала тоска. Потирая висок, в котором от адской утренней боли осталось только тупое, немного ноющее воспоминание, прокуратор все силился понять, в чем причина его душевных мучений. И быстро он понял это, но постарался обмануть себя. Ему ясно было, что сегодня днем он что-то безвозвратно упустил, и теперь он упущенное хочет исправить какими-то мелкими и ничтожными, а главное, запоздавшими действиями. Обман же самого себя заключался в том, что прокуратор старался внушить себе, что действия эти, теперешние, вечерние, не менее важны, чем утренний приговор. Но это очень плохо удавалось прокуратору.

На одном из поворотов он круто остановился и свистнул. В ответ на этот свист в сумерках загредел низкий лай, и из сада выскочил на балкон гигантский остроухий пес серой шерсти, в ошейнике с золочеными бляшками.

— Банга, Банга, — слабо крикнул прокуратор.

Пес поднялся на задние лапы, а передние опустил на плечи своему хозяину, так что едва не повалил на пол, и лизнул его в щеку. Прокуратор сел в кресло, Банга, высунув язык и часто дыша, улегся у ног хозяина, причем радость в глазах пса означала, что кончилась гроза, единственное в мире, чего боялся бесстрашный пес, а также и то, что он опять тут, рядом

с тем человеком, которого любил, уважал и считал самым могучим в мире, повелителем всех людей, благодаря которому и самого себя пес считал существом привилегированным, высшим и особенным. Но, улегшись у ног и даже не глядя на своего хозяина, а глядя в вечереющий сад, пес сразу понял, что хозяина его постигла беда. Поэтому он переменял позу, поднялся, зашел сбоку и передние лапы и голову положил на колени прокуратору, вымазав полы плаща мокрым песком. Вероятно, действия Банги должны были означать, что он утешает своего хозяина и несчастье готов встретить вместе с ним. Это он пытался выразить и в глазах, скашиваемых к хозяину, и в насторожившихся наостренных ушах. Так оба они, и пес и человек, любящие друг друга, встретили праздничную ночь на балконе.

В это время гость прокуратора находился в больших хлопотах. Покинув верхнюю площадку сада перед балконом, он по лестнице спустился на следующую террасу сада, повернул направо и вышел к казармам, расположенным на территории дворца. В этих казармах и были расквартированы те две кентурии, которые пришли вместе с прокуратором на праздники в Ершалаим, а также тайная стража прокуратора, командовал которой этот самый гость. Гость провел в казармах немного времени, не более десяти минут, но по прошествии этих десяти минут со двора казарм выехали три повозки, нагруженные шанцевым инструментом и бочкой с водою. Повозки сопровождали пятнадцать человек в серых плащах, верховые. В сопровождении их повозки выехали с территории дворца через задние ворота, взяли на запад, вышли из ворот в городской стене и пошли по тропинке сперва на Вифлеемскую дорогу, а потом по ней на север, дошли до перекрестка у Хевронских ворот и тогда двинулись по Яффской дороге, по которой днем проходила процессия с осужденными на казнь. В это время уже было темно и на горизонте показалась луна.

Вскорости после того как уехали повозки с сопровождающей их командой, отбыл с территории дворца верхом и гость прокуратора, переодевшийся в темный поношенный хитон. Гость направился не за город, а в город. Через некоторое время его можно было видеть подъезжающим к крепости Антония, расположенной на

севере и в непосредственной близости от великого храма. В крепости гость также пробыл очень недолго, а затем след его обнаружился в Нижнем Городе, в кривых его и путаных улицах. Сюда гость приехал уже верхом на муле.

Хорошо знавший город гость легко разыскал ту улицу, которая ему была нужна. Она носила название Греческой, так как на ней помещалось несколько греческих лавок, в том числе одна, в которой торговали коврами. Именно у этой лавки гость остановил своего мула, слез и привязал его к кольцу у ворот. Лавка была уже заперта. Гость вошел в калитку, находившуюся рядом со входом в лавку, и попал в квадратный небольшой дворик, покоем обставленный сараями. Повернув во дворе за угол, гость оказался у каменной террасы жилого дома, увитой плющом, и осмотрелся. И в домике и в сараях было темно, еще не зажигали огня. Гость негромко позвал:

— Низа!

На зов этот закрипела дверь, и в вечернем полумраке на терраске появилась молодая женщина без покрывала. Она склонилась над перилами терраски, тревожно всматриваясь, желая узнать, кто пришел. Узнав пришельца, она приветливо заулыбалась ему, закивала головой, махнула рукой.

— Ты одна? — негромко по-гречески спросил Афраний.

— Одна, — шепнула женщина на террасе. — Муж утром уехал в Кесарию. — Тут женщина оглянулась на дверь и шепотом добавила: — Но служанка дома. — Тут она сделала жест, означающий — «входите». Афраний оглянулся и вступил на каменные ступени. После этого и женщина и он скрылись внутри домика.

У этой женщины Афраний пробыл совсем уже недолго — никак не более минут пяти. После этого он покинул дом и террасу, пониже опустил капюшон на глаза и вышел на улицу. В домах в это время уже зажигали светильники, предпраздничная толчея была еще очень велика, и Афраний на своем муле потерялся в потоке прохожих и всадников. Дальнейший путь его никому не известен.

Женщина же, которую Афраний называл Низа, оставшись одна, начала переодеваться, причем очень спешила. Но как ни трудно было ей разыскивать нужные

ей вещи в темной комнате, светильника она не зажгла и служанку не вызывала. Лишь после того как она была готова и на голове у нее уже было темное покрывало, в домике послышался ее голос:

— Если меня кто-нибудь спросит, скажи, что я ушла в гости к Энанте.

Послышалось ворчание старой служанки в темноте:

— К Энанте? Ох уж эта Энанта! Ведь запретил же муж ходить к ней! Сводница она, твоя Энанта! Вот скажу мужу...

— Ну, ну, ну, замолчи, — отозвалась Низа и, как тень, выскользнула из домика. Сандалии Низы простукали по каменным плитам дворика. Служанка с ворчанием закрыла дверь на террасу. Низа покинула свой дом.

В это самое время из другого переулка в Нижнем Городе, переулка изломанного, уступами сбегавшего к одному из городских прудов, из калитки неприглядного дома, слепой своей стороной выходящего в переулок, а окнами во двор, вышел молодой, с аккуратно подстриженной бородкой человек в белом чистом кефи, ниспадавшем на плечи, в новом праздничном голубом таллифе с кисточками внизу и в новеньких скрипящих сандалиях. Горбоносый красавец, принарядившийся для великого праздника, шел бодро, обгоняя прохожих, спешащих домой к праздничной трапезе, смотрел, как загоралось одно окно за другим. Молодой человек направлялся по дороге, ведущей мимо базара ко дворцу первосвященника Каифы, расположенному у подножия храмового холма.

Через некоторое время его можно было видеть входящим в ворота двора Каифы. А через некоторое время еще — покидающим этот двор.

После посещения дворца, в котором уже пылали светильники и факелы, в котором шла праздничная суета, молодой человек пошел еще бодрее, еще радостнее и заспешил обратно в Нижний Город. На том самом углу, где улица вливалась в базарную площадь, в кипении и толчее его обогнала как бы танцующей походкой идущая легкая женщина в черном покрывале, накинутом на самые глаза. Обгоняя молодого красавца, эта женщина на мгновение откинула покрывало повыше, метнула в сторону молодого человека взгляд, но не только не замедлила шага, а ускорила его, как будто бы

пытаясь скрыться от того, кого она обогнала.

Молодой человек не только заметил эту женщину, нет, он узнал ее, а узнав, вздрогнул, остановился, в недоумении глядя ей в спину, и тотчас же пустился ее догонять. Едва не сбив с ног какого-то прохожего с кувшином в руках, молодой человек догнал женщину и, тяжело дыша от волнения, окликнул ее:

— Низа!

Женщина повернулась, прищурилась, причем на лице ее выразилась холодная досада, и сухо ответила погречески:

— Ах, это ты, Иуда? А я тебя не узнала сразу. Впрочем, это хорошо. У нас есть примета, что тот, кого не узнают, станет богатым...

Волнуясь до того, что сердце стало прыгать, как птица под черным покрывалом, Иуда спросил прерывающимся шепотом, опасаясь, чтобы не услышали прохожие:

— Куда же ты идешь, Низа?

— А зачем тебе это знать? — ответила Низа, замедля шаг и надменно глядя на Иуду.

Тогда в голосе Иуды послышались какие-то детские интонации, он зашептал растерянно:

— Но как же?.. Ведь мы же условились. Я хотел зайти к тебе. Ты сказала, что весь вечер будешь дома...

— Ах нет, нет, — ответила Низа и капризно выставила вперед нижнюю губу, отчего Иуде показалось, что ее лицо, самое красивое лицо, какое он когда-либо видел в жизни, стало еще красивее, — мне стало скучно. У вас праздник, а что же прикажешь делать мне? Сидеть и слушать, как ты вздыхаешь на террасе? И бояться к тому же, что служанка расскажет об этом мужу? Нет, нет, и я решила уйти за город слушать соловьев.

— Как за город? — спросил растерявшийся Иуда. — Одна?

— Конечно, одна, — ответила Низа.

— Позволь мне сопровождать тебя, — задыхаясь, попросил Иуда. Мысли его помутились, он забыл про все на свете и смотрел молящими глазами в голубые, а теперь казавшиеся черными глаза Низы.

Низа ничего не ответила и прибавила шагу.

— Что же ты молчишь, Низа? — жалобно спросил Иуда, ровняя по ней свой шаг.

— А мне не будет скучно с тобой? — вдруг спросила Низа и остановилась. Тут мысли Иуды совсем смешались.

— Ну, хорошо, — смягчилась наконец Низа, — пойдем.

— А куда, куда?

— Погоди... зайдём в этот дворик и условимся, а то я боюсь, что кто-нибудь из знакомых увидит меня и потом скажут, что я была с любовником на улице.

И тут на базаре не стало Низы и Иуды. Они шептались в подворотне какого-то двора.

— Иди в масличное имение, — шептала Низа, натягивая покрывало на глаза и отворачиваясь от какого-то человека, который с ведром входил в подворотню, — в Гефсиманию, за Кедрон, понял?

— Да, да, да.

— Я пойду вперед, — продолжала Низа, — но ты не иди по моим пятам, а отделись от меня. Я уйду вперед... Когда перейдешь поток... ты знаешь, где грот?

— Знаю, знаю...

— Пройдешь мимо масличного жома вверх и поворачивай к гроту. Я буду там. Но только не смей идти сейчас же за мной, имей терпение, подожди здесь. — И с этими словами Низа вышла из подворотни, как будто и не говорила с Иудой.

Иуда простоял некоторое время один, стараясь собрать разбегающиеся мысли. В числе их была мысль о том, как он объяснит свое отсутствие на праздничной трапезе у родных. Иуда стоял и придумывал какую-то ложь, но в волнении ничего как следует не обдумал и не приготовил, и его ноги сами без его воли вынесли его из подворотни вон.

Теперь он изменил свой путь, он не стремился уже в Нижний Город, а повернул обратно к дворцу Каифы.

Праздник уже вошел в город. Вокруг Иуды в окнах не только сверкали огни, но уже слышались славословия. Последние опоздавшие гнали осликов, подхлестывали их, кричали на них. Ноги сами несли Иуду, и он не заметил, как мимо него пролетели мшистые страшные башни Антония, он не слышал трубного рева в крепости, никакого внимания не обратил на конный римский патруль с факелом, залившим тревожным светом его путь.

Пройдя башню, Иуда, повернувшись, увидел, что в

страшной высоте над храмом зажглись два гигантских пятисвечия. Но и их Иуда разглядел смутно, ему показалось, что над Ершалаимом засветились десять невиданных по размерам лампад, спорящих со светом единственной лампы, которая все выше подымалась над Ершалаимом, — лампы луны.

Теперь Иуде ни до чего не было дела, он стремился к Гефсиманским воротам, он хотел скорее покинуть город. По временам ему казалось, что впереди него, среди спин и лиц прохожих, мелькает танцующая фигурка, ведет его за собой. Но это был обман — Иуда понимал, что Низа значительно обогнала его. Иуда пробежал мимо меняльных лавок, попал наконец к Гефсиманским воротам. В них, горя от нетерпения, он все-таки вынужден был задержаться. В город входили верблюды, вслед за ними въехал военный сирийский патруль, который Иуда мысленно проклял...

Но все кончается. Нетерпеливый Иуда был уже за городской стеной. По левую руку от себя Иуда увидел маленькое кладбище, возле него несколько полосатых шатров богомольцев. Пересекши пыльную дорогу, заливаемую луной, Иуда устремился к кедронскому потоку, с тем чтобы его пересечь. Вода тихо журчала у Иуды под ногами. Перепрыгивая с камня на камень, он наконец выбрался на противоположный гефсиманский берег и с великой радостью увидел, что дорога под садами здесь пуста. Невдалеке уже виднелись полуразрушенные ворота масличного имения.

После душного города Иуду поразил одуряющий запах весенней ночи. Из сада через ограду выливалась волна запаха миртов и акаций с гефсиманских полей.

Ворота никто не охранял, никого в них не было, и через несколько минут Иуда уже бежал под таинственной тенью развесистых громадных маслин. Дорога вела в гору. Иуда подымался, тяжело дыша, по временам попадая из тьмы в узорчатые лунные ковры, напоминавшие ему те ковры, что он видел в лавке у ревнивого мужа Низы. Через некоторое время мелькнул по левую руку от Иуды, на поляне, масличный жом с тяжелым каменным колесом и груда каких-то бочек. В саду никого не было. Работы закончились на закате, и теперь над Иудой гремели и заливались хоры соловьев.

Цель Иуды была близка. Он знал, что направо в

темноте сейчас начнет слышать тихий шепот падающей в гроте воды. Так и случилось, он услышал его. Становилось все прохладнее.

Тогда он замедлил шаг и негромко крикнул:

— Низа!

Но вместо Низы, отлепившись от толстого ствола маслины, на дорогу выпрыгнула мужская коренастая фигура, и что-то блеснуло у нее в руке и тотчас потухло. Иуда, слабо вскрикнув, бросился назад, но второй человек преградил ему путь.

Первый, что был впереди, спросил Иуду:

— Сколько получил сейчас? Говори, если хочешь сохранить жизнь!

Надежда вспыхнула в сердце Иуды, и он отчаянно вскричал:

— Тридцать тетрадрахм! Тридцать тетрадрахм! Все, что получил, с собою. Вот деньги! Берите, но отдайте жизнь!

Человек спереди мгновенно выхватил из рук Иуды кошель. И в тот же миг за спиной у Иуды взлетел нож и, как молния, ударил влюбленного под лопатку. Иуду швырнуло вперед, и руки со скрюченными пальцами он выбросил в воздух. Передний человек поймал Иуду на свой нож и по рукоять всадил его в сердце Иуды.

— Ни... за... — не своим, высоким и чистым молодым голосом, а голосом низким и укоризненным проговорил Иуда и больше не издал ни одного звука. Тело его так сильно ударилось об землю, что она загудела.

Тогда третья фигура появилась на дороге. Этот третий был в плаще с капюшоном.

— Не медлите, — приказал он.

Убийцы быстро упаковали кошель вместе с запиской, поданной третьим, в кожу и перекрестили ее веревкой. Второй засунул сверток за пазуху, и затем оба убийцы бросились с дороги в стороны, и тьма их съела между маслинами. Третий же присел на корточки возле убитого и заглянул ему в лицо.

В тени оно представилось смотрящему белым, как мел, и каким-то одухотворенно красивым.

Через несколько секунд никого из живых на дороге не было. Бездыханное тело лежало с раскинутыми руками. Левая ступня попала в лунное пятно, так что отчетливо был виден каждый ремешок сандалии. Весь Гефсиманский сад в это время гремел соловьиным пе-

нием. Куда направились двое зарезавших Иуду, не знает никто, но путь третьего человека в капюшоне известен. Покинув дорожку, он устремился в чашу масличных деревьев, пробираясь к югу. Он перелез через ограду сада вдалеке от главных ворот, в южном углу его, там, где вывалились верхние камни кладки. Вскоре он был на берегу Кедрона. Тогда он вошел в воду и пробирался некоторое время по воде, пока не увидел вдали силуэты двух лошадей и человека возле них. Лошади также стояли в потоке. Вода струилась, омывая их копыта. Коновод сел на одну из лошадей, человек в капюшоне вскочил на другую, и медленно они оба пошли в потоке, и слышно было, как хрустели камни под копытами лошадей. Потом всадники выехали из воды, выбрались на ершалаимский берег и пошли шагом под стеною города. Тут коновод отделился, ускакал вперед и скрылся из глаз, а человек в капюшоне остановил лошадь, слез с нее на пустынной дороге, снял свой плащ, вывернул его наизнанку, вынул из-под плаща плоский шлем без оперения, надел его. Теперь на лошадь вскочил человек в военной хламиде и с коротким мечом на бедре. Он тронул поводья, и горячая кавалерийская лошадь пошла рысью, потряхивая всадника. Путь был недалек — всадник подъезжал к южным воротам Ершалаима.

Под аркою ворот танцевало и прыгало беспокойное пламя факелов. Караульные солдаты из второй кентурии Молниеносного легиона сидели на каменных скамьях, играя в кости. Увидев въезжающего военного, солдаты вскочили с мест, военный махнул им рукой и въехал в город.

Город был залит праздничными огнями. Во всех окнах играло пламя светильников, и отовсюду, сливаясь в нестройный хор, звучали славословия. Изредка заглядывая в окна, выходящие на улицу, всадник мог видеть людей за праздничным столом, на котором лежало мясо козленка, стояли чаши с вином меж блюд с горькими травами. Насвистывая какую-то тихую песенку, всадник неспешной рысью пробирался по пустынным улицам Нижнего Города, направляясь к Антониевой башне, изредка поглядывая на нигде не виданные в мире пятисвечия, пылающие над храмом, или на луну, которая висела еще выше пятисвечий.

Дворец Ирода Великого не принимал никакого уча-

ствия в торжестве пасхальной ночи. В подсобных покоях дворца, обращенных на юг, где разместились офицеры римской когорты и легат легиона, светились огни, там чувствовалось какое-то движение и жизнь. Передняя же часть, парадная, где был единственный и невольный жилец дворца — прокуратор, — вся, со своими колоннадами и золотыми статуями, как будто ослепла под ярчайшей луной. Тут, внутри дворца, господствовали мрак и тишина. И внутрь прокуратор, как и говорил Афранию, уйти не пожелал. Он велел постель приготовить на балконе, там же, где обедал, а утром вел спрос. Прокуратор лег на приготовленное ложе, но сон не пожелал прийти к нему. Оголенная луна висела высоко в чистом небе, и прокуратор не сводил с нее глаз в течение нескольких часов.

Примерно в полночь сон наконец сжалился над игемоном. Судорожно зевнув, прокуратор расстегнул и сбросил плащ, снял опоясывающий рубаху ремень с широким стальным ножом в ножнах, положил его в кресло у ложа, снял сандалии и вытянулся. Банга тотчас поднялся к нему на постель и лег рядом, голова к голове, и прокуратор, положив собаке руку на шею, закрыл наконец глаза. Только тогда заснул и пес.

Ложе было в полутьме, закрываемое от луны колонной, но от ступеней крыльца к постели тянулась лунная лента. И лишь только прокуратор потерял связь с тем, что было вокруг него в действительности, он немедленно тронулся по светящейся дороге и пошел по ней вверх, прямо к луне. Он даже рассмеялся во сне от счастья, до того все сложилось прекрасно и неповторимо на прозрачной голубой дороге. Он шел в сопровождении Банги, а рядом с ним шел бродячий философ. Они спорили о чем-то очень сложном и важном, причем ни один из них не мог победить другого. Они ни в чем не сходились друг с другом, и от этого их спор был особенно интересен и нескончаем. Само собою разумеется, что сегодняшняя казнь оказалась чистейшим недоразумением — ведь вот же философ, выдумавший столь невероятно нелепую вещь вроде того, что все люди добрые, шел рядом, следовательно, он был жив. И, конечно, совершенно ужасно было бы даже помыслить о том, что такого человека можно казнить. Казни не было! Не было! Вот в чем прелесть этого путешествия вверх по лестнице луны.

Свободного времени было столько, сколько надобно, а гроза будет только к вечеру, и трусость, несомненно, один из самых страшных пороков. Так говорил Иешуа Га-Ноцри. Нет, философ, я тебе возражаю: это самый страшный порок!

Вот, например, не трусил же теперешний прокуратор Иудеи, а бывший трибун в легионе, тогда, в Долине Дев, когда яростные германцы чуть не загрызли Крысобоя-Великана. Но, помилуйте меня, философ! Неужели вы, при вашем уме, допускаете мысль, что из-за человека, совершившего преступление против кесаря, погубит свою карьеру прокуратор Иудеи?

— Да, да, — стонал и всхлипывал во сне Пилат.

Разумеется, погубит. Утром бы еще не погубил, а теперь, ночью, взвесив все, согласен погубить. Он пойдет на все, чтобы спасти от казни решительно ни в чем не виноватого безумного мечтателя и врача!

— Мы теперь будем всегда вместе, — говорил ему во сне оборванный философ-бродяга, неизвестно каким образом ставший на дороге всадника с золотым копьем. — Раз один — то, значит, тут же и другой! Помянут меня — сейчас же помянут и тебя! Меня — подкидыша, сына неизвестных родителей, и тебя — сына короля-звездочета и дочери мельника, красавицы Пилы.

— Да, уж ты не забудь, помяни меня, сына звездочета, — просил во сне Пилат. И, заручившись во сне кивком идущего рядом с ним нищего из Эн-Сарида, жестокий прокуратор Иудеи от радости плакал и смеялся во сне.

Все это было хорошо, но тем ужаснее было пробуждение игемона. Банга зарычал на луну, и скользкая, как бы укатанная маслом, голубая дорога перед прокуратором провалилась. Он открыл глаза, и первое, что вспомнил, это что казнь была. Первое, что сделал прокуратор, это привычным жестом вцепился в ошейник Банги, потом большими глазами стал искать луну и увидел, что она немного отошла в сторону и посеребрилась. Ее свет перебивал неприятный, беспокойный свет, играющий на балконе перед самыми глазами. В руках у кентуриона Крысобоя пылал и коптил факел. Держащий его со страхом и злобой косился на опасного зверя, приготовившегося к прыжку.

— Не трогать, Банга, — сказал прокуратор больным голосом и кашлянул. Заслоняясь от пламени рукою, он

продолжал: — И ночью, и при луне мне нет покоя. О боги! У вас тоже плохая должность, Марк. Солдат вы калечите...

В величайшем изумлении Марк глядел на прокуратора, и тот опомнился. Чтобы загладить напрасные слова, произнесенные со сна, прокуратор сказал:

— Не обижайтесь, кентурион. Мое положение, повторяю, еще хуже. Что вам надо?

— К вам начальник тайной стражи, — спокойно сообщил Марк.

— Зовите, зовите, — прочищая горло кашлем, приказал прокуратор и стал босыми ногами нашивать сандалии. Пламя заиграло на колоннах, застучали каллиги кентуриона по мозаике. Кентурион вышел в сад.

— И при луне мне нет покоя, — скрипнув зубами, сам себе сказал прокуратор.

На балконе вместо кентуриона появился человек в капюшоне.

— Банга, не трогать, — тихо сказал прокуратор и сдвинул затылок пса.

Прежде чем начать говорить, Афраний, по своему обыкновению, оглянулся и ушел в тень и, убедившись, что, кроме Банги, лишних на балконе нет, тихо сказал:

— Прошу отдать меня под суд, прокуратор. Вы оказались правы. Я не сумел уберечь Иуду из Кириафа, его зарезали. Прошу суд и отставку.

Афранию показалось, что на него глядят четыре глаза — собачьи и волчьи.

Афраний вынул из-под хламиды заскорузлый от крови кошель, запечатанный двумя печатями.

— Вот этот мешок с деньгами подбросили убийцы в дом первосвященника. Кровь на этом мешке — кровь Иуды из Кириафа.

— Сколько там, интересно? — спросил Пилат, наклоняясь к мешку.

— Тридцать тетрадрахм.

Прокуратор усмехнулся и сказал:

— Мало.

Афраний молчал.

— Где убитый?

— Этого я не знаю, — со спокойным достоинством ответил человек, никогда не расстававшийся со своим капюшоном, — сегодня утром начнем розыск.

Прокуратор вздрогнул, оставил ремень сандалии,

который никак не застегивался.

— Но вы наверно знаете, что он убит?

На это прокуратор получил сухой ответ:

— Я, прокуратор, пятнадцать лет на работе в Иудее. Я начал службу при Валерии Грате. Мне не обязательно видеть труп для того, чтобы сказать, что человек убит, и вот я вам докладываю, что тот, кого именовали Иуда из города Кириафа, несколько часов тому назад зарезан.

— Простите меня, Афраний, — ответил Пилат, — я еще не проснулся как следует, отчего и сказал это. Я сплю плохо, — прокуратор усмехнулся, — и все время вижу во сне лунный луч. Так смешно, вообразите. Будто бы я гуляю по этому лучу. Итак, я хотел бы знать ваши предположения по этому делу. Где вы собираетесь его искать? Садитесь, начальник тайной службы.

Афраний поклонился, пододвинул кресло поближе к кровати и сел, брякнув мечом.

— Я собираюсь его искать недалеко от масличного дома в Гефсиманском саду.

— Так, так. А почему именно там?

— Игемон, по моим соображениям, Иуда убит не в самом Ершалаиме и не где-нибудь далеко от него. Он убит под Ершалаимом.

— Считаю вас одним из выдающихся знатоков своего дела. Я не знаю, впрочем, как обстоит дело в Риме, но в колониях равного вам нет. Объясните: почему?

— Ни в коем случае не допускаю мысли, — говорил негромко Афраний, — о том, чтобы Иуда дался в руки каким-нибудь подозрительным людям в черте города. На улице не зарежешь тайно. Значит, его должны были заманить куда-нибудь в подвал. Но служба уже искала его в Нижнем Городе и, несомненно, нашла бы. Но его нет в городе, за это вам ручаюсь. Если бы его убили вдалеке от города, этот пакет с деньгами не мог бы быть подброшен так скоро. Он убит вблизи города. Его сумели выманить за город.

— Не постигаю, каким образом это можно было сделать.

— Да, прокуратор, это самый трудный вопрос во всем деле, и я даже не знаю, удастся ли мне его разрешить.

— Действительно, загадочно! В праздничный вечер верующий уходит неизвестно зачем за город, покинув

пасхальную трапезу, и там погибает. Кто и чем мог его выманить? Не сделала ли это женщина? — вдруг вдохновенно спросил прокуратор.

Афраний отвечал спокойно и веско:

— Ни в коем случае, прокуратор. Эта возможность совершенно исключена. Надлежит рассуждать логически. Кто был заинтересован в гибели Иуды? Какие-то бродячие фантазеры, какой-то кружок, в котором прежде всего не было никаких женщин. Чтобы жениться, прокуратор, требуются деньги, чтобы произвести человека при помощи женщины, нужны очень большие деньги, и ни у каких бродяг их нету. Женщины не было в этом деле, прокуратор. Более того скажу, такое толкование убийства может лишь сбивать со следу, мешать следствию и путать меня.

— Я вижу, что вы совершенно правы, Афраний, — говорил Пилат, — и я лишь позволил себе высказать свое предположение.

— Оно, увь, ошибочно, прокуратор.

— Но что же, что же тогда?! — воскликнул прокуратор, с жадным любопытством всматриваясь в лицо Афрания.

— Я полагаю, что это все те же деньги.

— Замечательная мысль! Но кто и за что мог предложить ему деньги ночью за городом?

— О нет, прокуратор, не так. У меня есть единственное предположение, и если оно неверно, то других объяснений я, пожалуй, не найду. — Афраний наклонился поближе к прокуратору и шепотом договорил: — Иуда хотел спрятать свои деньги в укромном, одному ему известном месте.

— Очень тонкое объяснение. Так, по-видимому, дело и обстояло. Теперь я вас понимаю: его выманили не люди, а его собственная мысль. Да, да, это так.

— Так. Иуда был недоверчив. Он прятал деньги от людей.

— Да, вы сказали, в Гефсимании. А вот почему именно там вы намерены искать его — этого я, признаюсь, не пойму.

— О, прокуратор, это проще всего. Никто не будет прятать деньги на дорогах, в открытых и пустых местах. Иуда не был ни на дороге в Хеврон, ни на дороге в Вифанию. Он должен был быть в защищенном, ук-

ромном месте с деревьями. Это так просто. А таких других мест, кроме Гефсимании, под Ершалаимом нет. Далеко он уйти не мог.

— Вы совершенно убедили меня. Итак, что же делать теперь?

— Я немедленно начну искать убийц, которые выслежили Иуду за городом, а сам тем временем, как я уже докладывал вам, пойду под суд.

— За что?

— Моя охрана упустила его вечером на базаре после того, как он покинул дворец Каифы. Как это произошло, не постигаю. Этого еще не было в моей жизни. Он был взят в наблюдение тотчас же после нашего разговора. Но в районе базара он переложился куда-то, сделал такую странную петлю, что бесследно ушел.

— Так. Объявляю вам, что я не считаю нужным отдавать вас под суд. Вы сделали все, что могли, и никто в мире, — тут прокуратор улыбнулся, — не сумел бы сделать больше вашего! Взыщите с сыщиков, потерявших Иуду. Но и тут, предупреждаю вас, я не хотел бы, чтобы взыскание было хоть сколько-нибудь строгим. В конце концов мы сделали все для того, чтобы позаботиться об этом негодяе! Да, я забыл спросить, — прокуратор потер лоб: — Как же они ухитрились подбросить деньги Каифе?

— Видите ли, прокуратор... Это не особенно сложно. Мстители прошли в тылу дворца Каифы, там, где переулком господствует над задним двором. Они перебрались пакет через забор.

— С запиской?

— Да, точно так, как вы и предполагали, прокуратор. Да, впрочем, — тут Афраний сорвал печать с пакета и показал его внутренность Пилату.

— Помилуйте, что вы делаете, Афраний, ведь печатит-то, наверное, храмовые!

— Прокуратору не стоит беспокоить себя этим вопросом, — ответил Афраний, закрывая пакет.

— Неужели все печати есть у вас? — рассмеявшись, спросил Пилат.

— Иначе быть не может, прокуратор, — без всякого смеха, очень сурово ответил Афраний.

— Воображаю, что было у Каифы!

— Да, прокуратор, это вызвало очень большое волнение. Меня они пригласили немедленно.

Даже в полутьме было видно, как сверкают глаза Пилата.

— Это интересно, интересно...

— Осмеливаюсь возразить, прокуратор, это не было интересно. Скучнейшее и утомительнейшее дело. На мой вопрос, не выплачивались ли кому деньги во дворце Каифы, мне сказали категорически, что этого не было.

— Ах так? Ну, что же, не выплачивались, стало быть, не выплачивались. Тем труднее будет найти убийц.

— Совершенно верно, прокуратор.

— Да, Афраний, вот что внезапно мне пришло в голову: не покончил ли он сам с собой?

— О нет, прокуратор, — даже откинувшись от удивления в кресле, ответил Афраний, — простите меня, но это совершенно невероятно!

— Ах, в этом городе все вероятно! Я готов спорить, что через самое короткое время слухи об этом поползут по всему городу.

Тут Афраний метнул в прокуратора свой взгляд, подумал и ответил:

— Это может быть, прокуратор.

Прокуратор, видимо, все не мог расстаться с этим вопросом об убийстве человека из Кириафа, хотя и так уж все было ясно, и сказал даже с некоторой мечтательностью:

— А я желал бы видеть, как они убивали его.

— Убит он с чрезвычайным искусством, прокуратор, — ответил Афраний, с некоторой иронией поглядывая на прокуратора.

— Откуда же вы это-то знаете?

— Благоволите обратить внимание на мешок, прокуратор, — ответил Афраний, — я вам ручаюсь за то, что кровь Иуды хлынула волной. Мне приходилось видеть битых, прокуратор, на своем веку!

— Так что он, конечно, не встанет?

— Нет, прокуратор, он встанет, — ответил, улыбаясь философски, Афраний, — когда труба Мессии, которого здесь ожидают, прозвучит над ним. Но ранее он не встанет.

— Довольно, Афраний! Этот вопрос ясен. Перейдем к погребению.

— Казненные погребены, прокуратор.

— О Афраний, отдать вас под суд было бы преступ-

лением. Вы достойны наивысшей награды. Как было?

Афраний начал рассказывать и рассказал, что в то время, как он сам занимался делом Иуды, команда тайной стражи, руководимая его помощником, достигла холма, когда наступил вечер. Одного тела на верхушке она не обнаружила. Пилат вздрогнул, сказал хрипло:

— Ах, как же я этого не предвидел!

— Не стоит беспокоиться, прокуратор, — сказал Афраний и продолжал повествовать.

Тела Дисмаса и Гестаса с выклеванными хищными птицами глазами подняли и тотчас же бросились на поиски третьего тела. Его обнаружили в очень скором времени. Некий человек...

— Левий Матвей, — не вопросительно, а скорее утвердительно сказал Пилат.

— Да, прокуратор...

Левий Матвей прятался в пещере на северном склоне Лысого Черепа, дожидаясь тьмы. Голое тело Иешуа Га-Ноцри было с ним. Когда стража вошла в пещеру с факелом, Левий впал в отчаяние и злобу. Он кричал о том, что не совершил никакого преступления и что всякий человек, согласно закону, имеет право похоронить казненного преступника, если пожелает. Левий Матвей говорил, что не хочет расстаться с этим телом. Он был возбужден, выкрикивал что-то бессвязное, то просил, то угрожал и проклинал...

— Его пришлось схватить? — мрачно спросил Пилат.

— Нет, прокуратор, нет, — очень успокоительно ответил Афраний, — дерзкого безумца удалось успокоить, объяснив, что тело будет погребено.

Левий, осмыслив сказанное, утих, но заявил, что он никуда не уйдет и желает участвовать в погребении. Он сказал, что он не уйдет, даже если его начнут убивать, и даже предлагал для этой цели хлебный нож, который был с ним.

— Его прогнали? — сдавленным голосом спросил Пилат.

— Нет, прокуратор, нет. Мой помощник разрешил ему участвовать в погребении.

— Кто из ваших помощников руководил этим? — спросил Пилат.

— Толмай, — ответил Афраний и прибавил в тре-

воге: — Может быть, он допустил ошибку?

— Продолжайте, — ответил Пилат, — ошибки не было. Я вообще начинаю немного теряться, Афраний, я, по-видимому, имею дело с человеком, который никогда не делает ошибок. Этот человек — вы.

Левия Матвея взяли в повозку вместе с телами казненных и часа через два достигли пустынного ущелья к северу от Ершалаима. Там команда, работая посменно, в течение часа выкопала глубокую яму и в ней похоронила всех трех казненных.

— Обнаженными?

— Нет, прокуратор, — команда взяла с собой для этой цели хитоны. На пальцы погребаемым были надеты кольца. Иешуа с одной нарезкой, Дисмасу с двумя и Гестасу с тремя. Яма закрыта, завалена камнями. Опознавательный знак Толмаю известен.

— Ах, если б я мог предвидеть! — морщась, заговорил Пилат. — Ведь мне нужно было бы повидать этого Левия Матвея...

— Он здесь, прокуратор.

Пилат, широко расширив глаза, глядел некоторое время на Афрания, а потом сказал так:

— Благодарю вас за все, что сделано по этому делу. Прошу вас завтра прислать мне Толмая, объявить ему заранее, что я доволен им, а вас, Афраний, — тут прокуратор вынул из кармана пояса, лежащего на столе, перстень и подал его начальнику тайной службы, — прошу принять это на память.

Афраний поклонился, молвил:

— Большая честь, прокуратор.

— Команде, производившей погребение, прошу выдать награды. Сыщикам, упустившим Иуду, выговор. А Левия Матвея сейчас ко мне. Мне нужны подробности по делу Иешуа.

— Слушаю, прокуратор, — отозвался Афраний и стал отступать и кланяться, а прокуратор хлопнул в ладоши и закричал:

— Ко мне, сюда! Светильник в колоннаду!

Афраний уже уходил в сад, а за спиною Пилата в руках слуг уже мелькали огни. Три светильника на столе оказались перед прокуратором, и лунная ночь тотчас отступила в сад, как будто бы Афраний увел ее с собою. Вместо Афрания на балкон вступил неизвестный маленький и тощий человек рядом с гигантом кентурио-

ном. Этот второй, поймав взгляд прокуратора, тотчас отступил в сад и скрылся.

Прокуратор изучал пришедшего человека жадными и немного испуганными глазами. Так смотрят на того, о ком слышали много, о ком и сами думали и кто наконец появился.

Пришедший человек, лет под сорок, был черен, оборван, покрыт засохшей грязью, смотрел по-волчьи, исподлобья. Словом, он был очень непригляден и скорее всего походил на городского нищего, каких много толчется на террасах храма или на базарах шумного и грязного Нижнего Города.

Молчание продолжалось долго, и нарушено оно было странным поведением приведенного к Пилату. Он изменился в лице, шатнулся и, если бы не ухватился грязной рукой за край стола, упал бы.

— Что с тобой? — спросил его Пилат.

— Ничего, — ответил Левий Матвей и сделал такое движение, как будто что-то проглотил. Тощая, голая, грязная шея его взбухла и опять опала.

— Что с тобою, отвечай, — повторил Пилат.

— Я устал, — ответил Левий и мрачно поглядел в пол.

— Сядь, — молвил Пилат и указал на кресло.

Левий недоверчиво поглядел на прокуратора, двинулся к креслу, испуганно покосился на золотые ручки и сел не в кресло, а рядом с ним, на пол.

— Объясни: почему не сел в кресло? — спросил Пилат.

— Я грязный, я его запачкаю, — сказал Левий, глядя в землю.

— Сейчас тебе дадут поесть.

— Я не хочу есть, — ответил Левий.

— Зачем же лгать? — спросил тихо Пилат. — Ты ведь не ел целый день, а может быть, и больше. Ну, хорошо, не ешь. Я призвал тебя, чтобы ты показал мне нож, который был у тебя.

— Солдаты отняли его у меня, когда вводили сюда, — ответил Левий и добавил мрачно: — Вы мне его верните, мне его надо отдать хозяину, я его украл.

— Зачем?

— Чтобы веревки перерезать, — ответил Левий.

— Марк! — крикнул прокуратор, и кентурион вступил под колонны. — Нож его мне дайте.

Кентурион вынул из одного из двух чехлов на поясе грязный хлебный нож и подал его прокуратору, а сам удалился.

— А у кого взял нож?

— В хлебной лавке у Хевронских ворот, как войдешь в город, сейчас же налево.

Пилат поглядел на широкое лезвие, попробовал пальцем, остер ли нож, зачем-то, и сказал:

— Насчет ножа не беспокойся, нож вернут в лавку. А теперь мне нужно второе: покажи хартию, которую ты носишь с собой и где записаны слова Иешуа.

Левий с ненавистью поглядел на Пилата и улыбнулся столь недоброй улыбкой, что лицо его обезобразилось совершенно.

— Все хотите отнять? И последнее, что имею? — спросил он.

— Я не сказал тебе — отдай, — ответил Пилат, — я сказал — покажи.

Левий порывлся за пазухой и вынул свиток пергамента. Пилат взял его, развернул, расстелил между огнями и, щурясь, стал изучать малоразборчивые чернильные знаки. Трудно было понять эти корявые строчки, и Пилат морщился и склонялся к самому пергаменту, водил пальцем по строчкам. Ему удалось все-таки разобрать, что записанное представляет собою несвязную цепь каких-то изречений, каких-то дат, хозяйственных заметок и поэтических отрывков. Кое-что Пилат прочел: «Смерти нет... Вчера мы ели сладкие весенние баккуроты...»

Гримасничая от напряжения, Пилат щурился, читал: «Мы увидим чистую реку воды жизни... Человечество будет смотреть на солнце сквозь прозрачный кристалл...»

Тут Пилат вздрогнул. В последних строчках пергамента он разобрал слова: «...большого порока... трусость».

Пилат свернул пергамент и резким движением подал его Левию.

— Возьми, — сказал он и, помолчав, прибавил: — Ты, как я вижу, книжный человек, и незачем тебе, одинокому, ходить в нищей одежде без пристанища. У меня в Кесарии есть большая библиотека, я очень богат и хочу взять тебя на службу. Ты будешь разбирать и хранить папирусы, будешь сыт и одет.

Левий встал и ответил:

— Нет, я не хочу.

— Почему? — темнея лицом, спросил прокуратор. — Я тебе неприятен, ты меня боишься?

Та же плохая улыбка исказила лицо Левия, и он сказал:

— Нет, потому что ты будешь меня бояться. Тебе не очень-то легко будет смотреть в лицо мне после того, как ты его убил.

— Молчи, — ответил Пилат, — возьми денег.

Левий отрицательно покачал головой, а прокуратор продолжал:

— Ты, я знаю, считаешь себя учеником Иешуа, но я тебе скажу, что ты не усвоил ничего из того, чему он тебя учил. Ибо, если б это было так, ты обязательно взял бы у меня что-нибудь. Имей в виду, что он перед смертью сказал, что он никого не винит, — Пилат значительно поднял палец, лицо Пилата дергалось. — И сам он непременно взял бы что-нибудь. Ты жесток, а тот жестоким не был. Куда ты пойдешь?

Левий вдруг приблизился к столу, уперся в него обеими руками и, глядя горящими глазами на прокуратора, зашептал ему:

— Ты, игемон, знай, что я в Ершалаиме зарезу одного человека. Мне хочется тебе это сказать, чтобы ты знал, что кровь еще будет.

— Я тоже знаю, что она еще будет, — ответил Пилат, — своими словами ты меня не удивил. Ты, конечно, хочешь зарезать меня?

— Тебя мне зарезать не удастся, — ответил Левий, оскалившись и улыбаясь, — я не такой глупый человек, чтобы на это рассчитывать, но я зарезу Иуду из Кириафа, я этому посвящу остаток жизни.

Тут наслаждение выразилось в глазах прокуратора, и он, поманив к себе пальцем поближе Левия Матвея, сказал:

— Это тебе сделать не удастся, ты себя не беспокой. Иуду этой ночью уже зарезали.

Левий отпрыгнул от стола, дико озираясь, и выкрикнул:

— Кто это сделал?

— Не будь ревнив, — скалясь, ответил Пилат и потер руки. — Я боюсь, что были поклонники у него и кроме тебя.

— Кто это сделал? — шепотом повторил Левий.

Пилат ответил ему:

— Это сделал я.

Левий открыл рот, уставился на прокуратора, а тот сказал тихо:

— Это, конечно, немного сделано, но все-таки это сделал я. — И прибавил: — Ну, а теперь возьмешь что-нибудь?

Левий подумал, смягчился и наконец сказал:

— Вели мне дать кусок чистого пергамента.

Прошел час. Левия не было во дворце. Теперь тишину рассвета нарушал только тихий шум шагов часовых в саду. Луна быстро выпветала, на другом краю неба было видно беловатое пятнышко утренней звезды. Светильники давным-давно погасли. На ложе лежал прокуратор. Подложив руку под щеку, он спал и дышал беззвучно. Рядом с ним спал Банга.

Так встретил рассвет пятнадцатого нисана пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат.

Г л а в а 27

КОНЕЦ КВАРТИРЫ №50

Когда Маргарита дошла до последних слов главы «...Так встретил рассвет пятнадцатого нисана пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат», — наступило утро.

Слышно было, как во дворике в ветвях ветлы и липы вели веселый, возбужденный утренний разговор воробьи.

Маргарита поднялась с кресла, потянулась и только теперь ощутила, как изломано ее тело и как хочет она спать. Интересно отметить, что душа Маргариты находилась в полном порядке. Мысли ее не были в разброде, ее совершенно не потрясало то, что она провела ночь сверхъестественно. Ее не волновали воспоминания о том, что она была на балу у сатаны, что каким-то чудом мастер был возвращен к ней, что из пепла возник роман, что опять все оказалось на своем месте в подвале в переулке, откуда был изгнан ябедник Алоизий Могарыч. Словом, знакомство с Воландом не принесло ей никакого психического ущерба. Все было так, как будто так и должно быть.

Она пошла в соседнюю комнату, убедилась в том,

что мастер спит крепким и спокойным сном, погасила ненужную настольную лампу и сама протянулась под противоположной стеной на диванчике, покрытом старой разорванной простыней. Через минуту она спала, и никаких снов в то утро она не видела. Молчали комнаты в подвале, молчал весь маленький домишко застройщика, и тихо было в глухом переулке.

Но в это время, то есть на рассвете субботы, не спал целый этаж в одном из московских учреждений, и окна в нем, выходящие на залитую асфальтом большую площадь, которую специальные машины, медленно разъезжая с гудением, чистили щетками, светились полным светом, прорезавшим свет восходящего солнца.

Весь этаж был занят следствием по делу Воланда, и лампы всю ночь горели в десяти кабинетах.

Собственно говоря, дело стало ясно уже со вчерашнего дня, пятницы, когда пришлось закрыть Варьете вследствие исчезновения его администрации и всяких безобразий, происшедших накануне во время знаменитого сеанса черной магии. Но дело в том, что все время и непрерывно поступал в бессонный этаж все новый и новый материал.

Теперь следствию по этому странному делу, отдающему совершенно явственной чертовщиной, да еще с примесью каких-то гипнотических фокусов и совершенно отчетливой уголовщины, надлежало все разносторонние и путанные события, происшедшие в разных местах Москвы, слепить в единый ком.

Первый, кому пришлось побывать в светящемся электричеством бессонном этаже, был Аркадий Аполлонович Семплеяров, председатель Акустической комиссии.

После обеда в пятницу в квартире его, помещающейся в доме у Каменного моста, раздался звонок, и мужской голос попросил к телефону Аркадия Аполлоновича. Подошедшая к аппарату супруга Аркадия Аполлоновича ответила мрачно, что Аркадий Аполлонович нездоров, лег почивать и подойти к аппарату не может. Однако Аркадию Аполлоновичу подойти к аппарату все-таки пришлось. На вопрос о том, откуда спрашивают Аркадия Аполлоновича, голос в телефоне очень коротко ответил откуда.

— Сию секунду... сейчас... сию минуту... — пролепетала обычно очень надменная супруга председателя

Акустической комиссии и как стрела полетела в спальню подымать Аркадия Аполлоновича с ложа, на котором тот лежал, испытывая адские терзания при воспоминании о вчерашнем сеансе и ночном скандале, сопровождавшем изгнание из квартиры саратовской его племянницы.

Правда, не через секунду, но даже и не через минуту, а через четверть минуты Аркадий Аполлонович, в одной туфле на левой ноге, в одном белье, уже был у аппарата, лепеча в него:

— Да, это я... Слушаю, слушаю...

Супруга его, на эти мгновения забывшая все омерзительные преступления против верности, в которых несчастный Аркадий Аполлонович был уличен, с испуганным лицом высовывалась в дверь коридора, тыкала туфлей в воздух и шептала:

— Туфлю надень, туфлю... Ноги простудишь, — на что Аркадий Аполлонович, отмахиваясь от жены босой ногой и делая ей зверские глаза, бормотал в телефон:

— Да, да, да, как же, я понимаю... Сейчас выезжаю...

Весь вечер Аркадий Аполлонович провел в том самом этаже, где велось следствие. Разговор был тягостный, неприятнейший был разговор, ибо пришлось с совершеннейшей откровенностью рассказывать не только об этом паскудном сеансе и драке в ложе, но попутно, что было действительно необходимо, и про Милицу Андреевну Покобатько с Елоховской улицы, и про саратовскую племянницу, и про многое еще, о чем рассказы приносили Аркадию Аполлоновичу невыразимые муки.

Само собой разумеется, что показания Аркадия Аполлоновича, интеллигентного и культурного человека, бывшего свидетелем безобразного сеанса, свидетеля толкового и квалифицированного, который прекрасно описал и самого таинственного мага в маске, и двух его негодяев-помощников, который прекрасно запомнил, что фамилия мага именно Воланд, — значительно подвинули следствие вперед. Сопоставление же показаний Аркадия Аполлоновича с показаниями других, в числе которых были некоторые дамы, пострадавшие после сеанса (та, в фиолетовом белье, поразившая Римского, и, увы, многие другие), и курьер Карпов, который был посылаем в квартиру № 50 на Садовую улицу, — собственно, сразу установило то место, где

надлежит искать виновника всех этих приключений.

В квартире № 50 побывали, и не раз, и не только осматривали ее чрезвычайно тщательно, но и выстукивали стены в ней, осматривали каминные дымоходы, искали тайников. Однако все эти мероприятия никакого результата не дали, и ни в один из приездов в квартиру в ней никого обнаружить не удалось, хотя и совершенно понятно было, что в квартире кто-то есть, несмотря на то, что все лица, которым так или иначе надлежало ведать вопросами о прибывающих в Москву иностранных артистах, решительно и категорически утверждали, что никакого черного мага Воланда в Москве нет и быть не может.

Решительно нигде он не зарегистрировался при приезде, никому не предъявлял своего паспорта или иных каких-либо бумаг, контрактов и договоров, и никто о нем ничего не слышал! Заведующий программным отделением Зрелищной комиссии Китайцев клялся и божился, что никакой программы представления никакого Воланда пропавший Степа Лиходеев ему на утверждение не присылал и ничего о приезде такого Воланда Китайцеву не телефонировал. Так что ему, Китайцеву, совершенно непонятно и неизвестно, каким образом в Варьете Степа мог допустить подобный сеанс. Когда же говорили, что Аркадий Аполлонович своими глазами видел этого мага на сеансе, Китайцев только разводил руками и поднимал глаза к небу. И уж по глазам Китайцева можно было видеть и смело сказать, что он чист, как хрусталь.

Тот самый Прохор Петрович, председатель главной Зрелищной комиссии...

Кстати: он вернулся в свой костюм немедленно после того, как милиция вошла в его кабинет, к иступленной радости Анны Ричардовны и к великому недоумению зря потревоженной милиции. Еще кстати: вернувшись на свое место, в свой серый полосатый костюм, Прохор Петрович совершенно одобрил все резолюции, которые костюм наложил во время его кратковременного отсутствия.

...так вот, тот самый Прохор Петрович решительнейшим образом ничего не знал ни о каком Воланде.

Выходило что-то, воля ваша, несусветимое: тысячи зрителей, весь состав Варьете, наконец, Семплеяров Аркадий Аполлонович, наиобразованнейший человек, ви-

дели этого мага, равно как и треклятых его ассистентов, а между тем нигде его найти никакой возможности нету. Что же, позвольте вас спросить: он провалился, что ли, сквозь землю тотчас после своего отвратительного сеанса или же, как утверждают некоторые, вовсе не приезжал в Москву? Но если допустить первое, то несомненно, что, проваливаясь, он прихватил с собою всю головку администраций Варьете, а если второе, то не выходит ли, что сама администрация злосчастливого театра, учинив предварительно какую-то пакость (вспомните только разбитое окно в кабинете и поведение Тузабубен!), бесследно скрылась из Москвы.

Надо отдать справедливость тому, кто возглавлял следствие. Пропавшего Римского разыскивали с изумляющей быстротой. Стоило только сопоставить поведение Тузабубен у таксомоторной стоянки возле кинематографа с некоторыми датами времени, вроде того, когда кончился сеанс и когда именно мог исчезнуть Римский, чтобы немедленно дать телеграмму в Ленинград. Через час пришел ответ (к вечеру пятницы), что Римский обнаружен в номере четыреста двенадцатом гостиницы «Астория», в четвертом этаже, рядом с номером, где остановился заведующий репертуаром одного из московских театров, гастролировавших в то время в Ленинграде, в том самом номере, где, как известно, серо-голубая мебель с золотом и прекрасное ванное отделение.

Обнаруженный прячущимся в платяном шкафу четыреста двенадцатого номера «Астории» Римский был немедленно арестован и допрошен в Ленинграде же. После чего в Москву пришла телеграмма, извещающая о том, что финдиректор Варьете оказался в состоянии невменяемости, что на вопросы он путных ответов не дает или не желает давать и просит только об одном, чтобы его спрятали в бронированную камеру и приставили к нему вооруженную охрану. Из Москвы телеграммой было приказано Римского под охраною доставить в Москву, вследствие чего Римский в пятницу вечером и выехал под такой охраной с вечерним поездом.

К вечеру же пятницы нашли и след Лиходеева. Во все города были разсланы телеграммы с запросами о Лиходееве, и из Ялты был получен ответ, что Лиходеев был в Ялте, но вылетел на аэроплане в Москву.

Единственно, чей след не удалось поймать, это след Варенухи. Известный всей решительно Москве знаменитый театральный администратор канул как в воду.

Тем временем пришлось возиться с происшествиями и в других местах Москвы, вне театра Варьете. Пришлось разяснять необыкновенный случай с поющими «Славное море» служащими (кстати: профессору Стравинскому удалось их привести в порядок в течение двух часов времени путем каких-то впрыскиваний под кожу), с лицами, предъявлявшими другим лицам или учреждениям под видом денег черт знает что, а также с лицами, пострадавшими от таких предъявлений.

Как само собой понятно, самым неприятным, самым скандальным и неразрешимым из всех этих случаев был случай похищения головы покойного литератора Берлиоза прямо из гроба в грибоедовском зале, произведенного среди бела дня.

Двенадцать человек осуществляли следствие, собирая, как на спицу, окайненные петли этого сложного дела, разбросавшиеся по всей Москве.

Один из следователей прибыл в клинику профессора Стравинского и первым долгом попросил предъявить ему список тех лиц, которые поступили в клинику в течение последних трех дней. Таким образом, были обнаружены Никанор Иванович Босой и несчастный конференсье, которому отрывали голову. Ими, впрочем, занимались мало. Теперь уже легко было установить, что эти двое стали жертвами одной и той же шайки, возглавляемой этим таинственным магом. Но вот Иван Николаевич Бездомный следователя заинтересовал чрезвычайно.

Дверь Иванушкиной комнаты № 117-й отворилась под вечер пятницы, и в комнату вошел молодой, круглолицый, спокойный и мягкий в обращении человек, совсем не похожий на следователя и тем не менее один из лучших следователей Москвы. Он увидел лежащего на кровати, побледневшего и осунувшегося молодого человека, с глазами, в которых читалось отсутствие интереса к происходящему вокруг, с глазами, то обращающимися куда-то вдаль, поверх окружающего, то внутрь самого молодого человека.

Следователь ласково представился и сказал, что зашел к Ивану Николаевичу потолковать о позавчерашних происшествиях на Патриарших прудах.

О, как торжествовал бы Иван, если бы следователь явился к нему пораньше, хотя бы, скажем, в ночь на четверг, когда Иван буйно и страстно добивался того, чтобы выслушали его рассказ о Патриарших прудах. Теперь сбылось его мечтание помочь поймать консультанта, ему не нужно было ни за кем уже бегать, к нему самому пришли именно затем, чтобы выслушать его повесть о том, что произошло в среду вечером.

Но, увы, Иванушка совершенно изменился за то время, что прошло с момента гибели Берлиоза. Он был готов охотно и вежливо отвечать на все вопросы следователя, но равнодушие чувствовалось и во взгляде Ивана, и в его интонациях. Поэта больше не трогала судьба Берлиоза.

Перед приходом следователя Иванушка дремал лежа, и перед ним проходили некоторые видения. Так, он видел город странный, непонятный, несуществующий, с глыбами мрамора, источенными колоннадами, со сверкающими на солнце крышами, с черной мрачной и безжалостной башней Антония, со дворцом на западном холме, погруженным до крыш почти в тропическую зелень сада, с бронзовыми, горящими в закате статуями над этой зеленью, он видел идущие под стенами древнего города римские, закованные в броню, кентурии.

В дремоте перед Иваном являлся неподвижный в кресле человек, бритый, с издерганным желтым лицом, человек в белой мантии с красной подбивкой, ненавистно глядящий в пышный и чужой сад. Видел Иван и безлесьный желтый холм с опустевшими столбами с перекладинами.

А происшедшее на Патриарших прудах поэта Ивана Бездомного более не интересовало.

— Скажите, Иван Николаевич, а вы-то сами как далеко были от турникета, когда Берлиоз свалился под трамвай?

Чуть заметная равнодушная усмешка почему-то тронула губы Ивана, и он ответил:

— Я был далеко.

— А этот клетчатый был возле самого турникета?

— Нет, он сидел на скамеечке невдалеке.

— Вы хорошо помните, что он не подходил к турникету в тот момент, когда Берлиоз упал?

— Помню. Не подходил. Он развалившись сидел.

Эти вопросы были последними вопросами следователя. После них он встал, протянул руку Иванушке, пожелал скорее поправиться и выразил надежду, что вскорости вновь будет читать его стихи.

— Нет, — тихо ответил Иван, — я больше стихов писать не буду.

Следователь вежливо усмехнулся, позволил себе выразить уверенность в том, что поэт сейчас в состоянии некоторой депрессии, но что скоро это пройдет.

— Нет, — отозвался Иван, глядя не на следователя, а вдаль, на гаснущий небосклон, — это у меня никогда не пройдет. Стихи, которые я писал, — плохие стихи, и я теперь это понял.

Следователь ушел от Иванушки, получив весьма важный материал. Идя по нитке событий с конца к началу, наконец удалось добраться до того истока, от которого пошли все события. Следователь не сомневался в том, что эти события начались с убийства на Патриарших. Конечно, ни Иванушка, ни этот клетчатый не толкали под трамвай несчастного председателя Массолита, физически, так сказать, его падению под колеса не способствовал никто. Но следователь был уверен в том, что Берлиоз бросился под трамвай (или свалился под него), будучи загипнотизированным.

Да, материалу было уже много, и было известно уже, кого и где ловить. Да дело-то в том, что поймать-то никаким образом нельзя было. В трижды проклятой квартире № 50, несомненно, надо повторить, кто-то был. По временам эта квартира отвечала то трескучим, то гнусавым голосом на телефонные звонки, иногда в квартире открывали окно, более того, из нее слышались звуки патефона. А между тем всякий раз, как в нее направлялись, решительно никого в ней не оказывалось. А были там уже не раз, и в разное время суток. И мало этого, по квартире проходили с сетью, проверяя все углы. Квартира была давно уже под подозрением. Охраняли не только тот путь, что вел во двор через подворотню, но и черный ход; мало этого, на крыше у дымовых труб была поставлена охрана. Да, квартира № 50 пошаливала, а поделаться с этим ничего нельзя было.

Так дело тянулось до полуночи с пятницы на субботу, когда барон Майгель, одетый в вечернее платье и лакированные туфли, торжественно, проследовал в квартиру № 50 в качестве гостя. Слышно было, как ба-

рона впустили в квартиру. Ровно через десять минут после этого, без всяких звонков, квартиру посетили, но не только хозяев в ней не нашли, а, что было уж совсем диковинно, не обнаружили в ней и признаков барона Майгеля.

Так вот, как и было сказано, дело тянулось таким образом до субботнего рассвета. Тут прибавились новые и очень интересные данные. На московском аэродроме совершил посадку шестиместный пассажирский самолет, прилетевший из Крыма. Среди других пассажиров из него высадился один странный пассажир. Это был молодой гражданин, дико заросший щетиной, дня три не мывшийся, с воспаленными и испуганными глазами, без багажа и одетый несколько причудливо. Гражданин был в папаше, в бурке поверх ночной сорочки и синих ночных кожаных новеньких, только что купленных туфлях. Лишь только он отделился от лесенки, по которой спускались из кабины самолета, к нему подошли. Этого гражданина уже ждали, и через некоторое время незабвенный директор Варьете, Степан Богданович Лиходеев, предстал перед следствием. Он подсыпал новых данных. Теперь стало ясно, что Воланд проник в Варьете под видом артиста, загипнотизировав Степу Лиходеева, а затем ухитрился выбросить этого же Степу вон из Москвы за бог знает какое количество километров. Материалу, таким образом, прибавилось, но легче от этого не стало, а, пожалуй, стало даже чуть-чуть потяжелее, ибо очевидным становилось, что овладеть такою личностью, которая проделывает штуки вроде той, жертвой которой стал Степан Богданович, будет не так-то легко. Между прочим, Лиходеев, по собственной его просьбе, был заключен в надежную камеру, и перед следствием предстал Варенуха, только что арестованный на своей квартире, в которую он вернулся после безвестного отсутствия в течение почти двух суток.

Несмотря на данное Азazelло обещание больше не лгать, администратор начал именно со лжи. Хотя, впрочем, за это очень строго его судить нельзя. Ведь Азazelло запретил ему лгать и хамить по телефону, а в данном случае администратор разговаривал без содействия этого аппарата. Блуждая глазами, Иван Савельевич заявлял, что днем в четверг он у себя в кабинете в Варьете в одиночку напился пьяным, после

чего куда-то пошел, а куда — не помнит, где-то еще пил старку, а где — не помнит, где-то валялся под забором, а где — не помнит опять-таки. Лишь после того, как администратору сказали, что он своим поведением, глупым и безрассудным, мешает следствию по важному делу и за это, конечно, будет отвечать, Варенуха разрыдался и зашептал дрожащим голосом и озираясь, что он врет исключительно из страха, опасаясь мести воландовской шайки, в руках которой он уже побывал, и что он просит, молит, жаждет быть запертым в бронированную камеру.

— Тыфу ты черт! Вот далась им эта бронированная камера! — проворчал один из ведущих следствие.

— Их сильно напугали эти негодяи, — сказал тот следователь, что побывал у Иванушки.

Варенуху успокоили, как умели, сказали, что охранят его и без всякой камеры, и тут уже выяснилось, что никакой старки он под забором не пил, а что били его двое, один клыкастый и рыжий, а другой толстяк...

— Ах, похожий на кота?

— Да, да, да, — шептал, замирая от страха и ежесекундно оглядываясь, администратор и выкладывал дальнейшие подробности того, как он просуществовал около двух дней в квартире № 50 в качестве вампиранаводчика, едва не ставшего причиной гибели финдиректора Римского...

В это время вводили Римского, привезенного в ленинградском поезде. Однако этот трясущийся от страху, психически расстроенный седой старик, в котором очень трудно было узнать прежнего финдиректора, ни за что не хотел говорить правду и оказался в этом смысле очень упорен. Римский утверждал, что никакой Геллы в окне у себя в кабинете ночью он не видел, равно как и Варенухи, а просто ему сделалось дурно и в беспамятстве он уехал в Ленинград. Нечего и говорить, что свои показания больной финдиректор закончил просьбой о заключении его в бронированную камеру.

Аннушка была арестована в то время, когда производила попытку вручить кассирше в универмаге на Арбате десятидолларовую бумажку. Рассказ Аннушки о вылетающих из окна дома на Садовой людях и о подковке, которую Аннушка, по ее словам, подняла для

того, чтобы предъявить в милицию, был выслушан внимательно.

— Подковка действительно была золотая с бриллиантами? — спрашивали Аннушку.

— Мне ли бриллиантов не знать, — отвечала Аннушка.

— Но дал-то он вам червонцы, как вы говорите?

— Мне ли червонцев не знать, — отвечала Аннушка.

— Ну, а когда же они в доллары-то превратились?

— Ничего не знаю, какие такие доллары, и не видела я никаких долларов, — визгливо отвечала Аннушка, — мы в своем праве! Нам дали награду, мы на нее ситец покупаем... — и тут понесла околесину о том, что она не отвечает за домоуправление, которое завело в пятом этаже нечистую силу, от которой житья нету.

Тут следователь замахал на Аннушку пером, потому что она порядком всем надоела, и написал ей пропуск вон на зеленой бумажке, после чего, к общему удовольствию, Аннушка исчезла из здания.

Потом вереницей пошел целый ряд людей, и в числе их — Николай Иванович, только что арестованный исключительно по глупости своей ревнивой супруги, давшей знать в милицию под утро о том, что ее муж пропал. Николай Иванович не очень удивил следствие, выложив на стол шутовское удостоверение о том, что он провел время на балу у сатаны. В своих рассказах, как он возил по воздуху на себе голую домработницу Маргариты Николаевны куда-то ко всем чертям на реку купаться и о предшествующем этому появлении в окне обнаженной Маргариты Николаевны, Николай Иванович несколько отступил от истины. Так, например, он не считал нужным упомянуть о том, что он явился в спальню с выброшенной сорочкой в руках и что называл Наташу Венерой. По его словам выходило, что Наташа вылетела из окна, оседлала его и повлекла вон из Москвы...

— Повинуясь насилию, вынужден был подчиниться, — рассказывал Николай Иванович и закончил свои рассказы просьбой ни словом не сообщать об этом его супруге. Что и было ему обещано.

Показание Николая Ивановича дало возможность установить, что Маргарита Николаевна, а равно также и ее домработница Наташа исчезли без всякого следа. Были приняты меры к тому, чтобы их разыскать.

Так не прекращающимся ни на секунду следствием и ознаменовалось утро субботнего дня. В городе в это время возникали и расплывались совершенно невозможные слухи, в которых крошечная доля правды была изукрашена пышнейшим враньем. Говорили о том, что был сеанс в Варьете, после коего все две тысячи зрителей выскочили на улицу в чем мать родила, что накрыли типографию фальшивых бумажек волшебного типа на Садовой улице, что какая-то шайка украла пятаковых заведующих в секторе развлечений, но что милиция их сейчас же всех нашла, и многое еще, чего даже повторять не хочется.

Между тем время приближалось к обеду, и тогда там, где велось следствие, раздался телефонный звонок. С Садовой сообщали, что проклятая квартира опять подала признаки жизни в ней. Было сказано, что в ней открывали окна изнутри, что доносились из нее звуки пианино и пения и что в окне видели сидящего на подоконнике и греющегося на солнце черного кота.

Около четырех часов жаркого дня большая компания мужчин, одетых в штатское, высадилась из трех машин, несколько не доезжая до дома № 302-бис по Садовой улице. Тут приехавшая большая группа разделилась на две маленьких, причем одна прошла через подворотню дома и двор прямо в шестое парадное, а другая открыла обычно заколоченную маленькую дверку, ведущую на черный ход, и обе стали подниматься по разным лестницам к квартире № 50.

В это время Коровьев и Азazelло, причем Коровьев в обычном своем наряде, а вовсе не во фрачном праздничном, сидели в столовой квартиры, доканчивая завтрак. Воланд, по своему обыкновению, находился в спальне, а где был кот — неизвестно. Но судя по грохоту кастрюль, доносившемуся из кухни, можно было допустить, что Бегемот находится именно там, валяя дурака, по своему обыкновению.

— А что это за шаги такие на лестнице? — спросил Коровьев, поигрывая ложечкой в чашке с черным кофе.

— А это нас арестовывать идут, — ответил Азazelло и выпил стопочку коньяку.

— А-а, ну-ну, — ответил на это Коровьев.

Подымающиеся по парадной лестнице тем временем уже были на площадке третьего этажа. Там двое каких-то водопроводчиков возились с гармоникой па-

рового отопления. Шедшие обменялись с водопроводчиками выразительным взглядом.

— Все дома, — шепнул один из водопроводчиков, постукивая молотком по трубе.

Тогда шедший впереди откровенно вынул из-под пальто черный маузер, а другой, рядом с ним, — отмычки. Вообще, шедшие в квартиру № 50 были снаряжены как следует. У двух из них в карманах были тонкие, легко разворачивающиеся шелковые сети. Еще у одного — аркан, еще у одного — марлевые маски и ампулы с хлороформом.

В одну секунду была открыта парадная дверь в квартиру № 50, и все шедшие оказались в передней, а хлопнувшая в это время в кухне дверь показала, что вторая группа с черного хода подошла также своевременно.

На этот раз если и не полная, то все же какая-то удача была налицо. По всем комнатам мгновенно рассыпались люди и нигде никого не нашли, но зато в столовой обнаружили остатки только что, по-видимому, покинутого завтрака, а в гостиной на каминной полке, рядом с хрустальным кувшином, сидел громадный черный кот. Он держал в своих лапах примус.

В полном молчании вошедшие в гостиную созерцали этого кота в течение довольно долгого времени.

— М-да... действительно здорово... — шепнул один из пришедших.

— Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, — недружелюбно насупившись, проговорил кот, — и еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.

— Исключительно чистая работа, — шепнул один из вошедших, а другой сказал громко и отчетливо:

— Ну-с, неприкосновенный чревовещательский кот, пожалуйста сюда!

Развернулась и взвилась шелковая сеть, но бросавший ее, к полному удивлению всех, промахнулся и захватил ею только кувшин, который со звоном тут же и разбился.

— Ремиз! — заорал кот. — Ура! — и тут он, оставив в сторону примус, выхватил из-за спины браунинг. Он мигом навел его на ближайшего к нему стоящего, но у того раньше, чем кот успел выстрелить, в руке полыхнуло огнем, и вместе с выстрелом из маузера кот

шлепнулся вниз головой с каминной полки на пол, уронив браунинг и бросив примус.

— Все кончено, — слабым голосом сказал кот и томно раскинулся в кровавой луже, — отойдите от меня на секунду, дайте мне попрощаться с землей. О мой друг Азазелло! — простонал кот, истекая кровью. — Где ты? — Кот завел угасающие глаза по направлению к двери в столовую. — Ты не пришел ко мне на помощь в момент неравного боя. Ты покинул бедного Бегемота, променяв его на стакан — правда, очень хорошего — коньяку! Ну что же, пусть моя смерть ляжет на твою совесть, а я завещаю тебе мой браунинг...

— Сеть, сеть, сеть, — беспокойно зашептали вокруг кота. Но сеть, черт знает почему, зацепилась у кого-то в кармане и не полезла наружу.

— Единственно, что может спасти смертельно раненного кота, — проговорил кот, — это глоток бензина... — И, воспользовавшись замешательством, он приложился к круглому отверстию в примусе и напился бензину. Тотчас кровь из-под верхней левой лапы перестала струиться. Кот вскочил живой и бодрый, ухватив примус под мышку, сиганул с ним обратно на камин, а оттуда, раздирая обои, полез по стене и через секунды две оказался высоко над вошедшими, сидящим на металлическом карнизе.

Вмиг руки вцепились в гардину и сорвали ее вместе с карнизом, отчего солнце хлынуло в затененную комнату. Но ни жульнически выздоровевший кот, ни примус не упали вниз. Кот, не расставаясь с примусом, ухитрился махнуть по воздуху и вскочить на люстру, висящую в центре комнаты.

— Стремянку! — крикнули снизу.

— Вызываю на дуэль! — проорал кот, пролетая над головами на качающейся люстре, и тут опять в лапах у него оказался браунинг, а примус он пристроил между ветвями люстры. Кот прицелился и, летая, как маятник, над головами пришедших, открыл по ним стрельбу. Грохот потряс квартиру. На пол посыпались хрустальные осколки из люстры, треснуло звездами зеркало на камине, полетела штукатурная пыль, запрыгали по полу отработанные гильзы, полопались стекла в окнах, из простреленного примуса начало брызгать бензином. Теперь уж не могло идти речи о том, чтобы взять кота живым, и пришедшие метко и бешено стре-

ляли ему в ответ из маузеров в голову, в живот, в грудь и в спину. Стрельба вызвала панику на асфальте во дворе.

Но длилась эта стрельба очень недолго и сама собою стала затихать. Дело в том, что ни коту, ни пришедшим она не причинила никакого вреда. Никто не оказался не только убит, но даже ранен; все, в том числе и кот, остались совершенно невредимыми. Кто-то из пришедших, чтобы это окончательно проверить, выпустил штук пять в голову окаянному животному, и кот бойко ответил целой обоймой. И то же самое — никакого впечатления ни на кого это не произвело. Кот покачивался в люстре, размахи которой все уменьшались, дуя зачем-то в дуло браунинга и плюя себе на лапу. У стоящих внизу в молчании на лицах появилось выражение полного недоумения. Это был единственный, или один из единственных, случай, когда стрельба оказывалась совершенно недействительной. Можно было, конечно, допустить, что браунинг кота — какой-нибудь игрушечный, но о маузерах пришедших этого уж никак нельзя было сказать. Первая же рана кота, в чем уж, ясно, не было ни малейшего сомнения, была не чем иным, как фокусом и свинским притворством, равно как и питье бензина.

Сделали еще одну попытку добыть кота. Был брошен аркан, он зацепился за одну из свечей, люстра сорвалась. Удар ее потряс, казалось, весь корпус дома, но толку от этого не получилось. Присутствующих окатило осколками, а кот перелетел по воздуху и уселся высоко под потолком на верхней части золоченой рамы каминного зеркала. Он никуда не собирался удирать и даже, наоборот, сидя в сравнительной безопасности, завел еще одну речь.

— Я совершенно не понимаю, — говорил он сверху, — причин такого резкого обращения со мной...

И тут эту речь в самом начале перебил неизвестно откуда послышавшийся тяжелый низкий голос:

— Что происходит в квартире? Мне мешают заниматься.

Другой, неприятный и гнусавый, голос отозвался:

— Ну, конечно, Бегемот, черт его возьми!

Третий, дребезжащий, голос сказал:

— Мессир! Суббота. Солнце склоняется. Нам пора.

— Извините, не могу больше беседовать, — сказал

кот с зеркала, — нам пора. — Он швырнул свой браунинг и выбил оба стекла в окне. Затем он плеснул вниз бензином, и этот бензин сам собою вспыхнул, выбросив волну пламени до самого потолка.

Загорелось как-то необыкновенно быстро и сильно, как не бывает даже при бензине. Сейчас же задымилась обои, загорелась сорванная гардина на полу и начали тлеть рамы в разбитых окнах. Кот спружинился, мякнул, перемахнул с зеркала на подоконник и скрылся за ним вместе со своим примусом. Снаружи раздалась выстрелы. Человек, сидящий на железной противопожарной лестнице на уровне ювелиршиных окон, обстрелял кота, когда тот перелетал с подоконника на подоконник, направляясь к угловой водосточной трубе дома, построенного, как было сказано, покоем. По этой трубе кот взобрался на крышу. Там его, к сожалению, также безрезультатно обстреляла охрана, стерегущая дымовые трубы, и кот смылся в заходящем солнце, заливавшем город.

В квартире в это время вспыхнул паркет под ногами пришедших, и в огне, на том месте, где валялся с притворной раной кот, показался, все более густея, труп бывшего барона Майгеля с задранной кверху подбородком, со стеклянными глазами. Вытащить его уже не было возможности.

Прыгая по горящим пашкам паркета, хлопая ладонями по дымящимся плечам и груди, бывшие в гостиной отступали в кабинет и переднюю. Те, что были в столовой и спальне, выбежали через коридор. Прибежали и те, что были в кухне, бросились в переднюю. Гостиная уже была полна огнем и дымом. Кто-то на ходу успел набрать телефонный номер пожарной части, коротко крикнуть в трубку:

— Садовая, триста два-бис!

Больше задерживаться было нельзя. Пламя выхлестнуло в переднюю. Дышать стало трудно.

Лишь только из разбитых окон заколдованной квартиры выбило первые струйки дыма, во дворе послышались отчаянные человеческие крики:

— Пожар! Пожар! Горим!

В разных квартирах дома люди стали кричать в телефоны:

— Садовая! Садовая, триста два-бис!

В то время как на Садовой послышались пугающие

сердце колокольные удары на быстро несущихся со всех частей города красных длинных машинах, мечущиеся во дворе люди видели, как вместе с дымом из окна пятого этажа вылетели три темных, как показалось, мужских силуэта и один силуэт обнаженной женщины.

Г л а в а 28

ПОСЛЕДНИЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОРОВЬЕВА И БЕГЕМОТА

Были ли эти силуэты или они только померещились пораженным страхом жильцам злосчастного дома на Садовой, конечно, с точностью сказать нельзя. Если они были, куда они непосредственно отправились, также не знает никто. Где они разделились, мы также не можем сказать, но мы знаем, что примерно через четверть часа после начала пожара на Садовой у зеркальных дверей Торгсина на Смоленском рынке появился длинный гражданин в клетчатом костюме и с ним черный крупный кот.

Ловко извиваясь среди прохожих, гражданин открыл наружную дверь магазина. Но тут маленький, костлявый и крайне недоброжелательный швейцар преградил ему путь и раздраженно сказал:

— С котами нельзя!

— Я извиняюсь, — задребезжал длинный и приложил узловатую руку к уху, как тугоухий, — с котами, вы говорите? А где же вы видите кота?

Швейцар выпучил глаза, и было отчего: никакого кота у ног гражданина уже не оказалось, а из-за плеча его вместо этого уже высовывался и порывался в магазин толстяк в рваной кепке, действительно немного смахивающий рожей на кота. В руках у толстяка имелся примус.

Эта парочка посетителей почему-то не понравилась швейцару-мизантропу.

— У нас только на валюту, — прохрипел он, раздраженно глядя из-под лохматых, как бы молюю изъеденных сивых бровей.

— Дорогой мой, — задребезжал длинный, сверкая глазом из разбитого пенсне, — а откуда ж вам известно, что ее у меня нет? Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого, драгоценнейший страж! Вы можете

ошибиться, и притом весьма крупно. Перечтите еще раз хотя бы историю знаменитого калифа Гарун аль-Рашида. Но в данном случае, откидывая эту историю временно в сторону, я хочу сказать вам, что я нажалуюсь на вас заведующему и порасскажу ему о вас таких вещей, что не пришлось бы вам покинуть ваш пост между сверкающими зеркальными дверями.

— У меня, может быть, полный примус валюты, — запальчиво встрял в разговор и котообразный толстяк, так и пружий в магазин.

Сзади уже напирала и сердилась публика. С ненавистью и сомнением глядя на диковинную парочку, швейцар посторонился, и наши знакомые, Коровьев и Бегемот, очутились в магазине. Здесь они первым делом осмотрелись, и затем звонким голосом, слышным решительно во всех углах, Коровьев объявил:

— Прекрасный магазин! Очень, очень хороший магазин!

Публика от прилавков обернулась и почему-то с изумлением поглядела на говорившего, хотя хвалить магазин у того были все основания.

Сотни штук ситцу богатейших расцветок виднелись в полочных клетках. За ними громоздились миткали и шифоны и сукна фракные. В перспективу уходили целые штабеля коробок с обувью, и несколько гражданок сидели на низеньких стульчиках, имея правую ногу в старой, потрепанной туфле, а левую — в новой, сверкающей лодочке, которой они и топали озабоченно в коврик. Где-то в глубине за углом пели и играли патефоны.

Но, минуя все эти прелести, Коровьев и Бегемот направились прямо к стыку гастрономического и кондитерского отделений. Здесь было очень просторно, гражданки в платочках и беретиках не напирала на прилавки, как в ситцевом отделении.

Низенький, совершенно квадратный человек, бритый до синевы, в роговых очках, в новешенькой шляпе, не измятой и без подтеков на ленте, в сиреновом пальто и лайковых рыжих перчатках, стоял у прилавка и что-то повелительно мычал. Продавец в чистом белом халате и синей шапочке обслуживал сиренового клиента. Острейшим ножом, очень похожим на нож, украденный Левием Матвеем, он снимал с жирной плачущей розовой лососяны ее похожую на змеиную с серебристым отливом шкуру.

— И это отделение великолепно, — торжественно признал Коровьев, — и иностранец симпатичный, — он благожелательно указал пальцем на сиреневую спину.

— Нет, Фагот, нет, — задумчиво ответил Бегемот, — ты, дружок, ошибаешься. В лице сиреневого джентльмена чего-то не хватает, по-моему.

Сиреневая спина вздрогнула, но, вероятно, случайно, ибо не мог же иностранец понять то, что говорили по-русски Коровьев и его спутник.

— Кароши? — строго спрашивал сиреневый покупатель.

— Мировая! — отвечал продавец, кокетливо ковыряя острием ножа под шкурой.

— Кароши люблю, плохой — нет, — сурово говорил иностранец.

— Как же! — восторженно отвечал продавец.

Тут наши знакомые отошли от иностранца с его лососиной к краю кондитерского прилавка.

— Жарко сегодня, — обратился Коровьев к молодой, краснощекой продавщице и не получил от нее никакого ответа на это. — Почему мандарины? — осведомился тогда у нее Коровьев.

— Тридцать копеек кило, — ответила продавщица.

— Все кусается, — вздохнув, заметил Коровьев, — эх, эх... — Он немного еще подумал и пригласил своего спутника: — Кушай, Бегемот.

Толстяк взял свой примус под мышку, овладел верхним мандарином в пирамиде и, тут же со шкурой сожравши его, принялся за второй.

Продавщицу обуял смертельный ужас.

— Вы с ума сошли! — вскричала она, теряя свой румянец. — Чек подавайте! Чек! — и она уронила конфетные щипцы.

— Душенька, милочка, красавица, — засипел Коровьев, переваливаясь через прилавок и подмигивая продавщице, — не при валюте мы сегодня... ну что ты подделаешь! Но, клянусь вам, в следующий же раз, и уж никак не позже понедельника, отдадим все чистога-ном! Мы здесь недалеко, на Садовой, где пожар...

Бегемот, проглотив третий мандарин, сунул лапу в хитрое сооружение из шоколадных плиток, выдернул одну нижнюю, отчего, конечно, все рухнуло, и проглотил ее вместе с золотой оберткой.

Продавцы за рыбным прилавком как окаменели со

своими ножами в руках, сиреневый иностранец повернулся к грабителям, и тут же обнаружилось, что Бегемот не прав: у сиреневого не хватало чего-то в лице, а, наоборот, скорее было лишнее — висящие щеки и бегающие глаза.

Совершенно пожелтев, продавщица тоскливо прокричала на весь магазин:

— Палосич! Палосич!

Публика из ситцевого отделения повалила на этот крик, а Бегемот отошел от кондитерских соблазнов и запустил лапу в бочку с надписью «Сельдь керченская отборная», вытащил парочку селедок и проглотил их, выплюнув хвосты.

— Палосич! — повторился отчаянный крик за прилавком кондитерского, а за рыбным прилавком гаркнул продавец в эспаньолке:

— Ты что же это делаешь, гад?!

Павел Иосифович уже спешил к месту действия. Это был представительный мужчина в белом чистом халате, как хирург, и с карандашом, торчащим из кармана. Павел Иосифович, видимо, был опытным человеком. Увидев во рту у Бегемота хвост третьей селедки, он вмиг оценил положение, все решительно понял и, не вступая ни в какие пререкания с нахалами, махнул вдаль рукой, скомандовав:

— Свисти!

На угол Смоленского из зеркальных дверей вылетел швейцар и залился зловещим свистом. Публика стала окружать негодяев, и тогда в дело вступил Коровьев.

— Граждане! — вибрирующим тонким голосом прокричал он. — Что же это делается? Ась? Позвольте вас об этом спросить! Бедный человек, — Коровьев подпустил дрожь в свой голос и указал на Бегемота, немедленно скривившего плаксивую физиономию, — бедный человек целый день починает примуса; он проголодался... а откуда же ему взять валюту?

Павел Иосифович, обычно сдержанный и спокойный, крикнул на это сурово:

— Ты это брось! — и махнул вдаль уже нетерпеливо.

Тогда трели у дверей загремели повеселее.

Но Коровьев, не смущаясь выступлением Павла Иосифовича, продолжал:

— Откуда? — задаю я всем вопрос! Он истомлен голодом и жаждой! Ему жарко. Ну, взял на пробу го-

ремыка мандарин. И вся-то цена этому мандарину три копейки. И вот они уж свистят, как соловьи весной в лесу, тревожат милицию, отрывают ее от дела. А ему можно? А? — и тут Коровьев указал на сиреневого толстяка, отчего у того на лице выразилась сильнейшая тревога. — Кто он такой? А? Откуда он приехал? Зачем? Скучали мы, что ли, без него? Приглашали мы его, что ли? Конечно, — саркастически кривя рот, во весь голос орал бывший регент, — он, видите ли, в парадном сиреновом костюме, от лососины весь распух, он весь набит валютой, а нашему-то, нашему-то?! Горько мне! Горько! Горько! — завыл Коровьев, как шафер на старинной свадьбе.

Вся эта глупейшая, бестактная и, вероятно, политически вредная речь заставила гневно содрогаться Павла Иосифовича, но, как это ни странно, по глазам столпившейся публики видно было, что в очень многих людях она вызвала сочувствие! А когда Бегемот, приложив грязный продранный рукав к глазу, воскликнул трагически: «Спасибо, верный друг, заступился за пострадавшего!» — произошло чудо. Приличнейший тихий старичок, одетый бедно, но чистенько, старичок, покупавший три миндальных пирожных в кондитерском отделении, вдруг преобразился. Глаза его сверкнули боевым огнем, он побагровел, швырнул кулечек с пирожными на пол и крикнул:

— Правда! — детским тонким голосом.

Затем он выхватил поднос, сбросив с него остатки погубленной Бегемотом шоколадной эйфелевой башни, взмахнул им, левой рукой сорвал с иностранца шляпу, а правой с размаху ударил подносом плашмя иностранца по плешивой голове. Прокатился такой звук, какой бывает, когда с грузовика сбрасывают на землю листовое железо. Толстяк, белея, повалился навзничь и сел в кадку с керченской сельдью, выбив из нее фонтан селедочного рассола. Тут же стряслось и второе чудо. Сиреневый, провалившись в кадку, на чистом русском языке, без признаков какого-либо акцента, вскричал:

— Убивают! Милицию! Меня бандиты убивают! — очевидно, вследствие потрясения, внезапно овладев до тех пор неизвестным ему языком.

Тогда прекратился свист швейцара, и в толпах взволнованных покупателей замелькали, приближаясь, два милицейских шлема. Но коварный Бегемот, как из

шайки в бане окатывают лавку, окатил из примуса кондитерский прилавок бензином, и он вспыхнул сам собой. Пламя ударило кверху и побежало вдоль прилавка, пожирая красивые бумажные ленты на корзинах с фруктами. Продавщицы с визгом кинулись бежать из-за прилавка, и лишь только они выскочили из-за него, вспыхнули полотняные шторы на окнах и на полу загорелся бензин. Публика, сразу подняв отчаянный крик, шарахнулась из кондитерского назад, смяв более ненужного Павла Иосифовича, а из-за рыбного гуськом со своими отточенными ножами рысью побежали к дверям черного хода продавцы. Сиреневый гражданин, выдравшись из кадки, весь в селедочной жиже, перевалился через семгу на прилавке и последовал за ними. Зазвенели и посыпались стекла в выходных зеркальных дверях, выдавленные спасающимися людьми, а оба негодяя — и Коровьев, и обжора Бегемот — куда-то девались, а куда — нельзя было понять. Потом уж очевидцы, присутствовавшие при начале пожара в Торгсине на Смоленском, рассказывали, что будто бы оба хулигана взлетели вверх под потолок и там будто бы лопнули оба, как воздушные детские шары. Это, конечно, сомнительно, чтобы дело было именно так, но чего не знаем, того не знаем.

Но знаем, что ровно через минуту после происшествия на Смоленском и Бегемот и Коровьев уже оказались на тротуаре бульвара, как раз у дома грибоедовской тетки. Коровьев остановился у решетки и заговорил:

— Ба! Да ведь это писательский дом! Знаешь, Бегемот, я очень много хорошего и лестного слышал про этот дом. Обрати внимание, мой друг, на этот дом. Приятно думать о том, что под этой крышей скрывается и вызревает целая бездна талантов.

— Как ананасы в оранжереях, — сказал Бегемот и, чтобы получше полюбоваться на кремовый дом с колоннами, влез на бетонное основание чугунной решетки.

— Совершенно верно, — согласился со своим неразлучным спутником Коровьев, — и сладкая жуть подкатывает к сердцу, когда думаешь о том, что в этом доме сейчас поспевает будущий автор «Дон-Кихота», или «Фауста», или, черт меня побери, «Мертвых душ»! А?

— Страшно подумать, — подтвердил Бегемот.

— Да, — продолжал Коровьев, — удивительных вещей можно ожидать в парниках этого дома, объединившего под своею кровлей несколько тысяч подвижников, решивших отдать беззаветно свою жизнь на служение Мельпомене, Полигимнии и Талии. Ты представляешь себе, какой поднимется шум, когда кто-нибудь из них для начала преподнесет читающей публике «Ревизора» или, на самый худой конец, «Евгения Онегина»!

— И очень просто, — опять-таки подтвердил Бегемот.

— Да, — продолжал Коровьев и озабоченно поднял палец, — но! Но, говорю я и повторяю это — но! Если на эти нежные тепличные растения не нападет какой-нибудь микроорганизм, не подточит их в корне, если они не загниют! А это бывает с ананасами! Ой-ой-ой, как бывает!

— Кстати, — осведомился Бегемот, просовывая свою круглую голову через дыру в решетке, — что это они делают на веранде?

— Обедают, — объяснил Коровьев, — добавлю к этому, дорогой мой, что здесь очень недурной и недорогой ресторан. А я, между тем, как и всякий турист перед дальнейшим путешествием, испытываю желание закусить и выпить большую ледяную кружку пива.

— И я тоже, — ответил Бегемот, и оба негодяя зашагали по асфальтовой дорожке под липами прямо к веранде не чуявшего беды ресторана.

Бледная и скужающая гражданка в белых носочках и белом же беретике с хвостиком сидела на венском стуле у входа на веранду с угла, там, где в зелени трельяжа было устроено входное отверстие. Перед нею на простом кухонном столе лежала толстая конторского типа книга, в которую гражданка, неизвестно для каких причин, записывала входящих в ресторан. Этой именно гражданкой и были остановлены Коровьев и Бегемот.

— Ваши удостоверения? — она с удивлением глядела на пенсне Коровьева, а также и на примус Бегемота и на разорванный Бегемотов локоть.

— Приношу вам тысячу извинений, какие удостоверения? — спросил Коровьев, удивляясь.

— Вы — писатели? — в свою очередь спросила гражданка.

— Безусловно, — с достоинством ответил Коровьев.

— Ваши удостоверения? — повторила гражданка.

— Прелесть моя... — начал нежно Коровьев.

— Я не прелесть, — перебила его гражданка.

— О, как это жалко, — разочарованно сказал Коровьев и продолжал: — Ну, что ж, если вам не уютно быть прелестью, что было бы весьма приятно, можете не быть ею. Так вот, чтобы убедиться в том, что Достоевский — писатель, неужели же нужно спрашивать у него удостоверение? Да возьмите вы любых пять страниц из любого его романа, и без всякого удостоверения вы убедитесь, что имеете дело с писателем. Да я полагаю, что у него и удостоверения-то никакого не было! Как ты думаешь? — обратился Коровьев к Бегемоту.

— Пари держу, что не было, — ответил тот, ставя примус на стол рядом с книгой и вытирая пот рукою на закопченном лбу.

— Вы — не Достоевский, — сказала гражданка, сбиваемая с толку Коровьевым.

— Ну, почему знать, почему знать, — ответил тот.

— Достоевский умер, — сказала гражданка, но как-то не очень уверенно.

— Протестую! — горячо воскликнул Бегемот. — Достоевский бессмертен!

— Ваши удостоверения, граждане, — сказала гражданка.

— Помилуйте, это, в конце концов, смешно, — не сдавался Коровьев, — вовсе не удостоверением определяется писатель, а тем, что он пишет! Почему вы знаете, какие замыслы роятся в моей голове? Или в этой голове? — и он указал на голову Бегемота, с которой тот тотчас снял кепку, как бы для того, чтобы гражданка могла получше осмотреть ее.

— Пропустите, граждане, — уже нервничая, сказала она.

Коровьев и Бегемот посторонились и пропустили какого-то писателя в сером костюме, в летней без галстука белой рубашке, воротник которой широко лежал на воротнике пиджака, и с газетой под мышкой. Писатель приветливо кивнул гражданке, на ходу поставил в подставленной ему книге какую-то закорючку и последовал на веранду.

— Увы, не нам, не нам, — грустно заговорил Коровьев, — а ему достанется эта ледяная кружка пива, о которой мы, бедные скитальцы, так мечтали с тобой. Положение наше печально и затруднительно, и я не знаю, как быть.

Бегемот только горько развел руками и надел кепку на круглую голову, поросшую густым волосом, очень похожим на кошачью шерсть. И в этот момент негромкий, но властный голос прозвучал над головой гражданки:

— Пропустите, Софья Павловна.

Гражданка с книгой изумилась; в зелени трельяжа возникла белая фрачная грудь и клинообразная борода флибустьера. Он приветливо глядел на двух сомнительных оборванцев и, даже более того, делал им приглашительные жесты. Авторитет Арчибальда Арчибальдовича был вещью, серьезно ощутимой в ресторане, которым он заведовал, и Софья Павловна покорно спросила у Коровьева:

— Как ваша фамилия?

— Панаев, — вежливо ответил тот.

Гражданка записала эту фамилию и подняла вопросительный взор на Бегемота.

— Скабичевский, — пропищал тот, почему-то указывая на свой примус. Софья Павловна записала и это и пододвинула книгу посетителям, чтобы они расписались в ней. Коровьев против фамилии «Панаев» написал «Скабичевский», а Бегемот против Скабичевского написал «Панаев».

Арчибальд Арчибальдович, совершенно поражая Софью Павловну, обольстительно улыбаясь, повел гостей к лучшему столику в противоположном конце веранды, туда, где лежала самая густая тень, к столику, возле которого весело играло солнце в одном из прорезов трельяжной зелени. Софья же Павловна, моргая от изумления, долго изучала странные записи, сделанные неожиданными посетителями в книге.

Официантов Арчибальд Арчибальдович удивил не менее, чем Софью Павловну. Он лично отодвинул стул от столика, приглашая Коровьева сесть, мигнул одному, что-то шепнул другому, и два официанта засуетились возле новых гостей, из которых один свой примус поставил рядом со своим порыжевшим ботинком на пол.

Немедленно исчезла со столика старая скатерть в желтых пятнах, в воздухе, хрустя крахмалом, взметнулась белейшая, как бедуинский бурнус, другая, а Арчибальд Арчибальдович уже шептал тихо, но очень выразительно, склоняясь к самому уху Коровьева:

— Чем буду потчевать? Балычок имею особенный... у архитекторского съезда оторвал...

— Вы... э... дайте нам вообще закусочку... э... — благожелательно промычал Коровьев, раскидываясь на стуле.

— Понимаю, — закрывая глаза, многозначительно ответил Арчибальд Арчибальдович.

Увидев, как обращается с весьма сомнительными посетителями шеф ресторана, официанты оставили всякие сомнения и принялись за дело серьезно. Один уже подносил спичку Бегемоту, вынувшему из кармана окурок и всунувшему его в рот, другой подлетел, звеня зеленым стеклом и выставляя у приборов рюмки, лафитники и тонкостенные бокалы, из которых так хорошо пьется нарзан под тентом... нет, забегая вперед, скажем: пился нарзан под тентом незабвенной грибоевской веранды.

— Филейчиком из рябчика могу угостить, — музыкально мурлыкал Арчибальд Арчибальдович. Гость в треснувшем пенсне полностью одобрял предложения командира брига и благосклонно глядел на него сквозь бесполезное стеклышко.

Обедающий за соседним столиком беллетрист Петраков-Суховей с супругой, доедающей свиной эскалоп, со свойственной всем писателям наблюдательностью заметил ухаживания Арчибальда Арчибальдовича и очень и очень удивлялся. А супруга его, очень почтенная дама, просто даже приревновала пирата к Коровьеву и даже ложечкой постучала... — что же это, дескать, нас задерживают... пора и мороженое подавать! В чем дело?

Однако, послав Петраковой обольстительную улыбку, Арчибальд Арчибальдович направил к ней официанта, а сам не покинул своих дорогих гостей. Ах, умен был Арчибальд Арчибальдович! А уж наблюдателен, пожалуй, не менее, чем и сами писатели. Арчибальд Арчибальдович знал и о сеансе в Варьете, и о многих других происшествиях этих дней, слышал, но, в противоположность другим, мимо ушей не пропустил ни слова «клетчатый», ни слова «кот». Арчибальд Арчибальдович сразу догадался, кто его посетители. А догадавшись, натурально, ссориться с ними не стал. А вот Софья Павловна хороша! Ведь это надо же выдумать — преграждать этим двум путь на веранду! А впрочем, что с нее спрашивать.

Надменно тыча ложечкой в раскисающее сливочное мороженое, Петракова недовольными глазами глядела, как столик перед двумя одетыми какими-то шутами гороховыми как бы по волшебству обрастает яствами. До блеска вымытые салатные листья уже торчали из вазы со свежей икрой... миг, и появилось на специально пододвинутом отдельном столике запотевшее серебряное ведерко...

Лишь убедившись в том, что все сделано по чести, лишь тогда, когда в руках официантов прилетела закрытая сковорода, в которой что-то ворчало, Арчибальд Арчибальдович позволил себе покинуть двух загадочных посетителей, да и то предварительно шепнув им:

— Извините! На минутку! Лично пригляжу за флиейчиками.

Он отлетел от столика и скрылся во внутреннем ходе ресторана. Если бы какой-нибудь наблюдатель мог проследить дальнейшие действия Арчибальда Арчибальдовича, они, несомненно, показались бы ему несколько загадочными.

Шеф отправился вовсе не в кухню наблюдать за флиейчиками, а в кладовую ресторана. Он открыл ее своим ключом, закрылся в ней, вынул из ларя со льдом осторожно, чтобы не запачкать манжет, два увесистых балыка, запаковал их в газетную бумагу, аккуратно перевязал веревочкой и отложил в сторону. Затем в соседней комнате проверил, на месте ли его летнее пальто на шелковой подкладке и шляпа, и лишь после этого проследовал в кухню, где повар старательно разделял обещанные гостям пиратом флиейчики.

Нужно сказать, что странного или загадочного во всех действиях Арчибальда Арчибальдовича вовсе не было и странными такие действия мог бы счесть лишь наблюдатель поверхностный. Поступки Арчибальда Арчибальдовича совершенно логически вытекали из всего предыдущего. Знание последних событий, а главным образом — феноменальное чутье Арчибальда Арчибальдовича подсказывали шефу грибоедовского ресторана, что обед его двух посетителей будет хотя и обилен, и роскошен, но крайне непродолжителен. И чутье, никогда не обманывающее бывшего флибустьера, не подвело его и на сей раз.

В то время как Коровьев и Бегемот чокались второй рюмкой прекрасной холодной московской двойной

очистки водки, появился на веранде потный и взволнованный хроникер Боба Кандалупский, известный в Москве своим поразительным всеведением, и сейчас же подсел к Петраковым. Положив свой разбухший портфель на столик, Боба немедленно всунул свои губы в ухо Петракову и зашептал в него какие-то очень соблазнительные вещи. Мадам Петракова, изнывая от любопытства, и свое ухо подставила к пухлым масляным губам Бобы. А тот, изредка воровски оглядываясь, все шептал и шептал, и можно было расслышать отдельные слова, вроде таких:

— Клянусь вам честью! На Садовой, на Садовой, — Боба еще больше снизил голос, — не берут пули! Пули... пули... бензин... пожар... пули...

— Вот этих бы врунов, которые распространяют гадкие слухи, — в негодовании несколько громче, чем хотел бы Боба, загудела контрольным голосом мадам Петракова, — вот их бы следовало разъяснить! Ну, ничего, так и будет, их приведут в порядок! Какие вредные враки!

— Какие же враки, Антонида Порфирьевна! — воскликнул огорченный неверием супруги писателя Боба и опять засвистел: — Говорю вам, пули не берут... А теперь пожар... Они по воздуху... по воздуху, — Боба шипел, не подозревая того, что те, о ком он рассказывает, сидят рядом с ним, наслаждаясь его свистом.

Впрочем, это наслаждение скоро прекратилось. Из внутреннего хода ресторана на веранду стремительно вышли трое мужчин с туго перетянутыми ремнями талиями, в крагах и с револьверами в руках. Передний крикнул звонко и страшно:

— Ни с места! — И тотчас все трое открыли стрельбу на веранде, целясь в голову Корovieву и Бегемоту. Оба обстреливаемые сейчас же расталяли в воздухе, а из примуса ударил столб огня прямо в тент. Как бы зияющая пасть с черными краями появилась в тенте и стала расползаться во все стороны. Огонь, проскочив сквозь нее, поднялся до самой крыши грибоедовского дома. Лежащие на окне второго этажа папки с бумагами в комнате редакции вдруг вспыхнули, а за ними схватило штору, и тут огонь, гудя, как будто кто-то его раздувал, столбами пошел внутрь теткиного дома.

Через несколько секунд по асфальтовым дорожкам, ведущим к чугунной решетке бульвара, откуда в среду

вечером пришел не понятый никем первый вестник несчастья Иванушка, теперь бежали недообедавшие писатели, официанты, Софья Павловна, Боба, Петракова, Петраков.

Заблаговременно вышедший через боковой ход, никуда не убегая и никуда не спеша, как капитан, который обязан покинуть горящий бриг последним, стоял спокойный Арчибальд Арчибальдович в летнем пальто на шелковой подкладке, с двумя балыковыми бревнами под мышкой.

Г л а в а 29

СУДЬБА МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ ОПРЕДЕЛЕНА

На закате солнца высоко над городом на каменной террасе одного из самых красивых зданий в Москве, здания, построенного около полутора столетий назад, находились двое: Воланд и Азazelло. Они не были видны снизу, с улицы, так как их закрывала от ненужных взоров балюстрада с гипсовыми вазами и гипсовыми цветами. Но им город был виден почти до самых краев.

Воланд сидел на складном табурете, одетый в черную свою сутану. Его длинная и широкая шпага была воткнута между двумя рассекшимися плитами террасы вертикально, так что получились солнечные часы. Тень шпаги медленно и неуклонно удлинялась, подползая к черным туфлям на ногах сатаны. Положив острый подбородок на кулак, скорчившись на табурете и поджав одну ногу под себя, Воланд не отрываясь смотрел на необъятное сборище дворцов, гигантских домов и маленьких, обреченных на слом лачуг.

Азazelло, расставшись со своим современным нарядом, то есть пиджаком, котелком, лакированными туфлями, одетый, как и Воланд, в черное, неподвижно стоял невдалеке от своего повелителя, так же как и он не спуская глаз с города.

Воланд заговорил:

— Какой интересный город, не правда ли?

Азazelло шевельнулся и ответил почтительно:

— Мессир, мне больше нравится Рим.

— Да, это дело вкуса, — ответил Воланд.

Через некоторое время опять раздался его голос:

— А отчего этот дым там, на бульваре?

— Это горит Грибоедов, — ответил Азazelло.

— Надо полагать, что это неразлучная парочка, Коровьев и Бегемот, побывала там?

— В этом нет никакого сомнения, мессир.

Опять наступило молчание, и оба находящиеся на террасе глядели, как в окнах, повернутых на запад, в верхних этажах громад зажигалось изломанное ослепительное солнце. Глаз Воланда горел точно так же, как одно из таких окон, хотя Воланд был спиной к закату.

Но тут что-то заставило Воланда отвернуться от города и обратить свое внимание на круглую башню, которая была у него за спиной на крыше. Из стены ее вышел оборванный, выпачканный в глине мрачный человек в хитоне, в самодельных сандалиях, чернобородый.

— Ба! — воскликнул Воланд, с насмешкой глядя на вошедшего. — Менее всего можно было ожидать тебя здесь! Ты с чем пожаловал, незванный, но предвиденный гость?

— Я к тебе, дух зла и повелитель теней, — ответил вошедший, исподлобья недружелюбно глядя на Воланда.

— Если ты ко мне, то почему же ты не поздоровался со мной, бывший сборщик податей? — заговорил Воланд сурово.

— Потому что я не хочу, чтобы ты здоровствовал, — ответил дерзко вошедший.

— Но тебе придется примириться с этим, — возразил Воланд, и усмешка искривила его рот. — Не успел ты появиться на крыше, как уже сразу отвесил нелепость, и я тебе скажу, в чем она, — в твоих интонациях. Ты произнес свои слова так, как будто ты не признаешь теней, а также и зла. Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом: что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и людей. Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и от живых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом? Ты глуп.

— Я не буду с тобою спорить, старый софист, — ответил Левий Матвей.

— Ты и не можешь со мной спорить, по той при-

чине, о которой я уже упомянул: ты глуп, — ответил Воланд и спросил: — Ну, говори кратко, не утомляя меня, зачем появился?

— Он прислал меня.

— Что же он велел передать тебе, раб?

— Я не раб, — все более озлобляясь, ответил Левий Матвей, — я его ученик.

— Мы говорим с тобой на разных языках, как всегда, — отозвался Воланд, — но вещи, о которых мы говорим, от этого не меняются. Итак?..

— Он прочитал сочинение мастера, — заговорил Левий Матвей, — и просит тебя, чтобы ты взял с собою мастера и наградил его покоем. Неужели это трудно тебе сделать, дух зла?

— Мне ничего не трудно сделать, — ответил Воланд, — и тебе это хорошо известно. — Он помолчал и добавил: — А что же вы не берете его к себе, в свет?

— Он не заслужил света, он заслужил покой, — печальным голосом проговорил Левий.

— Передай, что будет сделано, — ответил Воланд и прибавил, причем глаз его вспыхнул: — И покинь меня немедленно.

— Он просит, чтобы ту, которая любила и страдала из-за него, вы взяли бы тоже, — в первый раз моляще обратился Левий к Воланду.

— Без тебя бы мы никак не догадались об этом. Уходи.

Левий Матвей после этого исчез, а Воланд подозвал к себе Азazelло и приказал ему:

— Лети к ним и все устрой.

Азazelло покинул террасу, и Воланд остался один.

Но одиночество его не было продолжительным. Послышался на плитах террасы стук шагов и оживленные голоса, и перед Воландом предстали Коровьев и Бегемот. Но теперь примуса при толстяке не было, а нагружен он был другими предметами. Так, под мышкой у него находился небольшой ландшафтик в золотой раме, через руку был перекинут поварской, наполовину обгоревший халат, а в другой руке он держал цельную семгу в шкуре и с хвостом. От Коровьева и Бегемота несло гарью, рожа Бегемота была в саже, а кепка наполовину обгорела.

— Салют, мессир! — прокричала неутомная парочка, и Бегемот замахал семгой.

— Счень хороши, — сказал Воланд.

— Мессир, вообразите, — закричал возбужденно и радостно Бегемот, — меня за мародера приняли!

— Судя по принесенным тобою предметам, — ответил Воланд, поглядывая на ландшафтик, — ты и есть мародер.

— Верите ли, мессир... — задушевым голосом начал Бегемот.

— Нет, не верю, — коротко ответил Воланд.

— Мессир, клянусь, я делал героические попытки спасти все, что было можно, и вот все, что удалось отстоять.

— Ты лучше скажи, отчего Грибоедов загорелся? — спросил Воланд.

Оба, и Коровьев и Бегемот, развели руками, подняли глаза к небу, а Бегемот вскричал:

— Не постигаю! Сидели мирно, совершенно тихо, закусывали...

— И вдруг — трах, трах! — подхватил Коровьев. — Выстрелы! Обезумев от страха, мы с Бегемотом кинулись бежать на бульвар, преследователи за нами, мы кинулись к Тимирязеву!..

— Но чувство долга, — вступил Бегемот, — побороло наш постыдный страх, и мы вернулись.

— Ах, вы вернулись? — сказал Воланд. — Ну, конечно, тогда здание сгорело дотла.

— Дотла! — горестно подтвердил Коровьев. — То есть буквально, мессир, дотла, как вы изволили метко выразиться. Одни головешки!

— Я устремился, — рассказывал Бегемот, — в зал заседаний, — это который с колоннами, мессир, — рассчитывая вытащить что-нибудь ценное. Ах, мессир, моя жена, если б только она у меня была, двадцать раз рисковала остаться вдовой! Но, по счастью, мессир, я не женат, и скажу вам прямо — счастлив, что не женат. Ах, мессир, можно ли променять холостую свободу на тягостное ярмо!

— Опять началась какая-то чушь, — заметил Воланд.

— Слушаю и продолжаю, — ответил кот, — да-с, вот ландшафтик. Более ничего невозможно было унести из зала, пламя ударило мне в лицо. Я побежал в кладовку, спас семгу. Я побежал в кухню, спас халат. Я считаю, мессир, что я сделал все, что мог, и не понимаю, чем

объясняется скептическое выражение на вашем лице.

— А что делал Коровьев в то время, когда ты мародерствовал? — спросил Воланд.

— Я помогал пожарным, мессир, — ответил Коровьев, указывая на разорванные брюки.

— Ах, если так, то, конечно, придется строить новое здание.

— Оно будет построено, мессир, — отозвался Коровьев, — смею уверить вас в этом.

— Ну, что ж, остается пожелать, чтобы оно было лучше прежнего, — заметил Воланд.

— Так и будет, мессир, — сказал Коровьев.

— Уж вы мне верьте, — добавил кот, — я форменный пророк.

— Во всяком случае, мы явились, мессир, — докладывал Коровьев, — и ждем ваших распоряжений.

Воланд поднялся со своего табурета, подошел к балюстраде и долго молча, один, повернувшись спиной к своей свите, глядел вдаль. Потом он отошел от края, опять опустился на свой табурет и сказал:

— Распоряжений никаких не будет — вы исполнили все, что могли, и более в ваших услугах я пока не нуждаюсь. Можете отдыхать. Сейчас придет гроза, последняя гроза, она довершит все, что нужно довершить, и мы тронемся в путь.

— Очень хорошо, мессир, — ответили оба гаера и скрылись где-то за круглой центральной башней, расположенной в середине террасы.

Гроза, о которой говорил Воланд, уже скопьялась на горизонте. Черная туча поднялась на западе и до половины отрезала солнце. Потом она накрыла его целиком. На террасе посвежело. Еще через некоторое время стало темно.

Эта тьма, пришедшая с запада, накрыла громадный город. Исчезли мосты, дворцы. Все пропало, как будто этого никогда не было на свете. Через все небо пробежала одна огненная нитка. Потом город потряс удар. Он повторился, и началась гроза. Воланд перестал быть видим в ее мгле.

— Ты знаешь, — говорила Маргарита, — как раз когда ты заснул вчера ночью, я читала про тьму, которая пришла со Средиземного моря... и эти идолы, ах, золотые идолы! Они почему-то мне все время не дают покоя. Мне кажется, что и сейчас будет дождь. Ты чувствуешь, как свежее?

— Все это хорошо и мило, — отвечал мастер, куря и разбивая рукой дым, — и эти идолы, бог с ними... но что дальше получится, уж решительно непонятно!

Разговор этот шел на закате солнца, как раз тогда, когда к Воланду явился на террасе Левий Матвей. Окошко подвала было открыто, и, если бы кто-нибудь заглянул в него, он удивился бы тому, насколько странно выглядят разговаривающие. На Маргарите прямо на голое тело был накинут черный плащ, а мастер был в своем больничном белье. Происходило это оттого, что Маргарите решительно нечего было надеть, так как все ее вещи остались в особняке, и, хоть этот особняк был очень недалеко, конечно, нечего было и толковать о том, чтобы пойти туда и взять там свои вещи. А мастер, у которого все костюмы нашли в шкафу, как будто мастер никуда и не уезжал, просто не желал одеваться, развивая перед Маргаритой ту мысль, что вот-вот начнется какая-то совершеннейшая чепуха. Правда, он был выбрит впервые, считая с той осенней ночи (в клинике бородку ему подстригали машинкой).

Комната также имела странный вид, и что-нибудь понять в хаосе ее было очень трудно. На ковре лежали рукописи, они же были и на диване. Валялась какая-то книжка горбом в кресле. А на круглом столе был накрыт обед, и среди закусок стояло несколько бутылок. Откуда взялись все эти яства и напитки, было неизвестно и Маргарите, и мастеру. Проснувшись, они все это застали уже на столе.

Проспав до субботнего заката, и мастер, и его подруга чувствовали себя совершенно окрепшими, и только одно давало знать о вчерашних приключениях — у обоих немного ныл левый висок. Со стороны же психики изменения в обоих произошли очень большие, как убедился бы всякий, кто мог бы подслушать разговор в подвальной квартире. Но подслушивать было

решительно некому. Дворик-то этот тем был и хорош, что всегда был пуст. С каждым днем все сильнее зеленеющие липы и ветла за окном источали весенний запах, и начинающийся ветерок заносил его в подвал.

— Фу-ты, черт! — неожиданно воскликнул мастер. — Ведь это, подумать только... — он затушил окурок в пепельнице и сжал голову руками. — Нет, послушай, ты же умный человек и сумасшедшей не была... Ты серьезно уверена в том, что мы вчера были у сатаны? — Совершенно серьезно, — ответила Маргарита.

— Конечно, конечно, — иронически сказал мастер, — теперь, стало быть, налицо вместо одного сумасшедшего двое! И муж и жена. — Он воздел руки к небу и закричал: — Нет, это черт знает что такое, черт, черт, черт!

Вместо ответа Маргарита обрушилась на диван, захотела, заболтала босыми ногами и потом уж вскричала:

— Ой, не могу! Ой, не могу! Ты посмотри только, на что ты похож!

Отхохотавшись, пока мастер стыдливо подддерживал больничные кальсоны, Маргарита стала серьезной.

— Ты сейчас невольно сказал правду, — заговорила она. — Черт знает, что такое, и черт, поверь мне, все устроит! — Глаза ее вдруг загорелись, она вскочила, затанцевала на месте и стала вскрикивать: — Как я счастлива, как я счастлива, что вступила с ним в сделку! О дьявол, дьявол!.. Придется вам, мой милый, жить с ведьмой! — После этого она кинулась к мастеру, обхватила его шею и стала его целовать в губы, в нос, в щеки. Вихры неприглаженных черных волос прыгали на мастере, и щеки и лоб его разгорались под поцелуями.

— А ты действительно стала похожей на ведьму.

— А я этого и не отрицаю, — ответила Маргарита, — я ведьма и очень этим довольна.

— Ну, хорошо, — говорил мастер, — ведьма так ведьма. Очень славно и роскошно! Меня, стало быть, похитили из лечебницы... Тоже очень мило! Вернули сюда, допустим и это... Предположим даже, что нас не хватятся... Но скажи ты мне ради всего святого, чем и как мы будем жить? Говоря это, я забочусь о тебе, поверь мне!

В этот момент в оконце показались тупоносые бо-

тинки и нижняя часть брюк в жилочку. Затем эти брюки согнулись в колене, и дневной свет заслонил чей-то увесистый зад.

— Алоизий, ты дома? — спросил голос где-то вверху над брюками, за окном.

— Вот, начинается, — сказал мастер.

— Алоизий? — спросила Маргарита, подходя ближе к окну. — Его арестовали вчера. А кто его спрашивает? Как ваша фамилия?

В то же мгновение колени и зад пропали, и слышно было, как стукнула калитка, после чего все пришло в норму. Маргарита повалилась на диван и захохотала так, что слезы покатались у нее из глаз. Но когда она утихла, лицо ее сильнейшим образом изменилось, она заговорила серьезно и, говоря, сползла с дивана, подползла к коленям мастера и, глядя ему в глаза, стала гладить голову.

— Как ты страдал, как ты страдал, мой бедный! Об этом знаю только я одна. Смотри, у тебя седые нити в голове и вечная складка у губ! Мой единственный, мой милый, не думай ни о чем! Тебе слишком много пришлось думать, и теперь буду думать я за тебя. И я ручаюсь тебе, ручаюсь, что все будет ослепительно хорошо!

— Я ничего и не боюсь, Марго, — вдруг ответил ей мастер и поднял голову и показался ей таким, каким был, когда сочинял то, чего никогда не видал, но о чем наверно знал, что оно было, — и не боюсь, потому что я все уже испытал. Меня слишком пугали и ничем более напугать не могут. Но мне жалко тебя, Марго, вот в чем фокус, вот почему я и твержу об одном и том же. Опомнись! Зачем тебе ломать свою жизнь с больным и нищим? Вернись к себе! Жалею тебя, потому это и говорю.

— Ах, ты, ты, — качая растрепанной головой, шептала Маргарита, — ах, ты, маловерный, несчастный человек. Я из-за тебя всю ночь вчера тряслась нагая, я потеряла свою природу и заменила ее новой, несколько месяцев я сидела в темной камерке и думала только про одно — про грозу над Ершалаимом, я выплакала все глаза, а теперь, когда обрушилось счастье, ты меня гонишь? Ну что ж, я уйду, я уйду, но знай, что ты жестокий человек! Они опустошили тебе душу!

Горькая нежность поднялась к сердцу мастера, и,

неизвестно почему, он заплакал, уткнувшись в волосы Маргариты. Та, плача, шептала ему, и пальцы ее прыгали на висках мастера.

— Да, нити, нити... на моих глазах покрывается снегом голова... ах, моя, моя много страдавшая голова! Смотри, какие у тебя глаза! В них пустыня... А плечи, плечи с бременем... Искалечили, искалечили... — Речь Маргариты становилась бессвязной, Маргарита содрогалась от плача.

Тогда мастер вытер глаза, поднял с колен Маргариту, встал и сам и сказал твердо:

— Довольно! Ты меня пристыдила. Я никогда больше не допущу малодушия и не вернусь к этому вопросу, будь покойна. Я знаю, что мы оба жертвы своей душевной болезни, которую, быть может, я передал тебе... Ну что же, вместе и понесем ее.

Маргарита приблизила губы к уху мастера и прошептала:

— Клянусь тебе твоею жизнью, клянусь угаданным тобою сыном звездочета, все будет хорошо.

— Ну, и ладно, ладно, — отозвался мастер и, засмеявшись, добавил: — Конечно, когда люди совершенно ограблены, как мы с тобой, они ищут спасения у потусторонней силы! Ну, что ж, согласен искать там.

— Ну вот, ну вот, теперь ты прежний, ты смеешься, — отвечала Маргарита, — и ну тебя к черту с твоими учеными словами. Потусторонняя или не потусторонняя — не все ли это равно? Я хочу есть.

И она потащила за руку мастера к столу.

— Я не уверен, что эта еда не провалится сейчас сквозь землю или не улетит в окно, — говорил тот, совершенно успокоившись.

— Она не улетит!

И в этот самый момент в оконце послышался нисовой голос:

— Мир вам.

Мастер вздрогнул, а привыкшая уже к необыкновенному Маргарита вскричала:

— Да это Азazelло! Ах, как это мило, как это хорошо! — И, шепнув мастеру: — Вот видишь, видишь, нас не оставляют! — бросилась открывать.

— Ты хоть запахнись, — крикнул ей вслед мастер.

— Плевала я на это, — ответила Маргарита уже из коридорчика.

И вот уж Азazelло раскланивался, здоровался с мастером, сверкал ему своим кривым глазом, а Маргарита восклицала:

— Ах, как я рада! Я никогда не была так рада в жизни! Но простите, Азazelло, что я голая!

Азazelло просил не беспокоиться, уверял, что он видел не только голых женщин, но даже женщин с начисто содранной кожей, охотно подсел к столу, предварительно поставив в угол у печки какой-то сверток в темной парче.

Маргарита налила Азazelло коньяку, и он охотно выпил его. Мастер, не спуская с него глаз, изредка под столом тихонько щипал себе кисть левой руки. Но щипки эти не помогали. Азazelло не растворялся в воздухе, да, сказать по правде, в этом не было никакой надобности. Ничего страшного в рыжевatom маленького роста человеке не было, разве что вот глаз с бельмом, но ведь это бывает и без всякого колдовства, разве что одежда не совсем обыкновенная — какая-то ряса или плащ, — опять-таки, если строго вдуматься, и это попадаетея. Коньяк он тоже ловко пил, как и все добрые люди, целыми стопками и не закусывая. От этого самого коньяку у мастера зашумело в голове, и он стал думать:

«Нет, Маргарита права! Конечно, передо мною сидит посланник дьявола. Ведь я же сам не далее как ночью позавчера доказывал Ивану, что тот встретил на Патриарших именно сатану, а теперь почему-то испугался этой мысли и начал что-то болтать о гипнотизерах и галлюцинациях. Какие тут к черту гипнотизеры!»

Он стал присматриваться к Азazelло и убедился в том, что в глазах у того виднеется что-то принужденное, какая-то мысль, которую тот до поры до времени не выкладывает. «Он не просто с визитом, а появился он с каким-то поручением», — думал мастер.

Наблюдательность ему не изменила.

Выпив третью стопку коньяку, который на Азazelло не производил никакого действия, визитер заговорил так:

— А уютный подвальчик, черт меня возьми! Один только вопрос возникает: чего в нем делать, в этом подвальчике?

— Про то же самое я и говорю, — засмеявшись, ответил мастер.

— Зачем вы меня тревожите, Азазелло? — спросила Маргарита. — Как-нибудь!

— Что вы, что вы! — вскричал Азазелло. — Я и в мыслях не имел вас тревожить. Я и сам говорю — как-нибудь. Да! Чуть было не забыл... Мессир передавал вам привет, а также велел сказать, что приглашает вас сделать с ним небольшую прогулку, если, конечно, вы пожелаете. Так что ж вы на это скажете?

Маргарита под столом толкнула ногою мастера.

— С большим удовольствием, — ответил мастер, изучая Азазелло, а тот продолжал:

— Мы надеемся, что и Маргарита Николаевна не откажется от этого?

— Я-то уж наверное не откажусь, — сказала Маргарита, и опять ее нога проехала по ноге мастера.

— Чудеснейшая вещь! — воскликнул Азазелло. — Вот это я люблю! Раз-два — и готово! Не то, что тогда в Александровском саду.

— Ах, не напоминайте мне, Азазелло! Я была глупа тогда. Да, впрочем, меня и нельзя строго винить за это — ведь не каждый же день встречаешься с нечистой силой!

— Еще бы, — подтверждал Азазелло, — если б каждый день, это было бы приятно!

— Мне и самой нравится быстрота, — говорила Маргарита возбужденно, — нравится быстрота и нагота... Как из маузера — раз! Ах, как он стреляет! — вскричала Маргарита, обращаясь к мастеру. — Семерка под подушкой, и любое очко! — Маргарита начинала пьянеть, отчего глаза у нее разгорелись.

— И опять-таки забыл, — прокричал Азазелло, хлопнув себя по лбу, — совсем замотался! Ведь мессир прислал вам подарок, — тут он отнесся именно к мастеру, — бутылку вина. Прошу заметить, это то самое вино, которое пил прокуратор Иудеи. Фалернское вино.

Вполне естественно, что такая редкость вызвала большое внимание и Маргариты и мастера. Азазелло извлек из куска темной гробовой парчи совершенно заплесневевший кувшин. Вино нюхали, налили в стаканы, глядели сквозь него на исчезающий перед грозю свет в окне. Видели, как все окрашивается в цвет крови.

— Здоровье Воланда! — воскликнула Маргарита, поднимая свой стакан.

Все трое приложились к стаканам и сделали по большому глотку. Тотчас предгрозовой свет начал гаснуть в глазах у мастера, дыхание его перехватило, он почувствовал, что настает конец. Он еще видел, как смертельно побледневшая Маргарита, беспомощно простирая к нему руки, роняет голову на стол, а потом сползает на пол.

— Отравитель... — успел еще крикнуть мастер. Он хотел схватить нож со стола, чтобы ударить Азазелло им, но рука его беспомощно соскользнула со скатерти, все окружавшее мастера в подвале окрасилось в черный цвет, а потом и вовсе пропало. Он упал навзничь и, падая, рассек себе кожу на виске об угол доски бюро.

Когда отравленные затихли, Азазелло начал действовать. Первым долгом он бросился в окно и через несколько мгновений был в особняке, в котором жила Маргарита Николаевна. Всегда точный и аккуратный, Азазелло хотел проверить, все ли исполнено, как нужно. И все оказалось в полном порядке. Азазелло видел, как мрачная, дожидаящаяся возвращения мужа женщина вышла из своей спальни, внезапно побледнела, схватила за сердце и, крикнув беспомощно:

— Наташа! Кто-нибудь... ко мне! — упала на пол в гостиной, не дойдя до кабинета.

— Все в порядке, — сказал Азазелло. Через мгновение он был возле поверженных любовников. Маргарита лежала, уткнувшись лицом в коврик. Своими железными руками Азазелло повернул ее, как куклу, лицом к себе и вгляделся в нее. На его глазах лицо отравленной менялось. Даже в наступавших грозowych сумерках видно было, как исчезало ее временное ведьмино косоглазие и жестокость и буйность черт. Лицо покойной посветлело и наконец смягчилось, и оскал ее стал не хищным, а просто женственным страдальческим оскалом. Тогда Азазелло разжал ее белые зубы и влил в рот несколько капель того самого вина, которым ее и отравил. Маргарита вздохнула, стала подниматься без помощи Азазелло, села и слабо спросила:

— За что, Азазелло, за что? Что вы сделали со мною?

Она увидела лежащего мастера, содрогнулась и прошептала:

— Этого я не ожидала... убийца!

— Да нет же, нет, — ответил Азazelло, — сейчас он встанет. Ах, зачем вы так нервны!

Маргарита поверила ему сразу, настолько убедителен был голос рыжего демона. Она вскочила, сильная и живая, и помогла напоить лежащего вином. Открыв глаза, тот глянул мрачно и с ненавистью повторил свое последнее слово:

— Отравитель...

— Ах! Оскорбление является обычной наградой за хорошую работу, — ответил Азazelло. — Неужели вы слепы? Но прозрите же скорей!

Тут мастер поднялся, огляделся взором живым и светлым и спросил:

— Что же означает это новое?

— Оно означает, — ответил Азazelло, — что нам пора. Уже гремит гроза, вы слышите? Темнеет. Кони роют землю, содрогается маленький сад. Прощайтесь с подвалом, прощайтесь скорее.

— А, понимаю, — сказал мастер, озираясь, — вы нас убили, мы мертвы. Ах, как это умно! Как это вовремя! Теперь я понял все.

— Ах, помилуйте, — ответил Азazelло, — вас ли я слышу? Ведь ваша подруга называет вас мастером, ведь вы мыслите, как же вы можете быть мертвы? Разве для того, чтобы считать себя живым, нужно непременно сидеть в подвале, имея на себе рубашку и больничные кальсоны? Это смешно!

— Я понял все, что вы говорили, — вскричал мастер, — не продолжайте! Вы тысячу раз правы!

— Великий Воланд, — стала вторить ему Маргарита, — великий Воланд! Он выдумал гораздо лучше, чем я. Но только роман, роман, — кричала она мастеру, — роман возьми с собою, куда бы ты ни летел!

— Не надо, — ответил мастер, — я помню его наизусть.

— Но ты ни слова... ни слова из него не забудешь? — спрашивала Маргарита, прижимаясь к любовнику и вытирая кровь на его рассеченном виске.

— Не беспокойся! Я теперь ничего и никогда не забуду, — ответил тот.

— Тогда огонь! — вскричал Азazelло. — Огонь, с которого все началось и которым мы все заканчиваем.

— Огонь! — страшно прокричала Маргарита. Оконце в подвале хлопнуло, ветром сбило штору на сторону. В

небе прогремело весело и коротко. Азazelло сунул руку с когтями в печку, вытащил дымящуюся головню и поджег скатерть на столе. Потом поджег пачку старых газет на диване, а за нею рукопись и занавеску на окне.

Мастер, уже опьяненный будущей скачкой, выбросил с полки какую-то книгу на стол, выпустил ее листы в горящей скатерти, и книга вспыхнула веселым огнем.

— Гори, гори, прежняя жизнь!

— Гори, страдание! — кричала Маргарита.

Комната уже колыхалась в багровых столбах, и вместе с дымом выбежали через двери трое, поднялись по каменной лестнице вверх и оказались во дворе. Первое, что они увидели там, это сидящую на земле кухарку застройщика; возле нее валялся рассыпавшийся картофель и несколько пучков луку. Состояние кухарки было понятно. Трое черных коней храпели у сарая, вздрагивали, взрывали фонтанами землю. Маргарита вскочила первая, за нею Азazelло, последним мастер. Кухарка, протонав, хотела поднять руку для крестного знамения, но Азazelло грозно закричал с седла:

— Отрежу руку! — Он свистнул, и кони, ломая ветви лип, взвились и вонзились в низкую черную тучу. Тотчас из окошечка подвала повалил дым. Снизу донесся слабый, жалкий крик кухарки:

— Горим!..

Кони уже неслись над крышами Москвы.

— Я хочу попрощаться с городом, — прокричал мастер Азazelло, который скакал впереди. Гром съел окончание фразы мастера. Азazelло кивнул головою и пустил своего коня галопом. Навстречу летящим стремительно летела туча, но еще не брызгала дождем.

Они летели над бульваром, видели, как фигурки людей разбегаются, прячась от дождя. Падали первые капли. Они пролетели над дымом — всем, что осталось от Грибоедова. Они пролетели над городом, который уже заливала темнота. Над ними вспыхивали молнии. Потом крыши сменились зеленью. Тогда только хлынул дождь и превратил летящих в три огромных пузыря в воде.

Маргарите уже было знакомо ощущение полета, а мастеру — нет, и он подивился тому, как быстро они оказались у цели, у того, с кем он хотел попрощаться, потому что больше ему не с кем было прощаться. Он узнал сразу в пелене дождя здание клиники Стравин-

ского, реку и очень хорошо изученный им бор на другом берегу. Они снизились в роще на поляне, недалеко от клиники.

— Я подожду вас здесь, — прокричал Азazelло, сложив руки щитком, то освещаясь молниями, то пропадая в серой пелене, — прощайтесь, но скорее!

Мастер и Маргарита соскочили с седел и полетели, мелькая, как водяные тени, через клинический сад. Еще через мгновение мастер привычной рукой отодвигал балконную решетку в комнате № 117-й. Маргарита следовала за ним. Они вошли к Иванушке, невидимые и незамеченные, во время грохота и воя грозы. Мастер остановился возле кровати.

Иванушка лежал неподвижно, как и тогда, когда в первый раз наблюдал грозу в доме своего отдохновения. Но он не плакал, как в тот раз. Когда он всмотрелся как следует в темный силуэт, ворвавшийся к нему с балкона, он приподнялся, протянул руки и сказал радостно:

— А, это вы! А я все жду, жду вас. Вот и вы, мой сосед.

На это мастер ответил:

— Я здесь! Но вашим соседом, к сожалению, больше быть не могу. Я улетаю навсегда и пришел к вам лишь с тем, чтобы попрощаться.

— Я это знал, я догадался, — тихо ответил Иван и спросил: — Вы встретили его?

— Да, — сказал мастер, — я пришел попрощаться с вами, потому что вы были единственным человеком, с которым я говорил в последнее время.

Иванушка посветлел и сказал:

— Это хорошо, что вы сюда залетели. Я ведь слово свое сдержу, стишков больше писать не буду. Меня другое теперь интересует, — Иванушка улыбнулся и безумными глазами поглядел куда-то мимо мастера, — я другое хочу написать. Я тут пока лежал, знаете ли, очень многое понял.

Мастер взволновался от этих слов и заговорил, присаживаясь на край Иванушкиной постели:

— А вот это хорошо, это хорошо. Вы о нем продолжение напишите!

Иванушкины глаза вспыхнули.

— А вы сами не будете разве? — Тут он поник головой и задумчиво добавил: — Ах да... что же это я

спрашиваю, — Иванушка покосился в пол, посмотрел испуганно.

— Да, — сказал мастер, и голос его показался Иванушке незнакомым и глухим, — я уже больше не буду писать о нем. Я буду занят другим.

Шум грозы прорезал дальний свист.

— Вы слышите? — спросил мастер.

— Шумит гроза...

— Нет, это меня зовут, мне пора, — пояснил мастер и поднялся с постели.

— Постойте! Еще одно слово, — попросил Иван, — а вы ее нашли? Она вам осталась верна?

— Вот она, — ответил мастер и указал на стену. От белой стены отделилась темная Маргарита и подошла к постели. Она смотрела на лежащего юношу, и в глазах ее читалась скорбь.

— Бедный, бедный, — беззвучно шептала Маргарита и наклонилась к постели.

— Какая красивая, — без зависти, но с грустью и с каким-то тихим умилением проговорил Иван, — вишь ты, как у вас все хорошо вышло. А вот у меня не так. — Тут он подумал и задумчиво прибавил: — А впрочем, может быть, и так...

— Так, так, — прошептала Маргарита и совсем склонилась к лежащему, — вот я вас поцелую в лоб, и все у вас будет так, как надо... в этом вы уж мне поверьте, я все уже видела, все знаю.

Лежащий юноша охватил ее шею руками, и она поцеловала его.

— Прощай, ученик, — чуть слышно сказал мастер и стал таять в воздухе. Он исчез, с ним вместе исчезла и Маргарита. Балконная решетка закрылась.

Иванушка впал в беспокойство. Он сел на постели, оглянулся тревожно, даже простонал, заговорил сам с собой, поднялся. Гроза бушевала все сильнее и, видимо, растревожила его душу. Волновало его также то, что за дверью он своим, уже привыкшим к постоянной тишине, слухом уловил беспокойные шаги, глухие голоса за дверью. Он позвал, нервничая уже и вздрагивая:

— Прасковья Федоровна!

Прасковья Федоровна уже входила в комнату, вопросительно и тревожно глядя на Иванушку.

— Что? Что такое? — спрашивала она. — Гроза вол-

нует? Ну, ничего, ничего... Сейчас вам поможем. Сейчас я доктора позову.

— Нет, Прасковья Федоровна, не надо доктора звать, — сказал Иванушка, беспокожно глядя не на Прасковью Федоровну, а в стену, — со мною ничего особенного такого нет. Я уж разбираюсь теперь, вы не бойтесь. А вы мне лучше скажите, — задушевно попросил Иван, — а что там рядом, в сто восемнадцатой комнате сейчас случилось?

— В восемнадцатой? — переспросила Прасковья Федоровна, и глаза ее забегали. — А ничего там не случилось. — Но голос ее был фальшив, Иванушка тотчас это заметил и сказал:

— Э, Прасковья Федоровна! Вы такой человек правдивый... Вы думаете, я бушевать стану? Нет, Прасковья Федоровна, этого не будет. А вы лучше прямо говорите. Я ведь через стену все чувствую.

— Скончался сосед ваш сейчас, — прошептала Прасковья Федоровна, не будучи в силах преодолеть свою правдивость и доброту, и испуганно поглядела на Иванушку, вся одевшись светом молнии. Но с Иванушкой ничего не произошло страшного. Он только многозначительно поднял палец и сказал:

— Я так и знал! Я уверяю вас, Прасковья Федоровна, что сейчас в городе еще скончался один человек. Я даже знаю, кто, — тут Иванушка таинственно улыбнулся, — это женщина.

Г л а в а 31

НА ВОРОБЬЕВЫХ ГОРАХ

Грозу унесло без следа, и, аркой перекинувшись через всю Москву, стояла в небе разноцветная радуга, пила воду из Москвы-реки. На высоте, на холме, между двумя рощами виднелись три темных силуэта. Воланд, Коровьев и Бегемот сидели на черных конях в седлах, глядя на раскинувшийся за рекою город с ломаным солнцем, сверкающим в тысячах окон, обращенных на запад, на пряничные башни Девичьего монастыря.

В воздухе зашумело, и Азazelло, у которого в черном хвосте его плаща летели мастер и Маргарита, опустился вместе с ними возле группы ожидающих.

— Пришлось вас побеспокоить, Маргарита Никола-

евна и мастер, — заговорил Воланд после некоторого молчания, — но вы не будьте на меня в претензии. Не думаю, чтоб вы об этом пожалели. Ну, что же, — обратился он к одному мастеру, — попрощайтесь с городом. Нам пора, — Воланд указал рукою в черной перчатке с раструбом туда, где бесчисленные солнца плавили стекло за рекою, где над этими солнцами стоял туман, дым, пар раскаленного за день города.

Мастер выбросился из седла, покинул сидящих и побежал к обрыву холма. Черный плащ тащился за ним по земле. Мастер стал смотреть на город. В первые мгновения к сердцу подкралась щемящая грусть, но очень быстро она сменилась сладковатой тревогой, бродячим цыганским волнением.

— Навсегда! Это надо осмыслить, — прошептал мастер и лизнул сухие, растрескавшиеся губы. Он стал прислушиваться и точно отмечать все, что происходит в его душе. Его волнение перешло, как ему показалось, в чувство глубокой и кровной обиды. Но та была нестойкой, пропала и почему-то сменилась горделивым равнодушием, а оно — предчувствием постоянного покоя.

Группа всадников дожидалась мастера молча. Группа всадников смотрела, как черная длинная фигура на краю обрыва жестикулирует, то поднимает голову, как бы стараясь перебросить взгляд через весь город, заглянуть за его края, то вешает голову, как будто изучая истоптанную чахлую траву под ногами.

Прервал молчание соскучившийся Бегемот.

— Разрешите мне, мэтр, — заговорил он, — свистнуть перед скачкой на прощание.

— Ты можешь испугать даму, — ответил Воланд, — и, кроме того, не забудь, что все твои сегодняшние безобразия уже закончились.

— Ах нет, нет, мессир, — отозвалась Маргарита, сидящая в седле, как амазонка, подбоченившись и свесив до земли острый шлейф, — разрешите ему, пусть он свистнет. Меня охватила грусть перед дальней дорогой. Не правда ли, мессир, она вполне естественна, даже тогда, когда человек знает, что в конце этой дороги его ждет счастье? Пусть посмешит он нас, а то я боюсь, что это кончится слезами и все будет испорчено перед дорогой!

Воланд кивнул Бегемоту, тот очень оживился, соско-

чил с седла наземь, вложил пальцы в рот, надул щеки и свистнул. У Маргариты зазвенело в ушах. Конь ее взбросился на дыбы, в роще посыпались сухие сучья с деревьев, взлетела целая стая ворон и воробьев, столб пыли понесло к реке, и видно было, как в речном трамвае, проходившем мимо пристани, снесло у пассажиров несколько кепок в воду.

Мастер вздрогнул от свиста, но не обернулся, а стал жестикулировать еще беспокойнее, поднимая руку к небу, как бы грозя городу. Бегемот горделиво огляделся.

— Свистнуто, не спору, — снисходительно заметил Коровьев, — действительно свистнуто, но, если говорить беспристрастно, свистнуто очень средне!

— Я ведь не регент, — с достоинством и надувшись, ответил Бегемот и неожиданно подмигнул Маргарите.

— А дай-кось я попробую по старой памяти, — сказал Коровьев, потер руки, подул на пальцы.

— Но ты смотри, смотри, — слышался суровый голос Воланда с коня, — без членовредительских штук!

— Мессир, поверьте, — отозвался Коровьев и приложил руку к сердцу, — пошутить, исключительно пошутить... — Тут он вдруг вытянулся вверх, как будто был резиновый, из пальцев правой руки устроил какую-то хитрую фигуру, завился, как винт, и затем, внезапно раскрутившись, свистнул.

Этого свиста Маргарита не услышала, но она его увидела в то время, как ее вместе с горячим конем бросило саженой на десять в сторону. Рядом с нею с корнем вырвало дубовое дерево, и земля покрылась трещинами до самой реки. Огромный пласт берега, вместе с пристанью и рестораном, высадил в реку. Вода в ней вскипела, взметнулась, и на противоположный берег, зеленый и низменный, выплеснуло целый речной трамвай с совершенно невредимыми пассажирами. К ногам храпящего коня Маргариты швырнуло убитую свистом Фагота галку.

Мастера вспугнул этот свист. Он ухватился за голову и побежал обратно к группе дожидавшихся его спутников.

— Ну что же, — обратился к нему Воланд с высоты своего коня, — все счета оплачены? Прощание совершилось?

— Да, совершилось, — ответил мастер и, успокоившись, поглядел в лицо Воланду прямо и смело.

И тогда над горами прокатился, как трубный голос, страшный голос Воланда:

— Пора!! — и резкий свист и хохот Бегемота.

Кони рванулись, и всадники поднялись вверх и поскакали. Маргарита чувствовала, как ее бешеный конь грызет и тянет мундштук. Плащ Воланда вздуло над головами всей кавалькады, этим плащом начало закрывать вечеряющий небосвод. Когда на мгновение черный покров отнесло в сторону, Маргарита на скаку обернулась и увидела, что сзади нет не только разноцветных башен с разворачивающимся над ними аэропланом, но нет уже давно и самого города, который ушел в землю и оставил по себе только туман.

Г л а в а 32

ПРОЩЕНИЕ И ВЕЧНЫЙ ПРИЮТ

Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, ее болотца и реки, он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна...

Волшебные черные кони и те утомились и несли своих всадников медленно, и неизбежная ночь стала их догонять. Чужая ее за спиною, притих даже неутомный Бегемот и, вцепившись в седло когтями, летел молчаливый и серьезный, распушив свой хвост.

Ночь начала закрывать черным платком леса и луга, ночь зажигала печальные огонечки где-то далеко внизу, теперь уже не интересные и не нужные ни Маргарите, ни мастеру, чужие огоньки. Ночь обгоняла кавалькаду, сеялась на нее сверху и выбрасывала то там, то тут в загрустившем небе белые пятнышки звезд.

Ночь густела, летела рядом, хватала скачущих за плащи и, содрав их с плеч, разоблачала обманы. И когда Маргарита, обдуваемая прохладным ветром, открывала глаза, она видела, как меняется облик всех летящих к своей цели. Когда же навстречу им из-за края леса начала выходить багровая и полная луна, все обманы исчезли, свалилась в болото, утонула в туманах колдовская нестойкая одежда.

Вряд ли теперь узнали бы Коровьева-Фагота, самозванного переводчика при таинственном и не нуждающемся ни в каких переводах консультанте, в том, кто теперь летел непосредственно рядом с Воландом по правую руку подружки мастера. На месте того, кто в драной цирковой одежде покинул Воробьевы горы под именем Коровьева-Фагота, теперь скакал, тихо звеня золотую цепью поводка, темно-фиолетовый рыцарь с мрачайшим и никогда не улыбающимся лицом. Он уперся подбородком в грудь, он не глядел на луну, он не интересовался землею, он думал о чем-то своем, летя рядом с Воландом.

— Почему он так изменился? — спросила тихо Маргарита под свист ветра у Воланда.

— Рыцарь этот когда-то неудачно пошутил, — ответил Воланд, поворачивая к Маргарите свое лицо с тихо горящим глазом, — его каламбур, который он сочинил, разговаривая о свете и тьме, был не совсем хорош. И рыцарю пришлось после этого прошутить немного больше и дольше, нежели он предполагал. Но сегодня такая ночь, когда сводятся счеты. Рыцарь свой счет оплатил и закрыл!

Ночь оторвала и пушистый хвост у Бегемота, содрала с него шерсть и расшвыряла ее ключья по болотам. Тот, кто был котом, потешавшим князя тьмы, теперь оказался худеньким юношей, демоном-пажом, лучшим шутком, какой существовал когда-либо в мире. Теперь притих и он и летел беззвучно, подставив свое молодое лицо под свет, льющийся от луны.

Сбоку всех летел, блистая сталью доспехов, Азazelло. Луна изменила и его лицо. Исчез бесследно нелепый безобразный клык, и кривоглазие оказалось фальшивым. Оба глаза Азazelло были одинаковые, пустые и черные, а лицо белое и холодное. Теперь Азazelло летел в своем настоящем виде, как демон безводной пустыни, демон-убийца.

Себя Маргарита видеть не могла, но она хорошо видела, как изменился мастер. Волосы его белели теперь при луне и сзади собрались в косу, и она летела по ветру. Когда ветер отдувал плащ от ног мастера, Маргарита видела на ботфортах его то потухающие, то загорающиеся звездочки шпор. Подобно юноше-демону, мастер летел, не сводя глаз с луны, но улыбался ей, как будто знакомой хорошо и любимой, и что-то, по

приобретенной в комнате № 118-й привычке, сам себе бормотал.

И наконец, Воланд летел тоже в своем настоящем обличье. Маргарита не могла бы сказать, из чего сделан повод его коня, и думала, что возможно, что это лунные цепочки и самый конь — только глыба мрака, и грива этого коня — туча, а шпоры всадника — белые пятна звезд.

Так летели в молчании долго, пока и сама местность внизу не стала меняться. Печальные леса утонули в земном мраке и увлекли за собою и тусклые лезвия рек. Внизу появились и стали отблескивать валуны, а между ними зачернели провалы, в которые не проникал свет луны.

Воланд осадил своего коня на каменистой безрадостной плоской вершине, и тогда всадники двинулись шагом, слушая, как кони их подковами давят кремни и камни. Луна заливала площадку зелено и ярко, и Маргарита скоро разглядела в пустынной местности кресло и в нем белую фигуру сидящего человека. Возможно, что этот сидящий был глух или слишком погружен в размышление. Он не слышал, как содрогалась каменистая земля под тяжестью коней, и всадники, не тревожа его, приблизились к нему.

Луна хорошо помогала Маргарите, светила лучше, чем самый лучший электрический фонарь, и Маргарита видела, что сидящий, глаза которого казались слепыми, коротко потирает свои руки и эти самые незрячие глаза вперяет в диск луны. Теперь уж Маргарита видела, что рядом с тяжелым каменным креслом, на котором блестят от луны какие-то искры, лежит темная, громадная остроухая собака и так же, как ее хозяин, беспокойно глядит на луну. У ног сидящего валяются черепки разбитого кувшина и простирается невысыхающая черно-красная лужа.

Всадники остановили своих коней.

— Ваш роман прочитали, — заговорил Воланд, поворачиваясь к мастеру, — и сказали только одно, что он, к сожалению, не окончен. Так вот, мне хотелось показать вам вашего героя. Около двух тысяч лет сидит он на этой площадке и спит, но, когда приходит полная луна, как видите, его терзает бессонница. Она мучает не только его, но его верного сторожа, собаку. Если верно, что трусость — самый тяжкий порок, то, пожа-

луй, собака в нем не виновата. Единственно, чего боялся храбрый пес, это грозы. Ну что ж, тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит.

— Что он говорит? — спросила Маргарита, и совершенно спокойное ее лицо подернулось дымкой сострадания.

— Он говорит, — раздался голос Воланда, — одно и то же. Он говорит, что и при луне ему нет покоя и что у него плохая должность. Так говорит он всегда, когда не спит, а когда спит, то видит одно и то же — лунную дорогу, и хочет пойти по ней и разговаривать с арестантом Га-Ноцри, потому что, как он утверждает, он чего-то не договорил тогда, давно, четырнадцатого числа весеннего месяца нисана. Но, увы, на эту дорогу ему выйти почему-то не удастся, и к нему никто не приходит. Тогда, что же поделаешь, приходится разговаривать ему с самим собою. Впрочем, нужно же какое-нибудь разнообразие, и к своей речи о луне он нередко прибавляет, что более всего в мире ненавидит свое бессмертие и неслыханную славу. Он утверждает, что он охотно бы поменялся своею участью с оборванным бродягой Левием Матвеем.

— Двенадцать тысяч лун за одну луну когда-то, не слишком ли это много? — спросила Маргарита.

— Повторяется история с Фридой? — сказал Воланд. — Но, Маргарита, здесь не тревожьте себя. Все будет правильно, на этом построен мир.

— Отпустите его! — вдруг пронзительно крикнула Маргарита так, как когда-то кричала, когда была ведьмой, и от этого крика сорвался камень в горах и полетел по уступам в бездну, оглашая горы грохотом. Но Маргарита не могла сказать, был ли это грохот падения или грохот сатанинского смеха. Как бы то ни было, Воланд смеялся, поглядывая на Маргариту, и говорил:

— Не надо кричать в горах, он все равно привык к обвалам, и это его не встревожит. Вам не надо просить за него, Маргарита, потому что за него уже попросил тот, с кем он так стремится разговаривать. — Тут Воланд опять повернулся к мастеру и сказал: — Ну что же, теперь ваш роман вы можете кончить одною фразой!

Мастер как будто бы этого ждал уже, пока стоял неподвижно и смотрел на сидящего прокуратора. Он

сложил руки рупором и крикнул так, что эхо запрыгало по безлюдным и безлесым горам:

— Свободен! Свободен! Он ждет тебя!

Горы превратили голос мастера в гром, и этот же гром их разрушил. Проклятые скалистые стены упали. Осталась только площадка с каменным креслом. Над черной бездной, в которую ушли стены, загорелся необъятный город с царствующими над ним сверкающими идолами поверх пышно разросшегося за много тысяч этих лун садом. Прямо к этому саду протянулась долгожданная прокуратором лунная дорога, и первым по ней кинулся бежать остроухий пес. Человек в белом плаще с кровавым подбоем поднялся с кресла и что-то прокричал хриплым, сорванным голосом. Нельзя было разобрать, плачет ли он или смеется и что он кричит. Видно было только, что вслед за своим верным стражем по лунной дороге стремительно побежал и он.

— Мне туда, за ним? — спросил беспокожно мастер, тронув поводья.

— Нет, — ответил Воланд, — зачем же гнаться по следам того, что уже окончено?

— Так, значит, туда? — спросил мастер, повернулся и указал назад, туда, где соткался в тылу недавно покинутый город с монастырскими пряничными башнями, с разбитым вдребезги солнцем в стекле.

— Тоже нет, — ответил Воланд, и голос его сгустился и потек над скалами. — Романтический мастер! Тот, кого так жаждет видеть выдуманный вами герой, которого вы сами только что отпустили, прочел ваш роман. — Тут Воланд повернулся к Маргарите: — Маргарита Николаевна! Нельзя не поверить в то, что вы старались выдумать для мастера наилучшее будущее, но, право, то, что я предлагаю вам, и то, о чем просил Иешуа за вас же, за вас, — еще лучше. Оставьте их вдвоем, — говорил Воланд, склоняясь со своего седла к седлу мастера и указывая вслед ушедшему прокуратору, — не будем им мешать. И, может быть, до чего-нибудь они договорятся, — тут Воланд махнул рукой в сторону Ершалаима, и он погас.

— И там тоже, — Воланд указал в тыл, — что делать вам в подвальчике? — Тут потухло сломанное солнце в стекле. — Зачем? — продолжал Воланд убедительно и мягко. — О трижды романтический мастер, неужто вы не хотите днем гулять со своею подругой под вишня-

ми, которые начинают зацветать, а вечером слушать музыку Шуберта? Неужели же вам не будет приятно писать при свечах гусиным пером? Неужели вы не хотите, подобно Фаусту, сидеть над ретортой в надежде, что вам удастся вылепить нового гомункула? Туда, туда! Там ждет уже вас дом и старый слуга, свечи уже горят, а скоро они потухнут, потому что вы немедленно встретите рассвет. По этой дороге, мастер, по этой! Прощайте! Мне пора.

— Прощайте! — одним криком ответили Воланду Маргарита и мастер. Тогда черный Воланд, не разбирая никакой дороги, кинулся в провал, и вслед за ним, шумя, обрушилась его свита. Ни скал, ни площадки, ни лунной дороги, ни Ершалаима не стало вокруг. Пропали и черные кони. Мастер и Маргарита увидели обещанный рассвет. Он начинался тут же, непосредственно после полуночной луны. Мастер шел со своею подругой в блеске первых утренних лучей через каменистый мшистый мостик. Они пересекли его. Ручей остался позади верных любовников, и они шли по песчаной дороге.

— Слушай беззвучие, — говорила Маргарита мастеру, и песок шуршал под ее босыми ногами, — слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни, — тишиной. Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я уже вижу венецианское окно и вьющийся виноград, он подымается к самой крыше. Вот твой дом, вот твой вечный дом. Я знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто тебя не встревожит. Они будут тебе играть, они будут петь тебе, ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи. Ты будешь засыпать, надевши свой засаленный и вечный колпак, ты будешь засыпать с улыбкой на губах. Сон укрепит тебя, ты станешь рассуждать мудро. А прогнать меня ты уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я.

Так говорила Маргарита, идя с мастером по направлению к вечному их дому, и мастеру казалось, что слова Маргариты струятся так же, как струился и шептал оставленный позади ручей, и память мастера, беспокойная, исколотая иглами память стала потухать. Кто-то отпускал на свободу мастера, как сам он только что отпустил им созданного героя. Этот герой ушел в бездну, ушел безвозвратно, прощенный в ночь на воскре-

сение сын короля-звездочета, жестокий пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат.

ЭПИЛОГ

Но все-таки, что же было дальше-то в Москве после того, как в субботний вечер на закате Воланд покинул столицу, исчезнув вместе со своей свитой с Воробьевых гор?

О том, что в течение долгого времени по всей столице шел тяжелый гул самых невероятных слухов, очень быстро перекинувшихся и в отдаленные и глухие места провинции, и говорить не приходится. Слухи эти даже тошно повторять.

Пишущий эти правдивые строки сам лично, направляясь в Феодосию, слышал в поезде рассказ о том, как в Москве две тысячи человек вышли из театра нагишом в буквальном смысле слова и в таком виде разъехались по домам в таксомоторах.

Шепот «Нечистая сила...» слышался в очередях, стоявших у молочных, в трамваях, в магазинах, в квартирах, в кухнях, в поездах, и дачных и дальнего следования, на станциях и полустанках, на дачах и на пляжах.

Наиболее развитые и культурные люди в этих рассказах о нечистой силе, навестившей столицу, разумеется, никакого участия не принимали и даже смеялись над ними и пытались рассказчиков образумить. Но факт все-таки, как говорится, остается фактом, и отмахнуться от него без объяснений никак нельзя: кто-то побывал в столице. Уж одни угольки, оставшиеся от Грибоедова, да и многое другое слишком красноречиво это подтверждали.

Культурные люди стали на точку зрения следствия: работала шайка гипнотизеров и чревовещателей, великолепно владеющая своим искусством.

Меры к ее поимке, как в Москве, так и за пределами ее, были, конечно, приняты немедленные и энергичные, но, к великому сожалению, результатов не дали. Именуемый себя Воландом со всеми своими присными исчез и ни в Москву более не возвращался и нигде вообще не появился и ничем себя не проявил. Совершенно естественно, что возникло предположение

о том, что он бежал за границу, но и там нигде он не обозначился.

Следствие по его делу продолжалось долго. Ведь как-никак, а дело это было чудовищно! Не говоря уже о четырех сожженных домах и о сотнях сведенных с ума людей, были и убитые. О двух это можно сказать точно: о Берлиозе и об этом злосчастном служащем в Бюро по ознакомлению иностранцев с достопримечательностями Москвы, бывшем бароне Майгеле. Ведь они-то были убиты. Обгоревшие кости второго были обнаружены в квартире № 50 по Садовой улице, после того как потушили пожар. Да, были жертвы, и эти жертвы требовали следствия.

Но были и еще жертвы, и уже после того, как Воланд покинул столицу, и этими жертвами стали, как это ни грустно, черные коты.

Штук сто примерно этих мирных, преданных человеку и полезных ему животных были застрелены или истреблены иными способами в разных местах страны. Десятка полтора котов, иногда в сильно изуродованном виде, были доставлены в отделения милиции в разных городах. Например, в Армавире один из них в чем не повинных зверей был приведен каким-то гражданином в милицию со связанными передними лапами.

Подкараулил этого кота гражданин в тот момент, когда животное с вороватым видом (что же поделаешь, что у котов такой вид? Это не оттого, что они порочны, а оттого, что они боятся, чтобы кто-либо из существ более сильных, чем они, — собаки и люди, — не причинили им какой-нибудь вред или обиду. И то и другое очень нетрудно, но чести в этом, уверяю, нет никакой. Да, нет никакой!), да, так с вороватым видом кот собирался устремиться зачем-то в лопухи.

Навалившись на кота и срывая с шеи галстух, что-бы вязать его, гражданин ядовито и угрожающе бормотал:

— Ага! Стало быть, теперь к нам, в Армавир, пожаловали, господин гипнотизер? Ну, здесь вас не испугались. Да вы не притворяйтесь немым. Нам уже понятно, что вы за гусь!

Вел кота в милицию гражданин, таща бедного зверя за передние лапы, скрученные зеленым галстухом, и добиваясь легкими пинками, чтобы кот непременно шел на задних лапах.

— Вы, — кричал гражданин, сопровождаемый свистящими мальчишками, — бросьте, бросьте дурака валять! Не выйдет это! Извольте идти, как все ходят!

Черный кот только заводил мученические глаза. Лишенный природой дара слова, он ни в чем не мог оправдаться. Спасением своим бедный зверь обязан в первую очередь милиции, а кроме того, своей хозяйке, почтенной старушке-вдове. Лишь только кот был доставлен в отделение, там убедились, что от гражданина сильнейшим образом пахнет спиртом, вследствие чего в показаниях его тотчас же усомнились. А тем временем старушка, узнавшая от соседей, что ее кота замели, кинулась бежать в отделение и поспела вовремя. Она дала самые лестные рекомендации коту, объяснила, что знает его пять лет, с тех пор как он был котенком, ручается за него, как за самое себя, доказала, что он ни в чем плохом не замечен и никогда не ездил в Москву. Как родился он в Армавире, так в нем и вырос и учился ловить мышей.

Кот был развязан и возвращен владелице, хлебнув, правда, горя: узнав на практике, что такое ошибка и клевета.

Кроме котов, некоторые незначительные неприятности постигли кое-кого из людей. Произошло несколько арестов. В числе других задержанными на короткое время оказались: в Ленинграде — граждане Вольман и Вольпер, в Саратове, Киеве и Харькове — трое Володиных, в Казани — Волох, а в Пензе, и уж совершенно неизвестно почему, — кандидат химических наук Ветчинкевич. Правда, тот был огромного роста, очень смуглый брюнет.

Попались в разных местах, кроме того, девять Коровиных, четыре Коровкина и двое Караваевых.

Некоего гражданина сняли с севастопольского поезда связанным на станции Белгород. Гражданин этот вздумал развлечь едущих с ним пассажиров карточными фокусами.

В Ярославле, как раз в обеденную пору, в ресторан явился гражданин с примусом в руках, который он только что взял из починки. Двое швейцаров, лишь только увидели его в раздевалке, бросили свои посты и бежали, а за ними бежали из ресторана все посетители и служащие. При этом у кассирши непонятным образом пропала вся выручка.

Было еще многое, всего не вспомнишь. Было большое брожение умов.

Еще и еще раз нужно отдать справедливость следствию. Все было сделано не только для того, чтобы поймать преступников, но и для того, чтобы объяснить все то, что они натворили. И все это было объяснено, и объяснения эти нельзя не признать и толковыми и неопровержимыми.

Представители следствия и опытные психиатры установили, что члены преступной шайки или, может быть, один из них (преимущественно подозрение в этом падало на Коровьева) являлись невиданной силы гипнотизерами, могущими показывать себя не в том месте, где они на самом деле находились, а на позициях мнимых, смещенных. Помимо этого, они свободно внушали столкнувшимся с ними, что некие вещи или люди находятся там, где на самом деле их не было, и наоборот, удаляли из поля зрения те вещи или людей, которые действительно в этом поле зрения имелись.

В свете таких объяснений решительно все понятно, и даже наиболее волновавшая граждан, ничем, казалось бы, не объяснимая неуязвимость кота, обстрелянного в квартире № 50, при попытках взять его под стражу.

Никакого кота на люстре, натурально, не было, никто и не думал отстреливаться, стреляли по пустому месту, в то время как Коровьев, внушивший, что кот безобразничает на люстре, мог свободно находиться за спиной стрелявших, кривляясь и наслаждаясь своею громадной, но преступно использованной способностью внушать. Он же, конечно, и поджег квартиру, разлив бензин.

Ни в какую Ялту, конечно, Степа Лиходеев не улетал (такая штука не под силу даже Коровьеву) и телеграмм оттуда не посылал. После того как он упал в обморок в ювелиршиной квартире, испуганный фокусом Коровьева, показавшего ему кота с маринованным грибом на вилке, он пролежал в ней до тех пор, пока Коровьев, издеваясь над ним, не напялил на него войлочную шляпу и не отправил его на московский аэродром, внушив предварительно встречавшим Степу представителям угрозыска, что Степа вылезет из аэроплана, прилетевшего из Севастополя.

Правда, угрозыск Ялты утверждал, что он принимал

босого Степу и телеграммы насчет Степы в Москву посылал, но ни одной копии этих телеграмм в делах никак не обнаружилось, из чего был сделан печальный, но совершенно несокрушимый вывод, что гипнотизерская банда обладает способностью гипнотизировать на громадном расстоянии, и притом не только отдельных лиц, но и целые группы их. При этих условиях преступники могли свести с ума людей с самой стойкой психической организацией.

Что там говорить о таких пустяках, как колода карт в чужом кармане в партере, или исчезнувшие дамские платья, или мяукающий берет и прочее в этом же роде! Такие штуки может отколоть любой профессионал-гипнотизер средней силы на любой сцене, в том числе и нехитрый фокус с оторванием головы у конферансье. Говорящий кот — тоже сущий вздор. Для того чтобы предъявить людям такого кота, достаточно владеть первыми основами чревоуещания, а вряд ли кто-нибудь усомнится в том, что искусство Коровьева шло значительно дальше этих основ.

Да, дело тут вовсе не в колодах карт, не в фальшивых письмах в портфеле Никанора Ивановича. Это все пустяки! Это он, Коровьев, погнал под трамвай Берлиоза на верную смерть. Это он свел с ума бедного поэта Ивана Бездомного, он заставлял его грезить и видеть в мучительных снах древний Ершалаим и сожженную солнцем безводную Лысую Гору с тремя повешенными на столбах. Это он и его шайка заставили исчезнуть из Москвы Маргариту Николаевну и ее домработницу, красавицу Наташу. Кстати: этим делом следствие занималось особенно внимательно. Требовалось выяснить, были ли похищены эти женщины шайкой убийц и поджигателей или же бежали вместе с преступной компанией добровольно? Основываясь на нелепых и путаных показаниях Николая Ивановича и приняв во внимание странную и безумную записку Маргариты Николаевны, оставленную мужу, записку, в которой она пишет, что уходит в ведьмы, учтя то обстоятельство, что Наташа исчезла, оставив все свои носильные вещи на месте, — следствие пришло к заключению, что и хозяйка и домработница были загипнотизированы, подобно многим другим, и в таком виде похищены бандой. Возникла и, вероятно, совершенно правильная мысль, что преступников привлекла красота обеих женщин.

Но вот что осталось совершенно неясным для следствия — это побуждение, заставившее шайку похитить душевнобольного, именующего себя мастером, из психиатрической клиники. Этого установить не удалось, как не удалось добыть и фамилию похищенного больного. Так и сгинул он навсегда под мертвой кличкой: «Номер сто восемнадцатый из первого корпуса».

Итак, почти все объяснилось, и кончилось следствие, как вообще все кончается.

Прошло несколько лет, и граждане стали забывать и Воланда, и Коровьева, и прочих. Произошли многие изменения в жизни тех, кто пострадал от Воланда и его присных, и как бы ни были мелки и незначительны эти изменения, все же следует их отметить.

Жорж, например, Бенгальский, проведя в лечебнице три месяца, поправился и вышел, но службу в Варьете вынужден был покинуть, и в самое горячее время, когда публика валом шла за билетами, — память о черной магии и ее разоблачениях оказалась очень живуча. Бросил Бенгальский Варьете, ибо понимал, что представлять ежевечерне перед двумя тысячами человек, быть неизбежно узнаваемым и всеконечно подвергаться глумливым вопросам о том, как ему лучше: с головой или без головы? — слишком мучительно.

Да, кроме того, утратил конференсье значительную дозу своей веселости, которая столь необходима при его профессии. Осталась у него неприятная, тягостная привычка каждую весну в полнолуние впадать в тревожное состояние, внезапно хвататься за шею, испуганно оглядываться и плакать. Припадки эти проходили, но все же при наличии их прежним делом нельзя было заниматься, и конференсье ушел на покой и начал жить на свои сбережения, которых, по его скромному подсчету, должно было хватить ему на пятнадцать лет.

Он ушел и никогда больше не встречался с Варенухой, приобретшим всеобщую популярность и любовь за свою невероятную, даже среди театральных администраторов, отзывчивость и вежливость. Контрамарочники, например, его иначе не называли, как отец-благодетель. В какое бы время, кто бы ни позвонил в Варьете, всегда слышался в трубке мягкий, но грустный голос: «Я вас слушаю», — а на просьбу позвать к телефону Варенуху тот же голос поспешно от-

вечал: «Я к вашим услугам». Но зато и страдал же Иван Савельевич от своей вежливости!

Степе Лиходееву больше не приходится разговаривать по телефону в Варьете. Немедленно после выхода из клиники, в которой Степа провел восемь дней, его перебросили в Ростов, где он получил назначение на должность заведующего большим гастрономическим магазином. Ходят слухи, что он совершенно перестал пить портвейн и пьет только водку, настоящую на смоудиновых почках, отчего очень поздоровел. Говорят, что стал молчалив и сторонится женщин.

Удаление Степана Богдановича из Варьете не доставило Римскому той радости, о которой он так жадно мечтал в продолжение нескольких лет. После клиники и Кисловодска старенький-престаренький, с трясущейся головой, финдиректор подал заявление об уходе из Варьете. Интересно то, что это заявление привезла в Варьете супруга Римского. Сам Григорий Данилович не нашел в себе силы даже днем побывать в том здании, где видел он залитое луной треснувшее стекло в окне и длинную руку, пробирающуюся к нижней задвижке.

Уволившись из Варьете, финдиректор поступил в театр детских кукол в Замоскворечье. В этом театре ему уже не пришлось сталкиваться по делам акустики с почтеннейшим Аркадием Аполлоновичем Семплеяровым. Того в два счета перебросили в Брянск и назначили заведующим грибнозаготовочным пунктом. Едят теперь москвичи соленые рыжики и маринованные белые и не нахвалятся ими и до чрезвычайности радуются этой переброске. Дело прошлое, и можно сказать, что не клеились у Аркадия Аполлоновича дела с акустикой, и сколько ни старался он улучшить ее, она такая была, такая и осталась.

К числу лиц, порвавших с театром, помимо Аркадия Аполлоновича, надлежит отнести и Никанора Ивановича Босого, хоть тот и не был ничем связан с театрами, кроме любви к даровым билетам. Никанор Иванович не только не ходит ни в какой театр ни за деньги, ни даром, но даже меняется в лице при всяком театральном разговоре. В не меньшей, а в большей степени возненавидел он, помимо театра, поэта Пушкина и талантливого артиста Савву Потаповича Куролесова. Того — до такой степени, что в прошлом году, увидев в газете окаймленное черным объявление о том, что

Савву Потаповича в самый расцвет его карьеры хватил удар, — Никанор Иванович побагровел до того, что сам чуть не отправился вслед за Саввой Потаповичем, и взревел: «Так ему и надо!» Более того, в тот же вечер Никанор Иванович, на которого смерть популярного артиста навела массу тягостных воспоминаний, один, в компании только с полной луной, освещающей Садовую, напился до ужаса. И с каждой рюмкой удлинялась перед ним проклятая цепь ненавистных фигур, и были в этой цепи и Дунчиль Сергей Герардович, и красотка Ида Геркулановна, и тот рыжий владелец бойцовых гусей, и откровенный Канавкин Николай.

Ну, а с теми-то что же случилось? Помилуйте! Ровно ничего с ними не случилось, да и случиться не может, ибо никогда в действительности не было их, как не было и симпатичного артиста конференсье, и самого театра, и старой сквалыги Пороховниковой тетки, гноющей валюту в погребе, и уж, конечно, золотых труб не было и наглых поваров. Все это только снилось Никанору Ивановичу под влиянием поганца Коровьева. Единственный живой, влетевший в этот сон, именно и был Савва Потапович — артист, и ввязался он в это только потому, что врезался в память Никанору Ивановичу благодаря своим частым выступлениям по радио. Он был, а остальных не было.

Так, может быть, не было и Алоизия Могарьча? О нет! Этот не только был, но и сейчас существует, и именно в той должности, от которой отказался Римский, то есть в должности финдиректора Варьете.

Опомнившись, примерно через сутки после визита к Воланду, в поезде, где-то под Вяткой, Алоизий убедился в том, что, уехав в помрачении ума зачем-то из Москвы, он забыл надеть брюки, но зато непонятно для чего украл совсем ненужную ему домовую книгу застройщика. Уплатив колоссальные деньги проводнику, Алоизий приобрел у него старую и засаленную пару штанов и из Вятки повернул обратно. Но домика застройщика он, увы, уже не нашел. Ветхое барахло начисто слизнуло огнем. Но Алоизий был человеком чрезвычайно предприимчивым. Через две недели он уже жил в прекрасной комнате в Брюсовском переулке, а через несколько месяцев уже сидел в кабинете Римского. И как раньше Римский страдал из-за Степы, так теперь Варенуха мучился из-за Алоизия. Мечтает Иван

Савельевич только об одном, чтобы этого Алоизия убрали из Варьете куда-нибудь с глаз долой, потому что, как шепчет иногда Варенуха в интимной компании, «такой сволочи, как этот Алоизий, он будто бы никогда не встречал в жизни и что будто бы от этого Алоизия он ждет всего, чего угодно».

Впрочем, может быть, администратор и пристрастен. Никаких темных дел за Алоизием не замечено, как и вообще никаких дел, если не считать, конечно, назначения на место буфетчика Сокова какого-то другого. Андрей же Фокич умер от рака печени в клинике Первого МГУ месяцев через девять после появления Воланда в Москве...

Да, прошло несколько лет, и затянулись правдиво описанные в этой книге происшествия и угасли в памяти. Но не у всех, но не у всех!

Каждый год, лишь только наступает весеннее праздничное полнолуние, под вечер появляется под липами на Патриарших прудах человек лет тридцати или тридцати с лишним. Рыжеватый, зеленоглазый, скромно одетый человек. Это — сотрудник Института истории и философии, профессор Иван Николаевич Понырев.

Придя под липы, он всегда садится на ту самую скамейку, на которой сидел в тот вечер, когда давно позабытый всеми Берлиоз в последний раз в своей жизни видел разваливающуюся на куски луну.

Теперь она, цельная, в начале вечера белая, а затем золотая, с темным коньком-драконом, плывет над бывшим поэтом, Иваном Николаевичем, и в то же время стоит на одном месте в своей высоте.

Ивану Николаевичу все известно, он все знает и понимает. Он знает, что в молодости он стал жертвой преступных гипнотизеров, лечился после этого и вылез. Но знает он также, что кое с чем он совладать не может. Не может он совладать с этим весенним полнолунием. Лишь только оно начинает приближаться, лишь только начинает разрастаться и наливаться золотом светило, которое когда-то висело выше двух пяти-свечий, становится Иван Николаевич беспокоен, нервничает, теряет аппетит и сон, дожидается, пока созреет луна. И когда наступает полнолуние, ничто не удержит Ивана Николаевича дома. Под вечер он выходит и идет на Патриаршие пруды.

Сидя на скамейке, Иван Николаевич уже откровенно

разговаривает сам с собой, курит, щурится то на луну, то на хорошо памятный ему турникет.

Час или два проводит так Иван Николаевич. Затем снимается с места и всегда по одному и тому же маршруту, через Спиридоновку, с пустыми незрячими глазами идет в арбатские переулки.

Он проходит мимо нефтелавки, поворачивает там, где покосившийся старый газовый фонарь, и подкрадывается к решетке, за которой он видит пышный, но еще не одетый сад, а в нем — окрашенный луною с того боку, где выступает фонарь с трехстворчатым окном, и темный с другого — готический особняк.

Профессор не знает, что влечет его к решетке и кто живет в этом особняке, но знает, что бороться ему с собою в полнолуние не приходится. Кроме того, он знает, что в саду за решеткой он неизбежно увидит одно и то же.

Он видит сидящего на скамеечке пожилого и солидного человека с бородкой, в пенсне и с чуть-чуть поросячьими чертами лица. Иван Николаевич всегда застает этого обитателя особняка в одной и той же мечтательной позе, со взором, обращенным к луне. Ивану Николаевичу известно, что, полюбовавшись луной, сидящий непременно переведет глаза на окна фонаря и упрется в них, как бы ожидая, что сейчас они распахнутся и появится на подоконнике что-то необыкновенное.

Все дальнейшее Иван Николаевич знает наизусть. Тут надо непременно поглубже схорониться за решеткой, ибо вот сейчас сидящий начнет беспокойно вертеть головой, блуждающими глазами ловить что-то в воздухе, восторженно улыбаться, а затем он вдруг всплеснет руками в какой-то сладостной тоске, а затем уж и просто и довольно громко будет бормотать:

— Венера! Венера!.. Эх я, дурак!..

— Боги, боги! — начнет шептать Иван Николаевич, прячась за решеткой и не сводя разгорающихся глаз с таинственного неизвестного. — Вот еще одна жертва луны... Да, это еще одна жертва, вроде меня.

А сидящий будет продолжать свои речи:

— Эх я, дурак! Зачем, зачем я не улетел с нею? Чего я испугался, старый осел! Бумажку выправил! Эх, терпи теперь, старый кретин!

Так будет продолжаться до тех пор, пока не стукнет

в темной части особняка окно, не появится в нем что-то беловатое и не раздастся неприятный женский голос:

— Николай Иванович, где вы? Что это за фантазии? Малярию хотите подцепить? Идите чай пить!

Тут, конечно, сидящий очнется и ответит голосом лживым:

— Воздухом, воздухом хотел подышать, душенька моя! Воздух уж очень хорош!

И тут он поднимется со скамейки, украдкой погрозит кулаком закрывающемуся внизу окну и поплетется в дом.

— Лжет он, лжет! О боги, как он лжет! — бормочет, уходя от решетки, Иван Николаевич. — Вовсе не воздух влечет его в сад, он что-то видит в это весеннее полнолуние на луне и в саду, в высоте. Ах, дорого бы я дал, чтобы проникнуть в его тайну, чтобы знать, какую такую Венеру он утратил и теперь бесплодно шарит руками в воздухе, ловит ее?

И возвращается домой профессор уже совсем больной. Его жена притворяется, что не замечает его состояния, и торопит его ложиться спать. Но сама она не ложится и сидит у лампы с книгой, смотрит горькими глазами на спящего. Она знает, что на рассвете Иван Николаевич проснется с мучительным криком, начнет плакать и метаться. Поэтому и лежит перед нею на скатерти под лампой заранее приготовленный шприц в спирту и ампула с жидкостью густого чайного цвета.

Бедная женщина, связанная с тяжело больным, теперь свободна и без опасений может заснуть. Иван Николаевич после укола будет спать до утра со счастливым лицом и видеть неизвестные ей, но какие-то возвышенные и счастливые сны.

Будит же ученого и доводит его до жалкого крика в ночь полнолуния одно и то же. Он видит неестественного безносого палача, который, подпрыгнув и как-то ухнув голосом, колет копьем в сердце привязанного к столбу и потерявшего разум Гестаса. Но не столько страшен палач, сколько неестественное освещение во сне, происходящее от какой-то тучи, которая кипит и наваливается на землю, как это бывает только во время мировых катастроф.

После укола все меняется перед спящим. От постели к окну протягивается широкая лунная дорога, и на

эту дорогу поднимается человек в белом плаще с кровавым подбоем и начинает идти к луне. Рядом с ним идет какой-то молодой человек в разорванном хитоне и с обезображенным лицом. Идущие о чем-то разговаривают с жаром, спорят, хотят о чем-то договориться.

— Боги, боги! — говорит, обращая надменное лицо к своему спутнику, тот человек в плаще. — Какая пошлая казнь! Но ты мне, пожалуйста, скажи, — тут лицо из надменного превращается в умоляющее, — ведь ее не было! Молю тебя, скажи, не было?

— Ну, конечно, не было, — отвечает хриплым голосом спутник, — это тебе померещилось.

— И ты можешь поклясться в этом? — заискивающе просит человек в плаще.

— Клянусь! — отвечает спутник, и глаза его почему-то улыбаются.

— Больше мне ничего не нужно! — сорванным голосом вскрикивает человек в плаще и поднимается все выше к луне, увлекая своего спутника. За ними идет спокойный и величественный гигантский остроухий пес.

Тогда лунный путь вскипает, из него начинает хлестать лунная река и разливается во все стороны. Луна властвует и играет, луна танцует и шалит. Тогда в потоке складывается непомерной красоты женщина и выводит к Ивану за руку пугливо озирающегося обросшего бородой человека. Иван Николаевич сразу узнает его. Это — тот номер сто восемнадцатый, его ночной гость. Иван Николаевич во сне протягивает к нему руки и жадно спрашивает:

— Так, стало быть, этим и кончилось?

— Этим и кончилось, мой ученик, — отвечает номер сто восемнадцатый, а женщина подходит к Ивану и говорит:

— Конечно, этим. Все кончилось, и все кончается... И я вас поцелую в лоб, и все у вас будет так, как надо.

Она наклоняется к Ивану и целует его в лоб, и Иван тянется к ней и всматривается в ее глаза, но она отступает, отступает и уходит вместе со своим спутником к луне...

Тогда луна начинает неистовствовать, она обрушивает потоки света прямо на Ивана, она разбрызгивает свет во все стороны, в комнате начинается лунное наводнение, свет качается, поднимается выше, затопляет

постель. Вот тогда и спит Иван Николаевич со счастливым лицом.

Наутро он просыпается молчаливым, но совершенно спокойным и здоровым. Его исколотая память затихает, и до следующего полнолуния профессора не потревожит никто: ни безносый убийца Гестаса, ни жестокий пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат.

1929 — 1940

**Фантастические
повести**



ПОХОЖДЕНИЯ ЧИЧИКОВА

Поэма в X пунктах с прологом и эпилогом

— Держи, держи, дурак! — кричал Чичиков Селифану.

— Вот я тебя палашом! — кричал скакавший навстречу фельдьегер с усами в аршин. — Не видишь, леший дерит твою душу, казенный экипаж.

ПРОЛОГ

Диковинный сон... Будто бы в царстве теней, над входом в которое мерцает неугасимая лампада с надписью «Мертвые души», шутник сатана открыл двери. Зашевелилось мертвое царство, и потянулась из него бесконечная вереница.

Манилов в шубе на больших медведях, Ноздрев в чужом экипаже, Держиморда на пожарной трубе, Селифан, Петрушка, Фетинья...

А самым последним тронулся он — Павел Иванович Чичиков в знаменитой своей бричке.

И двинулась вся ватага на Советскую Русь, и произошли в ней тогда изумительные происшествия. А какие — тому следуют пункты...

I

Пересев в Москве из брички в автомобиль и летя в нем по московским буеракам, Чичиков ругательски ругал Гоголя:

— Чтоб ему набежало, дьявольскому сыну, под обоими глазами по пузырю в копну величиною! Испакостил, изгадил репутацию так, что некуда носа показать. Ведь, ежели узнают, что я — Чичиков, натурально, в

два счета выкинут, к чертовой матери! Да еще хорошо, как только выкинут, а то еще, храни Бог, на Лубянке насидишься. А все Гоголь, чтоб ни ему, ни его родне...

И, размышляя таким образом, въехал в ворота той самой гостиницы, из которой сто лет тому назад выехал.

Все решительно в ней было по-прежнему: из щелей выглядывали тараканы, и даже их как будто больше сделалось, но были и некоторые измененьица. Так, например, вместо вывески «Гостиница» висел плакат с надписью: «Общежитие № такой-то», и, само собой, грязь и гадость была такая, о которой Гоголь даже понятия не имел.

— Комнату!

— Ордер пожалте!

Ни одной секунды не смутился гениальный Павел Иванович.

— Управляющего!

— Трах! — управляющий старый знакомый: дядя Лысый Пимен, который некогда держал «Акульку», а теперь открыл на Тверской кафе на русскую ногу с немецкими затеями: аршадами, бальзамами и, конечно, с проститутками. Гость и управляющий облобызались, шушукнулись, и дело уладилось вмиг без всякого ордера. Закусил Павел Иванович, чем бог послал, и полетел устраиваться на службу.

II

Являлся всюду и всех очаровал поклонами несколько набок и колоссальной эрудицией, которой всегда отличался.

— Пишите анкету.

Дали Павлу Ивановичу анкетный лист в аршин длины, и на нем сто вопросов самых каверзных: откуда, да где был, да почему?..

Пяти минут не просидел Павел Иванович и исписал анкету кругом. Дрогнула только у него рука, когда подавал ее.

«Ну, — подумал, — прочитают сейчас, что я за соколовище, и...»

И ничего ровно не случилось.

Во-первых, никто анкету не читал, во-вторых, попала она в руки к барышне-регистраторше, которая рас-

порядилась ею по обычаю: провела вместо входящего по исходящему и затем немедленно ее куда-то засунула, так что анкета как в воду канула.

Ухмыльнулся Чичиков и начал служить.

III

А дальше пошло легче и легче. Прежде всего, оглянулся Чичиков и видит: куда ни плюнь, свой сидит Полетел в учреждение, где пайки-де выдают, и слышит

— Знаю я вас, скалдырников: возьмете живого кота, обдерете, да и даете на паек! А вы дайте мне бараний бок с кашей. Потому что лягушку вашу пайковую мне хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот и гнилой селедки тоже не возьму!

Глянул — Собакевич.

Тот, как приехал, первым долгом двинулся паек требовать. И ведь получил! Съел и надбавки попросил. Дали. Мало! Тогда ему второй отвалили; был простой — дали ударный. Мало! Дали какой-то бронированный. Сlopал и еще потребовал. И со скандалом потребовал! Обругал всех хриstopродавцами, сказал, что мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет и что есть один только порядочный человек делопроизводитель, да и тот, если сказать правду, свинья!

Дали академический.

Чичиков, лишь увидел, как Собакевич пайками орудует, моментально и сам устроился. Но, конечно, превзошел и Собакевича. На себя получил, на несуществующую жену с ребенком, на Селифана, на Петрушку, на того самого дядю, о котором Бетрищеву рассказывал, на старуху мать, которой на свете не было. И всем академические. Так что продукты к нему стали возить на грузовике.

А наладивши таким образом вопрос с питанием, двинулся в другие учреждения, получать места.

Пролетая как-то раз в автомобиле по Кузнецкому, встретил Ноздрева. Тот первым долгом сообщил, что он уже продал и цепочку, и часы. И точно, ни часов, ни цепочки на нем не было. Но Ноздрев не унывал. Рассказал, как повезло ему на лотерее, когда он выиграл полфунта постного масла, ламповое стекло и подметки на детские ботинки, но как ему потом не повезло и он, канальство, еще своих шестьсот миллионов доло-

жил. Рассказал, как предложил Внешторгу поставить за границу партию настоящих кавказских кинжалов. И поставил. И заработал бы на этом тьму, если б не мерзавцы англичане, которые увидели, что на кинжалах надпись «Мастер Савелий Сибиряков», и все их забраковали. Затащил Чичикова к себе в номер и напоил изумительным, якобы из Франции полученным, коньяком, в котором, однако, был слышен самогон во всей его силе. И наконец до того довался, что стал уверять, что ему выдали восемьсот аршин мануфактуры, голубой автомобиль с золотом и ордер на помещение в здании с колоннами.

Когда же зять его Мижуев выразил сомнение, обругал его, но не Софроном, а просто сволочью.

Одним словом, надоел Чичикову до того, что тот не знал, как и ноги от него унести.

Но рассказы Ноздрева навели его на мысль и самому заняться внешней торговлей.

IV

Так он и сделал. И опять анкету написал и начал действовать — и показал себя во всем блеске. Баранов в двойных тулупах водил через границу, а под тулупами брабантские кружева; бриллианты возил в колесах, дышлах, в ушах и невесть в каких местах.

И в самом скором времени очутились у него около пятисот апельсинов капиталу.

Но он не унялся, а подал куда следует заявление, что желает снять в аренду некое предприятие, и расписал необыкновенными красками, какие от этого государству будут выгоды.

В учреждении только рты расстегнули — выгода действительно выходила колоссальная. Попросили указать предприятие. Извольте. На Тверском бульваре, как раз против Страстного монастыря, перейдя улицу, и называется — «Пампуш на Твербуле». Послали запрос куда следует: есть ли там такая штука. Ответили: есть и всей Москве известна. Прекрасно.

— Подайте техническую смету.

У Чичикова смета уже за пазухой.

Дали в аренду.

Тогда Чичиков, не теряя времени, полетел куда следует:

— Аванс пожалуйста.

— Представьте ведомость в трех экземплярах с надлежащими подписями и приложением печатей.

Двух часов не прошло, представил и ведомость. По всей форме. Печатей столько, как в небе звезд. И подписи налицо.

За заведующего — Неуважай-Корыто, за секретаря — Кувшинное Рыло, за председателя тарифно-расценочной комиссии — Елизавета Воробей.

— Верно. Получите ордер.

Кассир только крикнул, глянув на итог.

Расписался Чичиков и на трех извозчиках увез дензнаки.

А затем в другое учреждение:

— Пожалте подтоварную ссуду.

— Покажите товары.

— Сделайте одолжение. Агента позвольте.

— Дать агента!

Тьфу! и агент знакомый: Ротозей Емельян.

Забрал его Чичиков и повез. Привез в первый попавшийся подвал и показывает. Видит Емельян — лежит несметное количество продуктов.

— М-да... И все ваше?

— Все мое.

— Ну, — говорит Емельян, — поздравляю вас в таком случае. Вы даже не миллионщик, а трильонщик!

А Ноздрев, который тут же с ними увязался, еще подлил масла в огонь.

— Видишь, — говорит, — автомобиль в ворота сапогами едет? Так это тоже его сапоги.

А потом вошел в азарт, потащил Емельяна на улицу и показывает:

— Видишь магазины? Так это все его магазины. Все, что по эту сторону улицы, — все его. А что по ту сторону — тоже его. Трамвай видишь? Его. Фонари?.. Его. Видишь? Видишь?

И вертит его во все стороны.

Так что Емельян взмолился:

— Верю! Вижу... только отпусти душу на покаяние.

Поехали обратно в учреждение.

Там спрашивают:

— Ну что?

Емельян только рукой махнул:

- Это, — говорит, — неопишимо!
- Ну, раз неопишимо — выдать ему $n+1$ миллиардов.

V

Дальше же карьера Чичикова приняла головокружительный характер. Уму непостижимо, что он вытворял. Основал трест для выделки железа из деревянных опилок и тоже ссуду получил. Вошел пайщиком в огромный кооператив и всю Москву накормил колбасой из дохлого мяса. Помещица Коробочка, услышав, что теперь в Москве «все разрешено», пожелала недвижимость приобрести; он вошел в компанию с Замахрышкиным и Утешительным и продал ей Манеж, что против Университета. Взял подряд на электрификацию города, от которого в три года никуда не доскачешь, и, войдя в контакт с бывшим городничим, разметал какой-то забор, поставил вежи, чтобы было похоже на планировку, а насчет денег, отпущенных на электрификацию, написал, что их у него отняли банды капитана Копейкина. Словом, произвел чудеса.

И по Москве вскоре загудел слух, что Чичиков — триллионщик. Учреждения начали рвать его к себе на расхват в спецы. Уже Чичиков снял за 5 миллиардов квартиру в пять комнат, уже Чичиков обедал и ужинал в «Ампире».

VI

Но вдруг произошел крах.

Погубил же Чичикова, как правильно предсказал Гоголь, Ноздрев, а прикончила Коробочка. Без всякого желания сделать ему пакость, а просто в пьяном виде, Ноздрев разболтал на бегах и про деревянные опилки, и о том, что Чичиков снял в аренду несуществующее предприятие, и все это заключил словами, что Чичиков жулик и что он бы его расстрелял.

Задумалась публика, и как искра побежала крылатая молва.

А тут еще дура Коробочка вперлась в учреждение расспрашивать, когда ей можно будет в Манеже булочную открыть. Тщетно уверяли ее, что Манеж казенное здание и что ни купить его, ни что-нибудь

открывать в нем нельзя, — глупая баба ничего не понимала.

А слухи о Чичикове становились все хуже и хуже. Начали недоумевать, что такое за птица этот Чичиков и откуда он взялся. Появились сплетни, одна другой зловещее, одна другой чудовищней. Беспокойство вселилось в сердца. Зазвенели телефоны, начались совещания... Комиссия построения в комиссию наблюдения, комиссия наблюдения в жилотдел, жилотдел в Наркомздрав, Наркомздрав в Главкустпром, Главкустпром в Наркомпрос, Наркомпрос в Пролеткульт и т. д.

Кинулись к Ноздреву. Это, конечно, было глупо. Все знали, что Ноздрев лгун, что Ноздреву нельзя верить ни в одном слове. Но Ноздрева призывали, и он ответил по всем пунктам.

Объявил, что Чичиков действительно взял в аренду несуществующее предприятие и что он, Ноздрев, не видит причины, почему бы не взять, ежели все берут? На вопрос: уж не белогвардейский ли шпион Чичиков, ответил, что шпион и что его недавно хотели даже расстрелять, но почему-то не расстреляли. На вопрос: не делатель ли Чичиков фальшивых бумажек, ответил, что делатель, и даже рассказал анекдот о необыкновенной ловкости Чичикова: как, узнавши, что правительство хочет выпускать новые знаки, Чичиков снял квартиру в Марьиной роще и выпустил оттуда фальшивых знаков на 18 миллиардов, и при этом на два дня раньше, чем вышли настоящие, а когда туда нагрянули и опечатали квартиру, Чичиков в одну ночь перемешал фальшивые знаки с настоящими, так что потом сам черт не мог разобраться, какие знаки фальшивые, а какие настоящие. На вопрос: точно ли Чичиков обменял свои миллиарды на бриллианты, чтобы бежать за границу, Ноздрев ответил, что это правда и что он сам взялся помогать и участвовать в этом деле, а если бы не он, ничего бы и не вышло.

После рассказов Ноздрева полнейшее уныние овладело всеми. Видят, никакой возможности узнать, что такое Чичиков, нет. И неизвестно, чем бы все это кончилась, если бы не нашелся среди всей компании один. Правда, Гоголя он тоже, как и все, в руки не брал, но обладал маленькой дозой здравого смысла.

Он и воскликнул:

— А знаете, кто такой Чичиков?

И когда все хором грянули:

— Кто?!

Он произнес гробовым голосом:

— Мошенник.

VII

Тут только и осенило всех. Кинулись искать анкету Нету. По входящему. Нету. В шкапу — нету. К регистраторше.

— Откуда я знаю? У Иван Григорыча.

К Иван Григорычу:

— Где?

— Не мое дело. Спросите у секретаря, и т. д., и т. д.

И вдруг неожиданно в корзине для ненужных бумаг — она.

Стали читать — и обомлели.

Имя? Павел. Отчество? Иванович. Фамилия? Чичиков. Звание? Гоголевский персонаж. Чем занимался до революции? Скупкой мертвых душ. Отношение к воинской повинности? Ни то, ни се, ни черт знает что. К какой партии принадлежит? Сочувствующий (а кому — неизвестно). Был ли под судом? Волнистый зигзаг. Адрес? Поворотя во двор, в третьем этаже направо, спросить в справочном бюро штаб-офицершу Подточину, а та знает.

Собственноручная подпись? Обмакни!!

Прочитали и окаменели.

Крикнули инструктора Бобчинского:

— Катись на Тверской бульвар в арендуемое им предприятие и во двор, где его товары, может, там что откроется!

Возвращается Бобчинский. Глаза круглые.

— Чрезвычайное происшествие!

— Ну!!

— Никакого предприятия там нету. Это он адрес памятника Пушкину указал. И запасы не его, а АРА.

Тут все взвыли:

— Святители угодники! Вот так гусь! А мы ему миллиарды!! Выходит, теперича ловить его надо!

И стали ловить.

VIII

Пальцем в кнопку ткнули:

— Кульера.

Отворилась дверь, и предстал Петрушка. Он от Чичикова уже давно отошел и поступил курьером в учреждение.

— Берите немедленно этот пакет и немедленно отправляйтесь.

Петрушка сказал:

— Слушаю-с.

Немедленно взял пакет, немедленно отправился и немедленно его потерял.

Позвонили Селифану в гараж:

— Машину. Срочно.

— Чичас.

Селифан вострепнулся, закрыл мотор теплыми штанами, натянул на себя куртку, вскочил на сиденье, зашвистел, загудел и полетел.

Какой же русский не любит быстрой езды?!

Любил ее и Селифан, и поэтому при самом въезде на Лубянку пришлось ему выбирать между трамваем и зеркальным окном магазина. Селифан в течение одной трети времени избрал второе, от трамвая увернулся и как вихрь с воплем: «Спасите!» — въехал в магазин через окно.

Тут даже у Тентетникова, который заведовал всеми Селифанами и Петрушками, лопнуло терпение:

— Уволить обоих, к свиньям!

Уволили. Послали на биржу труда. Оттуда командировали: на место Петрушки — плюшкинского Прошку, на место Селифана — Григория Доезжай-не-Доедешь. А дело тем временем кипело дальше!

— Авансовую ведомость!

— Извольте.

— Попросить сюда Неуважая-Корыто.

Оказалось, попросить невозможно. Неуважая месяца два тому вычистили из партии, а уже из Москвы он и сам вычистился сейчас же после этого, так как делать ему в ней было больше решительно нечего.

— Кувшинное Рыло?

Уехал куда-то на куличку инструктировать губотдел.

Принялись тогда за Елизавета Воробья. Нет такого! Есть, правда, машинистка Елизавета, но не Воробей. Есть помощник заместителя младшего делопроизводителя замзавподотдел Воробей, но он не Елизавета!

Прицепились к машинистке:

— Вы?!

— Ничего подобного! Почему это я? Здесь Елизавета с твердым знаком, а разве я с твердым? Совсем наоборот...

И в слезы. Оставили в покое.

А тем временем, пока возились с Воробьем, правозаступник Самосвистов дал знать Чичикову стороной, что по делу началась возня, и, понятное дело, Чичикова и след простыл.

И напрасно гоняли машину по адресу: поворота направо, никакого, конечно, справочного бюро не оказалось, а была там заброшенная и разрушенная столовая общественного питания. И вышла к приехавшим уборщица Фетинья и сказала, что никого нетути.

Рядом, правда, поворота налево, нашли справочное бюро, но сидела там не штаб-офицерша, а какая-то Подстега Сидоровна и, само собой разумеется, не знала не только чичиковского адреса, но даже и своего собственного.

IX

Тогда напало на всех отчаяние. Дело запуталось до того, что и черт бы в нем никакого вкуса не отыскал. Несуществующая аренда перемешалась с опилками, брабантские кружева с электрификацией, Коробочкина покупка с бриллиантами. Влип в дело Ноздрев, оказались замешанными и сочувствующий Ротозей Емельян, и беспартийный Вор Антошка, открылась какая-то панама с пайками Собакевича. И пошла писать губерния!

Самосвистов работал не покладая рук и впутал в общую кашу и путешествия по сундукам, и дело о подложных счетах за разъезды (по одному ему оказалось замешано до 50 000 лиц), и проч., и проч. Словом, началось черт знает что. И те, у кого миллиарды из-под носа выписали, и те, кто их должны были отыскать, метались в ужасе, и перед глазами был только один непреложный факт:

Миллиарды были и исчезли.

Наконец встал какой-то Дядя Митяй и сказал:

— Вот что, братцы... Видно, не миновать нам следственную комиссию назначить.

И вот тут (чего во сне не увидишь!) вынырнул, как некий бог на машине, я и сказал:

— Поручите мне.

Изумились:

— А вы... того... сумеете?

А я:

— Будьте покойны.

Поколебались. Потом красным чернилом:

«Поручить».

Тут я и начал (в жизнь не видел приятнее сна!).

Полетели со всех сторон ко мне 35 тысяч мотоциклов:

— Не угодно ли чего?

А я им:

— Ничего не угодно. Не отрывайтесь от ваших дел. Я сам справлюсь. Единолично.

Набрал воздуха и гаркнул так, что дрогнули стекла:

— Подать мне сюда Ляпкина-Тяпкина! Срочно! По телефону подать!

— Так что подать невозможно... Телефон сломался.

— А-а! Сломался! Провод оборвался? Так чтоб он даром не мотался, повесить на нем того, кто докладывает!!

Батюшки! Что тут началось!

— Помилуйте-с... что вы-с... Сию... хе-хе... минутку... Эй! Мастеров! Проволоки! Сейчас починят!

В два счета починили и подали.

И я рванул дальше:

— Тяпкин? М-мерзавец! Ляпкин? Взять его, прохвоста! Подать мне списки! Что? Не готовы? Приготовить в пять минут, или вы сами очутитесь в списках покойников! Э-э-то кто?! Жена Манилова — регистраторша? В шею! Улинька Бетрищева — машинистка? В шею! Собакевич? Взять его! У вас служит негодяй Мурзфейкин? Шулер Утешительный? Взять!! И того, кто их назначил, — тоже. Схватить его! И его! И этого! И того! Фетинью вон! Поэта Тряпичкина, Селифана и Петрушку в учетное отделение! Ноздрева в подвал... В минуту! В секунду!! Кто подписал ведомость? Подать его, каналью!! Со дна моря достать!!

Гром пошел по пеклу...

— Вот черт налетел! И откуда такого достали?!

А я:

— Чичикова мне сюда!!

— Н...н...невозможно сыскать. Они скрылись...

— Ах, скрылись? Чудесно! Так вы сядете на его место.

— Помил...

— Молчать!!

— Сию минуточку... Сию... Повремените секундочку
Ищут-с.

И через два мгновения нашли!

И напрасно Чичиков валялся у меня в ногах и рвал на себе волосы и френч и уверял, что у него нетрудоспособная мать.

— Мать?! — гремел я. — Мать?.. Где миллиарды? Где народные деньги?! Вор!! Взрезать его, мерзавца! У него бриллианты в животе!

Вскрыли его. Тут они.

— Все?

— Все-с.

— Камень на шею и в прорубь!

И стало тихо и чисто.

И я по телефону:

— Чисто.

А мне в ответ:

— Спасибо. Просите чего хотите.

Так я и взметнулся около телефона. И чуть было не выложил в трубку все сметные предположения, которые давно уже терзали меня:

«Брюки... фунт сахару... лампу в 25 свечей...»

Но вдруг вспомнил, что порядочный литератор должен быть бескорыстен, увял и пробормотал в трубку:

— Ничего, кроме сочинений Гоголя в переплете, каковые сочинения мной недавно проданы на толчке.

И... бац! У меня на столе золотообрезный Гоголь!

Обрадовался я Николаю Васильевичу, который не раз утешал меня в хмурые бессонные ночи, до того, что рывкнул:

— Ура!

И...

ЭПИЛОГ

..конечно, проснулся. И ничего: ни Чичикова, ни Ноздрева и, главное, ни Гоголя...

«Э-хе-хе», — подумал я себе и стал одеваться, и вновь пошла передо мной по-будничному щеголять жизнь

БАГРОВЫЙ ОСТРОВ

Роман тов. Жюль Верна.

С французского на эзоповский перевел Михаил А. Булгаков

Ч А С Т Ь I

ВЗРЫВ ОГНЕДЫШАЩЕЙ ГОРЫ

Г л а в а I

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ

В океане, издавна за свои бури и волнения названном Тихим, под 45-м градусом находился огромный необитаемый остров, населенный славными и родственными племенами — красными эфиопами, белыми арапами и арапами неопределенной окраски получившими от мореплавателей почему-то кличку — махровых.

«Надежда», корабль знаменитого лорда Гленарвана, впервые подошедший к острову, обнаружил на нем оригинальные порядки: несмотря на то, что красные эфиопы численностью превышали и белых, и махровых арапов в 10 раз, правили островом исключительно арапы. На троне, в тени пальмы сидел украшенный рыбьими костями и сардинными коробками повелитель Сизи-Бузи, с ним рядом верховный жрец и еще военачальник Рики-Тики-Тави

Красные же эфиопы были заняты обработкой маисовых полей, рыбной ловлей и собиранием черепаших яиц.

Лорд Гленарван начал с того, с чего привык начи

нать всюду, где бы ни появлялся: водрузил на горе флаг и сказал по-английски:

— Этот остров... мой немножко будет.

Произошло недоразумение. Эфиопы, не понимавшие никакого языка, кроме своего, из флага сделали себе штаны. Тогда лорд стал пороть эфиопов под пальмами, а перепоров всех, вступил в переговоры с Сизи-Бузи и от последнего узнал, что этот остров — его, Сизин-Бузин, и «флаг не надо».

Оказывается, остров открывали уже два раза. Во-первых, немцы, а за ними какие-то, которые лопали тягушек. В доказательство Сизи ссылался на сардиночные коробки и умильно намекнул, что «огненная вода вкусная очень есть, да».

— Пронюхали, сукины сыны! — проворчал лорд по-английски и, похлопав Сизи по плечу, милостиво разрешил ему и в дальнейшем числить остров за собой.

Затем произошел товарообман. Матросы сгрузили на берег с «Надежды» стеклянные бусы, тухлые сардинки, сахарин и огненную воду. Бурно ликуя, эфиопы свезли на берег бобровые шкуры, слоновую кость, рыбу, яйца и жемчуг.

Сизи-Бузи огненную воду взял себе, сардинки тоже, бусы также, а сахарин подарил эфиопам.

Установились правильные сношения. Суда заходили в бухту, сбрасывали английские ценности, забирали эфиопову дрянь. На острове поселился корреспондент «Нью-Йоркского Таймса» в белых штанах и с трубкой и немедленно заболел тропическим триппером.

Остров в учебниках географии был назван — Эфиопов остров (л'Иль д'Эфиоп¹).

Г л а в а II

СИЗИ ПЬЕТ ОГНЕННУЮ ВОДУ

Засим остров достиг невиданного процветания. Верховный жрец, военачальник и сам Сизи-Бузи буквально плавали в огненной воде. Лицо Сизи сделалось в конце концов как лакированное и какое-то круглое, без складок. Армия белых арапов, украшенная бусами, лесом копий сверкала у шатра.

¹ L'île d'Ethiophe (фр.)

Проходившие суда нередко слышали победные крики, несущиеся с острова:

— Да здравствует наш повелитель Сизи-Бузи, а равно и верховный жрец! Ура, ура!

Кричали арапы, и громче всех махровые.

Со стороны эфиопов доносилось громкое молчание. Не получая огненного пайка и работая до потери задних ног, означенные эфиопы находились в состоянии томном и даже граничащем с глухим неудовольствием. А так как среди эфиопов, как и среди всех людей, имеются смутьяны, то бывало и так, что у эфиопов зарождались завиральные мысли:

— Это как же, братцы? Ведь это выходит не по-божецки? Водка им (арапам), бусы им, а нам шиш с сахарином? А как работать — это тоже мы?

Кончилось это крупной неприятностью, и опять-таки для эфиопов. Сизи-Бузи при самом начале брожения умов послал к эфиоповым вигвамам карательную арапову экспедицию, и та в два счета привела эфиопов к одному знаменателю.

Перепоротые, они кланялись в пояс и говорили:

— И детям закажем.

И, таким образом, вновь наступили ясные времена.

Г л а в а III

КАТАСТРОФА

Вигвамы Сизи и жреца помещались в лучшей части острова у подножия потухшей триста лет назад огнедышащей горы.

Однажды ночью она проснулась совершенно неожиданно, и сейсмографы в Пулково и Гринвиче показали зловещную чепуху.

Из огнедышащей горы вылетел дым, за ним пламя, потом поперли какие-то камни, а затем, как кипяток из самовара, жаркая лава.

И к утру было чисто. Эфиопы узнали, что они остались без повелителя Сизи-Бузи и без жреца, с одним военачальником. На месте королевских вигвамов громоздились горы лавы.

Г л а в а IV

ГЕНИАЛЬНЫЙ КИРИ-КУКИ

В первое мгновение эфиопы были разбиты громом, и даже произошли в толпе слезы, но уже во второе мгновение по головам и эфиопов, и уцелевших арапов во главе с военачальником пронесся совершенно естественный вопрос: «Что же будет дальше?»

Вопрос повлек за собой гудение, сперва неясное, а затем громкое, и неизвестно, во что бы это вылилось, если бы не произошло удивительное событие.

Над толпой, напоминающей маковое поле с редкими белыми пятнами и махрами, взвилось чье-то испитое лицо и бегающие глаза, а затем, возвышаясь на бочке, всей своей персоной предстал известный всему острову пьяница и бездельник Кири-Куки.

Эфиопов разбило громом второй раз, и причиной этому был поразительный вид Кири-Куки. Все от мала до велика привыкли его видеть околачивающимся то в бухте, где выгружали огненные прелести, то возле вигвама Сизи и отлично знали, что Кири чистой воды махровый арап. И вот Кири явился перед ошалевшими островитянами раскрашенным с ног до головы в боевые эфиоповы красные цвета. Самый опытный глаз не отличил бы вертявого пройдоху от обыкновенного эфиопа.

Кири качнулся на бочке вправо, потом влево и, открыв большой рот, грянул изумительные слова, тотчас занесенные в записную книжку восхищенным корреспондентом «Таймса».

— Как таперича стали мы свободные эфиопы, объявляю вам спасибо!

Абсолютно ни один из эфиопова моря не понял, почему именно Кири-Куки объявляет спасибо и за что спасибо! И вся громада ответила ему изумленным громовым:

— Ура!!!

Несколько минут бушевало оно на острове, а затем его прорезал новый вопль Кири-Куки:

— А теперь, братцы, вали присягать!

И когда восхищенные эфиопы взвыли:

— К-кому?!!

Кири ответил пронзительно:

— Мне!!!

На сей раз хлопнуло арапов. Но паралич продолжался недолго. С криком:

— Угодил, каналья, в точку! — военачальник первым бросился качать Кири-Куки.

Всю ночь на острове, играя в небе отблесками, горели веселые костры и, пьяные от радости и от огненной воды, раскупоренной тороватым Кири, плясали вокруг них эфиопы.

Проходящие суда тревожно бороздили небо радиомолниями и собирались остров для порядку обстрелять, но вскоре весь цивилизованный мир был успокоен телеграммой таймсова корреспондента:

«У дураков на острове национальный праздник байрам точка Мошенник гениален».

Г л а в а V

BOUNT

Затем события покатались со сверхъестественной быстротой. В первый же день, чтобы угодить эфиопам, Кири остров назвал Багровым, в честь основного эфиопова цвета, и этим эфиопов, равнодушных к славе, не прельстил, а арапов обозлил. Во второй день, чтобы угодить арапам, в должности военачальника утвердил арапа же Рики-Тики — и этим арапам не угодил, потому что каждый из них хотел быть начальником, а эфиопов обозлил. В третий, чтобы угодить лично себе, соорудил себе из шпротовой коробки лохматый головной убор, до чрезвычайности напоминающий корону покойного Сизи. Этим никому не угодил и всех обозлил, ибо арапы полагали, что каждый из них достоин коробки, а эфиопы, развращенные огненной водой, были вообще против коробки, напоминающей им весьма жгуче приведение к одному знаменателю.

Последнее же мероприятие Кири-Куки было направлено по адресу огненной воды, и на нем Кири окончательно и засыпался. Кири объявил, что огненной воды будет всем поровну, и не исполнил. Очень просто. Ежели всем, то ее нужно много. А где же ее взять? В обмен на воду Кири загнал очередной урожай маиса — воды много не добыл, зато не только эфиопам, но и арапам подвело животы и получилось неудовольствие.

В прекрасный жаркий день, когда Кири, по обыкно-

вению, лежал негодный к употреблению в своем вигваме, к начальнику Рики-Тики явился некий эфиоп, на физиономии коего были явственно выписаны его смутьянские наклонности. В момент его появления Рикипил огненную воду под аккомпанемент хрустящего жареного поросенка.

— Тебе чего надо, эфиопская морда? — сухо спросил мрачный командир.

Эфиоп пропустил комплимент мимо ушей и прямо приступил к делу.

— Ды как же это? — заныл он. — Ведь это что же? Вам и водка, и поросята? Это опять, стало быть, старые порядки?

— Ага. Ты, значит, поросенка захотел? — сдерживаясь, спросил воин.

— А как же? Чай, эфиоп тоже человек? — дерзко ответил визитер и нагло отставил ногу.

Рики взял поросенка за хрустящую ножку и, развернув его винтом, хлопнул эфиопа в зубы так, что из поросенка брызнуло масло, изо рта эфиопа — кровь, а из глаз слезы вперемешку с крупными зелеными искрами.

— Вон!!!! — закончил Рики дискуссию.

Неизвестно, что такое учинил эфиоп, вернувшись к себе домой, но хорошо известно, что к концу дня весь остров уже гудел, как улей. А уже ночью фрегат «Ченслер», проходя мимо острова, видел два зарева в южной бухте Голубого Спокойствия и весь мир встревожил телеграммой:

«Острове огни всем признакам ослов эфиопов снова праздник Гаттерас».

Но почтенный капитан ошибся. Правда, огни были, но праздничного в них не заключалось ровно ничего. Просто в бухте горели вигвамы эфиопов, подожженные карательной экспедицией Рики-Тики.

Наутро огненные столбы превратились в дымные, причем их было не два, а уже девять. К ночи дымы превратились опять в лапчатые зарева (шестнадцать штук).

Мир был встревожен газетным заголовком в Париже, Лондоне, Риме, Нью-Йорке, Берлине и прочих городах «В чем дело?».

И вот пришла телеграмма таймсовского корреспондента, поразившая мир:

«Шестой день горят вигвамы арапов. Тучи эфио-

пов... (неразборчиво) Кири жулик бежа... (неразборчиво)».

А через день грянула на весь мир ошеломляющая телеграмма, уже не с острова, а из европейского порта:

«Ephior sakatil grandiosni bount. Ostrov gorit, povalnaja tschouma Gori trouпов. Avansom piasot. Korrespondent».

ЧАСТЬ II

ОСТРОВ В ОГНЕ

Глава VI

ТАИНСТВЕННЫЕ ПИРОГИ

На рассвете часовые на европейском берегу крикнули:

— На горизонте суда!!

Лорд Гленарван вышел с подозрительной трубой и долго изучал черные точки.

— Мой не понимай, — сказал джентльмен, — похоже, пироги диких?

— Гром и молния! — воскликнул Мишель Ардан, отбросив Цейсс в сторону. — Ставлю вашингтонский доллар против дырявого лимона выпуска 23-го года, если это не арапы!

— И очень просто, — подтвердил Паганель.

Ардан и Паганель угадали.

— Что означайт? — спросил лорд, удивившись в первый раз в жизни.

Вместо ответа арапы только хныкали. На них было положительно страшно смотреть. Когда они немного отдышались, выяснились ужасные вещи: эфиопов тучи. Проклятые смутьяны разожгли этих дураков. Требование: арапов к чертям. Рики послал экспедицию, и ее перебили. Мерзавец Кири-Куки улизнул первый на пироге. Остатки карательной экспедиции во главе с Рики-Тики вот они — в пирогах. Они мало-мало к лорду приехали.

— Сто сорок чертей и одна ведьма!! — грянул Ардан. — Они собираются жить в Европе. Компренэ ву?¹

¹ Вы понимаете?! (От *фр.* *comprenez-vous?*!)

— Но кто кормить будет? — испугался Гленарван. — Нет, вы обратно остров езжай.

— Нам таперича, ваше сиятельство, на остров и носу показать невозможно, — плакали арапы, — эфиопы нас начисто поубивают. А во вторых строках, вигвамы наши, к черту, попалили. Вот ежели бы какую ни на есть военную силу послать, смирить этих сволочей...

— Благодарю, — иронически ответил лорд, указывая на телеграмму корреспондента, — у вас там чума. Мой еще с ума не сходил. Один мой матрос дороже, чем ваш паршивый остров весь. Да.

— Точно так, ваше превосходительство, — согласились арапы, — известно, что мы ни черта не стоим. А насчет чумы господин корреспондент верно пишут. Так и косит, так и косит. И опять же голод.

— Тэк-с, — задумчиво сказал лорд, — ладно. Мой будет посмотрейт, — и скомандовал: — в карантин!

Г л а в а VII

АРАПОВЫ МУКИ

Чего натерпелись арапы в гостях у лорда, и выразить невозможно. Началось с того, что их мыли в карболке и держали за загородкой, как каких-нибудь ослов. Кормили аккуратно, как раз так, чтобы арапы не умирали. А так как установить точную норму при таком методе невозможно, то четверть арапов все-таки отдала богу душу.

Наконец, промариновав арапов в карантине, лорд направил их на работы в каменоломни. Там были надсмотрщики, а у надсмотрщиков бичи из воловых жил...

Г л а в а VIII

МЕРТВЫЙ ОСТРОВ

Суда получили приказ обходить остров на пушечный выстрел. Так они и делали. По ночам было видно слабое догорающее зарево, а днем остров тлел черным дымом. Потом к этому прибавился удушающий смрадный дух. По голубым волнам тянуло трупным запахом.

— Крышка острову, — говорили матросы, глядя в бинокли на коварную зеленую береговую полосу.

Арапы, превратившиеся на хлебах лорда в бледные тени, шляясь в каменоломнях, злорадствовали:

— Так им и надо, прохвостам. Пушай поумирают, к свиньям. Когда все издохнут, вернемся и остров займем. А уже этому мертвецу Кири-Куки кишки выпустим своеручно, где бы ни попался.

Лорд хранил спокойное молчание.

Г л а в а IX

ЗАСМОЛЕННАЯ БУТЫЛКА

Ее выбросила однажды волна на европейский берег. Ее вскрыли с карболовыми предосторожностями в присутствии лорда, и в ней оказались неразборчивые каракули эфиопской рукой. Переводчик разобрался в них и представил лорду документ:

«Погибаем с голоду. Ребята (через ять) малыедохнут. Чума то же самое. Чай, ведь мы люди? Хлебца пришлите. Любящие эфиопы».

Рики-Тики посинел и заявил:

— Ваше сиясь!.. Да ни за что! Да пушай поумирают! Да ежели после всего их бунта да еще и кормить...

— Я и не собираюсь, — холодно ответил лорд и съездил Рики по уху хлыстом, чтобы он не лез с советами.

— В сущности, это свинство... — пробормотал сквозь зубы Мишель Ардан, — можно было бы послать немного майсу.

— Благодарю вас за совет, месье, — сухо ответил Гленарван, — интересно знать, кто будет платить за маис? И так эта арапская орава налопала на черт знает сколько. В глупых советах я не нуждаюсь.

— Вот как? — прищурившись, спросил Ардан. — Позвольте узнать, сэр, когда мы стреляемся. И клянусь, дорогой сэр, я попаду в 20 шагах в вас так же легко, как в собор Парижской Богоматери.

— Я не поздравляю вас, месье, если вы окажетесь в 20 шагах от меня, — ответил лорд, — вес вашего тела увеличится на вес пули, которую я всажу вам в один из ваших глаз по вашему выбору.

Филеас Фогг был секундантом лорда, Паганель — Ардана. Вес Ардана остался прежним, и Ардан в лорда не попал. Он попал в одного из арапов, сидевших из

любопытства за кустом. Пуля пошла арапу в переносицу и вышла через затылок. Арап умер в то время, когда она была на полпути — посредине мозга.

Ардан и Гленарван пожали друг другу руки и разошлись.

Но этим история с бутылкой не кончилась. Ночью 50 арапов сбежали на пирогах с европейского берега, оставив лорду нахальную записку:

«Спасибо за карболку и воловьши жиры надсмотрщиков. Надеемся, что когда-нибудь мы им переломает ноги. Едем обратно на остров. С эфиопами замиряемся. Лучше от чумы подохнуть дома, чем от вашей тухлой солонины. С почтением, арапы».

Уехавшие уперли с собой подзорную трубу, испорченный пулемет, 100 банок сгущенного молока, шесть дверных блестящих ручек, 10 револьверов и двух европейских женщин.

Лорд перепорол оставшихся арапов и занес в книжку стоимость похищенного.

ЧАСТЬ III

БАГРОВЫЙ ОСТРОВ

Глава X

ИЗУМИТЕЛЬНАЯ ДЕПЕША

Прошло 6 лет. Изолированный мертвый остров был забыт. С кораблей изредка издали видели моряки в бинокли пышную зелень его берегов, скалы и пенный прибой. Больше ничего.

Семь лет было назначено, чтобы выветрилась чума и остров стал безопасным. В конце седьмого предполагалась экспедиция на остров с целью вселения арапов обратно. Арапы, худые как скелеты, томились в каменоломнях.

И вот в начале седьмого года цивилизованный мир был потрясен изумительным известием. Радиостанции Америки, Англии, Франции привяли радиотелеграмму:

«Чума кончилась. Слава богу, живы, здоровы, чего и вам желаем. Ваши уважаемые эфиопы».

Наутро во всем мире газеты вышли с аршинными заголовками:

Остров говорит!!

Загадочное радио!!! Эфиопы живы?!

— Клянусь фланелевыми панталонами моей бабушки! — взревел М. Ардан. — Это сверхъестественно. Не то удивительно, что они выжили, а то, что они дают телеграммы. Не дьявол же им соорудил радиостанцию?!

Лорд Гленарван принял известие задумчиво. Арапы же были совершенно разбиты. Рики-Тики-Тави хныкал и просил лорда.

— Теперича, ваше преосвященство, единственно: перебить их — экспедицию послать. Ведь это что ж такое делается?! Остров наш наследственный. До каких же пор мы тут томиться будем?

— Мой будет посмотреть, — ответил лорд.

Г л а в а Х I

КАПИТАН ГАТТЕРАС И ЗАГАДОЧНЫЙ БАРКАС

В чудесный майский день у острова на море показался дым винтом, и вскоре корабль, под командой капитана Гаттераса, командированный лордом Гленарваном, пристал к берегу. Матросы усеяли ванты и борты и с любопытством глядели на остров. Глазам их представилась следующая картина: в бухте мирно дремала вода и неизвестный баркас торчал у самого берега среди целой стаи новеньких, видимо, только что отстроенных пирог. Загадка радиотелеграммы объяснилась тут же: вдали глядел в изумрудном тропическом лесу шпиль чрезвычайно уродливо сооруженной радиостанции.

— Сто дьяволов! — вскричал капитан. — Эти остолопы сами построили эту кривую дылду!

Матросы весело хохотали, глядя на корявый плод эфиопова творчества.

Лодка с корабля подошла к берегу и высадила капитана с несколькими матросами.

Первое, что поразило отважных мореплавателей, — это чрезвычайное изобилие эфиопов. Гаттераса обступили не только взрослые, но и целая куча молодых. На самом берегу гирляндами сидели толстые маленькие

эфиопчики и удили рыбу, свесив ноги в голубую воду.

— Черт меня возьми, если эта чума не пошла им на пользу! — удивился Гаттерас. — У них такие морды, как будто их кормили кашей «Геркулес»! Ну-с, будем посмотреть дальше...

Дальше его поразил именно старенький баркас, приютившийся в бухте. Одного опытного взгляда было достаточно, чтобы убедиться: баркас с европейской верфи.

— Это мне не нравится, — процедил сквозь зубы Гаттерас, — если только они не украли эту дырявую калошу, то спрашивается, какая каналья шлялась на остров во время карантина? Мне сильно сдается, что баркас немецкий! — И, обратившись к эфиопам, он спросил: — Эй вы! Краснорожие черти! Где вы свистнули лодку?

Эфиопы лукаво заулыбались, показав жемчужные зубы, и ничего не ответили.

— Не желаете отвечать? Ладно, — капитан нахмурился, — я вас сделаю разговорчивее.

С этими словами он направился к баркасу. Но эфиопы преградили ему и матросам путь.

— Прочь! — рявкнул капитан и привычным жестом взялся за задний карман.

Но эфиопы не ушли прочь. В одно мгновение Гаттерас и матросы оказались в тесном и плотном кольце. Шея капитана побагровела. В толпе он вдруг разглядел одного из белых арапов, бежавших из каменоломни.

— Ба-а! Старый знакомый! — воскликнул Гаттерас. — Теперь я понимаю, откуда смуты! Подойди сюда, негодяй!

Но негодяй не пожелал подойти. Он так и заявил: — Не пойду!

Капитан Гаттерас в бешенстве оглянулся, и шея его стала фиолетовой, составив прекрасный контраст с белым полем его шлема. Дело в том, что в руках у многих эфиопов он разглядел ружья, чрезвычайно похожие на немецкие винтовки, а в руках у арапа — свистнутый у Гленарвана парабеллум. Лица матросов, обычно бойкие, стали серьезно-серенькими. Капитан глянул на жгучее синее небо, затем на рейд, где покачивался его корабль. Оставшиеся на борту матросы пестрели белыми пятнышками на реях и мирно наблюдали берег.

Капитан Гаттерас умел владеть собой. Шея его по-

степенно приобрела нормальный цвет, говорящий о том, что паралич на сей раз отсрочен.

— Пропустите-ка меня обратно на корабль, — вежливо-хриплым голосом сказал он.

Эфиопы расступились, и Гаттерас, эскортируемый моряками, отбыл на корабль. Через час на нем загремели якорные цепи, а через два он уже виднелся лишь маленьким дымком на горизонте солнечного моря.

Г л а в а XII

НЕПОБЕДИМАЯ АРМАДА

В бараках, занятых арапами, творилось что-то неопишуемое. Арапы испускали победные клики и ходили на головах. В этот день им ведрами подали золотистый жирный бульон. Лохмотьев на арапах больше не было. Им выдали великолепные ситцевые штаны и сколько угодно краски для боевой татуировки. У барачников стояли в козлах новехонькие скорострельные винтовки и пулеметы.

Рики-Тики-Тави был интереснее всего. Он сверкал кольцами в носу, пестрел развевающимися перьями. Лицо у него сияло, как у живоцерковного попа на Пасху. Он ходил как помешанный и говорил только одно:

— Ладно, ладно, ладно. Ужо, таперя, голубчики, вы у меня попрыгаете. Дай срок, доплывем. Вот только доплывем.

И при этом пальцами он делал такие жесты, как будто кому-то невидимому выдирает глаза.

— Стройся! Смирно! Ура! — кричал он и летал перед фронтом отяжелевших от бульона арапов.

Три бронированных громады в порту стали принимать араповы батальоны. И тут произошло событие. На середину перед фронтом вылезла оборванная и истасканная фигурка с головой, стриженной ежиком. Ошеломленные арапы всмотрелись и узнали в фигурке не кого иного, как самого Кири-Куки, скитавшегося все это время неизвестно где.

Он имел наглость выйти перед фронтом арапов и с заискивающей улыбочкой обратиться к Рики-Тики:

А меня-то что ж, братцы, забыли? Чай, я ваш Тоже арап. И меня на остров возьмите. Я пригожусь.

Он не успел окончить речь. Рики позеленел и вытащил из-за пояса широкий острый ножик.

— Ваше здоровье, — трясущимися губами обратился он к лорду Гленарвану, — этот самый... вот этот вот, и есть Кири-Куки, из-за которого сыр-бор загорелся. Дозвольте мне, ваша светлость, своими ручками ему глоточку перерезать?

— Отчего же. С удовольствием, — ответил лорд благодушно, — только скорей, не задерживай посадку.

Кири-Куки успел только раз пискнуть, пока Рики мастерским ударом перекатил ему глотку от уха до уха.

Затем лорд Гленарван и Мишель Ардан выступили перед фронтом, и лорд произнес напутственную речь

— Езжайт, эфиопов покоряйт. Мой будет помогайт с корабля стреляйт. Ваш потом будет платийт за этот.

И батальоны арапов под музыку сели на суда

Г л а в а XIII

НЕОЖИДАННЫЙ ФИНАЛ

Как жемчужина сияющий предстал в ослепительный день остров. Суда подошли к берегу и начали высаживать вооруженный арапов строй. Рики — полный боевого пламени — соскочил первый и, потрясая саблей скомандовал:

— Храбрые арапы, за мной!

И арапы устремились за ним.

Затем произошло следующее: из плодоносной земли острова навстречу незванным гостям встала неопикуемая эфиопова сила. Эфиопы ползли густейшими шеренгами. Их было так много, что зеленый остров во мгновение ока стал красным. Они перли тучами со всех сторон, и над их красным океаном, как зубная щетка, густо лезла щетина копий и штыков. Кое-где вкрапленные, неслись в качестве отделенных командиров те самые арапы, что дали ходу из каменоломни. Означенные арапы были вдребезги расписаны эфиоповыми знаками, потрясали револьверами. На их лицах ясно было написано, что им нечего терять. Из глоток у них неслоь только одно — боевой командный вопль.

— В штыки!!

На что эфиопы отвечали таким воєм, от которого стыла в жилах кровь:

— Бей их, сукиных сынов!!!

Когда враги встретились, стало ясно, что армия Рики не что иное, как белый остров в бушующем багровом океане. Он расплеснулся и охватил арапов с флангов.

— Клянусь рогами дьявола! — ахнул на борту флагманского корабля М.Ардан. — Я не видал ничего подобного!

— Подкрепите их огнем! — приказал лорд Гленарван, отрываясь от подзорной трубы.

Капитан Гаттерас подкрепил. Бухнула четырнадцатидюймовая пушка, и снаряд, дав недолет, лопнул как раз на стыке между арапами и эфиопами. В клочья разорвало 25 эфиопов и 40 арапов. Второй снаряд имел еще больший успех: 50 эфиопов и 130 арапов. Третьего снаряда не последовало, ибо лорд Гленарван, наблюдавший за результатами стрельбы в подзорную трубу, ухватил капитана Гаттераса за глотку и оттащил от пушки с воплем:

— Прекратите это, черт бы вас взял! Ведь вы лупите по арапам!!

В шеренгах арапов после первых двух подарков Гаттераса поднялся невероятнейший визг и вой, и ряды их дрогнули.

Взвыл даже Рики-Тики, вокруг которого закрутился бешеный водоворот. В водовороте вынырнуло внезапно искаженное лицо одного из рядовых арапов. Он подскочил к ошалевшему вождю и захрипел, причем пена вылезала у него вместе со словами:

— Как?! Мало того, что ты нас затянул в каменоломни и мариновал семь лет!! А теперь еще!! Загнал под чемоданы?! Спереди эфиопы, а сзади по башке снарядом?! А-а-а-а!!!

Арап во мгновение выхватил ножик и вдохновенно всадил его Рики-Тики, чрезвычайно метко угадав между 5-м и 6-м ребром с левой стороны.

— Помо... — ахнул вождь, — гите, — закончил уже на том свете перед престолом Всевышнего.

— Ур-ра!!! — грянули эфиопы.

— Сдаемся!! Ура! Замирайся, братцы!! — завывали смятенные арапы, вертясь в бушующих водах эфиоповой необозримой рати.

— Ур-ра!! — ответили эфиопы.

И все смешалось на острове в невообразимой каше

— Семьсот лихорадок и сибирская язва!! — вскричал М. Ардан, впиваясь глазами в стекла Цейсса — Пусть меня повесят, если эти остолопы не помирились!! Гляньте, сэр! Они братаются!!

— Я вижу, — грубоватым голосом ответил лорд, — мне очень интересно было бы знать, каким образом мы получим теперь вознаграждение за все убытки, связанные с кормлением этой оравы в каменоломнях?

— Бросьте, дорогой сэр, — вдруг задушевно сказал М. Ардан, — ничего вы не получите здесь, кроме тропической малярии. И вообще, я советую вам немедленно поднимать якоря. Берегись!!! — вдруг крикнул он и присел.

И лорд присел машинально рядом с ним. И вовремя. Как дуновение ветра, над их головами прошла сверкнувшая туча стрел эфиопов и пуль арапов.

— Дайте им!! — взревел лорд Гаттерасу.

Гаттерас дал — и неудачно. Лопнуло высоко в воздухе. Соединенная арапо-эфиопская рота ответила повторной тучей, причем она прошла ниже, и лорд собственноразлично видел, как в корчах, сразу побагровев, упали семь матросов.

— К чертям эту экспедицию!! — прогремел дальновидный Ардан. — Ходу, сэр!! У них отравленные стрелы! Ходу, если вы не хотите привезти чуму в Европу!!

— Дай на прощание!! — просипел лорд.

Известный сапожник-артиллерист Гаттерас дал на прощание куда-то криво и косо, и суда снялись с якоря. Третья туча стрел безвредно села в воду.

Через полчаса громады, одевая дымом горизонт, уходили, разрезая гладь океана. В пенистой кормовой струе болтались семь трупов отравленных и выброшенных матросов.

Остров затягивало дымкой, и исчезала в ней изумрудная, напоенная солнцем береговая полоса.

Г л а в а XIV

ФИНАЛЬНЫЙ СИГНАЛ

В ночь одело огненным заревом тропическое небо над Багровым островом, и суда хлестнули во все радиостанции словами:

«Острове байрам чрезвычайных размеров точка черти пьют кокосовую водку!!»

А засим Эйфелева башня приняла зеленые молнии, сложившиеся в аппаратах в неслыханно наглую телеграмму:

«Гленарвану и Ардану!

На соединенном празднике посылаем вас к (неразборчиво) мат (неразборчиво).

С почтением, эфиопы и арапы».

— Закрывать приемники, — грянул Ардан.

Башня мгновенно потухла. Молнии утасли, и, что происходило в дальнейшем, никому не известно.

ДЬЯВОЛИАДА

*Повесть о том,
как близнецы погубили делопроизводителя*

I

ПРОИСШЕСТВИЕ 20-ГО ЧИСЛА

В то время как все люди скакали с одной службы на другую, товарищ Коротков прочно служил в Главцентрбазспимате (Главная Центральная База Спичечных Материалов) на штатной должности делопроизводителя и прослужил в ней целых 11 месяцев.

Пригревшись в Спимате, нежный, тихий блондин Коротков совершенно вытравил у себя в душе мысль, что существуют на свете так называемые превратности судьбы, и привил взамен нее уверенность, что он — Коротков — будет служить в базе до окончания жизни на земном шаре. Но, увы, вышло совсем не так...

20 сентября 1921 года кассир Спимата накрылся своей противной ушастой шапкой, уложил в портфель полосатую ассигновку и уехал. Это было в 11 часов пополудни.

Вернулся же кассир в 4^{1/2} часа пополудни, совершенно мокрый. Приехав, он стряхнул с шапки воду, положил шапку на стол, а на шапку портфель и сказал:

— Не напирайте, господа.

Потом пошарил зачем-то в столе, вышел из комнаты и вернулся через четверть часа с большой мертвой курицей со свернутой шеей. Курицу он положил на портфель, на курицу — свою правую руку и молвил:

Денег не будет.

Завтра? — хором закричали женщины

— Нет, — кассир замотал головой, — и завтра не будет, и послезавтра. Не налезайте, господа, а то вы мне, товарищи, стол опрокинете.

— Как? — вскричали все, и в том числе наивный Коротков.

— Граждане! — плачущим голосом запел кассир и локтем отмахнулся от Короткова. — Я же прошу!

— Да как же? — кричали все, и громче всех этот комик Коротков.

— Ну, пожалуйста, — сипло пробормотал кассир и, вытащив из портфеля ассигновку, показал ее Короткову.

Над тем местом, куда тыкал грязный ноготь кассира, наискось было написано красными чернилами:

«Выдать. За т. Субботникова — Сенат».

Ниже фиолетовыми чернилами было написано:

«Денег нет. За т. Иванова — Смирнов».

— Как? — крикнул один Коротков, а остальные, пыхтя, навалились на кассира.

— Ах ты, господи! — растерянно заныл тот. — При чем я тут? Боже ты мой!

Торопливо засунув ассигновку в портфель, он накрылся шапкой, портфель сунул под мышку, взмахнул курицей, крикнул: «Пропустите, пожалуйста!» — и, проломив брешь в живой стене, исчез в дверях.

За ним с писком побежала бледная регистраторша на высоких заостренных каблуках, левый каблук у самых дверей с хрустом отвалился, регистраторша качнулась, подняла ногу и сняла туфлю.

И в комнате осталась она, — босая на одну ногу, и все остальные, в том числе и Коротков.

II

ПРОДУКТЫ ПРОИЗВОДСТВА

Через три дня после описанного события дверь отдельной комнаты, где занимался товарищ Коротков, приоткрылась, и женская заплаканная голова злобно сказала:

— Товарищ Коротков, идите жалованье получать.

— Как? — радостно воскликнул Коротков и, насвистывая увертюру из «Кармен», побежал в комнату с надписью: «Касса». У кассирского стола он остановился и широко открыл рот. Две толстых колонны, состоящие

из желтых пачек, возвышались до самого потолка. Чтобы не отвечать ни на какие вопросы, потный и взволнованный кассир кнопкой прищипил к стене ассигновку, на которой теперь имелась третья надпись зелеными чернилами:

«Выдать продуктами производства.
За т. Богоявленского — Преображенский.
И я полагаю. — Кшесинский».

Коротков вышел от кассира, широко и глупо улыбаясь. В руках у него было 4 больших желтых пачки, 5 маленьких зеленых, а в карманах 13 синих коробок спичек. У себя в комнате, прислушиваясь к гулу изумленных голосов в канцелярии, он упаковал спички в два огромных листа сегодняшней газеты и, не сказавшись никому, отбыл со службы домой. У подъезда Спимата он чуть не попал под автомобиль, в котором кто-то подбехал, но кто именно, Коротков не разглядел.

Прибыв домой, он выложил спички на стол и, отойдя, полюбовался на них. Глупая улыбка не сходила с его лица. Затем Коротков взъерошил белокурые волосы и сказал самому себе:

— Ну-с, унывать тут долго нечего. Постараемся их продать.

Он постучался к соседке своей, Александре Федоровне, служащей в Губвинскладе.

— Войдите, — глухо отозвалось в комнате.

Коротков вошел и изумился. Преждевременно вернувшаяся со службы Александра Федоровна в пальто и шапочке сидела на корточках на полу. Перед нею стоял строй бутылок с пробками из газетной бумаги, наполненных жидкостью густого красного цвета. Лицо у Александры Федоровны было заплакано.

— 46, — сказала она и повернулась к Короткову.

— Это чернила?.. Здравствуйте, Александра Федоровна, — вымолвил пораженный Коротков.

— Церковное вино, — всхлипнув, ответила соседка.

— Как, и вам? — ахнул Коротков.

— И вам церковное? — изумилась Александра Федоровна.

— Нам — спички, — угасшим голосом ответил Коротков и закрутил пуговицу на пиджаке.

— Да ведь они же не горят! — вскричала Александра Федоровна, поднимаясь и отряхивая юбку.

— Как это так не горят? — испугался Коротков и бросился к себе в комнату.

Там, не теряя ни минуты, он схватил коробку, с треском распечатал ее и чиркнул спичкой. Она с шипеньем вспыхнула зеленоватым огнем, переломилась и погасла. Коротков, задохнувшись от едкого серного запаха, болезненно закашлялся и зажег вторую. Та выстрелила, и два огня брызнули от нее. Первый попал в оконное стекло, а второй — в левый глаз товарища Короткова.

— А-ах! — крикнул Коротков и выронил коробку.

Несколько мгновений он перебирал ногами, как горячая лошадь, и зажимал глаз ладонью. Затем с ужасом заглянул в бритвенное зеркальце, уверенный, что лишился глаза. Но глаз оказался на месте. Правда, он был красен и источал слезы.

— Ах, боже мой! — расстроился Коротков, немедленно достал из комода американский индивидуальный пакет, вскрыл его, обвязал левую половину головы и стал похож на раненного в бою.

Всю ночь Коротков не гасил огня и лежал, чиркая спичками. Вычиркал он таким образом три коробки, причем ему удалось зажечь 63 спички.

— Врет, дура, — ворчал Коротков, — прекрасные спички.

Под утро комната наполнилась удушливым серным запахом. На рассвете Коротков уснул и увидел дурацкий, страшный сон: будто бы на зеленом лугу очутился перед ним огромный, живой бильярдный шар на ножках. Это было так скверно, что Коротков закричал и проснулся. В мутной мгле еще секунд пять ему мерещилось, что шар тут, возле постели, и очень сильно пахнет серой. Но потом все это пропало; поворочавшись, Коротков заснул и уже не просыпался.

III

ЛЫСЫЙ ПОЯВИЛСЯ

На следующее утро Коротков, сдвинув повязку, убедился, что глаз его почти выздоровел. Тем не менее повязку излишне осторожный Коротков решил пока не снимать.

Явившись на службу с крупным опозданием, хитрый Коротков, чтобы не возбуждать кривотолков среди

низших служащих, прямо прошел к себе в комнату и на столе нашел бумагу, в коей заведующий подотделом укомплектования запрашивал заведующего базой — будет ли выдано машинисткам обмундирование. Прочитав бумагу правым глазом, Коротков взял ее и отправился по коридору к кабинету заведующего базой т. Чекушина.

И вот у самых дверей в кабинет Коротков столкнулся с неизвестным, поразившим его своим видом.

Этот неизвестный был настолько маленького роста, что достигал высокому Короткову только до талии. Недостаток роста искупался чрезвычайной шириной плеч неизвестного. Квадратное туловище сидело на искривленных ногах, причем левая была хромая. Но примечательнее всего была голова. Она представляла собою точную гигантскую модель яйца, насаженного на шею горизонтально и острым концом вперед. Лысой она была тоже как яйцо и настолько блестящей, что на темени у неизвестного, не угасая, горели электрические лампочки. Крохотное лицо неизвестного было выбрито до синевы, и зеленые маленькие, как булабочные головки, глаза сидели в глубоких впадинах. Тело неизвестного было одето в растянутый сшитый из серого одеяла френч, из-под которого выглядывала малороссийская вышитая рубашка, ноги в штанах из такого же материала и низеньких с вырезом сапожках гусара времен Александра I.

«Т-типик», — подумал Коротков и устремился к двери Чекушина, стараясь миновать лысого. Но тот совершенно неожиданно загородил Короткову дорогу.

— Что вам надо? — спросил лысый Короткова таким голосом, что нервный делопроизводитель вздрогнул. Этот голос был совершенно похож на голос медного таза и отличался таким тембром, что у каждого, кто его слышал, при каждом слове происходило вдоль позвоночника ощущение шершавой проволоки. Кроме того, Короткову показалось, что слова неизвестного пахнут спичками. Несмотря на все это, недальновидный Коротков сделал то, чего делать ни в коем случае не следовало, — обиделся.

— Гм... довольно странно. Я иду с бумагой... А позвольте узнать, кто вы так...

— А вы видите, что на двери написано?

Коротков посмотрел на дверь и увидел давно знако-

мую надпись: «Без доклада не входить».

— Я и иду с докладом, — сглупил Коротков, указывая на свою бумагу.

Лысый квадратный неожиданно рассердился. Глазки его вспыхнули желтоватыми искорками.

— Вы, товарищ, — сказал он, оглушая Короткова кастрюльными звуками, — настолько неразвиты, что не понимаете значения самых простых служебных надписей. Я положительно удивляюсь, как вы служили до сих пор. Вообще тут у вас много интересного, например эти подбитые глаза на каждом шагу. Ну ничего, это мы все приведем в порядок. («А-а!» — ахнул про себя Коротков.) Дайте сюда!

И с последними словами неизвестный вырвал из рук Короткова бумагу, мгновенно прочел ее, вытащил из кармана штанов обгрызанный химический карандаш, приложил бумагу к стене и косо написал несколько слов.

— Ступайте! — рывкнул он и ткнул бумагу Короткову так, что чуть не выколол ему и последний глаз.

Дверь в кабинет взвыла и проглотила неизвестного, а Коротков остался в оцепенении — в кабинете Чекушина не было.

Пришел в себя сконфуженный Коротков через полминуты, когда вплотную налетел на Лидочку де Руни, личную секретаршу т. Чекушина.

— А-ах! — ахнул Коротков.

Глаз у Лидочки был закутан точно таким же индивидуальным материалом с той разницей, что концы бинта были завязаны кокетливым бантом.

— Что это у вас?

— Спички! — раздраженно ответила Лидочка. — Проклятые.

— Кто там такой? — шепотом спросил убитый Коротков.

— Разве вы не знаете? — зашептала Лидочка. — Новый.

— Как? — пискнул Коротков. — А Чекушин?

— Выгнали вчера, — злобно сказала Лидочка и прибавила, ткнув пальчиком по направлению кабинета: — Ну и гу-усь. Вот это фрукт. Такого противного я в жизнь свою не видала. Орет! Уволить!.. Подштанники лысые! — добавила она неожиданно, так что Коротков выпучил на нее глаз.

— Как фа...

Коротков не успел спросить. За дверь кабинета грянул страшный голос: «Курьера!» Делопроизводитель и секретарша мгновенно разлетелись в разные стороны. Прилетев в свою комнату, Коротков сел за стол и произнес сам себе такую речь:

— Ай, яй, яй... Ну, Коротков, ты влопался. Нужно это дельце исправлять... «Неразвиты»... Хм... Нахал... Ладно! Вот ты увидишь, как это так Коротков неразвит.

И одним глазом делопроизводитель прочел писание лысого. На бумаге стояли кривые слова: «Всем машинисткам и женщинам вообще своевременно будут выданы солдатские кальсоны».

— Вот это здорово! — восхищенно воскликнул Коротков и сладострастно дрогнул, представив себе Лидочку в солдатских кальсонах.

Он немедленно вытащил чистый лист бумаги и в три минуты сочинил:

«Телефонограмма.

Заведующему подотделом укомплектования точка В ответ на отношение ваше за № 0,15015 (б) от 19-го числа запятая Главспимат сообщает запятая что всем машинисткам и вообще женщинам своевременно будут выданы солдатские кальсоны точка Заведывающий тире Варфоломей Коротков точка».

Он позвонил и явившемуся курьеру Пантелеймону сказал:

— Заведующему на подпись.

Пантелеймон пожевал губами, взял бумагу и вышел.

Четыре часа после этого Коротков прислушивался, не выходя из своей комнаты, в том расчете, чтобы новый заведывающий, если вздумает обходить помещение, непременно застал его погруженным в работу. Но никаких звуков из страшного кабинета не доносилось. Раз только долетел смутный чугунный голос, как будто угрожающий кого-то уволить, но кого именно, Коротков не расслышал, хоть и припадал ухом к замочной скважине. В 3¹/₂ часа пополудни за стеной канцелярии раздался голос Пантелеймона:

— Уехали на машине.

Канцелярия тотчас зашумела и разбежалась. Позже всех в одиночестве отбыл домой т. Коротков.

ПАРАГРАФ ПЕРВЫЙ — КОРОТКОВ ВЫЛЕТЕЛ

На следующее утро Коротков с радостью убедился, что глаз его больше не нуждается в лечении повязкой, поэтому он с облегчением сбросил бинт и сразу похорошел и изменился. Напившись чаю на скорую руку, Коротков потушил примус и побежал на службу, стараясь не опоздать, и опоздал на 50 минут из-за того, что трамвай вместо шестого маршрута пошел окружным путем по седьмому, заехал в отдаленные улицы с маленькими домиками и там сломался. Коротков пешком одолел три версты и, запыхавшись, вбежал в канцелярию, как раз когда кухонные часы «Альпийской розы» пробили одиннадцать раз. В канцелярии его ожидало зрелище совершенно необычайное для одиннадцати часов утра. Лидочка де Руни, Милочка Литовцева, Анна Евграфовна, старший бухгалтер Дрозд, инструктор Гитис, Номерацкий, Иванов, Мушка, регистраторша, кассир — словом, вся канцелярия не сидела на своих местах за кухонными столами бывшего ресторана «Альпийской розы», а стояла, сбившись в тесную кучку у стены, на которой гвоздем была прибита четвертушка бумаги. При входе Короткова наступило внезапное молчание и все потупились.

— Здравствуйте, господа, что это такое? — спросил удивленный Коротков.

Толпа молча расступилась, и Коротков прошел к четвертушке.

Первые строчки глянули на него уверенно и ясно, последние сквозь слезливый ошеломляющий туман.

«П Р И К А З № 1

1. За недопустимо халатное отношение к своим обязанностям, вызывающее вопиющую путаницу в важных служебных бумагах, а равно и за появление на службе в безобразном виде разбитого, по-видимому, в драке лица, тов. Коротков увольняется с сего 26-го числа, с выдачей ему трамвайных денег по 25-е включительно».

Параграф первый был в то же время и последним, а под параграфом красовалась крупными буквами подпись: «Заведующий Кальсонер».

Двадцать секунд в пыльном хрустальном зале «Альпийской розы» царило идеальное молчание. При этом лучше всех, глубже и мертвеннее молчал зеленоватый Коротков. На двадцать первой секунде молчание лопнуло.

— Как? Как? — прозвенел два раза Коротков совершенно как разбитый о каблук альпийский бокал. — Его фамилия Кальсо-нер?

При страшном слове канцелярские брызнули в разные стороны и вмиг расселись по столам, как вороны на телеграфной проволоке. Лицо Короткова сменило гнилую зеленую плесень на пятнистый пурпур.

— Ай, яй, яй, — загудел в отдалении, выглядывая из грессбуха, Скворец, — как же вы это так, батюшка, промахнулись? А?

— Я ду-думал, думал, — прохрустел осколками глоса Коротков, — прочитал вместо «Кальсонер» «Кальсоны». Он с маленькой буквы пишет фамилию!

— Подштанники я не одену, пусть он успокоится! — хрустально звякнула Лидочка.

— Тсс! — змеей зашипел Скворец. — Что вы? — Он нырнул, спрятался в грессбухе и прикрылся страницей.

— А насчет лица он не имеет права! — негромко выкрикнул Коротков, становясь из пурпурного белым, как горностаи. — Я нашими же сволочными спичками выжег глаз, как и товарищ де Руни!

— Тише! — пискнул побледневший Гитис. — Что вы? Он вчера испытывал их и нашел превосходными.

Д-р-р-р-р-р-р-р, — неожиданно зазвенел электрический звонок над дверью... и тотчас тяжелое тело Пантелеймона упало с табурета и покатилося по коридору.

— Нет! Я объяснюсь. Я объяснюсь! — высоко и тонко спел Коротков, потом кинулся влево, кинулся вправо, пробежал шагов десять на месте, искаженно отражаясь в пыльных альпийских зеркалах, вынырнул в коридоре и побежал на свет тусклой лампочки, висящей над надписью «Отдельные кабинеты».

Запыхавшись, он стал перед страшной дверью и очнулся в объятиях Пантелеймона.

— Товарищ Пантелеймон, — заговорил беспокойно Коротков. — Ты меня, пожалуйста,пусти. Мне нужно к заведующему сию минутку...

— Нельзя, нельзя, никого не велено пущать, — захрипел Пантелеймон и страшным запахом луку зату-

шил решимость Короткова, — нельзя. Идите, идите, господин Коротков, а то мне через вас беда будет...

— Пантелеймон, мне же нужно, — угасая, попросил Коротков, — тут, видишь ли, дорогой Пантелеймон, случился приказ... Пусти меня, милый Пантелеймон.

— Ах ты ж, господи... — в ужасе обернувшись на дверь, забормотал Пантелеймон, — говорю вам, нельзя. Нельзя, товарищ!

В кабинете за дверью грянул телефонный звонок и ухнул в медь тяжкий голос:

— Еду! Сейчас!

Пантелеймон и Коротков расступились; дверь распахнулась, и по коридору понесся Кальсонер в фуражке и с портфелем под мышкой. Пантелеймон вприпрыжку побегал за ним, а за Пантелеймоном, немного поколебавшись, кинулся Коротков. На повороте коридора Коротков, бледный и взволнованный, проскочил под руками Пантелеймона, обогнал Кальсонера и побегал перед ним задом.

— Товарищ Кальсонер, — забормотал он прерывающимся голосом, — позвольте одну минуточку сказать... Тут я по поводу приказа...

— Товарищ! — звякнул бешено стремящийся и озабоченный Кальсонер, сметая Короткова в беге. — Вы же видите, я занят? Еду! Еду!..

— Так я насчет приказа...

— Неужели вы не видите, что я занят? Товарищ! Обратитесь к делопроизводителю.

Кальсонер выбежал в вестибюль, где помещался на площадке огромный брошенный орган «Альпийской розы».

— Я ж делопроизводитель! — в ужасе облившись потом, визгнул Коротков. — Выслушайте меня, товарищ Кальсонер!

— Товарищ! — заревел, как сирена, ничего не слушая, Кальсонер и, на ходу обернувшись к Пантелеймону, крикнул: — Примите меры, чтоб меня не задерживали!

— Товарищ! — испугавшись, захрипел Пантелеймон. — Что ж вы задерживаете?

И, не зная, какую меру нужно принять, принял такую — ухватил Короткова поперек туловища и легонько прижал к себе, как любимую женщину. Мера оказалась действительной — Кальсонер ускользнул, словно на роликах скатился с лестницы и выскочил в парадную дверь.

— Пит! Питт! — закричала за стеклами мотоциклетка, выстрелила пять раз и, закрыв дымом окна, исчезла.

Тут только Пантелеймон выпустил Короткова, вытер пот с лица и проревел:

— Бе-да!

— Пантелеймон... — трясущимся голосом спросил Коротков, — куда он поехал? Скорей скажи, он другого, понимаешь ли...

— Кажись, в Центроснаб.

Коротков вихрем сбежал с лестницы, ворвался в шинельную, схватил пальто и кепку и выбежал на улицу.

V

ДЬЯВОЛЬСКИЙ ФОКУС

Короткову повезло. Трамвай в ту же минуту поравнялся с «Альпийской розой». Удачно прыгнув, Коротков понесся вперед, стучаясь то о тормозное колесо, то о мешки на спинах. Надежда обжигала его сердце. Мотоциклетка почему-то задержалась и теперь тарыхтела впереди трамвая, и Коротков то терял из глаз, то вновь обретал квадратную спину в туче синего дыма. Минут пять Короткова колотило и мяло на площадке, наконец у серого здания Центроснаба мотоциклетка стала. Квадратное тело закрылось прохожими и исчезло. Коротков на ходу вырвался из трамвая, повернулся по оси, упал, ушиб колено, поднял кепку и, под носом автомобиля, поспешил в вестибюль.

Покрывая полы мокрыми пятнами, десятки людей шли навстречу Короткову или обгоняли его. Квадратная спина мелькнула на втором марше лестницы, и, задыхаясь, он поспешил за ней. Кальсонер поднимался со странной, неестественной скоростью, и у Короткова сжималось сердце при мысли, что он упустит его. Так и случилось. На 5-й площадке, когда делопроизводитель совершенно обессилел, спина растворилась в гуще физиономий, шапок и портфелей. Как молния Коротков взлетел на площадку и секунду колебался перед дверью, на которой было две надписи. Одна золотая по зеленому с твердым знаком: «Дортуарь пепиньерокь», другая черным по белому без твердого: «Начканцуправделснаб». Наудачу Коротков устремился в эти двери и

увидал стеклянные огромные клетки и много белокурых женщин, бегавших между ними. Коротков открыл первую стеклянную перегородку и увидел за нею какого-то человека в синем костюме. Он лежал на столе и весело смеялся в телефон. Во втором отделении на столе было полное собрание сочинений Шеллера-Михайлова, а возле собрания неизвестная пожилая женщина в платке взвешивала на весах сушеную и дурно пахнущую рыбу. В третьем царил дробный непрерывный грохот и звоночки — там за шестью машинами писали и смеялись шесть светлых, мелкозубых женщин. За последней перегородкой открывалось большое пространство с пухлыми колоннами. Невыносимый треск машин стоял в воздухе, и виднелась масса голов, — женских и мужских, но Кальсоновой среди них не было. Запутавшись и завертевшись, Коротков остановил первую попавшуюся женщину, пробежавшую с зеркальцем в руках.

— Не видели ли вы Кальсонера?

Сердце в Короткове упало от радости, когда женщина ответила, сделав огромные глаза:

— Да, но он сейчас уезжает. Догоняйте его.

Коротков побежал через колонный зал туда, куда ему указывала маленькая белая рука с блестящими красными ногтями. Проскакав зал, он очутился на узкой и темноватой площадке и увидел открытую пасть освещенного лифта. Сердце ушло в ноги Короткову, — догнал... пасть принимала квадратную одеяльную спину и черный блестящий портфель.

— Товарищ Кальсонер! — прокричал Коротков и окоченел.

Зеленые круги в большом количестве запрыгали по площадке. Сетка закрыла стеклянную дверь, лифт тронулся, и квадратная спина, повернувшись, превратилась в богатырскую грудь. Все, все узнал Коротков: и серый френч, и кепку, и портфель, и изюминки глаз. Это был Кальсонер, но Кальсонер с длинной ассирийско-гофрированной бородой, ниспадавшей на грудь. В мозгу Короткова немедленно родилась мысль: «Борода выросла, когда он ехал на мотоциклетке и поднимался по лестнице, — что же это такое?» И затем вторая: «Борода фальшивая — это что же такое?»

А Кальсонер тем временем начал погружаться в сетчатую бездну. Первыми скрылись ноги, затем живот,

борода, последними глазки и рот, выкрикнувший нежные теноровые слова:

— Поздно, товарищ, в пятницу.

«Голос тоже привязной», — стукнуло в коротковском черепе. Секунды три мучительно горела голова, но потом, вспомнив, что никакое колдовство не должно останавливать его, что остановка — гибель, Коротков двинулся к лифту. В сетке показалась поднимающаяся на канате кровля. Томная красавица с блестящими камнями в волосах вышла из-за трубы и, нежно коснувшись руки Короткова, спросила его:

— У вас, товарищ, порок сердца?

— Нет, ох нет, товарищ, — выговорил ошеломленный Коротков и шагнул к сетке, — не задерживайте меня.

— Тогда, товарищ, идите к Ивану Финогеновичу, — сказала печально красавица, преграждая Короткову дорогу к лифту.

— Я не хочу! — плаксиво вскричал Коротков. — Товарищ! Я спешу. Что вы?

Но женщина осталась непреклонной и печальной.

Ничего не могу сделать, вы сами знаете, — сказала она и придержала за руку Короткова.

Лифт остановился, выплюнул человека с портфелем, закрылся сеткой и опять ушел вниз.

— Пустите меня! — взвизгнул Коротков и, вырвав руку, с проклятием кинулся вниз по лестнице.

Пролетев шесть мраморных маршей и чуть не убив высокую перекрестившуюся старуху в наколке, он оказался внизу возле огромной новой стеклянной стены, под надписью сверху серебром по синему: «Дежурные классные дамы» — и внизу пером по бумаге: «Справочное». Темный ужас охватил Короткова. За стеной ясно мелькнул Кальсонер. Кальсонер иссиня бритый, прежний и страшный. Он прошел совсем близко от Короткова, отделенный от него лишь тоненьким слоем стекла. Стараясь ни о чем не думать, Коротков кинулся к блестящей медной ручке и потряс ее, но она не поддалась.

Скрипнув зубами, он еще раз рванул сияющую медь и тут только в отчаянии разглядел крохотную надпись. «Крутом, через 6-й подъезд».

Кальсонер мелькнул и сгинул в черной нише за стеклом

— Где шестой? Где шестой? — слабо крикнул он кому-то.

Прохожие шархнулись. Маленькая боковая дверь открылась, и из нее вышел люстриновый старичок в синих очках с огромным списком в руках. Глянув на Короткова поверх очков, он улыбнулся, пожевал губами.

— Что? Все ходите? — зашамкал он. — Ей-богу, напрасно. Вы уж послушайте меня, старичка, бросьте. Все равно я вас уже вычеркнул. Хи-хи.

— Откуда вычеркнули? — остоленел Коротков.

— Хи. Известно откуда, из списков. Карандашиком — чирк, и готово — хи-кхи, — старичок сладострастно засмеялся.

— Позвольте... Откуда же вы меня знаете?

— Хи. Шутник вы, Василий Павлович.

— Я — Варфоломей, — сказал Коротков и потрогал рукой свой холодный и скользкий лоб, — Петрович.

Улыбка на минуту покинула лицо страшного старичка.

Он уставился в лист и сухим пальчиком с длинным когтем провел по строчкам.

— Что ж вы путаете меня? Вот он — Колобков, В. П.

— Я — Коротков, — нетерпеливо крикнул Коротков.

— Я и говорю: Колобков, — обиделся старичок. — А вот и Кальсонер. Оба вместе переведены, а на место Кальсонера — Чекушин.

— Что?.. — не помня себя от радости, крикнул Коротков. — Кальсонера выкинули?

— Точно так-с. День всего успел поуправлять, и вышибли.

— Боже! — ликуя, воскликнул Коротков. — Я спасен! Я спасен! — и, не помня себя, он сжал костлявую когтистую руку старичка.

Тот улыбнулся. На миг радость Короткова померкла. Что-то странное, зловещее мелькнуло в синих глазных дырках старика. Странна показалась и улыбка, обнажавшая сизые десны. Но тотчас же Коротков отогнал от себя неприятное чувство и засуетился.

— Стало быть, мне сейчас в Спимат нужно бежать?

— Обязательно, — подтвердил старичок, — тут и сказано — в Спимат. Только позвольте вашу книжечку, я пометочку в ней сделаю карандашиком.

Коротков тотчас полез в карман, побледнел, полез в

другой, еще пуще побледнел, хлопнул себя по карманам брюк и с заглушенным воплем бросился обратно по лестнице, глядя себе под ноги. Сталкиваясь с людьми, отчаянный Коротков взлетел до самого верха, хотел увидеть красавицу с камнями, у нее что-то спросить, и увидел, что красавица превратилась в уродливого, сопливого мальчишку:

— Голубчик, — бросился к нему Коротков, — бу-
мажник мой, желтый...

— Неправда это, — злобно ответил мальчишка, —
не брал я, врут они.

— Да нет, милый, я не то... не ты... документы.

Мальчишка посмотрел исподлобья и вдруг заревел
басом.

— Ах, боже мой! — в отчаянии вскричал Коротков
и понесся вниз к старичку.

Но, когда он прибежал, старичка уже не было. Он
исчез. Коротков кинулся к маленькой двери, рванул
ручку. Она оказалась запертой. В полутьме пахло чуть-
чуть серой.

Мысли закрутились в голове Короткова метелью, и
выпрыгнула одна новая: «Трамвай!» Он ясно вдруг
вспомнил, как жали его на площадке двое молодых лю-
дей, один из них худенький с черными, словно при-
клеенными, усиками.

— Ах, беда-то, вот уж беда, — бормотал Коротков, —
это уж всем бедам беда.

Он выбежал на улицу, пробежал ее до конца, свер-
нул в переулок и очутился у подъезда небольшого зда-
ния неприятной архитектуры. Серый человек, косой и
мрачный, глядя не на Короткова, а куда-то в сторону
спросил:

— Куда ты лезешь?

— Я, товарищ, Коротков, Вэ Пэ, у которого только
что украли документы... Все до единого... Меня забрать
могут ..

— И очень просто, — подтвердил человек на крыльце.

— Так вот позвольте...

— Пушай Коротков самолично и придет

— Так я же, товарищ, Коротков.

— Удостоверение дай.

— Украли у меня его только что, — застонал Корот-
ков, — украли, товарищ, молодой человек с усиками

— С усиками? Это, стало быть, Колобков. Беспре-

менно он Он в нашем районе специально работает Ты его теперь по чайным ищи.

— Товарищ, я не могу, — заплакал Коротков, — мне в Спимат нужно к Кальсонеру. Пустите меня.

— Удостоверение дай, что украли

— От кого?

От домового.

Коротков покинул крыльцо и побежал по улице.

«В Спимат или к домовому? подумал он. - У домового прием с утра; в Спимат, стало быть».

В это мгновение часы далеко пробили четыре раза на рыжей башне, и тотчас из всех дверей побежали люди с портфелями Наступили сумерки, и редкий мокрый снег пошел с неба

«Поздно, — подумал Коротков — домой»

VI

ПЕРВАЯ НОЧЬ

В ушке замка торчала белая записка В сумерках Коротков прочитал ее

«Дорогой сосед!

Я уезжаю к маме в Звенигород Оставляю вам в подарок вино Пейте на здоровье его никто не хочет покупать Они в углу

Ваша А Пайкова»

Косо улыбнувшись, Коротков прогремел замком, в двадцать рейсов перетащил к себе в комнату все бутылки, стоящие в углу коридора, зажег лампу и, как был, в кепке и пальто, повалился на кровать Как зачарованный, около получаса он смотрел на портрет Кромвеля, растворяющийся в густых сумерках, потом вскочил и внезапно впал в какой-то припадок буйного характера Сорвав кепку, он швырнул ее в угол, одним взмахом сбросил на пол пачки со спичками и начал топтать их ногами.

— Вот! Вот! Вот! провыл Коротков и с хрустом давил чертовы коробки, смутно мечтая, что он давит голову Кальсонера.

При воспоминании об яйцевидной голове появилась

вдруг мысль о лице бритом и бородатом, и тут Коротков остановился

— Позвольте... как же это так?.. — прошептал он и провел рукой по глазам. — Это что же? Чего же это я стою и занимаюсь пустяками, когда все это ужасно. Ведь не двойной же он, в самом деле?

Страх пополз через черные окна в комнату, и Коротков, стараясь не глядеть в них, закрыл их шторами. Но от этого не полегчало. Двойное лицо, то обрастая бородой, то внезапно обриваясь, выплывало по времени из углов, сверкая зеленоватыми глазами. Наконец Коротков не выдержал и, чувствуя, что мозг его хочет треснуть от напряжения, тихонечко заплакал.

Наплакавшись и получив облегчение, он поел вчерашней скользкой картошки, потом опять, вернувшись к проклятой загадке, немного поплакал.

— Позвольте... — вдруг пробормотал он, — чего же это я плачу, когда у меня есть вино?

Он залпом выпил пол чайного стакана. Сладкая жидкость подействовала через пять минут, — мучительно заболел левый висок и жгуче и тошно захотелось пить. Выпив три стакана воды, Коротков от боли в виске совершенно забыл Кальсонера, со стоном содрал с себя верхнюю одежду и, томно закатывая глаза, повалился на постель. «Пирамидону бы...» — шептал он долго, пока мутный сон не сжалился над ним.

VII

ОРГАН И КОТ

В 10 часов утра следующего дня Коротков наскоро вскипятит чай, отпил без аппетита четверть стакана и, чувствуя, что предстоит трудный, хлопотливый день, покинул свою комнату и перебежал в тумане через мокрый асфальтовый двор. На двери флигеля было написано: «Домовой». Рука Короткова уже протянулась к кнопке, как глаза его прочитали: «По случаю смерти свидетельства не выдаются».

— Ах ты, господи, — досадливо воскликнул Коротков, — что же это за неудачи на каждом шагу! — И добавил: — Ну, тогда с документами потом, а сейчас в Спимат. Надо разузнать, как и что. Может, Чекушин уже вернулся

Пешком, так как деньги все были украдены, Коротков добрался до Спимата и, пройдя вестибюль, прямо направил свои стопы в канцелярию. На пороге канцелярии он приостановился и приоткрыл рот. Ни одного знакомого лица в хрустальном зале не было. Ни Дрозда, ни Анны Евграфовны, словом — никого. За столами, напоминая уже не ворон на проволоке, а трех соколов Алексея Михайловича, сидели три совершенно одинаковых бритых блондина в светло-серых клетчатых костюмах и одна молодая женщина с мечтательными глазами и бриллиантовыми серьгами в ушах. Молодые люди не обратили на Короткова никакого внимания и продолжали скрипеть в гроссбухах, а женщина сделала Короткову глазки. Когда же он в ответ на это растерянно улыбнулся, та надменно улыбнулась и отвернулась. «Странно», — подумал Коротков и, запнувшись о порог, вышел из канцелярии. У двери в свою комнату он колебался, вздохнул, глядя на старую милую надпись: «Делопроизводитель», открыл дверь и вошел. Свет немедленно померк в коротковских глазах, и пол легонечко качнулся под ногами. За коротковским столом, растопырив локти и бешено стуча пером, сидел своей собственной персоной Кальсонер. Гофрированные блестящие волосы закрывали его грудь. Дыхание перехватило у Короткова, пока он глядел на лакированную лысину над зеленым сукном. Кальсонер первый нарушил молчание.

— Что вам угодно, товарищ? — вежливо проворковал он фальцетом.

Коротков судорожно облизнул губы, набрал в узкую грудь большой куб воздуха и сказал чуть слышно:

— Кхм... я, товарищ, здешний делопроизводитель... То есть... Ну да, ежели помните приказ...

Изумление изменило резко верхнюю часть лица Кальсонера. Светлые его брови поднялись, и лоб превратился в гармонику.

— Извиняюсь, — вежливо ответил он, — здешний делопроизводитель — я.

Временная немота поразила Короткова. Когда же она прошла, он сказал такие слова:

— А как же? Вчера, то есть. Ах, ну да. Извините, пожалуйста. Впрочем, я спутал. Пожалуйста.

Он задом вышел из комнаты и в коридоре сказал себе хрипло:

— Коротков, припомни-ка, какое сегодня число?

И сам же себе ответил:

— Вторник, то есть пятница. Тысяча девятьсот...

Он повернулся, и тотчас перед ним вспыхнули на человеческом шаре слоновой кости две коридорных лампочки и бритое лицо Кальсонера заслонило весь мир.

— Хорошо! — грохнул таз, и судорога свела Короткова. — Я жду вас. Отлично. Рад познакомиться.

С этими словами он пододвинулся к Короткову и так пожал ему руку, что тот встал на одну ногу, словно аист на крыше.

— Штат я разверстал, — быстро, отрывисто и веско заговорил Кальсонер. — Трое там, — он указал на дверь в канцелярию, — и, конечно, Манечка. Вы — мой помощник. Кальсонер — делопроизводитель. Препных всех в шею. И идиота Пантелеймона также. У меня есть сведения, что он был лакеем в «Альпийской розе». Я сейчас сбегая в отдел, а вы пока напишите с Кальсонером отношение насчет всех, и в особенности насчет этого, как его... Короткова. Кстати, вы немного похожи на этого мерзавца. Только у того глаз подбитый.

— Я. Нет, — сказал Коротков, качаясь и с отвисшей челюстью, — я не мерзавец. У меня украли все документы. До единого.

— Все? — выкрикнул Кальсонер. — Вздор. Тем лучше.

Он впился в руку тяжело дышавшего Короткова и, пробежав по коридору, втащил его в заветный кабинет и бросил на пухлый кожаный стул, а сам уселся за стол. Коротков, все еще чувствуя странное колебание пола под ногами, съехался и, закрыв глаза, забормотал: «Двадцатое было понедельник, значит, вторник, двадцать первое. Нет. Что? Двадцать первый год. Исходящий номер 0,15, место для подписи тире Варфоломеем Коротков. Это значит я. Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник. И понедельник на пэ, и пятница на пэ, и воскресенье... вскрсс... на эс, как и среда...»

Кальсонер с треском расчеркнулся на бумаге, хлопнул по ней печатью и ткнул ему. В это мгновение яростно зазвонил телефон. Кальсонер ухватился за трубку и заорал в нее:

— Ага! Так. Так. Сию минуту приеду.

Он кинулся к вешалке, сорвал с нее фуражку, при-

крыл ею лысину и исчез в дверях с прощальными словами:

— Ждите меня у Кальсонера.

Все решительно помутилось в глазах Короткова, когда он прочел написанное на бумажке со штампом:

«Предъявитель сего суть действительно мой помощник т. Василий Павлович Колобков, что действительно верно. Кальсонер».

— О-о! — простонал Коротков, роняя на пол бумагу и фуражку. — Что же это такое делается?

В эту же минуту дверь спела визгливо, и Кальсонер вернулся в своей бороде.

— Кальсонер уже удрал? — тоненько и ласково спросил он у Короткова.

Свет кругом потух.

— А-а-а-а... — взвыл, не вытерпев пытки, Коротков и, не помня себя, подскочил к Кальсонеру, оскалив зубы.

Ужас изобразился на лице Кальсонера до того, что оно сразу пожелтело. Задом навалившись на дверь, он с грохотом отпер ее, провалился в коридор, не удержавшись, сел на корточки, но тотчас выпрямился и бросился бежать с криком:

— Курьер! Курьер! На помощь!

— Стойте. Стойте. Я вас прошу, товарищ... — опомнившись, выкрикнул Коротков и бросился вслед.

Что-то загремело в канцелярии, и соколы вскочили, как по команде. Мечтательные глаза женщины взметнулись у машины.

— Буду стрелять. Буду стрелять! — пронесся ее истерический крик.

Кальсонер выскочил в вестибюль на площадку с органом первым, секунду поколебался, куда бежать, рванулся и, круто срезав угол, исчез за органом. Коротков бросился за ним, поскользнулся и, наверно, разбил бы себе голову о перила, если бы не огромная кривая и черная ручка, торчащая из желтого бока. Она подхватила полу коротковского пальто, гнилой шевиот с тихим писком расползся, и Коротков мягко сел на холодный пол. Дверь бокового хода за органом со звоном захлопнулась за Кальсонером.

— Боже... — начал Коротков и не кончил.

В грандиозном ящике с запыленными медными трубами послышался странный звук, как будто лопнул

стакан, затем пыльное, утробное ворчанье, странный хроматический писк и удар колоколов. Потом звучный мажорный аккорд, бодрящая полнокровная струя, и весь желтый трехъярусный ящик заиграл, пересыпая внутри залежи застоявшегося звука:

Шумел, гремел пожар московский...

В черном квадрате двери внезапно появилось бледное лицо Пантелеймона. Миг, и с ним произошла метаморфоза. Глазки его засверкали победным блеском, он вытянулся, хлестнул правой рукой через левую, как будто перекинул невидимую салфетку, сорвался с места и боком, косо, как пристяжная, покатил по лестнице, округлив руки так, словно в них был поднос с чашками.

Ды-ым расстился по реке-е.

— Что я наделал? — ужаснулся Коротков.

Машина, провернув первые застоявшиеся волны, пошла ровно, тысячеголовым львиным ревом и звоном наполняя пустынные залы Спимата.

А на стенах ворот кремлевских...

Сквозь вой и грохот и колокола прорвался сигнал автомобиля, и тотчас Кальсонер возвратился через главный вход, — Кальсонер бритый, мстительный и грозный. В зловещем синеватом сиянии он плавно стал подниматься по лестнице. Волосы зашевелились на Короткове, и, взвизвись, он через боковые двери по кривой лестнице за органом выбежал на усеянный щебнем двор, а затем на улицу. Как на утонке, полетел он по улице, слушая, как вслед ему глухо рокотало здание «Альпийской розы»:

Стоял он в сером сюртуке...

На углу извозчик, взмахивая кнутом, бешено рвал клячу с места.

— Господи! господи! — бурно зарыдал Коротков. — Опять он! Да что же это?

Кальсонер бородатый вырос из мостовой возле пролетки, вскочил в нее и начал лупить извозчика в спину, приговаривая тоненьким голосом:

— Гони! Гони, негодяй!

Кляча рванула, стала лягать ногами, затем под жгу-

чими ударами кнута понеслась, наполнив экипажным грохотом улицу. Сквозь бурные слезы Коротков видел, как лакированная шляпа слетела у извозчика, а из-под нее разлетелись в разные стороны вьющиеся денежные бумажки. Мальчишки со свистом погнались за ними. Извозчик, обернувшись, в отчаянии натянул вожжи, но Кальсонер бешено начал тузить его в спину с воплем:

— Езжай! Езжай! Я заплачу.

Извозчик, выкрикнув отчаянно:

— Эх, ваше здоровье, погибать, что ли? — пустил ключу карьером, и все исчезло за углом.

Рыдая, Коротков глянул на серое небо, быстро несущееся над головой, пошатался и закричал болезненно:

— Довольно. Я так не оставлю! Я его разьясню.

Он прыгнул и прицепился к дуге трамвая. Дуга пошатала его минут пять и сбросила у девятиэтажного зеленого здания. Вбежав в вестибюль, Коротков просунул голову в четырехугольное отверстие в деревянной загородке и спросил у громадного синего чайника:

— Где бюро претензий, товарищ?

— 8-й этаж, 9-й коридор, квартира 41-я, комната 302, — ответил чайник женским голосом.

— 8-й, 9-й, 41-я, триста... триста... сколько бишь... 302, — бормотал Коротков, взбегая по широкой лестнице. — 8-й, 9-й, 8-й, стоп, 40... нет, 42... нет, 302, — мычал он, — ах, боже, забыл... да 40-я, сороковая...

В 8-м этаже он миновал три двери, увидел на четвертой черную цифру «40» и вошел в необъятный двухсветный зал с колоннами. В углах его лежали катушки рулонной бумаги, и весь пол был усеян исписанными бумажными обрывками. В отдалении маячил столик с машинкой, и золотистая женщина, тихо мурлыча песенку, подперев щеку кулаком, сидела за ним. Растерянно оглянувшись, Коротков увидел, как с эстрады за колоннами сошла, тяжело ступая, массивная фигура мужчины в белом кунтуше. Седоватые отвисшие усы виднелись на его мраморном лице. Мужчина, улыбаясь необыкновенно вежливой, безжизненной гипсовой улыбкой, подошел к Короткову, нежно пожал ему руку и молвил, щелкнув каблуками:

— Ян Собесский.

— Не может быть... — ответил пораженный Коротков.

Мужчина приятно улыбнулся.

— Представьте, многие изумляются, — заговорил он с неправильными ударениями, — но вы не подумайте, товарищ, что я имею что-либо общее с этим бандитом. О нет. Горькое совпадение, больше ничего. Я уже подал заявление об утверждении моей новой фамилии — Соцвосский. Это гораздо красивее и не так опасно. Впрочем, если вам неприятно, — мужчина обидчиво скривил рот, — я не навязываюсь. Мы всегда найдем людей. Нас ищут.

— Помилуйте, что вы! — болезненно выкрикнул Коротков, чувствуя, что и тут начинается что-то странное, как и везде. Он оглянулся травленным взором, боясь, что откуда-нибудь вынырнет бритый лик и лысина скорлупа, а потом добавил суконным языком: — Я очень рад, да, очень...

Пестрый румянец чуть проступил на мраморном человеке; нежно поднимая руку Короткова, он повлек его к столу, приговаривая:

— И я очень рад. Но вот беда, вообразите: мне даже негде вас посадить. Нас держат в загоне, несмотря на все наше значение (мужчина махнул рукой на катушки бумаги). Интриги... Но-о мы развернемся, не беспокойтесь... Гм... Чем же вы порадуете нас новеньким? — ласково спросил он у бледного Короткова. — Ах да, виноват, виноват, тысячу раз, позвольте вас познакомиться, — он изящно махнул белой рукой в сторону машинки, — Генриетта Потаповна Персимфанс.

Женщина тотчас пожала холодной рукой руку Короткова и посмотрела на него томно.

— Итак, — сладко продолжал хозяин, — чем же вы нас порадуете? Фельетон? Очерки? — закатив белые глаза, протянул он. — Вы не можете себе представить, до чего они нужны нам.

«Царица небесная... что это такое?» — туманно подумал Коротков, потом заговорил, судорожно переводя дух:

— У меня... э... произошло ужасное. Он... Я не понимаю. Вы не подумайте, ради бога, что это галлюцинации... Ххм... ха-кха... (Коротков попытался искусственно засмеяться, но это не вышло у него.) Он живой. Уверяю вас... но я ничего не пойму, то с бородой, а через минуту без бороды. Я прямо не понимаю... И голос меняет... кроме того, у меня украли все документы до единого, а домовый, как на грех, умер. Этот Кальсонер...

— Так я и знал! — вскричал хозяин. — Это они?

— Ах, боже мой, ну конечно, — отозвалась женщина, — ах, эти ужасные Кальсонеры.

— Вы знаете, — перебил хозяин взволнованно, — я из-за него сижу на полу. Вот-с, полюбуйте. Ну что он понимает в журналистике?.. — хозяин ухватил Короткова за пуговицу. — Будьте добры, скажите, что он понимает? Два дня он пробыл здесь и совершенно меня замучил. Но, представьте, счастье. Я ездил к Федору Васильевичу, и тот наконец убрал его. Я поставил вопрос остро: я или он. Его перевели в какой-то Спимат или черт его знает еще куда. Пусть воняет там этими спичками! Но мебель, мебель он успел передать в это проклятое бюро. Всю. Не угодно ли? На чем я, позвольте узнать, буду писать? На чем будете писать вы? Ибо я не сомневаюсь, что вы будете наш, дорогой (хозяин обнял Короткова). Прекрасную атласную мебель Луи Каторз этот прохвост безответственным приемом спихнул в это дурацкое бюро, которое завтра все равно закроют, к чертовой матери.

— Какое бюро? — глухо спросил Коротков.

— Ах да, эти претензии или как их там, — с досадой сказал хозяин.

— Как? — крикнул Коротков. — Как? Где оно?

— Там, — изумленно ответил хозяин и ткнул рукой в пол.

Коротков в последний раз окинул безумными глазами белый кунтуш и через минуту оказался в коридоре. Подумав немного, он полетел налево, ища лестницы вниз. Минут пять он бежал, следуя прихотливым изгибам коридора, и через пять минут оказался у того места, откуда выбежал. Дверь № 40.

— Ах, черт! — ахнул Коротков, потоптался и побежал вправо и через 5 минут опять был там же.

№ 40. Рванув дверь, Коротков вбежал в зал и убедился, что тот опустел. Лишь машинка безмолвно улыбалась белыми зубами на столе. Коротков подбежал к колоннаде и тут увидал хозяина. Тот стоял на пьедестале уже без улыбки, с обиженным лицом.

— Извините, что я не попрощался... — начал было Коротков и смолк. Хозяин стоял без уха и носа, и левая рука у него была отломана. Пятясь и холодея, Коротков выбежал опять в коридор. Незаметная потайная дверь напротив вдруг открылась, и из нее вышла

сморщенная коричневая баба с пустыми ведрами на коромысле.

— Баба! Баба! — тревожно закричал Коротков. — Где бюро?

— Не знаю, батюшка, не знаю, кормилец, — ответила баба, — да ты не бегай, миленький, все одно не найдешь. Разве мыслимо — десять этажей.

— У-у... д-дура, — стиснув зубы, рыкнул Коротков и бросился в дверь.

Она захлопнулась за ним, и Коротков оказался в тупом полутемном пространстве без выхода. Бросаясь в стены и царапаясь, как засыпанный в шахте, он наконец навалился на белое пятно и оно выпустило его на какую-то лестницу. Дробно стуча, он побежал вниз. Шаги послышались ему навстречу снизу. Тоскливое беспокойство сжало сердце Короткова, и он стал останавливаться. Еще миг — и показалась блестящая фуражка, мелькнуло серое одеяло и длинная борода. Коротков качнулся и вцепился в перила руками. Одновременно скрестились взоры, и оба завyli тонкими голосами страха и боли. Коротков задом стал отступать вверх, Кальсонер попятился вниз, полный неизбывного ужаса.

— Пойдите, — прохрипел Коротков, — минутку... вы только объясните...

— Спасите! — заревел Кальсонер, меняя тонкий голос на первый свой медный бас.

Оступившись, он с громом упал вниз затылком; удар не прошел ему даром. Обернувшись в черного ко-та с фосфорными глазами, он вылетел обратно, стремительно и бархатно пересек площадку, сжался в комок и, прыгнув на подоконник, исчез в разбитом стекле и паутине. Белая пелена на миг заволокла коротковский мозг, но тотчас свалилась, и наступило необыкновенное прояснение.

— Теперь все понятно, — прошептал Коротков и тихонько рассмеялся, — ага, понял. Вот оно что. Коты! Все понятно. Коты.

Он начал смеяться все громче, громче, пока вся лестница не наполнилась гулкими раскатами.

VIII

ВТОРАЯ НОЧЬ

В сумерки товарищ Коротков, сидя на байковой кровати, выпил три бутылки вина, чтобы все забыть и успокоиться. Голова теперь у него болела вся: правый и левый висок, затылок и даже веки. Легкая муть поднималась со дна желудка, ходила внутри волнами, и два раза тов. Короткова рвало в таз.

— Я вот так сделаю, — слабо шептал Коротков, свесив вниз голову, — завтра я постараюсь не встречаться с ним. Но так как он вертится всюду, то я пережду. Пережду: в переулочке или в тупичке. Он себе мимо и пройдет. А если он погонится за мной, я убегу. Он и отстанет. Иди себе, мол, своей дорогой. И я уж больше не хочу в Спимат. Бог с тобой. Служи себе и заведующим и делопроизводителем, и трамвайных денег я не хочу. Обойдусь и без них. Только ты уж меня, пожалуйста, оставь в покое. Кот ты или не кот, с бородой или без бороды, — ты сам по себе, я сам по себе. Я себе другое местечко найду и буду служить тихо и мирно. Ни я никого не трогаю, ни меня никто. И претензий на тебя никаких подавать не буду. Завтра только выправлю себе документы — и шабаш...

В отдалении глухо начали бить часы. Бам... бам... «Это у Пеструхиных», — подумал Коротков и стал считать. Десять... одиннадцать... полночь, 13, 14, 15... 40...

— Сорок раз пробили часики, — горько усмехнулся Коротков, а потом опять заплакал. Потом его судорожно и тяжело стошнило церковным вином. — Крепкое, ох крепкое вино, — выговорил Коротков и со стоном откинулся на подушку.

Прошло часа два, и непотушенная лампа освещала бледное лицо на подушке и растрепанные волосы.

IX

МАШИННАЯ ЖУТЬ

Осенний день встретил тов. Короткова расплывчато и странно. Боязливо озираясь на лестнице, он взобрался на 8-й этаж, повернул наобум направо и радостно вздрогнул. Нарисованная рука указывала ему на надпись «Комнаты 302 — 349». Следуя пальцу спаситель-

ной руки, он добрался до двери с надписью «302 — бюро претензий». Осторожно заглянув в нее, чтобы не столкнуться с кем не надо, Коротков вошел и очутился перед семью женщинами за машинками. Поколебавшись немного, он подошел к крайней — смуглой и матовой, поклонился и хотел что-то сказать, но брюнетка вдруг перебила его. Взоры всех женщин устремились на Короткова.

— Выйдем в коридор, — резко сказала матовая и судорожно поправила прическу.

«Боже мой, опять, опять что-то...» — тоскливо мелькнуло в голове Короткова.

Тяжело вздохнув, он повиновался. Шесть оставшихся взволнованно зашушукали вслед.

Брюнетка вывела Короткова и в полутьме пустого коридора сказала:

— Вы ужасны... Из-за вас я не спала всю ночь и решилась. Будь по-вашему. Я отдамся вам.

Коротков посмотрел на смуглое с огромными глазами лицо, от которого пахло ландышем, издал какой-то гортанный звук и ничего не сказал. Брюнетка закинула голову, страдальчески оскалила зубы, схватила руки Короткова, притянула его к себе и зашептала:

— Что ж ты молчишь, соблазнитель? Ты покориł меня своею храбростью, мой змий. Целуй же меня, целуй скорее, пока нет никого из контрольной комиссии.

Опять странный звук вылетел изо рта Короткова. Он пошатнулся, ощутил на своих губах что-то сладкое и мягкое, и огромные зрачки оказались у самых глаз Короткова.

— Я отдамся тебе... — шепнуло у самого рта Короткова.

— Мне не надо, — сипло ответил он, — у меня украли документы.

— Тэк-с, — вдруг раздалось сзади.

Коротков обернулся и увидел люстринового старичка.

— А-ах! — вскрикнула брюнетка и, закрыв лицо руками, убежала в дверь.

— Хи, — сказал старичок, — здорово. Куда ни пойдешь, вы, господин Колобков. Ну и хват же вы. Да что там, целуй не целуй, не выцелуете командировку. Мне, старичку, дали, мне и ехать. Вот что-с.

С этими словами он показал Короткову сухенький маленький шиш.

А заявленьице я на вас подам, — злобно продолжал люстрин, — да-с. Растлили трех в главном отделе, теперь, стало быть, до подотделов добираетесь? Что их ангелочки теперь плачут, это вам все равно? Горюют они теперь, бедные девочки, да ау, поздно-с. Не воротишь девичьей чести. Не воротишь.

Старичок вынул большой носовой платок с оранжевыми букетами, заплакал и засморкался.

Из рук старичка подъемные крохи желаете выдрать, господин Колобков? Что ж... — старичок затрясся и зарыдал, уронил портфель, — берите, кушайте. Пушай беспартийный, сочувствующий старичок с голоду помирает... Пушай, мол. Туда ему и дорога, старой собаке. Ну, только попомните, господин Колобков, — голос старичка стал пророчески грозным и налился колоколами, — не пойдут они вам впрок, денежки эти сатанинские. Колом в горле они у вас станут, — и старичок разлился в буйных рыданиях.

Истерика овладела Коротковым; внезапно и неожиданно для самого себя он дробно затопал ногами.

К чертовой матери! — тонко закричал он, и его больной голос разнесся по сводам. — Я не Колобков. Отлезь от меня! Не Колобков. Не еду! Не еду!

Он начал рвать на себе воротничок.

Старичок мгновенно высох, от ужаса задрожал.

- Следующий! — крикнула дверь.

Коротков смолк и кинулся в нее, свернул влево, миновав машинки, и очутился перед рослым, изящным блондином в синем костюме. Блондин кивнул Короткову головой и сказал:

- Покороче, товарищ. Разом. В два счета. Полтава или Иркутск?

- Документы украли, — дико озираясь, ответил растерзанный Коротков, — и кот появился. Не имеет права. Я никогда в жизни не дрался, это спички. Преследовать не имеет права. Я не посмотрю, что он Кальсонер. У меня украли до...

— Ну, это вздор, — ответил синий, — обмундирование дадим, и рубахи, и простыни. Если в Иркутск, так даже и полушубок подержанный. Коротче.

Он музыкально звякнул ключом в замке, выдвинул ящик и, заглянув в него, приветливо сказал

Пожалте, Сергей Николаевич

И тотчас из ясеневых ящика выглянула причесан

ная, светлая, как лен, голова и синие бегающие глаза. За ними изогнулась, как змеиная, шея, хрустнул крахмальный воротничок, показался пиджак, руки, брюки и через секунду законченный секретарь, с писком «Доброе утро», вылез на красное сукно. Он встряхнулся, как выкупавшийся пес, соскочил, заправил поглубже манжеты, вынул из карманчика патентованное перо и в ту же минуту застрочил.

Коротков отшатнулся, протянул руку и жалобно сказал синему:

— Смотрите, смотрите, он вылез из стола. Что же это такое?..

— Естественно, вылез, — ответил синий, — не лежать же ему весь день. Пора. Время. Хронометраж.

— Но как? Как? — зазвенел Коротков.

— Ах ты, господи, — взволновался синий, — не задерживайте, товарищ.

Брюнеткина голова вынырнула из двери и крикнула возбужденно и радостно:

— Я уже заслала его документы в Полтаву. И я еду с ним. У меня тетка в Полтаве под 43-м градусом широты и 5-м долготы.

— Ну и чудесно, — ответил блондин, — а то мне надоела эта волюнка.

— Я не хочу! — вскричал Коротков, блуждая взором. — Она будет мне отдаваться, а я терпеть этого не могу. Не хочу! Верните документы. Священную мою фамилию. Восстановите!

— Товарищ, это в отделе брачующихся, — запищал секретарь, — мы ничего не можем сделать.

— О, дурашка! — воскликнула брюнетка, выглянув опять. — Соглашайся! Соглашайся! — кричала она суфлерским шепотом. Голова ее то скрывалась, то появлялась.

— Товарищ! — зарыдал Коротков, размазывая по лицу слезы. — Товарищ! Умоляю тебя, дай документы. Будь другом. Будь, прошу тебя всеми фибрами души и я уйду в монастырь.

— Товарищ! Без истерики. Конкретно и абстрактно изложите письменно и устно, срочно и секретно Полтава или Иркутск? Не отнимайте время у занятого человека! По коридорам не ходить! Не плевать! Не курить! Разменом денег не затруднять! — выйдя из себя, загремел блондин.

— Рукопожатия отменяются! кукарекнул секретарь.

— Да здравствуют объятия! — страстно шепнула брюнетка и, как дуновение, пронеслась по комнате, обдавая ландышем шею Короткова.

— Сказано в заповеди тринадцатой: не входи без доклада к ближнему твоему, — прошамкал люстриновый и пролетел по воздуху, взмахивая лапами крылатки... — Я и не вхожу, не вхожу-с, — а бумажку все-таки подброшу, вот так, хлоп!.. подпишешь любую — и на скамье подсудимых. — Он выкинул из широкого черного рукава пачку белых листов, и они разлетелись и усеяли столы, как чайки скалы на берегу.

Мать заходила в комнату, и окна стали качаться.

— Товарищ блондин! — плакал истомленный Коротков — Застрели ты меня на месте, но выправь ты мне какой ни на есть документик. Руку я тебе поцелую.

В мути блондин стал пухнуть и вырастать, не переставая ни на минуту бешено подписывать старичковы листки и швырять их секретарю, который ловил их с радостным урчанием.

— Черт с ним! — загремел блондин. — Черт с ним. Машинистки, гей!

Он махнул огромной рукой, стена перед глазами Короткова распалась, и тридцать машин на столах, звякнув звоночками, заиграли фокстрот. Колыша бедрами, сладострастно поводя плечами, взбрасывая кремовыми ногами белую пену, парадом-алле двинулись тридцать женщин и пошли вокруг столов.

Белые змеи бумаги полезли в пасти машин, стали свиваться, раскраиваться, сшиваться. Вылезли белые брюки с фиолетовыми лампасами: «Предъявитель сего есть действительно предъявитель, а не какая-нибудь шантрапа».

— Надевай! — грохнул блондин в тумане.

— И-и-и-и, — тоненько заскулил Коротков и стал биться головой об угол блондинова стола.

Голове полегчало на минутку, и чье-то лицо в слезах метнулось перед Коротковым.

— Валерьянки! — крикнул кто-то на потолке

Крылатка, как черная птица, закрыла свет, старичок зашептал тревожно:

— Теперь одно спасение — к Дыркину в пятое отделение. Ходу! Ходу!

Запахло эфиром, потом руки нежно вынесли Короткова в полутемный коридор. Крылатка обняла Коротко-

ва и повлекла, шепча и хихикая:

— Ну, я уж им удружил: такое подсыпал на столы, что каждому из них достанется не меньше пяти лет с поражением на поле сражения. Ходу! Ходу!

Крылатка порхнула в сторону, потянуло ветром и сыростью из сетки, уходящей в пропасть.

Х

СТРАШНЫЙ ДЫРКИН

Зеркальная кабина стала падать вниз, и двое Коротковых упали вниз. Второго Короткова первый и главный забыл в зеркале кабины и вышел один в прохладный вестибюль. Очень толстый и розовый в цилиндре встретил Короткова словами:

— И чудесно. Вот я вас и арестую.

— Меня нельзя арестовать, — ответил Коротков и засмеялся сатанинским смехом, — потому что я неизвестно кто. Конечно. Ни арестовать, ни женить меня нельзя. А в Полтаву я не поеду.

Толстый человек задрожал в ужасе, поглядел в зрачки Короткову и стал оседать назад.

— Арестуй-ка, — пискнул Коротков и показал толстяку дрожащий бледный язык, пахнущий валерьянкой, — как ты арестуешь, ежели вместо документов — фига? Может быть, я Гогенцоллерн.

— Господи Иисусе, — сказал толстяк, трясущейся рукой перекрестился и превратился из розового в желтого.

— Кальсонер не попадался? — отрывисто спросил Коротков и оглянулся. — Отвечай, толстун.

— Никак нет, — ответил толстяк, меняя розовую окраску на серенькую.

— Как же теперь быть? А?

— К Дыркину, не иначе, — пролепетал толстяк, — к нему самое лучшее. Только грозен. Ух грозен! И не подходи. Двое уж от него сверху вылетели. Телефон сломал нынче.

— Ладно, — ответил Коротков и залихватски сплюнул, — нам теперь все равно. Подымай!

— Ножку не ушибите, товарищ уполномоченный, — нежно сказал толстяк, подсаживая Короткова в лифт.

На верхней площадке попался маленький лет шестнадцати и страшно закричал:

- Куда ты? Стой!
- Не бей, дяденька, — сказал толстяк, съежившись и закрыв голову руками, — к самому Дыркину
— Проходи, — крикнул маленький.

Толстяк зашептал:

- Вы уж идите, ваше сиятельство, а я здесь на скамеечке вас подожду. Больно жутко...

Коротков попал в темную переднюю, а из нее в пустынный зал, в котором был распростерт голубой вытертый ковер.

Перед дверью с надписью «Дыркин» Коротков немного поколебался, но потом вошел и оказался в уютно обставленном кабинете с огромным малиновым столом и часами на стене. Маленький пухлый Дыркин вскочил на пружине из-за стола и, вздыбив усы, рывкнул:

— М-молчать!.. — хоть Коротков еще ровно ничего не сказал.

В ту же минуту в кабинете появился бледный юноша с портфелем. Лицо Дыркина мгновенно покрылось улыбковыми морщинами.

— А-а! — вскричал он сладко. - Артур Артурыч Наше вам.

— Слушай, Дыркин, — заговорил юноша металлическим голосом, — ты написал Пузыреву, что будто бы я учредил в эмеритурной кассе свою единоличную диктатуру и потер эмеритурные майские деньги? Ты? Отвечай, паршивая сволочь.

— Я?.. — забормотал Дыркин, колдовски превращаясь из грозного Дыркина в Дыркина-добряка. — Я, Артур Диктатурыч... Я, конечно... Вы это напрасно...

— Ах ты, мерзавец, мерзавец, — раздельно сказал юноша, покачал головой и, взмахнув портфелем, треснул им Дыркина по уху, словно блин выложил на тарелку.

Коротков машинально охнул и застыл.

- То же будет и тебе, и всякому негодяю, который позволит себе совать нос в мои дела, — внушительно сказал юноша и, погрозив на прощание Короткову красным кулаком, вышел.

Минуты две в кабинете стояло молчание и лишь подвески на канделябрах звякали от проехавшего где-то грузовика.

— Вот, молодой человек, — горько усмехнувшись, сказал добрый и униженный Дыркин, — вот и награда

за усердие. Ночей недосыпаешь, недоедаешь, недопиваешь, а результат всегда один — по морде. Может быть, и вы с тем же пришли? Что ж... Бейте Дыркина, бейте. Морда у него, видно, казенная. Может быть, вам рукой больно? Так вы канделябрик возьмите.

И Дыркин соблазнительно выставил пухлые щеки из-за письменного стола. Ничего не понимая, Коротков косо и застенчиво улыбнулся, взял канделябр за ножку и с хрустом ударил Дыркина по голове свечами. Из носа у того закапала на сукно кровь, и он, крикнув «караул!», убежал через внутреннюю дверь.

— Ку-ку! — радостно крикнула лесная кукушка и выскочила из нюренбергского разрисованного домика на стене.

— Ку-клук-клан! — закричала она и превратилась в лысую голову. — Запишем, как вы работников лупите!

Ярость овладела Коротковым. Он взмахнул канделябром и ударил им в часы. Они ответили громом и брызгами золотых стрелок. Кальсонер выскочил из часов, превратился в белого петушка с надписью «Исходящий» и юркнул в дверь. Тотчас за внутренними дверями разлился вопль Дыркина: «Лови его, разбойника!» и тяжкие шаги людей полетели со всех сторон. Коротков повернулся и бросился бежать.

XI

ПАРФОРСНОЕ КИНО И БЕЗДНА

С площадки толстяк скакнул в кабину, забросился сетками и ухнул вниз, а по огромной изгрызенной лестнице побежали в таком порядке: первым черный цилиндр толстяка, за ним — белый исходящий петух, за петухом — канделябр, пролетевший в верхшке над острой белой головкой, затем Коротков, шестнадцатилетний с револьвером в руке и еще какие-то люди, топчущие подкованными сапогами. Лестница застонала бронзовым звоном, и тревожно захлопали двери на площадках.

Кто-то свесился с верхнего этажа вниз и крикнул в рупор:

— Какая секция переезжает? Несгораемую кассу за были!

Женский голос внизу ответил:

— Бандиты!!

В огромные двери на улицу Коротков, обогнав цилиндр и канделябр, выскочил первым и, заглотав огромную порцию раскаленного воздуха, полетел на улицу. Белый петушок провалился сквозь землю, оставив серный запах, черная крылатка соткалась из воздуха и поплелась рядом с Коротковым с криком тонким и протяжным:

— Артельщиков бьют, товарищи!

По пути Короткова прохожие сворачивали в стороны и вползали в подворотни, вспыхивали и гасли короткие свистки. Кто-то бешено порскал, улюлюкал, и загорались тревожные сильные крики: «Держи!». С дробным грохотом опускались железные шторы, и какой-то хромой, сидя на трамвайной линии, визжал:

— Началось!

Выстрелы летели теперь за Коротковым частые, веселые, как елочные хлопушки, и пули жикали то сбоку, то сверху. Рычащий, как кузнечный мех, Коротков стремился к гиганту — одиннадцатизэтажному зданию, выходящему боком на улицу и фасадом в тесный переулочек. На самом углу — стеклянная вывеска с надписью «RESTORAN i PIVO» треснула звездой, и пожилой извозчик пересел с козел на мостовую с томным выражением лица и словами:

— Здорово! Что ж вы, братцы, в кого попало, стало быть?..

Выбежавший из переулка человек сделал попытку ухватить Короткова за полу пиджака, и пола осталась у него в руках. Коротков завернул за угол, пролетел несколько саженей и вбежал в зеркальное пространство вестибюля. Мальчик в галунах и золоченых пуговках отскочил от лифта и заплакал.

— Садись, дядя. Садись! — проревел он. — Только не бей сироту!

Коротков вонзился в коробку лифта, сел на зеленый диван напротив другого Короткова и задышал, как рыба на песке. Мальчишка, всхлипывая, влез за ним, закрыл дверь, ухватился за веревку, и лифт поехал вверх. И тотчас внизу, в вестибюле, загремели выстрелы и завертелись стеклянные двери.

Лифт мягко и тошно шел вверх, мальчишка, успокоившись, утирал нос одной рукой, а другой перебирал веревку.

— Деньги покрал, дяденька? — с любопытством спросил он, всматриваясь в растерзанного Короткова.

— Кальсонера... атакуем... — задыхаясь, отвечал Коротков, — да он в наступление перешел...

— Тебе, дяденька, лучше всего на самый верх, где бильярдные, — посоветовал мальчишка, — там на крыше отсидишься, если с маузером.

— Давай наверх... — согласился Коротков.

Через минуту лифт плавно остановился, мальчишка распахнул двери и, шмыгнув носом, сказал:

— Вылазь, дяденька, сыпь на крышу.

Коротков выпрыгнул, осмотрелся и прислушался. Снизу донесся нарастающий, поднимающийся гул, сбоку — стук костяных шаров через стеклянную перегородку, за которой мелькали встревоженные лица. Мальчишка шмыгнул в лифт, заперся и провалился вниз.

Орлиным взором окинув позицию, Коротков поколебался мгновение и с боевым кличем: «Вперед!» — вбежал в бильярдную. Замелькали зеленые площадки с лоснящимися белыми шарами и бледные лица. Снизу совсем близко бухнул в оглушительном эхе выстрел, и со звоном где-то посыпались стекла.словно по сигналу, игроки побросали кии и гуськом, топоча, кинулись в боковые двери. Коротков, метнувшись, запер за ними дверь на крюк, с треском запер входную стеклянную дверь, ведущую с лестницы в бильярдную, и вооружился шарами. Прошло несколько секунд, и возле лифта выросла первая голова за стеклом. Шар вылетел из рук Короткова, со свистом прошел через стекло, и голова мгновенно исчезла. На ее месте сверкнул бледный огонь и выросла вторая голова, за ней — третья. Шары полетели один за другим, и стекла полопались в перегородке. Перекатывающийся стук покрыл лестницу, и в ответ ему, как оглушительная зингеровская швейка, завыл и затряс все здание пулемет. Стекла и рамы вырезало в верхней части, как ножом, и тучей пудры понеслась штукатурка по всей бильярдной.

Коротков понял, что позицию удержать нельзя. Разбежавшись, закрыв голову руками, он ударил ногами в третью стеклянную стену, за которой начиналась плоская асфальтированная кровля громады. Стена треснула и высыпалась. Коротков под бушующим огнем успел выкинуть на крышу пять пирамид, и они разбежались

по асфальту, как отрубленные головы. Вслед за ними выскочил Коротков, и очень вовремя, потому что пуле-мет взял ниже и вырезал всю нижнюю часть рамы.

— Сдавайся! — смутно донеслось до него.

Перед Коротковым сразу открылось худосочное солнце над самой головой, бледненькое небо, ветерок и промерзший асфальт. Снизу и снаружи город дал знать тревожным, смягченным гулом. Попрыгав на асфальте и оглянувшись, подхватив три шара, Коротков подско-чил к парапету, влез на него и глянул вниз. Сердце его замерло. Открылись перед ним кровли домов, казав-шихся приплюснутыми и маленькими, площадь, по которой ползали трамваи, и жучки-народ, и тотчас Ко-ротков разглядел серенькие фигурки, проплывавшие к подъезду по щели переулка, а за ними тяжелую игруш-ку, усеянную золотыми сияющими головками.

— Окружили! — ахнул Коротков. — Пожарные.

Перегнувшись через парапет, он прицелился и пус-тил один за другим три шара. Они взвились, затем, описав дугу, ухнули вниз. Коротков подхватил еще одну тройку, опять влез и, размахнувшись, выпустил и их. Шары сверкнули, как серебряные, потом, снизившись, превратились в черные, потом опять засверкали и ис-чезли. Короткову показалось, что жучки забегали встре-воженно на залитой солнцем площади. Коротков наклонился, чтобы подхватить еще порцию снарядов, но не успел. С несмолкающим хрустом и треском сте-кол в проломе бильярдной показались люди. Они сы-пались, как горох, выскакивая на крышу. Вылетели серые фуражки, серые пицели, а через верхнее стекло, не касаясь земли, вылетел люстриновый старичок. За-тем стена совсем распалась, и грозно выкатился на ро-ликах страшный бритый Кальсонер со старинным мушкетеном в руках.

— Сдавайся! — завывало спереди, сзади и сверху, и все покрыл невыносимый оглушающий кастрюльный бас.

— Кончено, — слабо прокричал Коротков, — конче-но. Бой проигран. Та-та-та! — запел он губами труб-ный отбой.

Отвага смерти хлынула ему в душу. Цепляясь и ба-лансируя, Коротков взобрался на столб парапета, по-качнулся на нем, вытянулся во весь рост и крикнул:

— Лучше смерть, чем позор!

Преследователи были в двух шагах. Уже Коротков видел протянутые руки, уже выскочило пламя изо рта Кальсонера. Солнечная бездна поманила Короткова так, что у него захватило дух. С пронзительным победным кликом он подпрыгнул и взлетел вверх. Вмиг перерезало ему дыхание. Неясно, очень неясно он видел, как серое с черными дырами, как от взрыва, взлетело мимо него вверх. Затем очень ясно увидел, что серое упало вниз, а сам он поднялся вверх к узкой щели переулка, которая оказалась над ним. Затем кровавое солнце со звоном лопнуло у него в голове, и больше он ровно ничего не видал.

РОКОВЫЕ ЯЙЦА

Повесть

Глава I

КУРРИКУЛЮМ ВИТЭ ПРОФЕССОРА ПЕРСИКОВА

16 апреля 1928 года, вечером, профессор зоологии IV государственного университета и директор зооинститута в Москве Персиков вошел в свой кабинет, помещающийся в зооинституте, что на улице Герцена. Профессор зажег верхний матовый шар и огляделся.

Начало ужасающей катастрофы нужно считать заложенным именно в этот злосчастный вечер, равно как первопричиною этой катастрофы следует считать именно профессора Владимира Ипатьевича Персикова.

Ему было ровно 58 лет. Голова замечательная, толкачом, лысая, с пучками желтоватых волос, торчащими по бокам. Лицо гладко выбритое, нижняя губа выпячена вперед. От этого персиковское лицо вечно носило на себе несколько капризный отпечаток. На красном носу старомодные маленькие очки в серебряной оправе, глазки блестящие, небольшие, росту высокого, сутуловат. Говорил скрипучим, тонким, квакающим голосом и среди других странностей имел такую: когда говорил что-либо веско и уверенно, указательный палец правой руки превращал в крючок и шурил глазки. А так как он говорил всегда уверенно, ибо эрудиция в его области у него была совершенно феноменальная, то крючок очень часто появлялся перед глазами собеседников профессора Персикова. А вне своей области, т. е. зоологии, эмбриологии, анатомии, ботаники и географии, профессор Персиков почти ничего не говорил.

Газет профессор Персиков не читал, в театр не хо-

дил, а жена профессора сбежала от него с тенором оперы Зимина в 1913 году, оставив ему записку такого содержания:

«Невыносимую дрожь отвращения возбуждают во мне твои лягушки. Я всю жизнь буду несчастна из-за них».

Профессор больше не женился и детей не имел. Был очень вспыльчив, но отходчив, любил чай с морошкой, жил на Пречистенке, в квартире из 5 комнат, одну из которых занимала сухенькая старушка, экономка Марья Степановна, ходившая за профессором, как нянька.

В 1919 году у профессора отняли из 5 комнат 3. Тогда он заявил Марье Степановне:

— Если они не прекратят эти безобразия, Марья Степановна, я уеду за границу.

Нет сомнения, что, если бы профессор осуществил этот план, ему очень легко удалось бы устроиться при кафедре зоологии в любом университете мира, ибо ученый он был совершенно первоклассный, а в той области, которая так или иначе касается земноводных или голых гадов, и равных себе не имел, за исключением профессоров Ульяма Веккля в Кембридже и Джакомо Бартоломео Беккари в Риме. Читал профессор на 4 языках кроме русского, а по-французски и немецки говорил как по-русски. Намерения своего относительно заграницы Персиков не выполнил, и 20-й год вышел еще хуже 19-го. Произошли события, и притом одно за другим. Большую Никитскую переименовали в улицу Герцена. Затем часы, врезанные в стену дома на углу Герцена и Моховой, остановились на 11 с $\frac{1}{4}$, и, наконец, в террариях зоологического института, не вынеся всех пертурбаций знаменитого года, издохли первоначально 8 великолепных экземпляров квакшей, затем 15 обыкновенных жаб и, наконец, исключительнейший экземпляр жабы Суринамской.

Непосредственно вслед за жабами, опустошившими тот первый отряд голых гадов, который по справедливости назван классом гадов бесхвостых, переселился в лучший мир бессменный сторож института старик Влас, не входящий в класс голых гадов. Причина смерти его, впрочем, была та же, что и у бедных гадов, и ее Персиков определил сразу:

— Бескормица!

Ученый был совершенно прав: Власа нужно было кормить мукой, а жаб мучными червями, но поскольку пропала первая, постольку исчезли и вторые. Персиков оставшиеся 20 экземпляров квакш попробовал перевести на питание тараканами, но и тараканы куда-то провалились, показав свое злостное отношение к военному коммунизму. Таким образом, и последние экземпляры пришлось выкинуть в выгребные ямы на дворе института.

Действие смертей, и в особенности Суринамской жабы, на Персикова не поддается описанию. В смертях он целиком почему-то обвинил тогдашнего наркома просвещения.

Стоя в шапке и калошах в коридоре выстывающего института, Персиков говорил своему ассистенту Иванову, изящнейшему джентльмену с острой белокурой бородкой:

— Ведь за это же его, Петр Степанович, убить мало! Что же они делают? Ведь они ж погубят институт! А? Бесподобный самец, исключительный экземпляр Пипа американа, длиной в 13 сантиметров...

Дальше пошло хуже. По смерти Власа окна в институте промерзли насквозь, так что цветистый лед сидел на внутренней поверхности стекол. Издохли кролики, лисицы, волки, рыбы и все до единого ужи. Персиков стал молчать целыми днями, потом заболел воспалением легких, но не умер. Когда оправился, приходил 2 раза в неделю в институт и в круглом зале, где было всегда, почему-то не изменяясь, 5 градусов мороза, независимо от того, сколько на улице, читал в калошах, в шапке с наушниками и в кашне, выдыхая белый пар, 8 слушателям цикл лекций на тему «Пресмыкающиеся жаркого пояса». Все остальное время Персиков лежал у себя на Пречистенке на диване, в комнате, до потолка набитой книгами, под пледом, кашлял и смотрел в пасть огненной печурки, которую золочеными стульями топила Марья Степановна, вспоминал Суринамскую жабу.

Но все на свете кончается. Кончился 20-й и 21-й год, а в 22-м началось какое-то обратное движение. Во-первых: на месте покойного Власа появился Панкрат, еще молодой, но подающий большие надежды зоологический сторож, институт стали топить понемногу. А

летом Персиков, при помощи Панкрата, на Клязьме поймал 14 штук вульгарных жаб. В террариях вновь закипела жизнь... В 23-м году Персиков уже читал 8 раз в неделю — 3 в институте и 5 в университете, в 24-м году 13 раз в неделю и, кроме того, на рабфаках, а в 25-м, весной, прославился тем, что на экзаменах срезал 76 человек студентов, и всех на голых гадах.

— Как, вы не знаете, чем отличаются голые гады от пресмыкающихся? — спрашивал Персиков. — Это просто смешно, молодой человек. Тазовых почек нет у голых гадов. Они отсутствуют. Так-то-с. Стыдитесь. Вы, вероятно, марксист?

— Марксист, — угасая, отвечал зарезанный.

— Так вот, пожалуйста, осенью, — вежливо говорил Персиков и бодро кричал Панкрату: — Давай следующего!

Подобно тому как амфибии оживают после долгой засухи при первом обильном дожде, ожил профессор Персиков в 1926 году, когда соединенная американо-русская компания выстроила, начав с угла Газетного переулка и Тверской, в центре Москвы 15 пятнадцатизэтажных домов, а на окраинах 300 рабочих коттеджей, каждый на 8 квартир, раз и навсегда прикончив тот страшный и смешной жилищный кризис, который так терзал москвичей в годы 1919 — 1925.

Вообще это было замечательное лето в жизни Персикова, и порою он с тихим и довольным хихиканьем потирал руки, вспоминая, как он жался с Марьей Степановной в 2 комнатах. Теперь профессор все 5 получил обратно, расширился, расположил 2^{1/2} тысячи книг, чучела, диаграммы, препараты, зажег на столе зеленую лампу в кабинете.

Институт тоже узнать было нельзя: его покрыли кремовою краской, провели по специальному водопроводу воду в комнату гадов, сменили все стекла на зеркальные, прислали 5 новых микроскопов, стеклянные препарационные столы, шары по 2000 ламп с отраженным светом, рефлекторы, шкапы в музей.

Персиков ожил, и весь мир неожиданно узнал об этом, лишь только в декабре 1926 года вышла в свет брошюра:

«Еще к вопросу о размножении бляшконосных или хитонов». 126 стр. Известия IV университета.

А в 1927-м, осенью, капитальный труд в 350 стра-

ниц, переведенный на 6 языков, в том числе японский: «Эмбриология пип, чесночниц и лягушек». Цена 3 рубля. Госиздат.

А летом 1928 года произошло то невероятное, ужасное...

Г л а в а II

ЦВЕТНОЙ ЗАВИТОК

Итак, профессор зажег шар и огляделся. Зажег рефлектор на длинном экспериментальном столе, надел белый халат, позвенел какими-то инструментами на столе...

Многие из 30 тысяч механических экипажей, бегавших в 28-м году по Москве, проскакивали по улице Герцена, шурша по гладким торцам, и через каждую минуту с гулом и скрежетом скатывался с Герцена к Моховой трамвай 16, 22, 48 или 53-го маршрута. Отблески разноцветных огней забрасывал в зеркальные стекла кабинета и далеко и высоко был виден рядом с темной и грузной шапкой храма Христа туманный, бледный месячный серп.

Но ни он, ни гул весенней Москвы нисколько не занимали профессора Персикова. Он сидел на винтящемся трехногом табурете и побуревшими от табаку пальцами вертел кремальеру великолепного цейсовского микроскопа, в который был заложен обыкновенный неокрашенный препарат свежих амеб. В тот момент, когда Персиков менял увеличение с 5 на 10 тысяч, дверь приоткрылась, показалась остренькая борода, кожаный нагрудник, и ассистент позвал:

— Владимир Ипатьич, я установил брыжейку, не хотите ли взглянуть?

Персиков живо сполз с табурета, бросив кремальеру на полдороге, и, медленно вертя в руках папиросу, прошел в кабинет ассистента. Там, на стеклянном столе, полузадушенная и обмершая от страха и боли лягушка была распята на пробковом штативе, а ее прозрачные, слюдяные внутренности вытянуты из окровавленного живота в микроскоп.

— Очень хорошо! — сказал Персиков и припал глазом к окуляру микроскопа.

Очевидно, что-то очень интересное можно было рас-

смотреть в брыжейке лягушки, где, как на ладони видные, по рекам сосудов бойко бежали живые кровяные шарики. Персиков забыл о своих амебах и в течение полутора часа по очереди с Ивановым припадал к стеклу микроскопа. При этом оба ученые перебрасывались оживленными, но непонятными простым смертным словами.

Наконец Персиков отвалился от микроскопа, заявив:

— Сворачивается кровь, ничего не поделаешь.

Лягушка тяжело шевельнула головой, и в ее потухающих глазах были явственны слова: «Сволочи вы, вот что...»

Разминая затекшие ноги, Персиков поднялся, вернулся в свой кабинет, зевнул, потер пальцами вечно воспаленные веки и, присев на табурет, заглянул в микроскоп, пальцы он наложил на кремальеру и уже собирался двинуть винт, но не двинул. Правым глазом видел Персиков мутноватый белый диск и в нем смутных бледных амеб, а посередине диска сидел цветной завиток, похожий на женский локон. Этот завиток и сам Персиков, и сотни его учеников видели очень много раз, и никто не интересовался им, да и незачем было. Цветной пучочек света лишь мешал наблюдению и показывал, что препарат не в фокусе. Поэтому его безжалостно стирали одним поворотом винта, освещая поле ровным белым светом. Длинные пальцы зоолога уже вплотную легли на нарезку винта и вдруг дрогнули и слезли. Причиной этого был правый глаз Персикова, он вдруг насторожился, изумился, налился даже тревогой. Не бездарная посредственность, на горе республике, сидела у микроскопа. Нет, сидел профессор Персиков! Вся жизнь, его помыслы сосредоточились в правом глазу. Минут пять в каменном молчании высшее существо наблюдало низшее, мучая и напрягая глаз над стоящим вне фокуса препаратом. Кругом все молчало. Панкрат заснул уже в своей комнате в вестибюле, и один только раз в отдалении музыкально и нежно прозвенели стекла в шкапах — это Иванов, уходя, запер свой кабинет. За ним простонала входная дверь. Потом уже послышался голос профессора. У кого он спросил — неизвестно.

— Что такое? Ничего не понимаю...

Запоздалый грузовик прошел по улице Герцена, ко-

лыхнув старые стены института. Плоская стеклянная чашечка с пинцетами звякнула на столе. Профессор побледнел и занес руки над микроскопом, так, словно мать над дитятей, которому угрожает опасность. Теперь не могло быть и речи о том, чтобы Персиков двинул винт, о нет, он боялся уже, чтобы какая-нибудь посторонняя сила не вытолкнула из поля зрения того, что он увидел.

Было полное белое утро с золотой полосой, перерезавшей кремовое крыльцо института, когда профессор покинул микроскоп и подошел на онемевших ногах к окну. Он дрожащими пальцами нажал кнопку, и черные глухие шторы закрыли утро, и в кабинете ожила мудрая ученая ночь. Желтый и вдохновенный Персиков растопырил ноги и заговорил, уставившись в паркет слезящимися глазами:

— Но как же это так? Ведь это же чудовищно!.. Это чудовищно, господа, — повторил он, обращаясь к жабам в террарии, но жабы спали и ничего ему не ответили.

Он помолчал, потом подошел к выключателю, поднял шторы, потушил все огни и заглянул в микроскоп. Лицо его стало напряженным, он сдвинул кустоватые желтые брови.

— Угу, угу, — пробурчал он, — пропал. Понимаю По-онимаю, — протянул он, сумасшедше и вдохновенно глядя на погасший шар над головой, — это просто

И он вновь опустил шипящие шторы и вновь зажег шар. Заглянул в микроскоп, радостно и как бы хищно осклабился.

— Я его поймаю, — торжественно и важно сказал он, поднимая палец вверх, — поймаю. Может быть, и от солнца.

Опять шторы взвились. Солнце теперь было налицо. Вот оно залило стены института и косяком легло на торцах Герцена. Профессор смотрел в окно, соображая, где будет солнце днем. Он то отходил, то приближался, легонько пританцовывая, и наконец животом лег на подоконник.

Приступил к важной и таинственной работе. Стеклянным колпаком накрыл микроскоп. На синеватом пламени горелки расплавил кусок сургуча и края колокола припечатал к столу, а на сургучных пятнах оттиснул свой большой палец. Газ потушил, вышел и дверь кабинета запер на английский замок.

Полусвет был в коридорах института. Профессор добрался до комнаты Панкрата и долго и безуспешно стучал в нее. Наконец за дверью послышалось урчание как бы цепного пса, харканье и мычание, и Панкрат в полосатых подштанниках, с завязками на щиколотках предстал в светлом пятне. Глаза его дико уставились на ученого, он еще легонько подвывал со сна.

— Панкрат, — сказал профессор, глядя на него поверх очков, — извини, что я тебя разбудил. Вот что, друг, в мой кабинет завтра утром не ходить. Я там работу оставил, которую сдвигать нельзя. Понял?

— У-у-у, по-по-понял, — ответил Панкрат, ничего не поняв. Он пошатывался и рычал.

— Нет, слушай, ты проснись, Панкрат, — молвил зоолог и легонько потыкал Панкрата в ребра, отчего у того на лице получился испуг и некоторая тень осмысленности в глазах. — Кабинет я запер, — продолжал Персиков, — так убирать его не нужно до моего прихода. Понял?

— Слушаю-с, — прохрипел Панкрат.

— Ну вот и прекрасно, ложись спать.

Панкрат повернулся, исчез в двери и тотчас обрушился на постель, а профессор стал одеваться в вестибюле. Он надел серое летнее пальто и мягкую шляпу, затем, вспомнив про картину в микроскопе, уставился на свои калоши и несколько секунд глядел на них, словно видел их впервые. Затем левую надел и на левую хотел надеть правую, но та не полезла.

— Какая чудовищная случайность, что он меня отозвал, — сказал ученый, — иначе я его так бы и не заметил. Но что это сулит?.. Ведь это сулит черт знает что такое!..

Профессор усмехнулся, прищурился на калоши и левую снял, а правую надел.

— Боже мой. Ведь даже нельзя представить себе всех последствий... — Профессор с презрением ткнул левую калошу, которая раздражала его, не желая налезать на правую, и пошел к выходу в одной калоше.

Тут же он потерял носовой платок и вышел, хлопнув тяжелою дверью. На крыльце он долго искал в карманах спичек, хлопая себя по бокам, нашел и тронулся по улице с незажженной папирсой во рту.

Ни одного человека ученый не встретил до самого храма. Там профессор, задрав голову, приковался к зо

лотому шлему. Солнце сладостно лизало его с одной стороны.

— Как же раньше я не видал его, какая случайность?.. Тьфу, дурак, — профессор наклонился и задумался, глядя на разно обутые ноги, — гм... как же быть? К Панкрату вернуться? Нет, его не разбудишь. Бросить ее, подлую, жалко. Придется в руках нести. — Он снял калошу и брезгливо понес ее.

На стареньком автомобиле с Пречистенки выехали трое. Двое пьяненьких и на коленях у них ярко раскрашенная женщина в шелковых шароварах по моде 28-го года.

— Эх, папаша! — крикнула она низким сиповатым голосом. — Что ж ты другую-то калошку пропил!

— Видно, в «Альказаре» набрался старичок, — завыл левый пьяненький, правый высунулся из автомобиля и прокричал:

— Отец, что, ночная на Волхонке открыта? Мы туда!

Профессор строго посмотрел на них поверх очков, выронил изо рта папиросу и тотчас забыл об их существовании. На Пречистенском бульваре рождалась солнечная прорезь, а шлем Христа начал пылать. Вышло солнце.

Г л а в а III

ПЕРСИКОВ ПОЙМАЛ

Дело было вот в чем. Когда профессор приблизил свой гениальный глаз к окуляру, он впервые в жизни обратил внимание на то, что в разноцветном завитке особенно ярко и жирно выделялся один луч. Луч этот был ярко-красного цвета и из завитка выпадал, как маленькое острие, ну, скажем, с иголку, что ли.

Просто уж такое несчастье, что на несколько секунд луч этот приковал наметанный глаз виртуоза.

В нем, в луче, профессор разглядел то, что было в тысячу раз значительнее и важнее самого луча, непрочного дитяти, случайно родившегося при движении зеркала и объектива микроскопа. Благодаря тому что ассистент отозвал профессора, амёбы пролежали полтора часа под действием этого луча, и получилось вот что: в то время как в диске вне луча зернистые амёбы лежали вяло и беспомощно, в том месте, где пролегал

красный заостренный меч, происходили странные явления. В красной полосочке кипела жизнь. Серенькие амёбы, выпуская ложноножки, тянулись изо всех сил в красную полосу и в ней (словно волшебным образом) оживали. Какая-то сила вдохнула в них дух жизни. Они лезли стаей и боролись друг с другом за место в луче. В нем шло бешеное, другого слова не подобрать, размножение. Ломая и опрокидывая все законы, известные Персикову, как свои пять пальцев, они почковались на его глазах с молниеносной быстротой. Они разваливались на части в луче, и каждая из частей в течение 2 секунд становилась новым и свежим организмом. Эти организмы в несколько мгновений достигали роста и зрелости лишь затем, чтобы в свою очередь тотчас же дать новое поколение. В красной полосе, а потом и во всем диске стало тесно и началась неизбежная борьба. Вновь рожденные яростно набрасывались друг на друга и рвали в клочья и глотали. Среди рожденных валялись трупы погибших в борьбе за существование. Побеждали лучшие и сильные. И эти лучшие были ужасны. Во-первых, они объемом приблизительно в два раза превышали обыкновенных амёб, а во-вторых, отличались какой-то особенной злобой и резвостью. Движения их были стремительны, их ложноножки гораздо длиннее нормальных, и работали они ими, без преувеличения, как спруты щупальцами.

Во второй вечер профессор, осунувшийся и побледневший без пищи, взвинчивая себя лишь толстыми самокрутками, изучал новое поколение амёб, а в третий день он перешел к первоисточнику, т. е. к красному лучу.

Газ тихонько шипел в горелке, опять по улице шаркало движение, и профессор, отравленный сотой папиросою, полускрыв глаза, откинулся на спинку винтового кресла.

— Да, теперь все ясно. Их оживил луч. Это новый, не исследованный никем, никем не обнаруженный луч. Первое, что придется выяснить, это — получается ли он только от электричества или также и от солнца, — бормотал Персиков самому себе.

И в течение еще одной ночи это выяснилось. В три микроскопа Персиков поймал три луча, от солнца ничего не поймал и выразился так:

— Надо полагать, что в спектре солнца его нет... гм...

ну, одним словом, надо полагать, что добыть его можно только от электрического с. ста. — Он любовно поглядел на матовый шар вверх, вдохновенно подумал и пригласил к себе в кабинет Иванова. Он все ему рассказал и показал амеб.

Приват-доцент Иванов был поражен, совершенно раздавлен: как же такая простая вещь, как эта тоненькая стрела, не была замечена раньше, черт возьми! Да кем угодно, и хотя бы им, Ивановым, и действительно это чудовищно! Вы только посмотрите...

— Вы посмотрите, Владимир Ипатьич! — говорил Иванов, в ужасе прилипая глазом к окуляру. — Что делается?! Они растут на моих глазах... Гляньте, гляньте...

— Я их наблюдаю уже третий день, — вдохновенно ответил Персиков.

Затем произошел между двумя учеными разговор, смысл которого сводился к следующему: приват-доцент Иванов берется соорудить при помощи линз и зеркал камеру, в которой можно будет получить этот луч в увеличенном виде и вне микроскопа. Иванов надеется, даже совершенно уверен, что это чрезвычайно просто. Луч он получит, Владимир Ипатьич может в этом не сомневаться. Тут произошла маленькая заминка.

— Я, Петр Степанович, когда опубликую работу, напишу, что камеры сооружены вами, — вставил Персиков, чувствуя, что заминочку надо разрешить.

— О, это не важно... Впрочем, конечно...

И заминочка тотчас разрешилась. С этого времени луч поглотил и Иванова. В то время как Персиков, худея и истощаясь, просиживал дни и половину ночей за микроскопом, Иванов возился в сверкающем от ламп физическом кабинете, комбинируя линзы и зеркала. Помогал ему механик.

Из Германии, после запроса через Комиссариат просвещения, Персикову прислали три посылки, содержащие в себе зеркала, двояковыпуклые, двояковогнутые и даже какие-то выпукло-вогнутые шлифованные стекла. Кончилось все это тем, что Иванов соорудил камеру и в нее действительно уловил красный луч. И, надо отдать справедливость, уловил мастерски: луч вышел жирный, сантиметра 4 в поперечнике, острый и сильный.

1-го июня камеру установили в кабинете Персикова,

и он жадно начал опыты с икрой лягушек, освещенной лучом. Опыты эти дали потрясающие результаты. В течение 2-х суток из икринок вылупились тысячи головастиков. Но этого мало, в течение одних суток головастики выросли необычайно в лягушек, и до того злых и прожорливых, что половина их тут же была перелопана другой половиной. Зато оставшиеся в живых начали вне всяких сроков метать икру и в 2 дня уже без всякого луча вывели новое поколение, и при этом совершенно бесчисленное. В кабинете ученого началось черт знает что: головастики расползались из кабинета по всему институту, в террариях и просто на полу, во всех закоулках завывали зычные хоры, как на болоте. Панкрат, и так боявшийся Персикова, как огня, теперь испытывал по отношению к нему одно чувство: мертвенный ужас. Через неделю и сам ученый почувствовал, что он шалест. Институт наполнился запахом эфира и цианистого кали, которым чуть-чуть не отравился Панкрат, не вовремя снявший маску. Разросшееся болотное поколение наконец удалось перебить ядами, кабинеты проветрить.

Иванову Персиков сказал так:

— Вы знаете, Петр Степанович, действие луча на дейтероплазму и вообще на яйцеклетку изумительно.

Иванов, холодный и сдержанный джентльмен, перебил профессора необычным тоном:

— Владимир Ипатьич, что же вы толкуете о мелких деталях, об дейтероплазме. Будем говорить прямо: вы открыли что-то неслыханное, — видимо, с большой потугой, но все же Иванов выдавил из себя слова: — Профессор Персиков, вы открыли луч жизни!

Слабая краска показалась на бледных, небритых скулах Персикова.

— Ну-ну-ну, — пробормотал он.

— Вы, — продолжал Иванов, — вы приобретете такое имя... У меня кружится голова. Вы понимаете, — продолжал он страстно, — Владимир Ипатьич, герои Уэльса по сравнению с вами просто вздор... А я-то думал, что это сказки... Вы помните его «Пищу богов»?

— Ах, это роман, — ответил Персиков.

— Ну да, господи, известный же!..

— Я забыл его, — ответил Персиков, — помню, читал, но забыл.

— Как же вы не помните, да вы гляньте, — Иванов за ножку поднял со стеклянного стола невероятных размеров мертвую лягушку с распухшим брюхом.

На морде ее даже после смерти было злобное выражение — ведь это же чудовищно!

Глава IV

ПОПАДЬЯ ДРОЗДОВА

Бог знает почему, Иванов ли тут был виноват, или потому, что сенсационные известия передаются сами собой по воздуху, но только в гигантской кипящей Москве вдруг заговорили о луче и о профессоре Персикове. Правда, как-то вскользь и очень туманно. Известие о чудодейственном открытии прыгало, как подстреленная птица, в светящейся столице, то исчезая, то вновь взвиваясь, до половины июня, когда на 20-й странице газеты «Известия» под заголовком «Новости науки и техники» не появилась короткая заметка, трактующая о луче. Сказано было глухо, что известный профессор IV университета изобрел луч, невероятно повышающий жизнедеятельность низших организмов, и что луч этот нуждается в проверке. Фамилия, конечно, была переврана, и напечатано: «Певсиков».

Иванов принес газету и показал Персикову заметку.

— «Певсиков», — проворчал Персиков, взяв с камерой в кабинете, — и откуда эти свистуны все знают?

Увы, перевранная фамилия не спасла профессора от событий, и они начались на другой же день, сразу нарушив всю жизнь Персикова.

Панкрат, предварительно постучавшись, явился в кабинет и вручил Персикову великолепнейшую атласную визитную карточку.

— Он тамотко, — робко прибавил Панкрат.

На карточке было напечатано изящным шрифтом:

Альфред Аркадьевич Бронский

Сотрудник московских журналов — «Красный огонек», «Красный перец», «Красный журнал», «Красный проектор» и газеты «Красная вечерняя Москва».

— Гони его к чертовой матери, — монотонно сказал Персиков и смахнул карточку под стол.

Панкрат повернулся, вышел и через пять минут

вернулся со страдальческим лицом и со вторым экземпляром той же карточки.

— Ты что же, смеешься? — проскрипел Персиков и стал страшен.

— Из Гепею, они говорить, — бледнея, ответил Панкрат.

Персиков ухватился одной рукой за карточку, чуть не перервал ее пополам, а другой швырнул пинцет на стол. На карточке было приписано кудрявым почерком: «Очень прошу и извиняюсь, принять меня, многоуважаемый профессор на три минуты по общественному делу печати и сотрудник сатирического журнала «Красный ворон», издания ГПУ».

— Позови-ка его сюда, — сказал Персиков и задохнулся.

Из-за спины Панкрата тотчас вынырнул молодой человек с гладковыбритым маслянистым лицом. Поражали вечно поднятые, словно у китайца, брови и под ними ни секунды не глядящие в глаза собеседнику агатовые глазки. Одет был молодой человек совершенно безукоризненно и модно. В узкий и длинный до колен пиджак, широчайшие штаны колоколом и неестественной ширины лакированные ботинки с носами, похожими на копыта. В руках молодой человек держал трость, шляпу с острым верхом и блокнот.

— Что вам надо? — спросил Персиков таким голосом, что Панкрат мгновенно ушел за дверь. — Ведь вам же сказали, что я занят?

Вместо ответа молодой человек поклонился профессору два раза на левый бок и на правый, а затем его глазки колесом прошлись по всему кабинету, и тотчас молодой человек поставил в блокноте знак.

— Я занят, — сказал профессор, с отвращением глядя в глазки гостя, но никакого эффекта не добился, так как глазки были неуловимы.

— Прошу тысячу раз извинения, глубокоуважаемый профессор, — заговорил молодой человек тонким голосом, — что я врываюсь к вам и отнимаю ваше драгоценное время, но известие о вашем мировом открытии, прогремевшее по всему миру, заставляет наш журнал просить у вас каких-либо объяснений.

— Какие такие объяснения по всему миру? — заныл Персиков визгливо и пожелтев. — Я не обязан вам давать объяснения и ничего такого... Я занят... страшно занят.

— Над чем же вы работаете? — сладко спросил молодой человек и поставил второй знак в блокноте.

— Да я... вы что? Хотите напечатать что-то?

— Да, — ответил молодой человек и вдруг застрочил в блокноте.

— Во-первых, я не намерен ничего опубликовывать, пока я не кончу работы... тем более в этих ваших газетах... Во-вторых, откуда вы все это знаете?.. — И Персиков вдруг почувствовал, что теряется.

— Верно ли известие, что вы изобрели луч новой жизни?

— Какой такой новой жизни? — остервенился профессор. — Что вы мелете чепуху! Луч, над которым я работаю, еще далеко не исследован, и вообще ничего еще не известно! Возможно, что он повышает жизнедеятельность протоплазмы...

— Во сколько раз? — торопливо спросил молодой человек.

Персиков окончательно потерялся... «Ну тип. Ведь это черт знает что такое!»

— Что за бытовые вопросы?.. Предположим, я скажу, ну, в тысячу раз!..

В глазах молодого человека мелькнула хищная радость.

— Получаются гигантские организмы?

— Да ничего подобного! Ну, правда, организмы, полученные мною, больше обыкновенных... Ну, имеют некоторые новые свойства... Но ведь тут же главное не величина, а невероятная скорость размножения, — сказал, на свое горе, Персиков и тут же ужаснулся.

Молодой человек исписал целую страницу, перелистнул ее и застрочил дальше.

— Вы же не пишите! — уже сдаваясь и чувствуя, что он в руках молодого человека, в отчаянии просипел Персиков. — Что вы такое пишете?

— Правда ли, что в течение двух суток из икры можно получить 2 миллиона головастиков?

— Из какого количества икры? — вновь взбеленясь, закричал Персиков. — Вы видели когда-нибудь икринку... ну, скажем, — квакши?

— Из полуфунта? — не смущаясь, спросил молодой человек.

Персиков побагровел.

— Кто же так меряет? Тьфу! Что вы такое говорите?

Ну, конечно, если взять полфунта лягушачьей икры... тогда, пожалуй... черт, ну, около этого количества, а может быть, и гораздо больше!

Бриллианты загорелись в глазах молодого человека, и он в один взмах исчеркал еще одну страницу.

— Правда ли, что это вызовет мировой переворот в животноводстве?

— Что это за газетный вопрос, — завыл Персиков, — и вообще я не даю вам разрешения писать чепуху. Я вижу по вашему лицу, что вы пишете какую-то мерзость!

— Вашу фотографическую карточку, профессор, убедительнейше прошу, — молвил молодой человек и захлопнул блокнот.

— Что? Мою карточку? Это в ваши журнальчики? Вместе с этой чертовщиной, которую вы там пишете. Нет, нет, нет... И я занят... попрошу вас!..

— Хотя бы старую. И мы вам ее вернем моментально.

— Панкрат! — закричал профессор в бешенстве.

— Честь имею кланяться, — сказал молодой человек и пропал.

Вместо Панкрата послышалось за дверью странное мерное скрипенье машины, кованое постукивание в пол, и в кабинете появился необычайной толщины человек, одетый в блузу и штаны, сшитые из одеяльного драпа. Левая его, механическая, нога щелкала и громыхла, а в руках он держал портфель. Его бритое круглое лицо, налитое желтоватым студнем, являло приветливую улыбку. Он по-военному поклонился профессору и выпрямился, отчего его нога пружинно щелкнула. Персиков онемел.

— Господин профессор, — начал незнакомец приятным сиповатым голосом, — простите простого смертного, нарушившего ваше уединение.

— Вы репортер? — спросил Персиков. — Панкрат!!

— Никак нет, господин профессор, — ответил толстяк, — позвольте представиться — капитан дальнего плавания и сотрудник газеты «Вестник промышленности» при Совете Народных Комиссаров.

— Панкрат!! — истерически закричал Персиков, и тотчас в углу выкинул красный сигнал и мягко прозвенел телефон. — Панкрат! — повторил профессор. — Я слушаю.

— Ферцайен зи битте, херр профессор, — захрипел телефон по-немецки, — дас их штёре. Их бин митар-бейтер дес «Берлинер Тагеблатс»...¹

— Панкрат! — закричал в трубку профессор. — Бин моменталь зер бешефтигт унд кан зи десхальб етцт ниht емпфанген!...² Панкрат!!

А на парадном ходе института в это время начались звонки.

* * *

— Кошмарное убийство на Бронной улице!! — заывали неестественные сильные голоса, вертась в гуще огней между колесами и вспышками фонарей на нагретой июньской мостовой. — Кошмарное появление болезни кур у вдовы попадьи Дроздовой с ее портретом!.. Кошмарное открытие луча жизни профессора Персикова!!

Персиков мотнулся так, что чуть не попал под автомобиль на Моховой и яростно ухватился за газету.

— 3 копейки, гражданин! — закричал мальчишка и, вжимаясь в толпу на тротуаре, вновь завывл: — «Красная вечерняя газета», открытие икс-луча!!

Ошеломленный Персиков развернул газету и прижался к фонарному столбу. На второй странице в левом углу в смазанной рамке глянул на него лысый, с безумными и незрячими глазами и с повисшею нижнею челюстью человек, плод художественного творчества Альфреда Бронского. «В. И. Персиков, открывший загадочный красный луч», — гласила подпись под рисунком. Ниже, под заголовком «Мировая загадка», начиналась статья словами:

«Садитесь, — приветливо сказал нам маститый ученый Персиков...»

Под статьей красовалась подпись «Альфред Бронский (Алонзо)».

Зеленоватый свет взлетел над крышей университета,

¹ Извините, пожалуйста, господин профессор, что я беспокою. Я сотрудник «Берлинской Tagesblatts»... (от нем.: Verzeihen Sie, bitte, Herr Professor, daß ich store. Ich bin Mitarbeiter des «Berliner Tagesblatts»).

² Я сейчас очень занят и потому не могу вас принять (от нем.: Ich bin momental sehr beschäftigt und kann Sie deshalb jetzt nicht empfangen).

на небе выскочили огненные слова «Говорящая газета», и тотчас толпа запрудила Моховую.

«Садитесь!! — завыл вдруг в рупоре на крыше неприятнейший тонкий голос, совершенно похожий на голос увеличенного в тысячу раз Альфреда Бронского. — Приветливо сказал нам маститый ученый Персикиков! — Я давно хотел познакомить московский пролетариат с результатами моего открытия...»

Тихое механическое скрипение послышалось за спиною Персикикова, и кто-то потянул его за рукав. Обернувшись, он увидел желтое круглое лицо владельца механической ноги. Глаза у того были увлажнены слезами и губы вздрагивали.

— Меня, господин профессор, вы не пожелали познакомить с результатами вашего изумительного открытия, — сказал он печально и глубоко вздохнул. — Пропали мои полтора червячка.

Он тоскливо глядел на крышу университета, где в черной пасти бесновался невидимый Альфред. Персикову почему-то стало жаль толстяка.

— Я, — пробормотал он, с ненавистью ловя слова с неба, — никакого «садитесь» ему не говорил! Это просто наглец необыкновенного свойства! Вы меня простите, пожалуйста, — но, право же, когда работаешь и врываются... Я не про вас, конечно, говорю...

— Может быть, вы мне, господин профессор, хоть описание вашей камеры дадите? — заискивающе и скорбно говорил механический человек. — Ведь вам теперь все равно...

— Из полунфунта икры в течение 3-х дней выплывается такое количество головастика, что их нет никакой возможности сосчитать, — ревел невидимка в рупоре.

— Ту-ту, — глухо кричали автомобили на Моховой.

— Го-го-го... Ишь ты, го-го-го, — шуричала толпа, задирая головы.

— Каков, мерзавец? А? — дрожа от негодования, зашипел Персикиков механическому человеку. — Как вам это нравится? Да я жаловаться на него буду!

— Возмутительно! — согласился толстяк.

Ослепительнейший фиолетовый луч ударил в глаза профессора, и все кругом вспыхнуло — фонарный столб, кусок торцовой мостовой, желтая стена, любопытные лица.

— Это вас, господин профессор, — восхищенно шеп-

нул толстяк и повис на рукаве профессора, как гирия.

В воздухе что-то застрекотало.

— А ну их всех к черту! — тоскливо вскричал Персиков, выдираясь с гирей из толпы. — Эй, таксомотор! На Пречистенку!

Облупленная старенькая машина, конструкции 24-го года, заклокотала у тротуара, и профессор полез в ландо, стараясь отцепиться от толстяка.

— Вы мне мешаете, — шипел он и закрывался кулаками от фиолетового света.

— Читали?! Чего оруть?.. Профессора Персикова с детишками резали на Малой Бронной!.. — кричали кругом в толпе.

— Никаких у меня детишек нету, сукины дети! — заорал Персиков и вдруг попал в фокус черного аппарата, застрелившего его в профиль, с открытым ртом и яростными глазами.

— Крх... ту... крх... ту, — закричал таксомотор и врезался в гущу.

Толстяк уже сидел в ландо и грел бок профессору.

Глава V

КУРИНАЯ ИСТОРИЯ

В уездном заштатном городке, бывшем Троицке, а ныне Стекловске, Костромской губернии, Стекловского уезда, на крылечко домика на бывшей Соборной, а ныне Персональной улице вышла повязанная платочком женщина в сером платье с ситцевыми букетами и зарыдала. Женщина эта, вдова бывшего соборного протоиерея бывшего собора Дроздова, рыдала так громко, что вскорости из домика через улицу в окошко высунулась бабья голова в пуховом платке и воскликнула:

— Что ты, Степановна, али еще?

— Семнадцатая! — разливаясь в рыданиях, ответила бывшая Дроздова.

— Ахти-х-ти-х, — заскулила и закачала головой баба в платке, — ведь это что ж такое? Прогневался господь, истинное слово! Да неужто ж сдохла?

— Да ты глянь, глянь, Матрена, — бормотала попадьа, всхлипывая громко и тяжело, — ты глянь, что с ей!

Хлопнула серенькая покосившаяся калитка, бабьи

босые ноги прошлепали по пыльным горбам улицы, и мокрая от слез попадья повела Матрену на свой птичий двор.

Надо сказать, что вдова отца протоиерея Савватия Дроздова, скончавшегося в 26-м году от антирелигиозных огорчений, не опустила рук, а основала замечательнейшее куроводство. Лишь только вдовьины дела пошли в гору, вдову обложили таким налогом, что куроводство чуть-чуть не прекратилось, кабы не добрые люди. Они надоумили вдову подать местным властям заявление о том, что она, вдова, основывает трудовую куроводную артель. В состав артели вошла сама Дроздова, верная прислуга ее Матрешка и вдовьяна глухая племянница. Налог со вдовы сняли, и куроводство ее процвело настолько, что к 28-му году у вдовы, на пыльном двореке, окаймленном куриными домишками, ходило до 250 кур, в числе которых были даже кохинхинки. Вдовьины яйца каждое воскресенье появлялись на стекловском рынке, вдовьими яйцами торговали в Тамбове, а бывало, что они показывались и в стеклянных витринах магазина бывшего «Сыр и масло Чичкина в Москве».

И вот семнадцатая по счету с утра брамапутра, любимая хохлатка, ходила по двору, и ее рвало. «Эр...рр...урл...урл го-го-го», — выделявала хохлатка и закатывала грустные глаза на солнце так, как будто видела его в последний раз. Перед носом курицы на корточках плясал член артели Матрешка с чашкой воды.

— Хохлаточка, миленькая... цып-цып-цып... испей водицы, — умоляла Матрешка и гонялась за клювом хохлатки с чашкой, но хохлатка пить не желала.

Она широко раскрывала клюв, задирала голову вверх. Затем ее начинало рвать кровью.

— Господисусе! — вскричала гостья, хлопнув себя по бедрам. — Это что ж такое делается? Одна резаная кровь. Никогда не видала, с места не сойти, не видала, чтобы курица, как человек, маялась животом.

Это и были последние напутственные слова бедной хохлатке. Она вдруг кувырнулась на бок, беспомощно потыкала клювом в пыль и завела глаза. Потом повернулась на спину, обе ноги задрала вверх и осталась неподвижной. Басом заплакала Матрешка, расплескав чашку, и сама попадья — председатель артели, а гостья наклонилась к ее уху и зашептала:

— Степановна, землю буду есть, что кур твоих испортили. Где ж это видано! Ведь таких и курьих болезней нет! Это твоих кур кто-то заколдовал.

— Враги жизни моей! — воскликнула попадья к небу. — Что ж они, со свету меня сжить хотят?

Словам ее ответил громкий петушинный крик, и затем из курятника выдрался как-то боком, точно беспокойный пьяница из пивного заведения, обдерганный поджарый петух. Он зверски выкатил на них глаз, потоптался на месте, крылья распростер, как орел, но куда не улетел, а начал бег по двору, по кругу, как лошадь на корде. На третьем круге он остановился и его стошнило, потом он стал харкать и хрипеть, наплевал вокруг себя кровавых пятен, перевернулся, и лапы его уставились к солнцу, как мачты. Женский вой огласил двор. И в куриных домиках ему ответило беспокойное клохтанье, хлопанье и возня.

— Ну, не порча? — победоносно спросила гостя. — Зови отца Сергия, пушай служит.

В шесть часов вечера, когда солнце сидело низко огненною рожею между рожами молодых подсолнухов, на дворе куроводства отец Сергей, настоятель соборного храма, закончив молебен, вылезал из епитрахили. Любопытные головы людей торчали над древненьким забором и в щелях его. Скорбная попадья, приложившаяся к кресту, густо смочила канареечный рваный рубль слезами и вручила его отцу Сергию, на что тот, вздыхая, заметил что-то насчет того, что вот, мол, господь прогневался на нас. Вид при этом у отца Сергия был такой, что он прекрасно знает, почему именно прогневался господь, но только не скажет.

Засим толпа с улицы разошлась, а так как куры ложатся рано, то никто и не знал, что у соседа попадья Дроздовой в курятнике издохло сразу трое кур и петух. Их рвало так же, как и дроздовских кур, но только смерти произошли в запертом курятнике и тихо. Петух свалился с наместа вниз головой и в такой позиции кончился. Что касается кур вдовы, то они прикончились тотчас после молебна, и к вечеру в курятниках было мертво и тихо, лежала горами закоченевшая птица.

Наутро город встал как громом пораженный, потому что история приняла размеры странные и чудовищные. На Персональной улице к полудню осталось в живых

только три курицы, в крайнем домике, где снимал квартиру уездный фининспектор, но и те издохли к часу дня. А к вечеру городок Стекловск гудел и кипел, как улей, и по нем катилось грозное слово «мор». Фамилия Дроздовой попала в местную газету «Красный боец» в статье под заголовком: «Неужели куриная чума?», а оттуда пронеслось в Москву.

* * *

Жизнь профессора Персикова приняла окраску странную, беспокойную и волнующую. Одним словом, работать в такой обстановке было просто невозможно. На другой день после того, как он развязался с Альфредом Бронским, ему пришлось выключить у себя в кабинете в институте телефон, снявши трубку, а вечером, проезжая в трамвае по Охотному ряду, профессор увидел самого себя на крыше огромного дома с черною надписью «Рабочая газета». Он, профессор, дробясь, и зеленея, и мигая, лез в ландо такси, а за ним, цепляясь за рукав, лез механический шар в одеяле. Профессор на крыше, на белом экране, закрывался кулаками от фиолетового луча. Засим выскочила огненная надпись: «Профессор Персиков, едучи в авто, дает объяснение нашему знаменитому репортеру капитану Степанову». И точно: мимо храма Христа, по Волхонке, проскочил зыбкий автомобиль, и в нем барахтался профессор, и физиономия у него была как у затравленного волка.

— Это какие-то черти, а не люди, — сквозь зубы пробормотал зоолог и проехал.

Того же числа вечером, вернувшись к себе на Пречистенку, зоолог получил от экономки, Марьи Степановны, 17 записок с номерами телефонов, кои звонили к нему во время его отсутствия, и словесное заявление Марьи Степановны, что она замучилась. Профессор хотел разодрать записки, но остановился, потому что против одного из номеров увидел приписку: «Народный комиссар здравоохранения».

— Что такое? — искренно недоумевал ученый чу-
дак. — Что с ними такое сделалось?

В 10¹/₄ того же вечера раздался звонок, и профессор вынужден был беседовать с неким ослепительным по убранству гражданином. Принял его профессор благодаря визитной карточке, на которой было изображено

(без имени и фамилии): «Полномочный шеф торговых отделов иностранных представительств при Республике Советов».

— Черт бы его взял, — прорычал Персиков, бросил на зеленое сукно лупу и какие-то диаграммы и сказал Марье Степановне: — Позовите его сюда, в кабинет этого самого уполномоченного.

— Чем могу служить? — спросил Персиков таким тоном, что шефа несколько передернуло.

Персиков пересадил очки с переносицы на лоб, затем обратно и разглядел визитера. Тот весь светился лаком и драгоценными камнями, и в правом глазу у него сидел монокль. «Какая гнусная рожа», — почему-то подумал Персиков.

Начал гость издалека, именно попросил разрешения закурить сигару, вследствие чего Персиков с большою неохотой пригласил его сесть. Далее гость произнес длинные извинения по поводу того, что он пришел поздно: «Но... господина профессора невозможно днем никак поймать... хи-хи... пардон... застать» (гость, смеясь, всхлипывал, как гиена).

— Да, я занят! — так коротко ответил Персиков, что судорога вторично прошла по гостю.

Тем не менее он позволил себе беспокоить знаменитого ученого — время — деньги, как говорится... сигара не мешает профессору?

— Мур-мур-мур, — ответил Персиков. Он позволил...

— Профессор ведь открыл луч жизни?

— Помилуйте, какой такой жизни?! Это выдумки газетчиков! — оживился Персиков.

— Ах нет, хи-хи-хэ... — он прекрасно понимает ту скромность, которая составляет истинное украшение всех настоящих ученых... о чем же говорить... Сегодня есть телеграммы... В мировых городах, как-то: Варшаве и Риге — уже все известно насчет луча. Имя профессора Персикова повторяет весь мир... весь мир следит за работами профессора Персикова, затаив дыхание... Но всем прекрасно известно, как тяжело положение ученых в Советской России. Антр ну суа ди...¹ Здесь никого нет посторонних?.. Увы, здесь не умеют ценить ученые труды, так вот, он хотел бы переговорить с про-

¹ Между нами (от *фр.* *entre nous soit-dit*).

фессором... Одно иностранное государство предлагает профессору Персикову, совершенно бескорыстно, помощь в его лабораторных работах. Зачем здесь метать бисер, как говорится в Священном писании. Государству известно, как тяжело профессору пришлось в 19-м и 20-м году, во время этой, хи-хи... революции. Ну, конечно, строгая тайна... профессор ознакомит государство с результатами работы, а оно за это финансирует профессора. Ведь он построил камеру, вот интересно было бы ознакомиться с чертежами этой камеры...

И тут гость вынул из внутреннего кармана пиджака белоснежную пачку бумажек...

Какой-нибудь пустяк: 5000 рублей, например, задатку — профессор может получить сию же минуту... и расписки не надо... профессор даже обидит полномочного торгового шефа, если заговорит о расписке.

— Вон!!! — вдруг гаркнул Персиков так страшно, что пианино в гостиной издало звук на тонких клавишах.

Гость исчез так, что дрожащий от ярости Персиков через минуту и сам уже сомневался, был ли он, или это галлюцинация.

— Его калоши?! — выл через минуту Персиков в передней.

— Они забыли, — отвечала дрожащая Марья Степановна.

— Выкинуть их вон!

— Куда же я их выкину. Они придут за ними.

— Сдать их в домовый комитет. Под расписку. Чтоб не было духу этих калош! В комитет! Пусть примут шпионские калоши!..

Марья Степановна, крестясь, забрала великолепные кожаные калоши и унесла их на черный ход. Там стояла за дверью, а потом калоши спрятала в кладовку.

— Сдали? — бушевал Персиков.

— Сдала.

— Расписку мне.

— Да, Владимир Ипатьич. Да неграмотный же председатель!..

— Сию. Секунду. Чтоб. Была. Расписка. Пусть за него какой-нибудь грамотный сукин сын распишется!

Марья Степановна только покрутила головой, ушла и вернулась через $\frac{1}{4}$ часа с запиской:

«Получено в фонд от профе. Персикова 1 (одна) па. кало. Колесов».

— А это что?

— Жетон-с.

Персиков жетон истоптал ногами, а расписку спрятал под пресс. Затем какая-то мысль омрачила его крутой лоб. Он бросился к телефону, вытрезвонил Панкрата в институте и спросил у него: «Все ли благополучно?» Панкрат нарычал что-то такое в трубку, из чего можно было понять, что, по его мнению, все благополучно. Но Персиков успокоился только на одну минуту. Хмурясь, он уцепился за телефон и наговорил в трубку такое:

— Дайте мне эту, как ее, Лубянку. Мерси... Кому тут из вас надо сказать... у меня тут какие-то подозрительные субъекты в калошах ходят, да... Профессор IV университета Персиков...

Трубка вдруг резко оборвала разговор, Персиков отошел, ворча сквозь зубы какие-то бранные слова.

— Чай будете пить, Владимир Ипатьич? — робко осведомилась Марья Степановна, заглянув в кабинет.

— Не буду я пить никакого чаю... мур-мур-мур, и черт их всех возьми... как взбесились все равно.

Ровно через десять минут профессор принимал у себя в кабинете новых гостей. Один из них, приятный, круглый и очень вежливый, был в скромном защитном военном френче и рейтузах. На носу у него сидело, как хрустальная бабочка, пенсне. Вообще он напоминал ангела в лакированных сапогах. Второй, низенький, страшно мрачный, был в штатском, но штатское на нем сидело так, словно оно его стесняло. Третий гость повел себя особенно, он не вошел в кабинет профессора, а остался в полутемной передней. При этом освещенный и пронизанный струями табачного дыма кабинет был ему насквозь виден. На лице этого третьего, который был тоже в штатском, красовалось дымчатое пенсне.

Двое в кабинете совершенно замучили Персикова, рассматривая визитную карточку, спрашивая о пяти тысячах и заставляя описывать наружность гостя.

— Да черт его знает, — бубнил Персиков, — ну, противная физиономия. Дегенерат.

— А глаз у него не стеклянный? — спросил маленький хрипло.

— А черт его знает. Нет, впрочем, не стеклянный, бегают глаза.

— Рубинштейн? — вопросительно и тихо отнесся ангел к штатскому маленькому.

Но тот хмуро и отрицательно покачал головой.

— Рубинштейн не даст без расписки, ни в коем случае, — забурчал он, — это не Рубинштейнова работа. Тут кто-то покрупнее.

История о калошах вызвала взрыв живейшего интереса со стороны гостей. Ангел молвил в телефон домашней конторы только несколько слов: «Государственное политическое управление сию минуту вызывает секретаря домкома Колесова в квартиру профессора Персикова, с калошами», — и Колесов тотчас, бледный, появился в кабинете, держа калоши в руках.

— Васенька! — негромко окликнул ангел того, который сидел в передней.

Тот вяло поднялся и, словно развинченный, поплелся в кабинет. Дымчатые стекла совершенно поглотили его глаза.

— Ну? — спросил он лаконически и сонно.

— Калоши.

Дымные глаза скользнули по калошам, и при этом Персикову почудилось, что из-под стекол вбок, на одно мгновение, сверкнули вовсе не сонные, а, наоборот, изумительно колючие глаза. Но они моментально утасли.

— Ну, Васенька?

Тот, кого называли Васенькой, ответил вялым голосом:

— Ну, что тут, ну. Пеленжковского калоши.

Немедленно фонд лишился подарка профессора Персикова. Калоши исчезли в газетной бумаге. Крайне обрадовавшийся ангел во френче встал и начал жать руку профессору, и даже произнес маленький спич, содержание которого сводилось к следующему: это делает честь профессору... Профессор может быть спокоен... больше его никто не потревожит, ни в институте, ни дома... меры будут приняты, камеры его в совершеннейшей безопасности...

— А нельзя ли, чтобы вы репортеров расстреляли? — спросил Персиков, глядя поверх очков.

Этот вопрос развеселил чрезвычайно гостей. Не только хмурый маленький, но даже дымчатый улыбнулся в передней. Ангел, искрясь и сияя, объяснил.

— А что это за каналья у меня была?

Тут все перестали улыбаться, и ангел ответил уклон-

чиво, что это так, какой-нибудь мелкий аферист, не стоит обращать внимания... тем не менее он убедительно просит гражданина профессора держать в полной тайне происшествие сегодняшнего вечера, и гости ушли.

Персиков вернулся в кабинет, к диаграммам, но заниматься ему все-таки не пришлось. Телефон выбросил огненный кружочек, и женский голос предложил профессору, если он желает жениться на вдове интересной и пылкой, квартиру в семь комнат. Персиков завыл в трубку:

— Я вам советую лечиться у профессора Россолимо... — и получил второй звонок.

Тут Персиков немного обмяк, потому что лицо, достаточно известное, звонило из Кремля, долго и сочувственно расспрашивало Персикова о его работе и изъявило желание навестить лабораторию. Отойдя от телефона, Персиков вытер лоб и трубку снял. Тогда в верхней квартире загремели страшные трубы и полетели вопли Валькирий, — радиоприемник у директора суконного треста принял вагнеровский концерт в Большом театре. Персиков под вой и грохот, сыплющийся с потолка, заявил Марье Степановне, что он будет судиться с директором, что он сломает ему этот приемник, что он уедет из Москвы к чертовой матери, потому что, очевидно, задались целью его выжить вон. Он разбил лупу и лег спать в кабинете на диване и заснул под нежные переборы клавишей знаменитого пианиста, прилетевшие из Большого театра.

Сюрпризы продолжались и на следующий день. Приехав на трамвае к институту, Персиков застал на крыльце неизвестного ему гражданина в модном зеленом котелке. Тот внимательно оглядел Персикова, но не отнесся к нему ни с какими вопросами, и поэтому Персиков его стерпел. Но в передней института кроме растерянного Панкрата навстречу Персикову поднялся второй котелок и вежливо его приветствовал:

— Здравствуйте, гражданин профессор.

— Что вам надо? — страшно спросил Персиков, сдирая при помощи Панкрата с себя пальто.

Но котелок быстро утихомирил Персикова, нежнейшим голосом нашептал, что профессор напрасно беспокоится. Он, котелок, именно затем здесь и находится, чтобы избавить профессора от всяких назойливых посетителей... что профессор может быть спо-

коен не только за двери кабинета, но даже и за окна. Засим неизвестный отвернул на мгновение борт пиджака и показал профессору какой-то значок.

— Гм... однако у вас здорово поставлено дело, — промышчал Персиков и прибавил наивно: — А что вы здесь будете есть?

На это котелок усмехнулся и объяснил, что его будут сменять.

Три дня после этого прошли великолепно. Навещали профессора два раза из Кремля, да один раз были студенты, которых Персиков экзаменовал. Студенты порезались все до единого, и по их лицам было видно, что теперь уже Персиков возбуждает в них просто суеверный ужас.

— Поступайте в кондуктора! Вы не можете заниматься зоологией, — неслоь из кабинета.

— Строг? — спрашивал котелок у Панкрата.

— У, не приведи бог, — отвечал Панкрат, — ежели какой-нибудь и выдержит, выходит, голубчик, из кабинета и шатается. Семь потов с него сойдет. И сейчас в пивную.

За всеми этими делишками профессор не заметил трех суток, но на четвертые его вновь вернули к действительной жизни, и причиной этого был тонкий и визгливый голос с улицы.

— Владимир Ипатьич! — прокричал голос в открытое окно кабинета с улицы Герцена.

Голосу повезло: Персиков слишком переутомился за последние дни. В этот момент он как раз отдыхал, вяло и расслабленно смотрел глазами в красных кольцах и курил в кресле.

Он больше не мог. И поэтому даже с некоторым любопытством он выглянул в окно и увидел на тротуаре Альфреда Бронского. Профессор сразу узнал титулованного обладателя карточки по остроконечной шляпе и блокноту. Бронский нежно и почтительно поклонился окну.

— Ах, это вы? — спросил профессор.

У него не хватило сил рассердиться, и даже любопытно показалось: что такое будет дальше? Прикрытый окном, он чувствовал себя в безопасности от Альфреда. Бессменный котелок на улице немедленно повернул ухо к Бронскому. Умильнейшая улыбка расцвела у того на лице.

— Пару минуточек, дорогой профессор, — заговорил Бронский, напрягая голос с тротуара, — я только один вопросик, и чисто зоологический. Позвольте предложить?

— Предложите, — лаконически и иронически ответил Персиков и подумал: «Все-таки в этом мерзавце есть что-то американское».

— Что вы скажете за кур, дорогой профессор? — крикнул Бронский, сложив руки щитком.

Персиков изумился. Сел на подоконник, потом слез, нажал кнопку и закричал, тыча пальцем в окно:

— Панкрат,пусти этого с тротуара.

Когда Бронский появился в кабинете, Персиков настолько простер свою ласковость, что рывкнул ему:

— Садитесь!

И Бронский, восхищенно улыбаясь, сел на винтящийся табурет.

— Объясните мне, пожалуйста, — заговорил Персиков, — вы пишете там, в этих ваших газетах?

— Точно так, — почтительно ответил Альфред.

— И вот мне непонятно, как вы можете писать, если вы не умеете даже говорить по-русски. Что это за «пара минуточек» и «за кур»? Вы, вероятно, хотели спросить «насчет кур»?

Бронский жидко и почтительно рассмеялся:

— Валентин Петрович исправляет.

— Кто это такой Валентин Петрович?

— Заведующий литературной частью.

— Ну ладно. Я, впрочем, не филолог. В сторону вашего Петровича. Что именно вам желательно знать насчет кур?

— Вообще все, что вы скажете, профессор.

Тут Бронский вооружился карандашом. Победные искры взметнулись в глазах Персикова.

— Вы напрасно обратились ко мне, я не специалист по пернатым. Вам лучше всего было бы обратиться к Емельяну Ивановичу Португалову, в 1-м университете. Я лично знаю весьма мало...

Бронский восхищенно улыбнулся, давая понять, что он понял шутку дорогого профессора. «Шутка — мало!» — черкнул он в блокноте.

— Впрочем, если вам интересно, извольте. Куры, или гребенчатые... род птиц из отряда куриных. Из семейства фазановых... — заговорил Персиков громким

голосом и глядя не на Бронского, а куда-то вдаль, где перед ним подразумевалась тысяча человек... — из семейства фазановых... фазианидэ. Представляют собою птиц с мясистокожаным гребнем и двумя лопастями под нижней челюстью... гм... хотя, впрочем, бывает и одна в середине подбородка... Ну, что ж еще. Крылья короткие и округленные... Хвост средней длины, несколько ступенчатый и даже, я бы сказал, крышеобразный, средние перья серпообразно изогнуты... Панкрат... принеси из модельного кабинета модель № 705, разрезной петух... впрочем, вам это не нужно?.. Панкрат, не приноси модели... Повторяю вам, я не специалист, идите к Португалову. Ну-с, мне лично известно 6 видов дико живущих кур... гм... Португалов знает больше... в Индии и на Малайском архипелаге. Например, Банкивский петух или Казинту, он водится в предгорьях Гималаев, по всей Индии, в Ассаме, в Бирме... Вилохвостый петух или Галлус Вариус на Ломбоке, Сумбава и Флорес. А на острове Яве имеется замечательный петух Галлюс Энеус, на юго-востоке Индии могу вам рекомендовать очень красивого Зоннератова петуха... Я вам потом покажу рисунок. Что же касается Цейлона, то на нем мы встречаем петуха Стенли, больше он нигде не водится.

Бронский сидел, вытаращив глаза, и строчил.

— Еще что-нибудь вам сообщить?

— Я бы хотел что-нибудь узнать насчет куриных болезней, — тихонечко шепнул Альфред.

— Гм, не специалист я... вы Португалова спросите... А впрочем... Ну, ленточные глисты, сосальщики, чесоточный клещ, железница, птичий клещ, куриная вошь или пухоед, блохи, куриная холера, крупозно-дифтерийное воспаление слизистых оболочек... Пневмококк, туберкулез, куриные парши... мало ли что может быть... (искры прыгали в глазах Персикова)... отравление, например, бешеницей, опухоли, английская болезнь, желтуха, ревматизм, грибок Ахорион Шенляни... очень интересная болезнь. При заболевании им на гребне образуются маленькие пятна, похожие на плесень...

Бронский вытер пот со лба цветным носовым платком.

— А какая же, по вашему мнению, профессор, причина теперешней катастрофы?

— Какой катастрофы?

— Как, разве вы не читали, профессор? — удивился Бронский и вытащил из портфеля измятый лист газеты «Известия».

— Я не читаю газет, — ответил Персиков и насутился.

— Но почему же, профессор? — нежно спросил Альфред.

— Потому что они чепуху какую-то пишут, — не задумываясь, ответил Персиков.

— Но как же, профессор, — мягко шепнул Бронский и развернул лист.

— Что такое? — спросил Персиков и даже поднялся с места.

Теперь искры запрыгали в глазах у Бронского. Он подчеркнул острым лакированным пальцем невероятнейшей величины заголовок через всю страницу газеты — «Куриный мор в республике».

— Как? — спросил Персиков, сдвигая на лоб очки...

Г л а в а VI

МОСКВА В ИЮНЕ 1928 ГОДА

Она светилась, огни танцевали, гасли и вспыхивали. На Театральной площади вертелись белые фонари автобусов, зеленые огни трамваев; над бывшим Мюр и Мерилизом, над десятым надстроенным на него этажом, прыгала электрическая разноцветная женщина, выбрасывая по буквам разноцветные слова: «Рабочий кредит». В сквере против Большого театра, где бил ночью разноцветный фонтан, толкалась и гудела толпа. А над Большим театром гигантский рупор завывал:

«Антикуриные прививки в Лефортовском ветеринарном институте дали блестящие результаты. Количество... куриных смертей за сегодняшнее число уменьшилось вдвое...»

Затем рупор менял тембр, что-то рычало в нем, над театром вспыхивала и угасала зеленая струя, и рупор жаловался басом:

«Образована чрезвычайная комиссия по борьбе с куриною чумой в составе наркомздрава, наркомзема, заведующего животноводством товарища Птахи-Поросяка, профессоров Персикова и Португалова... и това-

рища Рабиновича!.. Новые попытки интервенции!.. — хохотал и плакал, как шакал, рупор. — В связи с куриною чумой!»

Театральный проезд, Неглинный и Лубянка пылали белыми и фиолетовыми полосами, брызгали лучами, были сигналами, клубились пылью. Толпы народа теснились у стен у больших листов объявлений, освещенных резкими красными рефлекторами:

«Под угрозой тягчайшей ответственности воспрещается населению употреблять в пищу куриное мясо и яйца. Частные торговцы при попытках продажи их на рынках подвергаются уголовной ответственности с конфискацией всего имущества. Все граждане, владеющие яйцами, должны в срочном порядке сдать их в районные отделения милиции».

На крыше «Рабочей газеты» на экране грудой до самого неба лежали куры и зеленоватые пожарные, дробясь и искрясь, из шлангов поливали их керосином. Затем красные волны ходили по экрану, неживой дым распухал и мотался клочьями, полз струей, выскакивала огненная надпись: «Сожжение куриных трупов на Ходынке».

Слепыми дырами глядели среди бешено пылающих витрин магазинов, торгующих до 3 часов ночи, с двумя перерывами, на обед и ужин, заколоченные окна под вывесками: «Яичная торговля. За качество гарантия». Очень часто, тревожно завывая, обгоняя тяжелые автобусы, мимо милиционеров проносились шипящие машины с надписью: «Мосздравотдел. Скорая помощь».

— Обожрался еще кто-то гнилыми яйцами, — шуршали в толпе.

В Петровских линиях зелеными и оранжевыми фонарями сиял знаменитый на весь мир ресторан «Ампир», и в нем на столиках, у переносных телефонов, лежали картонные вывески, залитые пятнами ликеров: «По распоряжению Моссовета — омлета нет. Получены свежие устрицы».

В «Эрмитаже», где бусинками жалобно горели китайские фонарики в неживой, задушенной зелени, на убивающей глаза своим пронзительным светом эстраде куплетисты Шрамс и Карманчиков пели куплеты, сочиненные поэтами Ардо и Аргуевым:

Ах, мама, что я буду делать

и грохотали ногами в чечетке.

Театр имени покойного Всеволода Мейерхольда, погибшего, как известно, в 1927 году, при постановке пушкинского «Бориса Годунова», когда обрушились трапеции с голыми боярами, выбросил движущуюся разных цветов электрическую вывеску, возвещавшую пьесу писателя Эрендорга «Куриный дох» в постановке ученика Мейерхольда, заслуженного режиссера республики Кухтермана. Рядом, в «Аквариуме», переливаясь рекламными огнями и блестя полуобнаженным женским телом, в зелени эстрады, под гром аплодисментов, шло обозрение писателя Ленивцева «Курицыны дети». А по Тверской, с фонариками по бокам морд, шли вереницею цирковые ослики, несли на себе сияющие плакаты: «В театре Корш возобновляется «Шантеклер» Ростана».

Мальчишки-газетчики рычали и выли между колес моторов:

— Кошмарная находка в подземелье! Польша готовится к кошмарной войне!! Кошмарные опыты профессора Персикова!!

В цирке бывшего Никитина на приятно пахнущей навозом коричневой жирной арене мертвенно-бледный клоун Бом говорил распухшему в клетчатой водянке Биму:

— Я знаю, отчего ты такой печальный!

— Отциво? — пискливо спрашивал Бим.

— Ты зарыл яйца в землю, а милиция 15-го участка их нашла.

— Га-га-га-га, — смеялся цирк так, что в жилах стыла радостно и тоскливо кровь и под стареньким куполом веяли трапеции и паутина.

— А-а! — пронзительно кричали клоуны, и кормленая белая лошадь выносила на себе чудной красоты женщину, на стройных ногах, в малиновом трико.

Не глядя ни на кого, никого не замечая, не отвечая на поталкивания и тихие и нежные зазывания проститутток, пробирался по Моховой вдохновенный и одинокий, увенчанный неожиданною славой Персиков к огненным часам у Манежа. Здесь, не глядя кругом, поглощенный своими мыслями, он столкнулся со странным, старомодным человеком, пребольно ткнувшись

пальцами прямо в деревянную кобуру револьвера, висящего у человека на поясе.

— Ах, черт! — пискнул Персиков. — Извините.

— Извиняюсь, — ответил встречный неприятным голосом, и кое-как они расцепились в людской каше.

И профессор, направляясь на Пречистенку, тотчас забыл о столкновении.

Г л а в а VII

РОКК

Неизвестно, точно ли хороши были лефортовские ветеринарные прививки, умелы ли заградительные самарские отряды, удачны ли крутые меры, принятые по отношению к скупщикам яиц в Калуге и Воронеже, успешно ли работала чрезвычайная московская комиссия, но хорошо известно, что через две недели после последнего свидания Персикова с Альфредом в смысле кур в Союзе Республик было совершенно чисто. Кое-где в двориках уездных городков валялись куриные сиротливые перья, вызывая слезы на глазах, да в больницах поправлялись последние из жадных, доканчивая кровавый понос со рвотой. Людских смертей, к счастью, на всю республику было не более тысячи. Больших беспорядков тоже не последовало. Объявился было, правда, в Волоколамске пророк, возвестивший, что падеж на кур вызван не кем иным, как комиссарами, но особенного успеха не имел. На Волоколамском базаре побили нескольких милиционеров, отнимавших кур у баб, да выбили стекла в местном почтово-телеграфном отделении. По счастью, расторопные волоколамские власти приняли меры, в результате которых, во-первых, пророк прекратил свою деятельность, а во-вторых, стекла на телеграфе встали.

Дойдя на Севере до Архангельска и Сюмкина Выселка, мор остановился сам собой по той причине, что идти ему дальше было некуда, — в Белом море куры, как известно, не водятся. Остановился он и во Владивостоке, ибо далее был океан. На далеком Юге — пропал и затих где-то в выжженных пространствах Ордубата, Джульфы и Карабулака, а на Западе удивительным образом задержался как раз на польской и румынской границах. Климат, что ли, там был иной или

сыграли роль заградительные кордонные меры, принятые соседними правительствами, но факт тот, что мор дальше не пошел. Заграничная пресса шумно, жадно обсуждала неслыханный в истории падеж, а правительство советских республик, не поднимая никакого шума, работало не покладая рук. Чрезвычайная комиссия по борьбе с куриной чумой переименовалась в чрезвычайную комиссию по поднятию и возрождению куроводства в республике, пополнившись новой чрезвычайной тройкой, в составе шестнадцати товарищей. Был основан Доброкур, почетными товарищами председателя в который вошли Персиков и Португалов. В газетах под их портретами появились заголовки: «Массовая закупка яиц за границей» и «Господин Юз хочет сорвать яичную кампанию». Прогремел на всю Москву ядовитый фельетон журналиста Колечкина, заканчивающийся словами: «Не зарьтесь, господин Юз, на наши яйца, — у вас есть свои!»

Профессор Персиков совершенно измучился и заболел в последние три недели. Куриные события выбили его из колеи и навалили на него двойную тяжесть. Целыми вечерами ему приходилось работать в заседании куриных комиссий и время от времени выносить длинные беседы то с Альфредом Бронским, то с механическим толстяком. Пришлось вместе с профессором Португаловым и приват-доцентом Ивановым и Борнгартом анатомировать и микроскопировать кур в поисках бациллы чумы и даже в течение трех вечеров на скорую руку написать брошюру «Об изменениях печени у кур при чуме».

Работал Персиков без особого жара в куриной области, да оно и понятно: вся его голова была полна другим — основным и важным, — тем, от чего оторвала его куриная катастрофа, т. е. от красного луча. Расстраивая свое и без того надломленное здоровье, урывая часы у сна и еды, порою не возвращаясь на Пречистенку, а засыпая на клеенчатом диване в кабинете института, Персиков ночи напролет возился у камеры и микроскопа.

К концу июля гонка несколько стихла. Дела переименованной комиссии вошли в нормальное русло, и Персиков вернулся к нарушенной работе. Микроскопы были заряжены новыми препаратами, в камере под лучом зрела со сказочной быстротою рыба и лягушачья

икра. Из Кенигсберга на аэроплане привезли специально заказанные стекла, и в последних числах июля, под наблюдением Иванова, механики соорудили две новых больших камеры, в которых луч достигал у основания ширины папиросной коробки, а в раструбе — целого метра. Персиков радостно потер руки и начал готовиться к каким-то таинственным и сложным опытам. Прежде всего он по телефону сговорился с народным комиссаром просвещения, и трубка наквакала ему самое любезное и всяческое содействие, а затем Персиков по телефону же вызвал товарища Птаху-Поросюка, заведующего отделом животноводства при верховной комиссии. Встретил Персиков со стороны Птахи самое теплое внимание. Дело шло о большом заказе за границей для профессора Персикова. Птаха сказал в телефон, что он тотчас телеграфирует в Берлин и Нью-Йорк. После этого из Кремля осведомились, как у Персикова идут дела, и важный и ласковый голос спросил, не нужно ли Персикову автомобиль.

— Нет, благодарю вас. Я предпочитаю ездить в трамвае, — ответил Персиков.

— Но почему же? — спросил таинственный голос и снисходительно усмехнулся.

С Персиковым все вообще разговаривали или с почтением и ужасом, или же ласково усмехаясь, как маленькому, хоть и крупному, ребенку.

— Он быстрее ходит, — ответил Персиков, после чего звучный басок в телефон ответил:

— Ну, как хотите.

Прошла еще неделя, причем Персиков, все более отдаляясь от затихающих куриных вопросов, всецело погрузился в изучение луча. Голова его от бессонных ночей и переутомления стала светла, как бы прозрачна и легка. Красные кольца не сходили теперь с его глаз, и почти всякую ночь Персиков ночевал в институте. Один раз он покинул зоологическое прибежище, чтобы в громадном зале Цекубу на Пречистенке сделать доклад о своем луче и о действии его на яйцеклетку. Это был гигантский триумф зоолога-чудака. В колонном зале от всплеска рук что-то сыпалось и рушилось с потолков и шипящие дуговые трубки заливали светом черные смокинги цекубистов и белые платья женщин. На эстраде, рядом с кафедрой, сидела на стеклянном столе, тяжело дыша и серея, на блюде, влажная лягушка

величиною с кошку. На эстраду бросали записки. В числе их было семь любовных, и их Персиков разорвал. Его силой вытаскивал на эстраду председатель Цекубу, чтобы кланяться. Персиков кланялся раздраженно, руки у него были потные, мокрые и черный галстук сидел не под подбородком, а за левым ухом. Перед ним в дыхании и тумане были сотни желтых лиц и мужских белых грудей, и вдруг желтая кобура пистолета мелькнула и пропала где-то за белой колонной. Персиков ее смутно заметил и забыл. Но, уезжая после доклада, спускаясь по малиновому ковру лестницы, он вдруг почувствовал себя нехорошо. На миг заслонило черным яркую люстру в вестибюле, и Персикову стало смутно, тошновато... Ему почудилась гарь, показалось, что кровь течет у него липко и жарко по шее... И дрожащею рукой схватился профессор за перила.

— Вам нехорошо, Владимир Ипатьич? — набросились со всех сторон встревоженные голоса.

— Нет, нет, — ответил Персиков, оправляясь, — просто я переутомился... да... Позвольте мне стакан воды.

* * *

Был очень солнечный августовский день. Он мешал профессору, поэтому шторы были опущены. Один гибкий на ножке рефлектор бросал пучок острого света на стеклянный стол, заваленный инструментами и стеклами. Отвалив спинку винтящегося кресла, Персиков в изнеможении курил и сквозь полосы дыма смотрел мертвыми от усталости, но довольными глазами в приоткрытую дверь камеры, где, чуть-чуть подогревая и без того душный и нечистый воздух в кабинете, тихо лежал красный сноп луча.

В дверь постучали.

— Ну? — спросил Персиков.

Дверь мягко скрипнула, и вошел Панкрат. Он сложил руки по швам и, бледнея от страха перед божеством, сказал так:

— Там до вас, господин профессор, Рокк пришел.

Подобие улыбки показалось на щеках ученого. Он сузил глазки и молвил:

— Это интересно. Только я занят.

— Они говорят, что с казенной бумагой с Кремля.

— Рок с бумагой? Редкое сочетание, — вымолвил Персиков и добавил: — Ну-ка, дай-ка его сюда!

— Слушаю-с, — ответил Панкрат и, как уж, исчез за дверью.

Через минуту она скрипнула опять, и появился на пороге человек. Персиков скрипнул на винте и уставился в пришедшего поверх очков через плечо. Персиков был слишком далек от жизни — он ею не интересовался, но тут даже Персикову бросилась в глаза основная и главная черта вошедшего человека. Он был странно старомоден. В 1919 году этот человек был бы совершенно уместен на улицах столицы, он был бы терпим в 1924 году, в начале его, но в 1928 году он был странным. В то время как наиболее даже отставшая часть пролетариата — пекаря — ходили в пиджаках, когда в Москве редкостью был френч — старомодный костюм, оставленный окончательно в конце 1924 года, на вошедшем была кожаная двубортная куртка, зеленые штаны, на ногах обмотки и штиблеты, а на боку огромный старой конструкции пистолет маузер в желтой битой кобуре. Лицо вошедшего произвело на Персикова то же впечатление, что и на всех, — крайне неприятное впечатление. Маленькие глазки смотрели на весь мир изумленно и в то же время уверенно, что-то развязное было в коротких ногах с плоскими ступнями. Лицо иссиня бритое. Персиков сразу нахмурился. Он безжалостно похрипел винтом и, глядя на вошедшего уже не поверх очков, а сквозь них, молвил:

— Вы с бумагой? Где же она?

Вошедший, видимо, был ошеломлен тем, что он увидел. Вообще он был мало способен смущаться, но тут смутился. Судя по глазкам, его поразил прежде всего шкаф в 12 полок, уходивший в потолок и битком набитый книгами. Затем, конечно, камеры, в которых, как в аду, мерцал малиновый, разбухший в стеклах луч. И сам Персиков в полутьме у острой иглы луча, выпадавшего из рефлектора, был достаточно странным и величественным в винтовом кресле. Пришелец впери в него взгляд, в котором явственно прыгали искры почтения сквозь самоуверенность, никакой бумаги не подал, а сказал:

— Я Александр Семенович Рокк!

— Ну-с? Так что?

— Я назначен заведующим показательным совхозом

«Красный луч», — пояснил пришлый.

— Ну-с?

— И вот к вам, товарищ, с секретным отношением.

— Интересно было бы узнать. Покороче, если можно.

Пришелец расстегнул борт куртки и высунул приказ, напечатанный на великолепной плотной бумаге. Его он протянул Персикову. А затем без приглашения сел на винтящийся табурет.

— Не толкните стол, — с ненавистью сказал Персиков.

Пришелец испуганно оглянулся на стол, на дальнем краю которого в сером темном отверстии мерцали безжизненно, как изумруды, чьи-то глаза. Холодом веяло от них.

Лишь только Персиков прочитал бумагу, он поднялся с табурета и бросился к телефону. Через несколько секунд он уже говорил торопливо и в крайней степени раздражения:

— Простите... Я не могу понять... Как же так? Я... без моего согласия, совета... Да ведь он черт знает что наделает!!

Тут незнакомец повернулся крайне обиженно на табурет.

— Извиняюсь, — начал он, — я завед...

Но Персиков махнул на него крылечком и продолжал:

— Извините, я не могу понять... Я, наконец, категорически протестую. Я не даю своей санкции на опыты с яйцами... Пока я сам не попробую их...

Что-то квакало и постукивало в трубке, и даже издали было понятно, что голос в трубке, снисходительный, говорит с малым ребенком. Кончилось тем, что багровый Персиков с громом повесил трубку и мимо нее в стену сказал:

— Я умываю руки.

Он вернулся к столу, взял с него бумагу, прочитал ее раз сверху вниз поверх очков, затем снизу вверх сквозь очки и вдруг взвыл:

— Панкрат!

Панкрат появился в дверях, как будто поднялся по трапу в опере. Персиков глянул на него и рывкнул:

— Выйди вон, Панкрат!

И Панкрат, не выразив на своем лице ни малейшего изумления, исчез.

Затем Персиков повернулся к пришельцу и заговорил:

— Извольте-с... Пов-винуясь. Не мое дело. Да мне и неинтересно.

Пришельца профессор не столько обидел, сколько изумил.

— Извиняюсь, — начал он, — вы же, товарищ?..

— Что вы все «товарищ» да «товарищ»... — хмуро пробубнил Персиков и смолк.

«Однако», — написалось на лице у Рокка.

— Изви...

— Так вот-с, пожалуйста, — перебил Персиков. — Вот дуговой шар. От него вы получаете путем передвижения окуляра, — Персиков щелкнул крышкой камеры, похожей на фотографический аппарат, — пучок, который вы можете собрать путем передвижения объективов, вот № 1... и зеркало № 2. — Персиков погасил луч, опять зажег его на полу асбестовой камеры. — А на полу в луче можете разложить все, что вам нравится, и делать опыты. Чрезвычайно просто, не правда ли?

Персиков хотел выразить иронию и презрение, но пришелец их не заметил, внимательно блестящими глазками всматриваясь в камеру.

— Только предупреждаю, — продолжал Персиков, — руки не следует совать в луч, потому что, по моим наблюдениям, он вызывает разрастание эпителия... а злокачественны они или нет, я, к сожалению, еще не мог установить.

Тут пришелец проворно спрятал свои руки за спину, уронив кожаный картуз, и поглядел на руки профессора. Они были насквозь прожжены иодом, а правая у кисти забинтована.

— А как же вы, профессор?

— Можете купить резиновые перчатки у Швабе на Кузнецком, — раздраженно ответил профессор. — Я не обязан об этом заботиться.

Тут Персиков посмотрел на пришельца словно в лупу:

— Откуда вы взялись? Вообще... почему вы?..

Рокк наконец обиделся сильно.

— Извин...

— Ведь нужно же знать, в чем дело!.. Почему вы уцепились за этот луч?..

— Потому, что это величайшей важности дело...

— Ага. Величайшей? Тогда... Панкрат!

И когда Панкрат появился:

— Погоди, я подумаю.

И Панкрат покорно исчез.

— Я, — говорил Персиков, — не могу понять вот чего: почему нужна такая спешность и секрет?

— Вы, профессор, меня уже сбили с панталыку, — ответил Рокк, — вы же знаете, что куры все издохли до единой.

— Ну так что из этого? — завопил Персиков. — Что же, вы хотите их воскресить моментально, что ли? И почему при помощи еще не изученного луча?

— Товарищ профессор, — ответил Рокк, — вы меня, честное слово, сбиваете. Я вам говорю, что нам необходимо возобновить у себя куроводство, потому что за границей пишут про нас всякие гадости. Да.

— И пусть себе пишут...

— Ну, знаете, — загадочно ответил Рокк и покрутил головой.

— Кому, желал бы я знать, пришла в голову мысль растить кур из яиц...

— Мне, — ответил Рокк...

— Угу... Тэк-с... А почему, позвольте узнать? Откуда вы узнали о свойствах луча?

— Я, профессор, был на вашем докладе.

— Я с яйцами еще ничего не делал!.. Только собираюсь!

— Ей-богу, выйдет, — убедительно вдруг и задушевно сказал Рокк, — ваш луч такой знаменитый, что хоть слонов можно вырастить, не только цыплят.

— Знаете что, — молвил Персиков, — вы не зоолог? нет? жаль... из вас вышел бы очень смелый экспериментатор... Да... только вы рискуете... получить неудачу... и только у меня отнимаете время...

— Мы вам вернем камеры. Что значит?..

— Когда?

— Да вот я выведу первую партию.

— Как вы это уверенно говорите! Хорошо-с. Панкрат!

— У меня есть с собой люди, — сказал Рокк, — и охрана...

К вечеру кабинет Персикова осиротел... Опустили столы. Люди Рокка увезли три больших камеры, оставив профессору только первую, его маленькую, с которой он начинал опыты.

Надвигались июльские сумерки, серость овладела институтом, потекла по коридорам. В кабинете слышались монотонные шаги — это Персиков, не зажигая огня, мерил большую комнату от окна к дверям. Странное дело: в этот вечер необъяснимо тоскливое настроение овладело людьми, населяющими институт, и животными. Жабы почему-то поднимали особенно тоскливый концерт и стрекотали зловеще и предостерегающе. Панкрату пришлось ловить в коридорах ужа, который ушел из своей камеры, и, когда он его поймал, вид у ужа был такой, словно тот собрался куда глаза глядят, лишь бы только уйти.

В глубоких сумерках прозвучал звонок из кабинета Персикова. Панкрат появился на пороге. И увидел странную картину. Ученый стоял одиноко посреди кабинета и глядел на столы. Панкрат кашлянул и замер.

— Вот, Панкрат, — сказал Персиков и указал на опустевший стол.

Панкрат ужаснулся. Ему показалось, что глаза у профессора в сумерках заплаканы. Это было так необыкновенно, так страшно.

— Так точно, — плаксиво ответил Панкрат и подумал: «Лучше б ты уж наорал на меня!»

— Вот, — повторил Персиков, и губы у него дрогнули точно так же, как у ребенка, у которого отняли ни с того ни с сего любимую игрушку. — Ты знаешь, дорогой Панкрат, — продолжал Персиков, отворачиваясь к окну, — жена-то моя, которая уехала пятнадцать лет назад, в оперетку она поступила, а теперь умерла, оказывается... Вот история, Панкрат милый... Мне письмом прислали...

Жабы кричали жалобно, и сумерки одевали профессора, вот она... ночь. Москва... где-то какие-то белые шары за окнами загорались... Панкрат, растерявшись, тосковал, держал от страху руки по швам...

— Иди, Панкрат, — тяжело вымолвил профессор и махнул рукой, — ложись спать, миленький, голубчик, Панкрат.

И наступила ночь. Панкрат выбежал из кабинета почему-то на цыпочках, прибежал в свою каморку, разрыл тряпье в углу, вытащил из-под него початую бутылку русской горькой и разом выхлюпнул около чайного стакана. Закусил хлебом с солью, и глаза его несколько повеселели.

Поздним вечером, уже ближе к полуночи, Панкрат, сидя босиком на скамье в скупо освещенном вестибюле, говорил бессонному дежурному котелку, почесывая грудь под ситцевой рубахой:

— Лучше б убил, ей-бо...

— Неужто плакал? — с любопытством спрашивал котелок.

— Ей... бо... — уверял Панкрат.

— Великий ученый, — согласился котелок, — известно, лягушка жены не заменит.

— Никак, — согласился Панкрат.

Потом он подумал и добавил:

— Я свою бабу подумываю выписать сюды... чего ей, в самом деле, в деревне сидеть.. Только она гадов этих не выносит нипочем...

— Что говорить, пакость ужаснейшая, — согласился котелок.

Из кабинета ученого не слышно было ни звука. Да и света в нем не было. Не было полоски под дверью.

Г л а в а VIII

ИСТОРИЯ В СОВХОЗЕ

Положительно нет прекраснее времени, нежели зрелый август в Смоленской хотя бы губернии. Лето 1928 года было, как известно, отличнейшее, с дождями весной вовремя, с полным жарким солнцем, с отличным урожаем... Яблоки в бывшем имении Шереметевых зрели... леса зеленели, желтизной квадратов лежали поля... Человек-то лучше становится на лоне природы. И не так уже неприятен показался бы Александр Семенович, как в городе. И куртки противной на нем не было. Лицо его медно загорело, ситцевая расстегнутая рубашка показывала грудь, поросшую густейшим черным волосом, на ногах были парусиновые штаны. И глаза его успокоились и подобрели.

Александр Семенович оживленно сбежал с крыльца с колоннадой, на коей была прибита вывеска под звездой:

СОВХОЗ «КРАСНЫЙ ЛУЧ»

и прямо к автомобилю-полугрузовичку, привезшему три черных камеры под охраной

Весь день Александр Семенович хлопотал со своими помощниками, устанавливая камеры в бывшем зимнем саду — оранжерее Шереметевых... К вечеру все было готово. Под стеклянным потолком загорелся белый матовый шар, на кирпичках устанавливали камеры, и механик, приехавший с камерами, пощелкав и повертев блестящие винты, зажег на асбестовом полу в черных ящиках красный таинственный луч.

Александр Семенович хлопотал, сам влезал на лестницу, проверяя провода.

На следующий день вернулся со станции тот же полугрузовичок и выплюнул три ящика великолепной гладкой фанеры, кругом оклеенной ярлыками и белыми по черному фону надписями:

VORSICHT: EIER!!
ОСТОРОЖНО: ЯЙЦА!!

— Что же так мало прислали? — удивился Александр Семенович, однако тотчас захопнулся и стал распаковывать яйца. Распаковывание происходило все в той же оранжерее, и принимали в нем участие: сам Александр Семенович, его необыкновенной толщины жена Маня, кривой бывший садовник бывших Шереметевых, а ныне служащий в совхозе на универсальной должности сторожа, охранитель, обреченный на житье в совхозе, и уборщица Дуня. Это не Москва, и все здесь носило более простой, семейный и дружественный характер. Александр Семенович распоряжался, любовно поглядывая на ящики, выглядевшие таким солидным компактным подарком под нежным закатным светом верхних стекол оранжерей. Охранитель, винтовка которого мирно дремала у дверей, клещами взламывал скрепы и металлические обшивки. Стоял треск... Сыпалась пыль. Александр Семенович, шлепая сандалиями, сутился возле ящиков.

— Вы потише, пожалуйста, — говорил он охранителю. — Осторожнее. Что ж вы, не видите — яйца?..

— Ничего, — хрипел уездный воин, буравя, — сейчас...
Тр-р-р... и сыпалась пыль.

Яйца оказались упакованными превосходно: под деревянной крышкой был слой парафиновой бумаги, затем промокательной, затем следовал плотный слой стружек, затем опилки, и в них замелькали белые головки яиц.

— Заграничной упаковочки, — любовно говорил Александр Семенович, роясь в опилках, — это вам не то что у нас. Маня, осторожнее, ты их побьешь.

— Ты, Александр Семенович, сдурел, — отвечала жена, — какое золото, подумаешь. Что я, никогда яиц не видала? Ой!.. какие большие!

— Заграница, — говорил Александр Семенович, выкладывая яйца на деревянный стол, — разве это наши мужицкие яйца... Все, вероятно, брамапутры, черт их возьми! немецкие...

— Известное дело, — подтверждал охранитель, любясь яйцами.

— Только не понимаю, чего они грязные, — говорил задумчиво Александр Семенович... — Маня, ты присматривай. Пускай дальше выгружают, а я иду на телефон.

И Александр Семенович отправился на телефон в контору совхоза через двор.

Вечером в кабинете зоологического института затрещал телефон. Профессор Персигов взъерошил волосы и подошел к аппарату.

— Ну? — спросил он.

— С вами сейчас будет говорить провинция, — тихо с шипением отозвалась трубка женским голосом.

— Ну. Слушаю, — брезгливо спросил Персигов в черный рот телефона...

В том что-то щелкало, а затем дальний мужской голос сказал в ухо встревоженно:

— Мыть ли яйца, профессор?

— Что такое? Что? Что вы спрашиваете? — раздражился Персигов. — Откуда говорят?

— Из Никольского, Смоленской губернии, — ответила трубка.

— Ничего не понимаю. Никакого Никольского не знаю. Кто это?

— Рокк, — сурово сказала трубка.

— Какой Рокк? Ах да... это вы... так вы что спрашиваете?

— Мыть ли их?.. прислали из-за границы мне партию курьих яиц...

— Ну?

— ...А они в грязюке в какой-то...

— Что-то вы путаете... Как они могут быть в «грязюке», как вы выражаетесь? Ну, конечно, может быть немного... помет присох... или что-нибудь еще...

— Так не мыть?
— Конечно не нужно... Вы что, хотите уже заряжать яйцами камеры?
— Заряжаю. Да, — ответила трубка.
— Гм, — хмыкнул Персиков.
— Пока, — цокнула трубка и стихла.
— «Пока», — с ненавистью повторил Персиков приват-доценту Иванову. — Как вам нравится этот тип, Петр Степанович?

Иванов рассмеялся.

— Это он? Воображаю, что он там напечет из этих яиц.
— Д... д... д... — заговорил Персиков злобно, — вы вообразите, Петр Степанович... ну, прекрасно... очень возможно, что на дейтероплазму куриного яйца луч окажет такое же действие, как и на плазму голых. Очень возможно, что куры у него вылупятся. Но ведь ни вы, ни я не можем сказать, какие это куры будут... может быть, они ни к черту не годные куры. Может быть, они подохнут через два дня. Может быть, их есть нельзя! А разве я поручусь, что они будут стоять на ногах. Может быть, у них кости ломкие. — Персиков вошел в азарт и махал ладонью и загибал пальцы.

— Совершенно верно, — согласился Иванов.

— Вы можете поручиться, Петр Степанович, что они дадут поколение? Может быть, этот тип выведет стерильных кур. Догонит их до величины собаки, а потомства от них жди потом до второго пришествия.

— Нельзя поручиться, — согласился Иванов.

— И какая развязность, — расстраивал сам себя Персиков, — бойкость какая-то! И ведь заметьте, что этого прохвоста мне же поручено инструктировать. — Персиков указал на бумагу, доставленную Рокком (она валялась на экспериментальном столе)... — А как я его буду, этого невежду, инструктировать, когда я сам по этому вопросу ничего сказать не могу.

— А отказаться нельзя было? — спросил Иванов.

Персиков побагровел, взял бумагу и показал ее Иванову. Тот прочел ее и иронически усмехнулся.

— М-да... — сказал он многозначительно.

— И ведь заметьте... Я своего заказа жду два месяца, и о нем ни слуху ни духу. А этому моментально и яйца прислали, и вообще всяческое содействие...

— Ни черта у него не выйдет, Владимир Ипатьич. И просто кончится тем, что вернут вам камеры.

— Да если бы скорее, а то ведь они же мои опыты задерживают.

— Да, вот это скверно. У меня все готово.

— Вы скафандры получили?

— Да, сегодня.

Персиков несколько успокоился и оживился.

— Угу... я думаю, мы так сделаем. Двери операционной можно будет наглухо закрыть, а окно мы откроем...

— Конечно, — согласился Иванов.

— Три шлема?

— Три. Да.

— Ну вот-с... Вы, стало быть, я, и кого-нибудь из студентов можно назвать. Дадим ему третий шлем.

— Гринмута можно.

— Это который у вас сейчас над саламандрами работает?.. Гм... он ничего... хотя, позвольте, весной он не мог сказать, как устроен плавательный пузырь у голозубых, — злопамятно добавил Персиков.

— Нет, он ничего... Он хороший студент, — заступился Иванов.

— Придется уж не поспать одну ночь, — продолжал Персиков, — только вот что, Петр Степанович, вы проверьте газ, а то черт их знает, эти Доброхимы ихние. Пришлют какую-нибудь гадость.

— Нет, нет, — и Иванов замахал руками, — вчера я уже пробовал. Нужно отдать им справедливость, Владимир Ипатьич, превосходный газ.

— Вы на ком пробовали?

— На обыкновенных жабах. Пустишь струйку — мгновенно умирают. Да, Владимир Ипатьич, мы еще так сделаем. Вы напишите отношение в Гепеу, чтобы вам прислали электрический револьвер.

— Да я не умею с ним обращаться...

— Я на себя беру, — ответил Иванов, — мы на Клязьме из него стреляли, шутки ради... там один гепеур рядом со мной жил. Замечательная штука. И просто чрезвычайно... Бьет бесшумно, шагов на сто и наповал. Мы в ворон стреляли... По-моему, даже и газа не нужно.

— Гм... это остроумная идея... Очень, — Персиков пошел в угол, взял трубку и квакнул: — Дайте-ка мне эту, как ее... Лубянку...

Дни стояли жаркие до чрезвычайности. Над полями видно было ясно, как переливался прозрачный, жирный зной. А ночи чудные, обманчивые, зеленые. Луна светила и такую красоту навела на бывшее имение Шереметевых, что ее невозможно выразить. Дворец-совхоз, словно сахарный, светился, в парке тени дрожали, а пруды стали двуцветными пополам — косяком лунный столб, а половина бездонная тьма. В пятнах луны можно было свободно читать «Известия», за исключением шахматного отдела, набранного мелкой непарелью. Но в такие ночи никто «Известия», понятное дело, не читал... Дуня, уборщица, оказалась в роще за совхозом, и там же оказался, вследствие совпадения, рыжеусый шофер потрепанного совхозского полугрузовичка. Что они там делали — неизвестно. Приютились они в непрочной тени вяза, прямо на разостланном кожаном пальто шофера. В кухне горела лампочка, там ужинали два огородника, а мадам Рокк в белом капоте сидела на колонной веранде и мечтала, глядя на красавицу луну.

В 10 часов вечера, когда замолкли звуки в деревне Концовке, расположенной за совхозом, идиллический пейзаж огласился прелестными нежными звуками флейты. Выразить немыслимо, до чего они были уместны над рощами и бывшими колоннами шереметевского дворца. Хрупкая Лиза из «Пиковой дамы» смешала в дуэте свой голос с голосом страстной Полины и унеслась в лунную высь, как видение старого и все-таки бесконечно милого, до слез очаровывающего режима.

Угасают... Угасают... —

свистала, переливая и вздыхая, флейта.

Замерли рощи, и Дуня, гибельная, как лесная русалка, слушала, приложив щеку к жесткой, рыжей и мужественной щеке шофера.

— А хорошо дудит, сукин сын, — сказал шофер, обнимая Дуню за талию мужественной рукой.

Играл на флейте сам заведующий совхозом Александр Семенович Рокк, и играл, нужно отдать ему справедливость, превосходно. Дело в том, что некогда флейта была специальностью Александра Семеновича. Вплоть до 1917 года он служил в известном концерт-

ном ансамбле маэстро Петухова, ежевечерне оглашающем стройными звуками фойе уютного кинематографа «Волшебные грезы» в городе Екатеринославе. Но великий 1917 год, переломивший карьеру многих людей, и Александра Семеновича повел по новым путям. Он покинул «Волшебные грезы» и пыльный звездный сатин в фойе и бросился в открытое море войны и революции, сменив флейту на губительный маузер. Его долго швыряло по волнам, неоднократно выплескивая то в Крыму, то в Москве, то в Туркестане, то даже во Владивостоке. Нужна была именно революция, чтобы вполне выявить Александра Семеновича. Выяснилось, что этот человек положительно велик и, конечно, не в фойе «Грез» ему сидеть. Не вдаваясь в долгие подробности, скажем, что последний, 1927-й и начало 28-го года застали Александра Семеновича в Туркестане, где он, во-первых, редактировал огромную газету, а засим, как местный член высшей хозяйственной комиссии, прославился своими изумительными работами по орошению туркестанского края. В 1928 году Рокк прибыл в Москву и получил вполне заслуженный отдых. Высшая комиссия той организации, билет которой с честью носил в кармане провинциально-старомодный человек, оценила его и назначила ему должность спокойную и почетную. Увы! Увы! На горе республике, кипучий мозг Александра Семеновича не потух, в Москве Рокк столкнулся с изобретением Персикова, и в номерах на Тверской «Красный Париж» родилась у Александра Семеновича идея, как при помощи луча Персикова возродить в течение месяца кур в республике. Рокка выслушали в комиссии животноводства, согласились с ним, и Рокк пришел с плотной бумагой к чудаку зоологу.

Концерт над стеклянными водами и рощами и парком уже шел к концу, как вдруг произошло нечто, которое прервало его раньше времени. Именно, в Концовке собаки, которым по времени уже следовало бы спать, подняли вдруг невыносимый лай, который постепенно перешел в общий мучительнейший вой. Вой, разрастаясь, полетел по полям, и вою вдруг ответил трескучий в миллион голосов концерт лягушек на прудах. Все это было так жутко, что показалось даже на мгновенье, будто померкла таинственная колдовская ночь.

Александр Семенович оставил флейту и вышел на веранду.

— Маня. Ты слышишь? Вот проклятые собаки... Чего они, как ты думаешь, разбесились?

— Откуда я знаю? — ответила Маня, глядя на луну.

— Знаешь, Манечка, пойдем посмотрим на яички, — предложил Александр Семенович.

— Ей-богу, Александр Семенович, ты совсем помешался со своими яйцами и курами. Отдохни ты немножко!

— Нет, Манечка, пойдем.

В оранжерее горел яркий шар. Пришла и Дуня с горящим лицом и блистающими глазами. Александр Семенович нежно открыл контрольные стекла, и все стали поглядывать внутрь камер. На белом асбестовом полу лежали правильными рядами испещренные пятнами ярко-красные яйца, в камерах было беззвучно... а шар вверх в 15 000 свечей тихо шипел...

— Эх, выведу я цыпляток! — с энтузиазмом говорил Александр Семенович, заглядывая то с боку в контрольные прорезы, то сверху, через широкие вентиляционные отверстия. — Вот увидите... Что? Не выведу?

— А вы знаете, Александр Семенович, — сказала Дуня, улыбаясь, — мужики в Концовке говорили, что вы антихрист. Говорят, что ваши яйца дьявольские. Грех машиной выводить. Убить вас хотели.

Александр Семенович вздрогнул и повернулся к жене. Лицо его пожелтело.

— Ну, что вы скажете? Вот народ! Ну что вы делаете с таким народом? А? Манечка, надо будет им собрание сделать... Завтра вызову из уезда работников. Я им сам скажу речь. Надо будет вообще тут поработать... А то это медвежий какой-то угол...

— Темнота, — молвил охранитель, расположившийся на своей шинели у двери оранжереи.

Следующий день ознаменовался страннейшими и необъяснимыми происшествиями. Утром, при первом же блеске солнца, рощи, которые приветствовали обычно светило неумолчным и мощным стрекотанием птиц, встретили его полным безмолвием. Это было замечено решительно всеми. Словно перед грозой. Но никакой грозы и в помине не было. Разговоры в совхозе приняли странный и двусмысленный для Александра Семеновича оттенок, и в особенности потому,

что со слов дяди, по прозвищу Козий Зоб, известного смутьяна и мудреца из Концовки, стало известно, что якобы все птицы собрались в косяки и на рассвете убрались куда-то из Шереметева вон, на север, что было просто глупо. Александр Семенович очень расстроился и целый день потратил на то, чтобы созвониться с городом Грачевкой. Оттуда обещали Александру Семеновичу прислать дня через два ораторов на две темы — международное положение и вопрос о Доброкуре.

Вечер тоже был не без сюрпризов. Если утром умолкли рощи, показав вполне ясно, как подозрительно-неприятна тишина среди деревьев, если в полдень убрались куда-то воробьи с совхозовского двора, то к вечеру умолк пруд в Шереметевке. Это было поистине изумительно, ибо всем в окрестностях на сорок верст было превосходно известно знаменитое стрекотание шереметевских лягушек. А теперь они словно вымерли. С пруда не доносилось ни одного голоса, и беззвучно стояла осока. Нужно признаться, что Александр Семенович окончательно расстроился. Об этих происшествиях начали толковать, и толковать самым неприятным образом, т. е. за спиной Александра Семеновича.

— Действительно, это странно, — сказал за обедом Александр Семенович жене, — я не могу понять, зачем этим птицам понадобилось улетать?

— Откуда я знаю? — ответила Маня. — Может быть, от твоего луча?

— Ну, ты, Маня, обыкновеннейшая дура, — ответил Александр Семенович, бросив ложку, — ты — как мужики. При чем здесь луч?

— А я не знаю. Оставь меня в покое.

Вечером произошел третий сюрприз — опять взвыли собаки в Концовке, и ведь как! Над лунными полями стоял непрерывный стон, злобные тоскливые стенания.

Вознаградил себя несколько Александр Семенович еще сюрпризом, но уже приятным, а именно в оранжее. В камерах начал слышаться непрерывный стук в красных яйцах. Токи... токи... токи... токи... — стучало то в одном, то в другом, то в третьем яйце.

Стук в яйцах был триумфальным стуком для Александра Семеновича. Тотчас были забыты странные происшествия в роще и на пруде. Сошлись все в оранже-

рее: и Маня, и Дуня, и сторож, и охранитель, оставивший винтовку у двери.

— Ну, что? Что вы скажете? — победоносно спрашивал Александр Семенович. Все с любопытством наклоняли уши к дверцам первой камеры. — Это они клювами стучат, цыплятки, — продолжал, сияя, Александр Семенович. — Не выведу цыпляток, скажете? Нет, дорогие мои. — И от избытка чувств он похлопал охранителя по плечу. — Выведу таких, что вы ахнете. Теперь мне в оба смотреть, — строго добавил он. — Чуть только начнут вылупливаться, сейчас же мне дать знать.

— Хорошо, — хором ответили сторож, Дуня и охранитель.

Таки... таки... таки... — закипало то в одном, то в другом яйце первой камеры. Действительно, картина на глазах нарождающейся новой жизни в тонкой отсвечивающей коже была настолько интересна, что все общество еще долго просидело на опрокинутых пустых ящиках, глядя, как в загадочном мерцающем свете созревали малиновые яйца. Разошлись спать довольно поздно, когда над совхозом и окрестностями разлилась зеленоватая ночь. Была она загадочна и даже, можно сказать, страшна, вероятно, потому, что нарушал ее полное молчание то и дело начинающийся беспричинный тоскливейший и ноющий вой собак в Концовке. Чего бесились проклятые псы — совершенно неизвестно.

Наутро Александра Семеновича ожидала неприятность. Охранитель был крайне сконфужен, руки прикладывал к сердцу, клялся и божился, что не спал, но ничего не заметил.

— Непонятное дело, — уверял охранитель, — я тут непричинен, товарищ Рокк.

— Спасибо вам, и от души благодарен, — распекал его Александр Семенович, — что вы, товарищ, думаете? Вас зачем приставили? Смотреть. Так вы мне и скажите: куда они делись? Ведь вылупились они? Значит, удрали. Значит, вы дверь оставили открытой да и ушли себе сами? Чтoб были мне цыплята!

— Некуда мне ходить. Что я, своего дела не знаю, — обиделся наконец воин, — что вы меня попрекаете даром, товарищ Рокк!

— Куды ж они подевались?

— Да я почем знаю, — взбесился наконец воин, —

что я, их укараулю разве? Я зачем приставлен. Смотреть, чтобы камеры никто не упер, я и исполняю свою должность. Вот вам камеры. А ловить ваших цыплят я не обязан по закону. Кто его знает, какие у вас цыплята выплутятся, может, их на велосипеде не догонишь!

Александр Семенович несколько осекся, побурчал еще что-то и впал в состояние изумления. Дело-то на самом деле было странное. В первой камере, которую зарядили раньше всех, два яйца, помещающиеся у самого основания луча, оказались взломанными. И одно из них даже откатилось в сторону. Скорлупа валялась на асбестовом полу, в луче.

— Черт их знает, — бормотал Александр Семенович, — окна заперты, не через крышу же они улетели!

Он задрал голову и посмотрел туда, где в стеклянном переплете крыши было несколько широких дыр.

— Что вы, Александр Семенович, — крайне удивилась Дуня, — станут вам цыплята летать. Они тут где-нибудь... цып.... цып... цып... — начала она кричать и заглядывать в углы оранжереи, где стояли пыльные цветочные вазоны, какие-то доски и хлам. Но никакие цыплята нигде не отзывались.

Весь состав служащих часа два бегал по двору совхоза, разыскивая проворных цыплят, и нигде ничего не нашел. День прошел крайне возбужденно. Караул камер был увеличен еще сторожем, и тому был дан строжайший приказ: каждые четверть часа заглядывать в окна камер и, чуть что, звать Александра Семеновича. Охранитель сидел, насупившись, у дверей, держа винтовку между колен. Александр Семенович совершенно захлопотался и только во втором часу дня пообедал. После обеда он поспал часок в прохладной тени на бывшей оттоманке Шереметева, напился совхозовского сахарного кваса, сходил в оранжерею и убедился, что теперь там все в полном порядке. Старик сторож лежал животом на рогоже и, мигая, смотрел в контрольное стекло первой камеры. Охранитель бодрствовал, не уходя от дверей.

Но были и новости: яйца в третьей камере, заряженные позже всех, начали как-то причмокивать и цокать, как будто внутри их кто-то всхлипывал.

— Ух, зреют, — сказал Александр Семенович, — вот это зреют, теперь вижу. Видал? — отнесся он к сторожу.

— Да, дело замечательное, — ответил тот, качая головой и совершенно двусмысленным тоном.

Александр Семенович посидел немного у камер, но при нем никто не вылутился, он поднялся с корточек, размялся и заявил, что из усадьбы никуда не уходит, а только пройдет на пруд выкупаться и чтобы его, в случае чего, немедленно вызвали. Он сбегал во дворец в спальню, где стояли две узких пружинных кровати со скомканным бельем и на полу была навалена груда зеленых яблоков и горы проса, приготовленного для будущих выводов, вооружился мохнатым полотенцем, а подумав, захватил с собой и флейту, с тем чтобы на досуге поиграть над водною гладью. Он бодро выбежал из дворца, пересек двор совхоза и по ивовой аллейке направился к пруду. Бодро шел Рокк, помахивая полотенцем и держа флейту под мышкой. Небо изливало зной сквозь ивы, и тело ныло и просилось в воду. На правой руке у Рокка началась заросль лопухов, в которую он, проходя, плюнул. И тотчас в глубине разлапистой путаницы послышалось шуршанье, как будто кто-то поволок бревно. Почувствовав мимолетное неприятное сосание в сердце, Александр Семенович повернул голову к заросли и посмотрел с удивлением. Пруд уже два дня не отзывался никакими звуками. Шуршание смолкло, поверх лопухов мелькнула привлекательно гладь пруда и серая крыша купаленки. Несколько стрекоз мотнулись перед Александром Семеновичем. Он уже хотел повернуть к деревянным мосткам, как вдруг шорох в зелени повторился и к нему присоединилось короткое сипение, как будто высочилось масло и пар из паровоза. Александр Семенович насторожился и стал всматриваться в глухую стену сорной заросли.

— Александр Семенович, — прозвучал в этот момент голос жены Рокка, и белая ее кофточка мелькнула, скрылась и опять мелькнула в малиннике. — Подожди, я тоже пойду купаться.

Жена спешила к пруду, но Александр Семенович ничего ей не ответил, весь приковавшись к лопухам. Сероватое и оливковое бревно начало подниматься из их чащи, вырастая на глазах. Какие-то мокрые желтоватые пятна, как показалось Александру Семеновичу, усеивали бревно. Оно начало вытягиваться, изгибаясь и шевелясь, и вытянулось так высоко, что перегнало низенькую корявую иву. Затем верх бревна надломился, немного склонился, и над Александром Семенови-

чем оказалось что-то напоминающее по высоте электрический московский столб. Но только это что-то было раза в три толще столба и гораздо красивее его благодаря чешуйчатой татуировке. Ничего еще не понимая, но уже холодея, Александр Семенович глянул на верх ужасного столба, и сердце в нем на несколько секунд прекратило бой. Ему показалось, что мороз ударил внезапно в августовский день, а перед глазами стало так сумеречно, точно он глядел на солнце сквозь летние штаны.

На верхнем конце бревна оказалась голова. Она была сплющена, заострена и украшена желтым круглым пятном по оливковому фону. Лишенные век, открытые ледяные и узкие глаза сидели в крыше головы, и в глазах этих мерцала совершенно невиданная злоба. Голова сделала такое движение, словно клюнула воздух, весь столб вобрался в лопухи, и только одни глаза остались и, не мигая, смотрели на Александра Семеновича. Тот, покрытый липким потом, произнес четыре слова, совершенно невероятных и вызванных сводящим с ума страхом. Настолько уж хороши были эти глаза между листьями.

— Что это за шутки...

Затем ему вспомнилось, что факиры... да... да... Индия... плетеная корзинка и картинка... Заклинают.

Голова вновь взвилась, и стало выходить и туловище. Александр Семенович поднес флейту к губам, хрипло пискнул и заиграл, ежесекундно задыхаясь, вальс из «Евгения Онегина». Глаза в зелени тотчас же загорелись непримиримую ненавистью к этой опере.

— Что ты, одурел, что играешь на жаре? — послышался веселый голос Мани, и где-то краем глаза справа уловил Александр Семенович белое пятно.

Затем истошный визг пронизал весь совхоз, разросся и взлетел, а вальс запрыгал как с перебитой ногой. Голова из зелени рванулась вперед, глаза ее покинули Александра Семеновича, отпустив его душу на покаяние. Змея приблизительно в пятнадцать аршин и толщиной в человека, как пружина, выскочила из лопухов. Туча пыли брызнула с дороги, и вальс кончился. Змея махнула мимо заведующего совхозом прямо туда, где была белая кофточка на дороге. Рокк видел совершенно отчетливо: Маня стала желто-белой, и ее длинные волосы, как проволочные, поднялись на пол-аршина над

головой. Змея на глазах Рокка, раскрыв на мгновение пасть, из которой вынырнуло что-то похожее на вилку, ухватила зубами Маню, оседающую в пыль, за плечо, так что вздернула ее на аршин над землей. Тогда Маня повторила режущий предсмертный крик. Змея извернулась пятисаженным винтом, хвост ее взмел смерч, и стала Маню давить. Та больше не издала ни одного звука, и только Рокк слышал, как лопались ее кости. Высоко над землей взметнулась голова Мани, нежно прижавшись к змеиной щеке. Из рта у Мани плеснуло кровью, выскочила сломанная рука, и из-под ногтей брызнули фонтанчики крови. Затем змея, вывихнув челюсти, раскрыла пасть и разом надела свою голову на голову Мани и стала налезать на нее, как перчатка на палец. От змеи во все стороны било такое жаркое дыхание, что оно коснулось лица Рокка, а хвост чуть не смел его с дороги в едкой пыли. Вот тут-то Рокк и поседел. Сначала левая и потом правая половина его черной, как сапог, головы покрылась серебром. В смертной тошноте он оторвался наконец от дороги и, ничего и никого не видя, оглашая окрестности диким ревом, бросился бежать...

Г л а в а IX

ЖИВАЯ КАША

Агент Государственного политического управления на станции Дугино Шукин был очень храбрым человеком, он задумчиво сказал своему товарищу, рыжему Полайтису:

— Ну, что ж, поедем. А? Давай мотоцикл, — потом помолчал и добавил, обращаясь к человеку, сидящему на лавке: — Флейту-то положите.

Но седой трясущийся человек на лавке, в помещении дугинского ГПУ, флейты не положил, а заплакал и замычал. Тогда Шукин и Полайтис поняли, что флейту нужно вынуть. Пальцы присохли к ней. Шукин, отличавшийся огромной, почти цирковой силой, стал палец за пальцем отгибать и отогнул все. Тогда флейту положили на стол.

Это было ранним солнечным утром следующего за смертью Мани дня.

— Вы поедете с нами, — сказал Шукин, обращаясь

к Александру Семеновичу, — покажете нам, где и что.

Но Рокк в ужасе отстранился от него и руками закрылся, как от страшного видения.

— Нужно показать, — добавил сурово Полайтис.

— Нет, оставь его. Видишь, человек не в себе.

— Отправьте меня в Москву, — плача, попросил Александр Семенович.

— Вы разве совсем не вернетесь в совхоз?

Но Рокк вместо ответа опять заслонился руками, и ужас потек из его глаз.

— Ну, ладно, — решил Шукин, — вы действительно не в силах... Я вижу. Сейчас курьерский пройдет, с ним и поезжайте.

Затем у Шукина с Полайтисом, пока сторож станционный отпаивал Александра Семеновича водой и тот лязгал зубами по синей выщербленной кружке, произошло совещание. Полайтис полагал, что вообще ничего этого не было, а просто-напросто Рокк душевнобольной и у него была страшная галлюцинация. Шукин же склонялся к мысли, что из города Грачевки, где в настоящий момент гастролировал цирк, убежал удав-констриктор. Услышав их сомневающийся шепот, Рокк привстал. Он несколько пришел в себя и сказал, простирая руки, как библейский пророк:

— Слушайте меня. Слушайте. Что же вы не верите? Она была. Где же моя жена?

Шукин стал молчалив и серьезен и немедленно дал в Грачевку какую-то телеграмму. Третий агент, по распоряжению Шукина, стал неотступно находиться при Александре Семеновиче и должен был сопровождать его в Москву. Шукин же с Полайтисом стали готовиться к экспедиции. У них был всего один электрический револьвер, но и это уже была хорошенькая защита. Пятидесятызарядная модель 27-го года, гордость французской техники для близкого боя, была всего на сто шагов, но давала поле 2 метра в диаметре и в этом поле все живое убивала наповал. Промаяхнуться было очень трудно. Шукин надел блестящую электрическую игрушку, а Полайтис обыкновенный 25-зарядный поясной пулеметик, взял обоймы, и на одном мотоцикле, по утренней росе и холодку, они по шоссе покатались к совхозу. Мотоцикл простучал 20 верст, отделявших станцию от совхоза, в четверть часа (Рокк шел всю ночь, то и дело прячась, в припадках смерт-

ного страха, в придорожную траву), и, когда солнце начало значительно припекать, на пригорке, под которым вилась речка Топь, глянул сахарный с колоннами дворец в зелени. Мертвая тишина стояла вокруг. У самого подъезда к совхозу агенты обогнали крестьянина на подводе. Тот плелся не спеша, нагруженный какими-то мешками, и вскоре остался позади. Мотоциклетка пробежала по мосту, и Полайтис затрубил в рожок, чтобы вызвать кого-нибудь. Но никто и нигде не отзывался, за исключением отдаленных остервенившихся собак в Концовке. Мотоцикл, замедляя ход, подошел к воротам с позеленевшими львами. Запыленные агенты, в желтых гетрах, соскочили, прицепили цепью с замком к переплету решетки машину и вошли во двор. Тишина их поразила.

— Эй, кто тут есть! — окликнул Щукин громко.

Но никто не отзывался на его бас. Агенты обошли двор кругом, все более удивляясь. Полайтис нахмурился. Щукин стал посматривать серьезно, все более хмуря светлые брови. Заглянули через закрытое окно в кухню и увидали, что там никого нет, но весь пол усеян белыми осколками посуды.

— Ты знаешь, что-то действительно у них случилось. Я теперь вижу. Катастрофа, — молвил Полайтис.

— Эй, кто там есть! Эй! — кричал Щукин, но ему отвечало только эхо под сводами кухни.

— Черт их знает! — ворчал Щукин. — Ведь не могла же она слопать их всех сразу. Или разбежались. Идем в дом.

Дверь во дворце с колонной верандой была открыта настежь, и в нем было совершенно пусто. Агенты прошли даже в мезонин, стучали и открывали все двери, но ничего решительно не добились, и через вымершее крыльцо они вновь вышли во двор.

— Обойдем кругом. К оранжереям, — распорядился Щукин, — все обшарим, а там можно будет протелефонировать.

По кирпичной дорожке агенты пошли, минуя клумбы, на задний двор, пересекли его и увидали блещущие стекла оранжереи.

— Погоди-ка, — заметил шепотом Щукин и отстегнул с пояса револьвер.

Полайтис насторожился и снял пулеметик. Станный и очень зычный звук тянулся в оранжерее и где-то

за нею. Похоже было, что где-то шипит паровоз. Зау-зау... зау-зау... с-с-с-с... — шипела оранжерея.

— А ну-ка осторожно, — шепнул Щукин, и, стараясь не стучать каблуками, агенты придвинулись к самым стеклам и заглянули в оранжерею.

Тотчас Полайтис откинулся назад, и лицо его стало бледно. Щукин открыл рот и застыл с револьвером в руке.

Вся оранжерея жила как червивая каша. Свиваясь и развиваясь в клубки, шипя и разворачиваясь, шаря и качая головами, по полу оранжереи ползли огромные змеи. Битая скорлупа валялась на полу и хрустела под их телами. Вверху бледно горел огромной силы электрический шар, и от этого вся внутренность оранжереи освещалась странным кинематографическим светом. На полу торчали три темных, словно фотографических, огромных ящика, два из них, сдвинутые и покосившиеся, потухли, а в третьем горело небольшое густо-малиновое световое пятно. Змеи всех размеров ползли по проводам, поднимались по переплетам рам, вылезали через отверстия в крыше. На самом электрическом шаре висела совершенно черная, пятнистая змея в несколько аршин, и голова ее качалась у шара, как маятник. Какие-то погремушки звякали в шипении, из оранжереи тянуло странным гнилостным, словно прудовым, запахом. И еще смутно разглядели агенты кучи белых яиц, валяющиеся в пыльных углах, и странную гигантскую голенастую птицу, лежащую неподвижно у камер, и труп в сером у двери, рядом с винтовкой.

— Назад! — крикнул Щукин и стал пятиться, левой рукою отдавливая Полайтиса и поднимая правую револьвер.

Он успел выстрелить раз девять, прошипев и выбросив около оранжереи зеленоватую молнию. Звук страшно усилился, и в ответ на стрельбу Щукина вся оранжерея пришла в бешеное движение, и плоские головы замелькали во всех дырах. Гром тотчас же начал скакать по всему совхозу и играть отблесками на стенах. Чах-чах-чах-тах — стрелял Полайтис, отступая задом. Станный четырехлапый шорох послышался сзади, и Полайтис вдруг страшно крикнул, падая навзничь. Существо на вывернутых лапах, коричнево-зеленого цвета, с громадной острой мордой, с гребенчатым хвостом, все похожее на страшных размеров ящерицу, выкатилось из-за угла сарая и, яростно пере-

кусив ногу Полайтису, сбило его на землю.

— Помоги! — крикнул Полайтис, и тотчас левая рука его попала в пасть и хрустнула, правой рукой он, тщетно пытаясь поднять ее, повез револьвером по земле.

Щукин обернулся и заметался. Раз он успел выстрелить, но сильно взял в сторону, потому что боялся убить товарища. Второй раз он выстрелил по направлению оранжереи, потому что оттуда среди небольших змеиных морд высунулась одна огромная, оливковая, и туловище выскочило прямо по направлению к нему. Этим выстрелом он гигантскую змею убил и опять, прыгая и вертясь возле Полайтиса, полумертвого уже в пасти крокодила, выбирал место, куда бы выстрелить, чтобы убить страшного гада, не тронув агента. Наконец это ему удалось. Из электроревольвера хлопнуло два раза, осветив вокруг все зеленоватым светом, и крокодил, прыгнув, вытянулся, окоченев, и выпустил Полайтиса. Кровь у того текла из рукава, текла изо рта, и он, припадая на правую, здоровую руку, тянул переломанную левую ногу. Глаза его угасали.

— Щукин... беги, — промычал он, всхлипывая.

Щукин выстрелил несколько раз по направлению оранжереи, и в ней вылетело несколько стекол. Но огромная пружина, оливковая и гибкая, сзади, выскочив из подвального окна, перескользнула двор, заняв его весь пятисаженным телом, и во мгновение обвила ноги Щукина. Его швырнуло вниз на землю, и блестящий револьвер отпрыгнул в сторону. Щукин крикнул мощно, потом задохся, потом кольца скрыли его совершенно, кроме головы. Кольцо прошло раз по голове, сдирая с нее скальп, и голова эта треснула. Больше в совхозе не послышалось ни одного выстрела. Все погасил шипящий, покрывающий звук. И в ответ ему очень далеко по ветру донесся из Концовки вой, но теперь уже нельзя было разобрать, чей это вой, собачий или человеческий.

Г л а в а X

КАТАСТРОФА

В ночной редакции газеты «Известия» ярко горели шары и толстый выпускающий редактор на свинцовом столе верстал вторую полосу с телеграммами «По Союзу Республик». Одна гранка попалась ему на глаза, он

всмотрелся в нее через пенсне и захохотал, созвал вокруг себя корректоров из корректорской и метранпажа и всем показал эту гранку. На узенькой полоске сырой бумаги было напечатано:

«Грачевка, Смоленской губернии. В уезде появилась курица величиною с лошадь и лягается, как конь. Вместо хвоста у нее буржуазные дамские перья».

Наборщики страшно хохотали.

— В мое время, — заговорил выпускающий, хихикая жирно, — когда я работал у Вани Сытина в «Русском слове», допивались до слонов. Это верно. А теперь, стало быть, до страусов.

Наборщики хохотали.

— А ведь верно, страус, — заговорил метранпаж, — что же, ставить, Иван Вонифатьевич?

— Да что ты, сдурел, — ответил выпускающий, — я удивляюсь, как секретарь пропустил, просто пьяная телеграмма.

— Попраздновали, это верно, — согласились наборщики, и метранпаж убрал со стола сообщение о страусе.

Поэтому «Известия» и вышли на другой день, держа, как обыкновенно, массу интересного материала, но без каких бы то ни было намеков на грачевского страуса. Приват-доцент Иванов, аккуратно читающий «Известия», у себя в кабинете свернул лист «Известий», зевнув, молвил: «Ничего интересного» — и стал надевать белый халат. Через некоторое время в кабинете у него загорелись горелки и заквакали лягушки. В кабинете же профессора Персикова была кутерьма. Испуганный Панкрат стоял и держал руки по швам.

— Понял... слушаю-с, — говорил он.

Персиков запечатанный сургучом пакет вручил ему, говоря:

— Поедешь прямо в отдел животноводства к этому заведующему Птахе и скажешь ему прямо, что он — свинья. Скажи, что я так, профессор Персиков, так и сказал. И пакет ему отдай.

«Хорошенькое дело...» — подумал бледный Панкрат и убрался с пакетом.

Персиков бушевал.

— Это черт знает что такое, — скулил он, разгуливая по кабинету и потирая руки в перчатках, — это неслы-

ханное издевательство надо мной и над зоологией. Эти проклятые куриные яйца везут грудками, а я 2 месяца не могу добиться необходимого. Словно до Америки далеко! Вечная кутерьма, вечное безобразие, — он стал считать по пальцам: — ловля... ну, десять дней самое большое, ну, хорошо, пятнадцать... ну, хорошо, двадцать, и перелет два дня, из Лондона в Берлин день... Из Берлина к нам шесть часов... какое-то неопишное безобразие...

Он яростно набросился на телефон и стал куда-то звонить.

В кабинете у него было все готово для каких-то таинственных и опаснейших опытов, лежала полосами нарезанная бумага для заклейки дверей, лежали водонепроницаемые шлемы с отводными трубками и несколько баллонов, блестящих как ртуть, с этикеткою «Доброхим, не прикасаться» и рисунком черепа со скрещенными костями.

Понадобилось по меньшей мере три часа, чтоб профессор успокоился и приступил к мелким работам. Так он и сделал. В институте он работал до одиннадцати часов вечера, и поэтому ни о чем не знал, что творится за кремлевыми стенами. Ни нелепый слух, пролетевший по Москве о каких-то змеях, ни странная выкрикнутая телеграмма в вечерней газете ему остались неизвестны, потому что доцент Иванов был в Художественном театре на «Федоре Иоанновиче» и, стало быть, сообщить новость профессору было некому.

Персиков около полуночи приехал на Пречистенку и лег спать, почитав еще на ночь в кровати какую-то английскую статью в журнале «Зоологический вестник», полученном из Лондона. Он спал, да спала и вся вертящаяся до поздней ночи Москва, и не спал лишь громадный серый корпус на Тверской улице во дворе, где страшно гудели, потрясая все здание, ротационные машины «Известий». В кабинете выпускающего происходила невероятная кутерьма и путаница. Он, совершенно бешеный, с красными глазами, метался, не зная, что делать, и посылал всех к чертовой матери. Метранпаж ходил за ним и, дыша винным духом, говорил:

— Ну что же, Иван Вонифатьевич, не беда, пускай завтра утром выпускают экстренное приложение. Не из машины же номер выдирать.

Наборщики не разошлись домой, а ходили стаями,

сбивались кучками и читали телеграммы, которые шли теперь всю ночь напролет, через каждые четверть часа, становясь все чудовищнее и страннее. Острая шляпа Альфреда Бронского мелькала в ослепительном розовом свете, заливавшем типографию, и механический толстяк скрипел и ковылял, показываясь то здесь, то там. В подъезде хлопали двери и всю ночь появлялись репортеры. По всем 12 телефонам типографии звонили непрерывно, и станция почти механически подавала в ответ в загадочные трубки «занято», «занято», и на станции, перед бессонными барышнями, пели и пели сигнальные рожки...

Наборщики облепили механического толстяка, и капитан дальнего плавания говорил им:

— Аэропланы с газом придется посылать.

— Не иначе, — отвечали наборщики, — ведь это что ж такое.

Затем страшная матерная ругань перекатывалась в воздухе и чей-то визгливый голос кричал:

— Этого Персикова расстрелять надо.

— При чем тут Персики, — отвечали из гущи, — этого сукина сына в совхозе — вот кого расстрелять.

— Охрану надо было поставить, — выкрикивал кто-то.

— Да, может, это вовсе и не яйца.

Все здание тряслось и гудело от ротационных колес, и создавалось такое впечатление, что серый, неприглядный корпус полыхает электрическим пожаром.

Занявшийся день не остановил его. Напротив, только усилил, хоть и электричество погасло. Мотоциклетки одна за другой вкатывались в асфальтированный двор попеременно с автомобилями. Вся Москва встала, и белые листы газеты одели ее, как птицы. Листы сыпались и шуршали у всех в руках, и у газетчиков к одиннадцати часам дня не хватило номеров, несмотря на то что «Известия» выходили в этом месяце с тиражом в полтора миллиона экземпляров. Профессор Персиков выехал с Пречистенки на автобусе и прибыл в институт. Там его ожидала новость. В вестибюле стояли аккуратно обшитые металлическими полосами деревянные ящики, в количестве трех штук, испещренные заграничными наклейками на немецком языке, и над ними царствовала одна русская меловая надпись: «Осторожно — яйца».

Бурная радость овладела профессором.

— Наконец-то! — вскричал он. — Панкрат, взламывай ящики немедленно и осторожно, чтобы не побить. Ко мне в кабинет.

Панкрат немедленно исполнил приказание, и через четверть часа в кабинете профессора, усеянном опилками и обрывками бумаги, забушевал его голос.

— Да они что же, издеваются надо мною, что ли, — был профессор, потрясая кулаками и вертя в руках яйца, — это какая-то скотина, а не Птаха. Я не позволю смеяться надо мной. Это что такое, Панкрат?

— Яйца-с, — отвечал Панкрат горестно.

— Куриные, понимаешь, куриные, черт бы их задрал! На какого дьявола они мне нужны. Пусть посылают их этому негодяю в его совхоз!

Персиков бросился в угол к телефону, но не успел позвонить.

— Владимир Ипатьич! Владимир Ипатьич! — загремел в коридоре института голос Иванова.

Персиков оторвался от телефона, и Панкрат стрельнул в сторону, давая дорогу приват-доценту. Тот вбежал в кабинет, вопреки своему джентльменскому обычаю, не снимая серой шляпы, сидящей на затылке, и с газетным листом в руках.

— Вы знаете, Владимир Ипатьич, что случилось, — выкрикивал он и взмахнул перед лицом Персикова листом с надписью: «Экстренное приложение», посередине которого красовался яркий цветной рисунок.

— Нет, вы слушайте, что они сделали, — в ответ закричал, не слушая, Персиков, — они меня вздумали удивить куриными яйцами. Этот Птаха форменный идиот, посмотрите!

Иванов совершенно ошалел. Он в ужасе усталился на вскрытые ящики, потом на лист, затем глаза его почти выпрыгнули с лица.

— Так вот что, — задыхаясь, забормотал он, — теперь я понимаю... Нет, Владимир Ипатьич, вы только гляньте, — он мгновенно развернул лист и дрожащими пальцами указал Персикову на цветное изображение. На нем, как страшный пожарный шланг, извивалась оливковая в желтых пятнах змея, в странной смазанной зелени. Она была снята сверху, с легонькой летательной машины, осторожно скользящей над змеей. — Кто это, по-вашему, Владимир Ипатьич?

Персиков сдвинул очки на лоб, потом передвинул их на глаза, всмотрелся в рисунок и сказал в крайнем удивлении:

— Что за черт. Это... да это анаконда, водяной удав...

Иванов сбросил шляпу, опустился на стул и сказал, выстукивая каждое слово кулаком по столу:

— Владимир Ипатьич, эта анаконда из Смоленской губернии. Что-то чудовищное. Вы понимаете, этот негодяй вывел змей вместо кур, и, вы поймите, они дали такую же самую феноменальную кладку, как лягушки!

— Что такое? — ответил Персиков, и лицо его сделалось бурым... — Вы шутите, Петр Степанович... Откуда?

Иванов онемел на мгновение, потом получил дар слова и, тыча пальцем в открытый ящик, где сверкали беленькие головки в желтых опилках, сказал:

— Вот откуда.

— Что-о?! — завыл Персиков, начиная соображать.

Иванов совершенно уверенно взмахнул двумя сжатыми кулаками и закричал:

— Будьте покойны! Они ваш заказ на змеиные и страусовые яйца переслали в совхоз, а куриные вам по ошибке!

— Боже мой... боже мой, — повторил Персиков и, зеленея лицом, стал садиться на винтящийся табурет.

Панкрат совершенно одурел у двери, побледнел и онемел. Иванов вскочил, схватил лист и, подчеркивая острым ногтем строчку, закричал в уши профессору:

— Ну, теперь они будут иметь веселую историю!.. Что теперь будет, я решительно не представляю. Владимир Ипатьич, вы гляньте, — и он завопил вслух, вычитывая первое попавшееся место со скомканного листа... — «Змеи идут стаями в направлении Можайска... откладывая неимоверные количества яиц. Яйца были замечены в Духовском уезде... Появились крокодилы и страусы. Части особого назначения... и отряды Государственного управления прекратили панику в Вязьме после того, как зажгли пригородный лес, остановивший движение гадов...»

Персиков, разноцветный, иссиня-бледный, с сумасшедшими глазами, поднялся с табурета и, задыхаясь, начал кричать:

— Анаконда... анаконда... водяной удав! Боже мой! — в таком состоянии его еще никогда не видали ни Иванов, ни Панкрат.

Профессор сорвал одним взмахом галстук, оборвал пуговицы на сорочке, побагровел страшным параличным цветом и, шатаясь, с совершенно тупыми стеклянными глазами, ринулся куда-то вон. Вопль разлетелся под каменными сводами института.

— Анаконда... анаконда... — загремело эхо.

— Лови профессора! — взвизгнул Иванов Панкрату, заплывавшему от ужаса на месте. — Воды ему... у него удар.

Г л а в а X I

БОЙ И СМЕРТЬ

Пылала бешеная электрическая ночь в Москве. Горели все огни, и в квартирах не было места, где бы не сияли лампы со сброшенными абажурами. Ни в одной квартире Москвы, насчитывающей 4 миллиона населения, не спал ни один человек, кроме неосмысленных детей. В квартирах ели и пили как попало, в квартирах что-то выкрикивали, и поминутно искаженные лица выглядывали в окна во всех этажах, устремляя взоры в небо, во всех направлениях изрезанное прожекторами. На небе то и дело вспыхивали белые огни, отбрасывали тающие бледные конусы на Москву и исчезали и гасли. Небо беспрерывно гудело очень низким аэропланным гулом. В особенности страшно было на Тверской-Ямской. На Александровский вокзал через каждые 10 минут приходили поезда, сбитые как попало из товарных и разноклассных вагонов и даже цистерн, облепленных обезумевшими людьми, и по Тверской-Ямской бежали густой кашей, ехали в автобусах, ехали на крышах трамваев, давили друг друга и попадали под колеса. На вокзале то и дело вспыхивала трескучая тревожная стрельба поверх толпы — это воинские части останавливали панику сумасшедших, бегущих по стрелам железных дорог из Смоленской губернии на Москву. На вокзале то и дело с бешеным легким всхлипыванием вылетали стекла в окнах и выли все паровозы. Все улицы были усеяны плакатами, брошенными и растоптанными, и эти же плакаты под жгучими малиновыми рефлекторами глядели со стен. Они всем уже были известны, и никто их не читал. В них Москва объявлялась на военном положении. В них грозили за панику

и сообщали, что в Смоленскую губернию часть за частью уже едут отряды Красной Армии, вооруженные газами. Но плакаты не могли остановить воюющей ночи. В квартирах роняли и били посуду и цветочные вазоны, бегали, задевая за углы, разматывали и сматывали какие-то узлы и чемоданы, в тщетной надежде пробраться на Каланчевскую площадь, на Ярославский или Николаевский вокзал. Увы, все вокзалы, ведущие на север и восток, были оцеплены густейшим слоем пехоты, и громадные грузовики, колыша и брэнча цепями, доверху нагруженные ящиками, поверх которых сидели армейцы в остроконечных шлемах, ошетилившиеся во все стороны штыками, увозили запасы золотых монет из подвалов Народного комиссариата финансов и громадные ящики с надписью: «Осторожно. Третьяковская галерея». Машины рывкали и бегали по всей Москве.

Очень далеко на небе дрожал отсвет пожара, и слышались, колыша густую черноту августа, непрерывные удары пушек.

Под утро по совершенно бессонной Москве, не потушившей ни одного огня, вверх по Тверской, сметая все встречное, что жалось в подъезды и витрины, выдавливая стекла, прошла многотысячная, стрекочущая копытами по торцам змея конной армии. Малиновые башлыки мотались концами на серых спинах, и кончики пик кололи небо. Толпа, мечущаяся и воющая, как будто ожила сразу, увидав ломящиеся вперед, рассекающие расплеснутое варево безумия шеренги. В толпе на тротуарах начали призывно, с надеждою, выть.

— Да здравствует Конная армия! — кричали исступленные женские голоса.

— Да здравствует! — отзывались мужчины.

— Задавят!! давят!.. — выли где-то.

— Помогите! — кричали с тротуара.

Коробки папирос, серебряные деньги, часы полетели в шеренги с тротуаров, какие-то женщины выскакивали на мостовую и, рискуя костями, плелись с боков конного строя, цепляясь за стремяна и целуя их. В непрерывном стрекоте копыт изредка взмывали голоса взводных:

— Короче повод.

Где-то пели весело и разухабисто, и с коней смотрели в зыбком рекламном свете лица в заломленных малиновых шапках. То и дело прерывая шеренги кон-

ных с открытыми лицами, шли на конях же странные фигуры в странных чадрах, с отводными за спину трубками и с баллонами на ремнях за спиной. За ними шли громадные цистерны-автомобили, с длиннейшими рукавами и шлангами, точно на пожарных повозках, и тяжелые, раздавливающие торцы, наглухо закрытые и светящиеся узенькими бойницами танки на гусеничных лапах. Прерывались шеренги конных, и шли автомобили, зашитые наглухо в серую броню, с теми же трубками, торчащими наружу, и белыми нарисованными черепами на боках с надписью «Газ». «Доброхим».

— Выручайте, братцы, — завывали с тротуаров, — бейте гадов... Спасайте Москву!

— Мать... мать... мать... — перекатывалось по рядам.

Папиросы пачками прыгали в освещенном ночном воздухе, и белые зубы скалились на ошалевших людей с коней. По рядам разливалось глухое и щиплющее сердце пение:

...Ни туз, ни дама, ни валет,
Побьем мы гадов, без сомненья,
Четыре сбоку — ваших нет...

Гудящие раскаты «ура» выплывали над всей этой кашей, потому что пронесся слух, что впереди шеренг на лошади, в таком же малиновом башлыке, как и все всадники, едет ставший легендарным 10 лет назад, постаревший и поседевший командир конной громады. Толпа завывала, и в небо улетал, немного успокаивая мятущиеся сердца, гул «ура... ура...».

* * *

Институт был скупо освещен. События в него долетали только отдельными, смутными и глухими отзвуками. Раз под огненными часами близ Манежа грохнул веером залп, это расстреляли на месте мародеров, пытавшихся ограбить квартиру на Волхонке. Машинного движения на улице здесь было мало, оно все сбивалось к вокзалам. В кабинете профессора, где тускло горела одна лампа, отбрасывая пучок на стол, Персиков сидел, положив голову на руки, и молчал. Слоистый дым веял вокруг него. Луч в ящике погас. В террариях лягушки молчали, потому что уже спали. Профессор не работал и не читал. В стороне, под левым его локтем, лежал вечерний выпуск телеграмм на узкой полосе, сообщав-

ший, что Смоленск горит весь и что артиллерия обстреливает Можайский лес по квадратам, громя залежи крокодильих яиц, разложенных во всех сырых оврагах. Сообщалось, что эскадрилья аэропланов под Вязьмою действовала весьма удачно, залив газом почти весь уезд, но что жертвы человеческие в этих пространствах неисчислимы из-за того, что население, вместо того чтобы покидать уезды в порядке правильной эвакуации, благодаря панике металось разрозненными группами, на свой риск и страх, кидаясь куда глаза глядят. Сообщалось, что Отдельная Кавказская кавалерийская дивизия в Можайском направлении блистательно выиграла бой со страусовыми стаями, перерубив их всех и уничтожив громадные кладки страусовых яиц. При этом дивизия понесла незначительные потери. Сообщалось от правительства, что в случае, если гадов не удастся удержать в 200-верстной зоне от столицы, она будет эвакуирована в полном порядке. Служащие и рабочие должны соблюдать полное спокойствие. Правительство примет самые жестокие меры к тому, чтобы не допустить смоленской истории, в результате которой благодаря смятению, вызванному неожиданным нападением гремучих змей, появившихся в количестве нескольких тысяч, город загорелся во всех местах, где бросили горящие печи и начали безнадежный повальный исход. Сообщалось, что продовольствием Москва обеспечена по меньшей мере на полгода и что совет при главнокомандующем предпринимает срочные меры к бронировке квартир для того, чтобы вести уличные бои с гадами на самых улицах столицы, в случае, если красным армиям и аэропланам и эскадрильям не удастся удержать нашествия пресмыкающихся.

Ничего этого профессор не читал, смотрел остекленевшими глазами перед собой и курил. Кроме него только два человека были в институте — Панкрат и, то и дело заливающаяся слезами, экономка Марья Степановна, бессонная уже третью ночь, которую она проводила в кабинете профессора, ни за что не желающего покинуть свой единственный оставшийся потухший ящик. Теперь Марья Степановна приютилась на клеенчатом диване, в тени в углу, и молчала в скорбной думе, глядя, как чайник с чаем, предназначенным для профессора, закипал на треножнике газовой горелки. Институт молчал, и все произошло внезапно.

С тротуара вдруг послышались ненавистные звонкие крики, так что Марья Степановна вскочила и взвизгнула. На улице замелькали огни фонарей, и отозвался голос Панкрата в вестибюле. Профессор плохо реагировал на этот шум. Он поднял на мгновение голову, пробормотал: «Ишь, как беснуются... что ж я теперь поделаю». И вновь впал в оцепенение. Но оно было нарушено. Страшно загремели кованые двери института, выходящие на Герцена, и все стены затряслись. Затем лопнул сплошной зеркальный слой в соседнем кабинете. Зазвенело и высыпалось стекло в кабинете профессора, и серый булыжник прыгнул в окно, развалив стеклянный стол. Лягушки шарахнулись в террариях и подняли вопль. Заметалась, завизжала Марья Степановна, бросилась к профессору, хватая его за руки и крича: «Убегайте, Владимир Ипатьич, убегайте». Тот поднялся с винтящегося стула, выпрямился и, сложив палец крючком, ответил, причем его глаза на миг приобрели прежний остренький блеск, напомнивший прежнего вдохновенного Персикова.

— Никуда я не пойду, — проговорил он, — это просто глупость, они мечутся, как сумасшедшие... Ну, а если вся Москва сошла с ума, то куда же я уйду. И, пожалуйста, перестаньте кричать. При чем здесь я Панкрат! — позвал он и нажал кнопку.

Вероятно, он хотел, чтоб Панкрат прекратил всю суету, которой он вообще никогда не любил. Но Панкрат ничего уже не мог поделать. Грохот кончился тем, что двери института растворились и издалека донеслись хлопушечки выстрелов, а потом весь каменный институт загрохотал бегом, выкриками, боем стекол. Марья Степановна вцепилась в рукав Персикова и начала его тащить куда-то, он отбился от нее, вытянулся во весь рост и, как был, в белом халате, вышел в коридор.

— Ну? — спросил он.

Двери распахнулись, и первое, что появилось в дверях, это спина военного с малиновым шевроном и звездой на левом рукаве. Он отступал из двери, в которую напирала яростная толпа, спиной и стрелял из револьвера. Потом он бросился бежать мимо Персикова, крикнув ему:

— Профессор, спасайтесь, я больше ничего не могу сделать.

Его словам ответил визг Марьи Степановны. Воен-

ный проскочил мимо Персикова, стоящего как белое изваяние, и исчез во тьме извилистых коридоров в противоположном конце. Люди вылетели из дверей, заывая:

- Бей его! Убивай...
- Мирового злодея!
- Ты распустил гадов!

Искаженные лица, разорванные платья запрыгали в коридорах, и кто-то выстрелил. Замелькали палки. Персиков немного отступил назад, прикрыл дверь, ведущую в кабинет, где в ужасе на полу на коленях стояла Марья Степановна, распростер руки, как распятый... он не хотел пустить толпу и закричал в раздражении:

— Это форменное сумасшествие... вы совершенно дикие звери. Что вам нужно? — Завыл: — Вон отсюда! — и закончил фразу резким, всем знакомым выкриком: — Панкрат, гони их вон.

Но Панкрат никого уже не мог выгнать. Панкрат, с разбитой головой, истоптанный и рванный в клочья, лежал недвижимо в вестибюле, и новые и новые толпы рвались мимо него, не обращая внимания на стрельбу милиции с улицы.

Низкий человек, на обезьяньих кривых ногах, в разорванном пиджаке, в разорванной манишке, сбившейся на сторону, опередил других, дорвался до Персикова и страшным ударом палки раскроил ему голову. Персиков качнулся, стал падать набок, и последним его словом было слово:

— Панкрат... Панкрат...

Ни в чем не повинную Марью Степановну убили и растерзали в кабинете, камеру, где потух луч, разнесли в клочья, в клочья разнесли террарии, перебив и истоптав обезумевших лягушек, раздробили стеклянные столы, раздробили рефлекторы, а через час институт пылал, возле него валялись трупы, оцепленные шеренгою вооруженных электрическими револьверами, и пожарные автомобили, насасывая воду из кранов, лили струи во все окна, из которых, гудя, длинно выбивалось пламя.

Г л а в а XII

МОРОЗНЫЙ БОГ НА МАШИНЕ

В ночь с 19-го на 20-е августа 1928 года упал неслыханный, никем из старожилов никогда еще не отмеченный мороз. Он пришел и продержался двое суток, достигнув 18 градусов. Остервеневшая Москва заперла все окна, все двери. Только к концу третьих суток поняло население, что мороз спас столицу и те безграничные пространства, которыми она владела и на которые упала страшная беда 28-го года. Конная армия под Можайском, потерявшая три четверти своего состава, начала изнемогать, и газовые эскадрильи не могли остановить движения мерзких пресмыкающихся, полукольцом заходивших с запада, юго-запада и юга по направлению к Москве.

Их задушил мороз. Двух суток по 18 градусов не выдержали омерзительные стаи, и в 20-х числах августа, когда мороз исчез, оставив лишь сырость и мокроту, оставив влагу в воздухе, оставив побитую неожиданным холодом зелень на деревьях, биться больше было не с кем. Беда кончилась. Леса, поля, необозримые болота были еще завалены разноцветными яйцами, покрытыми порою странным, нездешним, невиданным рисунком, который безвестно пропавший Рокк принимал за грязюку, но эти яйца были совершенно безвредны. Они были мертвы, зародыши в них прикончены.

Необозримые пространства земли еще долго гнили от бесчисленных трупов крокодилов и змей, вызванных к жизни таинственным, родившимся на улице Герцена в гениальных глазах лучом, но они уже не были опасны, непрочные создания гнилостных жарких тропических болот погибли в два дня, оставив на пространстве трех губерний страшное зловоние, разложение и гной.

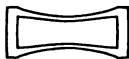
Были долгие эпидемии, были долго повальные болезни от трупов гадов и людей, и долго еще ходила армия, но уже не снабженная газами, а саперными принадлежностями, керосинными цистернами и шлангами, очищая землю. Очистила, и все кончилось к весне 29-го года.

А весной 29-го года опять затанцевала, загорелась и завертелась огнями Москва, и опять по-прежнему шаркало движение механических экипажей, и над шап-

кою храма Христа висел, как на ниточке, лунный серп, и на месте сгоревшего в августе 28-го года двухэтажного института выстроили новый зоологический дворец, и им заведовал приват-доцент Иванов, но Персикова уже не было. Никогда не возникал перед глазами людей скорченный убедительный крючок из пальца, и никто больше не слышал скрипучего квакающего голоса. О луче и катастрофе 28-го года еще долго говорил и писал весь мир, но потом имя профессора Владимира Ипатьевича Персикова оделось туманом и погасло, как погас и самый открытый им в апрельскую ночь красный луч. Луч же этот вновь получить не удалось, хоть иногда изящный джентльмен, и ныне ординарный профессор, Петр Степанович Иванов и пытался. Первую камеру уничтожила разъяренная толпа в ночь убийства Персикова. Три камеры сгорели в никольском совхозе «Красный луч»; при первом бое эскадрильи с гадами, а восстановить их не удалось. Как ни просто было сочетание стекол с зеркальными пучками света, его не скомбинировали второй раз, несмотря на старания Иванова. Очевидно, для этого нужно было что-то особенное кроме знания, чем обладал в мире только один человек — покойный профессор Владимир Ипатьевич Персиков.

Москва, 1924 г., октябрь

Автобиографические
материалы



АВТОБИОГРАФИЯ 1924 ГОДА

Родился в г. Киеве в 1891 году. Учился в Киеве и в 1916 году окончил университет по медицинскому факультету, получив звание лекаря с отличием.

Судьба сложилась так, что ни званием, ни отличием не пришлось пользоваться долго. Как-то ночью в 1919 году, глухой осенью, едуци в расхлябанном поезде, при свете свечечки, вставленной в бутылку из-под керосина, написал первый маленький рассказ. В городе, в который затащил меня поезд, отнес рассказ в редакцию газеты. Там его напечатали. Потом напечатали несколько фельетонов. В начале 1920 года я бросил звание с отличием и писал. Жил в далекой провинции и поставил на местной сцене три пьесы. Впоследствии в Москве в 1923 году, перечитав их, торопливо уничтожил. Надеюсь, что нигде ни одного экземпляра их не осталось.

В конце 1921 года приехал без денег, без вещей в Москву, чтобы остаться в ней навсегда. В Москве долго мучился; чтобы поддерживать существование, служил репортером и фельетонистом в газетах и возненавидел эти звания, лишённые отличий. Заодно возненавидел редакторов, ненавижу их сейчас и буду ненавидеть до конца жизни.

В берлинской газете «Накануне» в течение двух лет писал большие сатирические и юмористические фельетоны.

Не при свете свечки, а при тусклой электрической лампе сочинил книгу «Записки на манжетах». Эту книгу у меня купило берлинское издательство «Накануне», обещав выпустить в мае 1923 года. И не выпустило вовсе. Вначале меня это очень волновало, а потом я стал равнодушен.

Напечатал ряд рассказов в журналах в Москве и Ленинграде.

Год писал роман «Белая гвардия». Роман этот я люблю больше всех других моих вещей

ПОД ПЯТОЙ¹

Мой дневник

1922 год

...Говорят, что «Яр» открылся!

Сильный мороз Отопление действует, но слабо И ночью холодно

25 января (Татьянин день).

Забросил я дневник. А жаль: за это время произошло много интересного.

[Я] до сих пор еще без места. Питаемся [с] женой плохо. От этого и писать [не] хочется. [Чер]ный хлеб стал 20 т[ысяч] фунт, белый [...] т[ысяч].

[К] дяде Коле силой, в его отсутствие [...] Москвы вопреки всяким декретам [...] вселили парочку [...]

26 января.

Вошел в бродячий коллектив актеров, буду играть на окраинах. Плата 125 за спектакль Убийственно мало Конечно, из-за этих спектаклей писать будет некогда, заколдованный круг.

Питаемся с женой впроголодь

Не отметил, что смерть Короленко сопровождалась в газетах обилием заметок. Нежности

Пил сегодня у Н. Г. водку.

9 февраля.

Идет самый черный период моей жизни Мы с женой голодаем. Пришлось взять у дядьки немного муки постного масла и картошки. У Бориса миллион Обегал всю Москву — нет места.

Валенки рассыпались. [...]

Возможно, что особняк З. заберут под детский голд[ный] дом.

Ученый проф. Ч. широкой рукой выкидывает со списков, получающих академ[ический] паек, всех акте-

¹ Отрывки из дневников 1922 — 1925 гг. Публикуются по Слово 1995. № 1 — 2, 7 — 8 (публикация В. И. Лосева)

ров, вундеркиндов (сын Мейерх[ольда] получал академическ[ий] паек!) и «ученых» типа Свердловск[ого] унив[ерситета] преподавателей. На академическом [...]

14 февраля.

Вечером на Девичьем поле в б[ывших] Женских курсах (ныне 2-й университет) был назначен суд над «Записками врача». В половине седьмого уже стояли черные толпы студентов у всех входов и ломились в них. Пришло несколько тысяч. В аудитории сло[ужен]

Верес[аев] очень некрасив, похож на пожилого еврея (очень хорошо сохранился). У него очень узенькие глаза, с набрякшими тяжелыми веками, лысина. Низкий голос. Мне он очень понравился. Совершенно другое впечатление, чем тогда на его лекции. Б[ыть] м[ожет] по контрасту с профессорами. Те ставят нудные тяжелые вопросы, Вересаев же близок к студентам, которые хотят именно жгучих вопросов и правды в их разрешении. Говорит он мало. Но когда говорит, как-то умно и интеллигентно все у него выходит.

С ним были две дамы, по-видимому, жена и дочь. Очень мила жена. [...]

15 февраля.

Погода испортилась. Сегодня морозец. Хожу на остатках подметок. Валенки пришли в негодность. Живем впроголодь. Кругом должен.

«Должность» моя в военно-редакционном совете сведется к побе[де]

[...]жения республики в пожарном отношении в катастрофическом положении. Да в каком отношении оно не в катастрофическом? Если не будет в Генуе конференции, спрашивается, что мы будем делать.

16 февраля.

Вот и не верь приметам! Встретил похороны и...
1) есть ка[жется] (место) в газете «Ра[бочий]»...

1923 год

Москва

24 (11)¹ мая.

¹ В скобках М. А. Булгаковым указана дата по старому стилю.

Давно не брался за дневник. 21 апреля я уехал из Москвы в Киев и пробыл в нем до 10-го мая. В Киеве делал себе операцию (опухоль за левым ухом). На Кавказ, как собирался, не попал. 12-го мая вернулся в Москву. И вот тут начались большие события. Советского представителя Вацлава Вацлавовича Воровского убил Конради в Лозанне. 12-го в Москве была грандиозно инсценированная демонстрация. Убийство Воровского совпало с ультиматумом Керзона России: взять обратно дерзкие ноты Вайнштейна, отправленные через английского торгового представителя в Москве, заплатить за задержанные английские рыбацкие суда в Белом море, отказаться от пропаганды на Востоке и т. д. и т. д.

В воздухе запахло разрывом и даже войной. Общее мнение, правда, что ее не будет. Да оно и понятно, как нам с Англией воевать? Но вот блокада очень может быть. Скверно то, что зашевелились и Польша, и Румыния (Фош сделал в Польшу визит). Вообще мы накануне событий. Сегодня в газетах слухи о посылке английских военных судов в Белое и Черное моря и сообщение, что Керзон и слышать не хочет ни о каких компромиссах и требует от Красина (тот после ультиматума немедленно смотался в Лондон на аэроплане) точного исполнения по ультиматуму.

Москва живет шумной жизнью, в особенности по сравнению с Киевом. Преимущественный признак — море пива выпивают в Москве. И я его пью помногу. Да вообще последнее время размотался. Из Берлина приехал граф Алексей Толстой. Держит себя распушенно и нагло. Много пьет.

Я выбился из колеи — ничего не писал 1½ месяца.

11 июля (28 июня). Среда.

Самый большой перерыв в моем дневнике. Между тем происшедшее за это время чрезвычайно важно.

Нашумевший конфликт с Англией кончился тихо, мирно и позорно. Правительство пошло на самые унижительные уступки, вплоть до уплаты денежной компенсации за расстрел двух английских подданных, которых сов[етские] газеты упорно называют шпионами.

Недавно же произошло еще более замечательное событие: патриарх Тихон вдруг написал заявление, в котором отрывается от своего заблуждения по отношению

к сов[етской] власти, объявляет, что он больше не враг ей и т. д.

Его выпустили из заключения. В Москве бесчисленные толки, а в белых газетах за границей — буря. Не верили... комментировали и т. д.

На заборах и стенах позавчера появилось воззвание патриарха, начинающееся словами: «Мы, Божьей милостью, патриарх Московский и Всея Руси...»

Смысл: советской власти он друг, белогвардейцев осуждает, но живую церковь также осуждает. Никаких реформ в церкви, за исключением новой орфографии и стиля.

Невероятная склока теперь в Церкви. Живая церковь беснуется. Они хотели п[атриарха] Тихона совершенно устранить, а теперь он выступает, служит etc.

Стоит отвратительное, холодное и дождливое лето.

Хлеб белый — 14 миллионов фунт. Червонцы (банкноты) ползут в гору и сегодня 832 миллиона.

25 июля.

Лето 1923 г. в Москве исключительное. Дня не проходит без того, чтобы не лил дождь и иногда по нескольку раз. В июне было два знаменитых ливня, когда на Неглинном провалилась мостовая и заливало мостовые. Сегодня было нечто подобное — ливень с крупным градом.

Жизнь идет по-прежнему сумбурная, быстрая, кошмарная. К сожалению, я трачу много денег на выпивки. Сотрудники «Г[удка]» пьют много. Сегодня опять пиво. Играл на Неглинном на биллиарде. «Г[удок]» два дня как перешел на Солянку во «Дворец труда», и теперь днем я расстоянием отрезан от «Нак[ануне]».

Дела литературные вялы. Книжка в Берлине до сих пор не вышла, пробиваюсь фельетонами в «Нак[ануне]» Роман из-за «Г[удка]», отнимающего лучшую часть дня, почти не подвигается.

Москва оживлена чрезвычайно. Движения все больше.

Банкнот (червонец) сегодня стал 975 милл., а золот[ой] рубль — 100. Курс Госбанка.

Здорово?

22 августа.

Месяцами я теперь не берусь за дневник и пропускаю важные события.

27 августа. Понедельник. Ночь.

Только что вернулся с лекции сменовеховцев: проф. Ключникова, Ал. Толстого, Бобрищева-Пушкина и Василевского-Не-Буква.

В театре Зимина было полным-полно. На сцене масса народу, журналисты, знакомые и прочие. Сидел рядом с Катаевым. Толстой, говоря о литературе, упомянул в числе современных писателей меня и Катаева.

Книжки «Зап[иски] на манжет[ах]» до сих пор нет.

«Гудок» изводит, не дает писать.

2 сентября. Воскресенье.

Сегодня банкноты, с Божьей помощью, 2050 руб. (2 миллиарда 50 милл.), и я сижу в долгу, как в шелку. Денег мало, будущее темновато.

Вчера приехали к нам Софочка с матерью, мужем и ребенком. Проездом в Саратов. Завтра должны уехать со скорым поездом туда, где когда-то жизнь семьи была прекрасна, теперь будет кочевье, скудость и тяжесть.

Сегодня я с Катаевым ездил на дачу к Алексею Толстому (Иваньково). Он сегодня был очень мил. Единственно, что плохо, это плохо исправимая манера его и жены богемно обращаться с молодыми писателями.

Все, впрочем, искупает его действительно большой талант.

Когда мы с Катаевым уходили, он проводил нас до плотины. Половина луны была на небе, вечер звездный, тишина. Толстой говорил о том, что надо основать нео[реальную] школу. Он стал даже немного теплым:

— Поклянемся, глядя на луну...

Он смел, но он ищет поддержки и во мне и в Катаеве. Мысли его о литературе всегда правильны и метки, порой великолепны.

Среди моей хандры и тоски по прошлому, иногда, как сейчас, в этой слепой обстановке временной тесноты, в гнусной комнате гнусного дома, у меня бывают взрывы уверенности и силы. И сейчас я слышу в себе,

как взмывает моя мысль, и верю, что я неизмеримо сильнее как писатель всех, кого я ни знаю. Но в таких условиях, как сейчас, я, возможно, пропаду.

3 сентября. Понедельник.

После ужасного лета установилась чудная погода. Несколько дней уже яркое солнце, тепло.

Я каждый день ухожу на службу в этот свой «Гудок» и убиваю в нем совершенно безнадежно свой день.

Жизнь складывается так, что денег мало, живу я, как и всегда, выше моих скромных средств. Пьешь и ешь много и хорошо, но на покупки вещей не хватает.

Без проклятого поила — пива не обходится ни один день. И сегодня я был в пивной на Страстной площади с А. Толстым, Калмен[сом] и, конечно, хромым «Капитаном», который возле графа стал как тень.

Сегодня уехали родные в Саратов.

Сегодня днем получилась телеграмма Роста: в Японии страшное землетрясение. Разрушена Иокогама, горит Токио, море хлынуло на берег, сотни тысяч погибших, императорский дворец разрушен, и судьба императора неизвестна.

И сегодня же, точно еще не знаю, мельком видел какую-то телеграмму о том, что Италия напала на Грецию.

Что происходит в мире?

Толстой рассказывал, как он начинал писать. Сперва стихи. Потом подражал. Затем взял помещичий быт и исчерпал его до конца. Толчок его творчеству дала война.

9 сентября. Воскресенье.

Сегодня опять я ездил к Толстому на дачу и читал у него свой рассказ «Диаволиада». Он хвалил, берет этот рассказ в Петербург и хочет пристроить его в журнал «Звезда» со своим предисловием. Но меня-то самого рассказ не удовлетворяет.

Уже холодно. Осень. У меня как раз безденежный период. Вчера я, обозлившись на вечные прижимки Калменса, отказался взять у него предложенные мне 500 рублей и из-за этого сел в калошу. Пришлось занять миллиард у Толстого (предложила его жена).

18 сентября. Вторник.

В своем дневнике я, отрывочно записывая происходящее, ни разу не упомянул о том, что происходит в Германии.

А происходит там вот что: германская марка катастрофически падает. Сегодня, например, сообщение в советских газетах, что доллар стоит 125 миллионов марок! Во главе правительства стоит некий Штреземан, которого сов[етские] газеты называют германским Керенским. Компартия из кожи вон лезет, чтобы поднять в Германии революцию и вызвать кашу. Радек на больших партийных собраниях категорически заявляет, что революция в Германии уже началась.

Действительно, в Берлине уже нечего жрать, в различных городах происходят столкновения. Возможное: победа коммунистов — и тогда наша война с Польшей и Францией, или победа фашистов (император в Германии etc.) и тогда ухудшение советской России. Во всяком случае, мы накануне больших событий.

Сегодня нездоров. Денег мало. Получил на днях известие о Коле (его письмо); он болен (малокровие), удручен, тосклив. Написал в «Накануне» в Берлин, чтобы ему выслали 50 франков. Надеюсь, что эта сволочь исполнит.

Сегодня у меня был А. Эрл[их], читал мне свой рассказ. Ком[орский] и Дэви. Пили вино, болтали. Пока у меня нет квартиры — я не человек, а лишь полчеловека.

25 сентября. Вторник. Утро.

Вчера узнал, что в Москве раскрыт заговор. Взятые: в числе прочих Богданов, председатель ВСНХ! И Краснощеков, председатель Промбанка! И коммунисты. Заговором руководил некий Мясников, исключенный из партии и сидящий в Гамбурге. В заговоре были некоторые фабзавкомы (металлистов). Чего хочет вся эта братия — неизвестно, но, как мне сообщила одна к[оммунистка], заговор «левый» (!) — против НЭПа!

В «Правде» и других органах начинается бряцание оружием по поводу Германии (хотя там и нет, по-видимому, надежд на революцию, т.к. штреземановское правительство сговаривается с французским). Кажется, в связи с такими статьями червонец на черной бирже

пошел уже ниже курса Госбанка
Qui vivra — verra!¹

30 (17) сентября

Вероятно, потому, что я консерватор до... «мозга костей» хотел написать, но это шаблонно, ну, словом, консерватор, всегда в старые праздники меня влечет к дневнику. Как жаль, что я не помню, в какое именно число сентября я приехал два года тому назад в Москву. Два года! Много ли изменилось за это время? Конечно, многое. Но все же вторая годовщина меня застает все в той же комнате и все таким же изнутри.

Болен я, кроме всего прочего...

Во-первых, о политике: все о той же гнусной и неестественной политике. В Германии идет все еще кутерьма. Марка, однако, начала повышаться в связи с тем, что немцы прекратили пассивное сопротивление в Руре. Но зато в Болгарии идет междоусобица. Идут бои с... коммунистами! Врангелевцы участвуют, защищая правительство.

Для меня нет никаких сомнений в том, что эти второстепенные славянские государства, столь же дикие, как и Россия, представляют великолепную почву для коммунизма.

Наши газеты всячески раздувают события, хотя, кто знает, может быть, действительно мир раскалывается на две части — коммунизм и фашизм.

Что будет — никому не известно.

Москва по-прежнему чудная какая-то клоака. Бешеная дороговизна, и уже не на эти дензнаки, а на золото. Червонец сегодня — 4000 руб. — д[ензнаки] 1923 г (4 миллиарда).

По-прежнему и даже еще больше, чем раньше, нет возможности ничего купить из одежды.

Если отбросить мои воображаемые и действительные страхи жизни, можно признаться, что в жизни моей теперь крупный дефект только один — отсутствие квартиры.

В литературе я медленно, но все же иду вперед. Это я знаю твердо. Плохо лишь то, что у меня никогда нет

¹ Поживем — увидим (фр.).

ясной уверенности, что я действительно хорошо написал. Как будто пленка какая-то застилает мой мозг и сковывает руку в то время, когда мне нужно описывать то, во что я так глубоко и по-настоящему (это-то я твердо знаю) проникаю мыслью и чувством.

5 октября. Пятница.

Во-первых, политические события.

В Болгарии начисто разбили коммунистов. Повстанцы частью перебиты, частью бежали через границу в Югославию. В числе бежавших заправила — Коларов и Дмитров. Болгарское правительство (Цанков) требует выдачи их. По совершенно точным сообщениям, доконали большевиков (поскольку, конечно, верно, что повстанцы большевики) Врангель с его войсками.

В Германии, вместо ожидавшейся коммунистической революции, получился явный и широкий фашизм. Кабинет Штресемана подал в отставку, составляется деловой кабинет. Центр фашизма в руках Кара, играющего роль диктатора, и Гитлера, составляющего какой-то «Союз». Все это в Баварии, из которой, по-видимому, может вылезти в один прекрасный день кайзер. Марка, однако, продолжает падать. Сегодня в «Известиях» официальный курс доллара 440 миллионов марок, а неофициальный — 500.

В «Изв[е]стиях» же передовая Виленского-Сибирякова о том, что всюду неспокойно и что белогвардейцы опять ухватились за мысль об интервенции. Письмо Троцкого к артиллерийским частям Зап[адно]-Сибирск[ого] округа еще красочнее. Там он прямо говорит, что, в случае чего, «он рассчитывает на красноармейцев, командиров и политработников»...

В Японии продолжаются толчки. На о[строве] Фор-мозе было землетрясение.

Что только происходит в мире!

18(5) октября. Четверг. Ночь.

Сегодня берусь за мой дневник с сознанием того, что он важен и нужен.

Теперь нет уже никаких сомнений в том, что мы стоим накануне грандиозных и, по всей вероятности, тяжких событий. В воздухе висит слово «война». Второй день, как по Москве расклеен приказ о призыве моло-

дых годов (последний — 1898 г.). Речь идет о так называемом «территориальном сборе». Дело временное, носит характер учебный, тем не менее вызывает вполне понятные слухи, опасения, тревогу...

Сегодня Константин приехал из Петербурга. Никакой поездки в Японию, понятное дело, не состоится, и он возвращается в Киев. Конст[антин] рассказывал, что будто бы в Петербургском округе призван весь командный состав 1890 года! В Твери и Клину расклеены приказы о территориальном обучении. Сегодня мне передавал ..., что есть еще более веские признаки войны. Будто бы журн[ал] «Крок[одил]» собирается на фронт.

События же вот в чем. Не только в Германии, но уже и в Польше происходят волнения. В Германии Бавария является центром фашизма, Саксония — коммунизма. О, конечно, не может быть и речи о том, чтобы это был коммунизм нашего типа, тем не менее в саксонском правительстве три министра-коммуниста — Геккерт, Брандлер и Бехтер. Заголовки в «Известиях» — «Кровавые столкновения в Берлине», «Продовольственные волнения» и т. д. Марка упала невероятно. Несколько дней назад доллар стоил уже несколько миллиардов марок! Сегодня нет телеграммы о марке — вероятно, она стоит несколько выше.

В Польше, по сообщению «Известий», забастовка горнорабочих, вспыхнувшая в Домбровском районе и распространившаяся на всю (?) страну. Террор против рабочих организаций и т. д.

Возможно, что мир, действительно, накануне генеральной схватки между коммунизмом и фашизмом.

Если развернутся события, первое, что произойдет это война большевиков с Польшей.

Теперь я буду вести записи аккуратно.

В Москве несколько дней назад произошел взрыв пороха в охотничьем магазине на Неглинном. Катастрофа грандиозна. С разрушением дома и обильными жертвами.

Сегодня был у доктора, посоветоваться насчет боли в ноге. Он меня очень опечалил, найдя меня в полном беспорядке. Придется серьезно лечиться. Чудовищнее всего то, что я боюсь слечь, потому что в милом ор-

гане, где я служу, под меня подкапываются и безжалостно могут меня выставить.

Вот, черт бы их взял.

Червонец, с Божией помощью, сегодня 5500 рублей (5¹/₂ миллиардов). Французская булка стоит 17 миллионов, фунт белого хлеба — 65 миллионов. Яйца, десяток, вчера стоили 200 рублей. Москва шумна. Возобновил маршруты трамвай № 24 (Остоженка).

О «Записках на манжетах» ни слуху ни духу. По-видимому, кончено.

19 октября. Пятница. Ночь.

На политическом горизонте то же — изменений резких нет.

Сегодня вышел гнусный день. Род моей болезни таков, что, по-видимому, на будущей неделе мне придется слечь. Я озабочен вопросом, как устроить так, чтобы в «Г[удке]» меня не сдвинули за время болезни с места. Второй вопрос, как летнее пальто жены превратить в шубу.

День прошел сумбурно, в беготне. Часть этой беготни была затрачена (днем и вечером) на «Трудовую копейку». В ней потеряли два моих фельетона. Возможно, что Кольцов (редактор «Копейки») их забраковал. Я не мог ни найти оригиналы, ни добиться ответа по поводу их. Махнул в конце концов рукой.

Завтра Гросс (редактор фин[ансового] отд[ела] «К[опейки]») даст мне ответ по поводу фельетона о займе и, возможно, 3 червонца.

Вся надежда на них.

«Н[акануне]» в этот последний период времени дает мне мало (там печатается мой фельетон в 4-х номерах о выставке). Жду ответа из «Недр» насчет «Диаволиады».

В общем, хватает на еду и мелочи, а одеться не на что. Да, если бы не болезнь, я бы не страшился за будущее.

Итак, будем надеяться на Бога и жить. Это единственный и лучший способ.

Поздно вечером заходил к дядькам. Они стали милее. Д[ядя] Миша читал на днях мой последний рассказ «Псалом» (я ему дал) и расспрашивал меня сегодня, что я хотел сказать и т.д. У них уже больше вни-

мания и понимания того, что я занимаюсь литературой.

Начинается дождливое, слякотное время осени.

22 октября. Понедельник. Ночь.

Сегодня в «Изв[естиях]» помещена речь Троцкого, которую он на днях произнес на губернском съезде металлистов.

Вот выдержки из нее:

«...Германская коммунистическая партия растет из месяца в месяц.

...В Германии наметились два плацдарма предстоящих боев: фашистская Бавария и пролетарские Саксония и Тюрингия...

...Вообще раскачка идет в Германии во все стороны со дня на день и с часа на час.

...Мы подошли к открытой борьбе...

...Уже теперь некоторые нетерпеливые товарищи говорят, что война с Польшей неизбежна. Я этого не думаю, наоборот, есть много данных за то, что войны с Польшей не будет...

...Мы войны не хотим...

...Война — это уравнение со многими неизвестными...

...Физической помощи германской революции не надо...»

В общем, как видно, будущее туманно.

Сегодня на службе в «Г[удке]» произошел замечательный корявый анекдот. «Инициативная группа беспартийных» предложила собрание по вопросу о помощи германскому пролетариату. Когда Н... открыл собрание, явился комм[унист] Р. и волнуясь, и угрожающе заявил, что это неслыханно, чтобы беспартийные собирали свои собрания! Что он требует закрыть заседание и собрать общее. Н..., побледнев, сослался на то, что это с разрешения ячейки.

Дальше пошло просто. Беспартийные, как один, голосовали, чтобы партийцы пригласили партийных и говорили ластивые слова. Партийные явились и за это вынесли постановление, что они дают вдвое больше беспартийных (беспартийные — однодневный, партийные — двухдневный заработок), наплевав, таким образом, беспартийным ослам в самую физиономию.

Когда голосовали, кого выбрать в редакционную ко-

миссию, дружно предложили меня. И. Кочетков встал и сейчас же предложил другой состав. Чего он на меня въездается — не знаю.

«Территориальные сборы», кажется, смахивают на обыкновеннейшую мобилизацию. По крайней мере, портниха Тоня, что принесла мне мерить блузу, сообщила, что 1903-й год пошел в казармы на 1,5 года.

Я ее спросил, с кем будем воевать. Она ответила:
— С... Германией. С немцами опять будем воевать (!!!!).

Червонец — 6200 — 6350!

Слякоть. Туманно слегка.

26 октября. Пятница. Вечер.

Я нездоров, и нездоровье мое неприятное, потому что оно может вынудить меня лечь. А это в данный момент может повредить мне в «Г[удке]». Поэтому и расположение духа у меня довольно угнетенное.

Сегодня я пришел из «Г[удка]» рано. Днем лежал. По дороге из «Г[удка]» заходил в «Недра» к П. Н. Зайцеву. Повесть моя «Диаволиада» принята, но не дают больше, чем 50 руб. за лист. И денег не будет раньше следующей недели. Повесть дурацкая, ни к черту не годная. Но Вересаеву (он один из редакторов «Недр») очень понравилась.

В минуты нездоровья и одиночества предаюсь печальным и завистливым мыслям. Горько раскаиваюсь, что бросил медицину и обрек себя на неверное существование. Но, видит Бог, одна только любовь к литературе и была причиной этого.

Литература теперь трудное дело. Мне с моими взглядами, волей-неволей выливающимися в произведениях, трудно печататься и жить.

Нездоровье же мое при таких условиях тоже в высшей степени не вовремя.

Но не будем унывать. Сейчас я просмотрел «Последнего из Могикан», которого недавно купил для своей библиотеки. Какое обаяние в этом старом сентиментальном Купере! Тип Давида, который все время распевает псалмы, и навел меня на мысль о Боге.

Может быть, сильным и смелым он не нужен, но таким, как я, жить с мыслью о нем легче. Нездоровье

мое осложненное, затяжное. Весь я разбит. Оно может помешать мне работать, вот почему я боюсь его, вот почему я надеюсь на Бога.

Сегодня, придя домой, ждал возвращения Таси (у нее ключи) у соседа пекаря. Он заговаривал на политические темы. Поступки власти считает жульническими (облигации etc.). Рассказал, что двух евреев комиссаров в Краснопресненском совете избили явившиеся на мобилизацию за наглость и угрозы наганом. Не знаю, правда ли. По словам пекаря, настроение мобилизованных весьма неприятное. Он же, пекарь, жаловался, что в деревнях развивается хулиганство среди молодежи. В голове у малого то же, что и у всех — себе на уме, прекрасно понимает, что б[ольшевики] жулики, на войну идти не хочет, о международном положении никакого понятия.

Дикий мы, темный, несчастный народ.

Червонец — 6500 руб. Утешаться можем маркой: один доллар — 69 миллиардов марок. В Гамбурге произошли столкновения между рабочими и полицией. Побили рабочих. Ничего подобного нашему в Германии никогда не будет. Это общее мнение Л[идин], приехавший из Берлина, по словам Сок[олова]-М[икитова], которого я видел сегодня в «Накануне», утверждает, что в «Известиях» и «Правде» брехня насчет Германии.

Это несомненно так.

Интересно: Сок[олов]-М[икитов] подтвердил мое предположение о том, что Ал. Др[оздов] — мерзавец. Однажды он в шутку позвонил Др[оздову] по телефону, сказал, что он Марков 2-й, что у него есть средства на газету, и просил принять участие. Дроздов радостно рассыпался в полной готовности. Это было перед самым вступлением Др[оздова] в «Накануне».

Мои предчувствия относительно людей никогда меня не обманывают. Никогда. Компания исключительной сволочи группируется вокруг «Накануне». Могу себя поздравить, что я в их среде. О, мне очень туго придется впоследствии, когда нужно будет соскребать накопившуюся грязь со своего имени. Но одно могу сказать с чистым сердцем перед самим собою. Железная необходимость вынудила меня печататься в нем. Не будь «Накануне», никогда бы не увидели света ни «Записки на манжетах», ни многое другое, в чем я могу

правдиво сказать литературное слово. Нужно было быть исключительным героем, чтобы молчать в течение четырех лет, молчать без надежды, что удастся открыть рот в будущем. Я, к сожалению, не герой.

Но мужества во мне теперь больше, о, гораздо больше, чем в 21-м году. И если б не нездоровье, я бы тверже смотрел в свое туманное черное будущее.

От Коли нет письма. С Киевом запустил переписку безнадежно.

27 октября. Суббота. Вечер.

Вечером разлилось зарево. Я был в это время в Староконюшенном переулке. Народ высказывал, смотрел. Оказалось — горит выставка.

После Староконюшенного, от доктора, забежал на Пречистенку. Разговоры обычные, но уже с большим оттенком ярости и надежды.

В душе — сумбур. Был неприятно взволнован тем, что, как мне показалось, доктор принял меня сухо. Взволнован и тем, что доктор нашел у меня улучшение процесса. Помогите мне, Господи.

Сейчас смотрел у Семы гарнитур мебели, будуарный, за очень низкую плату — 6 червонцев. Решили с Тасей купить, если согласятся отсрочить платеж до следующей недели. Завтра это выяснится. Иду на риск — на следующей неделе в «Недрах» должны уплатить за «Диаволиаду»

29 октября. Понедельник. Ночь.

Сегодня впервые затопили. Я весь вечер потратил на замазывание окон. Первая топка ознаменовалась тем, что знаменитая Аннушка оставила на ночь окно в кухне настежь открытым. Я положительно не знаю, что делать со сволочью, что населяет эту квартиру.

У меня в связи с болезнью тяжелое нервное расстройство, и такие вещи меня выводят из себя.

Новая мебель со вчерашнего дня у меня в комнате. Чтобы в срок уплатить, взял взаймы у М... 5 червонцев.

Сегодня вечером были М[итя] Ст[онов] и Гайд[овский], приглашали сотрудничать в журнале «Город и деревня». Потом Андрей. Он читал мою «Диаволиаду»

Говорил, что у меня новый жанр и редкая стремительная фабула.

На выставке горел только павильон Моссельпрома и быстро был потушен. Полагаю, что это несомненный поджог.

6 ноября (24 октября). Вторник. Вечер.

Недавно ушел от меня Коля Г[ладыревский], он лечит меня. После его ухода я прочел плохо написанную, бездарную книгу Мих. Чехова о его великом брате. И читаю мастерскую книгу Горького «Мои университеты».

Теперь я полон размышления и ясно как-то стал понимать — нужно мне бросить смеяться. Кроме того — в литературе вся моя жизнь. Ни к какой медицине я никогда больше не вернусь. Несимпатичен мне Горький как человек, но какой это огромный, сильный писатель и какие страшные и важные вещи говорит он о писателе.

Сегодня, часов около пяти, я был у Лежнева, и он сообщил мне две важные вещи: во-первых, о том, что мой рассказ «Псалом» (в «Накануне») великолепен, «как миниатюра» («я бы его напечатал»), и 2-е, что «Нак[ануне]» всеми презираемо и ненавидимо. Это меня не страшит. Страшат меня мои 32 года и брошенные на медицину годы, болезни и слабость. У меня за ухом дурацкая опухоль... уже два раза оперированная. Из Киева писали начать рентгенотерапию. Теперь я боюсь злокачественного развития. Боюсь, что шалая, обидная, слепая болезнь прервет мою работу. Если не прервет, я сделаю лучше, чем «Псалом».

Я буду учиться теперь. Не может быть, чтобы голос, тревожащий сейчас меня, не был вещим. Не может быть. Ничем иным я быть не могу, я могу быть одним — писателем.

Посмотрим же и будем учиться, будем молчать.

1924 год

8 января.

Сегодня в газетах: бюллетень о состоянии здоровья Л. Д. Троцкого.

Начинается словами: «Л. Д. Троцкий 5-го ноября прошлого года болел инфлуэнцией...», кончается: «отпуск с полным освобождением от всяких обязанностей, на срок не менее 2-х месяцев». Комментарии к этому историческому бюллетеню излишни.

Итак, 8-го января 1924 г. Троцкого выставили. Что будет с Россией знает один Бог. Пусть он ей поможет!

Сегодня вечер у Бориса. Мы только что вернулись с женой. Было очень весело. Я пил вино, и сердце мое не болит.

Червонец — 3,6 миллиарда...

22 (9) января.

Сейчас только что (пять с половиною часов вечера) Семка сообщил, что Ленин скончался. Об этом, по его словам, есть официальное сообщение.

25 февраля. Понедельник.

Сегодня вечером получил от Петра Никаноровича свежий номер «Недр». В нем моя повесть «Диаволиада». Это было во время чтения моего — я читал куски из «Белой гвардии» у Веры Оскаровны З.

По-видимому, и в этом кружке производило впечатление. В[ера] О[скаровна] просила продолжать у нее же.

Итак, впервые я напечатан не на газетных листах и не в тонких журналах, а в книге — альманахе. Да-с. Скольких мучений стоит! Скольких?

«Записки на манжетах» похоронены.

15 апреля. Вторник.

Злобой дня до сих пор является присланная неделю назад телеграмма Пуанкаре советскому правительству. В этой телеграмме Пуанкаре позволил себе вмешаться в судебное разбирательство по делу Киевского областного «центра действия» (контрреволюционная организация) и серьезно просит не выносить смертных приговоров.

В газетах приводятся ответы и отклики на эту телеграмму киевских и иных профессоров. Тон их холуйский. Происхождение их понятно.

В газетах травля проф. Головина (офтальмолога) — он в обществе офтальмологов ухитрился произнести черносотенную речь.

Сегодня в «Г[удке]» кино снимало сотрудников. Я

ушел, потому что мне не хочется сниматься.

В Москве многочисленные аресты лиц с «хорошими» фамилиями. Вновь высылки. Был сегодня Д.К[исельгоф]. Тот, по обыкновению, полон фантастическими слухами. Говорит, что будто по Москве ходит манифест Николая Николаевича. Черт бы взял всех Романовых! Их не хватало.

Идет кампания перевыборов правлений жилищных товариществ (буржуев выкинуть, заменить рабочими). Единственный дом, где этого нельзя сделать, — наш. В правлении ни одного буржуя. Заменять некого.

Весна трудная, холодная. До сих пор мало солнца.

16 апреля. Среда. Ночь.

Только что вернулся из Благородного Собрания [ныне Дом союзов], где было открытие съезда железнодорожников. Вся редакция «Гудка», за очень немногими исключениями, там. Я в числе прочих назначен править стенограмму.

В круглом зале, отделенном портьерой от Колонного зала, бил треск машинок, свет люстр, где в белых матовых шарах горят электрические лампы. Калинин, картававший и сутуловатый, в синей блузе, выходил, что-то говорил. При свете ослепительных киноламп вели киносъемку во всех направлениях.

После первого заседания был концерт. Танцевал Мордкин и балерина Кригер. Мордкин красив, кокетлив. Пели артисты Большого театра. Пел в числе других Виктор — еврей — драматический тенор с отвратительным, пронзительным, но громадным голосом. И пел некий Головин, баритон из Большого театра. Оказывается, он бывший дьякон из Ставрополя. Явился в Ставропольскую оперу и через три месяца пел Демона, а через год-полтора оказался в Большом. Голос его бесподобен.

17 апреля. Четверг.

В 7^{1/2} часов вечера на съезде появился Зиновьев. Он быстро прошел круглый зал, с наигранной скромностью справляясь, где раздеться, прошел в комнату президиума, там разделся и поднялся на трибуну. Его встретили аплодисментами, прервавшими предыдущего оратора, который что-то мямлил. Опять засветили

юпитера и его снимали. Возможно, что в фокус попал и я.

Он говорил долго, часть его речи я слышал. Говорил он о международном положении, причем ругал Макдональда, а английских банкиров называл торгашами. Речь его интересна. Говорит он с шуточками, рассчитанными на вкус этой аудитории.

Одет в пиджачок, похож на скрипача из оркестра. Голос тонкий, шепелявит, мало заметен акцент.

Из его речи можно понять одно: по-видимому, теперешняя конференция в Лондоне сорвется. Англичане требуют реституции собственности, отнятой у иностранцев, независимых судов, отказа от пропаганды.

21 июля. Понедельник.

Появились медные пятаки. Появились полтинники. Тщетно пытался их «копить». Расходятся, и ничего с ними не сделаешь! Вообще прилив серебра, в особенности это заметно в магазинах Моссельпрома — там дают в сдачу много серебра.

Вечером, по обыкновению, был у Любви Евгеньевны и «Деиньки». Сегодня говорили по-русски — о всякой чепухе. Ушел я под дождем грустный и как бы бездомный.

Приехали из Самары И[льф] и Ю[рий] О[леша]. В Самаре два трамвая. На одном надпись «Площадь Революции — Тюрма», на другом — «Площадь Советская — Тюрма» Что-то в этом роде. Словом, все дороги ведут в Рим!

В Одессе барышню спросили:

— Подвергались ли вы вычистке?

Она ответила:

— Я девица.

С Ол[ешей] все-таки интересно болтать. Он едок, остроумен.

25 июля. Пятница.

Ну и выдался денек! Утро провел дома, писал фельетон для «Красного перца». А затем началось то, что приходится проделывать изо дня в день, не видя впереди никакого просвета — бегать по редакциям в поисках денег. Был у наглейшего Фурмана, представителя газеты «Заря Востока». Оттуда мне вернули два фелье-

тона. Больших трудов стоило у Фурмана забрать назад рукопись — не хотел отдавать, т. к. за мною 20 рублей. Пришлось написать ему расписку, что верну эти деньги не позже 30-го числа. Дальше: один из этих фельетонов и тот, что утром написал, сдал в «Красный перец». Уверен, что забракуют. Дальше: вечером Свэн забраковал фельетон в «Занозе». Был я у него на квартире и кой-как удалось у него получить записку на 20 рублей, на завтра. Кошмарное существование.

В довершение всего днем позвонил Лежневу по телефону, узнал, что с Каганским пока можно и не вести переговоров относительно выпуска «Белой гвардии» отдельной книгой, так как у того денег пока нет. Это новый сюрприз. Вот тогда не взял 30 червонцев, теперь могу каяться. Уверен, что «Гвардия» останется у меня на руках.

Словом — черт знает, что такое.

Поздно, около 12, был у Л[юбови] Е[вгеньевны].

2 августа. Суббота.

Вчера получилось известие, что в экипаж Калинина (он был в провинции где-то) ударила молния. Кучер убит, Калинин совершенно невредим.

Сегодня состоялась демонстрация по случаю десятилетия «империалистической» войны. Я не был. Возвращаясь из «Гудка», видел, как к Страстной площади шли служащие милиции в форме и штатские. Впереди оркестр. Распоряжались порядком верховые в кепках, с красными нарукавниками — повязками. Двух видел — у обоих из-под задравшихся брюк торчат завязки подштанников.

Лавочник Ярославцев выпустил, наконец, свой альманах «Возрождение». В нем I часть «Записок на манжетах», сильно искаженная цензурой.

С. рассказывал, что полк ГПУ ушел на демонстрацию с оркестром, который играл «Это девушки все обожают».

4 августа. Понедельник.

Знаменитый сатирический журнал «Красный перец» отличился несколько раз. В частности, в предпоследнем своем номере, где он выпустил рисунок под надписью «Итоги XIII съезда» (толстую нэпманшу шнурует гор-

ничная, и нэпманша говорит приблизительно так: «Что ты душишь меня, ведь и XIII съезд нас только ограничил». Что-то в этом роде). В московском комитете партии подняли гвалт. Кончилось все это тем, что прихлопнули и «Красный перец», и сестру его «Занозу». Вместо них выйдет один тощий журнал. Поручено выпустить некоему Верхотурскому (кажется, редактор «Рабочей Москвы»). Сегодня был на заседании, обсуждавшем первые темы и название нового журнала. Крутой поворот влево: журнал должен быть рабочим и с классово-производственным заглавием. Тщетно Св[эн] отстаивал кем-то предложенное название «Петрушка». Назовут «Тиски», или «Коловорот», или как-нибудь в этом роде. Когда обсуждали первую тему, предложенную Кот. для рисунка «европейское равновесие» (конечно, жонглер и т.д.), Верхотурский говорил:

— Да. А вот хорошо бы, чтобы при этом на заднем плане были видны рабочие, которые войдут и весь этот буржуазный цирк разрушат.

Мельком сегодня в «Гудке» видел Еремеева, бывшего редактора «Рабочей газеты». Он преобразился в моряка. На темной куртке масса красных нашивок. Он будет редактировать «Смехач», а Св[эн] будет его помощником.

6 августа. Среда.

Сегодня в газетах сообщение о том, что англо-советская конференция лопнула. Сообщение написано в сухих официальных словах: «...разрыв произошел на вопросе об удовлетворении претензий бывших частных собственников»... «так как выяснилось, что по вопросу о бывших крупных собственниках соглашения достигнуть невозможно, конференция была объявлена закрытой».

Finita, как говорится, la comedia. Интересно было бы знать, сколько времени «Союз социалистич[еских] республик» просуществует в таком положении.

9 августа. Суббота.

По Москве пошли автобусы. Маршрут: Тверская — Центр — Каланчевская. Пока их только несколько штук. Очень хороши. Массивны и в то же время изящны. Окраска коричневая, а рамы (они застеклены) желтые. Одноэтажные, но огромные.

Сегодня...

[Текст (часть листа) оборван.]

Кажется (я не читал газеты), подписано англо-советское соглашение.

Новый анекдот: будто по-китайски «еврей» — «там». Там-там-там-там (на мотив «Интернационала») означает «много евреев».

16 августа. Суббота. Ночь.

Оказывается, в эти дни Раковский [обрыв текста]... но последние сообщения показывают, что в Англии началась сильная кампания против такого договора и, возможно, что его не ратифицирует парламент.

Сообщение о договоре явилось неожиданным — телеграфировали о разрыве, а потом — сообщение о подписании.

В Англии пишут то, что должно бы выходить по здравому английскому смыслу — нельзя же дать большевикам деньги, когда эти большевики только и мечтают, что о разрушении Англии! Резон.

Доиграются англичане!

Подписали договор Понсонби и Макдональд.

[...] каламбур — понсонбие (пособие). Каламбур неизвестно чей.

Понсонби — пособи.

Вчера неясное сообщение о восстании в Афганистане, поддержанном «английскими агентами».

Сегодня приехала Галя С[ынгаевская]. Деваться ей некуда. Татьяна пока пристроила ее почевать у Зины К[оморской]. Кормить буду я. У девочки, говорят, исключительные способности танцовщицы.

Понес в «Современник» отрывок «Бел[ой] гвард[ии]». Вероятно, не возьмут.

Сегодня в изд[ательстве] Ф[ренкеля], где пишет Любовь Евгеньевна на машинке, даже некий еврей служащий говорил, что брошюрки, затеянные И. М. Васил[евским] («Люди революции»), работа не того...

Писать «Дзержинского» будет Блюмкин. Тот самый изумительный убийца (якобы) посла Мирбаха.

Наглец.

23 августа. Суббота.

Консервативная английская печать ведет энергичную кампанию против англо-советского договора, и

есть основание полагать, что парламент [обрыв текста]...

Хотя я вовсе и не претендую на роль ментора, по нужно бы прекратить разговоры в коридоре... рабкоры приезжают... они смотрят на газету, как на святая святых...

Я настолько привык, что такие выходки не производят на меня впечатления.

Ол[еша] показал мне рецензии в «Звезде». Сказано: «написано с большим юмором» (это по поводу [«Дьяволиады»]) [обрыв текста]... Москва пыльна, мажется, ремонтирует.

В Кисловском переулке начали достраивать тот самый грандиозный дом, который я зимой осматривал для «Гудка». Видно, не рухнет!

На улицах торгуют на всех углах книгой Лемке «250 дней в ставке», кричат:

— «Тайны дома Романовых».

26 августа. Вторник.

Сегодня день пропал на Кубуч. Был на приеме у проф. Мартынова по поводу моей гнусной опухоли за ухом. Он говорит, что в злокачественность ее не верит, и назначил рентген. Вечером мельком видел N., а затем попал к С[...]у и вечер просидел у него.

28 августа. Четверг.

Сейчас (около 12 ч. ночи) заходила Л[юбовь] Е[вгеньена], говорила, что в пределах России арестован Борис Савинков. Приехал будто бы для террористического акта.

29 августа. Пятница.

Ничего нельзя понять в истории с Савинковым. Правительственное сообщение сегодня изумительно. Оказывается, его уже судили (в Москве) и приговорили к смерти, но ввиду того, что он раскаялся и признал советскую власть, суд просил ЦИК о смягчении участи.

Написано, что поймали Савинкова с Ч[...].

3 сентября. Среда.

В Китае происходит какой-то кавардак. Против главы южного (левого) правительства Сун-Ят-Сена восстали контрреволюционные силы, поддерживаемые англичанами.

Был у писателя Лидина. У него взяли комнату на учет. Он агентам [Муни] сказал:

— Где же я буду писать?

Ответили:

— Здесь пишите.

И Лидин рассказал, что один гражданин обвенчался с барышней, с которой встретился случайно на улице, чтобы только она въехала в его комнату. Второго такого я знаю сам — еврей Раввинов просил сегодня (в магазине «Радуга»), чтобы ему рекомендовали какую угодно женщину. Немедленно венчается с ней в Загсе и даже ужином будет кормить, лишь бы въехала (комната более 16 аршин).

12 сентября. Пятница.

Яркий солнечный день.

Новость: на днях в Москве появились совершенно голые люди (мужчины и женщины) с повязками через плечо «Долой стыд». Влезали в трамвай. Трамвай останавливали, публика возмущалась.

В Китае гремит гражданская война. Не слежу за газетами в этой области, знаю лишь, что «империалистические хищники» замешаны в этом деле, и поэтому в Одессе (!) образовалось общество «Руки прочь от Китая».

26 сентября. Пятница.

Только что вернулся из Большого театра с «Аиды», где был с Л[юбовью] Е[вгеньевной]. Тенор Викторов невероятно кричит. Весь день в поисках денег для комнаты с Л[юбовью] Е[вгеньевной]. Заняли под расписку у Е[вгения] Н[икитича].

В Москве несколько дней солнце, тепло. Из Петербурга до сих пор подробности наводнения, которое поразило великий и злосчастный город несколько дней назад. Оно почти равно наводнению 1824 года.

12 октября. Воскресенье.

Сейчас хоронят В. Я. Брюсова. У Лит[ературно]-художественного института его имени на Поварской стоит толпа в колоннах. Ждут лошади с красными султанами. В колоннах интеллигенция и полуинтеллигенция. Много молодежи — коммунист[ически]-рабфаковского — мейерхольдовского типа.

18 октября. Суббота.

Я по-прежнему мучаюсь в «Гудке». Сегодня день потратил на то, чтобы получить 100 рублей в «Недрах». Большие затруднения с моей повестью-гротеском «Рокковые яйца». Ангарский подчеркнул мест 20, которые надо по цензурным соображениям изменить. Пройдет ли цензура? В повести испорчен конец, [потому] ч[то] писал я ее наспех.

Вечером был в опере Зимина (ныне Экспериментальный театр) и видел «Севильского цирюльника» в новой постановке. Великолепно. Стены ходят, бегают мебель.

В ночь с 20 на 21 декабря.

Опять я забросил дневник. И это, к большому сожалению, потому что за последние два месяца произошло много важнейших событий. Самое главное из них, конечно — раскол в партии, вызванный книгой Троцкого «Уроки Октября», дружное нападение на него всех главарей партии во главе с Зиновьевым, ссылка Троцкого под предлогом болезни на юг и после этого — затишье. Надежды белой эмиграции и внутренних контрреволюционеров на то, что история с троцкизмом и ленинизмом приведет к кровавым столкновениям или перевороту внутри партии, конечно, как я и предполагал, не оправдались. Троцкого съели, и больше ничего.

Анекдот:

— Лев Давыдыч, как ваше здоровье?

— Не знаю, я еще не читал сегодняшних газет.

(Намек на бюллетень о его здоровье, составленный в совершенно смехотворных тонах.)

Из Англии нас поперли с треском. Договор разорван, и консервативная партия вновь ведет непримиримую экономическую и политическую войну с СССР.

Чемберлен — министр иностранных дел.

Знаменитое письмо Зиновьева, содержащее в себе недвусмысленные призывы к возмущению рабочих и войск в Англии, — не только министерством иностранных дел, но и всей Англией, по-видимому, безоговорочно признано подлинным. С Англией покончено.

Тупые и медленные бритты хоть и с опозданием, но все же начинают соображать о том, что в мосье Раковском и курьерах, приезжающих с запечатанными паке-

тами, таится некая весьма грозная опасность разложения Британии. Теперь очередь французов. Мосье Красин с шиком поднял на Rue de Grenelle красный флаг на посольстве. Вопрос ставится остро и ясно: или Красин со своим полпредством развеет бешеную пропаганду во Франции и одновременно с этим постарается занять у французов денег, или французы раскусят, что сулит флаг с серпом и молотом в тихом квартале Парижа... Вернее второе. В прессе уже началась бешеная кампания не только против большевиков московских и парижских, но и против французского премьера Эррио, который этих большевиков допустил в Париж. У меня нет никаких сомнений, что он еврей. Л[юба] мне это подтвердила, сказав, что она разговаривала с людьми, лично знающими Эррио. Тогда все понятно.

Приезд monsieur. Красина ознаменовался глупейшей в «style russe» историей: полоумная баба, не то журналистка, не то эротоманка, с револьвером приходила к посольству Красина — стрелять. Полицейский инспектор ее немедленно забрал. Ни в кого она не стреляла, и вообще это мелкая, сволочная история. Эту Диксон я имел удовольствие встречать не то в 22-м, не то в 23-м году в милой редакции «Накануне» в Москве, в Гнездиновском переулке. Толстая, совершенно помешанная баба. Выпустил ее за границу реге Луначарский, которому она осточертела своими приставами.

В Москве событие — выпустили 30° водку, которую публика с полным основанием назвала «рыковкой». Отличается она от царской водки тем, что на десять градусов она слабее, хуже на вкус и в четыре раза ее дороже. Бутылка ее стоит 1 р. 75 коп. Кроме того, появился в продаже «Коньяк Армении», на котором написано 31°. (Конечно, Шустовской фабрики.) Хуже прежнего, слабей, бутылка его стоит 3 р. 50 коп[ей].

Москва после нескольких дней мороза тонет в оттепельной грязи. Мальчишки на улицах торгуют книгой Троцкого «Уроки Октября», которая шла очень широко. Блистательный трюк: в то время как в газетах печатаются резолюции с преданием Троцкого анафеме. Госиздат великолепно продал весь тираж. О, бессмертные еврейские головы. Положим, ходили, правда, слухи, что Шмидта выгнали из Госиздата именно за напечатание

этой книги, и только потом сообразили, что конфисковать ее нельзя, еще вреднее, тем более, что публика, конечно, ни уха ни рыла не понимает в этой книге и ей глубоко все равно — Зиновьев ли, Троцкий ли, Иванов ли, Рабинович. Это «спор славян между собой».

Москва в грязи, все больше в огнях — и в ней странным образом уживаются два явления: налаживание жизни и полная ее гангрена. В центре Москвы, начиная с Лубянки, Водоканал сверлил почву для испытания метрополитена. Это жизнь. Но метрополитен не будет построен, потому что для него нет никаких денег. Это гангрена. Разрабатывают план уличного движения. Это жизнь. Но уличного движения нет, потому что не хватает трамваев, смехотворно — 8 автобусов на всю Москву. Квартиры, семьи, ученые, работа, комфорт и польза — все это в гангрене. Ничто не двигается с места. Все съела советская канцелярская, адова пасть. Каждый шаг, каждое движение советского гражданина — это пытка, отнимающая часы, дни, а иногда месяцы. Магазины открыты. Это жизнь, но они прогорают, и это гангрена. Во всем так. Литература ужасна.

Около двух месяцев я уже живу в Обуховом переулке в двух шагах от квартиры К., с которой у меня связаны такие важные, такие прекрасные воспоминания моей юности: и 16-й год и начало 17-го. Живу я в какой-то совершенно неестественной хибарке, но, как это ни странно, сейчас я чувствую себя несколько более «определенно». Объясняется это [обрыв текста]...

23 декабря. Вторник. Ночь на 24-е.

Сегодня по новому стилю 23, значит, завтра сочельник. У храма Христа продаются зеленые елки. Сегодня я вышел из дома очень поздно, около двух часов дня, во-первых, мы с женой спали, как обычно, очень долго. Разбудил нас в половине первого В[асилевский], который приехал из Петербурга. Пришлось опять отпустить их вдвоем по делам. Ушел я, впрочем, равномерно, потому что мой путь теперь совершенно прямая [линия]. Последнюю запись в дневнике я диктовал моей жене и окончил запись шуточно. Так вот, еще в предыдущей записи я хотел сказать об этой прямой. Утешил меня очень разговор в парикмахерской. Брила меня девочка-

мастерица. Я ошибся в ней, ей всего 17 лет, и она дочь парикмахера. Она сама заговорила со мной, и почему-то в пречистенских тихих зеркалах при этом разговоре был большой покой.

Для меня всегда наслаждение видеть Кремль. Утешил меня Кремль. Он мутноват. Сейчас зимний день. Он всегда мне мил.

На службе меня очень беспокоили, и часа три я провел безнадежно (у меня сняли фельетон). Все накопление сил. Я должен был еще заехать в некоторые места, но не заехал, потому что остался почти до пяти часов в «Гудке», причем Р. О. Л., при Ароне, при П[отоцком] и еще кто-то был — держал речь обычную и заданную мне, — о том, каким должен быть «Гудок». Я до сих пор не могу совладать с собой. Когда мне нужно говорить и сдерживать болезненные арлекинские жесты. Во время речи хотел взмахивать обеими руками, но взмахивал одной правой, и вспомнил вагон в январе 20-го года и фляжку с водкой на сером ремне, и даму, которая жалела меня за то, что я так страшно дергаюсь. Я смотрел на лицо Р. О. и видел двойное видение. Ему говорил, а сам вспоминал... Нет, не двойное, а тройное. Значит, видел Р. О., одновременно — вагон, в котором я поехал не туда, куда нужно, и одновременно же — картину моей контузии под дубом и полковника, раненного в живот.

Бессмертье — тихий светлый брег..
Наш путь — к нему стремленье.
Покойся, кто свой кончил бег
Вы, странники терпенья..

Чтобы не забыть и чтобы потомство не забыло, записываю, когда и как он умер. Он умер в ноябре 19-го года во время похода за Шали-Аул, и последнюю фразу сказал мне так:

— Напрасно вы утешаете меня, я не мальчик

Меня уже контузили через полчаса после него. Так вот, я видел тройную картину. Сперва — этот ночной ноябрьский бой, сквозь него — вагон, когда уже об этом бое рассказывал, и этот, бессмертно-проклятый зал в «Гудке». «Блажен, кого постигнул бой». Меня он постигнул мало, и я должен получить свою порцию.

Когда мы расходились из «Гудка», в зимнем тумане, — в вестибюле этого проклятого здания, По[тоцкий] сказал мне: «Молодец вы, Михаил Афанасьевич»

Это мне было приятно, хотя я, конечно, ни в какой мере не молодец, пока что.

Позволительно маленькое самомнение. Относительно Франции — совершеннейший пророк. Под Парижем полиция произвела налет на комшколу, которая, как корреспондирует из Парижа Раппопорт, «мирно занималась изучением Энгельса и Маркса». Кроме того, где-то уже стачка рыбаков и *camelots du roi* шли мимо красинского убежища с криками.

Кажется, в Амьене, если не ошибаюсь, уже началось какое-то смятение. Первую ставку Красин выиграл у французов. Начался бардак.

Денег сегодня нигде не достал, поэтому приехал кислый и хмурый домой, с большим раздражением думал о их совместном путешествии, и единственным успокоением является моя прямая. Она всегда — кратчайшее расстояние между двумя точками, и стоит мне вспомнить ее, как я совершенно успокаиваюсь. Дома впал в страшную ярость, т. к. уже две недели я тренирую себя, то сейчас же разъяснил ее, как пес сову, и запер на ключ. Не нужно говорить о политике ни в коем случае.

В[асилевский] страшно ослабел. Человек, который имел чутье, начал его терять в СССР. Это, конечно, будет гибельно. Голова полна проектами, один из которых совершенно блистателен. У них у всех нет американского подхода: достаточно сказать один раз, и я уже понял. Понял. Мысленно его гипнотизировал, чтобы он делал, но так как я в этом деле дилетант, то за успех не поручусь.

Он привез и показывал две из тех книжек, которые выпускало его издательство. В серии «Вожди и деятели революции» одна из них написана Митей С[тоновым] («Калинин»). Другая — Бобрищев-Пушкин («Володарский»). Трудно не сойти с ума. Бобрищев пишет о Володарском. Впрочем, у старой лисы большее чутье, чем у Василевского. Это объясняется разностью крови. Он ухитрился спрятать свою фамилию не за одним псевдонимом, а сразу за двумя. Старая проститутка ходит по Тверской все время в предчувствии облавы. Этот ходит плохо.

В[асилевский] говорит, что квартиру его описали.

Вообще он въехал неудачно. Но все[-таки] поймите. Старый, убежденный погромщик, антисемит *rug-sang* пишет хвалебную книжку о Володарском, называя его «защитником свободы печати». Немеет человеческого ум. В[асилевский] говорит обо всем этом с каким-то особенным подпрыгивающим, рамо[лен]тным весельем. Был один момент, когда он мне жутко напомнил старика Арсеньева. Все они настолько считают, что партия безнадежно сыграна, что бросаются в воду в одежде. В[асилевский] одну из книжек выпустил под псевдонимом. Насчет первой партии совершенно верно. И единственная ошибка всех Павлов Николаевичей и Пасмаников, сидящих в Париже, что они все еще доигрывают первую, в то время как логическое следствие: за первой партией идет совершенно другая, вторая. Какие бы ни сложились в ней комбинации — Бобрищев погибнет.

Забыл. Пьеса ли это, или это роман «Странник играет под сурдинку».

В[асилевский] же мне рассказал, что Алексей Толстой говорил:

— Я теперь не Алексей Толстой, а рабкор-самородок Потап Дерьмов.

Грязный, бесчестный шут.

В[асилевский] же рассказал, что Демьян Бедный, выступая перед собранием красноармейцев, сказал:

— Моя мать была блядь...

В состоянии безнадежной ярости обедал у Валентины. *Vis-a-Vis* помещался этот тюремный человек с Поварской. Громадная разница между ним и клопом, и напрасно еврейские девушки приравнивают. Это слишком примитивная солдатчина. Есть огромная разница: клопа давить неприятно. Примитивы этого не поймут. Никто, как свой. И свои могут напортить хуже, чем чужие, черт бы их взял!

Записи под диктовку есть не самый высший, но все же акт доверия.

Сегодня сообщение о том, что убили еще одного селькора в провинции — Сигаева. Или у меня нет чутья, и тогда я кончусь на своем покато́м полу, или это интродукция к совершенно невероятной опере.

Запас впечатлений так огромен за день, что свести

их можно только отрывками, с мыслью впоследствии систематизировать их. День, как во время севастопольской обороны, за неделю, месяц за год. Но где же мои матросы?

Самым чудовищным из всех рассказов В[асилевско-го] был рассказ о том, как Френкель, ныне московский издатель, в прошлом раввин (вероятно, и сейчас, только тайный), ехал в спальном международном вагоне из С.-Петербурга в Москву. Это один из крупных тузов, который кормит сейчас в Москве десятки евреев, работающих по книжному делу. У него плохонькое, но машинно налаженное дело в самом центре Москвы, и оно вечно гудит, как улей. Во двор Кузнецкого переуллка вбегают, из него убегают, собираются. Это рак в груди. Неизвестно, где кончаются деньги одного и где начинаются деньги другого. Он очень часто ездит в Петербург, и характерно, что его провожают почтительной толпой, очевидно, он служит и до сих пор дает советы о козе. Он мудр.

Сегодня еще в ярости, чтобы успокоить ее, я перечитываю фельетон петербургского фельетониста 70-х годов. Он изображает музыку в Павловске, и еврея изображает в презрительной шутке, с акцентом.

Богу сил!

Сейчас я работаю совершенно здоровым, и это чудесное состояние, которое для других нормально, — увы — для меня сделалось роскошью, это потому, что я развинулся несколько. Но, в основном, главном, я выздоравливаю, и силы, хотя и медленно, возвращаются ко мне. С нового года займусь гимнастикой, как в 16-м и 17-м году, массажем, и к марту буду в форме.

Есть неуместная раздражительность. Все из-за проклятого живота и нервов. Записи о своем здоровье веду с единственной целью: впоследствии перечитать и выяснить, выполнил ли задуманное.

Порхают легкие слушки, и два конца из них я уже поймал. Вот сволочь!

В ночь с 26 на 27 декабря.

Только что вернулся с вечера у Ангарского — редактора «Недр». Было одно, что теперь всюду: разговоры о

цензуре, нападки на нее, «разговоры о писательской правде» и «лжи». Был Вересаев, Козырев, Никандров, Кириллов, Зайцев (П. Н.), Ляшко и Львов-Рогачевский. Я не удержался, чтобы несколько раз не встрять с речью о том, что в нынешнее время работать трудно, с нападками на цензуру и прочим, чего вообще говорить не следует.

Ляшко (пролетарский писатель), чувствующий ко мне непреодолимую антипатию (инстинкт), возражал мне с худо скрытым раздражением:

— Я не понимаю, о какой «правде» говорит т. Булгаков? Почему [всю кривизну] нужно изображать? Нужно давать «чересполосицу» и т. д.

Когда же я говорил о том, что нынешняя эпоха — это эпоха сведения счетов, он сказал с ненавистью:

— Чепуху вы говорите...

Не успел ничего ответить на эту семейную фразу, потому что вставали в этот момент из-за стола. От хамов нет спасения.

Лютый мороз. Сегодня утром водопроводчик отогрел замерзшую воду. Зато ночью, лишь только я вернулся, всюду потухло электричество.

Ангарский (он только на днях вернулся из-за границы) в Берлине, а кажется, и в Париже всем, кому мог, показал гранки моей повести «Роковые яйца». Говорит, что страшно понравилось и кто-то в Берлине (в каком-то издательстве) ее будут переводить.

Больше всех этих Ляшко меня волнует вопрос — беллетрист ли я?

Отзвук в разговоре у Анг[арского] имел и прогремевший памфлет — письмо Бернарда Шоу, напечатанный во вчерашнем номере «Известий». Радек пытается ответить на него фельетоном «Мистер Пиквик о коммунизме», но это слабо. В памфлете есть место: «Бросьте и толковать о международной революции — это кинематограф».

В ночь с 27 на 28 декабря.

В ночь я пишу потому, что почти каждую ночь мы с женой не спим до трех, четырех часов утра. Такой уж дурацкий обиход сложился. Встаем очень поздно, в 12, иногда в 1 час, а иногда и в два дня. И сегодня встали

поздно и вместо того, чтобы ехать в проклятый «Гудок», изменил маршрут и, побрившись в парикмахерской на моей любимой Пречистенке, я поехал к моей постоянной зубной врачихе, Зинушке. Лечит она два моих зуба, которые, по моим расчетам, станут вечными. Лечит не спеша, хожу к ней аккуратно, она вкладывает ватку то с йодом, то с гвоздичным маслом, и я очень доволен, что нет ни боли, ни залезания иглой в каналы.

Пока к ней дополз, был четвертый час дня. Москва потемнела, загорелись огни. Из окон у нее виден Страстной монастырь и огненные часы.

Великий город — Москва! Моей нежной и единственной любви, Кремля, я сегодня не видал.

После зубной врачихи был в «Недрах», где странный Ангарский производит какой-то разгром служащих. Получил, благодаря ему, 10 рублей.

И вот, по Кузнецкому мосту шел, как десятки раз за последние зимние дни, заходя в разные магазины. Нужно купить то да се. Купил, конечно, неизбежную бутылку белого вина и полбутылки русской горькой, но с особенной нежностью почему-то покупал чай. У газетчика случайно на Кузнецком увидел 4-й номер «России». Там первая часть моей «Белой гвардии», т. е. не первая часть, а первая треть. Не удержался, и у второго газетчика, на углу Петровки и Кузнецкого, купил номер. Роман мне кажется то слабым, то очень сильным. Разобраться в своих ощущениях я уже больше не могу. Больше всего почему-то привлекло мое внимание посвящение. Так свершилось. Вот моя жена.

Вечером у Никитиной читал свою повесть «Роковые яйца». Когда шел туда, ребяческое желание отличиться и блеснуть, а оттуда — сложное чувство. Что это? Фельетон? Или дерзость? А может быть, серьезное? Тогда не выпеченное. Во всяком случае, там сидело человек 30, и ни один из них не только не писатель, но и вообще не понимает, что такое русская литература.

Боюсь, как бы не саданули меня за все эти подвиги «в места не столь отдаленные». Очень помогает мне от этих мыслей моя жена. Я обратил внимание, когда она ходит, она покачивается. Это ужасно глупо при моих замыслах, но, кажется, я в нее влюблен. Одна мысль интересует меня. При всяком ли она приспособилась бы так же уютно, или это избирательно для меня?

Политических новостей сегодня нет для меня. Эти «Никитинские субботники» — затхлая, советская, рабская рвань, с густой примесью евреев.

Не для дневника и не для опубликования: подавляет меня чувственно моя жена. Это и хорошо, и отчаянно, и сладко, и в то же время безнадежно сложно: я как раз сейчас хворый, а она для меня...

Сегодня видел, как она переодевалась перед нашим уходом к Никитиной, жадно смотрел...

Политических новостей нет, нет. Взамен них политические мысли.

Как заноза сидит все это сменовеховство (я при чем?), и то, что чертова баба зав[я]з[и]ла [меня], как пушку в болоте, важный вопрос. Но один, без нее, уже не мыслюсь. Видно, привык.

29 декабря. Понедельник.

Водку называют «рыковка» и «полурыковка». «Полурыковка» потому, что она в 30°, а сам Рыков (горький пьяница) пьет в 60°.

Был в этом проклятом «Г[удке]», вечером был у Лидии Вас[ильевны]. Условились насчет встречи Нового года.

Лежнев ведет переговоры с моей женой, чтобы роман «Белая гвардия» взять у Сабашникова и передать ему. Люба отказала, баба бойкая и расторопная, и я свалил с своих плеч обузу на ее плечи. Не хочется мне связываться с Лежневым, да и с Сабашниковым расторгать договор неудобно и неприятно. В долгу сидим как в шелку.

1925 год

2 января, в ночь на 3-е.

«Если бы к «рыковке» добавить «семашковки», то получилась бы хорошая «совнаркомовка».

«Рыков напился по смерти Ленина по двум причинам: во-первых, с горя, а во-вторых, от радости».

«Троцкий теперь пишется «Тройей» — ЦК выпало».

Все эти анекдоты мне рассказала эта хитрая веснушчатая лиса Л[ежнев] вечером, когда я с женой сидел, вырабатывая текст договора на продолжение «Белой гвардии» в «России». Жена сидела, читая роман

Эренбурга, а Лежнев обхаживал меня Денег у нас с ней не было ни копейки Завтра неизвестный мне еще еврей Каганский должен будет уплатить мне 300 рублей и векселя Векселями этими можно п[одтеретьсь]я Впрочем, черт его знает! Интересно, привезут ли завтра деньги. Не отдам рукопись..

Сегодня газет нет, значит, нового ничего нет.

Забавный случай: у меня не было денег на трамвай, а поэтому я решил из «Гудка» пойти пешком. Пошел по набережной Москвы-реки. Полулуние в тумане Почему-то середина Москвы-реки не замерзла, а на прибрежном снегу и льду сидят вороны. В Замоскворечье огни. Проходя мимо Кремля, поравнявшись с угловой башней, я глянул вверх, приостановился, стал смотреть на Кремль и только что подумал «доколе, Господи!» как серая фигура с портфелем вынырнула сзади меня и оглядела. Потом прицепилась. Пропустил ее вперед, и около четверти часа мы шли, сцепившись. Он плевал с парашюта, и я Удалось уйти у постамента Александру

3 января.

Сегодня у Л[ежнева] получил 300 рублей в счет романа «Б[елая] г[вардия]», который пойдет в «России» Обещали на остальную сумму векселя

Были сегодня вечером с женой в «Зеленой лампе» Я говорю больше, чем следует, но не говорить не могу Один вид Ю. П[отехина], приехавшего по способу чеховской записной книжки и нагло уверяющего, что..

— Мы все люди без идеологии, - действует на меня, как звук кавалерийской трубы.

— Не брешь!

Литература, на худой конец, может быть даже коммунистической, но она не будет садыкерско-сменовеховской Веселые берлинские бляди! тем не менее, однако, боюсь, как бы «Б[елая] г[вардия]» не потерпела фиаско Уже сегодня вечером, на «Зел[еной] лампе» Ауслендер сказал, что «в чтении...», и поморщился А мне нравится, черт его знает почему.

Ужасное состояние все больше влюбляюсь в свою жену. Так обидно — 10 лет открещивался от своего.. Баба как баба А теперь унижаюсь даже до легкой репутности Чем-то мила и сладка. И толстая

Газет не читал сегодня

4 января.

Петербург — быть пусту!

Вчера наводнение в Петербурге: были затоплены Василеостровский, Петербургский, Московско-Нарвск[ий] и Центральный районы. Поздним вечером вода пошла на убыль.

Из Англии пришла нота, подписанная Чемберленом, из которой явствует, что английское правительство не желает говорить более ни одного слова по поводу письма Зиновьева. Отношения с Англией нестерпимо поганые.

Есть сообщение из Киева, что вся работа союза швейников, ввиду того, что в нем 80% евреев, переводится постепенно на еврейский язык.

Даже весело.

Сегодня вышла «Богема» в «Кр[асной] ниве» № 1. Это мой первый выход в специфически-советской тонко-журнальной клоаке. Эту вещь я сегодня перечитал, и она мне очень нравится, но поразило страшно одно обстоятельство, в котором я целиком виноват. Какой-то беззастенчивой бедностью веет от этих строк. Уж очень мы тогда привыкли к голоду и его не стыдились, а сейчас как будто бы стыдно. Подхалимством веет от этого отрывка. Кажется, впервые со знаменитой осени 1921 года позволю себе маленькое самомнение и только в дневнике, — написан отрывок совершенно на «ять», за исключением одной, двух фраз («Было обидно и др.»).

Все идет верхним концом и мордой в грязь. Вся Москва растеклась в оттепельной грязи, а я целый день потратил на разъезды, приглашая гостей. Хотим у Нади потанцевать.

Видел милых Л[яминых] и отдал им номер «России» с «Б[елой] гв[ардией]».

В антракте между фокстротными разъездами был взят за горло милыми еврейчками по поводу бабьих писем. Сжали, и кругом правы. Я жму в свою очередь, но ни черта, конечно, не сделаю. Ни в коем случае не придет. Как кол в горле. А сам я, действительно, кобра. До того сжали, что я в один день похудел и вся морда обвисла на сторону. Три дня и три ночи буду думать, а выдумую. Все равно я буду водить, а не кто-нибудь другой.

5 января.

Какая-то совершенно невероятная погода в Москве — оттепель, все распустилось, и такое же точно, как погода, настроение у москвичей. Погода напоминает февраль, *и в душах февраль.*

— Чем все это кончится? — спросил меня сегодня один приятель.

Вопросы эти задаются машинально и тупо, и безнадёжно, и безразлично, и как угодно. В его квартире, как раз в этот момент, в комнате через коридор, пьянствуют коммунисты. В коридоре пахнет какой-то острой гадостью, а один из партийцев, по сообщению моего приятеля, спит пьяный, как свинья. Его пригласили, и он не мог отказать. С вежливой и заискивающей улыбкой ходит к ним в комнату. Они его постоянно вызывают. Он от них ходит ко мне и шепотом их ругает. *Да, чем-нибудь все это да кончится. Верую!*

Сегодня специально ходил в редакцию «Безбожника». Она помещается в Столешни[и]ковом переулке, вернее, в Козмодемьянском, недалеко от Моссовета. Был с М. С., и он очаровал меня с первых же шагов.

— Что, вам стекла не бьют? — спросил он у первой же барышни, сидящей за столом.

— То есть как это? (Растерянно.) Нет, не бьют (злоюще).

— Жаль.

Хотел поцеловать его в его еврейский нос. Оказывается, комплекта за 1923 год нету. С гордостью говорят — разошлось. Удалось достать 11 номеров за 1924 год. 12-й еще не вышел. Барышня, если можно так назвать существо, дававшее мне его, неохотно дала мне его, узнав, что я частное лицо.

— Лучше я б его в библиотеку отдала.

Тираж, оказывается, 70 000 и весь расходуется. В редакции сидит невероятная сволочь, входит, приходит; маленькая сцена, какие-то занавесы, декорации... На столе, на сцене, лежит какая-то священная книга, возможно, Библия, над ней склонились какие-то две голы.

— Как в синагоге, — сказал М., выходя со мной.

Меня очень заинтересовало, на сколько процентов все это было сказано для меня специально. Не следует, конечно, это преувеличивать, но у меня такое впечат-

ление, что несколько лиц, читавших «Бел[ую] гв[ардию]» в «России», разговаривают со мной иначе, как бы с некоторым боязливым, косоватым почтением.

М[...]н отзыв об отрывке «Б[елой] г[вардии]» меня поразил, его можно назвать восторженным, но еще до его отзыва окрепло у меня что-то в душе. Это состояние уже дня три. Ужасно будет жаль, если я заблуждаюсь и «Б[елая] г[вардия]» не сильная вещь.

Когда я бегло проглядел у себя дома вечером номера «Безбожника», был потрясен. Соль не в кощунстве, хотя оно, конечно, безмерно, если говорить о внешней стороне. Соль в идее, ее можно доказать документально: Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника, именно его. Не трудно понять, чья это работа. Этому преступлению нет цены.

Вечером была Л. Л. и говорила, что есть на свете троцкисты. Анекдот: когда Троцкий уезжал, ему сказали: «Дальше едешь, тише будешь».

Сегодня в «Гудке» в первый раз с ужасом почувствовал, что я писать фельетонов больше не могу. Физически не могу. «Это надругательство надо мной и над физиологией».

Большинство заметок в «Безбожнике» подписаны псевдонимами.

«А сову эту я разъясню».

16 января. Пятница.

Позавчера был у П. Н. З[айцева] на чтении А. Белого. В комнату З[айцева] набилась тьма народу. Негде было сесть. Была С. З. Федорченко и сразу как-то обмякла и сомлела.

Белый в черной курточке. По-моему, нестерпимо ломается и паясничает.

Говорил воспоминания о Валерии Брюсове. На меня все это произвело нестерпимое впечатление. Какой-то вздор... символисты... «Брюсов дом в 7 этажей».

— Шли раз по Арбату... И он вдруг спрашивает (Белый подражал, рассказывая это в интонации Брюсова): «Скажите, Борис Николаевич, как по-вашему — Христос пришел только для одной планеты или для многих?» Во-первых, что я за такая Валаамова ослица — вещать, а во-вторых, в этом почувствовал подковырку...

В общем, пересыпая анекдотиками, порой занятными, долго нестерпимо говорил... о каком-то папоротнике... о том, что Брюсов был «Лик» символистов, но в то же время любил гадости делать...

Я ушел, не дождавшись конца. После «Брюсова» должен был быть еще отрывок из нового романа Белого.

Merçi.

25 февраля. Среда. Ночь.

Предо мною неразрешимый вопрос.

Вот и все.

13 декабря.

Я около месяца не слежу за газетами. Мельком слышал, что умерла жена Буд[енного]. Потом слух, что самоубийство, а потом, оказывается, он ее убил. Он влюбился, она ему мешала. Остается совершенно безнаказанным.

По рассказу — она угрожала ему, что выступит с разоблачениями его жестокости с солдатами в царское время, когда он был вахмистром.

АВТОБИОГРАФИЯ 1937 ГОДА

Сын профессора Киевской духовной академии, родился 3 мая 1891 года в Киеве.

В 1909 году окончил Киевскую первую гимназию, а в 1916 году — Киевский университет по медицинскому факультету.

В 1916 — 1917 годах служил в качестве врача в Земстве Смоленской губернии.

В 1918 — 1919 годах проживал в Киеве, начиная заниматься литературой одновременно с частной медицинской практикой.

В 1919 году окончательно бросил занятие медициной

В 1920 году, проживая в г. Владикавказе, работал в подотделе искусств, сочиняя первые пьесы для местного театра.

В 1921 году приехал в Москву на постоянное жительство.

В 1921 — 1924 годах в Москве служил в ЛИТО Главполитпросвета, работал в газетах в качестве хроникера, а впоследствии — фельетониста (газета «Гудок» и другие), начал печатать в газетах и журналах первые маленькие рассказы.

В 1925 году был напечатан мой роман «Белая гвардия» (журнал «Россия») и сборник рассказов «Дьяволиада» (издат. «Недра»).

В 1926 году Московским Художественным театром была поставлена моя пьеса «Дни Турбиных», в том же году Театром имени Вахтангова в Москве была поставлена моя пьеса «Зойкина квартира».

В 1928 году Камерным московским театром была поставлена моя пьеса «Багровый остров».

В 1930 году Московским Художественным театром был принят на службу в качестве режиссера-ассистента.

В 1932 году Московским Художественным театром была выпущена моя пьеса по Гоголю «Мертвые души», при моем участии в качестве режиссера-ассистента.

1932 — 1936 годы продолжал работу режиссера-ассистента в МХАТе, одно время работая и в качестве актера (роль Председателя суда в спектакле «Пиквикский клуб» по Диккенсу).

В 1936 году МХАТом была поставлена моя пьеса «Мольер», при моем участии в качестве режиссера-ассистента. В том же году Театром сатиры в Москве была подготовлена к выпуску моя пьеса «Иван Васильевич» и снята после генеральной репетиции.

В 1936 году, после снятия моей пьесы «Мольер» с репертуара, подал в отставку в МХАТе и был принят на службу в Государственный академический Большой театр Союза ССР в Москве на должность либреттиста и консультанта, в каковой должности и нахожусь в настоящее время.

Для Государственного академического Большого театра в том же году сочинил либретто оперы «Минин и Пожарский», подготовляемой в настоящее время к постановке при моем участии.

В 1937 году для Государственного академического Большого театра сочинил либретто оперы «Черное море».

Помимо вышеперечисленных пьес автор пьес: «Бег», «Александр Пушкин» и других. Переведен на французский, английский, немецкий, итальянский, шведский и чешский языки.

Член Союза советских писателей
М. БУЛГАКОВ

КОММЕНТАРИИ¹

Творческая жизнь писателя Михаила Афанасьевича Булгакова (1891 — 1940) началась с создания газетных фельетонов и сатирических повестей, смех которых заставляет вспомнить имена Гоголя и Салтыкова-Щедрина. Завершилась же она «Мастером и Маргаритой», романом трудных и печальных раздумий, где слились философия, фантастика и меткая глубокая сатира. Автор не изменил себе ни в большом, ни в малом, не изменил и своим великим учителям. Писательский путь Булгакова, уложившийся практически в два десятилетия (1919 — 1939), был полон ежедневной энергичной борьбы с трудностями и недоброжелателями, борьбы изобретательной и принципиальной. Его фантастико-сатирическая «большая» и «малая» проза, а также пьесы эту борьбу отразили в своих темах, образах и самом стиле, создав тем самым живой «портрет» непростой исторической эпохи, впитав богатый опыт жизненных наблюдений и встреч писателя. И потому, при очевидной склонности автора к фантастике, его философская проза, его сатира реалистичны, конкретны, исторически и психологически достоверны: время, города, ситуации и люди в них слиты в картину живописную и удивительную. Недаром мы теперь так часто говорим: «булгаковская Москва» или «булгаковский Киев».

Давно известно, что художественную прозу, даже самую реалистическую, бытовую, нельзя читать как автобиографию автора, и тем более пытаться ставить знак равенства между ним и его героями. В особенности это бесперспективно в отношении произведений такого непредсказуемого, такого изобретательного художника, как Булгаков. И тем не менее, читая Булгакова, постоянно встречаешь подлинные имена реально существовавших людей или же прозрачные намеки на них, описания исторических событий, географических пунктов, улиц, зданий, предметов быта. Автор «Белой гвардии» и «Бега», «Мольера» и «Мастера и Маргариты» всегда тщательно подбирал источники, пользовался библиотеками, историческими сочинениями и устными воспоминаниями очевидцев, собственными записями и впечатлениями и даже изучал полевые карты сражений гражданской войны, если требовалось, проводил личные астрономические наблюдения Луны и звездного неба.

Так он работал над каждым своим произведением. Проза его насыщена конкретикой времени, историко-литературными

¹ Составлены Б. С. Мягковым с использованием материалов из работ И. Ф. Бэлзы, А. З. Вулиса, В. Я. Лакшина, а также Ф. Р. Балонova, А. Н. Баркова, В. Г. Боборыкина, В. В. Гудковой, Г. А. Лесскиса, В. И. Лосева, П. В. Палиевского, В. И. Сахарова, Б. В. Соколова, Л. Л. Фиалковой, Л. М. Яновской.

реминисценциями, философскими подтекстами и поэтому нуждается в разнообразном комментарии. Современному читателю Булгакова такие разъяснения необходимы, хотя и сами по себе образы его сочинений самоценны, а сюжеты — захватывающие увлекательны. Писатель не придумывал, не избрел специально ни мифов, ни кодов, ни шифров, ни символов. В его книгах — живая жизнь, яркие, полнокровные, а потому запоминающиеся человеческие характеры, хотя происходящее с героями может быть пронизано фантастикой и даже мистикой.

В этом соединении противоположностей, реального и ирреального, неожиданном переосмыслении знакомого — особенности личности писателя, его творческой манеры, художественной позиции, отпечаток его индивидуальности. Деликатность, нервность, ранимость, насмешливость, ироничность, наблюдательность, порой простодушность и беспечность, в трудную минуту — решительность, собранность и твердость, но всегда интеллигентность — вот основные его личностные черты, проявившиеся как автобиографические в творчестве. Булгаков говорил о глазах своего Мольера: «Я читаю в них странную всегдашнюю язвительную усмешку и в то же время какое-то вечное изумление перед окружающим миром. Он находит смешные стороны в людях и любит по этому поводу острить». Но ведь это и о самом себе сказано — очерчен самобытный характер, который, как говорится, и есть судьба человека.

Присущий писателю взгляд на мир людей, став его авторским методом, способом художественного осмысления действительности, совершенствуется и углубляется с каждым новым произведением. И читая их, можно многое узнать о самом авторе.

Так, повесть «Дьяволиада» развивает тему автобиографических «Записок на манжетах», «Необыкновенных приключений доктора» и продолжает фантасмагории «Похождений Чичикова». В ней применен тот же способ переосмысления, неожиданного соединения знакомых лиц и авторских наблюдений и размышлений, но личностное, биографическое преобразено творческой фантазией писателя. В «Дьяволиаде» — молодое увлечение писательством, упоение вымыслом, самозабвенная игра в фантастику, остроумное экспериментирование со словом и явные следы пристального чтения гоголевских «Записок сумасшедшего», откуда взята сама тема безумия маленького чиновника, смятого колесами бюрократического механизма. Но здесь уже присутствует неповторимый авторский стиль, точно найденные подробности, т.е. виден оригинальный прозаик с уникальным даром замечательного выдумщика, рассказчика-сатирика. Не случайно Булгакова заметили именно после «Дьяволиады». Отсюда — путь писателя к повестям «Роковые яйца», «Собачье сердце» и в дальнейшем к романам «Записки покойника» и «Мастер и Маргарита».

В повести «Роковые яйца», как и в «Дьяволиаде», Булгаков экспериментирует, каламбурит, умело играет стилем, пробует разные творческие манеры, не чураясь при этом пародии. Однако «остроумие и ловкость написания» (по выражению М. Горького), да и сама фантастика для Булгакова не самоцель. С их помощью он вскрывает «бесчисленные уродства» быта, высмеивает несостоятельность наглых притязаний малограмотных «специалистов», глубоко проникая в души людей, в исторический смысл происходящих событий. Но у этой острой, разящей сатиры есть еще одна, очень серьезная цель.

Какая? В автобиографических «Записках на манжетах» за мечено с горькой иронией: «Только через страдание приходит истина... Это верно, будьте покойны! Но за знание истины ни денег не платят, ни пайка не дают. Печально, но факт». Юмористический талант помог автору сказать важное, главное для него слово — «истина». Находясь в центре ломки сложившихся устоев быта, смены идей и мнений, Булгаков себе и читателям задает вечный вопрос евангельского Понтия Пилата, будущего своего персонажа: «Что есть истина?» В кровавые и беспощадные 20-е годы он ответил на этот вопрос «Белой гвардией», фантастическими сатирами «Роковые яйца» и «Собачье сердце».

Две последние повести образуют своеобразную дилогию о профессорах старой школы, «пречистенских мудрецах», гениальных ученых, сделавших в новую, не совсем понятную им эпоху великие открытия. Пожалуй, эту булгаковскую дилогию о науке, продолженную в фантастических песнях («Адам и Ева», «Блаженство», «Иван Васильевич»), можно назвать остроумной и трагикомической, но в то же время серьезной вариацией на вечную тему «Фауста» Гёте. Здесь одновременно и драматизм ситуации, и грустные размышления о человеческих недостатках и обольщениях, и пророческое напоминание о высокой ответственности ученого и науки перед жизнью, и провидческое предупреждение о страшной опасности и разрушительной силе самодовольного невежества.

Свойственное писателю глубинное понимание людей и хода исторических событий подсказывало ему, что талант ученого, безукоризненная личная честность в сочетании с одиночеством, самодостаточностью, высокомерным отчуждением от грубой реальности могут привести к последствиям трагическим и неожиданным. И поэтому в повестях «Роковые яйца» и «Собачье сердце», несмотря на явную симпатию автора к своим героям, произведено развенчивание «чистой», лишенной этического начала науки и ее самонадеянных «жрецов», вообразивших себя чуть ли не творцами «новой жизни».

В повестях затрагиваются и проблемы заблуждений науки, в том числе и медицинской, биологической. Печальна судьба гениального профессора Персикова, любившего, в сущности, одних своих пупырчатых жаб и потому ставшего фактически

главной причиной трагических событий. Ибо, умыв, подобно Понтию Пилату, руки и этим самым сняв с себя как с изобретателя «красного луча» всякую ответственность за будущие последствия использования своего открытия, он покорно отдал свой замечательный «луч жизни» в руки «рокового» профессионального «руководителя», субъекта крайне самоуверенного от своего невежества и необразованности. И в этих «рожденных пролетарской революцией» и «кремлевской резолюцией» руках «луч жизни» превратился в источник смерти, из него возникли несметные полчища гадов, пошедших на Москву и послуживших причиной гибели Персикова и многих других людей.

Автор делает вывод: наука, поддавшаяся величайшему соблазну высокомерного самодовольства, дрогнула и отступила, и в образовавшуюся щель хлынули силы разобщения и разложения, растоптавшие и самое науку. Вечная проблема преступления и наказания, унаследованная Булгаковым от Достоевского, решается средствами трагической фантастики (антиутопии) и трагической сатиры. Это страданное и тревожное послание современникам и потомкам, увлеченным «небывальными» возможностями «красного луча» или его реальных аналогов — революционных методов (в противовес «Великой Эволюции», за которую ратовал Булгаков) переустройства жизни. Безответственная постановка социальных экспериментов, предостерегает писатель, может привести к страшным бедствиям, подобным нашествию жутких гадов, как это произошло у невежественного и бессовестного Александра Семеновича Рокка.

Провидец Булгаков не ошибся даже в сроках. Именно в 1928 г. (время действия в повести) началась общенародная катастрофа, названная «всеобщей коллективизацией» и «ликвидацией кулачества как класса» и нанесшая стране урон, от которого она до сих пор не в состоянии оправиться.

Давно замечено, что практически во всех произведениях Булгакова (крупных и малых жанров) нет ничего лишнего, каждая деталь важна и не случайна. Повесть «Роковые яйца» пронизана трагическими символами крови, огня, тьмы и смерти. В ней звучит тема рока, судьбы-фатума, и писатель эту апокалиптическую интонацию усиливает, вводя тютчевскую строку — «Жизнь, как подстреленная птица» и тревожную музыку Р. Вагнера. Светлому образу летнего солнца — символу вечной жизни — в повести противостоит мрачный, с всегда опущенными шторами кабинет научного чудака Персикова. Чувствуется, что здесь обитает «демон знания»: холодом и одиночеством веет в комнате, жутковат даже рабочий стол, «на дальнем краю которого в сыром и темном отверстии мерцали безжизненно, как изумруды, чьи-то глаза».

Еще одна говорящая деталь: «луч жизни» Персикова искусственный, неживой. Плод кабинетного ума, он не может ро-

даться от теплого солнца и возникает лишь в холодном электрическом сиянии. Лишь от такого луча и могла произойти так выразительно описанная Булгаковым нежить. Важен и эпilog повести: живая вечная природа сама себя защитила от нашествия чудовищ, помогла поздно опомнившимся людям в их отчаянной борьбе с враждебными силами.

Изобретательность выдумки и мощь сатирического таланта автора восхищают, здесь ни одна строчка не устарела и не потеряла значимости, да и живописная панорама Москвы времен нэпа с ее суетой, газетами, театрами, картинками нравов замечательна в своей исторической точности и подлинной художественности. Более того, сегодня «Роковые яйца» читаются как гениальное предвидение будущих военных потрясений (вспомним горящий, оставленный войсками и жителями Смоленск, отчаянные бои под Вязьмой и Можайском, панику и эвакуацию в прифронтовой Москве) и очень трезвое, вещее предостережение, совсем не случайно повторенное позднее в пророческой пьесе «Адам и Ева».

Кончается же грустная история об ошибке и гибели профессора Персикова победой жизни, и трагизм случившегося уравнивается юмористическим тоном рассказа и блеском фантазии сатирика. Печаль разрешается смехом. Мысли автора глубоки, печальны и серьезны, но сама повесть исполнена искрометного юмора, веселья, игры язвительного ума и чрезвычайно поучительна: каждому воздается по делам его и по вере его.

«Роковые яйца» и «Собачье сердце» — шедевры булгаковской фантастической и социальной сатиры-антиутопии — предваряют московские сцены «Мастера и Маргариты». В этих повестях с особой ясностью видно, как автор последовательно изгоняет из своей прозы поверхностную фельетонность и приходит к высокому творчеству, становится замечательным художником, достойным наследником великих сатириков — Гоголя и Щедрина и вдохновенного мыслителя Достоевского. Подтверждение тому — роман «Мастер и Маргарита».

Если к этому «закатному» роману Булгакова подходить традиционно, оперируя такими привычными инструментами анализа, как тема, идея, жанр, заблудиться в нем в два счета, словно в дремучем лесу. Ни в какие обычные схемы он не укладывается. Есть основания назвать его бытовым романом, благо в нем широко развернута картина московского быта рубежа 1920 — 1930-х гг. Но не меньше оснований считать его фантастическим, антиутопическим, мистическим. И философским. И любовно-лирическим. И само собой разумеется — сатирическим. Можно привести еще не одну жанровую характеристику, которую дают роману исследователи, в том числе определяя его и как политический: наказ напечатать главное свое создание («чтоб знали, чтоб знали...») было единственным предсмертным желанием автора.

В этом многозначительном и неисчерпаемом творении каждый находит, узнает свое. Оттого и читается роман разными поколениями взахлеб, особенно, когдаходишь в него доверчиво и отдаешься на волю авторской мысли и фантазии, не притормаживая себя скептическими вопросами. В этом случае и впечатление он оставляет ошеломительное: каким-то новым, невиданным светом освещает окружающую жизнь и как бы поднимается над ней, открывая вдруг новые горизонты в твоём представлении о свободе, о любви, о смерти и бессмертии, о силе и бессилии единоличной власти над людьми, о реальном и ирреальном...

И едва ли найдется читатель, пусть даже обремененный учеными филологическими степенями, который возьмет на себя смелость утверждать, что нашел ключи ко всем таящимся в романе загадкам¹. Но многое в нем приоткрывается, если хотя бы бегло проследить десятилетнюю историю его создания, не забывая при этом, что почти все произведения Булгакова родились из его собственных переживаний, конфликтов, потрясений и были, таким образом, своеобразным отражением его собственной жизни.

Что выпало на долю писателя в 1928 — 1929 гг., когда он приступил к созданию романа, известно: уничтожающие разносы в прессе, снятие с репертуара его пьес, невозможность печататься, жить литературным, творческим трудом. Работу над романом Булгаков, однако, не форсировал, уже твердо зная, что на публикацию ему рассчитывать не приходится. Временами он отдавался сочинительству целиком и за короткие сроки успевал написать огромные куски нового текста. Но случались перерывы на многие месяцы и даже на годы.

Первый полный вариант романа был завершен в 1934 г.; последний — в 1938 г., хотя шлифовку текста и дополнения к нему писатель продолжал делать до конца дней своих. В конечном счете от первоначального замысла остались лишь общие контуры. Содержание романа как бы раздалось вширь и вглубь. Сатира переплелась с лирикой, лирика — с философией, философия — с фантастикой. Возник какой-то небывалый сплав — многожанровое и многоплановое, но единое полотно, в котором у каждого плана сразу несколько смыслов.

Последнее относится и к четырем «ершалаимским» главам, вырванным на месте той единственной, что была еще в первом, 1929 г. варианте, — содержащей рассказ Воланда о Христе и Понтии Пилате. Этот «роман в романе», написанный одним из ведущих героев «Мастера и Маргариты» и ставший его судьбой, составляет и основу всего произведения. Необычно уже то, что этот «внутренний» роман не просто называется или даже цитируется в разговорах о нем, а едва ли не пол-

¹ Об одной из таких загадок романа см. эссе Ф. Баллонова в этой книге.

ностью включен в основной текст.

Не менее важное значение имеет и определяющее сюжетное развитие булгаковской книги введение в качестве одного из главных персонажей Воланда с его свитой. При этом достигается одна из задуманных парадоксальностей: изрядно набедокулив в Москве, шайка Воланда в то же время возвращается к жизни порядочность, честность и, карая пошлость, зло и неправду, служит тем самым утверждению тысячелетних евангельских нравственных заповедей. И если свита Воланда предстает в личине мелких бесов, склонных к поджогам, разрушению и пакостничеству, то фигура самого мессира неизменно сохраняет некую величавость. Он наблюдает булгаковскую Москву как исследователь, ставящий научный опыт, словно он и впрямь послан в командировку от небесной канцелярии.

В булгаковском романе множество литературных отголосков и отражений. Но одно из исходных — гениальное творение Гёте, звучавшее в ушах автора еще и в сопровождении музыки Гуно. Булгаковская Маргарита в зеркально-перевернутом виде варьирует историю Фауста. Фауст продавал душу дьяволу ради страсти к познанию и предавал любовь Маргариты. В романе уже Маргарита готова на сделку с Воландом и становится ведьмой ради любви и верности мастера. Тем, кто ослабел душой и усомнился в могуществе любви в подлунном мире, Булгаков внушает надежду, призывая: «За мной, мой читатель, и я покажу тебе такую любовь!» Так над суетой жалких страстей, хитростей и воцелений воспаряет живое романтическое чувство. Отодвигая пеструю мельтешащую толпу и гася шумный фон бытовых своекорыстных голосов, вырастает огромное идеальное содержание романа, в котором автор утверждает веру среди безверия, дело среди безделия, любовь среди безлюбия, бескорыстное искусство в мире тщеславия.

Книга Булгакова по природе своей театральна, да и написана писателем-драматургом, для которого, по его собственному признанию, прозаическая и драматургическая грани творчества были как правая и левая руки пианиста. Поэтому роман разворачивается в сценах то празднично-бурлескных, таких, как сенсационный парад черной магии в Варьете, то манящих загадкой, таких, как знакомство с Воландом в первых главах, то напряженно-интеллектуальных, таких, как поединок Иешуа с Пилатом. Сюжет не выстраивается линейно, он ветвится, подобно живому дереву, множится в бегущих отражениях, как в волшебных зеркалах, создающих вторую и третью перспективу.

Обычно исследователей «Мастера и Маргариты» более всего привлекают главные герои книги — Пилат, мастер, Бездомный, Берлиоз, Маргарита и некоторые другие. Но в романе более пятисот (506!) персонажей: из них 156 наделены соб-

ственными именами; 249 — безымянных: сотрудники «одного из московских учреждений», швейцары, дворники, милиционеры, «тихий старичок» в торгсине, «толстяк в цилиндре» и т. п.; более ста — «коллективных»: зрители Варьете, публика в аллеях на Патриарших прудах, прохожие на улицах Ершалаима и Москвы, свидетели казни, богомольцы, валютчики и т.д. Это великое множество людей (как в «Войне и мире» или в «Тихом Доне») являет конкретную плоть булгаковской мистерии, а их жизнь складывается в историю человечества. За души людей и борются антагонисты и протагонисты. А человеческие поступки и поведение определяют характер и исход этой борьбы.

Роман «Мастер и Маргарита» останется в истории русской и мировой литературы не только как свидетельство величайшей человеческой стойкости Булгакова-писателя, не только как гимн человеку нравственному — Иешуа Га-Ноцри и человеку творческому — мастеру, не только как история высокой, неземной любви Маргариты, но и как памятник городу, где происходят все основные события книги, памятник Москве, куда, как признавался сам писатель, он приехал, чтобы остаться навсегда.

Есть и еще один итог этого удивительного произведения: судьба романа, предсказанная его автором. «...Ваш роман вам принесет еще сюрпризы», — обещает Воланд мастеру, прощаясь с ним после волшебного бала.

Публикация «Мастера и Маргариты» в журнале «Москва», состоявшаяся спустя более четверти века после создания романа, произвела переворот в отношении к Булгакову тех, кто уже читал «Дьяволиаду» и «Роковые яйца», «Белую гвардию», «Жизнь господина де Мольера» и «Театральный роман», т.е. был современником писателя. «Мастер и Маргарита» потряс не только души читателей, но и те основы, на которые привычно опирались они в восприятии советской литературы. Для многих впервые открылось, что их понимание природы добра и зла, свободы и несвободы, жизни тела и жизни духа не «единственно верное» — существует иное толкование этих явлений, и, кто знает, быть может, гораздо более глубокое и правильное. В статьях, которые в 1968 — 1969 гг. появились в ряде журналов и вызвали оживленную полемику в печати, совершился настоящий прорыв к ранее неизвестным граням творчества писателя. Их авторы (В. Лакшин, И. Виноградов, П. Палиевский и другие) упоенно делились с читателями своими впечатлениями, своим потрясением от романа...

Новый взлет интереса к Булгакову начался после 1985 г на волне происходивших в стране перемен: словно поднялись шлюзы, и хлынуло в нашу жизнь все, что было открыто, страдано, рождено мыслью писателя. Возвращение его творчества к читателю стало триумфальным. Десятки театров ставили его пьесы. И не одни старые академические театры,

в «генетической памяти» которых был записан феноменальный успех «Дней Турбиных», «Зойкиной квартиры», «Багрового острова», но и многочисленные, в том числе и вновь созданные молодежные студии инсценировали прозаические произведения писателя, обращались к его забытым пьесам («Адам и Ева», «Мольер», «Александр Пушкин» и др.). Стремительно рос вал изданий и переизданий его прозы, публиковались ранние фельетоны, черновые редакции и наброски, письма и дневники. Тиражи книг Булгакова и журнальных публикаций давно уже исчисляются миллионами экземпляров. И продолжают расти. И раскупаются практически мгновенно. Значительно увеличился объем исследовательской и мемуарной литературы, ведутся биографические и библиографические изыскания, организуются международные булгаковские чтения и симпозиумы, защищаются диссертации.

Михаил Булгаков действительно оказался необходим всем, и в первую очередь литературе, российской словесности. Потому что его произведения — богатейшая школа мастерства, творческой фантазии, юмора, сатиры. Его влияние легко обнаружить в сочинениях многих авторов. И не только молодых. В прозе Б. Окуджавы, Б. Васильева, В. Орлова, в социально-фантастических повестях братьев Стругацких. А разве «евангельские» главы в романе В. Тендрякова «Покушение на миражи» и в «Плахе» Ч. Айтматова могли появиться, не будь на свете «Мастера и Маргариты»? Ведь само обращение к истории Иисуса Христа для оценки и осмысления событий современности впервые предпринято М. А. Булгаковым.

Булгаков нужен любому из нас. Каждая его вещь — это захватывающее чтение: обогащающее и облагораживающее. Его обращение к трагическим, темным страницам человеческого бытия не убивает, а пробуждает душу. Его смех не только веселит, но и заставляет думать. Добро в его произведениях и миротворяет, и требует действия. А зло рождает не столько ненависть, сколько горечь и сожаление. Все написанное Булгаковым в далеком вроде бы прошлом работает на сегодняшний день и на будущее.

Нынче мы возвращаемся к естественному человеческому состоянию. Начинаем по-иному, чем еще недавно, мыслить, чувствовать, оценивать суть и смысл своего бытия — индивидуального и общественного. И решительно удаляемся от того, что выращивали в нас идеологические пастыри и «опекаемые» ими литература и искусство. Немногие романы, повести, пьесы, написанные, как и булгаковские, 60 — 70 лет назад, остаются с нами. Булгаков же остается весь. Он становится для нас все ближе и все необходимое, потому что еще тогда видел и понимал то, что открывается нам лишь теперь. И уже одно то, что более чем за полвека опыт его сердца и разума ни сколько не устарел, вызывает особое доверие к этому опыту. Опыт писателя нужен нам еще и по той причине, что обре

тался он в мужественном преодолении всех испытаний, выпавших на его долю, в том числе и последнего, смертного страдания.

Булгаков от русских классиков, прежде всего Пушкина, унаследовал благородную правдивость, идейную глубину и гуманизм. А в «Мастере и Маргарите» создал незабываемые, потрясающие образы, укрепляющие веру в идеалы света и добра, к борьбе за победу которых призывали «великие зодчие», как называл Гоголь мастеров отечественной словесности, писателей земли русской. И творческое наследие Михаила Афанасьевича Булгакова мы с гордостью можем причислить к тем несокрушимым «краеугольным камням», тем гранитам, на которых создается высокое здание нашей культуры.

«Рукописи не горят», — заявляет один из главных героев «Мастера и Маргариты», выражая тем самым и авторское кредо. Посмертная судьба Булгакова подтвердила этот неожиданный афоризм-предсказание. И если при жизни писателя вряд ли кому в голову пришло назвать его «классиком», то на глазах нашего, особенно молодого поколения выросла и укоренилась в историческом времени слава Михаила Булгакова, Мастера на все времена. Про него уверенно можно сказать словами, обращенными к его любимому драматургу Мольеру: «Для его славы ничего не нужно, он нужен для нашей славы».

Донести это до читателей и призван настоящий сборник, вторая книга М. А. Булгакова, выпущенная издательством «Школа-Пресс» в серии «Круг чтения: школьная программа» (первый сборник — «И судимы были мертвые...»: Романы. Повести. Пьесы. Эссе. — вышел в 1994 г.). Так же как и в предыдущую книгу Булгакова, сюда включены наиболее важные и определяющие произведения писателя из числа вошедших в современную программу изучения отечественной литературы в школе: знаменитый роман «Мастер и Маргарита», фантастические повести «Дьяволиада» и «Роковые яйца», «Похождения Чичикова» и «Багровый остров». В сборнике представлены также некоторые автобиографические материалы, в том числе недавно введенный в литературоведческий оборот дневник Булгакова «Под пятой». Издание дополняет краткая летопись основных вех жизни и творчества писателя, а также избранная библиография, аннотирующая книги о М. А. Булгакове, вышедшие в последние годы.

При подготовке сборника использованы следующие издания: *Булгаков М. А. Собр. соч. В 5 т. Т. 2. М.: Худож. лит., 1989. Т. 5, 1990; Булгаков М. А. Письма. Жизнеописание в документах, М.: Современник, 1989, а также публикации в периодике*

МАСТЕР И МАРГАРИТА

Роман

Впервые: журн. «Москва». 1967. № 11; 1968. № 1. (в сокращении до журнального варианта); впервые полностью — в кн.: Булгаков М. Белая гвардия. Театральный роман. Мастер и Маргарита. М.: Худож. лит., 1973 (с последующими массовыми переизданиями); в другой редакции полностью — в кн.: Булгаков М. Избр. произв. В 2-х т. Т. 2. Киев: Дніпро, 1989; Булгаков М. А. Собр. соч. В 5 т. Т. 5. М.: Худож. лит., 1990 Печатается по последнему изданию.

С. 16. ...*так кто ж ты, наконец?* — Строки в эпиграфе — из 1-й части «Фауста» Гёте (сцена «Рабочая комната Фауста») — связаны с философской проблемой зла как ипостаси добра, причем Булгаков в этом не только опирается на Гёте, но и полемизирует с ним.

С. 17. *Никогда не разговаривайте с неизвестными.* — Название первой главы выражает бытовавшую в то время «житейскую мудрость» обывателей эпохи шпиономании и разоблачения «врагов народа». В сюжете романа такое предостережение было не лишним: разговор с неизвестным кончился трагически для одного из собеседников.

В час жаркого весеннего заката на Патриарших прудах... — Действие романа о мастере продолжается немногим более трех суток: от заката в какую-то майскую среду до полной темноты в ночь с субботы на воскресенье, причем по смыслу видно, что это воскресенье является началом православной Пасхи. Эти трое суток расписаны скрупулезно точно. Однако в романе нет ни одной точной датировки, хотя автор в ранних редакциях книги по своему обыкновению указывал время действия, отнеся его в не столь отдаленное (как в «Роковых яйцах») будущее: в год 1935-й (в редакции 1929 г.) или в 1943 и 1945 гг. (в редакции 1932 — 1933 гг.). По замыслу Булгакова, совпадают по времени происходящее в романе и события в древних, «новозаветных» главах книги: начались они в среду 12 нисана с приходом Иешуа в Ершалаим и его арестом в доме Иуды, а завершились на рассвете субботы 15 нисана. То есть история Иешуа-Иисуса приходится на Страстную неделю, завершающуюся праздником Пасхи. Дата этого праздника в первой трети нынешнего века, чтобы действие было в мае, приходится по «новому стилю» только на 5 мая 1929 г. Следовательно, основные события московских сцен романа происходят со 2-го по 4-е мая 1929 г., а последний полет — в пасхальную ночь 5 мая (на это есть и намек в самом тексте, когда упоминаются стихи поэта Рюхина, сочиненные «к первому числу» — к празднику 1 Мая).

Патриаршие пруды — район Москвы вблизи дома на Большой Садовой улице, где жил Булгаков, выбран не случайно. В древности это место называлось Козье Болото, в XVII в. здесь

была слобода, принадлежавшая патриарху Филарету. Таким образом, в самой топонимике сочетание служителей Бога с одним из символов дьявола — козым племенем вызывает ассоциацию тревожного, опасного места, где появление сатаны Волады вполне объяснимо.

... *Берлиоз, редактор толстого художественного журнала и председатель... Массолит... поэт... Поньрев, пишущий под псевдонимом Бездомный.* — В образе Берлиоза обнаруживают сходство с такими видными деятелями тех лет, как глава Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП), редактор журналов «Молодая гвардия» и «На литературном посту» Л. Л. Авербах (1903 — 1939), редактор «Красной нови» Ф. Ф. Раскольников (1892 — 1939), нарком просвещения А. В. Луначарский (1875 — 1938), редактор театрального журнала В. И. Блюм, и другими идеологами того времени. Недаром, подобно Иисусу Христу, Берлиоз имеет двенадцать заместителей, членов правления Массолита. Тема Христа и дьявола вводится также и фамилией персонажа, напоминающей о французском композиторе Гекторе Берлиозе (1803 — 1869), авторе «Фантастической симфонии» с ее частями — «Шествие на казнь» и «Адский шабаш».

Массолит — пародия на аббревиатуры, сокращения названий учреждений и организаций тех лет. Может быть расшифрована как «Московская ассоциация литераторов», или как «Массовая литература», или, по мнению А. Н. Баркова, даже как «Мастера социалистической литературы».

Иван Бездомный — собирательно-шаржированный образ современных Булгакову поэтов, пишущих под идеологически выдержанными псевдонимами: Демьян Бедный, Михаил Голодный, Иван Приблудный, Павел Беспощадный, Александр Безыменский и другие.

С. 19. *Речь... шла об Иисусе Христе... заказал антирелигиозную поэму...* — такого рода поэмы, стихи, карикатуры имели тогда и позднее достаточное распространение и являлись частью официальной антирелигиозной пропаганды. Отношение Булгакова к рупору этой пропаганды — журналу «Безбожник» сегодня известно (см. с. 584 — 585 настоящего издания). Видное место в продукции такого рода занимали сочинения Д. Бедного (Е. А. Придворов, 1889 — 1945), опубликованного в 1925 г. свой «Новый завет без изъяна евангелиста Демьяна», написанный, по утверждению автора, в «страстную седмицу» (предпасхальную неделю). Именно к наступающей Пасхе и заказал Берлиоз поэму Бездомному, а Бездомный сочинил карикатурный портрет Иисуса Христа, как и Д. Бедный. Исследователи находят и стиливую игру фамилий: Придворов — Бездомный, отмечая, что в основу разбора Берлиозом поэмы Ивана Бездомного автор положил разгромную рецензию поэта С. М. Городецкого на пьесу С. М. Чевкина «Иешуа Ганоури. Беспристрастное открытие истины» (1922), что явилось

одним из источников сюжета романа.

...указывал... на знаменитого Филона Александрийского, на блестяще образованного Иосифа Флавия... знаменитых Тацитовых «Анналов»... — Имеются в виду известные ученые древности: иудейско-эллинистический религиозный философ Филон Александрийский (ок. 25 до н.э. — ок. 50 г. н.э.); римский историк, автор книг «Иудейская война», «Иудейские древности» Иосиф Флавий (37 — после 100 г. н.э.); римский историк и писатель Корнелий Тацит (ок. 55 — ок. 120 г. н.э.), автор исторической хроники «Анналы», излагающей римскую историю с 14 по 68 г. н.э.

С. 20. ...узнавал... про египетского Озириса... финикийского бога Фаммуза, и про Мардука... грозного бога Вишлитуцли... — Озирис — в древнеегипетской мифологии бог умирающей и воскрешающей природы и царь загробного мира; Фаммуз — в сирийско-финикийской мифологии бог плодородия, полгода проводящий под землей; Мардук — главное божество вавилонского пантеона, покровитель врачевания, рас- тительности и воды; Вишлитуцли (точнее — Уцилопочт-ли) — ацтекский бог войны, которому приносили в храме человеческие жертвы и упоминание имени которого предвещает появление сатаны. Тем самым Булгаков говорит, что Берлиоз своими рассуждениями сам пригласил сатану на Патриаршие пруды: сначала в аллее «соткался из воздуха» его предтеча — Корovieв, а уж потом пожаловал и сам Воланд.

С. 21. ...финикийский Адонис, фригийский Аттис, персидский Митра. — Берлиоз перечисляет мифологических богов народов, проживавших в древности в районах Ближнего Востока, Передней и Малой Азии.

С. 23. ...с доказательствами бытия Божия, коих... существует ровно пять... — Вопрос о бытии Божиим — один из центральных в «Мастере и Маргарите». С ним связан не только спор Берлиоза с Воландом, но и весь сюжетный узел произведения в обеих его частях — современной и античной: Иешуа и мастер — как носители божественной истины, Пилат и Берлиоз — как прагматики и релятивисты. Воланд называет пять доказательств существования Бога, следуя учению, развитому теологами и философами древних и средних веков (Аристотель, Сократ, Платон, Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский, Лейбниц и др.): космологическое, онтологическое, телеологическое, историческое и гносеологическое доказательства. Тогда кантовское доказательство (нравственное) оказывается шестым. «Седьмое доказательство», которое Воланд «предъявляет» Берлиозу, является не более чем его злой шуткой, доказывающей не бытие Божие, а способность Воланда предвидеть события.

... беспокойного старика Иммануила... — Имеется в виду немецкий философ-идеалист И. Кант (1724 — 1804), основоположник немецкой классической философии. Доказательство

Канта было морально-нравственное, «от противного»: он утверждал, что вера в Бога есть норма нравственного поведения и религия становится предметом веры, а не какой-либо науки. Кант формулировал это так: «Верить в Бога не только возможно, но и необходимо, так как без веры невозможно примирить требования нравственного сознания с фактом зла, царящего в человеческой жизни».

...недаром Шиллер говорил ... а Штраус просто смеялся... — Речь идет о деятелях немецкой культуры: И. Ф. Шиллере (1759 — 1805) — поэте, драматурге, историке, теоретике искусства, одном из основоположников немецкой классической литературы и Д. Ф. Штаусе (1808 — 1874) — философе, теологе, историке религии. Мнения этих ученых приводятся в романе из статьи «Бог» в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, одной из главных настольных книг Булгакова.

...года на три в Соловки! — Так называли лагерь-тюрьму преимущественно для политических заключенных на Соловецких островах в Белом море. В настоящее время все помещения основанного в XV в. Соловецкого монастыря, где располагался лагерь, возвращены Православной церкви.

С. 29. *...чернокнижника Герберта Аврилакского...* — Г. Аврилакский или римский папа Сильвестер II (938 — 1003) — средневековый мыслитель, церковный и государственный деятель, слывший алхимиком и чародеем; молва связывала его с нечистой силой.

Нисан — первый синагогальный и седьмой гражданский месяц по лунному еврейскому календарю, состоящий из 29 дней и соответствующий приблизительно концу марта — началу апреля. На вечер этого дня (т. е. 14 нисана) приходится начало еврейской Пасхи, установленной в память об исходе предков из Египта и продолжающейся семь дней.

Ирод Великий (ок. 74 — 4 до н. э.) — жестокий и ловкий политик; оказал важные услуги римлянам, которые поставили его царем Иудеи (40 — 4 до н. э.). Много занимался градостроительством, подражая греческим и римским образцам.

...прокуратор Иудеи Понтий Пилат. — В древних, «ершалаимских» главах романа Булгаков по-своему интерпретирует евангельское предание о казни распятием Иисуса Христа в Древней Иудее по приказу римского наместника-правителя Понтия Пилата (прокуратора в 26 — 36 гг.). В сюжете этого «романа в романе» используются реальные исторические лица и вымышленные, топографические объекты Иерусалима и его окрестностей. При создании «новозаветных» глав автор учитывал труды историков — Ф. В. Фаррара, Д. Ф. Штрауса, Ж. Э. Ренана, Н. К. Маккавейского, ряд статей Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона и другие материалы.

С. 30. *Ершалаим* (евр.: владение мира) — одно из названий древнего Иерусалима, столицы Иудеи. В I в. город отличался архитектурным богатством и был священным для иудеев.

Главной святыней города был храм, построенный при царе Соломоне; разрушен в 583 г. до н. э. вавилонянами; в 537-515 гг. до н. э. построен второй храм, роскошно украшенный и фактически перестроенный Иродом; разрушен при взятии Иерусалима римским императором Титом в 70 г. Христу, по евангельскому преданию, вменялось в вину разрушение храма, что в глазах иудеев было святотатством.

...первая когорта Двенадцатого Молниеносного легиона — Легион римское воинское пехотное соединение при императоре Тиберии состоявшее из 10 когорт, когорта состояла из трех манипул, а манипула из двух центурий (центурия насчитывала в разное время от 60 до 100 солдат)

Геликрания название головной боли (мигрени), которой, как вспоминала Елена Сергеевна Булгакова страдал сам Булгаков во время работы над романом

Галилея одна из областей Палестины, самая населенная и плодородная Родина Иисуса Христа Во время действия «романа в романе» управлялась тетрархом (правителем четвертой части), сыном Ирода Великого Иродом Антипой (4-39), человеком хитрым и тщеславным.

Синедрион Великий Синедрион в Иерусалиме был высшим судебным и политическим учреждением и состоял из 70 членов и председателя, которым был первосвященник В римскую эпоху существовали отделы Синедриона — юридический, политический и другие так называемые малые синедрионы, насчитывавшие по 23 члена

...по-арамейски. — Арамейский — основной разговорный язык населения Палестины того времени принадлежит к семитской языковой группе

С. 32 *Иземон* — в пер. с греч. — наместник, главарь; в русском тексте Евангелия — правитель

Иешуа Га-Ноцри. Иешуа в пер. с арамейского «господь-спасение»; такое же объяснение написания имени Иисуса приводит историк Фаррар. Га-Ноцри означает «из Назарета» (Назарет — евр.: цветущий, — родной город Иисуса Христа по Евангелию). В этом же месте романа у Булгакова родиной Иешуа названа Гамала, позже героя называют нищим из Эн Сариды (арабское название Назарета). Противоречия эти объясняются разногласием источников.

С. 33. *Левий Матвей.* — Прототипом Левия Матвея является евангельский Левий Матфей, сын Аафея, один из 12 апостолов и четырех евангелистов. Автор первого Евангелия (ок. 42 г.) бывший до встречи с Иисусом Христом сборщиком податей (мытарем) в Капернауме.

С. 34. *Виффагия* — в пер. с арамейского «дом незрелых смокв» (смоква — плод смоковницы, или инжирного дерева), селение под Иерусалимом близ Елеонской горы, откуда по евангелисту Матфею началось последнее шествие Христа в Иерусалим

С. 36 — 37. *Елеонская гора* (от греч.: олива, маслина) — Масличная гора близ Иерусалима, на которой были масличные сады, оливковые рощи. В Гефсиманию (от арамейского: жом, пресс для отжимания маслин) — место у подножия Елеонской горы за Кедром (ручьём, текущим за восточной стеной Нижнего Города), — согласно Евангелию, любил удаляться Христос со своими учениками, и здесь, в Гефсиманском саду, его арестовали после доноса и поцелуя Иуды. Гефсиманские ворота — в восточной стене в сторону Гефсимании, *Сузкие ворота* — ворота в восточной стене напротив Масличной горы. По Евангелию, Христос, согласно предсказанию пророка, въехал в Иерусалим на ослице и был приветствуем народной толпой.

С. 38. *Турма* — конный отряд на 30 — 33 всадников. *Ала* (с. 52) — фланговое прикрытие легиона, отряд римской конницы в 300 человек.

...при *Идиставизо*, в *Долине Дев* — место битвы римлян с германцами на правом берегу р. Везер в 16 г. (римский полководец Германик разбил Арминия).

С. 39. *Кесария Стратонова* — приморский город на северо-западе от Иерусалима, резиденция прокуратора Иудеи.

С. 41. *Калиги* — полусапоги, преимущественно солдатские, до половины покрывавшие голень.

С. 43. *Лысая Гора* — то же, что Голгофа (евр.: череп); место, где был распят Христос (на северо-востоке от Иерусалима, теперь — в черте города).

С. 47. *Антиохия* — город на р. Оронте, основанный в 300 г до н.э.; столица Сирийского государства, а затем — провинция Сирии, местопребывание римского наместника. *Соломонов пруд* — три искусственных водоема, находящихся в 25 км к югу от Иерусалима; римляне собирались построить акведук для снабжения Иерусалима водой из этих прудов.

С. 49. *Трибун когорты* — начальник конницы в эпоху римских цезарей.

С. 50. *Итурейская когорта* — Итурия — горный район на северо-востоке Палестины, населенный в I в. н. э. арабами. Император Август отдал Итурию Ироду Великому.

С. 57. ...*трамвай, поворачивающий по новопроложенной линии с Ермолаевского переулка на Бронную*. — Эта трамвайная линия вблизи Патриарших прудов на Малой Бронной улице проектировалась (было начато строительство), но вскоре упразднена, хотя память об этом сохранили некоторые старожилы-москвичи. *Турникеты-вертушки* — реальная деталь ограды московских бульваров и скверов прошлых лет.

С. 62. ...*профессор непременно должен оказаться в доме № 13 и обязательно в квартире 47*. — Путь Бездомного от Патриарших прудов до этой квартиры по московским улицам и переулкам описан достаточно реально. Булгаков имел в виду дом 12 по Савельевскому переулку, где в квартире 66 на

втором этаже жили его друзья — филолог Н. Н. Лямин (1892 — 1941?) и его жена, художница Н. А. Ушакова (1899 — 1990).

С. 63. *...на гранитных ступенях амфитеатра Москвы-реки.* — В ранних редакциях романа купание Бездомного произошло вблизи храма Христа Спасителя, имевшего такой лестничный спуск — «амфитеатр» к воде. В последующих и окончательной редакциях, написанных после уничтожения храма (1931), его название не упоминалось. Более скромный спуск был напротив Савельевского переулка. Купание Ивана, как и его свечка с иконкой, имеет магический смысл (он уже начинает догадываться, что имеет дело «с нечистой силой»): это своеобразное крещение с окунанием в символическую купель.

С. 64. *... к Грибоедову!* — Булгаков имеет в виду собирательный образ домов творческой интеллигенции в Москве, топографически обрисованный в известном тогда Доме Герцена (Тверской бульвар, 25), где теперь находится Литературный институт, а раньше размещались правления многочисленных литературных организаций и писательский ресторан (высмеянный Маяковским в стихотворении «Дом Герцена»). В главе «Последние похождения Коровьева и Бегемота» «Грибоедов» соотнесен с торгсином: оба учреждения являлись своеобразными закрытыми распределителями жизненных благ для элиты; одинакова и их участь — гибель в пламени пожара.

С. 66. *Передышка.* — Имеется в виду дачный писательский поселок в Перedelкинe недалеко от Москвы; упоминаемая далее (с. 68) р. Клязьма относится к другому такому поселку — в Болшеве, в противоположном направлении.

С. 69. *...Лаврович...* — В этом образе могли соединиться помощник Л. Авербаха и один из руководителей РАПП критик Г. Лелевич (Л. Г. Калмансон, 1901 — 1946) и драматург В. В. Вишневский (1900 — 1951), выступавшие с критикой пьес Булгакова. С Всеволодом Вишневским как автором сценария кинофильма «Мы из Кронштадта» (1933) связан и персонаж из танцующих в ресторане — *писатель Иоганн из Кронштадта.* (с. 71).

С. 71. *...черноглазый красавец с кинжальной бородой ... Арчибальд Арчибальдович...* (с. 75) — Прототипом этого героя послужил Яков Данилович Розенталь (1893 — 1966), директор ряда ресторанов при писательско-артистических клубах в 1920 — 1950 гг., имевший характерную внешность и шутили-вое прозвище Борода. В сцене полуночного ужина и танцев в «Грибоедове» этот образ соотнесен с образом Воланда на балу сатаны, да и само происходящее в ночном заведении названо «адам», открывающимся кошунственным фокстротом «грибоедовского джаза», как и на «бале весеннего полнолуния», и в нем звучит трагический лейтмотив («О боги, боги мои...»).

С. 76. *... поэт Рюхин...* — Возможный прототип этого ге-

роя — современный Булгакову поэт и сосед его по дому Александр Жаров (1904 — 1978), некоторые строчки стихов которого спародированы в романе. Разговор Рюхина с «чугунной» статуей Пушкина, стоявшей тогда в конце Тверского бульвара, ассоциирован со стихотворениями, обращенными к великому поэту, С. Есенина («Мечтая о могучем дарее...») и В. Маяковского («Юбилейное»).

С. 85. ...в большом шестизэтажном доме, покоем расположенном на Садовой улице... квартира эта — № 50... — За фантастическим адресом («дом 302-бис») «шестизэтажного» дома, расположенного «покоем» (т.е. в виде буквы П, называвшейся в старорусской азбуке «покой»), узнается реальный пятиэтажный дом на Большой Садовой улице (построен для табачного фабриканта И. Д. Пигита в 1903 г.), в котором жил сам Булгаков (в квартирах 50 и 34) в 1921 — 1924 гг. и который описал в ряде других своих произведений. Реальный номер дома (№ 10) получается из удвоения («бис») суммы цифр (3 + 0 + 2), входящих в этот номер; при этом представляется правомочной и иная версия этого «бесовского» номера: на почтовой открытке, изображающей фотографию дома (выпущена в 1910-х гг.), напечатано: «Москва — Moscou. № 322. Садовая Триумфальная, д. Пигить»; т. е. Булгаков использовал порядковый номер почтовой карточки с видом этого дома с небольшим изменением: серединная «2» заменилась нулем и превратилась в тот самый «бис», причем не обошлось и без украинского биса.

С. 90. *Воланд* — немецкое имя булгаковского сатаны (der Voland — черт) восходит к «Фаусту» В. Гёте в сцене «Вальпургиева ночь», где действует Yunker Voland. Гётевского Мефистофеля у Воланда напоминают и его внешние атрибуты (грим оперного Мефистофеля — Шаляпина из любимой Булгаковым оперы Ш. Гуно; эмблема пуделя, в образе которого Мефистофель впервые явился Фаусту, имя Маргариты, эпиграф ко всей книге — см. примеч. к с. 16 и др. Воланд наделен и некоторыми другими признаками «злого духа»: он хромает, носит на груди языческий амулет, повелевает демонами и грешниками, восставшими из ада). Исследователи Б. В. Соколов и А. Н. Барков полагают, что прототипом Воланда мог быть и В. И. Ленин.

С. 94. *Азazello* — итальянизированная форма еврейского имени Азazelь (козел-бог). Так зовут отрицательного героя апокрифической книги Еноха, падшего ангела, научившего людей изготавливать оружие, украшения, давшего им косметику, зеркала. Булгаковский Азazello, как и его ветхозаветный прототип, занимается в романе похожими делами.

Мессир — почтительное наименование феодала; позднее употреблялось перед собственными именами священнослужителей, юристов, медиков и других уважаемых лиц.

С. 98. ...доктор *Стравинский*... — Прототипом доктора

Стравинского был, скорее всего, известный московский психиатр Е. К. Краснушкин (1885 — 1951), знакомый Булгакову в те годы. Место фантастической клиники Стравинского — «дома скорби» можно определить по адресам работы Краснушкина в начале 1930-х гг.: это психиатрические лечебницы, расположенные по ленинградскому и волоколамскому направлениям от Москвы.

С. 104. ...*Босой, председатель жилищного товарищества...* — один из ненавистной Булгакову категории чиновников. В 1921 — 1934 гг. писатель был озабочен поисками жилья, и фигура домоуправа, «выжиги и плута», характерна для его творчества в целом: например, «барашковая шапка» в «Воспоминании», Никитушкин в «Доме Эльпит...», Аллилуея-Портупея в «Зойкиной квартире», Бунша в «Иване Васильевиче».

С. 106. ...*Фамилия моя... ну, скажем, Коровьев.* — Исследователи находят аналогии с другими литературными фамилиями «животного» происхождения: Коровкин из «Братьев Карамазовых» Ф. М. Достоевского, рыцарь-вампир Теляев из повести А. К. Толстого «Упырь», таинственный Козлинский из повести Ю. Слезкина «Козел в огороде» и др. Другое его прозвище — Фагот — название не только музыкального инструмента в виде большой деревянной трубки дребезжащего тембра, но и синоним слов *вранье, шут* и т. п. По мнению А. Н. Баркова, этот образ мог быть списан с известных Булгакову деятелей культуры: знаменитого артиста МХАТ В. И. Качалова (1875 — 1948) и драматурга Н. Р. Эрдмана (1902 — 1970).

С. 112 — 113. — ...*недалеко от дома 302-бис... в кабинете финансового директора Варьете Римского... администратор Варьете Варенуха.* — В Москве не было театра с таким названием. Прототипом Варьете послужил Московский мюзик-холл (1926 — 1936) на Б. Садовой (№ 18) в бывшем цирке Никитина. Теперь там помещается Театр сатиры. «Летний сад при Варьете» — это сад «Аквариум». Мюзик-холл имел 1766 мест, а не 2500, как указано в романе. Слово *варенуха* буквально обозначает «пьяный напиток из навару водки и меда на ягодах и пряностях» (ср. *медовуха* и др.). Этот персонаж у Булгакова — трагикомический. По мнению А. Н. Баркова, в качестве Римского и Варенухи выведены известные театральные деятели — К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко, а Варьете — это МХАТ со своими филиалами.

С. 123. ...*я тебя поцелую, — нежно сказал девушка...* — По мнению Б. В. Соколова, источник сцены поцелуя Геллы, делающего Варенуху вампиром (и другие сцены с вампирами), — повесть А. К. Толстого «Упырь», где женщина-вампир таким поцелуем обращает в вампира (упыря) одного из героев. Характерные признаки вампиров — причмокивание и присасывание (а это черты Варенухи в 14-й главе романа) — из того же источника. Исчезновение тени у существа, попавшего в

сети «нечистой силы», считали в Средние века одним из признаков колдунов.

С. 128. *...чудеса велосипедной техники семьи Джулли...* — Прототипом «семьи» послужили велофигуристы тогдашнего музык-холла: труппы Польди (Подрезовы) и Вартанио (Вартановы).

С. 130. *Жорж Бенгальский* — собирательный образ, объединяющий черты нескольких популярных конферансье тех лет: А. Г. Алексеева, А. А. Грилля, А. А. Менделевича и др.

С. 137. *Герлэн* — французская парфюмерная фирма. *Шанель, Мицуко, Нарсис Нуар* — названия французских духов.

С. 139. *...Аркадио Аполлоновичу Семплеярову, председателю Акустической комиссии...* — Эта фамилия, видимо, образована от фр. simple — «простой, заурядный, глупый». Подчеркнуто высокое положение этого человека, претендующего на руководство общественным мнением, тогда как предел его возможностей — руководство грибозаготовочным пунктом. Отчество Аполлонович иронически указывает на отношение Семплеярова к античному богу — покровителю муз; Семплеяров — мнимый служитель муз, поскольку абсолютная ненужность его мифической комиссии очевидна. В черновых списках романа он значился как Пафнутий Аркадьевич. Имя Аркадий, возможно, тоже не случайно: фамилия руководителя существовавшего в Москве подобного учреждения (Управления театрально-зрелищными предприятиями Наркомпроса РСФСР) была Аркадьев М. П.

С. 140. *...роль Луизы...* — Луиза Миллер — героиня пьесы Ф. Шиллера «Коварство и любовь».

С. 141. *Его превосходительство // Любил домашних птиц...* — переиначенные слова куплетов из водевиля Д. Г. Ленского «Лев Гурьч Синичкин, или Провинциальная дебютантка» (1839): «Его превосходительство // Зовет ее своей // И даже покровительство // Оказывает ей». Удалось обнаружить и более близкий к словам «марша» в романе источник текста: стихотворение поэта середины прошлого века Льва Камбека «Современная заметка», опубликованное в «Петербургском вестнике», № 13 за 1863 г. (перепечатано в альманахе «Лазурь», 1991, № 2, в статье А. Корнеева):

Его превосходительство
Любил хороших птиц
И брал под покровительство
Хорошеньких девиц.
Он был большим проказником
И в клубе в вист играл,
Грошами он по праздникам
Всех нищих одарял.
Актрис к местам пристраивал,
Брильянтами дарил,
Крестьян своих расстраивал
И по миру пустил.

... *наглый котяра Бегемот*... — Это имя одного из демонов, подручных сатаны. В книге Еноха упоминается мужское чудовище Бегемот, обитающее в невидимой пустыне. Используя данный источник, автор мог взять образ этого ветхозаветного мифического персонажа, имевшего, правда, не такой вид уютного домашнего животного. Вызывается ассоциация и с заглавием популярного сатирического журнала «Бегемот», выходявшего в 1920-е гг.

С. 141, 146. ... *заглядывал в комнату бритый, темноволосый, с острым носом, встревоженными глазами...* Я — *мастер*... — Главному герою в этой сцене первого появления («явления») в романе придано сходство с Гоголем, в дальнейшем внешность мастера меняется, вследствие того что автор еще не успел отредактировать текст. Параллели между мастером и Гоголем, между ними и самим Булгаковым прослеживаются и в других деталях: сожжение романа о Пилате, Булгаковым — черновиков «романа о дьяволе», а Гоголем — рукописи второго тома «Мертвых душ». Писатель наделил мастера и некоторыми автобиографическими чертами: Булгакову, как и его герою, в начале мая 1929 г. (время действия в романе — см. примечание к с. 16) было почти 38 лет, совпадают и некоторые внешние черты. В создании образа использованы и факты биографий ближайших друзей Булгакова — Н. Н. Лямина (см. примеч. к с. 583), филолога П. С. Попова (1892 — 1964) и художника С. С. Топленинова (1895 — 1960). Жилища двух последних послужили прототипически «подвалу мастера»: Плотников переулок, 10, кв. 35 и Мансуровский переулок, 9, кв. 2. По мнению А. Н. Баркова, в качестве прототипа мастера мог быть не кто иной как А. М. Горький-Пешков (1864 — 1936), а Маргариты — его жена в гражданском браке в 1900-е гг., актриса Художественного театра М. Ф. Андреева (1868 — 1953).

С. 148. *Она несла в руках... желтые цветы... повернула с Тверской в переулок...* — Е. С. Булгакова называла себя Маргаритой. Познакомилась Е. С. с автором романа весной 1929 г. (!) как раз в переулке у Тверской улицы — Большом Гнездиновском. Есть и другое свидетельство: Маргарита Петровна Смирнова (1899 — 1990) была дружна с Булгаковым весной и летом 1931 г. и в своих воспоминаниях говорит о своем влиянии на выбор имени героини. Отсюда и различные версии об адресе «готического особняка», где жила с мужем Маргарита (см. примеч. к с. 224).

С. 152, 156. ...*критики Латунский и Ариман и литератор Мстислав Лаврович ... подписанная буквами «М. З.»*. — В измененном виде названы лица, участвовавшие в травле Булгакова в прессе. Под фамилией О. Латунский выведены, скорее всего, два театральных критика: О. С. Литовский (бывший одно время председателем Главреперткома, запрещавшего пьесы Булгакова) и А. Орлинский (призывавший «дать отпор

булгаковщине»). Фамилия Ариман (совпадающая с именем духа зла в ряде религий) может ассоциироваться с Л. Л. Авербахом (см. примеч. к с. 16), а Мстислав Лаврович — с Всеволодом Вишневским (по созвучию в выражении «лавровишневые капли», см. примеч. к с. 69). «М.З.» — это реальное лицо: критик М. Загорский, тоже зло писавший о Булгакове и его произведениях.

С. 159. *Слава петуху!* — Образ петуха в народных представлениях часто связан с солнцем, светом, теплом; крик петуха предвещает рассвет, утро, разгоняет всякую нечисть и отпугивает мертвецов. В романе петух спасает Римского от Геллы; пением петуха завершается бал сатаны.

С. 168. *Сон Никанора Ивановича*. — Исторической основой главы послужила кампания по изъятию у населения СССР золота, иностранных денег («валюты») и других ценностей, проводившаяся НКВД двумя «волнами»: в 1928 — 1929 и 1931 — 1933 гг. «Золотые ночи» по изъятию собственности сопровождалось жестокими репрессиями. Глава эта писалась в 1937 г. под влиянием книги Л. Фейхтвангера «Москва 1937» и пушкинской темы (100-летие со дня смерти). Комический тон повествования имеет и литературный источник: Л. Фейхтвангер, описывая судебный процесс над бывшими руководителями страны, уверяет в добровольности дачи показаний на суде, ссылаясь на полное признание подсудимыми предъявленных им обвинений и не замечая зловещей театральности этих процессов, закончившихся казнью осужденных.

С. 180. *Хевронские ворота*. — Судя по описанию, это Яффские, или Долинные, ворота, неподалеку от дворца Ирода; Хеврон — один из древнейших городов Палестины, в 37 км на юго-западе от Иерусалима; Яффа — город на берегу Средиземного моря вблизи Иерусалима.

...каппадокийской когорты... — Каппадокия — область в Малой Азии, входившая в состав Римской империи.

Вифлеем (евр.: дом хлеба) — небольшой городок к югу от Иерусалима, место рождения, согласно Новому Завету, Иисуса Христа (отсюда и Вифлеемская звезда и другие символы христианства).

С. 184. *Таллиф* — облачение поверх платья для мужчины в Древней Иудее; обычно из шерсти или шелка белого цвета с голубыми полосами на краях и четырьмя кистями.

С. 186. *Кефи* — накидка на голове, стянутая обручем; традиционный головной убор на Ближнем Востоке.

С. 188. *Гионская долина* — долина Гинном, подходит к Иерусалиму с юго-запада, близ Солнечных ворот. В языческие времена была местом человеческих жертвоприношений; иудеи это место превратили в городскую свалку, где для уничтожения отходов постоянно горел огонь; поэтому название этой долины стало символизировать место вечных мучений грешников в загробном мире — «геенну огненную».

С. 190. *Тьма закрыла Ерашалаим.* — Евангелие сообщает о землетрясении и тьме, наступившей со смертью Иисуса Христа. При подготовке этой главы Булгаков сделал выписку из книги Д. Штрауса «Жизнь Иисуса»: «Причинной тьмы, которую один Лука определяет более точным образом — как затмение солнца, не могло быть естественное затмение: в это время было пасхальное полнолуние...». Как объяснительную причину евангельской тьмы Булгаков изображает грандиозную грозу; такая же гроза произойдет в Москве, когда Воланд со спутниками покидают город.

С. 199. *...побывать в филиале ее, помещавшемся в Ваганьковском переулке... Городской зрелищный филиал...* — Из трех злосчастных мест, где побывал бухгалтер Варьете, адресно обозначен лишь один: в Ваганьковском переулке. «Особняк в глубине двора» за «решеткой» ограды узнается в доме № 17, уже описанный Булгаковым в очерке об учителях — «Птицы в мансарде» (1923). Название Ваганьковский переулок (имевший названия и Староваганьковский, и улица Маркса и Энгельса) выбрано не случайно, так как ассоциируется с жившими здесь некогда царскими потешниками — ваганами, иначе говоря, скоморохами и шутами. Все действия «регента» Коровьева как раз подходят к этой профессии.

С. 204. *Его не радовали весенние разливы Днепра...* — Последнее художественное описание Киева в творчестве писателя. Образ Поплавского с Институтской улицы собирательный и отчасти ностальгический.

С. 212. *...на спинку стула наброшен был траурный плащ, подбитый огненной материей, на подзеркальном столике лежала длинная шпага с поблескивающей золотой рукоятью.* — Эти атрибуты оперного Мефистофеля (далее упоминаются черное белье и черные «востроносые» туфли Воланда) описаны как бы в преддверии будущего бала сатаны, с его явно утрированной театральностью, пародирующей оперные постановки «Фауста» и «Демона».

Барон Майгель?.. Фрак или черный пиджак. — Есть ряд прототипов у этого персонажа. Сама фамилия могла быть заимствована с некоторым изменением у баронского рода Майделей из прибалтийских губерний царской России. По мнению Б. В. Соколова, один из прототипов булгаковского героя — комендант Петропавловской крепости барон Е. И. Майдель (1817 — 1881), описанный Л. Н. Толстым в «Воскресении». Есть и современные Булгакову кандидатуры. Например, М. Майзель, автор книги «Новобуржуазная литература» (1929), выступавший с резкой критикой произведений Булгакова. Или сподвижник Б. Савинкова (см. примечание к с. 570) и одновременно сотрудник ЧК барон фон Дикгоф, скрывавшийся под псевдонимом Барона А. А. Деренталья и «специализировавшийся» на иностранцах. Барона Майгеля, «служащего Зрелищной комиссии», напоминает и фигура некоего Б. С. Штейн-

гера, бывшего барона, работника наркомата иностранных дел, позже директора Музея Большого театра. Он достаточно часто встречался Булгакову в разных местах, в том числе и в американском посольстве; на выбор этого лица в качестве прототипа Майгеля мог повлиять еще и тот факт, что Штейгер был приговорен к расстрелу в декабре 1937 г. в составе группы «врагов народа» во главе с известным функционером А. С. Енукидзе (1877 — 1937), сыгравшим определенную негативную роль в биографии Булгакова.

«Фрак или черный пижмак» — такая приписка была на визитной карточке посла США в СССР У. К. Буллита, присланной Булгакову в качестве приглашительного билета на торжество в американском посольстве по случаю Дня независимости. Как вспоминала Е. С. Булгакова, это взволновало ее мужа: «Миша мучился, что эта приписка только для него... пришлось идти в костюме» (см. также примеч. к с. 258).

С. 218. *..Гелла, проводи!* — имя этой своей героини, уже встречавшейся на страницах романа то в качестве женщины-вампира, то как продавщицы магазина французской моды, Булгаков мог заимствовать из статьи «Чародейство» в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, где отмечается, что на греческом Лесбосе этим именем называли безвременно погибших девушек-вампиров; шрам же на шее Геллы указывает, что она погибла насильственной смертью.

С. 219. *...он был на другой стороне улицы в аптеке... Кузьмин живет буквально через двор в маленьком белом особнячке...* — Аптека эта действительно существовала (дом № 1 почти напротив дома 10 по Большой Садовой улице). Рядом, в особнячке (дом № 3), жила будущая жена Булгакова, тогда — Е. С. Шнловская со своей семьей. Реальный профессор В. И. Кузьмин, лечивший в конце 1930-х гг. Булгакова, жил тоже поблизости: на Садово-Кудринской улице, 28. Визит буфетчика к профессору и эпизод с танцующим фокстрот воробушкой (с. 222) умирающий Булгаков продиктовал жене в январе 1940 г.

С. 223, 224. *Возлюбленную его звали Маргаритой Николаевной... занимали весь верх прекрасного особняка в саду в одном из переулков близ Арбата.* — Как уже указывалось (см. примеч. к с. 148), образ главной героини романа может быть биографически соотнесен с Еленой Сергеевной Булгаковой (1893 — 1970), женой писателя. Внешних совпадений у образа и прототипа не так уж и много, но зато была большая соотнесенность психологическая — огромная, фанатическая сила любви, неколебимое мужество и энергия в защите своего чувства и любимого человека. Другая реминисценция связывает Маргариту Николаевну с «королевой Марго» — Маргаритой Валуа (1553 — 1615), историческим и литературным персонажем: у нее та же дерзость в любви и решительность в поступках, порой грубая выразительность ее речи, но вместе

с тем и королевское достоинство (проявившееся у булгаковской героини во встречах с Воландом), верность нравственному долгу, добрая воля, готовность к самопожертвованию...

«Готический особняк» Маргариты, возможно, соединил в себе черты нескольких характерных зданий. Это может быть дом-особняк на Остоженке (№ 21), здание в М. Ржевском переулке (ул. Палиашвили, 6), находящееся вблизи дома (Большой Ржевский пер., 11), где жила Елена Сергеевна до переезда к Булгакову. Называются и другие адреса. Географическое место «особняка» определяется в М. Власьевском переулке (ул. Танеевых), где до 1970-х гг. стоял «дом в яблоневом саду» (№ 9-а) — жилище семей Калужских и Бабаниных, актеров МХАТа, у которых часто бывал и Булгаков. И хотя Е. С. Булгакова сама указывала последний адрес как наиболее прототипически достоверный, все же следует отметить, что однозначно соотнести романские пространственные ориентиры с реальными в этом случае, как и в большинстве других, невозможно.

С. 227. *...Исчезли висячие мосты...* — Иерусалим расположен на холмах, и поэтому некоторые участки города соединялись висячими мостами. *Антониева башня* — крепость в Иерусалиме в северо-восточном углу за площадью храма. Названа так построившим ее Иродом Великим (см. примеч. к с. 29) в честь римского правителя. *Хасмонецкий дворец* — Хасмонеи или Маккавеи — династия царей, правивших Иудеей в 142 — 37 гг. до н.э. Дворец имел две башни, большие дворы, бани и был соединен с храмом центральной аллеей.

С. 236. *Крем Азazelло*. — Мотив волшебной мази, втирание которой сообщает человеку чудесные свойства — делает невидимым, способным летать без каких-либо приспособлений, молодит, лечит и т. п., связан с поверьями о колдунах и ведьмах, причем часто в рецепт такой мази входит человеческая кровь. Не случайно мазь (крем) дает Маргарите демон Азazelло (см. примеч. к с. 94).

С. 241. *Полет*. — Описанный в романе «маршрут» полета ставшей ведьмой Маргариты заставляет вспомнить адрес «ее особняка», указанный Е. С. Булгаковой (см. примеч. к с. 224), т. е. М. Власьевский переулок, откуда она полетела в сторону Арбата, пересекла Сивцев Вражек вблизи нефтелавки (дом № 22) и далее — по Калошину переулку. «Дом Драмлита» (с. 243) — по всей вероятности, это внушительное здание в Замоскворечье (Лаврушинский пер., 17/19), выстроенное для писателей в середине 1930 гг., Булгаков перенес его «как бы по воздуху» в конец Б. Николопесковского переулка (ул. Вахтангова) у тогдашней Собачьей Площадки.

С. 252 — 253. *...светлая королева Марго... про кровавую свадьбу своего друга в Париже Гессара...* — Речь идет об одном из прототипов Маргариты — французской королеве Маргарите Валуа (1553 — 1615) (см. также примеч. к с. 223 и 259),

дочери короля Генриха II Она в 1572 г вышла замуж за короля Наваррского (будущего короля Франции Генриха IV) причем ее свадьба, отпразднованная с большой пышностью закончилась Варфоломеевской ночью с избиением гугенов — «парижской кровавой свадьбой». *Гессар* — фамилия парижского издателя переписки Маргариты Валуа. Хотя нас тоящий Гессар жил в середине XIX в., Булгаков сделал его участником «кровавой свадьбы» и связал бал Воланда с Варфоломеевской ночью придав Маргарите черты ее царственной тезки.

С. 253. Прием ей оказан был самый торжественный Полет Маргариты вне Москвы, купание и развлечения, устроенные в ее честь на какой-то реке (исследователи считают что это Днепр вблизи Киева), напоминают полеты ведьм и шабаш

С. 258. ... называется весенним балом полнолуния или балом ста королей. — Сцена грандиозного бала, на который раз в год являются умершие знаменитые грешники, избавленные на эту ночь от адских мук, видимо, целиком принадлежит фантазии самого Булгакова, хотя некоторые подробности он мог заимствовать из разных источников. Например, Б. В. Соколов прослеживает здесь связь с «Северной симфонией» А. Белого, где в финале в связи с вознесением королевы на небо устраивается пир почивших северных королей, как на балу Воланда, пьют из золотых чаш кровавое вино. Королева, стоя на одном колене и находясь на возвышении, принимает гостей — рыцарей в пернатых шлемах, которые целуют ей руку и колено. Присутствующая на балу женщина в черном плаще в конце церемонии надевает на возлюбленного королевы рыцаря черный плащ, и он со своими спутниками в последнем полете несется на черных конях.

Е. С. Булгакова в «Дневнике» описывает роскошь праздничного приема в американском посольстве, где присутствие вала с мужем по приглашению посла У. К. Буллита (см. также примеч. к с. 212). Впечатления от этого бала-приема отразились и в сценах бала Воланда, причем, по мнению А. Эткинды, можно даже провести вполне явные параллели между ролью Воланда в судьбе мастера и гипотетическими отношениями между Буллитом и самими автором романа.

С. 259. ... притом вы сами — королевской крови... ее престельную прапраправнучку... — Называя Маргариту потомком одной из французских королей, живших в XVI в., Коровьев может иметь в виду сестру короля Франциска I и королеву Наварры Маргариту Ангулемскую (1492 — 1549), занимавшуюся и сочинительством новелл, или дочь Франциска I жену герцога Савойского Маргариту Французскую (1523 — 1574), но не уже упомянутую выше Маргариту Валуа (см. примеч к с. 252), которая была бездетной, но с которой благодаря роману А. Дюма («Королева Марго») и «Хронике»

П. Мериме связывается в нашем сознании представление о королеве, символизирующей сильную и безрассудную страсть. Исторические Маргариты покровительствовали писателям и поэтам. Маргарита булгаковская покровительствует только одному писателю — своему возлюбленному мастеру (см. примеч. к с. 223).

С. 260. *Воланд... был одет в ... длинную рубашку...* — В этой сцене, как и на балу полнолуния, одяние Воланда похоже на одяние колдуна на шабаше. «Всех этих своих жертв злой колдун водил на шабаш. Там он служил мессу, причем надевал грязнейшую рубаху, которую, очевидно, нарочно держал для этой цели» (из показаний Магдалины Бавен, осужденной в XVI в. за ведьмачество).

С. 261. *...шахматные журналы заплатили бы недурные деньги...* — По мнению Б. В. Соколова, воспроизведена шахматная партия гроссмейстеров Майета и Левенталья, опубликованная в книге Э. Ласкера «Учебник шахматной игры» (М., 1937. С. 137).

...окаянный Ганс. — Нем.: die Gans — «гусь», «дура»; здесь: «дурак» или «дурачок».

С. 263. *...такие знатоки, как Секст Эмпирик, Марциан Капелла... Аристотель.* — Названы известные ученые античности: Секст Эмпирик — древнегреческий ученый, философ и логик, живший в конце II — начале III в.; Марциан Капелла — римский писатель и философ первой половины V в.; Аристотель — древнегреческий философ ученый (384 — 322 до н. э.), основоположник формальной логики. На их научный авторитет в области логики и ссылается Бегемот в споре с Воландом.

С. 265. *...боль в колене оставлена мне на память одной. ведьмой... в Брокенских горах...* — Брокен — вершина в горной цепи Гарц в Северной Германии, по поверью, излюбленное место ведьмовских шабашей, место действия сцены «Вальпургивая ночь» в «Фаусте»; в этой сцене участвует у Гёте и толпа гуляк, которые потом являются на бал Воланда. Ссылка же Воланда на знакомство с ведьмой, да еще близкое, как причину его некой болезни и хромоты противоречит традиционному представлению, что хромота сатаны связана с его падением с неба на землю («падный ангел»). Можно допустить, что Воланд, а за ним и автор романа лукавят, приводя в заблуждение современных комментаторов.

... моя бабушка... — тоже лукавая выдумка Булгакова, обыгравшего здесь русское бранное выражение «чертова бабушка». Сатана Воланд предков никаких, разумеется, не имеет.

С. 266. *... кусок земли, бок которого моет океан... Работа Абадонны безукоризненна.* — Как отмечает Б. В. Соколов, ужасы войны, которые видит на волшебном глобусе Маргарита, возможно, связаны с гражданской войной в Испании (1936 — 1939). *Абадонна* (евр.: аваддон) — «прекращение бы

тия»; в Ветхом Завете употребляется как синоним смерти, царства мертвых, ада; в Новом Завете — представляется особым духовным существом как ангел бездны, греч. — Аполлион. В контексте романа Абадонна — безжалостный убийца (убивает взглядом и поэтому постоянно носит черные очки), ангел смерти в сцене казни барона Майгеля.

С. 268. ... *изображение черного пуделя на тяжелой цепи.* — Это украшение наряду с «королевским алмазным венцом» дало героине официальный статус «черной королевы» бала и временно ставило ее почти в один ранг с Воландом, у которого трость тоже с изображением черного пуделя — символа сатанизма; явление Мефистофеля Фаусту у Гёте было вначале именно в виде черного пуделя.

С. 269. *Крикните ему: «Приветствую вас, король вальсов!»... первые скрипки... это Вьетан.* — Очевидно, здесь имеются в виду австрийский композитор Иоганн Штраус-сын (1825 — 1899), автор оперетт и вальсов, очень популярных в России во второй половине 1930-х гг., а также бельгийский скрипач и композитор Анри Вьетан (1820 — 1881), преподававший и выступавший с концертами в России в 1845 — 1852 гг.

С. 270. ...*гремел нестерпимо громко джаз.* — Здесь и далее, описывая «обезьяний джаз», Булгаков, поклонник, музыкальной классики, шаржированно представляет современные ему джазовые оркестры, джаз-банды А. Львова-Вельяминова, Л. Утесова, А. Цфасмана, А. Варламова, А. Семенова. «Аллилуйя» — фокстротная мелодия американского композитора В. Юманса, которую в собственной обработке исполнял джаз-ансамбль А. Цфасмана. Ноты этого фокстрота сохранились в булгаковском архиве.

С. 271 — 272. ...*господин Жак...* — французский финансист и негодник Жак ле Кер (1400 — 1456); обвинялся в изготовлении фальшивой монеты, в государственной измене и в отравлении Агнессы Сорель, любовницы французского короля Карла VII (казнен не был).

С. 272. ...*граф Роберт...* — Имеется в виду граф Роберт Дэдли Лейчестер (1532 — 1588), любовник английской королевы Елизаветы I; он подозревался в отравлении своей жены (умер своей смертью).

С. 273. ... *в деревянном сапоге... госпожа Тофана...* — известная итальянская отравительница с острова Сицилия. В 1709 г. Тофана, изобретательница яда «Аква-Тофана», была арестована, подвергнута пытке (испанский деревянный сапог — орудие пытки) и задушена в тюрьме.

С. 274 — 275. ... *скучная женищина... меня зовут Фрида...* — история Фриды заимствована Булгаковым из книги швейцарского психиатра О.Фореля «Половой вопрос...» (1905 г.; русский перевод: Житомир, 1925), где изложена аналогичная история 19-летней швеи из швейцарского канто-

на Сан-Галлен Фриды Келлер, приговоренной к смерти (казнь заменена пожизненным заключением). В то же время этот образ в сознании читателя может быть связан и с гётевской Гретхен, совершившей аналогичный поступок.

С. 275. *Маркиза ... отравила отца ...* — Речь идет об известной французской отравительнице маркизе Бренвилье, действовавшей с помощью любовника де Сен-Круса и казненной за свои преступления в 1676 г.

Госпожа Минкина... — экономка и любовница всесильного российского графа Аракчеева Наталья Федоровна Минкина. Считалась колдуньей и отличалась большой жестокостью в обращении с крепостными. Убита дворовыми людьми в 1825 г.

Император Рудольф, чародей и алхимик... — имеется в виду германский император Рудольф II Габсбургский (1552 — 1612), сын императора Максимилиана II; больше интересовался науками, чем политикой, и в конце жизни был принужден отказаться от управления государством. Писали, что он «был меценатом странствующих алхимиков и его резиденция представляла центральный пункт алхимической науки того времени». Алхимик Рудольф оказался на балу сатаны в ряду известных исторических преступников, поскольку церковь осуждала и преследовала его занятия как дьявольскую науку.

С. 276. *Московская портниха...* — Тайный публичный дом под видом пошивочного ателье изображен Булгаковым в пьесе «Зойкина квартира» (1926); называют несколько прототипов этой «портнихи» — Зою Денисовны Пельц: Зою Буяльскую, Зою Шатову, Наталию Шифф — реальных лиц криминальной Москвы середины 1920-х гг.

Калигула — Гай Цезарь Калигула, римский император (12 — 41 гг.), получивший свое прозвище от названия римской военной обуви (см. примеч. к с. 41). Он отмечен в истории невиданной жестокостью, разпутством и мотовством; был убит во время дворцового переворота.

Мессалина ... — Валерия Мессалина, третья жена римского императора Клавдия (преемника Калигулы); была так развратна, что ее имя стало нарицательным. В отсутствие Клавдия она вступила в брак со своим любовником Гаем Салием и пыталась возвести его на престол. После провала заговора была казнена.

...лицо Малюты Скуратова. — Малюта Скуратов (Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский) — думный дворянин, приближенный Ивана IV Грозного, глава опричного террора; участвовал во всех злодеяниях царя (в частности, собственноручно задушил в 1569 г. митрополита Филарета). Булгаков привлек Малюту на бал как хрестоматийного злодея, в этом качестве он соседствует со столь же хрестоматийными образами Калигулы и Мессалины.

С. 277. *...двое последних гостей* (отравители, обрызгавшие ядом стены кабинета «одного человека») — бывший нарком

внутренних дел Г. Г. Ягода и его секретарь П. П. Буланов, которые на сфальсифицированном процессе «правотроцкистского центра» в марте 1938 г. были приговорены к расстрелу по аналогичному обвинению вместе с Бухариным, Рыковым и др. «Один человек» — преемник Ягоды, наркомвнудел Н. И. Ежов.

С. 279 — 280. *...увидела отрезанную голову человека... веки убитого приподнялись...* — По мнению Б. В. Соколова, один из вероятных источников этого эпизода с отрезанной, но живой головой Берлиоза — рассказ Александра Беляева «Голова профессора Доуэля», написанный в 1927 г., а через 10 лет переработанный в роман. Есть здесь некоторые параллели и с пушкинской поэмой «Руслан и Людмила».

С. 280. *...каждому будет дано по его вере...* — перефразировка слов Христа, приведенных в Новом Завете евангелистом Матфеем: «По вере вашей да будет и вам» (Мф 9, 29).

С. 282. *И там, где она пролилась, уже растут виноградные гроздья.* — Превращение крови в вино — здесь чудо, противоположное по христианской догматике «преосуществлению» вина в символическую кровь Христа (как и хлеба-пресфоры в тело Христа) во время церковного причастия — евхаристии.

С. 283. *Ноблесс оближ* — от фр.: noblesse oblige — «положение обязывает».

С. 294. *Рукописи не горят.* — Для Булгакова в этом афоризме был, видимо, высший смысл, близкий к тому, какой выражен в поэтической теме пушкинского «Памятника», — утверждение бессмертия духа. Аналогичное заявление («... написанное нельзя уничтожить!») делал автобиографический герой его повести «Записки на манжетах».

С. 295. *Алоизий Могарыч.* — Сочетание латинского имени (Aloisium) с простецким русским словом «магарыч», обозначающим выпивку после сделки или винный гонорар, — обычный булгаковский прием, создающий комический эффект (ср. в «Театральном романе» — Алоизий Рвацкий). Из биографии писателя известно, что люди, подобные Могарычу, были в ближайшем окружении Булгакова, и поэтому введение этого образа в рассказ мастера Ивану в 13-й главе было сделано лишь на самом последнем этапе работы над рукописью: в конце 1939 — начале 1940 г., по всей вероятности, этот эпизод был навеян наступившим в самом конце жизни разочарованием в ком-то из «друзей». Приводим не вошедший в публикуемую редакцию романа этот фрагмент по тексту «Мастера и Маргариты» в редакции 1973 г.:

«...У меня неожиданно завелся друг. Да, да, представьте себе, я в общем не склонен сходить с людьми, обладаю чертовой странностью: схожусь с людьми тугο, недоверчив, подозрителен. И — представьте себе, при этом обязательно ко мне проникает в душу кто-нибудь непредвиденный, неожиданный в внешне-то черт его знает на что похожий. И он-то мне

больше всех и понравится.

Так вот в то проклятое время открылась калиточка нашего сада, денек, еще помню, был такой приятный, осенний. Ее не было дома. И в калиточку вошел человек, он прошел в дом по какому-то делу к моему застройщику, потом сошел в садик и как-то очень быстро свел со мной знакомство. Отрекотендовался он мне журналистом. Понравился он мне до того, вообразите, что я его до сих пор иногда вспоминаю и скучаю о нем. Дальше — больше, он стал заходить ко мне. Я узнал, что он холост, что живет рядом со мной примерно в такой же квартирке, но что ему тесно там, и прочее. К себе как-то не звал. Жене моей он не понравился до чрезвычайности. Но я заступился за него. Она сказала:

— Делай, как хочешь, но говорю тебе, что этот человек производит на меня впечатление отталкивающее.

Я рассмеялся. Да, но чем, собственно говоря, он меня привлекал? Дело в том, что вообще человек без сюрприза внутри, в своем ящике, неинтересен. Такой сюрприз в своем ящике Алоизий (да, я забыл сказать, что моего нового знакомого звали Алоизий Могарыч) имел. Именно, нигде до того я не встречал и уверен, что нигде не встречу человека такого ума, каким обладал Алоизий. Если я не понимал смысла какой-нибудь заметки в газете, Алоизий объяснял мне ее буквально в одну минуту, причем видно было, что объяснение это ему не стоило ровно ничего. То же самое с жизненными явлениями и вопросами. Но этого было мало. Покорил меня Алоизий своею страстью к литературе. Он не успокоился до тех пор, пока не упросил меня прочесть ему мой роман весь от корки до корки, причем о романе он отозвался очень лестно, но с потрясающей точностью, как бы присутствуя при этом, рассказал все замечания редактора, касающиеся этого романа. Он попадал из ста раз сто раз. Кроме того, он совершенно точно объяснил мне, и я догадывался, что это безошибочно, почему мой роман не мог быть напечатан. Он прямо говорил: глава такая-то идти не может...».

С. 296. *Нет документа, нет и человека* — этот афоризм неоднократно обыгрывался в современной Булгакову русской литературе: и у самого писателя в «Дьяволиаде», и в повести Ю. Тынянова «Подпоручик Киже».

С. 309. *...это не «Фалерно»? — «Цекуба», тридцатилетнее...* — Для художественного образа красного вина, похожего на кровь, пролитую прокуратором, Булгаков заменяет фалернское белое вино, известное по римской и русской поэзии, на «цекубу», цвет которого ему был точно не известен. По той же причине красного цвета оказалось и фалернское, которое в 30-й главе принес Азazelло в подарок героям романа.

С. 310. *...клянусь вам пиром двенадцати богов, ларали клянусь...* — Двенадцать старших богов римской мифологии: Юнона, Веста, Минерва, Церера, Диана, Венера, Марс, Мер

курий, Юпитер, Нептун, Вулкан, Аполлон; *лары* — в римской мифологии добрые духи земли, предков, домашнего очага.

С. 311. ... *напиток им давали*... — По иудейскому обычаю, осужденным предлагали выпить вина с пряностями, чтобы опьянить и заглушить их страдания. По евангельскому преданию, Христу дали губку смоченную в уксусе.

С. 313. ... *Афраний!* — У этого героя есть исторический прототип: Афраний Бурре, занимавший пост префекта претории Рима и умерший в 62 г. Эта должность заключалась в основном в исполнении полицейских функций; был Афраний Бурре и тюремщиком апостола Павла.

С. 323. *Тридцать тетрадрахм!* — сумма, полученная Иудой за предательство Христа; «тридцать сребренников» — выражение, ставшее нарицательным. *Тетрадрахма* — греческая серебряная монета (равна 4 драхмам), иначе — статир; приравнивалась к сиклю (шекелю), монете иудейской чеканки.

С. 328. ... *службу при Валерии Грате*. — Валерий Грат — непосредственный предшественник Пилата в должности прокуратора Иудеи с 15 по 25 г.

С. 335. ... *мы ели сладкие весенние баккуроты*. — *Баккуроты* — молодые плоды фигового дерева (смоковницы); обычное блюдо на пасхальном ужине, они, следовательно, вполне могли быть на Тайной Вечере.

С. 338. ... *в одном из московских учреждений*... — Здесь и далее на собственное имя этого учреждения (ОГПУ при НКВД, расположенное на Лубянской площади) и его сотрудников в романе по понятным причинам наложено табу.

... *в доме у Каменного моста*... — Так называемый «Дом Правительства» или позднее «Дом на набережной»; построен в 1928 — 1931 гг. на Берсеневской набережной для крупных государственных и общественных деятелей и руководящих работников.

С. 341. ... *в номере четыреста двенадцатом гостиницы «Астория»*... — В этой гостинице на Исаакиевской площади и именно в этом номере останавливался сам Булгаков, приезжая в Ленинград. Фраза «... где остановился заведующий репертуаром одного из московских театров...» достаточно биографична: имеется в виду П. А. Марков (1897 — 1980), завлитчастью МХАТа.

С. 353. ... *у... Торгсина на Смоленском рынке*... — Так называли магазины, торговавшие на валюту, специальные бонусы и драгоценности. Смоленский рынок находился на современной Смоленской площади. Упомянутый Торгсин (торговля иностранцами) располагался в доме на углу Арбата (№ 54) где сейчас гастроном «Смоленский».

С. 359. ... *Мельпомене, Полигимнии и Талии*. — в греческой мифологии музы, покровительницы трагедии, гимнов, комедии.

С. 361. *Панаяев, Скабический*. — В русской литературе из

вестны два Панаева: В. И. Панаев (1792 — 1859), поэт, автор сентиментальных идиллий, и И. И. Панаев (1812 — 1862) один из редакторов (вместе с Н. А. Некрасовым) журнала «Современник», прозаик. А. М. Скабичевский (1838 — 1910) — критик, историк литературы и публицист. По оценке Булгакова, они символизируют поверхностную литературную критику неспособную проникнуть в глубь явления. Поэтому столь легко взаимозаменяемы их имена, соответствующие эталону достоинств «массолитовцев», и поэтому, лишь записавшись под такими именами, булгаковские черты могли «легально» оказаться в заветном ресторане.

С. 365. *...одного из самых красивых зданий в Москве...* — Имеется в виду Пашков дом — здание на углу улиц Моховой и Знаменки, построенное знаменитым архитектором В. И. Баженовым в конце XVIII в.; в 1862 — 1925 гг. здесь размещался Румянцевский музей, теперь — Российская государственная библиотека.

С. 367. *Он не заслужил света, он заслужил покой...* — По мнению Б. В. Соколова, эта награда, сделанная по просьбе Иешуа, не ниже, а в чем-то даже выше, чем традиционный «свет» (или ветхозаветный рай). Ибо покой, дарованный мастеру, — это покой творческий. Наслаждаться «голым светом» способен лишь преданный ученик Иешуа, но ограниченный и догматичный Левий Матвей, а не обладающий творческим гением автор романа о Понтии Пилате. Это осознает Иешуа, потому просит Воланда — «духа отрицания» — наградить мастера творческим покоем (прочитав романа, Иешуа убедился в том, что его автор талантлив и нельзя лишать его возможности творить). Но именно Воланд, видевший мир во всех его противоречиях, лучше всего может справиться с такой задачей. Нравственный идеал, заложенный в романе мастера, не подвержен тлению и находится во власти потусторонних сил. Ведь мастер отпускает Пилата в свет, к Иешуа, завершив тем самым свой роман. Эта тема исчерпана, и больше с Пилатом и Иешуа в свете ему делать нечего. Лишь в потустороннем мире он находит условия для творческого покоя, которого был лишен на земле. (Это не противоречит и булгаковской системе ценностей, где свет и покой всегда стояли в одном ряду и никогда не были жестко противопоставлены друг другу) Мастера окружают герои любимых книг, в голове его рождаются новые замыслы, внешний покой скрывает за собой внутреннее творческое горение. Только такой «покой» признавал и сам Булгаков. (См. и у Пушкина: «На свете счастья нет, но есть покой и воля»).

С. 368. *... к Тимирязеву!* — Имеется в виду памятник естествоиспытателю К. А. Тимирязеву (1843 — 1920) работы С. Д. Меркулова, поставленный в начале 1920-х гг. на Тверском бульваре у Никитских ворот.

С. 381. *... пряничные башни Девичьего монастыря.* — Но-

водевильный монастырь в Москве основан великим князем Василием III в 1524 г. на том месте, где, по преданию, собирали девушек, предназначенных монголам в качестве дани. На кладбище при этом монастыре с марта 1940 г. покоится прах М. А. Булгакова.

С 394 — 395.. *...заставили исчезнуть... Маргариту Николаевну... и Наташу... похитить душевнобольного...* — Исчезновение Маргариты, Наташи и мастера противоречит сообщению в тексте романа о смерти Маргариты от сердечного приступа (в «доведьминском» облике) в ее особняке и мастера в палате № 118. Это противоречие, может быть, — след авторской недоработки, но, может быть, также и сознательной мистификации.

С. 398. *Институт истории и философии.* — Вымышленное учреждение, институт с таким названием в Москве в 1929 — 1940 гг. справочники не указывают.

ПОХОЖДЕНИЯ ЧИЧИКОВА

Поэма в X пунктах с прологом и эпилогом

Впервые — в «Литературном приложении» № 19 к газете «Накануне» (Берлин). 1922. 24 сентября. Печатается по: *Булгаков М. А.* Собр. соч. В 5 т. Т. 2. — М.: Худож. лит., 1989.

Писатель, с детства любивший поэму Н. В. Гоголя «Мертвые души», в этой повести следует традиции гоголевской сатиры, переосмысливая на современный ему лад образы великой книги и вводя в «Похождения Чичикова» гоголевских персонажей, причем персонажи эти и сюжетные детали берутся и из пьес «Ревизор» и «Игроки». Впоследствии Булгаков написал по тексту «Мертвых душ» инсценировку для МХАТа и киносценарий для первой московской кинофабрики «Союзфильм» («Мосфильм»), а также киносценарий по гоголевскому «Ревизору». В «Похождениях Чичикова» автор использовал реалии и фразеологию, характерные для Москвы начала 1920-х гг.

С. 405. *Держи, держи, дурак!..* — фразы, вынесенные в эпиграф, из главы XI первого тома «Мертвых душ».

С. 406. *...еще... на Лубянке насидишься...* — Лубянкой здесь и в других произведениях Булгакова названы структуры Главного политического управления (ГПУ) при Наркомате внутренних дел (НКВД), территориально располагавшиеся на Лубянской площади и на улице Большая Лубянка. Позже это название перенесено на все службы безопасности (ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ) и стало символом грозных неприятностей и неизбежного рока. Булгаков знал это не понаслышке, он сам бывал на тамошних допросах. Работники это учреждения активно участвуют в повести «Роковые яйца» и в романе «Мастер и Маргарита».

...дядя Лысый Пимен... — появляющийся в I главе второго тома «Мертвых душ» эпизодический персонаж, который содер-

жал в конце деревни помещика Тентетникова кабак с названием «Акулька». *Аршад* — прохладительный напиток.

С. 407. ...*паек... простой... ударный... бронированный... академический...* — система распределения в то время: академический паек был в этом списке наибольшим.

С. 408. ...*около пятисот апельсинов капиталу*. — Имеются в виду миллиарды; миллионы в те годы денежной инфляции назывались лимонами.

На Тверском бульваре... против Страстного монастыря... — Памятник А. С. Пушкину на Пушкинской (Страстной) площади стоял до 1950 г. в конце Тверского бульвара лицом к Тверской улице. Страстной женский монастырь, упраздненный в 1919 г., находился на месте нынешнего сквера (за фигурой поэта) и кинотеатра «Россия». Комплекс зданий монастыря снесен в 1937 г.

С. 410. ...*продал ей Манеж, что против Университета*. — *Манеж* — огромное одноэтажное здание для верховой езды, выстроенное на Манежной площади в 1817 г. по повелению императора Александра I (архитекторы — А. А. Бетанкур и О. И. Бове). Впоследствии использовалось для выставок, концертов, народных гуляний. Ныне — Центральный выставочный зал. *Университет* — старое здание Московского университета на Моховой улице (построено в 1786 — 1793 гг. по проекту архитектора М. Ф. Козакова, восстановлено после пожара Москвы 1812 г. архитектором Д. И. Жилярди).

...*обедал и ужинал в «Ампире»*. — «Ампир» — ресторан на Петровских линиях, упоминаемый и в повести «Роковые яйца». Теперь — ресторан гостиницы «Будапешт».

С. 411. *Наркомздрав... Главкустпром... Наркомпрос... Пролеткульт...* — аббревиатуры названий правительственных учреждений (наркоматов) и организаций того времени. *Главкустпром* — главное управление кустарной промышленности; *Пролеткульт* (пролетарская культура) — литературная и культурно-просветительская организация в 1917 — 1932 гг.

С. 412. ...*запасы не его, а АРА*. — Имеется в виду «Американская администрация помощи» — АРА (сокращение от английского «American Relief Administration»), которая под руководством Г. Гувера в 1919 — 1923 гг. оказывала помощь европейским странам, пострадавшим в 1-й мировой войне. В 1921 г. в связи с голодом в Поволжье деятельность АРА была разрешена в РСФСР.

С. 413. *Какой же русский не любит быстрой езды?!* — знаменитая цитата из XI главы первого тома «Мертвых душ». *Терция* — шестидесятая часть секунды. *Биржа труда* — в то время место регистрации безработных для их дальнейшего трудоустройства.

С. 414. ...*открылась какая-то панاما...* — крупное мошенничество с подкупом должностных лиц (выражение возникло после скандала во время строительства Панамского канала в 1889 г.)

С. 415. ... *как некий бог на машине*... — театральный фразеологизм, обозначающий неожиданное вмешательство в действие пьесы могучей сверхъестественной силы. В античном театре актеры, игравшие роли богов, спускались на сцену с помощью особого приспособления театральной машинерии — «машины». Это же выражение Булгаков использовал в названии последней главы повести «Роковые яйца» (см. примеч. к с. 542).

...*35 тысяч мотоциклистов* — скрытая цитата из «Ревизора»: в третьем действии Хлестаков упоминает о тридцати пяти тысячах курьеров, якобы обслуживающих его.

БАГРОВЫЙ ОСТРОВ

Роман тов. Жюль Верна

С французского на эзоповский перевел Михаил А. Булгаков

Впервые — в газете «Накануне» (Берлин). 1924. 20 апреля (в разделе «Литературная неделя»). Печатается по: *Булгаков М. А. Собр. соч. В 5 т. Т. 2.* — М.: Худож. лит., 1989.

В 1927 г. Булгаков написал одноименную пьесу (шедшую в Московском Камерном театре), истоки которой можно найти в этой повести. Так, в ее тексте (а позже отчасти и в пьесе) использованы имена героев произведений Жюль Верна и Р. Киплинга. Лорд Гленарван — герой романа «Дети капитана Гранта», владелец яхты «Дункан»; Паганель — французский путешественник-географ, по ошибке оказавшийся на яхте «Дункан» («Дети капитана Гранта»); капитан Гаттерас — герой романа «Приключения капитана Гаттераса»; Филеас Фогг — герой романа «Вокруг света в восемьдесят дней»; Мишель Ардан — герой романа «С Земли до Луны» и «Вокруг Луны»; Рики-Тики-Тави — имя воинственного мангуста из одноименного рассказа Р. Киплинга. Местонахождение Багрового острова, на котором разворачиваются события в повести, также может быть соотнесено с Жюлем Верном: в Тихом океане, «под 45-м градусом» (южной широты) находится Южный остров Новой Зеландии, где путешествие героев романа «Дети капитана Гранта» чуть было не закончилось трагически. Иносказательно же, на «эзоповском языке», автор имел в виду гражданскую войну и последующие события в России в 1917 — 1923 гг. и, возможно, свое непосредственное участие в военных операциях на Северном Кавказе, где приблизительно и проходит этот «45-й градус», но уже северной широты. События гражданской войны отразились и в других произведениях Булгакова: рассказах — «Необыкновенные приключения доктора», «Я убил», «Налет», «Красная корона», пьесе «Бег», либретто «Черное море», романе «Белая гвардия».

С. 420. ... *потухшей триста лет назад огнедышащей горы*. — Исследователи полагают, что цифра «триста» — намек на трехсотлетие правления династии Романовых, воцарившей-

ся после долгой кровавой смуты и интервенции и свергнутой в результате революции.

...сейсмографы в Пулково и в Гринвиче... — Пулково (Россия), Гринвич (Англия) — названия знаменитых астрономических обсерваторий.

С. 421. *Гениальный Кири-Куки*. — Полагают, что Булгаков вывел здесь в шаржированном виде главу Временного правительства России в 1917 г. А.Ф.Керенского (1881 — 1970).

С. 430. *...как у живоцерковного попа на Пасху*. — От названия «Живая церковь» — обновленческого течения в русском православном духовенстве, определившего в 1922 г. курс на примирение церкви с социальной революцией и заявившего о своем лояльном отношении к советской власти. Одним из сторонников «Живой церкви» стал после своего заявления в июне 1923 г. ее прежний противник — патриарх Московский и Всея Руси Тихон (см. примеч. к с. 550).

С. 432. *Загнал под чемоданы?! — Чемоданы* — прозвище крупнокалиберных артиллерийских снарядов.

ДЬЯВОЛИАДА

Повесть о том, как близнецы погубили делопроизводителя

Впервые — в альманахе «Недра», 1924, кн. IV. Печатается по: Булгаков М. А. Собр. соч. В 5 т. Т. 2. — М.: Худож, лит., 1989.

В 1923 — 1925 гг. Булгаков пишет одну за другой три фантастические и одновременно сатирические повести: «Дьяволиада», «Роковые яйца» и «Собачье сердце». «Дьяволиада», повествующая о времени только что миновавшего, но прекрасно-памятного военного коммунизма, стала первым произведением этой своеобразной трилогии. Само название повести, по свидетельству современников Булгакова, быстро вошло в устную речь, превратившись в символ государственно-административной машины, новой бюрократии.

Появление повести один из первых заметил писатель Е. И. Замятин (1884 — 1937), оценивший не столько данную вещь, сколько потенциальные возможности ранее неизвестного автора: «Единственное современное ископаемое в «Недрах» — «Дьяволиада» Булгакова. У автора несомненно есть верный инстинкт в выборе композиционной установок: фантастика, корнями врастающая в быт, быстрая, как в кино, смена картин — одна из тех (немногих) формальных рамок, в какие можно уложить наше вчера — 19-й, 20-й год». Значительно большее внимание «Дьяволиада» привлекла позже, когда о Булгакове писали в связи с «Белой гвардией» и спектаклем Художественного театра «Дни Турбиных».

В «Дьяволиаде» проявились ставшие определяющими чертами поэтики Булгакова — мотивы, темы, образы, даже фразы, обороты речи, слова, присущие его писательскому языку. Это

чертовщина, буффонада, фантазмагория, имеющие при этом бытовую мотивировку, укорененность во вполне возможных обстоятельствах, это игра слов и пристрастие к комическим эффектам в построении фраз. Здесь мы впервые встретим словосочетание «соткалось из воздуха», которое потом так запомнится в «Мастере и Маргарите», обнаружим намекающие на нечистую силу словесные знаки: «колдовство», «домовой». В повести возникнет «черный кот», в котором герой подозревает оборотня; запахнет серой, и, когда поднимается обычная кабина учрежденческого лифта, из шахты его жутковато потянет «ветром и сыростью».

Влияние этой повести, точнее, художественного метода ее автора, как установили исследователи, ощущается в произведениях И. Ильфа и Е. Петрова, Ю. Тынянова, Л. Лунца, С. Заяицкого, Вс. Иванова, В. Каверина, А. Платонова. «Дьяволиадой» Булгаков утверждал свою приверженность традиции Гоголя («Нос») и М. Е. Салтыкова-Щедрина («Город Глупов»). На это обратил внимание такой проницательный читатель, как В. А. Каверин (1902 — 1989), отметивший, что «к этой традиции из наших современников <...> принадлежит, без сомнения, Булгаков, начавший «Дьяволиадой» и кончивший «Мастером и Маргаритой...».

С. 435. *...прочно служил в Главцентрбазспимате...* — Булгаков называет вымышленное учреждение. Из аналогичных по профилю в те годы в Москве значились похожие спичечные конторы — «Спичечный синдикат» (Арбат, 42) и «Бюро регулирования спичечной промышленности» (Мясницкая, 42).

С. 438. *...американский индивидуальный пакет...* — В начале 1920-х гг. в России действовала «Американская администрация помощи» (АРА), поставляющая продукты и медикаменты (см. примеч. к с. 412).

С. 442 *...когда кухонные часы «Альпийской розы»...* — Имеется в виду бывший ресторан «Альпийская роза», помещавшийся на улице Софийка (Пушечная улица), 4; теперь в этом здании — Московский дом учителя.

...старший бухгалтер Дрозд... — Далее — *Скворец*, т. е. в тексте отражены колебания автора в выборе фамилии этого персонажа.

С. 445. *...Центроснаб... «Дортуар пепиньерок»...* — Центроснаб (Центральное управление снабжения) находился в Деловом Дворе на Варварской (ныне — Славянской) площади. Дальнейшие события и детали развития действия повести показывают, что автор как бы совместил два «бюрократических муравейника» — Деловой Двор и Дворец Труда на Солянке (дом 12), где в то время была редакция «Гудка». «Дортуар пепиньерок» — от фр. *dortoir pépinière* — так назывались спальни воспитанниц закрытых женских учебных заведений.

С. 446. *...полное собрание сочинений Шеллера-Михайлова...* — Упоминается известный беллетрист второй половины

XIX в. А. К. Шеллер-Михайлов (1838 — 1900).

С. 450. *...смотрел на портрет Кромвеля ...* — Оливер Кромвель (1599 — 1658) — лидер пуритан и высшее должностное лицо в Англии в середине XVII в.

С. 452. *...напоминаю... трех соколов Алексея Михайловича...* — Имеется в виду соколиная охота, любимое увлечение русского царя, отца Петра I.

С. 455. *... Шумел, гремел пожар московский...* — неточно цитируемая первая строка начала широко известной в прошлом песни, созданной на основе стихотворения о Наполеоне Бонапарте поэта Н. С. Соколова — «Он» (1850). Полностью правильный текст этой строфы такой: «Шумел, кипел пожар московский, // Дым расстилался по реке, // На высоте стены кремлевской // Стоял Он в сером сюртуке».

С. 456. *...фигура ... в белом кунтуше.* — *Кунтуш* — польский старинный кафтан, принадлежность гардероба лиц дворянского происхождения.

... Ян Собесский... — Обыграно созвучие имени польского короля и полководца Яна Собеского (1629 — 1696) с известным сокращением «собес» (социальное обеспечение). *Соцвосский* (с. 457) — такой же каламбур от сокращения «соцвос» (социалистическое воспитание). Отсылка же к историческому персонажу времен Речи Посполитой, возможно, также связана с одним из прототипов этого героя — колоритной фигурой бывшего польского графа Августа Потоцкого, журналиста и коллеги Булгакова по работе в газете «Гудок». Позже, в повести «Тайному другу», он будет фигурировать под именем Июля.

С. 457. *...Генриэтта Потаповна Персимфанс.* — Использовано сокращение «персимфанс» — Первый симфонический ансамбль без дирижера, существовавший с 1922 по 1923 г.

С. 458. *...прекрасную атласную мебель Луи Каторз.* — Имеется в виду стиль мебели при французском короле Людовике XIV, отличавшийся роскошью, избыточностью декора.

С. 465. *Может быть, я Гогенцоллерн.* — Упоминается немецкий княжеский род, отдельные представители которого жили и путешествовали инкогнито.

С. 466. *...учредил в эмеритурной кассе... эмеритурные майские деньги.* — *Эмеритура* (от лат. *emeritus* — «заслуженный») — в дореволюционной России денежное пособие, выдававшееся уволенным в отставку государственным служащим из сумм специальной кассы, средства которой составлялись из обязательных отчислений из их жалованья.

С. 467. *Парфорское кино и бездна.* — *Парфорс* (от фр. *par force* — «силой») буквально: колючий ошейник для охотничьих и служебных собак. *Парфорская охота* — охота с гончими собаками на зверя. *Парфорское кино* — показ такой охоты на экране, в переносном смысле — трюковая комедия немого кинематографа с погонями, драками, стрельбой, как и проис-

ходит по сюжету повести. Дом в переулке, с крыши которого бросается в «бездну» герой повествования, — это первый московский небоскреб («дом Нирнзее») в Большом Гнездниковском переулке, 10. На плоской крыше дома располагались ресторан и бильярдная.

С. 469. ... *зингеровская швейка*.. — швейная машинка американской фирмы «Зингер».

РОКОВЫЕ ЯЙЦА

Впервые — в журнале «Красная панорама». 1925. № 19 — 21 (под названием «Луч жизни»); № 22 и 24 (под названием «Роковые яйца»), с сокращениями; полностью — в альманахе «Недра», 1925, кн VI. Печатается по: *Булгаков М. А. Собр. соч. В 5 т. Т. 2.* — М.: Худож. лит., 1989.

Название повести само по себе уже и многомысленно, и пародийно: это и яйца пресмыкающихся и страусов, сыгравшие поистине роковую роль в судьбах героев; это и название их в соединении с фамилией одного из главных персонажей (Рокк), т.е. привезенные для эксперимента по заказу Рокка. Автор мог использовать принадлежащее Г. Гейне выражение «роковые яйца истории». И он, безусловно, знал (об этом упоминается и в повести) роман Г. Уэллса «Пища богов», который мог быть одним из источников фабулы. Правда, у Уэллса речь идет о чудесной пище, ускоряющей рост живых организмов и развитие интеллектуальных способностей у людей-гигантов, а у Булгакова — иное происхождение такой энергии.

В «Роковых яйцах» отразился и другой роман английского фантаста — «Борьба миров», особенно в сцене гибели гигантских рептилий от небывалых (в августе!) русских морозов (у Г. Уэллса гибель монстров-марсиан произошла от земных микробов). Хотя финал повести откровенно ироничен (театральное действие «бог на машине» обозначает благополучность развязки; см. примеч. к с. 415), в нем есть важный смысловой пласт: в сниженном, пародийном варианте как бы повторяется поход наполеоновской армии в Россию и финал Отечественной войны 1812 г., мистически предвосхищающие события лета — зимы 1941 г. под Москвой. Змеи и другие вылупившиеся из яиц «персонажи» повести наступают по дорогам (и в то же время года — в августе), по которым некогда шли на Москву французы: именно в начале августа произошло сожжение Смоленска оставляющими его жителями, и так же, как в войне с Наполеоном, нашествие останавливают (способствуют разгрому врага) русские морозы. Следует отметить, что прием «бог на машине» Булгаков нашел (или был вынужден найти) не сразу. Из мемуарных источников известно, что у писателя вначале был иной, более драматический финал: повесть заканчивалась грандиозной картиной исхода горожан из Москвы, к которой подступают полчища гигантских гадов; наконец, рептилии захватывают город, Москва го-

рит, и самый большой удав обвивается вокруг колокольни Ивана Великого в Кремле.

Есть и другие источники повести, например легенда, восходящая к биографии поэта М. А. Волошина: будто бы в районе горного массива Карадаг в Восточном Крыму в начале 1920-х гг. было замечено появление огромного гада, на поминку которого отправили роту красноармейцев. В книге писателя и критика В. В. Шкловского (1893 — 1984) «Сентиментальное путешествие» приводятся слухи, циркулировавшие в Киеве в дни петлюровщины (в это время там находился и Булгаков) среди части русской буржуазии и интеллигенции, бежавшей на Украину от советской власти и возлагавшей все надежды на Антанту: «Рассказывали, что у французов есть фиолетовый луч, которым они могут ослепить всех большевиков... что англичане в Баку уже высадили стада обезьян, обученных всем правилам военного строя...». Возможно, эти и подобные фантазии Булгаков спародировал в своей повести.

Обнаружился и своего рода «научный источник» открытия фантастического луча. В ленинградской «Новой вечерней газете» тех лет была напечатана следующая примечательная заметка: **«Открытие луча жизни. Опыты профессора Гурвича.** Московским (!) биологом профессором А. Г. Гурвичем сделано изумительное открытие, одно из необычных открытий нашего века, обещающее, может быть, передачу в руки людей власти над самым непокорным и сокровенным явлением природы — жизнью. Профессор Гурвич уже несколько лет работает над явлением размножения клеток животных и растений. Размножаются клетки, как известно, делением. Клетки лукавицы, лежащей под микроскопом, стали необыкновенно сильно и быстро делиться. Профессор Гурвич предположил, что излучаются какие-то особые, неизвестные лучи, действующие на расстоянии на живые клетки и сообщающие этим клеткам громадный толчок к размножению. Это предположение полностью оправдалось на опыте. Новые загадочные лучи, названные профессором Гурвичем «лучами жизни» (!), по своей природе оказались схожими со световыми, с рентгеновскими, с электромагнитными лучами. Невозможно предсказать сейчас же перспективы этого удивительного открытия». Как видим, Булгаков все же рискнул «предсказать сейчас же», что может получиться из этого открытия в «ненаучных» руках.

Повесть «Роковые яйца» получила широкий отклик у читающей публики и в критике. Произведение высоко оценили А. М. Горький, М. А. Волошин, В. В. Вересаев, Андрей Белый, С. Н. Сергеев-Ценский. Не обошлось и без курьезов. Вернувшийся в конце 1925 г. из поездки в Америку В. В. Маяковский рассказывал, что в США «в одной из газет появилось сообщение под сенсационным заголовком: «Змеиные яйца в Москве!», которое оказалось изложением одного из рассказов Булгакова». Тема «Змеиные яйца в Москве» позже

значилась во многих афишах лекций-вечеров Маяковского в России, посвященных его поездке в Америку.

С. 472. *Curriculum vitae профессора Персикова.* — От лат Curriculum vitae — «жизненный путь».

... профессор зоологии... и директор зооинститута в Москве Персиков... — Одним из наиболее вероятных прототипов главного героя мог быть кроме уже упоминавшегося известного исследователя физиологии клеточного деления профессора А. Г. Гурвича (1874 — 1954), биолог и врач-патологоанатом А. И. Абрикосов (1875 — 1955), работавший в клинике МГУ в здании Зоологического музея на Большой Никитской улице (ул. Герцена) и живший одно время в районе Пречистенки. Называют и иных возможных прототипов: видного ученого-зоолога А. Н. Северцова, профессора-статистика Е. Н. Тарновского, великих ученых — академика И. П. Павлова и профессора-ботаника К. А. Тимирязева, а также других представителей круга московской естественнонаучной профессуры. Некоторые булгаковеды усматривают в персонажах повести и черты высшего политического руководства страны: например, Б. В. Соколов считает, что в образе Персикова явно прослеживаются черты В. И. Ленина.

С профессора Персикова начинается ряд булгаковских гениев-ученых, чьи талант и открытия не встречают понимания у современников или используются в корыстных, преступных целях. Таковы профессор Преображенский из «Собачьего сердца», академик Ефросимов из «Адама и Евы», изобретатели машины времени инженер Рейн («Блаженство») и Тимофеев («Иван Васильевич»). К этому перечню можно добавить и автобиографических героев «Театрального романа» и «Мастера и Маргариты».

С. 473. ...с тенором оперы Зимина. — Опера Зимина — Театр свободной оперы акционерного общества С. И. Зимина на улице Большая Дмитровка, где сейчас размещается Московский театр оперетты.

С. 473. ...Ульяма Веккля в Кембридже и Джакомо Бартоломео Беккари в Риме. — Сведения об этих ученых, равно как и вложенные в уста Персикова фразы из зоологии куриных и пресмыкающихся, даны Булгаковым по Энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона с поправкой на собственную фантазию. Так, итальянского физика и медика рубежа XVII — XVIII вв. Беккари писатель «переносит» в XX в., делая его «коллегой» московского ученого.

С. 474. ...обещая тогдашнего наркома просвещения. — Наркомом просвещения тогда был А. В. Луначарский (1875 — 1938).

С. 475. ...выстроила, начав с угла Газетного переулка и Тверской ... — Газетный переулок переименовывался в улицу Огарева. Булгаковское предвидение практически сбылось: эта сторона Тверской улицы застроена высокими домами, правда не «прикончив» жилищный кризис.

С. 476. *...шурша по гладким торцам...* — Мостовые улиц тогда были выложены кругами распиленных бревен: торцами.

...темной и грузной шапкой храма Христа... — Храм Христа Спасителя — главный московский кафедральный собор (пятиглавый с позолоченным куполом) был построен в память Отечественной войны 1812 г. по проекту архитектора К. А. Тона в 1835 — 1883 гг.; разрушен в 1931 г.; теперь восстанавливается. Храм Христа упоминается и в других произведениях Булгакова как приметное московское сооружение.

... я установил брыжейку... — *Брыжейка* (анатом.) — складка брюшины, прикрепляющая кишечник к задней стенке брюшной полости.

С. 480. *... в «Альказаре» набрался...* — «Альказар» — ресторан с музыкальным театром-кабаре, бывший в начале 1920-х гг. на Большой Садовой улице (дом 29). До середины 1970-х гг. в этом здании помещался сначала Театр эстрады, потом театр «Современник». Позже оно было снесено.

С. 483. *... действие луча на дейтероплазму и вообще на яйцеклетку...* — *дейтероплазма*, правильное, дейтоплазма (биолог.) — запас питательных веществ, накапливающихся в организме животных или птиц на клеточном уровне и в яйцеклетке (в яйцах птиц — желток); яйцеклетка — клетка у животных и растений, из которых может развиваться новый организм.

С. 484 — 485. *... Альфред Аркадьевич Бронский. Сотрудник московских журналов «Красный огонек», «Красный перец», «Красный журнал», «Красный прожектор» и газеты «Красная вечерняя Москва»... журнала «Красный ворон», издания ГПУ.* — В имени этого персонажа и перечне изданий, где он сотрудничал, причудливо перемешаны вымысел и реальность. Так, прототипом Бронского называют Александра Давыдовича Брянского (1882 — 1995), журналиста, коллеги Булгакова по работе в ЛИТО Главполитпросвета и в «Гудке», писавшего под псевдонимом Саша Красный. Похожие на перечисленные издания журналы и газеты существовали в начале 1920-х гг. и раньше: «Красный огонек» издавался в Петрограде в 1918 г., «Красный перец» — в Москве в 1922 — 1926 гг. В Москве же выходили «Красный журнал» и «Красный журнал для всех», журнал «Прожектор». В Петрограде (позже — Ленинграде) выпускались «Красная газета. Вечерний выпуск» и «Вечерняя красная газета», а журнал «Красный ворон» издавал Петросовет в 1922 — 1924 гг. как приложение к «Красной газете».

С. 487, 493. *... капитан дальнего плавания... знаменитому репортеру капитану Степанову.* — В книге К. Г. Паустовского «Повесть о жизни» описан репортер из «Гудки» по прозвищу Капитан Чугунная Нога, действительно ходивший на протезе с железной ступней (см. примеч. к стр. 553).

С. 490. *...бывшем Троицке, а ныне Стекловске...* — Обыграна фамилия Ю. М. Стеклова (1873 — 1941), видного рево-

люционного деятеля, публициста, историка и журналиста, редактора «Известий», журналов «Новый мир» и «Красная нива».

С. 491. *...магазина бывшего «Сыр и масло Чичкина в Москве».* — Знаменитый купец А. В. Чичкин в начале 1910-х гг. создал сеть молочных магазинов.

С. 492. *...вылезал из епитрахили.* — *Епитрахиль* — часть облачения священника, расшитый узорами передник, надеваемый на шею.

С. 498. *Телефон выбросил огненный кружок...* — система зрительной (семафорной) сигнализации вызова абонента в телефонных аппаратах 1920-х гг.

С. 498. *...советую лечиться у профессора Россолимо...* — Г. И. Россолимо (1850 — 1928) — известный невропатолог, профессор Московского университета. В Москве есть лечебный центр и улица его имени.

С. 498. *...полетели вопли Валькирий...* — «Полет Валькирий» из 2-й части тетралогии «Кольцо Нибелунгов» немецкого композитора Р. Вагнера (1813 — 1875) — оперы «Валькирия».

С. 500. *Валентин Петрович исправляет... Заведующий литературной частью...* — Так Булгаков подшутил над своим коллегой по газете «Гудок» — В. П. Катаевым (1897 — 1986), будущим известным писателем и драматургом.

С. 502. *...над бывшим Мюр и Мерилизом...* — Мюр и Мерилиз — торговая фирма, которой до революции принадлежал построенный в 1909 г. на углу Петровки, против Большого театра, крупнейший универсальный магазин столицы (ныне ЦУМ).

С. 503. *...знаменитый на весь мир ресторан «Ампир»* — см. примеч. к с. 412.

...куплеты, сочиненные поэтами Ардо и Арзуевым... — Слегка измененные фамилии известных московских эстрадных поэтов Арго и Адуева. Арго (А. М. Гольденберг, 1897 — 1968) — поэт и пародист, автор исследования «По-литическая пародия»; Н. А. Адуев (1895 — 1950) — драматург, поэт, автор либретто популярной некогда оперетты «Табачный капитан».

... Ах, мама, что я буду делать... — первая строчка из припева в модной эстрадной песенке-шансонетке дореволюционных времен. Продолжение было там такое: «...Как настали зимние холода: // У тебя нет теплого платочка //, У меня нет зимнего пальта». Этот мотив звучит и в первой части повести «Записки на манжетах». Исследователи полагают, что Булгаков мог слышать песенку в 1918 г. в киевском театрик-кабаре «Кривой Джимми», где она, очевидно, сочинена руководителем театра — поэтом-сатириком Н. Я. Агнивцевым (см. примеч. к с. 504).

С. 504. *...локойного Всеволода Мейерхольда, погибшего, как известно, в 1927 году при постановке пушкинского «Бориса Годунова», когда обрушились трапеции с голыми боярами...* —

Так в стиле «черного юмора» Булгаков обыгрывает свое одно-значно-негативное отношение к конструктивистским принципам оформления и режиссуры спектаклей В.Э.Мейерхольда (1874 — 1940) «Смерть Тарелкина» и «Великодушный рогоносец», причем последний спектакль писатель довольно зло высмеял в очерке «Столица в блокноте» (1923). Театр имени Мейерхольда (ГОСТИМ) был на Триумфальной площади, где теперь Московская филармония (Государственный концертный зал имени П. И. Чайковского).

...*пьесу писателя Эрендорга*... — Имеется в виду пьеса писателя и драматурга И. Г. Эренбурга (1891 — 1967) — «Д. Е.» («Дашь Европу!»), поставленная В. Э. Мейерхольдом в 1924 г.

...*обозрение писателя Ленивцева*... — переименованная фамилия поэта-сатирика и автора эстрадных песенок Н. Я. Агнивцева (1888 — 1932). «Аквариум» — зимний театр. На этом месте теперь Театр имени Моссовета.

...*в театре Корш*... — Имеется в виду бывший крупнейший частный театр Москвы «Комедия», основанный театральным предпринимателем Ф. А. Коршем (1882 — 1932). Теперь в этом здании в Петровском пер. (ул. Москвина) филиал Художественного театра имени А. П. Чехова.

...*«Шантеклер» Ростана*. — Речь идет о пьесе «Шантеклер» («Петух») французского драматурга Э. Ростана (1868 — 1918), в которой действие происходит на птичьем дворе. На самом деле «Шантеклер» в театре Корша не ставился, но в 1910 г. в московском театре «Аквариум» шла пародия на эту пьесу.

...*В цирке бывшего Никитина*... — Цирковое здание антрепренера А. А. Никитина располагалось на Большой Садовой улице, 18. Теперь в этом значительно перестроенном и реконструированном здании Московский театр сатиры.

Бим и Бом — дуэт клоунов, популярный цирковой псевдоним, под которым в 1920-х гг. выступали братья П. А. и Д. А. Кольцетти-Грудзинские.

С. 505. *Дойдя на Севере до Архангельска и Сюмкина Выселка*... — Сюмкин Выселок — вымышленное географическое название.

С. 506. *Был основан Доброкур*... — Название вымышленное. Образовано по аналогии с действовавшими тогда добровольными обществами Добролет и Доброхим, соединенными впоследствии в Осоавиахим. Доброхим, упоминаемый в повести позже, — Добровольное общество содействия строительству химической промышленности страны, в частности — в военных целях: производство отравляющих газов и защита от их воздействия. Тему военного применения таких газов Булгаков разовьет в пьесе «Адам и Ева» (1931).

...*фельетон журналиста Колечкина*... — Намек на известного журналиста М. Е. Кольцова (1898 — 1940), печатавшего очерки и фельетоны в «Правде» (см. примеч. к с. 559).

...*господин Юз*... — Имеется в виду американский полити-

ческий деятель Чарльз Эванс Юз, в 1921 — 1924 гг. — государственный секретарь США, проводивший достаточно жесткую политику против России.

С. 507. *...в громадном зале Цекубу на Пречистенке...* — Центральная комиссия по улучшению быта ученых занимала с 1922 г. особняк на улице Пречистенке (дом 16). В настоящее время здесь находится Московский дом ученых.

С. 511. *...у Швабе на Кузнецком...* — Существовавший в середине 1920-х гг. магазин резиновых изделий бывшего акционерного общества «Ф. Шваба» (Кузнецкий мост, 18).

С. 514. *...в бывшем имении Шереметевых...* — Имеется в виду усадьба графа А. Д. Шереметева (1859 — 1930) в селе Высоком на Смоленщине. В этих местах бывал Булгаков, работая земским врачом. Действие в шереметевской усадьбе происходит и в другом произведении писателя — рассказе «Вьюга». Другие географические названия ближайших мест вошли в повесть с изменениями: *г. Грачевка* — уездный центр Сычевка, *Дугино* — железнодорожная станция и поселок Новодугино. В 1920-е гг. в селе Высоком был организован на базе графского имения показательный совхоз с директором Эдгаром Карловичем Мелиупом, в прошлом — латышским стрелком. Он мог послужить одним из прототипов Александра Рокка.

Из Никольского, Смоленской губернии... — Это название Булгаков взял из наименования Никольской земской больницы (Караваевской волости, Сычевского уезда), где в 1916 — 1917 гг. работал врачом.

С. 528. *...убежал удав-констриктор.* — *Констриктор* (букв.: сжиматель; анатом.) — мышца, сжимающая какой-либо канал или естественное отверстие; здесь: участник циркового номера «борьба с удавом», где дрессировщик позволяет крупному питону себя обвить, а потом выскальзывает из его «объятий».

...электрический револьвер... Пятидесятизарядная модель... гордость французской техники... 25-зарядный поясной пулеметик... — вымышленные виды оружия.

С. 529. *...к воротам с позеленевшими львами.* — Геральдические скульптуры, поддерживающие герб бывшего владельца двorca в шереметевской усадьбе (с. Высокое). На гербе — родовый девиз Шереметевых: *Deus conservat omnia* («Бог охраняет всех»).

С. 530. *Какие-то погремушки...* — выросты на хвостах у североамериканских гремучих змей.

С. 532. *...корректоров... и метранпажа...* — *Корректор* — работник наборного цеха типографии, исправляющий ошибки в оттиске набора; *метранпаж* — старший наборщик, верстающий (составляющий) полосы (страницы) газеты.

...работал у Вани Сытина в «Русском слове»... — «Русское слово» — ежедневная газета, основанная в 1895 г., с 1897 г.

издавалась известным русским книгоиздателем И. Д. Сытиным (1851 — 1934); закрыта советской властью за контрреволюционную агитацию в декабре 1917 г.; на ее полиграфической базе созданы газеты «Известия» и «Труд».

С. 533. ... в *Художественном театре на «Федоре Иоанновиче»*. — Имеется в виду спектакль Художественного театра «Царь Федор Иоаннович» по драме А. К. Толстого (1817—1875), русского писателя и драматурга.

С. 537. *Александровский вокзал* — ныне Белорусский вокзал (западное направление).

С. 538. *Николаевский вокзал* — ныне Ленинградский вокзал (санкт-петербургское направление).

С. 539. *Ни туз, ни дама, ни валет..* — В шуточной песне конников использованы стихи партийного гимна «Интернационал»: «... Никто не даст нам избавленья: // Ни бог, ни царь и ни герой. // Добьемся мы освобожденья // Своею собственной рукой...».

...*командир конной громады..* — Имеется в виду С. М. Буденный (1883 — 1973).

С. 542. *Морозный бог на машине*. — Переиначенное латинское выражение *Deus ex machina* («бог из (на) машины») — посторонняя сила, неожиданно и внезапно, как боги в пьесах древности, разрешающая ситуацию (см. примеч. к с. 415). Таким «богом на машине» оказался по сюжету повести августовский мороз. Выше сообщалось о провидческом даре Булгакова и аналогиях финала повести с декабрьскими событиями под Москвой в 1941 г.

В новую историческую эпоху, ровно через 50 лет и в год 100-летия со дня рождения писателя, этот, едва ли не мистический, дар проявился снова: именно в те же дни, с 19 по 21 августа, произошли известные политические события в Москве, названные путчем и завершившиеся победой демократических сил, в том числе и благодаря трехдневному почти непрерывному холодному дождю и туманам

АВТОБИОГРАФИЯ 1924 ГОДА

Впервые в кн.: *Никитина Е. Ф.* Русская литература от символизма до наших дней. — М.: Никитинские субботники, 1925. Печатается по: *Булгаков М. А.* Письма. Жизнеописание в документах. — М.: Современник, 1989.

С. 547. ...*получив звание лекаря с отличием*. — Имеется в виду запись в дипломе № 39665: «Медицинская испытательная комиссия при Императорском университете святого Владимира сим свидетельствует, что Булгаков Михаил Афанасьевич, сын чиновника, вероисповедания православного, родившийся 3 мая 1891 года, прослушал полный курс медицинского факультета и, весьма удовлетворительно выдержав установленные испытания, 6 апреля 1916 года... утвержден в степени лекаря с отличием.. Выдан лекарю Булгакову Михаилу

настоящий диплом с приложением печати. Киев, октябрь 31 дня 1916 года».

...ночью в 1919 году... написал первый маленький рассказ. В городе, в который затащил меня поезд, отнес рассказ в редакцию газеты. — В автобиографии 1931 г. Булгаков написал уже более определенно: «Тогда же (1916 г.) стал заниматься литературой, нигде не печатаясь до 1919 года. В годы 1919 — 1921, проживая на Кавказе, писал фельетоны, изредка помещаемые в газетах, изучал историю театра, иногда выступал в качестве актера». Эта публикация — «Грядущие перспективы» была обнаружена в газете «Грозный» за 13 (26) ноября 1919 г.

...ни одного экземпляра не осталось. — Сохранился суфлерский экземпляр пьесы «Сыновья муллы», написанной в 1921 г. во Владикавказе. Другие пьесы этого периода («Самооборона», «Братья Турбины», «Парижские коммунары», «Глиняные женихи») не разысканы.

В конце 1921 г. приехал... в Москву... — Булгаков приехал в Москву в конце сентября 1921 г.

ПОД ПЯТОЙ

Мой дневник

История дневниковых записей, сделанных Булгаковым до конца еще не разгадана, а сама судьба дневников достаточно драматична. То же относится к их обнаружению и первым публикациям.

Есть основания предполагать, что Булгаков вел дневниковые записи с детства, продолжал их в юности и в уже зрелом возрасте: такова была традиция, сохранявшаяся в те годы в интеллигентных семьях. Судьба ранних дневников писателя неизвестна. Зато известно, что рукописные дневники его уже московского периода (за 1922 — 1925 гг.) в трех тетрадах и машинопись повести «Собачье сердце» были изъяты сотрудниками ОГПУ при обыске комнаты Булгакова 7 мая 1926 г. Этот факт подтверждается его заявлением в Совнарком и другими документами, а также воспоминаниями его жены в то время — Л. Е. Белозерской. Затем Булгаков в течение нескольких лет пытался вызволить из ОГПУ свои рукописи, и ему удалось это сделать с помощью А. М. Горького.

Получив подлинники дневников, писатель их уничтожил и никогда больше таких личных записей не вел. Зато подобный «семейно-литературный» дневник по просьбе мужа начала с 1933 г. вести третья жена Булгакова — Елена Сергеевна. Материалы дневника Е. С. Булгаковой достаточно известны (см.: Дневник Елены Булгаковой. — М.: Книжная палата, 1990.). Вот как он начинается: «Миша настаивает, чтобы я вела этот дневник. Сам он после того, как у него в 1926 году взяли при

обыске его дневники, дал себе слово никогда не вести дневника. Для него ужасна и непостижима мысль, что писательский дневник может быть отобран».

Но как же все-таки уничтоженный писателем дневник нашелся? Сбылось почти по словам булгаковского Воланда: «Рукописи не горят». Машинописная копия дневника, а потом и фотокопия его рукописных страниц отыскалась в архивах ОГПУ и была передана в распоряжение исследователей в Российский государственный архив литературы и искусства.

С. 548. *Под пятой.* — Использовано название знаменитого романа Джека Лондона «Железная пята», известного Булгакову еще с гимназических времен. Модель общества, построенную в романе американским писателем, автор дневника соотносит с современными ему реалиями.

...что «Яр» открылся... — Имеется в виду старинный ресторан с цыганами на Петербургском тракте. Теперь — гостиница «Советская» на Ленинградском проспекте, 32.

Питаемся с женой плохо. — Речь идет о Татьяне Николаевне Лаппа (1892 — 1982), первой жене Булгакова (с 1913 по 1924 г.).

К дяде Коле силой... вселили парочку... — Булгаков пишет о своем дяде по матери — враче Николае Михайловиче Покровском (1878 — 1942), который впоследствии послужил прототипом профессора Преображенского в «Собачем сердце». Жил он в Чистом переулке, 1, квартира 12.

Пил сегодня у Н. Г. водку. — Имеется в виду друг семьи Булгаковых — врач Николай Леонидович Гладыревский (1896 — 1973).

...взять у дядьки немного муки... У Бориса миллион. — Речь идет о Н. М. Покровском и Борисе Михайловиче Земском (1890 — 1940), брате мужа сестры писателя — Надежды Афанасьевны Земской (1893 — 1974). Б. М. Земский работал одним из ведущих специалистов в Академии им. Н. Е. Жуковского и в начале 1922 г. устроил туда и Булгакова.

...особняк 3. заберут... — по всей вероятности, автор дневника подразумевает здесь выражение «особняк Земских»: так в семье шутиливо называли небольшой старинный домик в Воротниковском переулке (дом 1), используемый в начале 1920-х гг. как помещение детского сада печатников «Золотая рыбка», которым заведовала жена Б. М. Земского — Мария Даниловна Земская (1889 — 1964). Жили они тут же, в служебной квартире детского сада на 2-м этаже. После приезда в сентябре 1921 г. в Москву Булгаков останавливался у них и часто бывал в гостях. Особняк отобран не был и до недавнего времени сохранял свои функции.

Следует вспомнить и другой «особняк Земских» — старинное здание на Большой Никитской улице, 46, сохранившееся до наших дней. Здесь в бывшей гимназии Алилековой помещалась школа, директором которой в течение почти десяти

лет была Н. А. Земская. Жила она с мужем — А. М. Земским, а позже и с дочерью, племянницей и крестницей Булгакова — Леной (Е. А. Земской) тут же на третьем этаже (квартира 1/2) — как бы на хорах или антресолях. У Надежды не раз находили приют ее сестры — Вера и Леля и брат Михаил с первой женой — И. Н. Лаппа и со второй женой — Л. Е. Белозерской.

...*Ученый проф. Ч.* ... — Возможно, имеется в виду ученый-аэродинамик С. А. Чаплыгин (1869 — 1942), ученик Н. Е. Жуковского и с 1921 г. руководитель института ЦАГИ.

С. 549. ...*был назначен суд над «Записками врача»*. — Книга Викентия Викентьевича Вересаева (Смидович, 1867 — 1945) послужила примером для булгаковских «Записок юного врача». Вересаев позже помогал Булгакову и материально, одно время они писали вместе пьесу «Последние дни» («Пушкин»).

С. 549. «*Должность*» моя в военно-редакционном совете... — Речь идет о работе Булгакова в Академии им. Н. Е. Жуковского у Б. М. Земского. «Должность» называлась «старший инженер».

...*есть кажется (место) в газете «Рабочий»*... — Булгаков поступил в эту газету в конце февраля 1922 г. Свой первый репортаж там («Когда машины спят») опубликовал 1 марта.

С. 549 — 550. ...*уехал из Москвы в Киев*... — Имеется в виду командировка от берлинской газеты «Накануне», московским корреспондентом которой был и Булгаков. Результатом поездки было окончание романа «Белая гвардия» и два очерка («Путевые заметки» и «Киев-город»), опубликованные в этой газете. Там же был напечатан репортаж «Бенефис лорда Керзона» — о московской демонстрации протеста в связи с убийством полпреда В. В. Воровского (1871 — 1923). Ноты члена коллегии Наркомфина А. И. Вайнштейна (1877 — 1938) были направлены министру иностранных дел Великобритании Д. И. Керзону (1859 — 1925). *Фох* Фердинанд (1851 — 1929) — маршал Франции, с апреля 1918 г. — верховный главнокомандующий союзными войсками Антанты. *Красин* Леонид Борисович (1870 — 1926) — партийный и государственный деятель, с 1920 г. — нарком внешней торговли, одновременно полпред и торгпред в Англии; в 1924 г. полпред во Франции.

С. 550. ...*приехал граф Алексей Толстой*. — Писатель А. Н. Толстой (1882 — 1945) в начале 1920-х гг. жил в Берлине, где редактировал «Литературное приложение» к газете «Накануне», печатал там Булгакова. Встреча Толстого с московскими журналистами пародийно описана в «Театральном романе».

...*патриарх Тихон вдруг написал заявление*... — Имеется в виду заявление патриарха Московского и Всея Руси Тихона (Белавин Василий Иванович, 1865 — 1925) о сотрудничестве и признании советской власти Русской православной церковью, вызвавшей много толков и волнений.

С. 551. *«Гудок» два дня как перешел на Солянку...* — В газете железнодорожников «Гудок» Булгаков работал с 1922 по 1926 г., опубликовав там около 120 фельетонов, очерков, репортажей. После переезда редакции «Гудка» с Б. Чернышевского пер., 7, что рядом с редакцией «Накануне» (Б. Гнездиковский пер., 10), во Дворец труда на Москворецкую набережную (ул. Солянка, 12) расстояние между двумя редакциями стало значительным.

Дела литературные вялы. — Книжка «Записки на манжетах», принятая издательством «Накануне», так и не вышла. В самой газете «Накануне» Булгаков опубликовал 25 фельетонов, рассказов и очерков. *Роман... почти не подвигается.* — Имеется в виду «Белая гвардия», над которой в это время работал писатель.

С. 552. *...вернулся с лекции сменовеховцев...* — Сменовеховцы — основные авторы пражского сборника «Смена веков», представители эмигрантского общественно-политического и литературного течения; сотрудничали и с газетой «Накануне». Вечер-лекция «Европа сегодня» состоялся с участием юриста-международника, одного из основателей «Накануне» — Юрия Вениаминовича Ключникова (1886 — 1938) и писателей — Александра Владимировича Бобрищева-Пушкина (1875 — 1938?), Ильи Марковича Василевского (Не-Буква, 1882—1838), А. Н. Толстого. *Катаев* — Валентин Петрович Катаев (1897 — 1988), писатель, в то время работавший вместе с Булгаковым в «Гудке».

С. 552. *...приехали к нам Софочка с матерью, мужем и ребенком.* — По всей вероятности, речь идет о саратовских родственниках жены Булгакова — Татьяны Николаевны: сестре — Софье Николаевне Вертышевой, их матери — Евгении Викторовне Пахотинской (Лаппа, 1869 — 1963), муже Софьи — Константине Николаевиче Вертышеве и их дочери Тамаре.

...в гнусной комнате гнусного дома... — Имеется в виду дом 10 по Б. Садовой улице, где в квартирах 50 и 34 Булгаков с женой жили с осени 1921 г. по конец 1924 г. Это пребывание отразилось в его рассказах и фельетонах, а в «Мастере и Маргарите» это «дом 302-бис» с «нехорошей квартирой» № 50.

С. 553. *...был... Калменсом... хромым «Капитаном»...* — Имеются в виду известные в тогдашней московской журналистской среде Семен Николаевич Калменс — финдиректор московского отделения газеты «Накануне» и сотрудник газеты «На вахте» — капитан дальнего плавания Зузенко. Последний выведен в повести «Роковые яйца» под именем «капитана Степанова» с «механической ногой» (см. примеч. к с. 487.).

С. 554. *...что происходит в Германии... некий Штрэземан... Радек... заявляет...* — Булгаков обеспокоен текущими внешнеполитическими событиями: оккупация в январе 1923 г.

французскими войсками германской территории Рурского угольного бассейна на правом берегу Рейна вызвала затяжной политический кризис в Германии, приведший через 10 лет к власти Гитлера. Эти события широко освещались в прессе. Штреземан Густав (1878 — 1929) — германский рейхсканцлер в августе-ноябре 1923 г., лидер немецкой народной партии. Радек Карл Бернгардович (1885 — 1939) — государственный и партийный деятель, в 1923 г. — один из секретарей Исполкома Коминтерна и член ЦК РКП(б), публицист.

Получил на днях известие о Коле (его письмо)... — Коля — брат писателя, Николай Афанасьевич Булгаков (1898 — 1966), в то время студент-медик Загребского университета. Старший брат Михаил оказывал младшим братьям — Николаю и Ивану посильную материальную помощь в основном из отчислений зарубежных гонораров за изданные книги и поставленные пьесы.

...у меня был А. Эрлих... Коморский и Дэви... — друзья Булгакова этого времени: Эрлих Арон Исаевич (1896 — 1963) — журналист, коллега по работе в «Гудке», оставивший воспоминания о писателе (в книге «Нас учила жизнь»); Коморский Владимир Евгеньевич (1891 — 1982) — адвокат, у которого на квартире часто собирались литераторы и журналисты; Дэви — Кисельгоф Давид Александрович (1895? — 1976?) — юрист, впоследствии женившийся на Татьяне Николаевне Лаппа.

...в Москве раскрыт заговор. Взяты ... Богданов и Краснощеков ... — В центральных газетах широко освещалась история проворовавшегося председателя Промбанка А. М. Краснощекова и его брата. Булгаков откликнулся на это событие фельетоном в «Накануне» — «Белобрысова книжка» о выдвиженце Белобрысове и его брате-растратчике.

С. 555. В Германии идет все еще кутерьма. — Речь идет о политическом осложнении в Европе: в ночь на 27 сентября 1923 г. по всей Германии введено осадное положение, а 29 сентября за подписью германского президента Ф. Эберта и членов его кабинета был опубликован манифест о прекращении пассивного сопротивления французским войскам в Руре.

С. 557. ...Константин приехал из Петербурга. — Двоюродный брат Булгакова — Константин Петрович Булгаков (1892 — 1950?).

С. 558. ...на «Трудовую копейку». В ней потеряли два моих фельетона... Кольцов... — Речь идет о ежедневной финансовой газете Наркомфина, выходившей с августа по декабрь 1923 г. Публикаций Булгакова там обнаружить не удалось. Кольцов Михаил Ефимович (1898 — 1940) — известный советский журналист.

«Накануне»... печатается мой фельетон... о выставке... — имеется в виду очерк «Золотистый город» об открытии Всероссийской сельскохозяйственной выставки, опубликованный

в газете 30 сентября, 6, 12 и 14 октября. *Жду ответа... на счет «Диаволиады»*. — Эта повесть была напечатана в IV книге альманаха «Недра» в начале 1924 г.

Дядя Миша читал на днях... — Михаил Михайлович Покровский (1882 — 1943), врач, брат Н. М. Покровского, живший с ним в одной квартире (см. примеч. к с. 548).

С. 560. *...заходил в «Недра» к П. Н. Зайцеву*. — Петр Никанорович Зайцев (1889 — 1970) — секретарь редакции издательства и альманаха «Недра».

С. 561. *Тася* — Татьяна Николаевна Булгакова (Лаппа), жена писателя (см. примеч. к с. 548).

Лидин... по словам Соколова-Микитова... — Лидин Владимир Германович (1895 — 1979) и Соколов-Микитов Иван Сергеевич (1892 — 1975) — писатели, в начале 1920-х гг. — журналисты.

... Ал. Дроздов... Марков-2-й. — Дроздов Александр Михайлович (1895 — 1963) — писатель, сотрудничал в белогвардейских газетах, в 1923 г. вернулся в СССР; Марков Николай Евгеньевич — один из лидеров «Союза русского народа», в эмиграции входил в руководство Высшего монархического совета.

С. 562. *...были Митя Стонов и Гайдовский... в журнале «Город и деревня». Потом Андрей*. — Стонов Дмитрий Миронович (1892 — 1963) и Гайдовский Георгий Николаевич (1902 — 1962) — писатели, сотрудничавшие в кооперативном литературном журнале «Город и деревня», в нескольких номерах которого упомянут и Булгаков как участник журнала. *Андрей* — Земский Андрей Михайлович (1892 — 1946) — муж Надежды Афанасьевны, сестры Булгакова; по образованию — филолог (см. примеч. к с. 548).

С. 563. *...прочел... бездарную книгу Мих. Чехова...* — Видимо, речь идет о книге М. П. Чехова «Антон Чехов и его сюжеты» (М., 1923). Михаил Павлович Чехов (1865 — 1936) — русский писатель, беллетрист, переводчик — брат А. П. Чехова, написавший серию книг такого плана («Антон Чехов, театр, актеры...» (1924), «Антон Чехов на каникулах» (1929), «Вокруг Чехова» (1933) и др.).

...был у Лежнева... — Лежнев Исая Григорьевич (1892 — 1955) — критик, литературовед, публицист, в те годы издатель журнала «Россия» («Новая Россия»), печатавший булгаковскую «Белую гвардию». Прототип героя повести «Тайному другу», упоминается и в «Театральном романе».

С. 563 — 564. *...в газетах: бюллетень о состоянии здоровья Л. Д. Троцкого... Троцкого выставили. Что будет с Россией знает один Бог*. — Троцкий Лев Давыдович (1879 — 1940), партийный и государственный деятель; во время гражданской войны и позднее был председателем Реввоенсовета и наркомвоенмором. Текст бюллетеня, подписанный светилами тогдашней медицины 31 декабря 1923 г. был опубликован в

«Известиях» 8 января 1924 г. Его содержание расплывчато и не дает оснований делать вывод, что Троцкого фактически отстранили от власти по болезни. Смысл этого решения был сугубо политическим: Сталин, предвидя близкую смерть В. И. Ленина, таким способом удалял соперника. Троцкий, находившийся на Кавказе, даже не приехал на похороны главы государства. Следует отметить, что в этой дневниковой записи о Троцком чувствуется тревога, настороженность, недосказанность. То, что Россия вступает в какую-то новую полосу своего бытия, Булгаков осознавал совершенно ясно. Но что ждет ее на этом пути, представить было трудно, ибо исключение из игры одного из идиолов победителей не означало еще приближения заката новоявленной правящей касты.

С. 564. *...вечер у Бориса.* — Земский Борис Михайлович — брат Андрея Земского (см. примеч. к с. 548).

...Ленин скончался. — Исследователями установлено, что нет каких-либо материалов, содержащих отрицательные высказывания Булгакова о Ленине. Напротив, имя вождя встречается у писателя всегда в положительном контексте, его личность была ему интересна: в архиве Булгакова сохранились газетные вырезки и другие материалы о Ленине. Репортажи о похоронах главы государства опубликованы Булгаковым в «Гудке» 27 января («Часы жизни и смерти») и в «Бакинском рабочем» 1 февраля 1924 г. («В часы смерти»). Ленин и его жена — Н. К. Крупская присутствуют и в автобиографическом рассказе писателя «Воспоминание...».

С. 565. *...по Москве ходит манифест Николая Николаевича... взял всех Романовых!* — Великий князь Николай Николаевич Романов (1856 — 1929), внук Николая I, двоюродный дядя Николая II, генерал от кавалерии. После гибели последнего императора России — один из главных претендентов на престол. Жил во Франции, и с его именем эмигрантские монархические круги связывали надежды на будущий освободительный поход на Россию, восстановление правящей династии Романовых. В зарубежных газетах можно было прочитывать: «В последнее время в Москве и Петербурге стали распространяться в тысячах экземплярах воззвания <...> и манифест Николая Николаевича, выступающего под именем «Николай III». Советское правительство в связи с этим стало арестовывать уцелевших представителей аристократии» («Народная мысль», Рига). И у Булгакова возникла озабоченность и реальные опасения оказаться в ОГПУ на Лубянке в связи с такими воззваниями.

...открытие съезда железнодорожников... Калинин... Мордкин... Кригер... Виктор... Головин... — Калинин Михаил Иванович (1875 — 1946) — председатель Центрального исполнительного комитета СССР, «всесоюзный староста»; Мордкин Михаил Михайлович (1881 — 1944) — артист балета Большого театра, балетмейстер; Кригер Виктория Владимиров-

на (1896 — 1978) — артистка балета Большого театра; Виктор Виктор Яковлевич — певец, в 1923 — 1924 гг. — солист Большого театра; Головин Дмитрий Данилович (1894 — 1966) — певец, с 1924 г. — солист Большого театра.

С. 565 — 566. *...на съезде появился Зиновьев... ругал Макдональда...* — Зиновьев Григорий Евсеевич (1883 — 1936) — партийный и государственный деятель, председатель Петроградского Совета и председатель Исполкома Коминтерна. Макдональд Джеймс Рамсей (1866 — 1977) — английский политический деятель, возглавлял лейбористское правительство в 1924 г. и в 1929 — 1931 гг.; правительство Макдональда установило в феврале 1924 г. дипломатические отношения с СССР, чем вызвало резкую критику в английском парламенте со стороны отошедших от правления консерваторов (например, лорда Керзона) и русской эмиграции. Зиновьев в своем выступлении явно реагировал на ответ Макдональда Керзону (опубликованный в парижской эмигрантской газете «Последние новости» 1 апреля 1924 г.), где, в частности, отмечалось следующее: «Весь смысл признания советского правительства состоит в том, чтобы заставить русский народ осознать, что ответственность за события лежит на нем одном... Россия вольна иметь то правительство, которое хочет. Пусть сам народ устраивает свои дела, как ему это нравится». Не могли вызвать одобрения у одного из лидеров СССР заявления о реституции (восстановление в правах собственности бывших владельцев) предприятий, которые при царизме принадлежали и англичанам, а также другие заявления Макдональда.

С. 566. *...был у Любови Евгеньевны и «Деиньки».* — Белозерская Любовь Евгеньевна (1895 — 1987) — вторая жена Булгакова. В то время жила у своих родственников Тарновских. Главу семьи, Евгения Никитича, звали по-домашнему Дей, отсюда — «Деинька». Л. Е. Белозерская оставила книгу воспоминаний о Булгакове.

Приехали из Самары Ильф и Юрий Олеся... — Ильф Илья Арнольдович (1897 — 1937), Олеся Юрий Карлович (1899 — 1960) — известные русские писатели, в то время — журналисты, коллеги Булгакова по работе в «Гудке».

С. 566 — 567. *...писал фельетон для «Красного перца»... газеты «Заря Востока»... Свэн забраковал фельетон в «Занозе».* — Упомянуты названия журналов и газеты, где пытался сотрудничать Булгаков. В этих изданиях ему удалось в 1924 — 1925 гг. опубликовать по одному фельетону: «Три вида свинства» (Красный перец. 1924. № 21), «Таракан» (Заря Востока. Тифлис. 1925. 23 авг.), «Площадь на колесах» (Заноза. 1924. № 9). Свэн — Кремлев Илья Львович (1897 — 1971) — журналист, писатель.

С. 567. *...ловонил Лежневу... с Каганским...* — Лежнев И. Г. — см. примеч. к с. 563; Каганский Захарий Львович — издатель журнала «Россия», где печаталась «Белая гвардия». Булгаков

считал, что Каганский, уехавший за границу, присваивает его гонорары за зарубежные постановки пьес и публикации. В повести «Тайному другу» (1929) Каганский выведен в образе несимпатичного персонажа — Рвацкого.

...в экипаж Калинина... ударила молния. — О пристрастии «всероссийского», а потом и «всесоюзного» старосты М. И. Калинина (см. примеч. к с. 565) к конным экипажам ходили легенды: но бывали и фельетоны. Вот фрагмент из фельетона помещенного в эмигрантской газете «Новое время» (1923 25 января): «В «придворной» конюшне всероссийского старосты Калинина перед праздниками пропала сбруя, только что доставленная из бывшей императорской конюшни. Подозреваемые в хищении коронационной упряжи... расстреляны.. «Староста» <...> большой любитель прокатиться на тройке и часто его «караковая» часами стоит перед ярко освещенными окнами «Яра»...» (см. примеч. к с. 548).

Лавочник Ярославцев... альманах «Возрождение». — Первая часть повести «Записки на манжетах» была опубликована во 2-й книге московского альманаха «Возрождение», который редактировал Петр Ярославцев, широко занимавшейся и коммерцией.

...рисунок под надписью «Итоги XIII съезда»... — В журнале «Красный перец» (1924, № 13) была помещена карикатура К. С. Елисеева, изображающая толстую эппманшу, которую затягивают в корсет, с подписью: «Новая буржуазия: — Даша да не душит меня так. Ведь даже большевики постановили чтобы нас не душить, а только ограничить».

С. 568. ... выйдем один тощий журнал... выпустить некому Верхотурскому... предложенное название «Петрушка». — После закрытия журналов «Красный перец» и «Заноза» начал выходить их симбиоз — «Заноза с красным перцем». Произведений Булгакова там не обнаружено. Верхотурский Адольф Григорьевич (1870 — 1933) — журналист, писатель.

...видел Еремеева... — Еремеев Константин Степанович (1874 — 1931) — партийный и государственный деятель из рабочих; один из руководителей штурма Зимнего дворца; редактор «Рабочей газеты» и ее приложения — журнала «Крокодил».

С. 569. ...приехала Галя Сынгаевская — дочь киевских знакомых Булгакова; ... ночевать у Зины Коморской. — Коморская Зинаида Васильевна — жена В. Е. Коморского (см. примеч. к с. 554).

...в издательстве Френкеля... брошюры, затеянные И. М. Василевским... будет Блюмкин... убийца посла Мирбаха. — Френкель Лев Давидович — издатель; серия «брошюрок» И. М. Василевского (Не-Буквы) называлась «Вожди и деятели революции»; Блюмкин Яков Григорьевич (1898 — 1929) — левый эсер, сотрудник ВЧК; 6 июля 1918 г. он по заданию ЦК партии левых эсеров убил посла Германии в Рос-

сии Вильгельма Мирбаха (1873 — 1918), что послужило сигналом к левозсеровскому мятежу.

С. 570. *...показал мне рецензии в «Звезде».* — Имеется в виду рецензия на повесть «Дьяволиада» в ленинградском журнале «Звезда» (1924. № 3), подписанная «Г.Р.» (Г.Ролан-Гольст?), где сказано: «И совсем устарелой по теме (сатира на советскую канцелярию) является «Дьяволиада» М. Булгакова, повесть-гротеск, правда, написанная живо и с большим юмором». Последние слова, видимо, как-то ободрили автора повести.

...торгуют на всех углах книгой Лемке... — Лемке Михаил Константинович (1872 — 1923) — историк, публицист, автор повести «250 дней в царской ставке» (М., 1924).

...пропал на Кубуч. — Комиссия по улучшению быта ученых или Цекубу (см. примеч. к с. 507).

...Был на приеме у профессора Мартынова... — Мартынов Алексей Васильевич (1868 — 1934) — крупный русский хирург, создатель собственной научной школы. В 1926 г. оперировал Булгакова по поводу аппендицита.

...арестован Борис Савинков. — Савинков Борис Викторович (1879 — 1925) — эсер, террорист; товарищ военного министра во Временном правительстве, позже — эмигрант, руководитель многих контрреволюционных заговоров и мятежей. 16 августа 1924 г. был арестован в Минске, 27 августа предстал перед Военной коллегией Верховного суда РСФСР, которая приговорила его к расстрелу, затем приговор был снят: десять лет заключения. Официальное сообщение о гибели Б. Савинкова (якобы он написал 7 мая 1925 г. письмо Дзержинскому и потребовал немедленного освобождения, а после отказа — выбросился из окна тюрьмы) было встречено разноречивыми откликами.

...правительства Сун Ят-Сена... — Сун Ят-Сен (1866 — 1925) — китайский революционер-демократ, один из основателей и руководителей партии гоминьдана, был за союз с СССР и компартией Китая, возглавляя правительство левых сил в южных провинциях Китая.

С. 571. *...в Москве появились совершенно голые люди...* — На это необычное событие нарком здравоохранения Н. А. Семашко откликнулся так (Известия. 1924. 12 сент.): «... я считаю абсолютно необходимым немедленно прекратить это безобразие, если нужно, то репрессивными методами». А через месяц в «Гудке» был опубликован фельетон Булгакова «По голому делу» — о результатах применения подобных мер.

С. 572. *Ангарский подчеркнул мест 20, которые надо.. изменить.* — Ангарский (Клестов) Николай Семенович (1873 — 1941) — критик, издатель, ответственный редактор альманаха «Недра», где были опубликованы «Роковые яйца» (1925, VI книга).

...в мосье Раковском... — Раковский Христиан Георгиевич

(1873 — 1941) — партийный и государственный деятель, дипломат, в то время полпред в Англии.

С. 573. *Мосье Красин* — Красин А. Б. (см. примеч. к с. 550) *...французского премьера Эррио...* — Эррио Эдуард (1872 — 1957) — лидер французской партии радикалов. В 1924 — 1925 гг. — премьер-министр. Выступал за сотрудничество с СССР. Уже отойдя от государственных дел и будучи мэром Лиона, Э. Эррио, находясь в СССР и посетив Художественный театр, выразил Булгакову свое восхищение после просмотра «Дней Турбиных» и пригласил его посетить Францию.

...полоумная баба... приходила к посольству Красина — стрелять... — 14 декабря 1924 г. «Известия» сообщили, что на Красина в Париже была предпринята попытка покушения. Инспектор полиции задержал подозрительную женщину, прогуливающуюся возле советского посольства. У нее был изъят револьвер. При допросе она назвалась «вдовой Диксон, урожденной Егорьевой», а также заявила: «Оскорбительно видеть Красина в Париже. Я приехала, чтобы его убить, так как он совершит революцию во Франции так же, как совершил ее в России».

...выпустили 30° водку, которую публика... назвала «рыковой». — По фамилии Алексея Ивановича Рыкова (1881 — 1938), партийного и государственного деятеля, в те годы предсовнаркома и председателя ВСНХ (см. также дневниковую запись Булгакова за 29 декабря 1924 г.).

...Шмидта выгнали из Госиздата... — Шмидт Отто Юльевич (1891 — 1956) — видный ученый и государственный деятель. С 1921 по 1924 гг. заведовал Госиздатом.

С. 574. *...живу в Обуховом переулке...* — К этому времени переулок получил уже другое название. Адрес Булгаковых: Чистый переулок, 9а (флигель), квартира 4.

С. 575. *Бессмертье — тихий светлый берег...* — строки из поэмы В. А. Жуковского (1783 — 1852) «Певец во стане русских воинов». Первые три строки Булгаков использовал в качестве эпиграфа в пьесе «Бег»; ... *при Ароне, при Потопком* — сотрудники «Гудка».

Меня уже контузили через полчаса... — речь идет об одном из эпизодов гражданской войны — бое за чеченский Шали-Аул, где принимал участие Булгаков, описавший эти события в рассказе «Необыкновенные приключения доктора».

С. 576. *...показывал две из тех книжечек...* — У И. М. Василевского (Не-Буквы) в серии «Вожди и деятели революции» были выпущены книга Дмитрия Стонова «М. И. Калинин» и книга «М. М. Володарский» под двумя подписями: П. Арский и Ал. Дмитриев. Автором последней книги был А. В. Бобринцев-Пушкин. Володарский Моисей Маркович (1891 — 1918) — партийный работник, был комиссаром по делам печати, пропаганды и агитации в Петрограде.

С. 577 *...ошибка всех Павлов Николаевичей и Пасмани*

ков... — Имеются в виду: Милюков Павел Николаевич (1859 — 1943) — лидер партии кадетов, историк, в 1920 — 1930-е гг. редактор парижской газеты «Последние новости» и Д. С. Пасманик — один из лидеров эмигрантского либерально-демократического движения. Они и их единомышленники выступали против силовых методов решения «русского вопроса», к которому призывали монархические круги эмиграции, но, по сути, боялись возвращения монархии в России.

...*Бобрищев погибнет.* — Булгаков постоянно подчеркивал, что сменовеховцы (см. примеч. к с. 552), скатившиеся до унижительного услужения новым властям, плохо кончат. И оказался прав: большинство из них было репрессировано и погибло в 30-е гг.

...*«Странник играет под сурдинку».* — Имеется в виду роман норвежского писателя Кнута Гамсуна (1859 — 1952).

...*убили еще одного селькора... Сигаева... это интродукция к совершенно невероятной опере.* — 23 декабря 1924 г. в «Известиях» была напечатана заметка о зверском убийстве в Армавирском округе недавнего красноармейца, селькора Николая Сигаева — кулаки «раскроили ему топором голову». Булгаков усматривает в этих сообщениях как бы подтверждение своей мысли о нарастающем недовольстве советской властью — «интродукции» к освободительному движению. Но «опера», как известно, получилась совсем иная, под названием «коллективизация».

С. 578 — 579. ...*вернулся с вечера у Ангарского...* — Никандров (Шевцов) Николай Никандрович (1878 — 1964) — писатель; Кириллов Владимир Тимофеевич (1889 — 1943) — поэт; Ляшко (Лященко) Николай Николаевич (1884 — 1953) — писатель; Львов-Рогачевский Василий Львович (1873 — 1930) — критик.

С. 579. ...*прогремевший памфлет — письмо Бернарда Шоу...* — Джордж Бернард Шоу (1856 — 1950) — знаменитый английский писатель-сатирик и драматург; в письме, опубликованном в «Известиях» 25 декабря 1924 г., он осмелел идеи III Интернационала и попытки партийных лидеров СССР (Г. Зиновьева и других) насадить в Англии марксизм и революционное движение. В ответном фельетоне К. Радек пытался представить этот памфлет как литературные упражнения писателя-сатирика.

С. 580 — 581. ...*у Никитиной читал свою повесть...* «Никитинские субботники» — Никитина Евдоксия Федоровна (1893 — 1973) — историк литературы, организатор издательства «Никитинские субботники» и одноименных чтений, на которых выступали многие литераторы.

С. 581. ...*был у Лидии Васильевны.* — Кирьякова Лидия Васильевна — журналистка, основавшая в 1922 г. литературный кружок «Зеленая лампа».

С. 582. ...*Один вид Ю. Потехина...* — Потехин Юрий Ни-

колаевич (1890 — 1938) — журналист, сменовеховец, член редакции газеты «Накануне».

Литература... не будет садыкерско-сменовеховской... — имеется в виду Садыкер Павел Абрамович — директор-распорядитель акционерного общества «Накануне».

...Ауслендер сказал... — Ауслендер Сергей Абрамович (1886 — 1943) — писатель.

С. 583. *...пришла нота, подписанная Чемберленом...* — Чемберлен Остин (1863 — 1937) — министр иностранных дел Великобритании в 1924 — 1929 гг. Смысл присланной ноты — в подтверждении позиции Великобритании в отношении реакции на обращение Г. Зиновьева к английским коммунистам (см. примеч. к с. 565 — 566).

...Видел милых Ляминных... — Речь идет о пречистенских друзьях семьи Булгаковых. Лямин Николай Николаевич (1892 — 1941?) — филолог, специалист по романским литературам; его жена — Ушакова Наталья Абрамовна (1899 — 1990) — художница (см. также примеч. к с. 63).

С. 584. *Был с М. С...* — Митя Стонов (см. примеч. к с. 562).

С. 585. *«А сову эту я разъясню»*. — Булгаков цитирует свою собственную фразу из создаваемой в это время повести «Собачье сердце».

...был у П. Н. Зайцева на чтении А. Белого... Была С. З. Федорченко... — Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев, 1889 — 1934) — поэт и прозаик, один из ведущих деятелей символизма; Федорченко Софья Захаровна (1888 — 1959) — писательница.

АВТОБИОГРАФИЯ 1937 ГОДА

Впервые — в сборнике: Советские писатели. Автобиографии. Т. III. — М.: Сов. писат. 1966. Печатается по: *Булгаков М. А. Письма. Жизнеописание в документах*. — М.: Современник, 1989.

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ М.А.БУЛГАКОВА¹

1. *Гиреев Д. А.* Михаил Булгаков на берегах Терека: Документальная повесть. — Орджоникидзе: Ир, 1980. — 140 с.: ил.

Первая в стране книга о жизни и творчестве М. А. Булгакова рассматривает сравнительно небольшой (1919 — 1921 гг.) период его биографии, но очень важный: именно во Владикавказе, «на берегах Терека» писатель дебютировал как журналист и драматург и проявил себя как деятель культуры (работа в Лито, лекции, преподавательский труд). Рассчитана на широкий круг читателей.

2. *Яновская Л. М.* Творческий путь Михаила Булгакова. — М.: Сов. писат., 1983. — 320 с.: ил.

Автор, раскрывая весь творческий путь М. А. Булгакова, всесторонне исследует основные произведения писателя — «Белую гвардию», «Дни Турбиных», «Бег», «Мастера и Маргариту», обращается к черновикам, заготовкам, переписке, называет возможные источники прототипов булгаковских персонажей, вводит в культурный оборот документы и сведения историко-биографического характера. Книга рассчитана на всех интересующихся творчеством и жизнью писателя и драматурга.

3. *Смелянский А. М.* Михаил Булгаков в Художественном театре. — М.: Искусство, 1986. — 384 с.: ил.; 2-е доп. изд. — М.: Искусство, 1989. — 432 с.: ил.

Книга рассматривает основные этапы творческой судьбы М. А. Булгакова-драматурга, связанные с его более чем десятилетней работой с коллективом Московского художественного театра. В ней рассматривается история таких пьес, как «Дни Турбиных», «Бег», «Мольер», инсценировки «Мертвых душ» и их постановки на сцене МХАТа, рассказывается о создании пьесы «Батум». Завершается книга анализом «Театрального романа» («Записок покойника»), как бы подводящего итог взаимоотношений Булгакова с Художественным театром. Книга рассчитана на специалистов и широкий круг читателей, интересующихся театром.

4. *Кушлина О. Б., Смирнов Ю. М.* Поэтика романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»: Методическая разработка к спецсеминару / Таджикск. гос. ун-т. — Душанбе, 1987. — 40с.

¹ Составлена Б. С. Мягковым. В перечень включены основные издания (монографии, сборники, брошюры), вышедшие в последние годы (1980 — 1995) и целиком посвященные жизни и творчеству Булгакова (подробнее см. издание, указанное в настоящем перечне под № 25, кн. 3, а также «Избранную библиографию» в издании: *Булгаков М. А.* «И судимы были мертвые...»: Романы. Повесть. Пьесы. Эссе. — М.: Школа-Пресс, 1994.

Методическая разработка нацелена на изучение одного из самых сложных и интересных произведений отечественной литературы — романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Основное внимание уделяется вопросам поэтики: творческой истории, композиции, образному строю, языку и стилю, традициям и новаторству, философской проблематике. Разработка снабжена подробным библиографическим аппаратом. Рассчитана на студентов и преподавателей филологических факультетов и гуманитарных специальностей университетов, вузов и училищ, на учащихся старших классов средних школ, гимназий и лицеев с углубленным изучением литературы.

5. *Лакишин В. Я.* Булгакиада: Сб. документальных очерков. — М.: Правда, 1987. — 48 с. — (Биб-ка «Огонек», № 35); то же: Киев: Рядянск. Украина, 1991. — 64 с.: ил.

В книгу известного исследователя творчества М. А. Булгакова доктора филологических наук, академика Академии педагогических наук В. Я. Лакшина (1933 — 1993) вошли его знаменитые очерки и устные рассказы, связанные с самим Булгаковым и его вдовой — Е. С. Булгаковой, а также освещающие различные аспекты творчества писателя. Убедительная, яркая и занимательная форма изложения делает эту книгу доступной для самого широкого круга читателей.

6. Проблемы театрального наследия М. А. Булгакова. Сб. научн. трудов / Ленингр. гос. ин-т театра, муз. и кинематогр. — Л., 1987. — 148 с.

В сборнике рассматриваются общие проблемы театрального наследия М. А. Булгакова. В статьях издания дан конкретный анализ истории создания и театральных постановок пьес «Дни Турбиных», «Бег», «Зойкина квартира», «Багровый остров», «Последние дни», «Дон Кихот». Публикуется исследование об опере С. Слонимского «Мастер и Маргарита», помещен обзор архивных документов и материалов по творчеству Булгакова-драматурга, хранящихся в РГАЛИ. Рассчитан как на специалистов — историков театра, так и на читателей, интересующихся темой «Булгаков-драматург».

7. Воспоминания о Михаиле Булгакове. Сб. статей и очерков / Сост. Е. С. Булгакова и С. А. Ляндрес. — М.: Сов. писатель, 1988. — 528 с.: ил.

В сборник статей и очерков с воспоминаниями о М. А. Булгакове включены мемуарные эссе К. Паустовского, В. Катаева, Э. Миндлина, С. Ермолинского, В. Виленкина, Р. Симонова, М. Яншина, М. Прудкина и других знавших писателя людей. Они рассказывают о начале литературного пути Булгакова, о его работе в театре, о жизни и творчестве последних лет. В книгу включены воспоминания жен писателя — Т. Н. Кисельгоф (Лаппа) и Л. Е. Белозерской, дневниковые записи вдовы — Е. С. Булгаковой, материалы ее семейного архива, комментарии. Рассчитан на широкий круг читателей.

8. *Гудкова В. В.* Время и театр Михаила Булгакова. — М.:

Сов. Россия, 1988. — 128 с. — (Биб-чка «В помощь художественной самодеятельности», № 19).

В книгу включены материалы по сценической истории основных пьес М. А. Булгакова, анализируются источники их написания, дается обзор критики, сопутствующей постановке этих пьес, приводятся данные по современным интерпретациям произведений писателя и драматурга. Рассчитана на специалистов-театроведов и читателей, интересующихся историей отечественного театра.

9. *Казаркин А. П.* Истолкование литературного произведения: (Вокруг «Мастера и Маргариты» М. Булгакова). Уч. пособие / Кемеровск. гос. ун-т. — Кемерово, 1988. — 84 с.

В пособии обсуждаются теоретические и историко-литературные вопросы интерпретации и оценки литературных произведений. В качестве примера наиболее сложного и трудного для анализа материала избран роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Пособие рекомендуется студентам-филологам, специализирующимся на журналистике и на истории современной литературы.

10. М. А. Булгаков-драматург и художественная культура его времени: Сб. статей / Сост. А. Нинов. — М.: СТД РСФСР 1988. — 496 с.: ил.

Сборник составлен на основе булгаковских чтений, проведенных в Ленинграде в 1986 г. Творчество Булгакова-драматурга рассмотрено авторами в многосторонних связях писателя с театром и художественной культурой его времени. В сборнике освещаются малоизученные обстоятельства биографии М. А. Булгакова, его участие в театральной и художественной жизни Киева, Владикавказа, Москвы и Ленинграда, рассматриваются взаимоотношения писателя с А. Белым, В. Маяковским, Н. Эрдманом, В. Вересаевым и другими отечественными литераторами. Рассчитан на широкий круг читателей.

11. *Чудакова М. О.* Жизнеописание Михаила Булгакова. — М.: Книга, 1988 — 496 с.: ил.; 2-е, доп. изд.: М.: Книга 1988. — 672 с.

Книга — первая научная биография М. А. Булгакова, плод многолетней работы автора, ведущего в нашей стране и мире специалиста по разнообразным сторонам творчества писателя. Множество документов, свидетельств современников Булгакова дали возможность автору не только скрупулезно воссоздать историю жизни писателя и драматурга, но и его творческий облик. Книга написана в яркой художественно-публицистической манере. Жизнь Булгакова дается на широком историческом фоне эпохи, ее литературной и социальной жизни. Рассчитана на широкий круг читателей.

12. *Бабичева Ю. В.* Жанровые разновидности русской драмы: (На материале драматургии М. А. Булгакова). Уч. пособие к спецкурсу / Вологодск. гос. пед. ин-т. — Вологда, 1989. — 95 с.

В учебном пособии к спецкурсу по истории жанровых форм русской драмы рассмотрены некоторые нетрадиционные вновь складывающиеся формы все время обновляющейся жанровой системы. Материалом для наблюдения послужило драматургическое наследие М. А. Булгакова («Мертвые души», «Минин и Пожарский», «Дон Кихот», «Бег», «Иван Васильевич», «Блаженство»), особенно богатое разнообразие видовых и жанровых форм. Рассчитано на студентов театроведческих специальностей.

13. *Петелин В.* Михаил Булгаков: Жизнь. Личность. Творчество. — М.: Моск. рабочий, 1989. — 683 с.: ил.

В книге известного литературоведа, специалиста документально-биографического жанра (книги о Шолохове, Алексее Толстом, Шалапине) всесторонне и ярко, с привлечением архивных и документальных материалов воссоздается драматическая и исполненная творческого горения судьба М. А. Булгакова. Книга адресована широкому кругу читателей.

14. *Барков А. Н.* О Булгакове, Маргарите и мастерах социалистической литературы: (Литературно-детективный эпюд). — Киев, 1990. — 68 с.; то же, расш. и доп.: *Барков А. Н.* Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»: альтернативное прочтение. — Киев: САО «Текна А/Т», 1994. — 300 с.

Литературоведческое исследование жизни и творчества М. А. Булгакова, в особенности работа об альтернативном прочтении булгаковского романа — новое слово в булгаковедении. Автор предлагает принципиально отличный от бытовавшего в советской критике подход к уже хрестоматийному роману. Написанная с привлечением впечатляющего историко-литературного материала, книга полемизирует с рядом известных исследователей, стараниями которых был выработан общепринятый взгляд на творчество писателя. Книга обращена к широкому кругу интеллигенции и студентам-гуманитариям

15. Дневник Елены Булгаковой / Гос. б-ка СССР им В. И. Ленина. Сост., текстолог. подготовка и коммент. В. Лосева и Л. Яновской. — М.: Кн. палата, 1990. — 400 с.: ил. — (Сер. «Из рукописного наследия»).

Дневник вдовы М. А. Булгакова — Е. С. Булгаковой (1893 — 1970) охватывает последний период жизни и творчества писателя и драматурга (1 сент. 1933 — 19 февр. 1940 гг.) Зафиксирована его повседневная жизнь, его интересы, творческие планы, рабочие и дружеские встречи с деятелями искусства и литературы, подробно отражен процесс работы над романами «Жизнь господина де Мольера», «Мастер и Маргарита», пьесами «Пушкин», «Иван Васильевич», «Мольер» оперными либретто. Книга интересна для самого широкого круга читателей.

16. *Кончаковский А., Малаков Д.* Киев Михаила Булгакова. Фотоальбом. — Киев: Мистецтво, 1990 — 283 с.: ил.; 2-е.

испр. и доп. издан.: Киев: Мистецтво, 1992. — 324 с.: ил.

Альбом «Киев Михаила Булгакова» — это подробный фоторассказ булгаковедов-киевлян о жизни своего знаменитого земляка в «Киев-городе», где он родился и вырос, который всегда любил, и о времени — великом и трагическом, пережитом писателем и его Городом. В книге-альбоме использованы уникальные фотографии М. А. Булгакова, членов его семьи, друзей и знакомых, документы, открытки из государственных и частных архивов, приложен факсимильный план Киева 1910-х годов.

17. Литературные традиции в поэтике Михаила Булгакова Межвуз. сб. научн. трудов / Куйбышевск. гос. пед. ин-т. — Куйбышев, 1990. — 161 с.

В сборнике рассматривается широкий круг литературоведческих и лингво-стилистических вопросов, касающихся современной оценки творчества М. А. Булгакова. Анализируя особенности творческой манеры писателя, исследователи раскрывают многообразную связь его произведений с отечественной и мировой художественной литературой. Авторы статей — ученые из ряда вузов и академических институтов страны.

18. *Боборыкин В. Г.* Михаил Булгаков: Книга для учащихся ст. классов. — М.: Просвещение, 1991. — 208 с.: ил. — (Сер. «Биографии писателей»).

В книге рассказывается о сложной судьбе писателя, о его литературной деятельности. Автор анализирует романы, повести, пьесы М. А. Булгакова («Белая гвардия», «Дни Турбиных» «Бег», «Мастер и Маргарита»). В заключительных главах речь идет о значении творчества Булгакова для наших дней, для современной литературы.

19. *Виленский Ю. Г.* Доктор Булгаков: Документальная повесть. — Киев: Здоровье, 1991. — 256 с.: ил.

Монография посвящена исследованию влияния медицины на творчество М. А. Булгакова, по основному образованию — врача. В книге рассказывается о малоизвестных фактах биографии писателя, связанных с врачебным делом, анализируются с медицинской стороны его «Записки юного врача» и другие произведения, где используется по ходу сюжета лекарское ремесло. Представлены иллюстрации и фотодокументы, отражающие медицинскую линию в биографии и творчестве писателя.

20. *Вулис А. З.* Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». — М.: Худож, литература, 1991. — 222 с. — (Сер. «Массовая историко-литературная биб-ка»).

Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», история его создания, появления в печати, образная система романа и его место в мировой литературе — таков круг вопросов, исследуемых автором этой книги. Роман «Мастер и Маргарита» многолик, как само искусство. Это романтика и реализм

живопись и ясновидение. Во многих смыслах (включая буквальный) это и роман тайн. Некоторые из авторских тайн и стремится раскрыть А. З. Вулис.

21. Михаил Булгаков: Современные толкования. К 100-летию со дня рождения. Сб. обзоров / Сост. Т. И. Красавченко / ИНИОН АН. — М., 1991. — 244 с.

Сборник, выпущенный к 100-летию со дня рождения М. А. Булгакова в серии «Проблемы истории всемирной литературы» Институтом по общественным наукам Академии наук, — свод обзорных статей по проблемам интерпретации творчества писателя в нашей стране и за рубежом. Дается анализ материалов, вышедших о Булгакове в Польше и Югославии, Германии и Англии, Франции, Италии и Испании с соответствующим библиографическим аппаратом.

22. Немцев В. И. Михаил Булгаков: становление романиста / Самарский филиал Саратовского ун-та. — Самара, 1991. — 164 с.

Анализируя романы «Белая гвардия», «Записки покойника» («Театральный роман»), «Мастер и Маргарита», автор монографии выстраивает концепцию формирования эстетических взглядов М. А. Булгакова на мир и художественное творчество, осмысляет их в виде единого идейно-эстетического комплекса в контексте всего творчества писателя. Решая творчески вопросы, исследователь выявляет взаимоотношения всех основных фигур, выражающих произведение как художественную цельность. Книга адресована всем, кто интересуется творчеством М. А. Булгакова и вопросами психологии художественного творчества.

23. Соколов Б. В. Михаил Булгаков: (100 лет со дня рождения). — М.: Знание, 1991. — 64 с. — (Новое в жизни, науке и технике. Сер. «Литература», № 7).

В брошюре рассказывается о жизни писателя, анализируются его основные произведения — романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита», пьесы, повести, говорится об общественно-политических взглядах писателя, не потерявших своей актуальности и для нашего времени. В заключение приведена краткая библиография произведений и литературы, связанной с М. А. Булгаковым.

24. Соколов Б. В. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита»: Очерки творческой истории. — М.: Наука, 1991. — 176 с.

В книге исследуется процесс творчества М. А. Булгакова на примере его романа «Мастер и Маргарита». Автором выявляются литературные, исторические и реальные прототипы, источники, сложная структура и хронология романа, раскрываются идейное содержание и особенности поэтики, рассматриваются проблемы истории текста и эволюции творческого замысла романа.

25. Творчество Михаила Булгакова: Исследования. Материалы. Библиография. В 3-х книгах. Кн. 1. — Л.: Наука, 1991. —

448 с.; Кн. 2. — СПб.: Наука, 1994. — 382 с.: ил.; Кн. 3. — СПб.: Наука, 1995. — 368 с.

Основная цель издания, выполненного в трех книгах Институтом русской литературы АН, ввести в научный оборот архивные материалы из наследия писателя, хранящиеся в рукописном отделе Пушкинского Дома (ИРЛИ). Представляются новые документы, факты, которые служат обогащению, уточнению, а порой и пересмотру существующих представлений о Булгакове, о его жизненной, творческой судьбе. Впервые полностью публикуются наброски писателя к учебнику для школы — «Курс истории СССР», архивные документы, относящиеся к творческой истории пьесы «Александр Пушкин» «Мольер», «Блаженство». Обширно представлено эпистолярное наследство. В сборники включены и библиографические исследования: алфавитный перечень произведений Булгакова и их первых публикаций и обстоятельная библиография (персоналия) критических и литературоведческих работ о писателе за 1919 — 1992 гг.

26. Творчество Михаила Булгакова: Сб. статей. — Томск: Из-во Томского гос. ун-та, 1991. 160 с.

Сборник включает статьи ученых Томска, Вологды, Владивостока, Саратова, Кемерово, Магнитогорска, много лет занимающихся изучением творчества М. А. Булгакова, которых объединило участие в научных конференциях, регулярно проводимых Томским университетом. Все статьи отличает стремление их авторов рассмотреть оригинальное и удивительно многогранное творчество писателя в контексте русской и мировой художественной культуры и одновременно подчеркнуть органическую цельность его наследия, его неповторимую внутреннюю гармонию.

27. Чеботарева В. А. Рукописи не горят: Сб. статей. — Баку: Язычи, 1991. — 144 с.

Книга посвящена изучению различных аспектов творчества и биографии М. А. Булгакова. По скудным документальным свидетельствам, воспоминаниям, письмам, частью не опубликованным, автор восстанавливает факты биографии и творчества писателя, рассказывает о находках в забытой периодике 20-х годов его произведений. Особый интерес в книге вызывает раннее творчество писателя на Кавказе и нити, связывающие его с Баку. Рассчитана на широкий круг читателей.

28. Бабичева Ю. В. Михаил Афанасьевич Булгаков: Материал в помощь учителю-словеснику / Вологодс. обл. ин-т повышения квалификации и переподготовки кадров. — Вологда, 1992. — 28 с.

Брошюра посвящена личности, биографии, литературной судьбе М. А. Булгакова. Рассказывается о литературном наследии писателя, анализируются его повести «Записки на манжетах», «Дьяволиада», «Роковые яйца», ранние рассказы и очерки, роман «Мастер и Маргарита». Специальный раздел посвящен

театру Булгакова, где главное внимание обращено на драму «Дни Турбиных»; приводится список рекомендуемой литературы.

29. Мастер (М. А. Булгаков): Рекомендательный библиографический указатель / Сост. А. С. Рывкинд / Росс. гос. юношеская б-ка. — М., 1992. — 27 с

Библиографический указатель включает краткий очерк жизни и творчества М. А. Булгакова, а также беседу о ярких и популярных книгах отечественных булгаковедов, которые, помогут читателю, особенно молодому, войти в сложный художественный мир создателя «Мастера и Маргариты».

30. Творчество Михаила Булгакова: к столетию со дня рождения писателя. Сб. научн. работ / Сост. Т. А. Пахарева, Л. А. Киселева, А. Ю. Мережинская / Киевск. гос. ун-т. — Киев: УМК ВО, 1992. — 160 с.

В сборнике представлены материалы пятых Международных булгаковских чтений, посвященных столетию со дня рождения писателя, которые состоялись в Киеве в мае 1991 г. Темы статей и материалов, представленных в сборнике, достаточно разнообразны, но объединены они общей направленностью: «М. А. Булгаков и социально-политическая реальность XX века». Биографические аспекты булгаковедения; вопросы поэтики, типологии, лингвистики текста; осмысление творчества писателя в контексте мировой культуры — таковы основные проблемы, исследуемые авторами сборника. В ряде статей содержатся новые архивные материалы, исторические и археографические документы, публикуемые впервые.

31. Яновская Л. М. Треугольник Воланда: (К истории романа «Мастер и Маргарита»). — Киев: Лыбидь, 1992. — 189 с.: ил.

В книге Л. М. Яновской — многолетнего исследователя жизни и творчества М. А. Булгакова, его биографии и текстолога рассказывается о результатах большой работы по восстановлению подлинного текста «Мастера и Маргариты». Основное внимание уделено истории создания романа, его тайнам и скрытым сюжетам. Приводятся не публиковавшиеся тексты ранних редакций романа, новые биографические и архивные материалы. Раскрывается связь образов великого романа с впечатлениями писателя о Киеве, где прошли его детство и юность.

32. Биккулова А. И. Изучение романа Михаила Булгакова «Белая гвардия»: (Тема дома и семьи в произведении) / Мин. образования РФ.; Респ. ин-т повышения квалификации работников образования. — М.: РИПКРО, 1993. — 31 с.

Учебно-методическая брошюра посвящена проблемам изучения в старших классах одного из наиболее сложных произведений М. А. Булгакова — романа о гражданской войне «Белая гвардия». Рассматривается такая важная для писателя тема, как «обретение дома и сохранение семьи» которая прослеживается во многих его произведениях, в том числе и в «Мастере и Маргарите»

33. Булгаковский сборник: Материалы по истории русской литературы / Сост. И. Белобровцева, С. Кульяс / Таллиннск. пед. ун-т. Вып. 1. — Таллинн, 1993. — 148 с. Вып. 2. — Таллинн, 1994. — 154 с.

Статьи сборника, посвященные пониманию и адекватному толкованию многозначных текстов произведений Булгакова, содержат новые данные и документы, открывающие не известные ранее грани жизни и творчества писателя.

34. Михаил Булгаков: «Этот мир мой...»: Сб. статей / Росс. ин-т истории искусств; С.-Петербург. булгаковское лит.-театр. общество. Т. 1. — СПб.: Деан; Ферт, 1993. — 190 с.: ил.

Тема сборника — театр Михаила Булгакова в современном мире — не раз звучала на булгаковских чтениях в Ленинграде — С.-Петербурге в 1984 — 1993 гг. В чтениях принимали участие известные исследователи творчества М. А. Булгакова из Москвы, Ленинграда (С.-Петербурга), Киева, Душанбе, Таллинна, а также исследователи из Великобритании, Венгрии, Индии, Италии, Канады, Польши, Румынии, США, Финляндии, Франции, Чехии и Югославии. Итогом чтений и стал настоящий сборник, развивающий проблематику ранее выпущенных аналогичных книг (см. п. 6 и 10 настоящего перечня).

35. *Мягков Б. С.* Булгаковская Москва: Лит-топографические очерки. — М.: Моск. рабочий, 1993. — 222 с.: ил.

Книга, написанная в жанре литературной топографии, посвящена адресам, связанным с биографией М. А. Булгакова и литературными героями его произведений. Обилие фактического материала, включение в ткань повествования малоизвестных и неопубликованных текстов писателя, конкретность изложения с элементами литературного детектива в описании адресов и прототипов героев делают это издание своеобразным путеводителем не только по городским улицам и переулкам булгаковской Москвы, его любимого города, но и по страницам творчества писателя и драматурга.

36. *Шенцева Н. В., Карпов И. Л., Коссова Е. А.* Новое о Булгакове; Учебн.-методическое пособие для учителей-словесников и учащихся ст. классов. — Йошкар-Ола, 1993. — 83 с.

В пособии дан обзор литературы и материалов о жизни и творчестве М. А. Булгакова, выпущенных в предшествующие годы. Авторы рассказывают о новых страницах биографии писателя, о новых публикациях его произведений, о новых тенденциях в изучении его литературного наследия.

37. *Биккулова А. И.* Анализ драматического произведения: («Дни Турбиных» М. Булгакова). Учебн.-методическое пособие / Мин образования РФ; Респ ин-т повышения квалификации работников образования. — М.: РИПКО, 1994. — 45 с.

Брошюра посвящена истории создания, сценической судьбе и анализу драматургии наиболее известной пьесы М. А. Булгакова, с которой началась слава писателя-драматурга. Рассматривается историко-биографический сюжет драмы,

взаимоотношения между героями, их психология, поступки, — словом, все то, что создало непреходящую популярность этой знаменитой пьесы и славу ее автору.

38. *Акимов В. М.* Свет художника, или Михаил Булгаков против Дьяволиады. — М.: Народное образование, 1995. — 50 с. — (Биб-ка журн. «Народное образование», № 13).

В брошюре рассматривается историко-литературное значение произведений М. А. Булгакова, анализируются его основная проза и драматургия, прослеживается влияние творчества писателя на современную литературу и культуру. Наибольшее внимание при этом уделяется роману «Мастер и Маргарита». Автор книги вступает в полемику с распространенным, по его мнению, восприятием романа едва ли не как «апологетики воландовщины», как оправдания сотрудничества человека с силами зла. Напротив, по утверждению автора, этот роман, включающий в себя тысячелетний опыт гуманистической философии, стал (во всех своих сюжетных переплетениях и судьбах персонажей) выражением писательской взыскательности, актом строгого испытания человека.

39. *Виленский Ю. Г., Навроцкий В. В., Шалюгин Г. А.* Михаил Булгаков и Крым / Предисл. А. Кончаковского. — Симферополь: Таврия, 1995. — 144 с.: ил.

Книга обстоятельно знакомит читателя с крымскими путешествиями М. А. Булгакова, освещает круг его крымских знакомств и отражение крымской темы в творчестве. Особый интерес представляет материал о встречах Булгакова с поэтом М. А. Волошиным и о возможном влиянии последнего на идейно-философский аспект пьесы «Бег», о крымской географии и прообразах этого булгаковского произведения. В книге рассказывается о «чеховском притяжении» для Булгакова в Ялте, о топографии либретто «Черное море» и замысла пьесы «Ласточкино гнездо».

40. *Локишина Б. С.* Программа по литературе для 10 — 11 гуманитарных классов: система уроков по творчеству М. А. Булгакова / С.-Петербургск. ун-т пед. мастерства. — СПб., 1995. — 88 с.

Брошюра в рамках программы по современной отечественной литературе для X — XI гуманитарных классов обобщает накопленный учебно-методический и дидактический материал, связанный с изучением творческого наследия М. А. Булгакова в средней школе. Даются конкретные методические советы, рекомендуется литература для внеклассного чтения. В брошюре предлагается литературоведческая трактовка основных произведений писателя, методологические приемы их интерпретации, приводятся материалы экспериментальных работ в этой области.

Краткая хроника жизни М. А. Булгакова: основные вехи¹ (1891 — 1940)

1891 г.

15 (3 по ст. стилю)² мая в семье преподавателя Киевской духовной академии Афанасия Ивановича Булгакова (1859 — 1907) и его жены Варвары Михайловны (в девичестве — Покровская, 1869 — 1922) родился первенец — сын, названный Михаилом. Он не был единственным ребенком: в 1892 г. родилась сестра Вера, в следующем — Надежда. Позже — еще четверо детей: Варя (1895), Коля (1898), Ваня (1900), Лена (1902).

1890-е — 1900-е гг.

Разрастающаяся семья Булгаковых не жила в Киеве на одном месте, а переезжала в поисках более удобного, просторного жилья, снимая квартиры у разных домовладельцев. Последний адрес (Андреевский спуск, 13, строение 1) оказался самым известным: это знаменитый «дом Турбиных» из романа «Белая гвардия», в нем теперь киевский музей писателя.

22 августа 1901 г. Михаил поступает в Первую киевскую гимназию, где будет учиться около восьми лет.

14 августа 1907 г. умирает отец — А. И. Булгаков, и Михаил остается старшим из мужчин в доме.

В мае 1909 г. заканчивается гимназический курс. 17 июля Михаил подает прошение о зачислении его в Киевский университет на медицинский факультет. После успешно сданных экзаменов в августе он становится студентом-медиком. Учеба в университете с перерывами продолжалась до весны 1916 г.

1913 — 1917 гг.

26 апреля 1913 г. Женитьба на Татьяне Лаппа, дочери управляющего Саратовской Казенной палатой. Молодые поселяются на Рейтарской ул., 25, но вскоре переезжают поближе к родительскому дому Булгаковых: Андреевский спуск, 38.

С началом первой мировой войны — летом 1914 г. Булгаков работает в госпитале в Саратове (при Казенной палате), а с 1915 г. (до выпускных экзаменов) — в Киевском сводном военном госпитале (на Печерске).

В марте — апреле 1916 г. Михаил Булгаков успешно сдает выпускные экзамены в университете и, получив степень «лекаря с отличием», направляется в прифронтовые госпитали Каменец-Подольского и Черновиц — вблизи театра военных действий. Вместе с ним была и его жена Татьяна Булгакова.

Сентябрь 1916 г. Булгаков переводится на работу в распоряжение Смоленской врачебной управы, где назначается земским врачом в Никольской больнице Сычевского уезда. На следующий год переводится в Вяземскую городскую больницу, где он проработает до начала

¹ Составлена Б. С. Мягковым. Подробнее см.: Булгаков М. А. «И судимы были мертвые...» — М.: Школа-Пресс, 1994. — С. 630 — 661

² Далее даты до февраля 1918 г. приводятся по старому стилю.

1918 г. Впечатления от работы в земских больницах на Смоленщине отразятся в рассказах цикла «Записки юного врача» и в повести «Морфий».

1918 — 1921 гг.

В начале марта 1918 г. Булгаковы возвращаются в Киев, где живут по старому родительскому адресу (Андреевский спуск, 13, кв. 2). Там Михаил Афанасьевич, как врач-венеролог открывает частную практику, но вскоре Киев оказывается в эпицентре гражданской войны.

Летом 1919 г. Булгаков впервые пробует писать о своих впечатлениях последних лет. Это «Наброски земского врача», «Недуг», «Первый цвет», другие произведения, большинство из которых не сохранилось.

Конец октября 1919 г. Булгаков мобилизуется как военнообязанный в Добровольческую армию А. И. Деникина и направляется на службу военврачом на Северный Кавказ. Основным его местопребыванием становится г. Владикавказ, откуда он выезжает в Грозный, Беслан, Пятигорск, Ставрополь. Позже Булгаков вспоминал: «Как-то ночью в 1919 году, глухой осенью, едучи в расхлябанном поезде, при свете свечечки, вставленной в бутылку из-под керосина, написал первый маленький рассказ. В городе, в который затасчил меня поезд, отнес рассказ в редакцию газеты. Там его напечатали. Потом напечатали еще несколько фельетонов...» (из автобиографии).

Есть достаточно оснований полагать, что этим городом оказался Грозный, где в одноименной газете 26 ноября 1919 г. был напечатан за подписью «М. Б.» памфлет-эссе «Грядущие перспективы». Эта одна из первых публикаций Булгакова была разыскана сравнительно недавно, но обнаружить «еще несколько фельетонов», относящихся к его журналистскому дебюту, пока не удалось.

Зиму 1919 — 1920 гг. Булгаков живет во Владикавказе. Работает в полевых госпиталях, много ездит, продолжает печататься. Известны лишь названия его опубликованных произведений «малой прозы» того времени: «День главного врача», «Юнкер», «Дань восхищения», имеющих биографический характер.

В феврале 1920 г. во время одной из врачебных командировок Булгаков заражается тифом, надолго уложившим его в постель. Благодаря стараниям жены он поправляется, но за это время Добровольческая армия оставляет город, и там устанавливается советская власть. Теперь весьма опасно было заявлять о себе как о медике, даже частная практика исключалась: сведения о службе у белых даже врачом могли привести к трагическим последствиям. Булгаков утверждает в принятом ранее решении: оставить медицину и заняться литературно-журналистской деятельностью. Поступив на работу в подотдел искусств органов управления народным образованием Владикавказа (на должность заведующего литературным отделом — ЛИТО), Булгаков занимается и журналистикой, читает лекции, пробует себя в драматургии.

Летом и осенью были написаны три пьесы: одноактная «Самоборона», четырехактная драма «Братья Турбины», комедия-буфф «Глиняные женихи». Первые две были в том же году поставлены на сцене Владикавказского театра. Адреса четы Булгаковых: ул. Марининская, 61, кв. 3 и ул. Слепцовская, 9, кв. 2.

В начале 1921 г. Булгаковым создаются пьесы «Парижские коммунары» и «Сыновья муллы», поставленные на местной сцене. Впечатления от пребывания на Северном Кавказе отразились в рассказах

«Необыкновенные приключения доктора» «Богема», в 1-й части повести «Записки на манжетах». Во второй половине мая Булгаков через Баку едет в Тифлис (Тбилиси), затем в Батум (Батуми). После неудачных попыток найти работу или эмигрировать в Константинополь он (через Одессу и Киев) в конце сентября приезжает в Москву. С этого времени вся жизнь Булгакова будет связана с Москвой.

1921 — 1926 гг.

Первые месяцы московского жилья и работы нашли отражение в ранней прозе писателя (рассказ «Воспоминание...», 2-я часть «Записок на манжетах», очерки «Столица в блокноте», «Москва 20-х годов», «Сорок сороков», многочисленные фельетоны и репортажи). После недолгой службы в системе Главполитпросвета Наркомпроса и в «Торгово-промышленном вестнике» Булгаков находит постоянную работу: сначала в газете «Рабочий» («Рабочая газета»), а позже в знаменитом «Гудке», где в то же время сотрудничают В. Катаев, Ю. Олеся, И. Ильф, Е. Петров. В «Гудке» было напечатано около 120 фельетонов, очерков и репортажей Булгакова.

С мая 1922 г. Булгаков печатается в берлинской газете «Накануне» и в ее «Литературном приложении», которое редактировал А. Н. Толстой. Печатает там серию очерков и фельетонов, приобретает журналистскую известность, выступая в «Доме Герцена», на «Никитинских субботниках», в литературном кружке «Зеленая лампа» и др. Булгаков публикуется и в ряде журналов Москвы и Петрограда. Домашний адрес Булгакова (Большая Садовая ул., 10, кв. 50) присутствует в его ранних московских рассказах и фельетонах, и впоследствии здесь «происходит» одно из действий романа «Мастер и Маргарита». В этой «нехорошей квартире» планируется открыть московский музей писателя и его главного романа.

В течение 1922 — 1923 гг. Булгаков кроме текущей журналистской работы пишет повесть «Дьяволиада» и роман «Белая гвардия», читает свои произведения в московских литкружках, друзья и знакомым. В феврале 1924 г. публикуется «Дьяволиада», летом — отрывки из «Белой гвардии» (роман закончен осенью 1924 г.). В 1924 г. Булгаков разводится с Татьяной Николаевной и с новой женой — Любовью Евгеньевной Белозерской поселяется в районе Пречистенки. В конце года выходит (Россия. № 4) первая часть «Белой гвардии», написана повесть «Роковые яйца».

В январе — марте 1925 г. написана повесть «Собачье сердце», публикуется в альманахе «Недра». (№ VI) повесть «Роковые яйца». В январе напечатана вторая часть «Белой гвардии» (Россия. № 5); Булгаков получает приглашение от МХАТа инсценировать свой роман для театра, и с этого времени начинается работа над пьесой «Дни Турбиных».

События середины 1925 г.: по приглашению поэта М. А. Володина едет к нему в Коктебель; совершает круиз вокруг берегов Крыма (очерк «Путешествие по Крыму»); выходит в свет сборник «Дьяволиада», публикуются первые рассказы цикла «Записки юного врача», МХАТу представляет пьесу «Белая гвардия», начинает работу над пьесой «Зойкина квартира» по предложению Театра-студии им. Евг. Вахтангова.

Конец 1925 г. — начало 1926 г. Написана и принята к постановке МХАТом пьеса «Белая гвардия», начало репетиций этой пьесы с актерами. Работа над пьесой «Багровый остров» для Камерного театра. Начало репетиций «Зойкиной квартиры». Адреса М. А. и Л. Е.

Булгаковых этого времени: ул. Герцена (Большая Никитская), 46, Чистый пер., 9а, кв. 4; Малый Лёвшинский пер., 4, кв. 1

7 мая 1926 г. обыск в комнате Булгакова службами ОГПУ. Изъятые машинописи «Собачьего сердца» и личный дневник, которые были возвращены после копирования лишь через несколько лет. Из-за этого Булгаков уничтожил дневник и никогда к ведению дневниковых записей не возвращался.

В мае — поездка в Ленинград, где впоследствии вышел сборник рассказов и фельетонов.

Лето — осень 1926 г. Продолжение репетиций «Дней Турбиных» и «Зойкиной квартиры». 5 октября — премьера «Дней Турбиных» в МХАТе, 28 октября — премьера «Зойкиной квартиры» в Театре им. Евг. Вахтангова. Конец 1926 г. выход сборника рассказов «Трактат о жилище»; продолжение работы над «Багровым островом», возникновение замысла и первые наброски пьесы «Бег»

1927 — 1932 гг.

В январе 1927 г. состоялся 50-й спектакль «Дней Турбиных» во МХАТе. 7 февраля — выступление на диспуте по поводу этой пьесы. Весной завершён «Багровый остров» и первая редакция «Бега». В августе Булгаковы переезжают по новому адресу: Большая Пироговская, 35-а, кв. 6. В декабре 1-й том «Белой гвардии» выходит отдельной книгой в Париже (2-й том вышел там же в 1929 г.).

Весной 1928 г. пьеса «Бег» принимается МХАТом, и над ней начинается режиссёрская работа. В апреле — поездка Булгакова в Ленинград по поводу постановок пьес, в мае — на Кавказ, в августе — в Одессу 11 сентября — 200-е представление «Дней Турбиных» во МХАТе. 24 октября — пьеса «Бег» для постановки запрещена; 11 декабря — премьера «Багрового острова» в Камерном театре.

Зима 1928 — 1929 гг. Начало работы над первыми редакциями «Мастера и Маргариты». В конце февраля — знакомство с Еленой Сергеевной Шиловской. Март — апрель: снятие с репертуара пьес «Зойкина квартира» и «Дни Турбиных». В июне — последний спектакль «Багрового острова».

Лето — осень 1929 г. пишет письма руководящим деятелям страны с просьбой помочь в трудном положении или разрешить выезд за границу (ответа не последовало). В сентябре — работа над повестью «Тайному другу», обращенной к Е. С. Шиловской (не окончена). В октябре начинает писать пьесу о Мольере (в декабре заканчивает первую редакцию: «Кабала святош»), развивает замысел пьесы «Блаженство».

28 марта 1930 г. Пишет письмо правительству с просьбой определить его жизненную и творческую судьбу. Приблизительно в это же время сжигает часть рукописей: черновики романа «Театр», ранних редакций «Мастера и Маргариты», пьесы «Блаженство». 18 апреля — телефонный разговор с И. В. Сталиным, соблаговолившим милостиво откликнуться на письмо Булгакова.

Апрель — май. Булгаков приглашается в Театр рабочей молодежи (ТРАМ) консультантом и зачисляется во МХАТ ассистентом режиссера. Начало работы над инсценировкой «Мертвых душ» (по Гоголю)

Лето — осень Поездка с ТРАМом в Крым. Август — продолжение работы над «Мертвыми душами», замыслы пьесы «Адам и Ева» и инсценировки «Войны и мира» (по Л. Н. Толстому).

Декабрь — первая репетиция «Мертвых душ» во МХАТе.

В марте 1931 г. Булгаков уходит из ТРАМа и поступает в актер-

ский состав МХАТа. В течение года работает над пьесой «Адам и Ева», пытается «пробить» постановку «Кабалы святош». Совершает поездку в Ленинград.

В январе 1932 г. последовало разрешение на возобновление во МХАТе «Дней Турбиных»; *18 февраля* прошел первый премьерный спектакль. *В феврале* завершена инсценировка «Войны и мира»; *в конце марта* — начало репетиций «Мольера» («Кабала святош») во МХАТе по заключенному ранее договору.

Май — сентябрь 1932 г. Написаны тексты диалогов для кинофильма «Восстание рыбаков». Работа над книгой «Жизнь господина де Мольера» (для серии «ЖЗЛ») и пьесой «Полоумный Журден» («Мольериана») для Театра-студии Ю. Завладского.

В начале октября расторгнут брак с Л. Е. Белозерской и заключен брак с третьей женой — Е. С. Шиловой (урожденная Нюрнберг). *Октябрь* — поездка в Ленинград по вопросам постановки там «Мертвых душ» и «Бега», возобновление работы над «Мастером и Маргаритой». *Конец года* — окончание пьесы «Полоумный Журден», премьера «Мертвых душ» во МХАТе (*28 ноября*).

1933 — 1940 гг.

Весной 1933 г. Булгаков закончил «Жизнеописание Мольера», но редакция серии «ЖЗЛ» книгу отклонила. Ленинградский мюзик-холл заказывает трехактную комедию, и драматург возобновляет работу над пьесой «Блаженство».

В Париже ставится пьеса «Зойкина квартира», в Москве и Ленинграде Булгаков ведет переговоры о постановке «Бега» в новой редакции (пьеса не утверждается). С *декабря* играет роль Судьи в мхатовском спектакле «Записки Пиквикского клуба» (по Ч. Диккенсу); во МХАТе возобновляют репетиции «Мольера».

В феврале 1934 г. Булгаковы переезжают по новому адресу: ул. Фурманова, 3 — 5, кв. 44. (последний адрес писателя). *Апрель* — завершение пьесы «Блаженство» для Московского театра сатиры и киноценария «Мертвые души» для Мосфильма. *Июнь* — Булгаковым отказывают в разрешении заграничной поездки с гастролирующим МХАТом; писатель обращается к Сталину с объяснением трудной жизненной ситуации (письмо осталось без ответа).

До конца года — пишет киносценарии «Мертвые души» и «Ревизор» (по Гоголю), в связи с чем поездки в Ленинград и Киев; начало работы над пьесами «Иван Васильевич» и «Последние дни» («Пушкин»), завершение первого полного варианта «Мастера и Маргариты».

В 1935 г. — продолжение работы над пьесой о Пушкине, киносценариями. Во МХАТе идут репетиции «Мольера». *В апреле* Булгаковы присутствуют на балу-приеме в посольстве США: впечатления от увиденного повлияли на развитие сюжета в «Мастере и Маргарите». *До конца года* Булгаков завершает новую редакцию «Зойкиной квартиры», пьес «Иван Васильевич» и «Пушкин», начинает перевод пьесы Мольера «Скупой» (закончен *в январе 1936 г.*).

Февраль — март 1936 г. — подготовка к выпуску спектакля «Мольер» во МХАТе; *16 февраля* — премьера, *9 марта* — осуждающая статья-рецензия в «Правде» («Внешний блеск и фальшивое содержание»), после которой руководство театра сняло спектакль «Мольер» с репертуара. В марте Булгаков начинает работу над конкурсным учебником по истории СССР.

13 мая — генеральная репетиция спектакля «Иван Васильевич» в Театре сатиры (пьеса не допускается к представлению). Летом работа

над переводом пьесы В. Шекспира «Виндзорские проказницы» (для МХАТа), поездка (в последний раз) в родной Киев с гастрوليрующим МХАТом, отдых в Сухуми; начинает писать либретто оперы «Минин и Пожарский» для Большого театра.

Сентябрь 1936 г. поступает (после ухода из МХАТа) на должность консультанта и либреттиста в Большой театр; пишет либретто опер «Черное море» и «О Владимире»; делает наброски «Записок покойника» («Театрального романа»); сочиняет «Устные рассказы» (о Сталине).

1937 г. — заканчивает либретто «Минин и Пожарский» и «Черное море», пишет либретто «Петр Великий», делает наброски либретто «Рашель», начинает работу над инсценировкой «Дон Кихота» (по М. Сервантесу). *Сентябрь* — прекращение работы над «Театральным романом», создание новой редакции «Мастера и Маргариты».

22 — 23 мая 1938 г. — закончена последняя рукописная редакция «Мастера и Маргариты». *Конец мая — июнь* — перепечатка и правка романа (в письмах к жене, отдыхающей в Лебедяни, сообщаются подробности этой работы).

Июнь — август: работа над инсценировкой «Дон Кихота» (сначала во время отпуска в Лебедяни, потом в Москве). *Сентябрь — октябрь:* завершение «Дон Кихота», начало работы над пьесой «Батум», либретто «Мадмузель Фифи» («Рашель») по новелле Мопассана; участие в поздравлении МХАТа с 40-летием от Большого театра по специально написанному либретто.

Март 1939 г. — завершение либретто «Рашель». *Апрель — май:* оканчивает полную редакцию «Мастера и Маргариты». *Июль — август:* после завершения работы над пьесой «Батум» Булгаков с постановочной бригадой МХАТа выезжает в Грузию для уточнения деталей, однако после телеграммы директора МХАТа об отмене поездки (из-за неодобрения Сталиным этой пьесы) уже из Тулы возвращается в Москву.

Сентябрь — резкое ухудшение здоровья Булгакова, временная слепота; диагноз врачей: гипертонический нефросклероз (нефрит) — наследственная болезнь, по причине которой умер отец писателя.

Октябрь — диктовка Е. С. Булгаковой поправок и дополнений к завершённому роману «Мастер и Маргарита». *Ноябрь — декабрь.* лечение в подмосковном санатории «Барвиха», где зрение было восстановлено.

1940 г. Январь — март: записи к ранее задуманной пьесе «Ласточкино гнездо», последняя диктовка поправок к «Мастеру и Маргарите» (13 февраля).

Дежурства у постели Булгакова его друзей и близких. Визиты А. А. Фадеева, планы поездки на юг Италии для лечения. Дальнейшее ухудшение состояния здоровья, признаки помрачения рассудка.

10 марта в 16 часов 39 минут Михаил Афанасьевич Булгаков скончался.

11 марта — гражданская панихида по М. А. Булгакову в здании Союза писателей (с прощальным словом выступили Вс. Иванов, А. Файко, В. Топорков, Б. Мордвинов).

12 марта — похороны М. А. Булгакова с кремацией тела в Донском крематории. Урна с прахом захоронена в старой части Новодевичьевого кладбища вблизи могил известных писателей, театральных деятелей и артистов. Надгробный памятный камень («голгофа») с могилы Гоголя установлен в 1960-х годах.

КАКИЕ РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ ?

В романе М. Булгакова утверждение о том, что рукописи не горят, неспроста принадлежит тому, под именем которого, напомним, в Москве действует сатана. И несгоревшая рукопись мастера — роман о Пилате — оказывается именно у него, хотя и особенного, более «совершающего благо», а не зло, но все же — сатаны. Но говорит-то Воланд не об одной рукописи, пусть и вышедшей из-под пера мастера, а о многих: «Рукописи...» Что же он имел в виду?

Понять это сразу, с лету, трудно. И вряд ли возможно это сделать, не обратившись к текстам разновременных редакций романа, и в первую очередь к тем эпизодам, которые приближают внимательного читателя к... истории принятия христианства на Руси.

— Но разве есть в романе не то, что глава, а хотя бы один абзац, хоть одно предложение об этом? — спросит обескураженно этот самый внимательный читатель. — Это уже попадает натажками и передергиваниями...

Дышите ровнее, мой дорогой внимательный читатель, давайте вместе вернемся к роману. Вначале попробуем разрешить две булгаковские загадки.

Первая: куда и зачем летала Маргарита? Неужели автору нужно было лишь полюбоваться феерией полета и красотами ночной природы где-то далеко от Москвы, а потом ни разу даже не вспомнить о нем в последующих главах? Однако тема полета бережно переносилась Булгаковым из редакции в редакцию, вплоть до самой последней, по которой она и известна большинству читателей. Зачем же автор «погнал» свою героиню, жившую в одном из арбатских переулков, Бог весть или черт знает куда — далеко-далеко на юго-запад (направление легко установить по положению в это время на небе луны), вместо того чтобы отправить ее прямоком на север, туда, где на Большой Садовой, всего в минуте лета от Арбата, ее ждал на полночном балу Воланд со свитой? Ведь туда в конце концов Маргарита и попадает.

Вторая загадка, на которую почему-то тоже не обратили до сих пор внимания «дешифровщики» романа, содержится в последней его главе. Вот кавалькада всадников на вороных конях (Воланд, его свита, мастер и Маргарита) встречает в горах Пилата, отбывающего здесь в одиночестве наказание за свою «трусость — самый тяжкий порок», и Маргарита узнает, что «и при луне ему нет покоя (...) и к своей речи о луне он нередко прибавляет, что более всего в мире он ненавидит свое бессмертие и неслыханную славу». Милосердие опять постучалось в сердце героини Булгакова. Но прежде, чем попросить Воланда отпустить Пилата Маргарита задает вопрос, оставлен-

ный без ответа не только Воландом, но и автором, вопрос таинственный и странный: «Двенадцать тысяч лун за одну луну когда-то, не слишком ли это много?» Остается неясным, что же это за «калькуляция».

Первая часть первой загадки — куда? — решается несложно. Частично мы уже ответили на нее — в юго-западном направлении. Более конкретно можно сказать куда, если вспомнить, где приземляется волшебный лимузин, в котором доставил Маргариту обратно в Москву после купания на неведомой реке «черный длинноносый грач в клеенчатой фуражке и в перчатках с раструбами» (глава 22-я «При свечах»): «... на каком-то совершенно безлюдном кладбище в районе Дорогомилова». Знающим Москву ясно: это в десяти минутах пешего хода по направлению к Большой Садовой от... Киевского вокзала. Стало быть, Маргарита прибывает с киевского направления. Ну, а куда летают ведьмы на помеле в русских сказках? Верно, на шабаш, проводившийся на киевской Лысой горе. Однако традиция гласит, что этот «съезд» нечистой силы бывает в двадцатых числах июня, точнее, в ночь накануне Ивана Купалы. А действие романа Булгакова разворачивается «однажды весною». Но это — в последней редакции. А в ранних — именно в июне. И в черновой разметке глав (1933) автор помещает полет Маргариты в ночь с пятницы 24-го на субботу 25-е месяца. Ему надо было, чтоб шабаш был именно в эту ночь, это имело бы тогда и этимологическое соответствие: «шабаш» — от древнееврейского «шабат» — суббота. Однако Булгакову было, несомненно, известно, что купальская ночь — предыдущая, с 23-го на 24-е, время летнего солнцеворота. А 24 июня — день Ивана Купалы, языческий праздник, сомкнувшийся по принятии христианства с днем рождения Иоанна Крестителя. Намек же на судьбу этого новозаветного персонажа, предтечу Христа, крестившего Его в Иордане, дан уже в самом начале романа. Судьба Михаила Александровича Берлиоза, не желавшего верить не только к божественное происхождение Спасителя, но и даже в историчность существования Христа, фарсовым образом напоминает судьбу Иоанна Предтечи. Ведь и этот булгаковский персонаж подвергся усекновению головы, и причастны к этому оказались также две женщины, как бы Саломея и Иродиада XX века: Аннушка, разлившая масло, на котором и поскользнулся Берлиоз, и вагоновожатая трамвая, под колеса которого Берлиоз попал.

Есть в романе намек на языческого Ивана Купалу. Вспомним, как во время погони за шайкой Воланда Иван Бездомный ныряет в Москву-реку близ храма Христа Спасителя. Иван (!) купается (!!). Чем не Иван Купала в намеренно примитивном, сниженном исполнении?! Правда, с обрядами, посвященными летнему солнцевороту, обычно связаны «он» и «она», женская и мужская ипостаси божества, Иван-да-Марья. Женское имя в этой паре могло быть и другим, но обязатель-

но с тем же корнем — мар (мор): Марина, Морена и т. п. Легко встает в этот ряд и имя Маргарита. В германских летних обрядах, торжественных славянских, в празднике Йоханнестаг (день св. Иоанна) фигурирует пара Ганс и Грета. Ганс — порусски Иван, а Грета — уменьшительное имя от Гретхен (Маргарита), так, кстати, зовут Маргариту в «Фаусте» Гете. И в романе Булгакова — тоже Маргарита, и она купается, только чуть позже Ивана, и в другой реке. Но, согласимся, автор романа не ставил перед собой целей строгих этнографических описаний. А все те сведения, что упомянуты здесь, содержатся, например, в статье «Купала» Словаря Брокгауза и Ефрона, постоянно бывшего у Булгакова под рукой.

В какой же реке Маргарита купалась с русалками? Что означает само это купание, что символизирует?

Оказавшись у киевской Лысой горы, Маргарита могла купаться только в Днепре или впадающей здесь в него маленькой речке (к слову, в ранних редакциях романа описывается именно речка — не река). Когда-то по киевскому Подолу текла речка Почайна, ныне о ней напоминает Почайнинская улица, идущая поверх бывшего русла реки. В ее-то устье, а не в самом Днепре, слишком здесь глубоком и имеющем крутой, обрывистый правый берег, по мнению многих историков, и крестил Русь Владимир в 988 году. Обряд крещения был очень прост: люди входили в реку и омывались ее водами. Так же крестил в Иордане Христа и Иоанн Предтеча. Его наименование — Креститель только в славянских языках имеет общее происхождение со словом «крест». По-гречески же (а христианство, напомним, пришло на Русь от византийских греков) оно звучит иначе — «баптистес» и образовано от глагола «баптизо»: погружать, окунать, купаться. Любопытно, что Почайна брала свое начало в озерах на Оболони, называвшихся Иорданскими (по имени построенного здесь тысячу лет назад Иорданского монастыря). Так что место слияния Почайны и Днепра было своеобразным аналогом новозаветного Иордана, местом святым. Неизбежно и Киев в представлении верующих становился аналогом Иерусалима. Именно так он назывался в поминальной молитве по князю Владимиру в 1015 году: «...яко Володимир Моисей второй, тако и Киев второй Иерусалим». Все эти исторические и топонимические сведения М. Булгаков легко мог почерпнуть в двухтомном «Описании Киева» Н. Закревского (1911), знал их и по гимназическим учебникам истории. К тому же и жили Булгаковы на Андреевском спуске, прямо выводящем к месту бывшего устья Почайны. Из окон булгаковского дома видна одна из Лысых гор (всего их в Киеве несколько).

Играя смыслами, автор «Мастера и Маргариты» продолжает вязать цепочку ассоциаций. В Иерусалиме есть Голгофа, в булгаковском Ершалаиме она — Лысый череп (буквальный перевод на русский древнееврейского названия), а в черновиках

и ранних редакциях названа прямо: Лысая гора. А коли Лысая гора, то как ей не быть связанной с ведьмами и шабашем? Опять же — шабаш связан с Купалой, Купала — с Иоанном Крестителем, тот — с Христом. И тут сразу возникает ассоциация с принятием христианства Русью, с обрядом купания. Крут вроде бы замыкается. Вроде бы — потому, что Русь принимала христианство не единожды, и Владимирово ее крещение — отнюдь не первое.

Впервые русы приняли христианство еще при князе Аскольде, личности исторической, а вовсе не мифической. Произошло это в 862 году. Память об этом событии нашла отражение, правда слегка искаженное, в русских летописях, в том числе и в «Повести временных лет». Источник же их — записки византийского императора Константина Багрянородного, внука Василия I Македонина, о деяниях своего деда, повторенные частично в византийских хрониках XI — XII веков.

Василий, как пишет Константин Багрянородный, заключил с русами мирный договор, убедив их «сделаться участниками божественного крещения, и устроил так, что они приняли архиепископа». Святой отец, «прибыв в страну сказанного народа для помянутого дела, принят был благосклонно. Властитель того народа, собрав собрание подданных и председательствуя с окружавшими его старцами», поинтересовался, чему же будет учить святой отец и что им возвестит. Тот показал варварам Евангелие, поведал о ветхозаветных и новозаветных чудесах Бога и Спасителя. Русы пожелали и сами увидеть что-либо подобное. Испросив помощи у Господа Бога Иисуса Христа в деле обращения варваров в святую веру, миссионер сказал русам: «Говорите, что хотите». Варвары «захотели» ни много ни мало как повторения чуда отроков, не сгоревших в печи, явленного на Евангелии. Они потребовали, чтобы святой отец бросил Евангелие в печь, где бы был разожжен «огнь велий», сказав: «Егда не сгорит, то уверуем». Их пожелание было исполнено. Когда по прошествии долгого времени печь погасла, оказалось, что Евангелие целым-целехонько и «даже кисти на концах связывавших его шнуров не потерпели никакого вреда или изменения. Увидев это и бысть поражены величием чуда, варвары без сомнений начали креститься».

Отметим некоторые особенно любопытные детали. Печь по-гречески — «каминон». Вспомним, как часто камин фигурирует в «Мастере и Маргарите», в его московских главах. Кроме того, учтем, что в IX веке книг еще не было. Свитки выходили из употребления. Писали на пергаменте (выделанной телячьей коже). Листы его сшивали, складывали гармошкой и помещали между двух досок, связывавшихся шнурами или застегивавшихся металлическими застегками. Называлось такое изделие у славян столпом, ибо представляло собой довольно высокую стопку. Процесс создания такого столпа —

не что иное, как столпотворение. Символами же столпотворения, но в ином смысле — вавилонском пронизан весь роман «Мастер и Маргарита». И не он один, а большинство произведений Булгакова. Наконец, не будем забывать и того, что книгопечатание еще не было изобретено, и брошенное в печь на виду у варваров Евангелие было конечно же рукописным. Таким образом, варварам было явлено то, что рукописи не горят. Но рукописи особые — священного характера.

Теперь мысленно вернемся к рукописи булгаковского героя. Им был написан роман о Пилате. Вместе с тем это был роман и о том, кого, по повелению Пилата, предали казни, — о Иешуа. Поскольку в булгаковском Иешуа есть многие черты Иисуса Христа (ошибочно утверждать, что Иешуа романа и Иисус Христос суть одно, личность Иисуса послужила Булгакову лишь прототипом образа Иешуа), то и жизнеописание Иешуа, особенно рассказ о последних его днях — своего рода «евангелие». Пусть апокрифическое, новое, необычное, но все же «евангелие». Иначе говоря, роман мастера о Пилате и Иешуа — произведение, так сказать, евангельского жанра. Вот такие рукописи и не горят. Где они оказываются, мы уже говорили, — у врага Бога. Это — «по его ведомству». Евангелие подлинное — под защитой самого Господа...

Через некоторое время после крещения 862 года князь Аскольд был убит Олегом, вещим — опять же в варварском понимании. Олег оказался лютым гонителем христиан. В 912 году Олег умер. При Игоре, а затем и Ольге Русь снова склоняется к христианству. Новые гонения на христиан начались при Святославе. Его кончина запечатлелась в народной памяти, не только в истории: мы помним, что другие варвары — печенег из черепа Святослава сделали чашу для питья. И это историческое предание перекликается с тем, как нехристь Воланд делает чашу из черепа антихриста Берлиоза в романе Булгакова...

Окончательно Русь вернулась к христианству при князе Владимире, по этой причине и названном Святым. Привязкой к дате Владимирово крещения в романе М. Булгакова и является загадочная «калькуляция» Маргариты. Надо просто перевести «луны», т. е. лунное летосчисление, в солнечное. Известно, что периодичность лунного месяца — величина переменная. Минимальная его продолжительность — 27,32 суток, максимальная — 29,53 суток. Так что двенадцать тысяч лун при буквалистском подходе вообще невозможно перевести на солнечное летосчисление. Однако учтем, что фраза о двенадцати тысячах лун содержится в романе, а не в астрономическом справочнике. Было бы странно, если бы героиня романа с ученой маской на лице, вроде Павла Глобы, вопрошала бы Воланда: «А не много ли за одну луну когда-то одиннадцать тысяч восемьсот двенадцать целых и сто двадцать восемь тысячных луны?» Маргарита так и не спрашивает, а, как ей и

свойственно, как свойственно вообще женщинам, округляет. Из этого округления между тем получается очень любопытная временная продолжительность — 955 (девятьсот пятьдесят пять) лет. Желая проверить, исходные данные для этого есть, а вот еще одна исходная — 29,05 суток, лежащая в указанных выше пределах. Тогда 12000 лун (тютелька в тютельку!) дают 955 лет.

Чем же интересен этот срок? Посчитаем: прибавим к 33-му году по Р.Х. (традиционная дата распятия Христа) 955 и получим... 988. Это год принятия христианства Русью при Владимире. К 988 году прибавим еще раз 955 и получим ... 1943 год — время действия московских глав романа в ранней его редакции. Кстати, пересчет с современного, григорианского календаря на юлианский (старый стиль) с введением полагающейся поправки покажет, что в 988 году 24 июня приходилось на пятницу, а 25 — на субботу. В 1943 году эти даты пришлись на четверг и пятницу. Так что, отправляя Маргариту на шабаш, автор тем самым переместил ее сразу и во времени (путешествия во времени, к слову, совершают герои и других произведений Булгакова). Совершив такой кунштюк, Михаил Булгаков связал воедино Ершалаим (Иерусалим), Киев и Москву, при этом его родной Киев — родина русского христианства — оказывается расположенным ровно посередине и во времени, и в пространстве относительно симметричных краев — Иерусалима, родины всех христиан, и Москвы, пораженной в описываемое им время сатанизмом, вавилонским столпотворением.

Можно думать (точно это мы вряд ли установим), что интуитивно Булгаков полагал: Владимирово крещение происходило в дни летнего солнцестояния и совмещено было с днем рождения Иоанна Крестителя. (В скобках заметим, что, хотя празднование 1000-летия крещения Руси проводилось не в эти дни, истинная дата, видимо, все же эта, и в понимании внутреннего смысла христианской традиции М. А. Булгаков гораздо глубже многих ортодоксальных христиан, всю ругающих его бессмертный роман.)

СОДЕРЖАНИЕ

Мирон Петровский. Мастер на все времена 5

МАСТЕР И МАРГАРИТА. Роман 15

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ

Похождения Чичикова 405

Багровый остров 418

Дьяволиада 435

Роковые яйца 472

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Автобиография 1924 года 547

Под пятой. *Мой дневник* 548

Автобиография 1937 года 587

КОММЕНТАРИИ 589

Избранная библиография о жизни и творчестве

М.А.Булгакова 649

Краткая хроника жизни М.А.Булгакова: основные вехи . . . 659

Феликс Балонов. Какие рукописи не горят? 665

Учебное издание

Михаил Афанасьевич Булгаков

РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ

Роман

Фантастические повести

Автобиографические материалы

На форзацах — «Дом № 302-бис» (ныне ул. Б. Садовая, 10)

Редактор *И.Н.Баженова*

Художественное оформление *Е.Н.Букваревой*

Художественный редактор *М.Е.Зайцев*

Корректор *М.К.Александрова*

ИБ № 88

ЛР № 020513 от 15.04.92

Сдано в набор 29.09.95. Подписано в печать 29.01.96.

Формат 84х108/32 Гарнитура Таймс. Печать высокая.

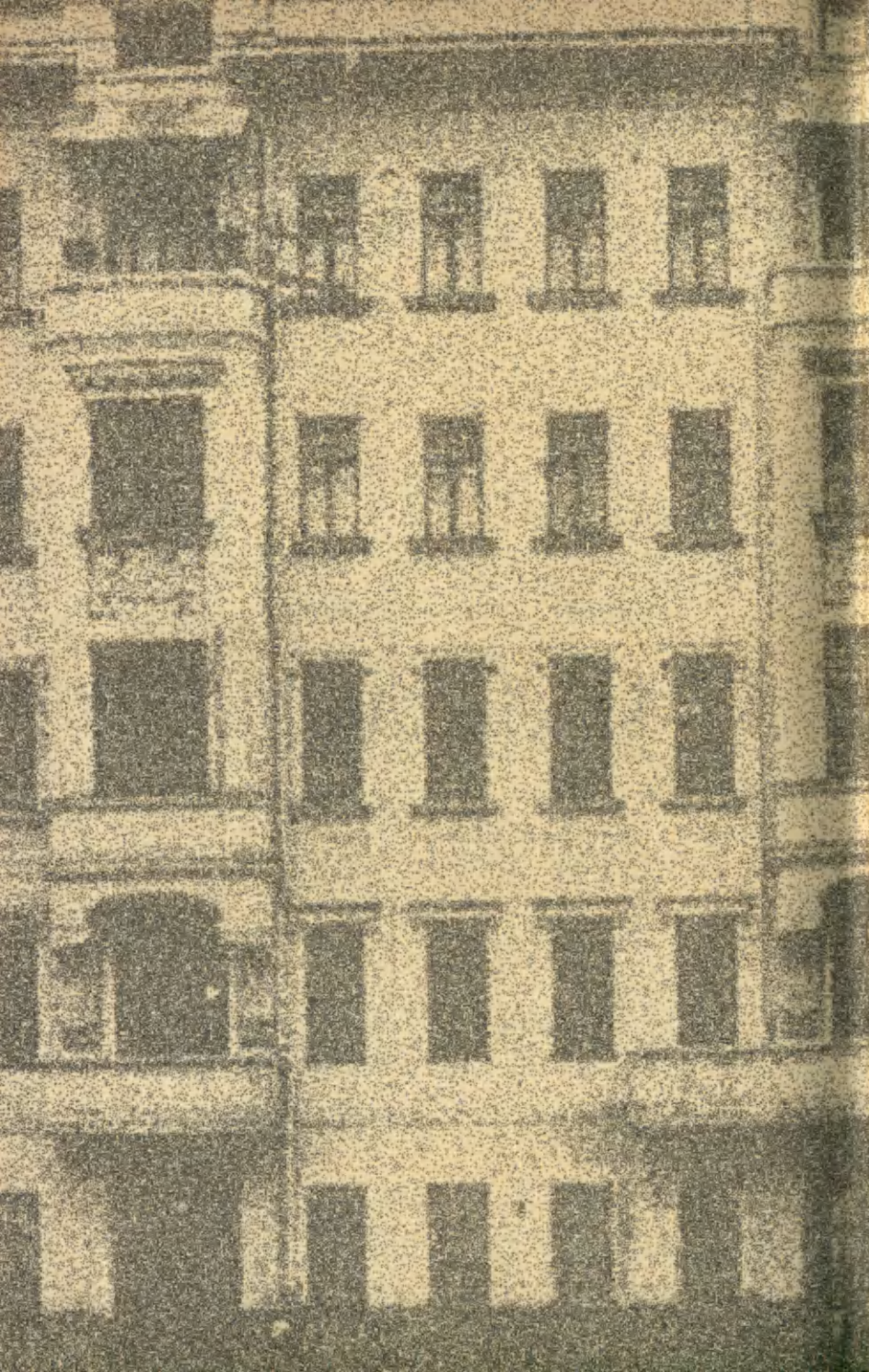
Бумага типографская № 2. Усл.-печ. л. 35,28. Уч.-изд. л. 37,62

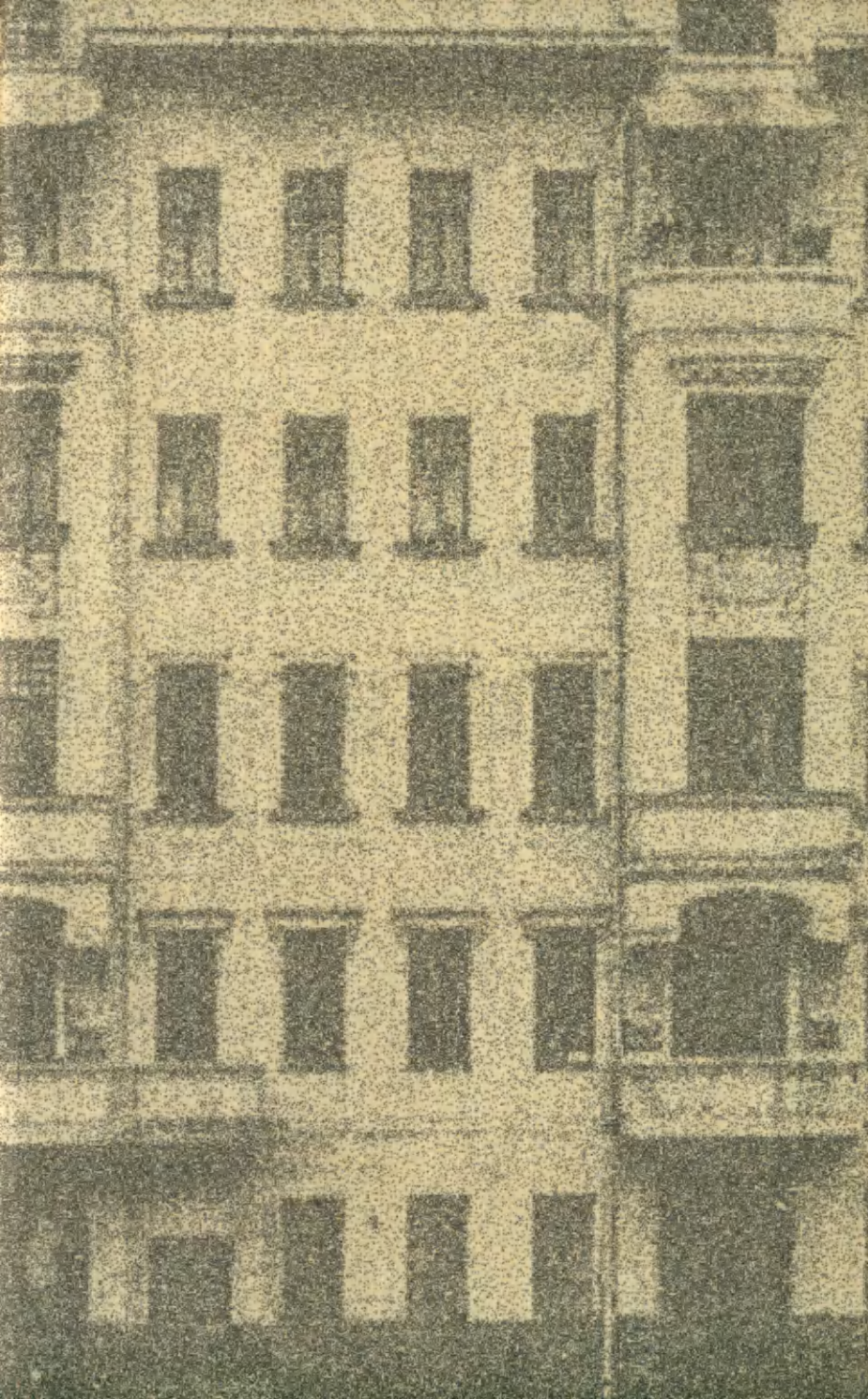
Тираж 30 000 экз. С. 117 Заказ № 798

Издательство «Школа-Пресс», 103051, Москва, Цветной б-р, 21/2
Оригинал-макет изготовлен фирмой «МИВАС»

Отпечатано в издательско-полиграфическом
предприятии «Зауралье»

640627 г. Курган, ул. К. Маркса, 106





КРУГ ЧТЕНИЯ:
школьная программа

V. KAMKIN
5885271062
\$12.75

Shkola Press

